

КУЗНЕЦКИЙ  
МОСТ



САВВА ДАНГУЛОВ

САВВА  
ДАНГУЛОВ



кузнецкий мост



БИБЛИОТЕКА  
**ОН**  
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Сурен Агабабян  
Ануар Алимжанов  
Сергей Баруздин  
Альгимантас Бучис  
Константин Воронков  
Леонид Грачев  
Анатолий Жигулин  
Игорь Захарошко  
Имант Зиедонис  
Мирза Ибрагимов  
Алим Кешоков  
Григорий Корабельников  
Леонард Лавлинский  
Георгий Ломидзе  
Михаил Луконин  
Андрей Лупан  
Юстинас Марцинкявичюс  
Рафазль Мустафин  
Леонид Новиченко  
Александр Овчаренко  
Александр Руденко-Десняк  
Инна Сергеева  
Леонид Теракопян  
Бронислав Холопов  
Иван Шамякин  
Людмила Шиловцева  
Камил Яшен

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

САВВА  
ДАНГУЛОВ

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

РОМАН



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1975

Р 2  
Д 17

Художник В. КАРАСЕВ

Д  $\frac{70302-001}{074 (02)-75}$  66-75 подписное



В новом романе Саввы ДАНГУЛОВА «Кузнецкий мост» речь пойдет о советских дипломатах. Для писателя это ведущая тема творчества.

«Мне казалось благодарным,— говорит С. Дангулов,— показать столкновение мысли двух миров в такой своеобразной и действенной сфере нашей жизни, как дипломатия».

Обратимся к биографии писателя.

Савва Артемович Дангулов родился в 1912 году в г. Армавире на Кубани. Начинал как газетчик-очеркист. Руководил выездной редакцией на строительстве гидростанции Гизельдон в горах Северной Осетии. Очерки о Гизельдоне прочел Г. М. Кржижановский, и они были напечатаны в Москве.

С 1936 года С. Дангулов работает в «Красной звезде». В 1940 году переходит на работу в Наркоминдел, однако с началом войны возвращается в «Красную звезду». Был корреспондентом на Западном,

Калининском, Воронежском, Южном фронтах. В 1943 году снова отозван в Наркоминдел для работы с иностранными корреспондентами. Летал с Александром Вертом в блокадный Ленинград, с Ральфом Паркером — в район окружения немецких войск под Корсунь-Шевченковским, во фронтовой Севастополь, Одессу, Умань, Яссы. После войны он на дипломатической работе за рубежом, позднее — редакторская работа: журналы «Иностранная литература» и «Советская литература».

С. Дангулов — автор романов «Дипломаты» и «Кузнецкий мост», повести «Тропа», книги поисков «Двенадцать дорог на Эгль», пьес «Признание» и «Неподсудный Горчаков».

Все книги С. Дангулова впервые были напечатаны в журнале «Дружба народов».

«Тропа» — документальная повесть, состоящая из отдельных рассказов, неоднократно переиздавалась на русском языке, переведена на языки: украинский, латышский, армянский, азербайджанский, туркменский, киргизский, выходила за рубежом — в Болгарии, Польше, Румынии. Книга рассказывает о первых шагах советской дипломатии, о том, как В. И. Ленин — руководитель молодого Советского государства — завоевывает сердца и разум лучших людей зарубежного мира.

В 1967 году опубликован роман «Дипломаты», впоследствии переведенный на многие языки народов нашей страны и изданный несколькими изданиями в Будапеште и Берлине. Это полотно широкого плана. В роман включены события одного года — от осени семнадцатого до осени восем-

надцатого — и деятельность В. И. Ленина в эту насыщенную бурными событиями, напряженную пору. В центре произведения — плеяда советских дипломатов ленинской школы: Чичерин, Воровский, Литвинов.

Для творчества Саввы Дангулова характерно сочетание документальности и художественности. Исторические лица сосуществуют в романе с персонажами вымышленными, такими, как дипломаты царской школы Николай и Илья Репнины, их друзья и коллеги.

Роман «Дипломаты» — итог кропотливого исследовательского труда художника-историка, показавшего, как советская дипломатия помогла Советской республике добыть победу и вывести Россию из войны.

Написанная в 1970 году по мотивам романа пьеса «Признания» поставлена в нескольких театрах, спектакль Малого театра стал лауреатом конкурса на лучший спектакль к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

В 1972 году опубликована 1-я книга романа «Кузнецкий мост». Действие в романе начинается в тревожную предвоенную пору и разворачивается во время Великой Отечественной войны. Автор сразу вводит нас в атмосферу напряженной борьбы за открытие второго фронта, за создание антигитлеровской коалиции. Рядом с фронтом войны действовал незримый фронт дипломатической борьбы.

«В годы войны шло единоборство военной мысли и единоборство духа, интеллекта, столкнулись принципы идеологий, и в этом столкновении великую нравственную победу одержало наше коммунистиче-

ское мировоззрение. Мне хотелось показать, какую большую роль сыграла ленинская дипломатическая школа в нашей победе над фашистской Германией», — так сформулировал автор свою задачу и смысл книги. В основу романа положены дипломатические документы, мемуарная литература (наша, американская, французская, английская), архивные материалы и личные впечатления и наблюдения автора.

И в этом романе автор остается верным своему методу: синтезу документальности со свободным повествованием. Наркоминдельцы предстают как люди глубоких патриотических убеждений. Они свято хранят и развивают, творчески применяют к новой обстановке ленинские принципы и традиции. Память о Чичерине и Воровском не покидает их. Роман насыщен острыми идеологическими проблемами, в нем отображена вся сложность дипломатического сотрудничества с союзниками.

В результате поездок писателя по местам, связанным с жизнью и деятельностью его героев, появилась еще одна книга С. Дангулова — «Двенадцать дорог на Эгль». Это книга поисков. Из Парижа привезен архив Джона Рида, из Стокгольма — триста неизвестных писем А. М. Коллонтай, из Осло — переписка Фрильофа Нансена с его русскими корреспондентами, в том числе с Чичериным, Луначарским, Горьким.

Создать такие книги может художник, не только владеющий массой исторических фактов, но обладающий глубиной понимания, толкования событий, строго следующий высокой правде жизни.

● —————

Он отодвинул штору. День был ветреный. Бежали облака. Устало и неярко глядело дневное светило. Он подошел к окну вплотную. Видно, только что прошли поливальные машины, и в неровностях асфальта удерживалась вода. Она была синей, под цвет ломких льдин неба. Он перенесся мыслью на аэродром. День обещал быть ясным — значит, случайности исключены. Бардин накинул халат и пошел мыться. Солнце еще не пришло в столовую. На кухне смолк чайник, открылась дверь, и Егор Иванович увидел сына. Бардин улыбнулся, но сын не ответил на улыбку, только упрямо вперил в отца серо-зеленые очи. Как у матери, замутненные дымком недобрым. И от того, что он взглянул на Егора Ивановича глазами матери, Бардин вспомнил жену, какой видел ее в ту субботу, когда был в Ясенцах. Она полулежала, опершись на подушки. Ее рука, необычно желтая, казалась странно неподвижной. Бардин задержал взгляд на этой руке, а когда отвел его, встретился с глазами жены. Оказывается, и она в эту минуту смотрела на руку и заметила взгляд мужа, и он, этот взгляд, все ей объяснил. И Бардину вдруг стало не по себе и потому, что он не сумел утаить от нее этого своего взгляда и при-

чинил ей новую боль, и потому, что он, такой толстый, подногубый, бесстыдно розовощекий, а она... многотерпеливая спутница его жизни и мать его детей столько лет прикована к этому ложу, быть может, смертному.

— Ты будешь ночевать у мамы?— поинтересовался Бардин.

— А ты?

— Поеду к деду.

— И я поеду к деду,— произнес Сережа, подумав, однако, как показалось Бардину, он готов был сказать нечто более значительное.

— Ты помнишь... Бекетова Сергея Петровича?— вдруг спросил Бардин.— Ну, того, что привез тебе из Брюсселя сафьяновую антилопу?.. Что ты так смотришь на меня— это бекетовская антилопа!.. Помнишь?..

— Нет, не помню,— отвел глаза Сережа, и Бардину показалось, что сыну доставляет удовольствие сказать «не помню». Ну конечно, он помнит Бекетова, должен помнить.

— А того... Сергея Петровича, моего коллегу по Подсосенскому, с которым мы писали книгу об Ушинском, того самого Бекетова, которого дед зовет Сергунькой, а мама Серегой?..— спросил Бардин, накаляясь. Последние слова он почти выкрикнул.

— Что ты хочешь этим сказать, отец?— улыбнулся Сережа.

— А то, что этот самый Бекетов... будет сегодня вечером у деда в Ивантеевке...

— Я же тебе сказал, что приеду,— блеснул своими серо-зелеными глазами сын. Бардину почудилось, что слезы заволокли глаза сына.— Я только хотел спросить, Коля Тамбиев будет?..— Сын точно давал понять, что в разговоре, который начал отец, больше заинтересован он, Егор Иванович, а не Сережа.

— Будет... разумеется,— сказал Бардин и пошел к себе.

Николай Тамбиев, референт отдела печати, жил в Ивантеевке, часто бывал у старика Бардина и через него был знаком и даже дружен с детьми Егора Ивановича.

Бардин склонился над гантелями, не ощутив живо-

та. Такое бывало нечасто, ничто не могло так поправить ему настроение, как это. «Р-р-аз, два, р-р-аз!» Гантели шли необычно легко. «Вот сейчас закончу и стану на весы, — подумал он. — Или не надо?.. Р-р-аз!» Весы неумолимы, им ничего не стоит показать 110. Не 109,5, как того хотел Бардин, а именно 110. И тогда все пойдет прахом, хорошее настроение тоже... «Р-р-аз, два!.. Так стать на весы или нет?.. — Он положил гантели и подошел к весам. Долго стоял подле них, не решаясь поднять ногу и поставить на рубчатую резину. — А вдруг покажут 110? Нет!»

Он вздохнул и быстро пошел в ванную. Открыл оба крана и, пофыркивая и радостно вздыхая, полез под душ. Он мылся в собственное удовольствие — он взял мочалку пожестче и принялся тереть свои тугие бицепсы. Казалось, кровь подступила к самой коже — полное тело стало пунцовым. Он выключил краны и начал мылиться. Обильная пена лежала сейчас на нем, вздрагивая и взрываясь. Не открывая глаз, он нащупал кран с горячей водой, стал медленно его прикручивать. Вода стала прохладной, потом неожиданно холодной.

— О мать божья! — вскрикнул он, да так громко, что Сережа, случайно оказавшийся рядом с ванной комнатой со стаканом молока, чуть его не выронил.

— Я не могу уже! Когда это кончится? — возмутился Сергей.

Бардин появился в столовой, когда сын заканчивал завтрак. Увидев стакан молока и кусок французской булки, Егор Иванович отвел глаза.

— Убери ты этот хлеб, Сергей, у меня голова кружится.

Но Сережа не шелохнулся.

— Ты видел? — указал Сергей глазами на газету.

— Что именно? — переспросил Бардин не столько осознанно, сколько по инерции и потянулся к газете.

— Тут написано: «В Москву прибывает Риббентроп...» — произнес Сергей. Его спина оставалась горестно ссутуленной.

— Ну и что?.. Если там сказано «приезжает», значит, приезжает! Но чего ты... опешил?..

— Опешил? Я... просто хочу знать: не его ли ты встречаешь сегодня?

— Его.

Бардин вышел из столовой, и вновь к нему вернулись утренняя слабость и утренняя смутность. Вот сейчас, сию минуту, нечто смятенное вторглось и в сознание сына, все переиначив, все обратив в руины, все, что воспринял он с младенчества вместе с ощущением солнца и дождя, все, что определило для него форму окружающего мира, все, что сделало его кровь алой, а его волосы нежно пепельными, все, все вдруг полетело в преисподнюю, обратившись в прах, чтобы никогда не обрести прежних черт и размеров.

Когда автомобиль Бардина миновал Белорусский вокзал и покатил вдоль аллеи, уже тронутой предосенней желтизной, мимо проплыл черный лимузин с бордовым флажком на радиаторе. Случайный блик ворвался в сумерки лимузина, и Бардин увидел Шуленбурга. Германский посол сидел, полусклонившись, и слушал человека, сидящего рядом. По вертикальной складке на щеке человека, очень характерной, и по плечам, которые тот приподнимал, когда говорил, Бардин узнал советника фон Хильгера. Лицо Шуленбурга выражало внимание, пожалуй, даже большее, с каким послу полагалось слушать своего советника. Нет, задача, которую задал этот августовский день, была нелегка и для немцев. Бардин еще раздумывал, чем объяснить тревогу, которую он прочел на лице Шуленбурга, когда заметил, как идущий впереди лимузин замедлил движение, дав возможность автомобилю Бардина обойти его. Видно, точность изменила немцам — обычно немецкие часы действовали безупречно.

Промчался лимузин с итальянским флагом, промчался стремительно, не боясь ни опоздать, ни прибыть раньше времени. Лимузин проследовал, а в глазах еще долго маячил золотой погон итальянского военного атташе. Бардин не очень понимал, почему итальянский посол взял с собой полковника, — кроме золотого шитья своего мундира, итальянский военный решительно ничего не мог добавить ко встрече на аэродроме.

Проследовала черная «сигара» Потемкина. Бардин не видел лица Владимира Петровича, но наклоненная

фигура, обозначившаяся за автомобильным окном, выражала беспокойство и ожидание.

Когда приземлившийся самолет, жестко вращая винтами, двинулся по полю и группа встречающих разделилась на трое, Бардин вдруг увидел, что русские заметно отстали от немцев и итальянцев, хотя по долгу хозяев им следовало быть впереди.

Самолет приблизился к кромке поля, и вращение винтов усилилось. К борту пододвинули трап. Дверь самолета нехотя распахнулась, но ее овальный проем некоторое время оставался черным. Потом в овале появилась фигура Риббентропа, странно согбенная. Выходя из самолета, Риббентроп выпрямился и заулыбался. От самолетной двери до земли было неблизко, и все время, пока рейхсминистр сходил, осторожно выбрасывая длинные ноги, он продолжал улыбаться.

— Приветствую вас в Москве, — сказал ему Потемкин, и лицо Риббентропа вдруг стало внимательно-печальным. Собственно, в словах Владимира Петровича, как заметил Бардин, была полная мера радушия, но тон, тон явно не соответствовал словам, и улыбку точно ветром сдуло с лица немца.

Протягивая руку, Риббентроп заметно напрягал ее, стараясь придать ей и энергичность, и твердость, и в этом, как показалось Егору Ивановичу, было больше робости, чем храбрости. Края рта у Риббентропа были, будто у рождественского деда, загнуты вверх, что придавало лицу простоватость, которой не было в глазах — глаза были сладки и откровенно лукавы.

Германский и итальянский послы представили рейхсминистру коллег, при этом итальянский полковник приподнял толстые плечи и хихикнул, но это не возымело действия — края рта у Риббентропа все еще были загнуты вверх, но они не обозначали улыбки. Рейхсминистр вдруг вспомнил, что его ждет автомобиль, и пошел к аэровокзалу.

Егору Ивановичу показалось, что с той минуты, когда Риббентроп появился в овале самолетной двери, до того самого момента, как он сел в автомобиль, немец точно становился тише, тревожно-сосредоточеннее — то большое и смутно-неизведенное, что ждало его сего-

дня, явно овладевало его сознанием. Егору Ивановичу пришел на ум утренний разговор с сыном. И вновь Егор Иванович подумал: что-то происходит такое, что способно все изменить и переиначить. Завтра сам цвет земли и неба должен быть иным, все, что испокон веков было черным, станет белым... Станет или... Бардин внушил себе такое? Да можно ли внушить человеку то, что отвергает его сознание, что противно его первоприроде, что невозможно привить его коже и крови — она взорвется и отделит это от себя, как здоровая ткань отделяет от себя струпья мертвой ткани. И еще думал Егор Иванович: да волен ли он распоряжаться в такой мере своим сознанием, самим представлением об окружающем мире? А коли он сам не может заставить себя думать иначе, попробуй перемочь сознание другого. И вновь в памяти встали дымно-лунные очи сына, злые, злые... Попробуй внушить Сереже доверие к тевтону, он задаст тебе такого, что и костей не соберешь. Однако как это все произойдет сегодня и как это может произойти физически? Удержится ли солнце на небе, не оборвется?

И Бардин ощутил, как напряглось что-то внутри, чутче стал сам слух — слышно шуршание скатывающейся песчинки в песочных часах, — чутче, чутче... Ну что ж, судьба нынче милостива к Егору Ивановичу, он углядит, как скатывается песчинка по шершавой поверхности песка, — Риббентропа повезет к кремлевским воротам он.

Если все должно совершиться в один день, очевидно, нет времени и для обычной в этом случае экспозиции — за тридцать минут, которые даны немцам на сборы в Кремлевский дворец, едва ли сменишь сорочку. Но рейхсминистр терпим — тридцать так тридцать.

От особняка, где расположились немцы, до Кремля — семь минут. День хотя и ветренный, но знойный. Москвичи одеты в белое. У киосков с водой очереди. Соломенные шляпы, матерчатые панамы, даже тюбетейки — их много. На углу улицы Горького и Охотного человек в роговых очках и тюбетейке смотрит в упор на автомобиль, в котором едут немцы. Под мышкой у него томик в темно-коричневом коленкоре — библиотека «Академии». Бардин пробует угадать книгу:

Сервантес или Данте? Нет, все-таки Сервантес. Кажется, человек в тюбетейке встретился взглядом с Риббентропом. Такое впечатление, что этот взгляд даже что-то сказал человеку. Он сошел с тротуара, глядя вслед удаляющейся машине, но, потеряв надежду рассмотреть, снял тюбетейку и вытер ею лицо, вытер ото лба до шеи — видно, оно вмиг стало мокрым. «О чем подумал этот человек, увидев Риббентропа? — Спросил себя Бардин. — Почему он сошел с тротуара и взглянул машине вслед?»

Когда автомобиль приблизился к Спасским воротам и Бардин по привычке поднял глаза к надвратной башне, часы показывали два. Все, что должно произойти, произойдет в этот час, остальное явится большим или меньшим дополнением к главному, подумал Бардин. Подумал и забыл. А жаль, если бы помнил, подивился бы — точно в воду смотрел, все было так.

...Они долго шли коридорами, сопровождаемые офицерами охраны. Нещадно скрипели сапоги офицеров. Покашливал Риббентроп, каждый раз поднося ко рту зажатый в руке платочек. Шуленбург не мог удержать вдоха. И бесшумно ступал советник рейхсминистра Гаус, не ступал — парил.

— Да хорошо ли вам, господин посол, у вас лицо зеленое?

— И у вас, господин рейхсминистр... — улыбнулся Шуленбург через силу. — К счастью, не сердце тому причиной. Взгляните на стены! — Он повел глазами вокруг себя: комната, в которую они вошли, оказалась зеленой.

Риббентроп шевельнул пальцами левой руки, рассматривая квадратный аметист перстня, рассматривая пристально, точно желая убедиться, не воспринял ли и камень цвет зеленых стен.

Бардин оглядел комнату. За столом, стоящим у дальней стены, сидел Бекетов. Молча, одними глазами, Егор Иванович приветствовал друга. Трудно предположить, чтобы приход Риббентропа был для Бекетова событием заурядным, но, обменявшись поклонами с гостями, он уткнулся в свои бумаги и не поднял глаз до тех пор, пока немцы не покинули приемной. «Ничего не скажешь, силен Бекетыч, наверно, он весь здесь! — вос-

хищенно отметил Бардин.— Мне бы это было не под силу».

— Господин Молотов сейчас примет вас...

Риббентроп взглянул на квадратный аметист перстня и решительно направился в кабинет, точно желая в самом стуке своих ботинок обрести уверенность, которой так недоставало ему сейчас.

Он скользнул взглядом по кабинету, остановив глаза на оконных гардинах, кожаных креслах, двери, врезанной в панель. Эта дверь, врезанная в панель, привлекла внимание рейхсминистра больше, чем что-либо иное из того, что он увидел в кабинете. При взгляде на дверь глаза рейхсминистра даже выразили некоторое любопытство. «Что бы это могло означать?» — будто бы спросил он себя.

Из-за стола поднялся Молотов. Его серый костюм, очень летний, и белая сорочка с мягким воротником казались будничными в сравнении с черными костюмами гостей.

— Дух братства, который связывал русский и германский народы...— произнес Риббентроп и сделал попытку удержать руку Молотова.

— Между нами не может быть братства,— сказал Молотов, высвобождая руку.— Если хотите, поговорим о цифрах...

Лицо Риббентропа стало едва ли не таким же постно-унылым, как там, на аэродроме, при первом разговоре с Потемкиным,— здесь, как и там, едва он начал говорить о дружбе, неприязнь была ответом на его слова, неприязнь откровенная.

Рейхсминистр еще не успел подавить в себе смятение, вызванное последними словами Молотова, когда за спиной не столько скрипнула, сколько мягко зашумела открывающаяся дверь. Риббентроп оглянулся — верно, пришла в движение дверь, врезанная в панель, та самая, на которую он обратил внимание. Вошел Сталин. В светло-сером костюме и черных сапогах, с трубкой в руке, он, видно, был очень похож на традиционного Сталина, каким глядел он с газетных полос, Риббентроп, заметно смешавшись, отступил. Но Сталин протянул руку с трубкой к стульям, предлагая сесть. Немцы усиленно задвигали стульями, рассаживаясь. Казалось, в самой возможности утвердить свои

оставшие тела на стульях для них было спасение от той неловкости, которая ими владела.

— Каким образом Германия может получить нейтралитет России? — произнес рейхсминистр, обращаясь к Сталину. Фраза была обнаженно деловой, больше того, демонстративно холодной.

Сталин взглянул на Риббентропа, не скрывая неприязни. Эта реплика германского министра о нейтралитете оскорбительна для правительства СССР. В самом деле, о каком нейтралитете у советской стороны может идти речь с министром фашистской Германии? Смысл нынешних переговоров для правительства СССР: выгадать время, только выгадать время. Значит, в порядке дня лишь договор о ненападении. Но и он может быть подписан, если рейх в своей русской политике откажется от агрессии. Сталин сейчас так и сказал: «...если вы сами не перестанете строить агрессивные планы в отношении СССР». Сказал и медленно пошел по комнате, при этом его сильные ноги ступали странно бесшумно.

— Мы не забываем того, что вашей конечной целью является нападение на нас, — сказал он, останавливаясь подле Риббентропа и не отказывая себе в удовольствии взглянуть на него сверху вниз.

Риббентроп поднял глаза на Сталина — начало явно не сулило ничего доброго. Происходило нечто непонятное Риббентропу. Если русские дали согласие на его приезд, значит, у них было желание договориться. А если такое желание имело место, то какой смысл вести разговор в тонах столь нетерпимых? Риббентроп не требует политеса, не демонстрировать неприязнь... Нет, в этом не было элементарного смысла.

— Вы ошибаетесь, — произнес Риббентроп, обращаясь к Сталину, и приподнялся, приподнялся не столько из-за того, чтобы лишить Сталина возможности смотреть на него сверху вниз, сколько чтобы оказать известное уважение собеседнику. — Национал-социализм и большевизм могут договориться и господствовать в Европе и даже во всем мире...

Сталин пошел прочь от Риббентропа — он любил говорить расхаживая по кабинету. Никто не мог себе позволить такого — он мог. В этом была уверенность

человека, чья беседа с людьми в течение многих лет была не столько диалогом, сколько монологом.

— У нас достаточно дел у себя дома, чтобы хотеть бросить искру к соседу, — подал он голос с противоположного конца комнаты. Он обрел уверенность в русском, обращаясь к принятым оборотам: «Бросить искру к соседу».

Говорил Молотов. Видно, те несколько фраз, которые он произнес, сложились не сейчас — он говорил с большей свободой, чем обычно. Он сказал, что не может быть речи о заключении пакта о дружбе. Слишком велика разница во взглядах. Впрочем, если это соответствует желанию Германии, то может быть заключено соглашение, главная статья которого гласила бы, что договаривающиеся стороны обязуются не участвовать ни в какой группировке держав, которая прямо или косвенно была бы направлена против другой стороны.

Риббентроп сел. Советский министр иностранных дел не казался Риббентропу уступчивее Сталина. Больше того, он мог показаться много строптивее. Если это тактика, то понять ее можно — на великодушные имеет право только лицо, стоящее выше тебя. А может быть, объяснение всех причин не в тактике, а в характерах, в линии поведения? Возможно и такое, даже у большевиков, где солидарность так сильна, что различие в характерах не уловишь.

— Но, может быть, вы готовы заключить торговое соглашение? — спросил Риббентроп Молотова. Рейхсминистр склонен был идти на компромисс, но компромисс для себя минимальный. Договор о нейтралитете плюс торговое соглашение — это уже что-то значило.

— Сегодня нам не удастся договориться, — сказал Молотов и внезапно встал. Теперь на своих местах оставались только немцы. В этом была для немцев некоторая неловкость. Не сознательно ли русские заставили испытать их эту неловкость? Если сознательно, то почему? Не только же немцы заинтересованы в происходящих переговорах.

Риббентроп приподнялся и, удерживая коллег на своих местах, произнес:

— Англо-французы хотят подвергнуть блокаде Гер-

манию и Советскую Россию! — Тон, которым были произнесены эти несколько слов, отражал если не отчаяние, то откровенное уныние.

— Вы все-таки хотите, чтобы мы рассмотрели вопрос о военном союзе между Москвой и Берлином? — спросил Молотов.

— А почему бы и нет? — ответил Риббентроп, воодушевляясь. Вопрос Молотова обнадеживал.

— Об этом не может быть и речи, — сказал Молотов и взглянул на Сталина.

— Не может быть и речи, — подтвердил Сталин.

Главные линии переговоров наметились в первый час: немцы предложили заключить пакт о дружбе и военном союзе. Советская сторона отвергла эту перспективу, дав согласие на договор о ненападении.

Поздно вечером, когда договор был подписан и немцы уехали из Кремля, усталые и, как показалось Бардину, радостно-встревоженные, Сталин неожиданно появился в большой комнате секретариата, где работали эксперты гражданские и военные. То ли в общении он хотел обрести уверенность, то ли хотел дать понять, что договор, подписанный только что, отнюдь не проявление лишь его инициативы.

— Как вы полагаете, товарищи, — он остановился у стола, где сидел над немецким текстом договора известный профессор-правовик, — в каком случае заключение такого пакта оправданно?..

Профессор приподнялся и энергично наморщил длинный нос.

— Если передышка будет длиться пять лет, — ответил профессор.

Лицо Сталина, тронутое оспой, потемнело, будто тенью заполнилась каждая оспинка.

— Значит, пять? — произнес он, обнаружив больший акцент, чем обычно, он сказал «пят». Когда он волновался, первым у него выходил из повиновения мягкий знак. — А как думает... Бекетов? — Он остановил взгляд на дальнем столе, за которым сидел Сергей Петрович.

Бардин увидел, как встал Сергей и, подобно тому, как это бывало с Бекетовым в минуту волнения многократ прежде, поднял ладонь к груди, точно защища-

ясь. Друг Сергей, бесценный, на веки веков друг... Как же он был дорог Бардину всегда, и в эту минуту в особенности. Егор Иванович смотрел на друга и видел его таким, каким не видел никогда прежде. И все, что увидел Егор Иванович в друге, несло следы трагедии, пережитой Бекетовым. И руки Сергея с неожиданно вздувшимися венами. И морщины, что собрались под мочкой и у кадыка. И белая голова, которая стала такой белой, точно выгорела на солнце Печоры. Оно должно быть неожиданно знойным, это солнце. И темно-синий костюм, который он решил надеть сегодня, чуть просторноватый, с широкими лацканами. Он купил этот костюм еще до первой поездки за рубеж, тогда этот цвет был в моде. Бардин смотрел на Сергея, думал: «Вон как пошли гулять красные пятна по лицу Бекетова. Не много ли требует Сталин от Сергея? Не выдюжит нынче Сергей, не одолеет себя, самого себя не одолеет, сорвется...» И еще увидел Бардин в друге... Это его глаза, какие-то робко-тоскливые, не бекетовские... Не могло быть у Сергея таких глаз, не его глаза!.. И вновь стало жаль Сергея, жаль неудержимо. «Придется худо Бекетову — ринуть на подмогу. Была не была, ринуть... Ах ты дружище... Славный и бедный ты человек!»

— Я затрудняюсь ответить, товарищ Сталин,— услышал Бардин голос Бекетова. Да, так и сказал: «Товарищ Сталин», сказал так и, наверно, подумал: «Надо ли говорить «Товарищ Сталин»?» Прежде они звали друг друга доверительно-дружески по имени. Как звучит сейчас: «Товарищ Сталин»? Старое обращение друзей по борьбе, комбатантов по оружию... Как оно прозвучит сейчас и как будет принято Сталиным? Не увидит ли он иронию там, где ее нет и в помине, а есть смятение? Ну конечно, смятение — вон какие глаза у Сергея, не храбрые.

— «Затрудняюсь»? — переспросил Сталин.— Разве это так неясно? — Он отступил, намереваясь возвратиться в комнату, из которой вышел, но потом остановился, раздумывая, что же ответит Бекетов.

А Бекетов думал: с той сентябрьской ночи тридцать первого года, теперь уже призрачной, когда его вдруг вызвали в Кремль и Сталин спросил, что он думает о возобновлении отношений с Америкой, нынешняя их

встреча была первой. Тогда эта встреча была где-то здесь, может быть, в той самой комнате, из которой вышел сейчас Сталин, а между одной комнатой и другой легли эти восемь лет, и белые снега Печоры, и дощатый городок, стоящий на скате взгорья.

— Надо подождать год, — сказал Бекетов. — Год покажет...

Сталин сдвинулся с места.

— «Год покажет», — произнес он, и в голосе его прозвучала ирония — ему не нравился ответ Бекетова, но он не хотел этого обнаруживать при всех. — «Покажет... Покажет...» Мы все сильны задним умом, но решать надо сегодня... — произнес он теперь уже безо всякой иронии. — «Покажет»... — сказал он и направился в кабинет, однако, прежде чем войти в него, остановился. — Сильны задним умом... — повторил он и, войдя, тронул дверь. Дверь скрипнула и остановилась — видно, закрыть ее плотно у него уже не было сил.

Бекетов уснул, как только машина выехала за черту города. Он слишком хорошо знал ивантеевский дом Бардиных, чтобы надеяться лечь раньше утра. Бардину показалось, что в машине свежо, и он наклонился, чтобы закрыть боковое стекло. На него глянул черный шатер ели и небо, яснозвездное, августовское. И вид этого неба, пугающе неоглядного, обратил мысли Бардина к тому, что произошло сегодня ночью. Есть решения, которые не вправе принять один человек, кем бы он ни был... Бардин хотел думать, что решение, принятое этой ночью, было принято не единолично. А коли так, была ли уверенность, что это единственно верный шаг из тысячи возможных? Бардин пытался воссоздать подробности минувшего дня. Наверно, самым характерным в этих переговорах была фраза, сказанная Риббентропу Молотовым, когда речь зашла о военном союзе: «Об этом не может быть и речи». Значит, пределы переговоров были обозначены советской стороной заранее и очерчены тщательно — только договор о ненападении, не больше. Но насколько мы уверены, что договор о ненападении соответствует нашим интересам, — вот вопрос.

— Послушай, Сергей... Да проснись ты, господи ради, еще наспишись!

Бекетов поднял голову и, еще не придя в себя, испуганно пощупал, в порядке ли галстук.

От Бардина не ускользнул этот жест друга.

— Ты и на Печоре галстук носил?

— Носил.

Бардин протянул руку, коснулся затылка друга, ощутив, как мягко-ласковы его волосы. Все годы, сколько они помнят друг друга, жил этот жест. В нем, в этом жесте, были и участие, и укор, и похвала за ненароком выказанную доблесть.

— А не поспешили мы с немцами?.. — спросил Егор. Он пытался увидеть глаза Бекетова, но они были скрыты тьмой. — Может быть, там, на Спиридоньевке, надо было выждать, проявить большую осмотрительность и большее терпение?.. Как ты, Сергей?.. Была надежда?

Бекетов молчал. Все так же шли поодаль одна за другой ели, черные, широкогрудые, не ели — курганы.

— Надежда? Вряд ли.

Бардин увидел небо с гроздьями вызревших звезд, крупных, августовских. «В мире не все так очевидно, как может показаться одному человеку, — думал Егор Иванович. — Самый убедительный довод можно оспорить таким же убедительным контрдоводом. Истина — плод ума коллективного. В какой мере Сталин уверен, что поступает правильно? В самом деле, в какой?» — продолжал раздумывать Бардин.

И вновь Егор Иванович увидел полуоткрытую дверь с зеленой полоской света в кабинете, которая столь необычным образом выражала для Бардина нелегкое раздумье человека, прошедшего в кабинет. «Сильны задним умом...» — все еще слышал Бардин голос Сталина.

Где-то недалеко, справа, за густым пологом ночи и леса гудели моторы — готовились к утренним полетам. Прямо, по движению шоссе, поднятые высоко в ночь, горели сигнальные огни радиостанции, самой мачты не было видно. Еще дальше, над лесным увалом, самолет нес красный огонек, нес торопливо, будто снял его с радиомачты и спешил унести в ночь.

Егор Иванович взглянул на часы — три. Однако поздно. Как сейчас у Бардиных, на третьем этаже большого дома, в самом названии которого отразилось время — жилкомбинат? Как там, в гостиной, выходящей на росистый лес, на черное поле, в ночь?.. Как они там, уснули или включили приемник и слушают Лондон: «Час назад Кремль пошел на мировую с Германией...» Как там, на третьем этаже жилкомбината, в квартире Иоанна Бардина, старший сын которого едва ли не приложил руку под этой мировой, а младший накануне вернулся из Испании?

Ивантеевский дом Бардина вернее было назвать домом младшего сына Мирона, авиационного инженера и летчика, убежденного холостяка и порядочного повесы, недавно вернувшегося из Испании с кучей орденов и простреленным плечом. Всем сыновьям отец предпочитал своего последыша и задолго до отъезда Мирона в Испанию заколотил свою квартиру на Варварке и переехал в Ивантеевку, точно указав сыновьям, старшему, Якову, и среднему, Егору, где отныне будет его резиденция. Все страсти старика теперь нашли в ивантеевском обиталище отражение достаточное. В большой библиотеке, перевезенной с Варварки, — увлечение внешними связями русского средневековья, изучению которых Иоанн Бардин посвятил годы; в пудовой коллекции пшеничных злаков — богатствами русского поля. Далеко не всем сыновьям Иоанна Бардина были близки профессиональные интересы отца, но все Бардины восприняли любовь Иоанна к матушке-земле. Исключения не составил и старший, Яков, командир-строевик, вместе со своей пехотной дивизией, а потом корпусом переселившийся в степную Таврию на полтора десятилетия, однако использующий каждую возможность, чтобы побывать в родительском доме, будь то очередной отпуск, как сейчас, или вызов в академию Генштаба, заочником которой он был. Так или иначе, а Егор Бардин и его друг ехали этой ночью не в пустой дом — большая семья Бардиных, по крайней мере ее мужская половина, была в сборе.

— Без меня не нашел бы дорогу? — спросил Егор Иванович, выходя из машины. — Небось забыл Миронову обитель?

— Нет, не забыл,— ответил Бекетов. Он бывал здесь, и не однажды.

— Егор Иванович, это вы? — В стороне от крыльца человек с непокрытой головой попыхивал папиросой. Бардин подошел. Полковник Бабкин, его квартира рядом с Мироновой. Старый вояка: в гражданской кавалерист, в гражданской и летчик. Летал на «этажерочках» — «фарманах» и «вуазенах». — Извините, что не угощаю,— указал Бабкин взглядом на самокрутку. — Вот разыскал в старых галифе, шитых кожей, кисет с махрой и соорудил эту пакость... Час назад слушал радио, и голова пошла кругом, не уснуть... Скажите слово человеческое, Егор Иванович... — Он настороженно-недоверчиво взглянул на Бекетова, который показался из темноты с плащом через руку, спросил, понизив голос: — Как назвать все это? Брест?.. Брест тысяча девятьсот тридцать девятого года?

Бардин молчал. Тянуло предутренним ветром, студено-сырым уже по-сентябрьски. Пахло махорочным дымом (ветер дул от Бабкина), горьковато-жестким. В дыме этом было для Егора Ивановича нечто тоскливое, что лежало у сердца и тревожило.

— Я спрашиваю, Брест?..

— Брест Брестом, а это иное,— ответил Бардин.

— Плохо дело.

— Это почему же?

— Понимать нам головой, Егор Иванович, а воевать сердцем... У головы — шея. Ей, голове, легко поворачиваться. Хочешь, налево, а хочешь, направо. Есть такие, что могут на сто восемьдесят... Р-р-аз — и глаза на затылке. А вот попробуй поверни сердце...

Бардин засмеялся.

— Нет у сердца шеи?

— Природа не дала, Егор Иванович.

Бабкин затянулся, и огонь самокрутки осветил его лицо, неожиданно курносое, в резких и грубых морщинах, лицо старого крестьянина..

— Чую, гореть мне в адовом пекле бессонницы! Да только ли мне?

Он оглядел дом. Вопреки позднему часу многие окна были освещены.

Как и предполагал Егор Иванович, Бардины бодрствовали, только Сережу и его дружка Колю Тамбиева

сморил сон. Они уместились на одном диване, да еще нашлось место для многомудрого Тарле — ответы на все вопросы, которые поставило перед ними время, они пытались отыскать в книге о Наполеоне.

Гостей встретил Иоанн Бардин. С сыном поздоровался, облобызавшись по бардинскому обычаю, Бекетова заключил в объятия и прослезился.

— Бог видит правду, Сергунька...— сказал он, смахивая слезу.

— Видит, Иван Кузьмич,— сказал Бекетов. Он решительно отказывался называть старика Иоанном.

Яков протянул загорелую руку, блеснул молодыми зубами, они у него на всю жизнь молодые.

— Здравствуйте, Сергей Петрович, рад видеть вас.

— Здравствуй, Яков.

Мирон, все еще в штатском костюме — единственная реликвия, которую он вывез из Испании, не считая поврежденного плеча, — неожиданно появился перед Бекетовым, поклонился с радостной корректностью.

— Есть будете? Небось навоевались в охотку. Чтобы немца победить, нужно вон сколько силы!

— Да, силы...— снисходительно заметил Егор, оставив без ответа иронию брата.

Как ни голоден был Бекетов, он, прежде чем взять вилку, пододвинул солонку, потом перечницу, довел еду до вкуса — казалось, ему приятен был сам этот процесс.

Бардин принялся за еду сразу. Он ел и смотрел по сторонам, соображал. Видно, приемник был выключен не в самый спокойный момент — стулья вокруг приемника стояли, будто повздорившие, спинками друг к другу.

— Ты сыт, Бардин? — спросил Мирон и глубже опустил в кресло — любил человек глубокие кресла. Погрузился в их ткань, только глаза да чуб торчат. Не через соломинку ли, выведенную наружу, дышит человек?

— Да.

— А коли сыт, небось можешь слушать?

— Могу.

Егор огляделся. Две пары глаз, ненастно-серых, бардинских, смотрели на него из противоположных углов комнаты.

— Мы здесь чуть не передрались до тебя,— сказал отец.

— Что так? — спросил Егор и взглянул на брата: отец, видно, имел в виду его, когда говорил о жестокой стычке.

— Я сказал, не грех нам подумать и о России! — произнес старший Бардин.— Вот говорят: «Родина Октября». Так ведь это же привилегия быть родиной Октября, а коли привилегия, значит, и все блага тебе. Только пойми, тебе, а не с тебя.

Мирон залился гневным румянцем.

— А мне, например, ничего не надо. Ты можешь это понять, ничего. Только дай мне возможность быть тем, кто я есть, и я готов все отдать, что имею. Даже, как в Испании, жизнь. Готов.

— Эко хватил! — засмеялся Иоанн.— Да я и не отнимаю этой твоей... готовности!.. Молод Мирон, все еще молод! — произнес старик Бардин и направился в соседнюю комнату, но голос Мирона остановил его.

— Молод, значит? Молод? Это все, что ты можешь сказать! — заскрипел зубами младший Бардин.— У меня есть один знакомый, известный по Москве книголюб, человек немолодой, лет так... — он внимательно посмотрел на отца, точно примеряясь к его возрасту, — лет так за семьдесят! Так он говорит как-то мне: «Знаешь, Мирон, я научно установил, что в двадцать два года я был умнее».

Егор отставил тарелку, улыбнулся.

— Уже... начал учить батю? Хорошо! А я думаю: «Когда он начнет учить отца родного?» У меня это было в семнадцать, а у тебя в тридцать два? Ну что ж, лучше поздно... хорошо.

Яков смущенно откашлялся, произнес:

— Вот что, Мирон, отца не обижай...

— Если он отец, пусть не говорит глупостей.

— Тебе можно их говорить, а ему нельзя? — засмеялся Егор.

— Мне можно,— согласился Мирон, улыбнувшись.

Наступила пауза.

— Я хочу наконец знать, что происходит? — произнес Иоанн Бардин.— Могу я знать?

Встал Яков, распечатал коробку «Казбека», закурил.

— Сегодня в академии было черт знает что, — упер он взгляд в Бекетова, сидящего в затененном углу. — Никто ничего понять не может... хоть бы доклад какой о международном положении сделали, разъяснили... Воевать-то нам, в конце концов!

— Я же говорю, воевать нам! — сказал Мирон.

Дым от папиросы Якова поплыл по дому, он был этот дым, не такой горький, как от сигарки-самокрутки, что курил у подъезда полковник Бабкин. Табак, который только что раскурил Яков, нес иные запахи: приволье и солнечную даль далекого южного края.

— Я все думаю: да вы ли это?.. — подал голос Бекетов. Зычный голос старшего Бардина растревожил и его. — Не могу себе представить, чтобы вы говорили такое пять лет назад. Убейте — не могу! — произнес он. — Здесь задача и для психолога, и для социолога... Немалая задача: как могло все это завладеть умом вашим?

Бекетов не сказал, как он относится к тому, что только что произнес старший Бардин, он всего лишь выразил удивление, смешанное с испугом, что слышит такое от Бардина, — Бекетов оставался Бекетовым.

— Значит, все дело в передышке? — спросил Яков.

— Мне так кажется, — сказал Егор.

— Так ведь передышка всегда нужна... Сколько будешь жить, столько и будет тебе недоставать двух-трех лет передышу.

— Ты полагаешь, что готов и сегодня? — спросил Егор.

— Нет, я этого не сказал, — ответил Яков.

— Небось ждешь нового оружия?

— Жду.

— А может, еще чего ждешь?

— Жду.

— Чего?

Яков взглянул в затененный угол, где все так же внимательно следил за беседой Бекетов.

— Ты думаешь, что тридцать седьмой позабыт? — выкрикнул Яков и устремил ненароком глаза в Бекетова. — Позабыт?.. Куда там!

— Значит, передышка тебе не противопоказана? — спросил Егор.

— Моя сила на три жизни определена, а вот войско мое доблестное...

— А разве оно не доблестное?

— Я этого не сказал... — смутился Яков.

— Иногда надо упростить позицию, чтобы ощутить ее преимущества, — сказал Егор Иванович. — Все просто: нас хотят сшибить с немцами, как в восемнадцатом и, пожалуй, в двадцать втором. Мы обращаем немецкий поток вспять, как в восемнадцатом и двадцать втором... Поток вернется? Пожалуй, но мы в выигрыше. Год — выигрыш, два — выигрыш бесценный, равный грядущей победе. Нам очень нужны эти два года — испанский урок не обращен в железо... Оружие, которое мы обязаны иметь сегодня, мы обретем через два года.

— У вас не будет его и через три года! — произнес Мирон едва ли не полупшепотом. — В Испании был я, не ты... — сказал он брату. — Не ты испытываешь авиамоторы и не ты их строишь. Это делаю я, пойми — я... — Он весь утонул в своем кресле, только продолжали торчать его глаза да три волосины его непокорного чуба. — У войны сегодня иные скорости... Сегодня все совершается много быстрее, чем вчера! К тому времени, когда ваши новые моторы будут еще на испытательных стендах, немцы решат все свои проблемы на западе и повернут на восток..

— Запад — не только Англия, — сказал Егор Иванович. Он обрел уверенность. — Америка тоже запад.

Мирон молчал. Казалось, его доводы исчерпаны. Можете верить мне, можете нет, точно говорил он, но и в первом случае и во втором не моя шкура будет в ответе — ваша.

— В жизни не все перелagается на железо и время, — наконец произнес Мирон. — Есть такое... что неподвластно этой грубой формуле. Как ты заставишь меня поверить в целесообразность договора с Гитлером, а завтра оборонять тебя от того же Гитлера, вот проблема.

— Точно так же, как сделали наши отцы во времена Бреста, — реагировал Егор мгновенно, видно, эта фраза была у него наготове.

— Я враг всяких сравнений, когда речь идет об истории. Как ни плох кайзеризм, это не фашизм, — произнес Мирон. — Я лежал в гвадалахарской глине и видел над собой свастику... Видел, видел!.. Я не могу принять ее за ..иной знак только потому, что этого хочет мой брат!..

— Прости меня, Мирон, но ты... глуп.

Мирон выскочил из своего кресла, словно его выщелкнули оттуда курком-самовзводом.

— Я солдат, а ты сановник... Вот где правда!.. В жертву этой вашей тактике вы готовы принести самое святое... А я не приемлю этой вашей тактики и не дам вам поганить святое... Я солдат Гвадалахары и умру им. И потом, чем ты жертвуешь, подписывая... эту бумагу?.. А вот Сережка, что спит на дедовском диване, Сережка...

— Мирон, ты с ума сошел! — крикнул старший Бардин на сына. — Ты... положительно спятил!

Тишина, вызванная последней репликой Иоанна, точно затвердела. Непросто было ее разбить, если бы не дверной звонок.

— Господи, кого носит в этукую рань? — возопил Егор Иванович.

Но Иоанн удивился звонку меньше остальных. Не иначе, он ведал, кого носит в этукую рань. Он пошел отпирать дверь.

— Филипп!.. — подал голос Иоанн и тут же поправился: — Дядя Филипп!

Явился Филипп и, не обращая внимания на прочих, пошел к Егору.

— Здравствуй, милый... Вот узнал, что ты будешь, встал на часок раньше и сделал крюка... от своей Барабихи, — он, казалось бы, против воли Бардина распахнул короткие ручки и попытался заключить его в объятия, но, не справившись с могучей статью, оставил Егора в покое, улыбнулся, пошел в коридор. — Вот тебе... гостинца от моего Петеньки.

Он внес в комнату вещевой мешок и извлек оттуда здоровенную рыбину, завернутую в газету.

— Хороша... белорыбица, ой хороша... угощайтесь!

Наступила тишина, она была, определенно, тверже той, которая предшествовала приходу Филиппа.

— Это... за что гостинец-то? — иронически усмехнулся Мирон, пододвигая свой стул к столу, на котором лежала рыбина, — ее запах был непобедим. — Не иначе... крестный подсобил Петьке прошибить дорогу в техникум?

Филипп захохотал, не тая голоса.

— Бери выше — на подготовительный... в институт!

— Нет, Филипп, ты это брось! — воспротивился Егор и вытер влажный лоб. — Если бы не сдал Петр, небось и Бардин ничего не сделал бы. Петр — парень еще тот, он и сам с усам...

— Петр... это верно, — слабо возразил Филипп, — но только я скажу тебе, Егор, что бы мы делали, если бы не ты! Нет, я верно говорю! Верно! Что ни говори, Егор, а ты один такой в бардинском доме! Ей-богу, один! — Никто не шевельнулся, он будто припечатал всех к стульям. — Ну, что... Или забирать мне рыбину?.. Вы все большие люди... замнаркомы там и разные... академики, а кто я? Вас разве удивит белорыбицей-то. Вы и не такое видали, а? А мне она в диковинку, вот я и припер ее! Я-то человек маленький!

Бардин оглянулся. В дверях стоял Сережа со своим дружкой Колей Тамбиевым. Видно, громовая тирада Мирона разбудила их.

— Вот тут у Тарле сказано, что Наполеон перед Ватерлоо... — заметил Сережа и протянул книгу отцу.

— Только тебя здесь с твоим Наполеоном и не хватало, — бросил в сердцах Егор и вышел из комнаты.

«...А вот Сережка, что спит на дедовском диване!» — не шли из головы слова брата, когда поутру автомобиль Бардина покинул Ивантеевку. Сейчас Сережа спал рядом, и его худое тело, странно длинное (длиннее, чем ему надлежит быть), расслабленное сном, вздрагивало, когда машина замедляла ход. Нет, брат был неправ жестокой неправотой, и все-таки было в его словах нечто такое, что брало Бардина за душу. Все, что произошло сегодня ночью, своеобразно воплотилось для Егора Ивановича в судьбе сына. Чего греха таить, если события этой ночи обернутся для России огнем, то адом это пламя первым сожрет сына.

Да, сожрет, не пощадит и его зеленых очей, и его смеха, такого безудержного и заливистого... И оттого, что эта простая истина встала вдруг в сознании Бардина так внезапно и так обнаженно, нечто ощутимо твердое возникло внутри и зажало дыхание. Зажало так прочно, что казалось, разогнешься и остановишь самое сердце. Вот так, согнувшись в три погибели, Бардин доехал до Москвы...

## 1

Этот пятиэтажный дом на Кузнецком мосту подлинно стоит утесом и был бы виден издалека, окажись попросторнее площадь.

Дом стоит на холме, который точнее было бы назвать высоким берегом Неглинки. Когда вы идете от Неглинной, сначала вы и не заметите, что взбираетесь на холм, так полог его склон. Говорят, вскоре после того, как Наркоминдел переехал на Кузнецкий, а квартира Чичерина оставалась в «Метрополе», Георгий Васильевич ходил на работу именно этой дорогой: пересекал Лубянский проезд у Малого театра и, дойдя по Петровке до Кузнецкого, начинал «восхождение».

Десять минут спорого шага, и ты в Наркоминделе даже раньше урочных девяти часов. В этом случае есть свой ориентир, как полагал Георгий Васильевич, безошибочный: в девять нарком начинал прием послов. Если посольской машины нет у подъезда, нет нужды извлекать часы из жилетного кармана — до девяти далеко. Больше того, можно не торопясь пересечь площадь и даже предаться воспоминаниям.

Кстати, сегодня утром Чичерину попала на глаза «Журналь де Женев». Белая гвардия все еще предают анафеме всех присных: «Красные эмиссары, помните урок Воровского!..»

Георгий Васильевич смотрит в глубь площади. Утреннее солнце высветило темную бронзу. Сейчас видно лицо Вацлава Вацлавовича, очень живое... Для говорящего Воровского характерны были эти паузы, которые, казалось, останавливали его речь, как удары колокола, при этом по лицу его точно пробегали токи тревожного волнения. Скульптор ухватил именно этот момент.

Где Георгий Васильевич видел Воровского последний раз? Ну, разумеется, весна двадцать второго года и милая, нетленно всемогущая, бессмертная Генуя!.. Воровский повел Чичерина по этой улочке, узкой и сумеречной, спускающейся к морю, смотреть генуэзское чудо — собор Сан-Лоренцо. Разговор возник, когда Чичерин и Воровский вышли на площадь Де Феррари. И обернувшись, Георгий Васильевич увидел Воровского. Он говорил о том, что истории неведомо, чтобы мир вот так раскалывался надвое, как он раскололся с Октябрем, неведомо, чтобы крепостной ров, заполненный водой, развалил землю надвое... Конечно, дипломатов можно и впредь именовать дипломатами, но если смотреть в корень, то нечто новое восприняла их древняя профессия. Впору взвить над головой белое полотнище и пошагать навстречу огню, как это делают парламентареры. Пощадит пуля — жить тебе и жить, не пощадит — вечная память солдату революции.

Чичерин смотрит в глубь площади: Воровский...

«Память... вечная. И вечно стоять тебе на Кузнецком мосту бессменным часовым, бессмертным часовым...»

Много лет спустя, вспоминая происшедшее, Егор Иванович убедил себя, что ощущение беды было в самом цвете неба, дымного, хотя и безоблачного, которое он увидел сквозь распахнутое окно, в шуме проходящего поезда — ветер дул от железной дороги и поезд гремел немилосердно, тяжелый, маршрутный; в движении ветвей старой березы, которая росла за окном, — ветер свивал и пригибал их к земле. Именно это первое ощущение заставило его сделать в воскресное утро то, чего никогда он не делал: дотянуться до радиоприемника и включить его, а потом, затаив дыхание, прислушаться к хаосу звуков, зная, что сию секунду из их плазмы родится нечто такое, что он обречен услышать, услышать и никуда уже не упрятать.

Он выключил приемник и пошел из комнаты. Посреди столовой, в которую он заглянул, стояла жена, бояся, простоволосая.

— Я все слышала, — сказала она.

— Что делать будем, Ксения?

Она замотала головой так, что ее седые волосы укрыли лицо.

— Сережа, Сережа... — произнесла она, не отводя волос с лица.

Он взглянул на часы — десять минут седьмого, поезда уже пошли.

— Ну что Сережка?.. — воспротивился он, воспротивился по инерции. — Где все, там и он, — сказал он в сердцах и, оглянувшись, осекся — в дверях стоял сын.

— Не война ли?..

— Война, Сережа...

Сын зябко ссутулился, провел ладонью от плеча до запястья — видно, кожа стала гусиной.

— Э-эх, не удастся... в этот раз на Алатау побывать...

Он оглядел родных, надеясь по привычке собрать улыбки, но молчание было ему в ответ, молчание хмурое.

— Это я могу тебе пообещать твердо, не удастся, — сказал Бардин.

Они сидели в столовой. Сидели и молчали.

— Я, пожалуй, поеду, — заторопился вдруг Бардин. — Не могу не поехать, — взглянул он на жену, та кивнула ему в знак согласия, осторожно кивнула, боясь этим кивком испугнуть сына.

Бардин вышел на тропу, ведущую к станции, и, взглянув на небо, подивился тишине, которая лежала вокруг, радостной тишине неведенья. Где-то она пресечется?

Высоко над Ясенцами, над их мягко-зелеными холмами, над зеленью луга, над извивом реки взметнулась голубиная стая — кто-то сильной и доброй рукой пустил голубей в небо, приветствуя солнце, солнце воскресное...

Играла гармошка вразброс, напропалую — парни шли с гульбища.

Где-то в Перловке в вагон вошла женщина с корзиной, полной цыплят, и их гомон, неистребимо весенний, сопровождал Бардина до самой Москвы, а потом он услышал его на Ярославском вокзале, а еще позже, в метро... И гомон этот, казалось, должен был настраи-

вать на веселый лад, а Бардин думал: «Как там сейчас Яков в своей степи?»

Еще с вокзала Бардин позвонил на Кузнецкий. В европейском никого не было, зато в отделе печати оказался Коля Тамбиев.

— Тихо, как никогда, ни одного звонка, в шесть смоюсь! — произнес он, смеясь, и Бардин понял: видно, он только что заступил, ничего не знает.

— Я сейчас буду у тебя, Николай... — сказал Бардин.

— Что-нибудь случилось? — реагировал он тотчас.

— Я буду, — ответил Егор Иванович, не обнаруживая желаний продолжать разговор.

В те двадцать минут, которые потребовались Бардину, чтобы добраться от Ярославского вокзала до Кузнецкого, весть эта пришла и к Тамбиеву. Правда, у главного подъезда, выходящего на площадь, было пустынно, зато в глубине площади, рядом с памятником Воровскому (вход в отдел печати был там), стояло несколько автомашин, разнокалиберных и разномастных, — первая группка иностранных корреспондентов была уже в наркомате.

— Дежурите, товарищ Бардин? — спросил обычно немногословный офицер охраны — тоскливая тишина воскресного дня сделала и его разговорчивым.

— Дежурю, — бросил Бардин и устремился к лифту.

Егор Иванович никого не застал у себя. Впрочем, свежие окурки в пепельнице указывали точно, что дежурный был здесь только что.

Бардин позвонил в секретариат наркома. Ответил Котрубач, долговязый украинец, полысевший в двадцать пять лет, однако не утративший своего жизнелюбивого нрава.

— Ты, Егор? А я уже оборвал и твои телефоны. Бекетова вызывают в Кремль. Всю Москву перелопатил, еле отыскал у друзей где-то в Химках, — он перевел дух. — Прости, хлопче, ты у себя будешь? Включи радио в двенадцать, выступает нарком.

Бардин положил трубку. Зачем Бекетов вызван в Кремль, вот вопрос. Какая нужда в нем в этот трижды страдный день? Недостает его спокойной мудрости, его такта, его человеческого опыта или его английского

языка? «Сжечь мост всегда успеете — не сжигайте мостов!» — это сказал Бекетов.

Что повлекло в Кремль Бекетова?

А Бардин думал: «Отец уже знает об этом? А как Мирон?.. Ему-то самим господом богом знать положено». Бардин представляет, какую ярость вызовет в нем эта новость, ярость на всех и, больно в этом признаться, на брата. «Вот... ваша мудрость-то!» А как Яков, как правильный Яков в своей степи? Кому-кому, а ему придется испить горюшка сполна. И вновь мысли обратились к сыну: «Сережка... Сережа... беда и радость моя!.. Вот Иринка — не то... Что девочке угрожает в ее четырнадцать лет?..» На какую-то минуту он забылся, только повторял безотчетно: «Четырнадцать... Четырнадцать...» Потом задумался: «Четырнадцать?.. Значит, взрослой она станет уже во время войны, долгой войны?»

И Бардин вспомнил ту ночь, ту августовскую ночь в ивантеевской квартире, и стычку с Бекетовым — сколько раз за эти два года вспоминал он спор с другом. «Худо ли, бедно ли, но, когда придет пора бить Гитлера, нашим союзником будет коварный Альбион...» — «Это не Черчилль?» — спросил тогда Егор. «Может, и Черчилль...» — «Но пойти на союз с Черчиллем... не риск ли?» — «Риск? Ну что ж, в каждом новом деле есть доля риска, но заставить врага революции, врага наисвирепейшего, которого, как это ни парадоксально, своеобразно вызвала на свет революция как своего антагониста, заставить этого врага работать на революцию — это и есть признание дипломата-революционера...» — «Черчилль как спаситель... революции? Это что ж... милые шалости диалектики?» — «Если хочешь, диалектики...»

Помнится, в тот раз тирада Бекетова показалась Бардину фантастической. Но то, что в тот раз казалось фантастикой, сейчас выглядело реальным вполне. В самом деле, в такой ли мере несбыточным был сейчас союз с Черчиллем?.. Если спасение англосаксов в союзе с Россией, то почему Россия не может пойти на союз с англосаксами? Но, наверно, есть и третье решение, для Черчилля есть — спасти себя и попытаться отправить к праотцам и Гитлера, и Советскую Россию?.. Тогда что делать нам? Обрести дополнительную мощь в союзе с англосаксами? Но это уже призвание

не столько армии, сколько дипломатии. Призвание? Да, не просто задача или даже миссия, а именно призвание, и, как каждое призвание, оно оправдано самой сутью дела, его предназначением.

Но все это имеет смысл, если вал огня, который сейчас идет на Россию, не сметет ее, если Россия устоит. Как-то Яков сказал Егору: «Если я устою, у тебя, пожалуй, дело будет. Если протяну ноги, и ты протянешь вместе со мной...»

Егор Иванович взглянул на часы — двенадцать.

Бардин узнал голос Молотова и впервые за этот день, отмеренный длинными и тревожными часами, почувствовал, как размывается, обращается в прах надежда, которая еще несколько минут назад была жива в нем: «А вдруг это... незлобивая шутка судьбы, вдруг все это миф..» Нет, все твердо: война, война... И в какой уже раз Бардин подумал о Якове. Он воюет, старший из братьев Бардиных, уже воюет.

Все началось не сегодня утром, и не накануне, хотя накануне и было тревожно, а много раньше, может, в апреле, а может, в марте... Кажется, в марте Бардин услышал, что есть посольская депеша, вроде бы из Берлина: немцы начали массовую переброску войск с запада на восток. Потом эти данные, как передавали Бардину, подтвердила военная разведка. Потом разведка стран, находящихся в состоянии войны с Германией. Потом... Наверное, не было источника, который бы отверг эту версию, включая все германские, — немцы эти слухи не опровергали.

Признаться, когда в прошлую субботу Бардин прочел сообщение ТАСС, оно, это сообщение, оставило у него впечатление двойственное. Как отмечалось, текст был вручен германскому послу. Сообщение ТАСС, врученное послу иностранной державы? Случай почти беспрецедентный. Если сообщение имело характер «пробного шара» и призвано было установить намерения немецкой стороны, то ему должна была быть придана форма ноты. В этом случае, только в этом, советская страна могла рассчитывать на ответ немцев. Обратившись же к форме тассовского сообщения, мы как бы сознательно шли на то, что ответа может и не быть — никто не обязывает дипломатические инстанции отвечать на заявления телеграфного агентства, да-

же такого официального, как ТАСС. Больше того, никто не неволит посла принимать этот документ. Кстати, перспектива, что Шуленбург документа не примет, не исключалась. У этой проблемы был и иной аспект.

Придав ноте форму сообщения ТАСС, советская сторона адресовала его и собственному народу, а это дело нештучное. Издавна сообщение ТАСС отождествлялось в сознании советских людей с точки зрения правительства и никем не бралось под сомнение. Правда, в силах правительства было разъяснить истинное значение этого документа хотя бы армии. Однако, как сказал Егору Ивановичу Мирон Бардин, такого разъяснения не последовало. Но вот вопрос: в какой мере все аспекты этого шага учитывались советской стороной? Очевидно, учитывались. Каким образом? Бардин допускал, что советская сторона специально облекла ноту в столь необычную форму, чтобы показать немцам, а заодно и всему внешнему миру искренность своих намерений. Такой шаг, по убеждению Егора Ивановича, был отнюдь не настолько наивным, каким мог показаться на первый взгляд. Бардин уверен, что до того, как это решение было принято, все его стороны были исследованы. Советская сторона будто говорила этим документом: «Вы обвиняете нас в тайных намерениях, а мы торжественно заявляем о верности принципам мира. Вот документ, который недвусмысленно это подтверждает. Тот факт, что мы адресуем его своему народу, а заодно и армии, свидетельствует, что мы готовы следовать духу и букве этого документа».

А как повели себя немцы? Они не ответили на заявление ТАСС. Они не ответили на него, не желая дезориентировать свою армию, которая на всех парах готовилась к нападению. Тассовский документ даже не был напечатан немецкими газетами. Больше того, германская сторона ушла от ответа и тогда, когда этот вопрос был прямо поставлен перед нею в беседе Молотова с Шуленбургом. Кстати, был поставлен и другой вопрос: «В чем заключается недовольство Германии в отношении СССР, если таковое имеется?» В самой формуле вопроса Бардин усмотрел нечто беспрецедентное — никогда советская сторона не разговаривала в таких покорно-уступчивых тонах с эмиссарами третьего рейха. «В чем заключается недовольство Гер-

мании в отношении СССР...» Никогда не разговаривала прежде и, так думает Бардин, никогда не будет разговаривать впредь... Со времени беседы Молотова с Шулеябургом прошло несколько часов, но их оказалось достаточно, чтобы советская сторона заговорила с фашизмом языком, каким она всегда говорила с фашизмом...

Но было в речи наркома и нечто иное — намек на союз с западным миром.

Бардин спустился в отдел печати и встретил Тамбиева. Похоже, что прямо из наркомата он предполагал выехать за город — на нем были светлый костюм и рубашка «апаш». Рубашка была лилейно-белой, жесткой от крахмала. Там, где твердый рубец воротника резал шею, кожа была заметно розоватой.

От весело-озорного настроения Тамбиева не осталось и следа

— Гофман сообщил, что мы запросили у англичан визу для Бекетова...

Бардин едва не присвистнул. «Так вот почему Сергей затребован в Кремль — едет в Лондон!.. В каком качестве? Но так ли это важно? Главное — Сергей едет в Англию! Когда принято это решение, сегодня или вчера? Разумеется, сегодня! Когда ж ему быть принятым, этому решению, как не сегодня? А может, вчера?» Бардин поймал себя на мысли: ему очень хотелось, чтобы это решение было принято сегодня. Если сегодня, значит, оно состоялось в ответ на агрессию, значит, дала себя знать новая тенденция.

— Вы полагаете, что это важно, Егор Иванович? — спросил Тамбиев.

— Очень, Коля, — произнес он и подумал, что впервые назвал его так — именно так звал Тамбиева Сережка.

— Простите, Егор Иванович, но в нынешней обстановке, наверное, не просто добраться до британского берега? — спросил Тамбиев.

— Да, конечно, — согласился Бардин, но не успел уточнить свою мысль — из полутьмы коридора выплыла собственной персоной Гофман и, увидев Бардина, заметно просиял. Встреча с Егором Ивановичем явно отвечала его намерениям.

— Только что я говорил с коллегами, — произнес он, протягивая короткую и пухлую ладонь. — Не исключено, что сегодня выступит Черчилль и предложит России союз и помощь... — Он улыбнулся. — Даже не верится, что такое может произнести отпрыск Мальборо — вопреки логике всей своей жизни...

— В шестьдесят семь лет вопреки логике? — спросил Бардин.

— А как иначе понять, если такое скажет Черчилль?

— А по мне, из всех логичных шагов Черчилля этот шаг самый логичный, — заметил Бардин. — Но что означает для Черчилля союз с Россией?.. Вторжение на континент? — Бардин решил брать быка за рога.

Гофман помрачнел.

— Э-э-э... господин Бардин, господин Бардин! — Он даже попробовал поднять свой короткий палец. — Ну откуда мне знать, что означает для Черчилля союз с Россией? Вот господин Бекетов, который будет на днях в Лондоне... К тому же я... американский корреспондент.

— Тогда, как Америка?

— По-моему, Америка радуется, — мгновенно реагировал Гофман и испугался, откровенности своей испугался. — Вчера — страх, сегодня — радость, — уточнил он и, как показалось Бардину, был доволен, что вышел из положения.

Среди инкоров, аккредитованных в Москве, Гофман был отнюдь не новичком. Он приехал в Россию в середине тридцатых годов и осел здесь прочно. Причиной тому был не только русский язык Гофмана (в родительском доме Гарри всем языкам предпочитали русский, всем блюдам — щи с кулебякой, а праздники справляли по календарю московской патриархии, который привезла семья в свою калифорнийскую обитель в достопамятную осень 1892 года), но и русская его жена. Бардин видел ее однажды в посольском особняке французов на Якиманке. Было в ней что-то от русской богоматери, как изобразил ее Дионисий на своей знаменитой фреске в монастыре Ферапонта. Величаво круглоплечая и белолицая, она была хороша прелестью северянки.

Как можно было понять этого Гарри Гофмана?.. Далеко ли пойдет коварный Альбион в своем желании стать союзником России и что намерена делать Америка? Наверно, до тех пор, пока страх не сменился радостью, многое, а как теперь?.. Кстати, сфера отношений с Западом — дело армии или дипломатии?.. Где-то здесь лежит большая задача дипломатии в войне, в великой войне.

## 2

Бардины... Глава могучей фамилии Иоанн Бардин любил говорить, что он интеллигент всего лишь во втором поколении. Его отец, Кузьма Бардин, был учителем в великой мануфактурной республике под Иваново-Вознесенском, а дед иконописцем, в просторечии — богомазом. Иоанн любил вспоминать деда и считал его человеком способностей недюжинных... Собственно, интерес к деду у Иоанна возник из интереса к иконам деда, которые по небрежению хранились на чердаке большой избы-пятистенки Бардиных в ярославском пригороде Коровниках, куда семья Иоанна переехала из-под Иваново-Вознесенска. От долгого лежания на чердаке иконы точно тронула благородная длань времени: краски потемнели, легкая паутинка трещинок покрыла лики святых. Иоанн выносил иконы к свету — глаза святых оставались неяркими. Они кротко глядели, эти глаза, из своей далекой полутьмы. В них были и жажда сущего, и неизбежная печаль. Были среди этих святых такие, которые, «яко дым», размывались в памяти Иоанна и исчезали — один тлен. Но были по всем статьям знатные, знатные, наверно, своей похожестью на смердов российских. В них, в этих ликах, были и строптивость, и раскаяние, и страх, и неистовость в страхе и бесстрашии. Короче, это были люди как люди, даже не очень понятно, почему их переселили на «небеси», когда им жить надлежало на земле. Но это Иоанн узрел позже, когда приезжал в Коровники из Москвы. Не было бы Москвы, может быть, всего бы и не увидел Иоанн. Не было бы Москвы? Да, третий сын Кузьмы Бардина, нареченный в честь Крестителя Иоанном, ушел из Коровников в Москву, дав зарок любой ценой выбиться в люди.

Иоанн не любит вспоминать своего «московского отрочества», но иногда нечто похожее на воспоминания выхватывалось и у него: «Так, как голодали в том веке... О, не приведи господи!». Но потомственное бардинское многотерпение все одолело, к тому же свет не без добрых людей. Одна такая душа отыскалась в Румянцевской библиотеке и безбоязненно призрела, даже поощрила к чтению. Собственно, университет начался там. А потом шагнул Иоанн подалее — Петровская академия. Нет, не студентом, даже не вольнослушателем. Стерег многомудрые палаты, а по весне мыл окна и скоблил именитую грязь, а с теплом уезжал на юг и шел в работники к богатым казакам, что сеяли пшеницу. Косил хлеба, работал на молотилке, вязал мешки с зерном и грузил их на подводки, строил по осени новые амбары для хлеба, загружал их новой мукой — сеянкой, мукой, идущей в размол для серого хлеба, огрубями... Был жаден до работы и, пожалуй, безотказен, но, улучив минуту, подолгу беседовал со старыми казаками о том, что было заповедной тайной и касалось зерна семенного. В этом деле была своя наука, мудреная. Старые казаки знали ее и по-своему берегли. В начале июня, когда заканчивался налив и колосья, густо-золотые, тяжело шумящие, начинали клониться к земле, старики принимались за великое таинство отбора... Из моря колосьев они отбирали колос-богатырь. Нет, дело не в длине стебля, а в количестве зерен да в добротности каждого зерна, чтобы оно было повесомее да помучнистее да мука чтобы была посветлее и, пожалуй, пожирнее... Непросто отобрать такой колос-богатырь, хотя выбор и велик — истинно море колосьев!.. А потом к таинству отбора прибавлялось таинство выращивания. У каждого колоса своя долянка. Главное — взять разгон и тридцать зерен превратить в тридцать колосьев!.. Дальше веселее: фунт зерна обратить в пуд, а пуд в чувалы, да, кстати, смолоть первые пригоршни зерна и испечь калач. Как он, новый сорт, добытый мудростью и терпением?.. Эти доморощенные селекционеры были людьми не простыми и хитрую свою науку полушутя-полусерьезно звали колдовством, а секреты колдовства тоже держали в тайне. Истинно, чтобы проникнуть в тайну, надо было пойти в работники. Но вот что интересно: у «колдуна» был

язык на замке, когда дело касалось тайны «колдовства», но «колдун» был и словоохотлив, и добр, когда речь шла о философии таинства. «Это что же, против природы, а следовательно, против бога?» — спрашивал Иоанн. «Нет, супротив-то бога идти не след, — отвечал «колдун». — А взять кнут и разок хватить коняку, что зовется природой, есть смысл... Пусть бежит шибче!» Иоанну была симпатична эта формула: может, и в самом деле не менять сути природы, а совершенствовать ее суть? Вот так и вышло призвание Иоанна Бардина. Если терские и кубанские деды проникли в эту истину только силой ума и опыта, то как много может прибавить к этому наука, у которой еще и знания. И хотя Бардин все еще был баграком, или, как звали его на юге, работником, до цели заветной ему стало ближе. Теперь он и в академии был иным человеком: не только мыл многосажженные пролеты и скреб полы, но и слушал лекции в завидном качестве вольнослушателя.

А потом минули годы, много лет, и на полпути от степного полустанка к станице, где Бардин батрачил в юности, возникла опытная станция, которую жители соседних станиц окрестили по имени ее директора «Иоанновкой», или «Ивановкой». Как нетрудно было догадаться, задача, которую ставила опытная станция, следовала из самого существа бардинской жизни — дать российскому югу новые семена. Если кубанские и терские деды тратили на выведение своих пшениц годы, сколько времени требовала эта задача и в масштабе края, республики, а может быть, и государства? Человек обстоятельный и точный, Иоанн Бардин, начиная труд своей жизни, соотнес его с количеством лет, отпущенных ему природой, и даже положил добрую дюжину годов про запас. Но дело оказалось больше и, главное, многократ труднее, чем полагал Бардин. Главную часть работы он сделал — семена, выращенные им, дали заметный прирост урожая. Это было тем более ценно, что совершилось в канун великих перемен в нашей деревне. Иоанн Бардин имел возможность в полной мере ощутить, как необходим России его труд. Но пшеница за эти годы заметно продвинулась на север и перед старым ученым возникли новые задачи. Одним словом, нужны были годы, а их уже не было.

Следуя известной мудрости, гласящей, что все отцы желают своим сыновьям того, что не удалось совершить им самим, Иоанн решил, что труд его жизни продолжит отпрыск, разумеется, старший. Но отпрыску было не до новых сортов пшеницы — шла гражданская война, и ее стихия увлекла его. Не без раздумий и тайных сомнений Иоанн обратил взгляд на Егора, но, видно, обратил поздно. У Егора уже сложились свои интересы, свое представление о будущем — исторический факультет университета казался для второго бардинского чада землей обетованной. Надо отдать должное Иоанну, он не пытался отворотить сына от истории, больше того, он сделал нечто такое, что утвердило сына в его решении. (Здесь были свои резоны, если учитывать существо Иоанна, объяснимые: человек, чьи симпатии были на стороне дисциплин естественных, он, однако, всем гуманитарным наукам предпочитал историю.) «Подика ты, Егорушка, на Подсосенский к Сереже Бекетову и скажи, что ты Бардин», — молвил Иоанн, когда университетские годы были у его среднего чада на ущербе. Егор старался припомнить: Бекетов? Это какой же Бекетов? Не тот ли пепельноголовый, которого отец однажды заманил на Варварку с какого-то университетского торжества и просидел с ним в библиотеке едва ли не до петухов, споря о знаменитом набеге Ивановых дружин на Псков и Новгород? Отец говаривал, что Бекетов предпочел истории дипломатию и с некторого времени стал «известным чичеринским комбатантом», но что до Иоанна, то он этого на месте Бекетова не сделал бы. Иоанн был несказанно обрадован, когда узнал, что в силу «метаморфоз нашего времени» Бекетов ушел из дипломатии и вернулся к истории. Так или иначе, а Бардин пошел на Подсосенский и увидел, что пепельноголовый Бекетов за это время стал седовласым. Бардин назвал себя и был принят радушно весьма. Бекетов пригласил Егора к себе на Пречистенку и, уединившись во флигельке, стоящем в глубине двора, предпринял этакое путешествие по горам и долам немудреной Егоровой жизни, а закончив путешествие, объявил, что это путешествие было ему интересно. Как потом убедился Егор, бекетовское путешествие было предпринято отнюдь не только ради любопытства к Бардину. Не мудрствуя

лукаво, Бекетов предложил молодому историку положение скромное, но достаточно почетное.

«Почему он такой... белоголовый? — спросил Егор отца. — Что за причина? Природа или жизнь?» — «Пожалуй, жизнь». — «Фронт?» — «Царицын, — был ответ Иоанна. — Но это сказал мне не он, разумеется...» — «Почему «разумеется»?» — спросил Егор. «Да потому, что он об этом не говорит, — заметил Иоанн, помолчав, добавил: — Он был там со Сталиным». — «Поэтому и не говорит?» — спросил Егор. «Может, и поэтому», — ответил отец нехотя «Бойтся громкости?» — «Пожалуй. Так, надо полагать, солиднее». Позже Бардин убедился: отец, зная Сергея Петровича не близко, верно ухватил бекетовский характер.

Бардин был даже рад, что дом на Подсосенском был просто учительским институтом, больше того, институтом, который пестовал сельских учителей. Егор полагал: начало российской образованности, как и начало российскому свободомыслию, положили учителя. Бардину была по душе фраза, которую он время от времени слышал в подсосенских хорах: «Кто ты, раб божий Иван?» — «Я сельский учитель». — «Это много, отрок?» — «Это почти все...» Не было в представлении друзей дела более благородного и нужного народу, чем то, которому посвятили они себя. Учитель, подвижник, по образу жизни едва ли не пустынный, готовый на муки мученические ради блага народного, вызывал у них не просто сочувствие, был их идеалом. Им хотелось написать книгу, в которой бы идея просветительства, идея героическая, нашла свое воплощение. Они долго искали формулу этой книги и наконец сошлись на том, что это будет «История российской образованности». Их увлекла эта тема своим героическим началом. В сущности, это должна быть книга о великих русских педагогах, а следовательно, и подвижниках, таких, как Ушинский и Лесгафт. Они предполагали уединиться в бекетовском флигельке на два безбрежных года и написать книгу... Наверное, Егор не во всем был согласен с другом. В конце концов, воздвигнуть книгу, что воздвигнуть город, — годы, годы. Да есть ли они у друзей? Но Егор не возражал, как вряд ли возразил бы Бекетову и кто-то другой из тех, что были их общими друзьями на Подсосенском.

Егор Иванович допускал, что секрет бекетовской популярности, а может быть, и больше, авторитета — в умении владеть студенческой аудиторией, влиять на нее. Нет, дело не в профессиональных фокусах — в способности завораживать словом, например, а в самой сути бекетовских лекций, в его отношении к истории.

Иоанн сказал сыну о Бекетове: «Он любит историю настолько, чтобы понимать: нет большего кощунства, чем сломать хребет факту. Он допускает, что в своем отношении к факту историк может быть... еретиком, но, выражаясь образно, факт должен в такой мере почитаться, чтобы ни единый волос не упал с его головы... Проверь меня, сыне...» Иоанн так категорически потребовал: «Проверь меня, сыне!» — потому, что верил в свою правоту... Как установил Егор Иванович, Бекетов охранял событие не только из уважения к его, так сказать, догме, он верил в свою способность понимать, а следовательно, толковать событие. Бекетов был убежден, что чаще всего событие искажается потому, что лицо, совершающее это, не способно его понять... Когда событие уродуется, нет необходимости в особой гибкости ума. Историк просто приспособливает его к своей способности толковать факт, часто ограниченной весьма. Много труднее историку, если он воссоздает факт, как его родило время, а в таком факте, как во всем, что сотворено непредвзято, есть положительные и отрицательные заряды. Иначе говоря, независимость, а следовательно, всецельная суверенность. Но зато как убедителен и весом рассказ, если эта всецельная суверенность охраняет и факт истории, и историка. Ведь факт часто утверждает прямо противоположное тому, что хочет утвердить историк, следовательно, в этом единоборстве истории и историка утверждается нечто такое, что способно вызвать к жизни новое качество, а поэтому и новые ценности.

Как ни убедительны были эти доводы, Бардин полагал, что не в них истина. Объяснение в самой личности Сергея Петровича, в самом облике, нет, он не ошибся, именно в самом облике, даже внешнем.

Худой и высокий, с неяркими серыми глазами, начисто седовласый и все-таки молодой, этаким среброглавый юноша, он был по-своему обаятелен. В точном

соответствии с его обликом и в его характере была некая благородная простота. В том, как он мог ободрить человека и даже воодушевить его, была добрая воля, качество бесценное. Наверно, он знал людей, разнovidности их душ, а значит, страстей, иначе его умение завязывать отношения с ними было бы непонятно. Но в том, как он это делал, это умение не обнаруживалось. Наоборот, создавалось впечатление, что он это делает как бы бессознательно, повинаясь некоему чувству, каким снабдила его природа, чувству совершенному, каким и должно быть создание природы.

Они были рады каждой новой беседе — у них была радость общения. У их беседы был незримый фон: мысль, возникшая в разговоре, влекла за собой воспоминания, а следовательно, и сонм людей. В течение тех почти десяти лет, которые насчитывала их дружба, пали стены крепости, которыми один человек отгорожен от другого: они могли все сказать друг другу. И не просто могли, у них была потребность сказать это.

Они уезжали в Ясенцы и, наскоро переодевшись, шли куда глаза глядят. Где-то, разувшись, они перебирались через мокрые луга. Где-то входили в лес и шли часами, видя над собой маковки сосен. Где-то вместе с долгоногими фермами электролиний перебирались через болота... Беседа делала их путь увлекательным. Иногда Егор спрашивал друга: «Скажи, там, в Царицыне, ты его наблюдал в деле?» — «Да, конечно». — «И что?..» — «Мне казалось, что в его поведении были и ум, и последовательность, и расчет...» — «Это нужно было ему?» — «Это было полезно делу». — «Он ценил, что делал ты?» — «Да, я так думаю». — «И продолжает ценить?» — «Не знаю». — «Почему не знаешь?» — «Мы потеряли друг друга». — «Он потерял тебя из виду?» — «Нет, он не может потерять из виду». — «Ты так думаешь?» — «Я знаю». — «Тогда что произошло?» — «Не могу сказать». — «Не увидел в тебе того, кого хотел бы увидеть?» У Бекетова останавливалось дыхание. «В каком смысле?» — «Он мог всего и не сказать, что думает о тебе?» Бекетов все еще не мог перевести дух. «Не знаю... Честное слово, не знаю». — «Но это на него похоже?» — «Пожалуй». И вновь они шагали мокрыми лугами да болотами, но их беседа пресеклась,

только было слышно, как скрипит жесткая болотная трава да вздыхает под их ногами и взрывается тина.

А потом Бардина пригласили в Наркоминдел. Вначале для разговора, на первый взгляд, настолько беспредметного, что он мог показаться праздным. Если можно было что-то понять, то не столько обратившись к разговору, сколько к самому Бардину, его сути: историк, пишущий, знает английский, при этом разговорный, не чужд деятельности практической, молод зрелой молодостью — тридцать шесть... Одним словом, речь шла о работе в Наркоминделе.

Первым восстал Иоанн и изложил много стройнее, чем прежде, свою концепцию о дипломатии как канцеляристике. Потом подняли голос братья. Потом... Нет, тут произошло неожиданное — Бекетов не думал восставать. Наоборот, эта идея пришлась ему по душе. «Знаешь, Егор, такие, как ты, нужны там». — «Это почему же такие, как я, а не такие, как ты?» — «Я уже там был...» — «Ну и что?.. Вернешься». — «Нет, туда, как говорится, не возвращаются..»

Иоанн возроптал: «Ты когда последний раз смотрел на себя в зеркало? Тогда посмотри еще раз! Посмотри, не робей! Ну, кого ты узрел? Да неужели ты не понимаешь, что такими дипломаты не бывают? Дипломат — это изящество. Нет, не изящество само по себе, а от гибкости ума, аристократизма мысли! Дизраэли, говорят, был истинным денди, Меттерних на всю жизнь прослыл франтом, да и наши российские, не исключая Грибоедова и Тютчева, были даже в своем кругу такими комильфо! А теперь огляди себя! Где оно, изящество, и где аристократизм?.. За историка ты, пожалуй, сойдешь со своими пудами потому, что история есть обстоятельство, а это, как понимаю я, человек справедливый, дано тебе». — «Погоди, а обстоятельство разве дипломатии противопоказана?» — пытался сшибить отца Егор. «Нет, не противопоказана, но суть явление не главное», — парировал Иоанн. «Ну, это мы еще будем иметь возможность проверить», — взорвался Егор. «Проверяй, — с неожиданной кротостью согласился Иоанн, хотя душа его воинственная продолжала рваться в бой. — Но что говорит Бекетов?» — вдруг вспомнил Иоанн. «Сергей сказал: «Иди!» Иоанн взре-

вел: «Значит: «Иди!» А сам, сам... почему не идет?» Егор рассмеялся: «Сказал: «Туда, как говорится, не возвращаются!» — «О господи», — вскрикнул Иоанн и беспомощно развел руками, будто хотел сказать, что понять это выше его, Иоаннова, разумения.

Но произошло нечто чрезвычайное — Бекетов вернулся на Кузнецкий, правда, побывав предварительно на Печоре. Это было в такой мере беспрецедентно, что казалось, кто-то сильный избрал это решение, чтобы вознаградить Бекетова за все беды, принятые им... Случилось это едва ли не в канун приезда Риббентропа в Москву. Тот, кто хотел соотнести возвращение Бекетова на Кузнецкий со всем тем, что испытал этот человек только что, а заодно и усмотреть в этом наличие логики, должен был только развести руками — логики здесь не было. С тех пор прошло два года, и Бекетов летел в Лондон. В этом тоже не было логики, если учитывать все, что столь недавно пережил Сергей Петрович. Но сейчас главное было даже не в этом. Если до сих пор Бекетов еще нес на себе хотя бы тень вины, то это решение снимало с него эту вину полностью... Казалось, главное совершилось — человек вернулся к жизни. Оставалось понять происшедшее.

## 3

Только поздно вечером в наркомат явился Бекетов.

— Прости, Егор, но у тебя не найдется что-нибудь поесть? — произнес он, потирая виски и поглядывая на книжный шкаф. По опыту он знал, что в поздний час там можно было раздобыть такое, что и в наркоматской столовке не раздобудешь. — Зашел в гастроном на Кузнецком — вымели подчистую! Говорят, целый день мели... Только банки с мандариновым джемом. Русский человек верен себе — субтропическое диво не по нему...

— Боюсь, что и у меня, кроме мандаринового джема, ничего нет, — сказал Бардин и раскрыл книжный шкаф. — Впрочем, пачка печенья и бутылка фруктовой воды...

— Ну что ж, и на том спасибо...

Бардин сидел напротив и видел, как ест друг. Ест неторопливо, несмотря на то, что проголодался по-волчьи. Смотрел и думал, что, наверно, и там, в своем северном далеке, в досталь намаевшись за день, он ел вот так же. Казалось, Бекетов выпросил у друга это печенье и эту воду, чтобы еще минуту остаться наедине с невеселыми своими мыслями, помолчать.

— Ну, поел ты уже? — нетерпеливо произнес Бардин, глядя, как друг разламывает последнее печенье.

— Да, поел. Спасибо.

— Плохо наше дело, Сергей?.. — Вот и задал он ему этот вопрос, вопрос, который самой жизнью Бардина был адресован Бекетову, только Бекетову.

— Плохо, Егор.

Бардин вздохнул, вздохнул во всю силу своих огромных легких. Впервые он дал волю этому вздоху.

— Что делать будем, Серега?

Бекетов выпил свою воду, отодвинул стакан.

— Этакий удар обратит Россию вспять на годы и годы...

— Вспять? — спросил Бардин.

— А ты полагаешь, нет?..

— Нет, я ничего. Ты... едешь, Серега? — спросил Бардин друга, усаживаясь в кресло. Когда предстоял разговор обстоятельный, он должен был припаять себя к креслу.

— Должен ехать.

— Но... хочешь ехать?

— Если должен ехать, значит и хотеть должен.

Егор Иванович забеспокоился в своем кресле, но покинуть его не решился.

— Я спрашиваю тебя как человек, хочешь ехать в Лондон?

— Хочу, Егор.

— И... сомнений нет?

— Нет.

— А вот это ты мне объясни: почему?

— Ты слышал о речи Черчилля, Егор? Он уже выступил.

— Да, я знаю.

— Для обывателя она звучит так: Лондон декларирует союз с Россией и готов помочь ей. На самом деле и союз, и помощь будут точно соразмерены: дать России ровно столько, чтобы она, не дай бог, не протянула ноги раньше времени или, тоже не дай бог, не одолела Гитлера...

— Все зависит от доброй воли Черчилля, а мы знаем, как эта воля добра. О ней говорил еще Ленин. Черчилль еще явит себя. Все зависит от него, Сергей?

— Если мы не овладеем положением...

— Но процесс этого союза управляем, Серега?..

— Да, конечно. Живой процесс этой помощи в руках нашей армии, в ее способности противостоять Гитлеру.

— Но и в руках.. самих англичан?

— Да, всех тех, кто не боится нас и нашей победы, а их немало, Егор.

— Ты полагаешь, мы можем влиять на них?

— Я верю

— И ты думаешь, что это задача дипломата?

— Да, Егор.

Бардин оперся на подлокотник кресла, но встать так и не смог.

— Святая наивность!

— Наивность? — спросил Бекетов.

— Святая!.. Ты полагаешь, что в наших силах... повлиять на общественное мнение?

— В наших силах.

Бардин засопел, не без труда поднялся.

— Святая наивность, говорю!..

— Спасибо.

Они молчали. Казалось, разговор безнадежно развалился.

— Пойдем на Варсонофьевский, подышим, — заметил Бардин. — В мирное время я любил гулять по Варсонофьевскому. Есть в этом переулке нечто от старой Москвы...

— Пойдем.

Они вышли и были поражены тишиной, которая обтяла площадь. Никогда площадь не была такой тихой.



Они обогнули здание наркомата и вышли на Варсонофьевский. Здесь было еще темнее, чем на площади.

— Ты взгляни на наркомат отсюда — скала, — поднял глаза Бардин.

Бекетов невольно остановился. Редкие окна были рассыпаны по темной поверхности стены, точно их бросили наобум — где упадут, там и быть им. Окна были мертвыми, ни одно не выдавало себя.

— Двадцать лет Англия была глуха, а сейчас возьмет и распахнет уши, так? — спросил Бардин. Разговор, происшедший в наркомате, не шел у него из головы.

— По тебе, влияние на умы — это не дипломатия?

— По мне... нет.

— Тогда что есть дипломатия?

Он продолжал смотреть на черный утес наркомата.

— Дипломатия — контакт, а следовательно, осведомленность, а это значит анализ, прогноз...

— Плюс влияние на живые души. Сегодня они корректно безучастны, завтра — лояльны, послезавтра — дружелюбны...

— Коммунизм англичане поймут завтра, Сережа.

— Но фашизм они ненавидят сегодня.

Бардин смутился.

— Я хочу, чтобы ты ходил по грешной земле, Сережа... Фантазеры меньше всего нужны дипломатии, — он оглянулся, Бекетов не сдвинулся с места, он все еще смотрел на темный утес дома.

— Знаешь, Егор, человек, что был нашим наркомом в двадцатых, слыл немалым фантазером...

— Но ведь он умел...

— Да, он умел то, что мы умеем меньше всего, Егор.

— Погоди, что он умел?

— Говорить с людьми, а согласишься, что без этого нет дипломатии.

— Наивный ты человек... Ты отважился вычерпать море!.. Пойми — море!.. Здесь надо сто миллионов Бекетовых, а ты один!.. Вот ты... так возьмешь этот свой половник и пойдешь вычерпывать море?..

— Пойду.

— Наивен!.. Ведь война — это стихия, шквал страстей, шквал огня. Дохнет, и от тебя и твоего половника и дыма не останется, а ведь ты у меня один, дурная голова!.. Я же тебя, черта, вон сколько лет вот тут ношу! Не было бы тебя и... Сережки, давно бы душу отдал... Вот ты уедешь, и Сережку не сегодня-завтра заберут. Ведь Сережку забреют!.. Я говорю тебе: дураком не будь! Я об одном прошу тебя: не будь дураком!.. Я же тебя знаю и натуру твою знаю!.. Не будь дураком!.. Не хочешь уберечься для себя, для меня уберись!..

Он кинулся к другу и накрыл его грудью.

— Свет!.. Свет в окне!.. Четвертый этаж, второе окно слева. Свет!.. Свет!

Переулоч мгновенно наполнился криками:

— Свет!.. Свет!..

В пролете переулоч действительно возник неяркий рубец света и погас. Голоса смолкли

— В дорогу... один?

— Да, Екатерина позже.

— Когда в дорогу?

— Кажется, через неделю...

— Самолетом?

— Да, как-то сложно... Через Архангельск.

— Разреши проводить?

— Охота тебе... Полетим за полночь...

— Разреши?

— Ну что ж... раз охота.

...Июльской ночью, почти на рассвете Бардин привез друга за сорок верст от Москвы на обширное поле, раскинувшееся на краю небольшой деревушки с березовой рощицей на отлете. Вместе с другом Бардин поднялся в неосвещенный самолет, стараясь протянуть время, тщательно уложил нехитрые вещи Бекетова на одну из двух железных скамей, протянувшихся вдоль борта.

— Будь здоров, Сережа!.. Не обижайся...

— А за что мне обижаться на тебя?..

— За... наивность святую.

— Да что уж...

Потом уже, вернувшись к машине, долго стоял, ожидая, пока поднимется самолет. А когда поднялся, старался пригнуться и получше ухватить взглядом темную черточку над березовой рощицей. Казалось, самолет был виден только миг.

## 4

Тамбиева вызвал Грошев.

— Николай Маркович, завтра в четыре вам надо быть на Ярославском вокзале. Из Архангельска приезжает Галуа.— Грошев снял роговые очки с темными, будто задымленными стеклами, и от этого его малень-

кие, раскосые глаза стали еще меньше.— Вам что-нибудь говорит это имя?

— Да, разумеется...— сказал Тамбиев и, обратив взгляд на Грошева, подумал: почему у Грошева глаза с косинкой? Не потому ли, что он профессор древней китайской философии? Нет, в самом деле, почему у коренного питерца глаза с косинкой?— Насколько мне память не изменяет, Галуа атаковал нас, и прежде всего, во время финской войны...

— Не полагайтесь на память,— сказал Грошев и надел очки.— Галуа — это не просто.— Он внимательно, теперь уже через задымленные стекла очков, взглянул на Тамбиева.— Маму отправили на Кубань? Хорошо. Там небось персики?..

— Абрикосы, Андрей Андреевич...— Тамбиев знал: Грошев, подобно иным северянам, когда говорил о персиках, имел в виду абрикосы, и наоборот.

— Да это все равно. Край благодатный — вот главное,— он улыбнулся как-то озорно и робко, отчего лицо его стало молодым.— У вас родительский дом... небось хоромы?

— Турлучный...

— Это что же такое? Изба?

— У нас там изб нет, Андрей Андреевич.

— Хата?..

— Нет, просто дом... глинобитный.

— Вот все мы интеллигенты... в первом поколении. Нашим детям будет легче.— Он будто застеснялся, что вторгся в заповедную сферу — так далеко в беседе с Тамбиевым он не шел.— Видели, какое интервью дал сенатор Трумэн?

— Нет, Андрей Андреевич.

— Мол, наша политика проста: будут побеждать немцы — поможем русским, возьмут верх русские — поможем немцам. Главное, чтобы они больше убивали друг друга... Жестоко, но откровенно, не правда ли?

Тамбиев подумал: сейчас я ему скажу, другого такого момента не будет. Но Грошев точно проник в мысли Тамбиева.

— Звонил этот ваш Катица или Кадица...

— Кадица, Андрей Андреевич,— сказал Тамбиев и

подумал: «Поспешил Кадица и, кажется, все испортил. Непоправимо испортил».

— Сказал, что послал докладную в ВВС. Требуется призвать вас по законам военного времени и вернуть в институт... испытывать эти ваши локаторы...

— Я вас хотел просить об этом же, — бросил Тамбиев. Он решил действовать «была не была».

Грошев, казалось, не ожидал такого.

— О чем просить, Николай Маркович?

Тамбиев понимал: если он сейчас не убедит Грошева, вряд ли он может рассчитывать на успех позже.

— Если у человека есть военная специальность, Андрей Андреевич, по крайней мере во время войны, он не имеет права заниматься ничем иным, — произнес Тамбиев, и его смуглое лицо запылало.

Грошев молчал, мрачно смотрел на Тамбиева. Толстые губы Андрея Андреевича, казалось, стали синими.

— Сам бог велит, — сказал Тамбиев. Он хотел атаковать Грошева до конца.

— Бог велит, а я не вею, — наконец сказал Грошев.

— Но я буду призван, Андрей Андреевич.

— А я... отзову вас.

Тамбиев подошел к окну, встал к свету спиной. Ему казалось, что вот так Грошев, пожалуй, не рассмотрит, как запылало его лицо.

— Во время войны власть у военных, — произнес Тамбиев и рассмеялся.

— А это мы еще посмотрим!

— А что здесь смотреть? — Тамбиев продолжал смеяться. — Дипломатия — дело гражданское даже во время войны.

— У меня действительно гражданское, у вас, Николай Маркович, военное... Отделу печати военные не противопоказаны.

— Для каких же таких дел, Андрей Андреевич?

— Для работы с военными корреспондентами, которые съезжаются сейчас со всего мира... — Грошев заметил, что его удар вызвал смятение в противном стане. — Для работы с Галуа, — произнес он.

— Если меня призовут, Андрей Андреевич, я уйду, — сказал Тамбиев неожиданно хмуро.

Грошев молча шевелил синими губами.

— Хоршо, если призовут,— печально согласился Грошев. Он не предполагал, что Тамбиев будет сопротивляться столь упорно.— Простите, какая мысль руководит вами, когда вы проситесь туда? Вы хотите быть ближе к огню?.. Отказываетесь от привилегии находиться в тылу?

— Хотя бы и так.

— Но испытания этих ваших локаторов— это не фронт, а военные корреспонденты— это и фронт...

— Если считать, что линия фронта для них проходит где-то на Кузнецком...

Видно, Тамбиев накалил Андрея Андреевича порядочно. Грошев встал и тихо пошел, и его маленькая фигура, очень подобранная, с чуть-чуть приподнятыми плечами, чему в немалой степени способствовало количество ваты, которую наркоматовский портной положил под плечи, осторожно проследовала по диагонали кабинета.

— Я обещаю вам, Николай Маркович, несколько отодвинуть линию фронта от Кузнецкого моста...— Он остановился, пристально посмотрел на Тамбиева, однако, поняв, что Тамбиева могут и обидеть эти слова, добавил:— В конце концов, потребуется ваше участие в испытании локаторов— за отпуском дело не станет.

Коля Тамбиев пришел в наркомат год назад. Где-то в начале лета состоялся разговор, решивший его судьбу. Тамбиев попробовал возражать, но фраза, с которой началась беседа, была повторена, и Тамбиев, оставив свой кубанский адрес, удалился. Как ни важен был этот разговор, Тамбиев старался не думать о нем. Ему предстояло провести август, благословенный август, в родительском доме, а ради такого счастья он готов был принять все.

И вот он стоял у окна вагона, ночного окна, и ждал, когда из ночи выйдет навстречу родной город. Мелькнули полустанок с тополем, труба кирпичного завода, тусклый извив железной дороги, вдруг разветвившейся и ушедшей вправо, и пошли улицы, одна знакомее другой. Кто-то берег же их для Николая все эти годы, все эти бесконечно долгие годы, чтобы однажды сделать его счастливым... А потом Николай будто вышел

на берег озера и на его поверхности возникло одно диво за другим.. Вот он открывает калитку, старую, на нетвердых и скрипучих петлях, калитку детства, входит во двор и видит: вопреки позднему часу в сенцах свет. Видно, мама не спит, по случаю его приезда не спит. Тамбиев шагнул во двор, и неудержимо запахло арбузным медом и жареными пышками, как пахло где-то на заре его жизни. А потом в глубине двора звякнула цепь и залаяла собака. «Ну, погоди... Рекс, Рекс...» А потом запах извешки и ярко выбеленные стены (все белилось и красилось по случаю его приезда), отец в новой рубахе и счастливое, но бесконечно усталое лицо матери. «Надо же было вот так выскоблить и вычистить нашу старую хибару. Дома и помоложе давно сгнили и рухнули, а наш домик стоит: Ведь ему, наверно, лет сто есть, отец?» — «Да, пожалуй, сто с гаком, да в гаке полтора десятка... По-моему, его построил еще дед Андрей, мой дед...» И Николай вдруг начинает замечать: есть в говоре отца, как, наверно, и в его говоре, что-то спокойно-напевное, кубанское, что отличает этот говор от любого иного. «Сколько лет я не слышал отца... Где-то же он должен был жить в тебе, этот говор, чтобы с такой новизной и силой возникнуть однажды ночью...» А потом, на рассвете, притворившись спящим, Николай видит, как отец собирается на работу... Вот он колет сосновые щепочки и растапливает печку. Вот осторожно наливает калмыцкий чай и пододвигает глубокую тарелку с черкесским сыром, видно, мать сделала накануне... Чай, сыр и работа — это и дает ему жизнь. Потом он кормит собаку, радуясь тому, как она хорошо ест... Потом войдет в сад, и Николай услышит осторожный удар топора — боится разбудить дом. Он знает, что Николай сейчас выйдет и возьмет из его рук топор. «Не надо, я сам...» — произнесет он, слабо противясь. Потом сядет, припав спиной к дереву и наблюдая, как Николай орудует топором. «Легче, легче», — говорит он, а сам рад. Нет минуты счастливее и для Николая, и для него. А потом Николай идет по городу. Солнце еще за горой, и городу надо еще добрый час, чтобы проснуться. Но нет лучшего времени, чтобы добраться до стадиона и постоять посреди футбольного поля, пройти по Красной, спуститься по ней и взглянуть на школу, обяза-

тельно взглянуть на школу. Чтобы выйти на берег Кубани и, быстро раздевшись (весь фокус в том, как быстро ты сбросишь с себя одежду), разбежаться и устремиться в реку. «Ох, и дурне, дурне! — кричит с моста казачка. — Ни свит ни заря, дурне!» А потом Николай идет на Пушкинскую, там, в глубине двора, мощенного булыжником, живет его учитель, его старый учитель. «Надя, Надя, посмотри, кто к нам явился! — кричит он жене и как некогда, нарочито строго сдвинув лохматые брови, произносит: — Садись, Николай, и рассказывай все по порядку...» И Николай, как может, рассказывает и радуется радостью старого учителя — большей радости Николаю не надо, как наверно, и ему...

Так проходит три недели, а потом, точно гром среди ясного неба, ему приносят телеграмму: «Срочно явиться Наркоминдел...» Но Николаю, разумеется, не хочется являться срочно. Будь телеграмма от самого бога, и то Николай не предпочел бы поездку к нему встрече с городом... И никто, наверно, Тамбиева не осудит за слушание. А потом он является по телеграмме. «Вот мы посоветовались и решили: отдел печати НКВД...» — «А почему, собственно, отдел печати?» — «Нам так кажется...» И Тамбиев начинает понимать. Нет, это не случай, капризный и преходящий... Кто-то разглядел в тебе то, о чем ты сам смутно догадывался, твой тайный доброжелатель, а может, и друг. Разглядел, чтобы никогда об этом тебе не сказать, никогда не признаться... Да был ли такой человек, или тебе он привиделся?.. Твой профессор, знаток египетской старины, прихотливый тебя к истории? А может быть, редактор, которому ты втайне от друзей отнес твои записи о звездной навигации?.. А может, все обыденнее и проще: Бардин, Егор Бардин, с которым ты не однажды встречался в ивантеевской обители? «Есть, мол, такой малый, которого инженеры считают поэтом, а поэты — инженером!» — «Он пишет стихи?» — «Нет, не пишет...» — «Но он хотя бы... инженер?» — «Инженер». Сказал и ретировался: «Можете воспользоваться моим советом, а можете нет...» А когда однажды встретил Николая, произнес как бы невзначай: «Можно говорить о дипломате что угодно, но, на взгляд смертных, это история и литература одновременно...» — произнес и ушел, буд-

то хотел сказать: «Я свое дело сделал, а ты теперь соображай...» Тамбиев явился в отдел печати к Грошеву, и тот, осторожно приподняв свои ватные плечи, которые заметно смущали и его самого, произнес: «Вот вам две книги. Напишите мне на них рецензии. Да, самые обычные рецензии!» Через три дня Тамбиев принес Грошеву десять машинописных страничек, и тот, поправив свои очки с задымленными стеклами, принялся читать, сказав Тамбиеву, что ждет его минут через пятнадцать. Когда Тамбиев пришел, он застал Грошева расхаживающим по кабинету. «Вы полагаете, что написали это для печати?» — «Нет, для вас, Андрей Андреевич». — «Ну что ж... Вы поняли меня верно. Я жду вас завтра у себя в девять». Когда на другой день Тамбиев встретился с Грошевым, тот сообщил ему, что приказом по наркомату Николай назначен ответственным референтом отдела печати. Как узнал потом Тамбиев, в наркоматовской табели о рангах это положение было достаточно высоким.

Трудно было согласиться с формулой Бардина («Дипломат — историк и литератор одновременно»), но новая работа не оставила Тамбиева равнодушным. Самым симпатичным для него было то, что она все время держала его в напряжении, которое вернее всего назвать творческим, ставила перед ним все новые задачи, задачи нелегкие. Поэтому все, что делал Тамбиев на Кузнецком, он делал с увлечением. Очевидно, Бардин, рекомендуя Тамбиева, подсмотрел в Николае нечто такое, что было сутью Николая.

## 5

Американский «Who is who», которым обычно пользовался Николай, был отнюдь не лаконичен в изложении биографии Галуа. Энциклопедический словарь сообщал: данный Галуа родился в начале века в Петербурге, в семье промышленника и вскоре после революции покинул Россию. Галуа осел во Франции и окончил здесь университет. Окончание университета совпало с марокканской кампанией, и Галуа уехал корреспондентом воскресной парижской газеты в Африку. Потом была абиссинская война, а затем испанская. Они и сделали ему имя, а имя позволило Галуа

иметь свое мнение не только о белой марокканской земле, но и о странах, лежащих далеко от африканских пределов. О России и, например, о Франции. Кстати, о Франции — даже книги. О России книг не было, — видно (надо отдать ему справедливость), Галуа не мог себе позволить этого, не побывав в стране. В Россию он просился, но получал отказ. Неоднократно.

Тамбиев углубился в чтение корреспонденций Галуа. Это были репортажи, написанные с той строгой правдивостью и тщательностью, с какой зрелый человек рассказывает другим о явлениях жизни. Эти этюды были интересны и своей достоверностью, и, главное, мыслью. Николаю даже показалось, что слово обрело энергию там, где обретала энергию мысль. Она, эта мысль, была потому такой впечатляющей, что была жизненной. Она возникла не сразу, и ей предшествовали и раздумья, и наблюдения. Надо немало передумать, да и увидеть немало, чтобы явить такое.

Но вера, которую он исповедовал, обнаруживалась не сразу. Она, эта вера, растекалась по пальцам и выскользывала, как известное простейшее, извлеченное из пучины морской. Единственное, что можно было сделать с нею, — выбросить в море и потом, пожалуй, ополоснуть руки. Его верой, быть может, был всеильный компромисс, который он внутренне называл независимостью. Этот компромисс был для него и булавой, и скипетром... Человеку неискушенному могло показаться, что с заоблачной высоты его независимости, то бишь компромисса, сильные мира сего были для него равны и он раздавал тумачи, не считаясь с тем, к какому стану принадлежит сильный. На самом деле все обстояло не так. Компромисс был сферой математического мышления, наукой точной. Количество тумачков строго соизмерялось. На этом и держался человек, его представление об окружающем мире, его, в конце концов, карьера и журналистское имя.

По крайней мере, все это так рисовалось Тамбиеву, когда он собрался на Ярославский вокзал встречать Галуа.

Прием происходил в «Метрополе». В течение полутора недель, которые минули после начала войны, корреспондентский корпус в Москве стал силой внуши-

тельной. В западном мире не было агентства или крупной газеты, которая бы не направила своего корреспондента в Москву.

Прием предполагалось провести в деловых апартаментах Гофмана, под которые был отведен многокомнатный номер гостиницы «Метрополь», однако в последний момент его перенесли в небольшой представительский зал гостиницы, примыкающий непосредственно к ресторану. В последние дни Москва подверглась столь бурному наплыву корреспондентов западной прессы, что вместить их в скромные апартаменты агентства было мудрено. В прежнем корпусе тон задавали немцы, в нынешнем, слишком очевидно, — англосаксы. Чтобы установить это, большой прозрачности не требовалось, как ни пестр был состав гостей, — в представительском зале ресторана звучал английский.

Виновником торжества оказался человек лет сорока четырех, высокий и узкоплечий. В его русской речи была некая гундосинка, свойственная старым питерцам, для которых вторым языком был французский.

— Все не могу отделаться от впечатления: позавчера был в Лондоне, а сегодня — в Москве, — сказал он очень непринужденно.

— Вы прилетели на «Каталине»? — спросил Тамбиев. Он не ожидал от Галуа столь непосредственной человеческого фразы.

— Да, разумеется. Прямой дорогой на родину Ломоносова. — Николай заметил, что его собеседнику было безразлично вспомнить Ломоносова. — Все русские, с которыми я говорил в Архангельске, почему-то говорили об этом... прохвосте Гессе. Точно главная угроза англо-русскому союзу в нем...

— Вы полагаете, не в нем?.. — спросил Николай тотчас. Ему показалось, что он получил возможность заговорить по существу.

Бледные брови Галуа приподнялись.

— Конечно, не в нем! — почти воскликнул он. — Все дело в английских буржуах! — вымолвил он едва слышно и расхохотался, расхохотался с удовольствием, так, что шея его покраснела. Он был рад, что не пренебрег словом, которое для него звучало особенно смачно и

бедово.— Эта кливденская клика<sup>1</sup> представляет не только англичан...— Он внимательно огляделся вокруг и вдруг увидел француза Буа, который, разметав ярко-черную бороду, гарцевал вокруг девушки в вуалетке.— Вы не находите, что этот Буа со своей бородой похож на царя Бориса, как его играл Шаляпин?— Он рассмеялся еще пуще и тотчас себя смирил, но красные пятна, вызванные смехом, еще удерживались на его тощей щеке.— О чем мы говорили?..

— О кливденцах?

— Ах, да, об этих... держимордах!— Он не пренебрег и этим словцом.— Так я говорю, они представляют не только англичан!..

— Французов?

— Нет, американцев. Больше того, их посла в Лондоне...

— Он полагает, что надо идти с Гитлером на мировую?

— Да, что-то в этом роде.— Он вновь оглядел зал и остановил взгляд на группе молодых корреспондентов в зеленовато-желтой форме, улыбнулся.— Вы не находите, что эти американские ребята рискуют напиться, как... сапожники?— Он улыбнулся.— Вам надо искать общий язык с Черчиллем! Старик ставит на русскую лошадь, да, да, на орловского рысака, и надо его в этом поддержать!..— Он помрачнел.— Кстати, немцы Орел бомбили?

— По-моему, нет.

— Какая-то чепуха!..— Он не без удовольствия произнес: «Чепуха!»— Я тоже говорю «Нет!», а вот этот... Гофман,— он указал взглядом на американца,— только что сказал: «Немцы бомбили Орел!»— Он задумался.— Надо искать общий язык с Черчиллем!.. Я понимаю, это непросто! Он сказал в этой своей речи: «Я не возьму назад ни одного своего слова, сказанного против коммунизма». Ну что ж, пусть не берет, черт с ним, в конце концов... Но надо искать основу для союза... непростого союза!..

<sup>1</sup> Кливденская группа — группа английских политиков, принадлежавших к крайне правому крылу консерваторов. Активно поддерживала заключение Мюнхенского соглашения с Германией. Прогривилась борьбе с германским агрессором.

— А что должно быть основой? — спросил Тамбиев.

— Помощь... русским.

— Чем?

— «Харрикейнами», например.

— Теми, что снимаются с вооружения?

Это его не смутило.

— Да, этими тоже, — подтвердил он безбоязненно.

— Однако вы не щедры, — сказал Николай.

Галуа стоял, выпятив губу, неестественно красную.

— Черчилль не пойдет на вторжение во Францию, — сказал он убежденно. — После того как Россия вступила в войну, эта перспектива...

— Не столько приблизилась, сколько отодвинулась?

— Да, несомненно.

— И это основа для союза?

— Я так думаю...

Подшел Гофман, и Галуа тотчас покинул Тамбиева. У него была какая-то зыбкая, больше того, чуть-чуть вихляющая походка, неотделимая, как могло показаться, от всей его сути.

## 6

Третьего июля на рассвете летающая лодка «Каталина» покинула Архангельск, взяв курс на северошотландские острова. Бекетов видел, как растушевывается ломаная линия берега и теряет очертания, становясь туманно-серой, неотличимой от воды.

Где-то за Кольским полуостровом, у начала норвежских камней, краснолицый шотландец, не то стрелок, не то радист, а может, и то и другое вместе, схватил Бекетова за рукав и поволок в радиорубку.

— Listen! — кричал он, стараясь превозмочь рев четырех луженых глоток «Каталины». — Stalin is speaking!..

Он стащил с головы Бекетова меховую шапку и приспособил наушники, но в бездне вселенной, которая вдруг разверзлась перед Бекетовым и о которой расстояние от «Кагалины» до земной тверди не давало никакого представления, была тишина и такой звук, буд-

то бы мембрану поклевывала большая птица, поклевывала осторожно — словно сама вечность отсчитывала секунды.

— Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я...

Да, это говорил Сталин. Говорил с суровой тревогой, может быть, даже усталостью. Когда он кончил фразу, было слышно его дыхание, усталое дыхание уже немолодого человека — так говорит человек, идущий в гору. Все казалось, что он должен остановиться и перевести дух.

— Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель... Необходимо, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе...

Он говорил, а Бекетов повторял:

— Да, да... чтобы не знали страха в борьбе, не знали страха...

Из всех чувств, которые волновали Бекетова, осталось именно это: «Не знали страха...» И чувство это надо всем возобладало, все обратило вспять, даже жгучие снега Печоры, даже ее железные льды, даже обиду на человека, который говорит сейчас, обиду необоримую...

— ...Не знали страха!.. — продолжал повторять Бекетов вслед за говорящим, повторять так, как некогда в дымной полутьме приходской церквушки при вздрагивающем пламени копеечных свечей повторял слова молитвы... — ...Не знали страха!..

И мысль о том, что этот глуховато-суровый голос, идущий от полярного солнца, из самой снежной мглы, заставил все переосмыслить, на все взглянуть по-иному, взволновала Бекетова.

— Только так: не знали страха, не знали... — сказал себе Сергей Петрович.

А Сталин продолжал говорить... Он сказал, что война должна быть отечественной, освободительной войной против фашистских поработителей... Он так и вымолвил «отечественной», и слово это, слышанное с младенчества как самое святое, нашло отклик в душе Бекетова. «Да, верно, отечественная, отечественная...» И то, что слова эти прозвучали из полумглы в речи

старого человека, к тому же говорящего с заметным акцентом, не сделало их менее впечатляющими.

— Да, отечественная, — готов был повторять бесконечно Бекетов. — Отечественная на веки веков...

И он подумал, что эта война будет чем-то похожа на ту отечественную, которая вошла в сознание вместе с сурово-добрым ликом Кутузова и его генералов, тоже людей могучих в своей храброй суровости и, наверное, доброте: Багратиона, Барклая, Раевского... Да, она будет похожа на ту войну, когда страна восстала против поработителей, вся страна: и ее люди, и сама ее земля, вот такая же серая, каменистая, вся в изломах камня, как та, что медленно проплывала сейчас под самолетом. И еще подумал Бекетов: может быть, со временем ты, Сергей Петрович, взглянешь на эту речь по-иному, может, с годами в памяти воспрянут и вырвутся наружу острые камни обиды, которая жила все эти годы и не намерена была отступать, но сегодня Сталин говорил и от твоего имени. Что-то произошло в мире такое, что постижимо не просто: после всех несчастий и бед тридцать седьмого года, которые люди не могли не связывать с властолюбивой сутью Сталина, он стал для страны символом ее ратного деяния.

А «Каталина» точно оттолкнула от себя округлое облако Скандинавии и вошла в неоглядные просторы Атлантики, храбро пробиваясь к северошотландским скалам.

Нет, Сергей Петрович должен во всем разобраться, до всего дойти. Почему Сталин не помог Бекетову? Сталин знал, что произошло с Сергеем Петровичем, не мог не знать... Почему Сталин, бекетовский товарищ по царицынской страде, не помог Бекетову, а Егор Бардин бросился на подмогу, презрев опасность?

Все можно предать забвению, но такое никогда!.. Был июль, и зал против обыкновения казался полупустым — отпуска уже начались. Но это не умерило неистовости. Костромин был уже снят и обвинен во всех грехах смертных, и дело было за Бекетовым. «Если вина директора доказана, виновен и секретарь парткома, не может быть невиновен». Одним словом, послали этого Смолина в Тверь: «Копни, Смолин, да хоршенько!» И Смолин копнул — приволок три папки,

перевязанные голубыми тесемочками, и водрузил их на кафедру: «Вот... ваш хваленый Бекетов!» Чего только там не было! И жену чуть не отбил у приятеля (это Бекетов-то!), и противопоставлял себя городскому руководству, и однажды даже усомнился в верности решения областного руководства, а уж как гордыня человека одолела!.. И пошла писать губерния... А потом прения, и охотники высказаться нашлись — три года партийного секретарства не обойдешь, не обскачешь!.. В самом деле, жену чуть не отбил у друга? Похоже... Противопоставлял? По всей вероятности, противопоставлял. Горд, бестия, да и своеволен порядком! Но дело не в жене, да и с гордостью его можно примириться. Главное в другом. Директор ведь снят?.. И, наверно, поделом? Если сняли, то поделом, так просто не снимут! А коли сняли, и у секретаря рыльце в пушку! А потом эти три папки... с голубыми тесемочками... Ну, предположим, в одной папке наговоры. Можно допустить, что в другой... тоже наговоры!.. Мы не знаем, но допустим!.. А в третьей папке... что такое? Не может быть, чтобы во всех трех папках были только наговоры!.. В конце концов, в Тверь ездил Смолин!.. Коммунист он или не коммунист?.. Он ведь тоже о чем-нибудь думал, когда тащил эти папки из Твери... И потом, говорят, с каждым он беседовал. А их, по слухам, было двадцать три человека... Не могли же они, двадцать три, сговориться и наклеветать на Бекетова! Ну, предположим, один из них... это муж, у которого он чуть не умыкнул жену... а остальные двадцать два? Нет, двадцать два негожи, а он, Бекетов, гожд?.. Двадцать два?.. Однако что это такое?.. На кафедру поднимается Бардин. Рванулся, чуть стул не сшиб. Шагнул к кафедре, ни на кого не взглянул, на Сергея Петровича тоже не взглянул. Поднялся на кафедру, положил толстую руку на папки с тесемочками, сказал: «Все, что здесь написано, — ложь!.. Я знаю Бекетова...» Вот это поднялась кутерьма!.. Вскочил Смолин и зашелся в кашле... Истинно, человека одолел коклюш на шестидесятом году! «Ты еще ответишь, Бардин, перед партией!..» — «Хорошо, отвечу... Хочу ответить, но от слова своего не откажусь...» В тот раз сказал себе Бекетов: «Вот с кем судьба невидимой ниточкой связала, на веки веков связала, не с кем-то другим — с ним...»

Кого увидел тогда Бекетов в Егоре?.. Наверно, друга, но еще во сто крат больше — коммуниста. Жив человек, вопреки всем невзгодам судьбы жив!.. И чего ради вспомнился Бекетову тот июль?.. Быть может, захотелось еще раз вспомнить Егора, а как это сделать без того, чтобы на ум не пришел тот случай с тремя папками, что были перевязаны голубыми тесемочками?..

Чья правда взяла верх в тот раз? Конечно же, Смолина, а не Егора. Бекетова вышибли из института, а потом годы Печоры, которые были самыми тяжелыми годами в жизни Бекетова, хотя когда-то прежде был и фронт...

## 7

Бекетов прибыл в Лондон на исходе дня.

— Поторопитесь, Сергей Петрович. Возможна тревога, тогда нам не проехать, — сказал Бекетову Компанец, первый секретарь посольства.

То ли сумерки были тому виной, то ли руины, покрытые углем и пеплом, город показался Бекетову черным. Впрочем, черными выглядели мосты через реку, как и сама река и, пожалуй, неосвещенное небо над нею.

— Что сегодня в газетах?

— Немцы сообщают, что взяли Минск...

— Плохо дело.

— Да уж куда...

Бекетов смотрел по сторонам. На улицах немного народу, хотя с начала русской кампании налеты прекратились, на всякий случай каждый занял свой шесток. Впрочем, те, кто все еще оставался на улицах, не очень спешили их покинуть. Они, эти лондонцы, выглядели неторопливо-сосредоточенными, может быть, даже спокойными. Никто из них не смотрел на небо, которое и принесло столько бед и, как видно, сделало человека мудрее.

— В посольство? — спросил Бекетов.

— Да, разумеется, Сергей Петрович.

Только сейчас Бекетов рассмотрел спутника: коренасто-широкоплечий, хотя и немолодой, он говорил на том характерно певучем языке, на каком говорит южная Россия. Бекетов не помнит, чтобы знал его прежде.



— Посол у себя?

— Отложил поездку в парламент, ждет вас.

По тому, как Компанеец произнес «Отложил поездку в парламент», Бекетов почувствовал, что спутник его — лицо определенно служивое. Но было в этих словах и другое — уважение к человеку, который просил Компанейца доставить Сергея Петровича в посольство еще до воздушной тревоги, если она сегодня вдруг будет объявлена. Бекетов видел Михайлова последний раз этой весной, кажется, в приемной наркома. Маленький, чуть-чуть щеголеватый (Бекетов заметил: маленькие склонны к щегольству), он приветствовал Бе-

кетова весьма радушно. «Простите, Сергей Петрович, все собирался вас спросить: Плеханов действительно полагал, что рабочая аристократия впервые появилась в Англии?» — спросил он Бекетова так, будто бы его не оставляло желание задать этот вопрос Сергею Петровичу и тогда, когда тот находился на Печоре, при этом в такой мере был уверен, что тот вернется с Печоры и он, Михайлов, будет иметь возможность встретить Бекетова в приемной народного комиссара по иностранным делам и спросить его о Плеханове и рабочей аристократии, что не удивился, когда эта встреча произошла. «Да, так мне кажется», — ответил Бекетов, и это заметно обрадовало Михайлова. «Вот видите, я всегда говорил: в Англии, в Англии!..» — произнес посол, а Бекетов подумал: «Все они живут стариной, знатной стариной, и им нет дела до того, что происходит сегодня, хотя, быть может, это сегодняшнее во сто раз значительнее их старины. Значительнее и многострадальнее, горестнее оно, это сегодняшнее, распахало их жизнь так глубоко, что никуда уже от этого не денешься, не защитишься никакой стариной, а они все тянутся ко дню вчерашнему. Почему?.. Там была их молодость, а следовательно, страсть познавания?»

Бекетову показалось, что где-то слева проплыли торжественные иглы Вестминстера, они выплыли из своих средневековых сумерек как напоминание, что они живы. И вновь вспомнился Плеханов. Неизвестно почему, Сергей Петрович связал его со стройными иглами аббатства. В Лондоне должна быть та церковка, где в начале века заседали русские коммунисты. Там был и Плеханов. Где-то у Горького есть об этом. И о Плеханове есть, очень характерное для Плеханова. Как он разговаривал с делегатами и при этом крутил пуговицу на сюртуке. Крутил не без сознания собственного достоинства, по крайней мере так это виделось Сергею Петровичу. Сколько раз думал Бекетов: хорошо бы побывать в Лондоне и разыскать эту церковку. Чтобы понять Плеханова, надо побывать и в Лондоне... И вот Лондон. Приходило ли в голову Бекетову, что приезд его в этот город будет таким?

— Посол ждет вас... — заметил белолицый юноша, возможно, дежурный по посольству. Видно, юноша при-

был сюда недавно, но с тем большим удовольствием он произнес «посол».

Бекетов снял макинтош, взглянул в зеркало. Нет, решительно нельзя идти к послу, не побрившись и не приняв ванны.

— Пожалуйста, Сергей Петрович, — юноша указал взглядом на дверь рядом.

Бекетов открыл дверь и увидел посла, сидящего перед раскрытым книжным шкафом.

— Разрешите?

Посол обернулся и, не выпуская книги, поднялся и быстро пошел навстречу Бекетову.

— Здравствуйте, Сергей Петрович, — произнес он, приближаясь к Бекетову и перекладывая книгу из одной руки в другую. — Так где, по мнению Плеханова, впервые появилась рабочая аристократия: в Англии или во Франции?

— В Англии, в Англии, Николай Николаевич... — произнес Бекетов, пожимая руку Михайлову и дивясь его способности удержать в памяти однажды услышанное. Однако далась ему эта рабочая аристократия.

— Вот что интересно: хочет старый Уинстон или нет, а рабочая Англия заявит о себе в этой войне! — Он указал глазами на стул, стоящий подле письменного стола, а сам, обогнув стол, сел в кресло. — Верьте мне, заявит!

— Но чего, собственно, хочет старый Уинстон и что он... может? — спросил Бекетов.

— Пожалуй, он хочет меньше, чем мы полагаем. Он слишком умен, чтобы хотеть многого, — ответил Михайлов.

— Он хочет спасти империю? — спросил Бекетов и взглянул на письменный стол. Зеленый свет настольной лампы мягко стлался по столу, освещая большие листы линованной бумаги, исписанной мелким почерком Михайлова. — Но ведь это почти... хрестоматийно, Николай Николаевич! — воскликнул Бекетов, мысленно журуя себя за то, что он дальше, чем следовало, задержал глаза на страницах, разложенных на столе. — С той далекой поры, когда отпрыск Мальборо ушел сражаться с бурами, по сей день... он единственно, что делал, это спасал империю. Спасательный круг был в своем роде его фамильной эмблемой.

— Нет, сейчас у него одна забота — спасти Британские острова! — живо откликнулся Михайлов.

— Любой ценой, но спасти острова, а с империей можно и повременить, — заметил Бекетов как бы в тон Михайлову. — Если говорить об эмблеме, то это не столько спасательный круг, сколько коромысло. Да, обычное коромысло, на котором россиянки носят воду: с одного конца — Америка, с другого — Россия. Два ведра!.. Два полных ведра!.. Задача — донести эти ведра, не расплескать!..

— Говорят, когда Гопкинс прибыл на Британские острова, навстречу гостю был послан поезд с бригадой в белых перчатках. Вот это и есть американское ведро, Сергей Петрович! — мгновенно подхватил посланец.

— А русское? — спросил Бекетов.

— Русское мы, пожалуй, еще увидим! — произнес Михайлов и взглянул на стол, по которому были рассыпаны страницы. — Ходят слухи, что русское ведро будет доверено лорду Вивербруку. По мнению Черчилля, он самый красный из всех его коллег и больше остальных может рассчитывать на доверие русских. Самый красный...

— Но по этому принципу сам Черчилль должен уйти в отставку?

— Нет, все сложнее... Вы читали его речь?

— Да, конечно.

— Но и ее недостаточно, чтобы понять Черчилля. — Михайлов задумался, взглянул на Бекетова искоса: — Завтра Черчилль выступает на танковом заводе... Начинается в своем роде танковая неделя. На обычную рекогносцировку нет времени — пора военная!.. Готовы ехать со мной?

— Да, разумеется.

— Тогда спокойной ночи. Кстати, комната ваша выходит в сад. Выключите свет и пошире откройте окна... Если не будет тревоги, а ее, по всей вероятности, не будет, до шести выспитесь вполне.

— Почему до шести, Николай Николаевич?

— В шесть выедем на завод.

Когда Бекетов уходил, он ненароком, против воли задержал взгляд на столе и в углу на одной из страниц,

лежавших веером, увидел цифру 47. Видно, это лежала рукопись очередной книги Михайлова — песол работал по ночам.

## 8

Автомобиль выехал за Лондон, и густо-зеленая роща, свежая, лиственная, обступила дорогу.

— Как в Подмоскowie... где-нибудь по дороге в Щелково, — сказал Бекетов.

— Да, действительно похоже, — отозвался Михайлов. — Хотя здешний лес другой — гуще, зеленее, да и настоящей суши в нем нет, как почти нет хвои. В прошлое воскресенье выехали с женой за город. Так просто вошли в лес и постояли часок, послушали птиц... Лес как островок мира, только он и сберег тишину.

Михайлов заговорил о жене, а Бекетов подумал: какая она у Михайлова?.. Наверно, деятельная и чуть-чуть властная. С тех пор как Бекетов прибыл в посольство, Михайлов произнес имя жены дважды и, как показалось Сергею Петровичу, сделал это не без удовольствия.

На развилке дорог посольскую машину ждал «виллис».

— Mister ambassador? Come along with us, please... Господин посол? Пожалуйста, за нами...

Посольский автомобиль пошел вслед за «виллисом» и медленно въехал в ворота большого заводского двора, мощенного ярко-белой плиткой и разливованного рельсами узкоколейки.

— Черчилль часто выступает перед рабочими?.. — спросил Бекетов.

— По-моему, да. В традициях английских парламентариев разговор с рабочими не исключается... Черчилль умеет это делать.

«Виллис» пересек двор и остановился у кирпичного особняка, крытого цинком.

И вновь Бекетов услышал фразу, произнесенную на развилке дорог:

— Mister ambassador? Come along with us...

Оказывается, позади особняка был второй двор, такой же круглый и выпукло-покатый, как и первый,

но в отличие от первого до краев заполненный людьми. Посреди двора возвышалась железнодорожная платформа — ей надлежало быть трибуной. Толпа, окружившая платформу, была плотной. Люди сидели на фермах подъемного крана, стоящего поодаль, на крышах вагонов, а один озорник (на заводе должен быть такой) взобрался на водокачку, стоящую над заводским двором, и помахивал оттуда английским флагом, в котором, как показалось Бекетову, красный цвет преобладал больше обычного.

— We are expecting for the prime minister. He will be here in some minutes...<sup>1</sup> — Человек с родимым пятном на щеке: смотрел в дальний конец двора — очевидно, Черчилль должен был появиться оттуда. — Have you any news from Russia?<sup>2</sup>

— News? Not very good... — заметил посол и, взглянув на Бекетова, произнес: — Mister Beketoff came from Russia yesterday, he will be able to tell you better than I can...<sup>3</sup>

Все, кто смотрел на посла с невеселой пытливостью, теперь смотрели на Бекетова. «Как там, в России?» — точно спрашивали они.

— Плохо сегодня, а завтра будет хуже, но надо бороться. Где правда, там и сила, а правда у нас... — сказал Сергей Петрович и подумал: надо было бы найти другие слова — и легче, и радостнее. Они внушат людям надежду. Но, наверно, эти слова искать не ему....

— Бывало, погибали и с правдой... — сказал человек с родимым пятном на щеке.

— А потом воскресали. С правдой не погибнешь, — отозвался Бекетов.

— Я согласен и не воскресать, дайте только пожить подольше, — сказал англичанин.

— А я согласен с тем, что сказал...

— Ах, эти русские имена — язык сломаешь! Простите... Да, да, мистер Бекетов, мистер Бекетов! — произнес человек, до сих пор молча стоявший рядом, и

<sup>1</sup> Мы ждем премьера, он будет через несколько минут.

<sup>2</sup> Какие новости из России?

<sup>3</sup> Новости? Не очень-то добрые... Господин Бекетов: вчера из России. Он лучше меня ответит на ваш вопрос.

приладил к уху дужку очков. Бекетову показалось, что они были скреплены на переносице кусочком белой жести. Жесть, как припой, поблескивала. — У нас на Гитлера не одна, а три силы!.. — Он бросил взгляд в дальний пролет двора. — По-моему, это он!..

Бекетов посмотрел в ту сторону. Да, это был Черчилль. Полный; круглоплечий, сутуловатый, с короткой шеей, что заставляло его смотреть чуть-чуть исподлобья и казаться хмурым даже тогда, когда он не хотел быть таким, он шел нарочито неторопливой походкой, будто давал присутствующим до конца уяснить смысл происходящего — на завод приехал Черчилль. Те, что сидели на фермах крана, заплодировали, и Черчилль снял шляпу и невысоко поднял ее над головой, однако при этом оставался хмурым. Это было необычно — жест приветствия и более чем пасмурное лицо. Он точно хотел показать всем своим видом, что нынешний митинг отнюдь не празднество. Хотя толпа, заполнившая двор, была плотной, она заметно расступилась перед тучной фигурой Черчилля. Теперь Бекетов видел глаза Черчилля. Они были круглыми, навывкате, неожиданно светлыми, то ли серо-сизыми, то ли голубыми. Лицо человека обозначилось еще не ясно, а глаза видны — человек знал силу своего взгляда и пользовался ею достаточно грубо.

Пожалуй, только теперь Бекетов мог рассмотреть и того, кто был рядом с Черчиллем, — промоздая фигура английского премьера, а может быть, его гипнотический взгляд застлал для Бекетова все вокруг. Небольшой, какой-то тщательно обкатанный, он не столько шел за Черчиллем, сколько катился вслед. В то время как лицо Черчилля, очевидно предвосхищая речь, которую следовало произнести премьеру, выражало нечто похожее на благородный пафос, личико человека в клетчатом пиджаке оставалось озорно-ироническим. Человек кого-то узрел в толпе и подмигнул, кого-то дружески-фамильярно ткнул плечом, а приметив на водокачке паренька с флагом, просиял и, подняв руку, открыл розовую ладонь, совсем мальчишескую.

«Кем бы мог быть этот человек в зелено-клетчатом костюме, такой плотски-грешный, такой земной? — подумал Сергей Петрович. — Да не Бивербрук ли это?

Тогда почему в нем... нечто ерническое, нечто скомошье?..» Признаться, у Бекетова было иное представление о Бивербруке, он виделся Сергею Петровичу административным гением, моторной энергией.. Да не под клетчатым ли пиджаком хранились эта энергия и этот гений?..

Еще издали Черчилль приметил в толпе, стоящей у платформы, советского посла и сейчас видел только его. Посол заметил этот взгляд и, казалось, пошел навстречу премьеру, но, сделав два шага, лишенных энергии, рассчитанных, остановился.

— Я вас приветствую, господин посол, — сказал Черчилль, но лицо его все еще было хмуро-озабоченным. — Как хорошо, что мы здесь вместе... — добавил он и посмотрел вокруг.

«Видно, эта фраза созрела в нем в ту самую минуту, когда он увидел посла», — подумал Бекетов.

— Да, господин премьер-министр, надежда в нашей общей борьбе с фашизмом... — произнес Михайлов, улыбаясь.

— В общей борьбе, господин посол, в общей борьбе,— Черчилль протянул руку Бекетову, стоящему рядом с послом. В его планы определенно не входило продолжение разговора. Рука у него была такой же округлой, как и плечи.

Он с заметным усилием поднялся на платформу (Бекетов слышал его побряхтывание) и, прежде чем сесть на стул, дважды приподнял его и упруго трахнул о крепкий пол платформы. И в том, как он шел через двор, грубо уперев глаза в дальний его конец, и в том, как он протягивал руку, и в том, как он пробовал исправность стула, на который ему предстояло сесть, Бекетову был виден хозяин, привыкший к тому, чтобы нрав его знали и с ним считались.

Рядом с Черчиллем стал человек с седыми полубаками, поднял руку, умеряя шум голосов, который все еще удерживался над двором.

Он открыл митинг и прежде всего приветствовал иностранных гостей, в том числе советского посла. Раздались аплодисменты, они возникли, робко-торжественные, где-то в ближних рядах и были поддержаны присутствующими с воодушевлением, при этом пришли в движение и круглые ладони Черчилля. Он апло-

дировал торжественно-корректно, при этом его могучие ладони оставались немыми — они не столько издавали звук, сколько поддерживали самую церемонию аплодисментов. Справедливости ради надо сказать, что и остальных гостей премьер-министр приветствовал не с бóльшим энтузиазмом. Очевидно, для него важно было постоянно помнить, что он премьер-министр, и, надо отдать должное Черчиллю, он помнил.

Потом человек с полубаками сказал о молодых рабочих, призванных в армию, похвалил заводскую самооборону, защищающую предприятие от неприятельских атак с воздуха, не без воодушевления отметил усилия заводского коллектива, которому надлежит в предстоящие три месяца выпустить почти две сотни танков для России.

— Каждый наш танк — молот, бьющий по врагу!

Когда эти слова были произнесены, председатель предоставил слово Черчиллю. Премьер-министр поднялся из-за стола и пошел к микрофону, стоящему у края платформы. Он шел неторопливо, сообразуя свой шаг с температурой аплодисментов, и оказался у микрофона, когда они были достаточно сильны. Он поднял ладонь и отрицательно повел ею, аплодисменты стали смолкать.

Черчилль начал говорить, и нужно было немалое напряжение, чтобы расслышать его голос. Казалось, громоздкая машина его речи должна была разогреться, прежде чем зазвучать в полную силу.

Он говорил, а Бекетов думал: «Вот какой неожиданной гранью повернулась судьба... С той заповедной поры, когда явилась миру новая Россия, Черчилль грозил ей вот этим коричневым, похожим на невызревший баклажан кулаком. Еще Ленин видел в нем великого ненавистника Советской России.

Если об армии, атаковавшей Россию в двадцатом году, Черчилль мог сказать «моя армия», то какого мнения он держится о войсках, в сущности, выполняющих эту же задачу сегодня? Что делать потомку герцога Мальборо, если страна, знатным гробовщиком которой мечтал стать Черчилль, схватилась в смертельном поединке с извечным врагом Британии? Непростой задачей обременила потомка герцога Мальборо жизнь.

Вопрос, в сущности, поставлен на попа. Что сильнее — потомственный антикоммунизм или любовь к Англии? Но, может быть, Бекетов, думая о Черчилле, слишком остается самим собой? Предпочтительнее на погоня герцога Мальборо взглянуть глазами той объективной истины, с которой всегда бесполезно соизмерить понимание правды. А что собой представляет Черчилль применительно к этой объективной истине? Человек, при этом талантливый, желающий быть верным сыном своего класса, для которого антикоммунизм почти норма бытия, религия... А какой это класс, для которого антикоммунизм норма бытия? Какой? Нет, к черту объективную истину, если она требует снисхождения к человеку, который никогда тебя не щадил... Как поведет себя Черчилль и как решит он нелегкую задачу, которую задала ему Россия однажды и втрое усложнила сегодня? Вопрос так и ставится: «Что сильнее — потомственный антикоммунизм или любовь к Англии? Что же все-таки сильнее?..»

Он уже начал решать эту задачу, в частности в речи, которую сейчас произносит.

Он говорит о России, говорит о ее мужестве и ее бессмертии, освященном подвигами ее народа, и Бекетов чувствует, как тревожно затихает масса людей, исполненная благодарности к человеку, стоящему на трибуне, который дал ей возможность почувствовать сердце народа-друга. Он говорит о походе Наполеона на восток и о том, как поднялась Россия, вся Россия в своей решимости защитить себя. Все, что происходит сегодня, с его точки зрения, является тем же, что происходило с Россией прежде, — народ выступил на защиту своего отечества. Нет, он не так глуп, чтобы Стране Советов противопоставить святую Русь. Наоборот, он готов воздать должное тому, что сделала Советская Россия, чтобы вызвать к жизни новую индустрию и оснастить армию.

— Россия победит! — почти торжественно провозгласил он. — Она еще не обнаружила всей своей силы. Ее могущество будет прибывать с каждым днем...

Голос его дрогнул, и слезы, неподдельные слезы застлали его глаза. Он гордился в эту минуту миссией, которую доверила ему судьба. И казалось, энтузиазм увлек присутствующих. Никогда они не думали о Чер-

чилле так хорошо, как в эту минуту, как, впрочем, никогда не думал о Черчилле так, как сейчас, и Бекетов... «Как хочешь, так и понимай, — сказал себе Бекетов. — Мне ли не знать Черчилля? А вот он заговорил, и хочется гневаться его гневом, радоваться радостью его... Кажется, что сама совесть глаголет его устами. А ведь Черчилль — лицо отнюдь не самое подходящее, чтобы быть глашатаем совести...»

Черчилль кончил, раздались аплодисменты, заводской оркестр, скрытый где-то за платформой, грянул гимн. На какой-то миг большой заводской двор замер, полоненный волнением этой минуты. Бекетов смотрел вокруг, и ему хотелось отделить чистоту чувств, которые владели в эту минуту людьми, от человека, стоящего на трибуне. Да что Бекетов? Сами люди, стоящие вокруг, хотели видеть в Черчилле больше, чем он являл собой, хотели видеть и, так думает Бекетов, видели, понимая, что этому высокому назначению человек, стоящий на трибуне, может и не отвечать.

Гимн смолк, и председатель предоставил слово Бивербруку. Паренек на водокачке взмахнул флагом, чей-то голос на соседней с платформой цинковой крыше разрезал тишину:

— Расскажи нам, как профессор варил яйца, мистер Бивербрук!

Человек, стоящий на трибуне, дружески-участливо махнул рукой, точно хотел сказать: «Так и быть, расскажу, да только сейчас недосуг...» Но фразу озорника, сидящего на цинковой крыше, подхватило несколько голосов, и Бивербрук, взглянув на него, сощурил маленькие глазки. «Ну, была не была, расскажу...» — будто произнес он и улыбнулся. Улыбка передалась людям, обступившим трибуну.

— Жена профессора побежала к зеленщику, поручив мужу сварить яйцо и покормить ребенка, — начал он и обвел взглядом присутствующих, не минув Черчилля, однако тот оставался невозмутимым. Молча шевеля губами, он посасывал невидимую сигару. — «Вот яйцо, а вот часы. Как закипит вода, бросай, да смотри не перевари — три с половиной минуты...» Когда жена вернулась, профессор стоял у кипящей воды и отсчитывал минуты, глядя на яйцо, которое держал в руке. Часы же, разумеется, были в кастрюле... — Раздались

аплодисменты, очень дружные — анекдот понравился. Но Бивербрук остановил их, взмахнув руками.— Что я хочу сказать?.. Когда нам говорят о том, кого мы должны поддерживать в Европе в борьбе против диктатуры, очень важно, чтобы мы не бросили в кастрюлю с кипятком вместо яйца часы... А в остальном мы молодцы, хотя нам надо быть еще большими молодцами, если мы хотим поколотить Гитлера.

Вновь раздалась аплодисменты, и оркестр, расположившийся за платформой, принялся играть «Доброго парня из Эдинбурга». Митинг закончился.

Бивербрук подмигнул толпе и отошел от микрофона, без опаски взглянув на Черчилля. Тот словно продолжал посасывать сигару. «Ах, если бы ты знал, какую чушь порол только что!.. — будто говорил Черчилль. — В самом деле, при чем здесь профессор и это глупое яйцо?.. А может быть, в этом анекдоте есть смысл? Нет, этот Бивербрук еще готовит нам сюрпризы. Он красный, краснее, чем мы думаем!»

Как было предусмотрено программой, по окончании митинга директор пригласил гостей к себе на чашку чаю. Девушки в полувоенных костюмах, быть может, бойцы заводской самообороны, подали галеты, джем, чай с молоком, по-английски крепко заваренный, приятно коричневатый.

Черчилль не притронулся к чаю, очистил сигару, закурил. Он все еще был бледен, казалось, волнение, благородное волнение, которое владело Черчиллем еще там, на трибуне, жило в нем и сейчас. Он понимал, как неловко его отшельничество, однако шел на это сознательно — чувства, которые он испытывал сейчас, ему были дороже.

— Господин премьер-министр, разрешите спросить, — подал голос Бивербрук. Казалось, он первым понял, в сколь своеобразное положение поставил себя премьер, и решил помочь делу.

Черчилль покинул прибежище у окна, медленно пошел к гостям.

— Спрашивайте, министр...

Бивербрук улыбнулся своей наихитрейшей улыбкой, задумался. Вопрос, который он хотел задать премьеру, надо было еще придумать.

— Я хотел спросить... — Бивербрук помедлил. Вот напасть: когда мысль должна быть элементарно гибка, она как раз и каменеет. — Господин советник Бекетов только что приехал из России, и я пригласил его к себе... Быть может, господин премьер-министр...

По тому, как Черчилль ускорил шаг и шевельнул губами, было видно: он понял своего министра и с достаточной полнотой решил, что ему надлежит делать.

— Нет, господина советника приглашаю я, а ваша воля... быть или не быть на этой встрече...

— Вы рассчитываете, что я откажусь?.. Ошибаетесь. Но Бивербрук уже овладел обстановкой.

— Как вам Черчилль?— спросил Бекетова Михайлов, когда посольский автомобиль вновь оказался на дороге, ведущей в Лондон.

Бекетов задумался. Легко сказать: «Как Черчилль?»

— Наверно, всю жизнь он играл все новые и новые роли. Перевоплощался и играл почти по системе Станиславского, играл искренне, ему нельзя не играть искренне... Сейчас он ищет ключи к новой роли — друг России... Я не знаю, помнит ли он свои речи, которые произносил двадцать лет назад, но, мне так кажется, многие из его образов перешли в сегодняшний день из тех лет... Да, он говорит нам то, что говорил в начале двадцатых годов, хотя сейчас мы, а тогда были другие русские. Кстати, это дает ему возможность убедить себя, что у него нет необходимости менять взгляды. Непоследовательны, с его точки зрения, мы, а последователен он... — Сергей Петрович задумался, открытие, которое он только что сделал для себя, увлекло его.

— Вас не смутило приглашение Черчилля? — спросил Михайлов.

— В какой-то мере да... Премьер и советник! Такое случается нечасто.

— Такое может быть и впредь: когда речь идет об информации, условности не играют ровно никакой роли для него... Когда вы должны быть?

— Завтра в десять вечера.

— На обед... в десять?

— По-моему, на обед, — улыбнулся Бекетов.

— Да, это его обеденное время, — согласился Михайлов. — Завтрак у него вечером, обед почти в полночь, а ужин на рассвете.

## 9

Поздно вечером автомобиль с потушенными огнями вошел в неширокую улицу и остановился у подъезда дома, который поразил Бекетова своим скромным видом.

— Это и есть Даунинг-стрит, десять?

— Именно, — ответил шофер.

Бекетова встретил молодой человек в темном плаще и, назвав по имени, ввел в дом.

Пахло оструганным деревом, просыхающей штукатуркой, оливкой.

— У вас ремонт? — обернулся Бекетов к молодому человеку, плащ которого был почти невидим в сумерках коридора.

— Да, недавно закончился... бомба угодила в канцелярию, — ответил он по-русски. Он так был рад возможности произнести это исконно русское «угодила», что не заметил: в самом факте было мало причин для радости.

А между тем по крутой лестнице с деревянными перилами они прошли в коридор, лежащий, казалось, ниже уровня дома, а оттуда в прихожую, выклеенную коричневой клеенкой, и, наконец, в квадратную комнату с люстрой, занимающей половину потолка. В комнате, как и во всем доме, было полутемно. Бекетов заметил люстру отнюдь не потому, что она была велика, — горел камин синеватым пламенем, а вместе с ним и граненый хрусталь люстры.

Молодой человек предложил Бекетову сесть, раскланялся и удалился. Комната, в которой сейчас находился Сергей Петрович, не была частью официальных апартаментов, скорее всего это была столовая в квартире премьера — и женский голос за дверью, и звон чайной посуды, и запах хлеба указывали на это определенно.

Вошел Черчилль, поздоровался, отодвинул от камина экран, пригласив Бекетова сесть ближе к огню.

В том, как он это сделал, напрочь отсутствовала сдержанность, а была приязнь, больше того, полная мера приязни, и это не могло не поразить Сергея Петровича — он ожидал увидеть хозяина другим.

— Люблю разжечь камин даже летом, — сказал Черчилль, протягивая к огню руки. — Нет ничего приятнее, как посидеть у камина после прогулки по холодному лугу или саду... А в России печи в три этажа!.. — Он поднял глаза с намерением возвести их выше, однако уперся в невысокий потолок, помрачнел. — Вы видели вечерние газеты?

— Да, господин премьер-министр.

— Под Смоленском у немцев заминка! (Он так и сказал: «There was a hitch».) Вы полагаете, что это случайно?

— Я не сказал этого, господин премьер-министр...

— Вот и я так думаю... Россия должна привести в движение свою силу... Я знаю, это непростой и небыстрый процесс. Как только она это сделает, Германия превратится в пигмея. Простите, но я вам скажу нечто такое, что не должно вас обидеть: по моему разумению, немцы в силу особенностей национального характера могут готовиться к войне и в мирное время. Русские — лишь в дни войны... Чтобы русские собрались и показали силу, надо, чтобы Гитлер напал на них.. Вчера на митинге я очень продрог, а когда вернулся, сел вот в это кресло, задумался... Прав я?

Бекетов подумал: он точно призывал в свидетели этот камин и это кресло, чтобы было больше веры его словам. Бекетов помнит, что вчера всю обратную дорогу шел дождь, холодный, нелетний, и шофер должен был включить печку... Быть может, так было и с Черчиллем, а потом он пришел вот сюда, в этот сумеречный подвал, который только очень условно можно назвать домашней столовой, и сел у камина. Сел так близко, как не садился никогда, и, может быть, даже поймал себя на мысли: чем больше лет, тем ближе к камину, пока не сгоришь, пока не обратишься в пепел. Человек стремится к горящей свече, как каштадская бабочка, которую Черчилль наблюдал в дни бурской кампании в начале века.

— Вы полагаете, что я ошибаюсь и моя, так ска-

зять, концепция, моя система мыслей о русской мощи ошибочна? — спросил Черчилль.

«Он хочет единоборства, он жаждет спора», — подумал Бекетов. Многолетний опыт ему подсказывает: истина добывается в споре. Самый бесполезный диалог, а следовательно самый бессодержательный, это чередование вопросов и ответов. В конце концов, нигде так не обнаруживаешь своих намерений, как в вопросах, и нигде не обретишь такого простора подчинить себе собеседника, как отвечая на его вопросы, — он в твоей власти. Иное дело — спор. Опытному полемисту он всегда даст больше простого диалога. Итак, согласен ты с концепцией Черчилля о русской мощи?

— Наверно, и Великобритания в военное время сделала больше для отражения удара, чем до войны.

— Ну что ж... Вероятно, вы правы: народ благодарен по природе своей, и не только в России, на Британских островах тоже... У русских даже есть пословица насчет того, что пока молния не озарит неба, мужик не осенит себя перстом, впрочем, допускаю, что такая же пословица есть у англичан...

Черчилль заулыбался, энергично шевельнул пальцами. Видно, с годами даже самый эмоциональный жест для него означал не столько движение рукой, сколько пальцами. Он засмеялся, пословица оказала на него действие магическое — она дала ему силы.

— Значит, известная беспечность свойственна не только нам? — заметил Бекетов.

— Да, разумеется, всем свойственна, всем, но только не немцам. Не так ли?..

— Может быть, но это не главное... — Сергей Петрович держал в памяти мысль Черчилля и не хотел себя освобождать от ответа на нее. — Если же говорить о подготовке к войне, так сказать, подготовке стратегической, когда в движение приводятся силы, которые войну решают, то старая русская пословица, верная на все времена, сегодня выглядит не очень свежей, — заметил Бекетов.

— Вы полагаете, что два буйвола, которые везут большую колесницу войны, и в теле, и в силе? — спросил английский премьер.

— Я так думаю.

— Что есть... первый буйвол?

— То, что произошло в России в начале тридцатых годов,— была создана промышленность, способная делать тракторы...

— Вы хотите сказать, способная делать танки? — тут же реагировал Черчилль. — Допустим, что это первый буйвол... А второй?

— Второй?.. Люди, умеющие управлять этим... трактором-танком. В условиях России это непросто. Надо было миллионы обучить грамоте, а вслед за этим дать им представление о машине. Да, миллионы людей, отцы которых знали только лопату и топор, сели за руль трактора и автомобиля...

Черчилль молчал. Весь его вид говорил сейчас: как ни весомы были доводы его собеседника, они его еще не убедили. Но, казалось, он не решается возразить Бекетову.

Черчилль приподнялся, при этом его шея утонула в рыхлой массе туловища едва ли не вместе с подбородком.

— Пойдемте в ту комнату, там у камина лучше тяга, да, кстати, мы сможем и подкрепиться, это всегда нелишнее, — на этот раз жест был жестом — пришла в движение рука.

В комнате, в которую они вошли, света было не больше, однако камин действительно горел ярче и давал больше тепла. Стол был пододвинут к камину. Вошла женщина, полная и домовитая, в белой наковке, скрепляющей волосы, поклонилась и, подкатив столик на колесиках, переставила с него на стол блюдо с зеленью, холодную рыбу.

Черчилль взял бутылку, вынес ее в поле света. «Хотя бы для начала... виски?» — точно хотел спросить он, указывая глазами на этикетку. Бекетов не противился.

— Не люблю коктейлей! — произнес хозяин, когда церемония с разливанием виски была закончена. Черчилль будто хотел дать понять: как ни важен разговор, происшедший между ними, он не переоценивает его. — Не люблю коктейлей!.. — приподнял он рюмку с виски, выждал, пока то же самое сделает гость, неторопливо осушил и так же не спеша взял вилку.

— Я полагаю, что Россия окажется достаточно сильной... — сказал Бекетов, возвращаясь к разговору о двух буйволах.

— И в решающий момент все буйволы будут в упряжке? — быстро реагировал Черчилль.

— Да, я так полагаю.

Черчилль вздохнул — этот перевал был нелегко и для него. Он наполнил следующую рюмку, наполнил с таким видом, будто бы ответ, который он ожидал услышать, был ему дан.

— Немцы утверждают, что в ближайшие две недели они возьмут обе русские столицы, — подал голос Черчилль. — Я не спрашиваю, в какой мере это возможно, с вашей точки зрения... Меня интересует другое: если это произойдет, Россия устоит?..

Наверно, Черчиллю это очень важно знать: сумеет ли выстоять Россия? Если сумеет, вместе с нею выживет и его страна. Если не сумеет — Великобритании не жить. В самом худшем случае сумеет выстоять. Если падут Москва и Ленинград, сумеет? Но, возможно, это зависит не только от России? Может, самое время задать вопрос Черчиллю. Да, поменяться ролями и начать задавать вопросы, при этом главный вопрос, самый главный...

— Но это зависит не только от России, господин премьер-министр.

— И от Великобритании тоже?..

— Да, господин премьер-министр...

— Что вы имеете в виду?

— Не скрою, но мне хочется вам ответить вопросом на вопрос... Разрешите?

— Ради бога.

— У вашего главнокомандования существовал план крупной операции на континенте еще до того, как немцы атаковали Россию?

— Да, разумеется.

— При этом ваше главнокомандование своеобразно корректировало его последний раз в апреле этого года, не так ли?

Черчилль угрюмо сомкнул губы, задумался. Он хотел понять, как будет развиваться мысль Бекетова, каким будет следующий его вопрос.

— Кажется, в апреле.

— Этим апрельским планом срок крупной десантной операции был определен?

Черчилль вздохнул, его большое тело заметно подобралось.

— Как сказать, точной даты не могло быть.

— Но, если говорить о дате приблизительной, то она определялась не столько годами, сколько временами года... Ближайшее лето, быть может, осень?

— Здесь все относительно...

— Но речь не могла идти о годах?

— Очевидно.

— Если в апреле, до немецкой атаки на Россию, такая операция планировалась на осень, то теперь, когда немцы атаковали Россию, она не может быть отнесена на более поздний срок... Нельзя же допустить, что сегодня условия для такой операции менее благоприятны, чем в апреле. Тогда немцы находились на европейских базах, сейчас они в России, тогда они были свободны от войны, сейчас они ведут трудную войну...

Казалось, Черчилль не выразил ни беспокойства, ни, тем более, раздражения. Можно было подумать, что он даже рад, что вопрос поставлен столь бескомпромиссно. Он взял блюдо с зеленью и принялся перекладывать салат в тарелку Бекетова. Можно сказать, что это блюдо из недорогого фарфора с ультрамариновой каймой было для него сейчас дороже всех сокровищ мира. Оно должно было помочь ему выгадать драгоценные секунды и обдумать ответ.

— То, что было целесообразным тогда, сейчас требует... уточнений, — произнес он, закончив операцию с зеленью. — Тогда речь шла о вторжении тактическом, сейчас же... речь может идти о вторжении стратегическом, способном существенно облегчить положение доблестных войск России. — Последние три слова — «доблестных войск России» — стоили ему труда. Волнение, с которым были произнесены эти слова, не могло оставить равнодушным и Сергея Петровича.

Вот он, Черчилль!.. Когда, казалось, все пути к отступлению отсечены и капитуляция неминуема, он на-

пряг мысль и коротким ударом едва ли не решил спор в свою пользу.

— Простите, но вы полагаете, что даже с потерей обеих столиц Россия сумеет совладать? — Он выпил свою рюмку виски, однако к еде не притронулся, будто хотел подольше сберечь в себе пылающую влагу. — Я не допускаю, что это случится, но если это все-таки случится?..

— Думаю, что это не случится, господин премьер-министр.

— Дай бог, дай бог...

Бекетов возвращался в двенадцатом часу. Кто-то рассказывал Бекетову, что Черчилль в часы досуга берет в руки мастерок и кладет каменные стены. Ходит слух, что в имении Чартвелл есть даже кирпичный флигелек, построенный премьером. Редко какой гость покинет Чартвелл, не увидев создания рук потомка герцога Мальборо. Говорят, что союз английских каменщиков даже избрал Черчилля своим почетным членом. Для Черчилля это успех, и немалый. В самом деле, в стране, которую можно назвать рабочей, старый отпрыск Мальборо, ставший премьером, должен по возможности не выглядеть павлином. Того, что он ни разу в своей жизни не ездил автобусом и, будучи почти ровесником лондонской подземки, был в ней лишь однажды, не следует обнаруживать... Короче, мост от герцога к рабочему может быть уложен и мастерком... Сегодня в апартаментах на Даунинг-стрит Черчилль тоже орудовал мастерком, орудовал невозмутимо, весь во власти спокойной радости, кирпич за кирпичом. Чем черт не шутит, Черчилль готов найти новое применение своему мастерку! В самом деле, нельзя ли уложить мост из Лондона в Москву, пользуясь только этим мастерком и не прибегая ни к чему иному, например, включая и открытие второго фронта... Итак, у Черчилля и его мастерка новая функция. Как-то справится с нею престарелый сэръ Уинни?

Дымные зори июля, сизо-красные в накале, сизые на ущербе... Горит наш запад. Дымы обволокли города Брест, Великие Луки, Псков и Великий Новгород, подо-



брались к Киеву, стелются по Смоленской дороге. В огне и Шексна, и Сухона, огонь не минул Западной Двины и Ладоги. Горят дороги и реки, по которым издревле Россия гнала на запад плоты и обозы, груженные бочками с воском и лесным медом, холстами и пушниной.

Ветер с запада, упрямо-жестокий, неутихающий, с пылью. Повинуясь ветру, движутся дымы на восток. Они бегут, эти дымы, за Днепр, Дон, Волгу, тревожно-седые. Иногда они останавливают свой бег и тогда стоят над городом, недвижимо-грозные, иссиня-черные. И советские люди на Дону и Волге с пытливой трево-



гой смотрят на облака, пришедшие с запада, в самом их скорбном сиянии желая узреть все, что свершилось в эти дни на западных рубежах России...

Немецкие бронированные дивизии обошли Брест, с ходу взяли Минск и устремились к Смоленску. Они вторглись в Прибалтику и приближались к Ленинграду. Они достигли правобережья Днепра и вышли к окрестностям Киева. Впервые панически-грозное слово «окружение» пронеслось от севера на юг — «окружение» под Белостоком, Минском, Киевом... Людские реки, серо-желтые, неотличимые от пыльных июльских дорог, разбитых танками, уже потекли на

запад... В открытом поле на отшибе от польских городов Ломжа, Ополе, Жешув, Млава, Бродница уже разбивались концлагеря, для которых стенами был частокос, перевитый колючей проволокой, а кровлей — белое от июльского зноя небо... Пока колонна была в движении, нет-нет да пленным перепадали и крошечка серого хлеба, и мешочек пшена, и кусок вареной свеклы. Участвовало сердце крестьянки — у самой муж или сын в солдатах. А как колонна шагнула за колючую проволоку, одна надежда, что в глине, спекшейся на свирепом здешнем солнце, отыщешь тощий корень брюквы да сварить его на костре... Третью неделю как возник лагерь, а лощина, что открылась на отлете, уже стала погостом. Хотя и далека она, эта лощина, а из-за колючей проволоки видно: вон как широко разверзла она черный свой зев, будто бы лагерь специально расположили рядом, чтобы сподручнее было ей сожрать его... Да знала ли такое история?

Но история не знала и иного — концлагеря для дипломатов. В то памятное воскресное утро, едва ли не в такт бомбам, что упали на советские города и деревни, посольские ворота вздрогнули от ударов железных кулаков. А потом, как при захвате неприятельского дота, солдаты с автоматами рассыпались по посольству. А потом стук кованых башмаков и посты: у входа в посольство, у кабинета посла и советников, в вестибюле, у конференц-зала... И как по тревоге: «Грузовики поданы к посольству — грузиться с вещами!» А вот теперь истинно концлагерь, даже колючая проволока вдоль ограды, и часовые на сторожевых вышках, и дежурные допросы...

Допросы?... Пришла весть из Копенгагена: в концлагере погиб поверенный в делах Власов, погиб в муках... Из Берлина: весь состав посольства интернирован. Из Бухареста: на репрессии властей дипломаты ответили голодовкой. Голодовкой? Да, смертью дипломата румынские королевские власти не устрасишь, но в перспективе обмена персоналом советского посольства в Бухаресте на персонал посольства румынского короля в Москве такая смерть может быть устрашающей.

Конечно, беда, которая упала на головы солдата и дипломата, была тяжкой, но в том, что враг в своей

ненависти к советским людям уравнил одного и другого, можно было усмотреть нечто похожее на знамение.

## 11

Девятую ночь немцы бомбили Москву.

Бардин поехал, как обычно, на Калужскую, однако передумал и решил ехать на дачу — до десяти (в немецких налетах наметился свой ритм, они начинались в десять) можно было успеть.

Бардин был на даче в начале десятого и застал там отца. Егор Иванович знал, что с началом бомбежек старик уехал к сестре (бобылка и богомолка-страдалица, она жила в Суздале), и был несказанно удивлен его внезапным возвращением.

У Иоанна горел свет, и Бардин направился туда.

— Можно к тебе? — произнес Егор Иванович, когда был уже в комнате.

Иоанн, как заметил Егор Иванович, вздрогнул и, отодвигая рукописную страницу, над которой, очевидно, только что работал, перевернул ее.

— Заходи, Егор, — сказал он, помедлив, и не без робости оглядел письменный стол, будто отыскивая на его просторной поверхности нечто такое, что следует схоронить от любопытных глаз сына. — Садись, пожалуйста.

— Никак ты принялся за... аглицкий? — произнес Бардин, пододвигая англо-русский словарик, который странным образом перекочевал сюда с Сережкиной полки.

— Поздно мне в полиглоты определяться, да, признаться, тем, что имею, обхожусь вполне, — потряс головой Иоанн, будто поддакивая себе. С некоторых пор Егор Иванович приметил за отцом эту особенность стариковскую. «Отец стареет стремительно, — печально поразмыслил Егор. — Стареет...»

— А я, грешным делом, подумал: не английский ли текст повстречался Бардину и не нужна ли подмога моя?..

Иоанн молчал, даже перестал трясти головой.

— А если и в самом деле повстречался, поможешь?

— А почему не помочь? Этот? — Бардин взглянул на перевернутую страницу и в немалое смущение привел отца.

— Нет, нет!.. Переведи-ка ты, Егор, заново!..

— Так вот почему ты перевернул страницу, — засмеялся Егор, пришел его черед выказывать превосходство. — Где он, текст-то?

Это была презанятная страничка из труда английского мудреца, посвященного батюшке Великому Новгороду. Иоанн, видно, долго крутил том многомудрого английского мужа, прежде чем повстречался с этой главой, но глава того стоила. Егор переводил, а Иоанн, раздвинув могучие локти, писал, писал торопясь, явно опасаясь, чтобы ненароком не выпало драгоценное слово. Иоанн писал, а буквы под его рукой были непривычно крупными и круглыми — это Иоаннова страсть их так вздула.

А в главе той автор степенно живописал площади Новгорода в те дни ранней осени, когда сюда стекается беспокойный торговый люд отовсюду: и белоголовые шведы и расчетливо-привередливые немцы, и широко-степенные и бедово-задиристые подданные московского царя. И хотя язык текста был превелико мудреным, а временами напрочь темным, работа у Иоанна с Егором ладилась и две с доброй третью страницы английского текста были переложены на язык российский и для порядка тут же перебелены мигом, да так складно, что старый Бардин растрогался и слезу уронил на беловик. А в главе той махонькой речь шла о том, как смерды российские везли с русского юга мучицу сеяную да как хороши были из этой мучицы пироги с мясом, капустой, рыбой, грибами да ягодой садовой и лесной. Вот это место о мучице и увлекло Иоанна — тут была его страсть.

— Вот где призвание твое лежит, Егорушка, и сын, и преемник, и помощник добрый, и хранитель надежный бардинского дома... Вот так бы нам с тобой, как голубь с голубенком.

Бардин расхохотался.

— Нет, из меня голубенок не выйдет..

— А вот матерый в самый раз, так?.. — спросил Иоанн как бы невзначай.

— С войной и ты стал зол.

— А с чего мне быть добрым? Потощал, как в засушливое лето! Веришь, ботинки стал сам зашнуровывать! — Он пристально и скорбно взглянул на сына, потом перевел взгляд на дверь, ведущую в комнату невестки. — Ксения спит. Говорит, что ту ночь глаз не сомкнула, так вот и просидела у окна...

— У окна, у окна... — повторил Бардин, а сам подумал: «Окно Ксении выходит на юг — Москва там. Надо бы перетащить кровать Ксении в комнатку Сергея — оттуда, пожалуй, не увидишь зарева... А Сергей, он при любом огне уснет. Или не уснет?» — Сережка спит?..

— Да, лег... Просил не будить. Мистерия-буфф, говорит!.. С крыши института она видна лучше, чем отсюда.

Налет начался в урочный час. Не хочешь на часы взглянуть — взглянешь.

Точно мельничные жернова, ритмично, с грохотом и скрежетанием заговорили орудия, и далеко справа облака отразили пламя пожара.

Бардин стоял с отцом на краю яблоневого сада, смотрел на небо.

— Где-то на Остоженке, а может, в Хамовниках, — сказал старший Бардин. — В казармы метили, а угодили в бензосклад — вон как облака замерцали, пылают! Только подумать, Остоженку бомбят! Ты помнишь, где остановили немцев в ту войну?

— Это в какую?

— В ту, империалистическую. Помнишь? Почитай, три года шли и добрались до Припяти, а сейчас за три недели дошли до Шексны!.. Ты скажешь, Гитлер это посерьезнее Вильгельма? Ты еще скажешь, тогда была Антанта... И тут ты прав. Но ведь и мы не лыком шиты, а?.. Как мы допустили... Гитлер толчет, будто в ступе, сорок сороков!.. А вот это где-то по Сретенке долбануло, никак твою контору Гитлер на мушку взял.

Бардин молчал, не отрывая глаз от красной полосы огня, стелющейся над горизонтом.

— Ты чего молчишь? — спросил отец.

— А что мне говорить? Может, и сказал бы, если бы знал, чего тебя вот так повело.

— Повело.. меня?

— Тебя, батя.

— Я отец твой.

— У моего отца, если он отец мой, должно быть одно горе со мной...

Теперь сомкнул уста старый Бардин. «Жернова» работали все так же усиленно, хотя звук стал глуше, видно, ветер переменился.

— Глуп ты, Егор, хотя и выдулся в гору! — произнес старший Бардин и, дотянувшись до яблоневого ствола, погладил его.

Егор усмехнулся.

— Когда ты сказал про Сретенку и про контору, я, грешным делом, подумал, право, ты ли это, — вымолвил Егор. Он хотел возобновления разговора.

— Немцы Остоженку бомбят!.. — вдруг вырвалось у старика. — Остоженку!.. — Он не отнимал ладони от яблоневого ствола, продолжая его гладить. — Я скажу тебе по стариковскому своему разумению. Есть одна сила, способная уберечь нас: тебя и меня...

— Какая?

— Россия.. да, да, Россия исконная, дедовская, та, что крушила Наполеона со шведами...

— Погоди, отец, я тебя что-то не понимаю, Россия эта с нами.

Но Иоанн точно не слышал сына:

— Рано или поздно, а вы должны будете призвать эту Россию. Призовете — выживете, не призовете — ногами вперед на погост!

Бардин вознегодовал.

— Однако вон как тебя гордыня обуяла... Единственный, так сказать, наследник русской славы военной. По какому праву ты все забрал, нам ничего не оставил? — спросил Бардин оторопевшего отца. — Погоди, не Ксения ли это зовет? — Егор вдруг быстро пошел к дому; ему почудилось, что его окликнула жена. — При случае договорим!

— Ну что ж... договорим! — согласился Иоанн, в голосе сына ему послышался вызов.

Бардин вошел в дом, минуя столовую, ненадолго за-

держался в комнате сына. (Серезжка спал, раскрыв рот, как делал это давно в детстве, когда слушал небылицы дяди Мирона. Дядя и тогда был мастак на небылицы!)

— Ксения, ты звала меня?.. — Он остановился у раскрытой двери.

— Да, Егорушка, входи...

Видно, она проснулась не сейчас. Может быть, ее разбудили Егор с отцом — временами их голоса накалялись заметно. Услышала, но голоса не подала — хотела дослушать. Она была уже в своем кресле перед открытым окном. Заря над горизонтом потускнела, погасла Ходынка, да и Сретенка была не так ярка.

Он подошел к ней, нащупал губами завиток у правого уха, поцеловал. Пахнуло сладковато-удушливым запахом Ксениной кожи, казалось, знакомым от рождения, пряными духами, смешанными с запахом валериановых капель — зной докатился и сюда, Ксении было худо.

— Как ты?

Она не ответила.

— Ну скажи, как?

— Там... у меня под подушкой.

Бардин дотянулся до подушки, скользнул ладонью. Бумага влажная, сберегшая теплоту рук. Не иначе Ксения держала только что.

Бардин поднес к окну. Казалось, огонь, объявший этот край Москвы, вновь вздуло ветром. Бумага в руках Бардина казалась розовой.

— Повестка... Серезжке?

— Да.

Его точно припаяло к окну. Стоял, опершись руками о косяк, стоял не шелохнувшись.

— Что будем делать, Егорушка?

— Что делать?.. Как все...

Кресло под нею застонало.

— Нет, не как все... Нет, нельзя, как все!

— Не знаю.

Она приподнялась в кресле.

— Я знаю!.. Знаю!.. Завтра же утром... прямо с Кузнецкого поезжай к Воскобойникову и кинься в ноги. «Никогда не просил — сейчас прошу...»

Бардин угрюмо смотрел на жену. Зарево незримо потянулось и к ней, сообщило ее лицу жизнь: кожа утратила лиловатость пепла, глаза горели.

— Нет, Ксения.

Она всхлипнула. Ее словно вдавили сильной рукой в воду и не давали поднять голову — наружу выскакивало только это бульканье.

— Ох, не люблю я этого твсего сипа! Если уж хочешь плакать, реви в голос! — не удержался Бардин и, оглянувшись, обнаружил в дверях сына.

— Мама, ты что?

Она увидела сына и дала волю отчаянию — крик, что таился в чахлой груди, вырвался наружу.

— Если ты не пойдешь к Воскобойникову, я сама пойду! — приподнялась она в своем кресле. — На четвереньках поползу.

Бардин засмеялся.

— Ну что ж, с четверенок оно сподручнее... ткнуть с сапоги, ближе к цели!

— Дедушка, дедушка! — воскликнула она, обратившись к двери, за которой должен был быть Иоанн Бардин, но ответа не последовало, значит, старик лег. — А ты почему молчишь, Сережа? Проси отца, проси!..

— Мне Воскобойникова не надо, мама, — произнес Сергей едва слышно. — Я как-нибудь без него..

Над Москвой тускнело зарево, тускнело все заметнее — немцы уходили.

Утром, когда собрались к завтраку, Бардин взглянул на жену и поразился ее виду: было в ней нечто торжественное, даже праздничное. Больше обычного напудрена (сухая кожа не удерживала пудры, и она осыпалась на синий бархат воротничка), да и брови были подчернены так сильно, что кожа вдруг стала заметно розовой. То, что произошло ночью, точно рукой сняло — Ксения улыбалась.

— Вот твои любимые сливки, — произнесла она и взглянула на мужа. Глаза ее были радостно-благодарными.

— Пусть дети едят, — сказал Бардин. — Ирешка, ешь, это вот специально для переходного возраста...

— Господи, когда он кончится, переходный? — про-

изнесла Ирина, однако молочника не отставила (она была лакомкой).

— И тебе надо есть, — сказал Бардин и потянулся к книге, которую держал сын, однако тот ее не выпустил.

— Сколько помню его, все с этим Марком Твенном, — сказала Ксения и, взглянув на деда, прослезилась. — Как оторвала от груди, вцепился в Твена.

Бардин смотрел на отца. Никогда не видел седой бороды его, сейчас увидел — старший Бардин явился к столу не побрившись.

— Нынче яблок будет — сила! — сказал Иоанн, глядя в окно. — Морозы, слава богу, обошли, — снисходительно-насмешливо он рассматривал на сыне костюм, который семья звала дорожным и по которому безошибочно устанавливалось, что Егор Иванович собирается в путь. — Небось приезжает кто-нибудь? Встретишь здесь или полетишь навстречу?

— Навстречу.

— Это кто ж? Коварный Альбион?

— Американцы...

— Кто именно?

— Да вряд ли ты слышал — Голкинс!

Иоанн засмеялся.

— Значит, топ, кума, не журился? А какой смысл журииться? Все одно страшнее смерти не будет...

Много позже, когда наркоминдельский автомобиль вез Егора Ивановича в Москву, думал Бардин: «А какой он, Гарри Голкинс? Не слишком ли разукрасила Голкинса молва? Небось сам он не догадывается, какие анекдоты ходят о нем. А может, не только догадывается, но и знает. Знает и снисходительно поощряет. Истинные и мнимые друзья услужливы: распространят, ухватят и донесут шефу, сотворив новый анекдот: «Вот вы какой... Ни на кого не похожий, необыкновенный!» Знает и с молчаливой снисходительностью поощряет распространение легенд. Да, действительно, растеря редкий. Вот был случай забавный на английском крейсере. Гулял по палубе, голова закружилась и присел отдохнуть, а у матроса, что стоял поодаль, глаза из орбит полезли. «Простите, господин, но на этом... не сидят — это глубинная бомба!» Но что

это говорит Бардину о Гопкинсе? Ровным счетом ничего. Нужна информация, точная.

Бардин углубился в энциклопедические словари... Справка о Гопкинсе! Справка? Погодите, да это что-то безнадежно канцелярское, что-то такое, что соседствует со скоросшивателем и машинкой для заточки карандашей. Справка? Да есть ли такой жанр в литературе, даже дипломатической? Оказывается, есть, и жанр наихитрейший... Справка — как хорошие стихи: краткость афоризма, лаконичность зрелой мысли. Истинно, жива формула Владимира Владимировича: ради двух слов перелопатишь тысячи тонн словесной руды! Так спрессовать мысли и слова, точно ты обратился к иероглифам: на трех страничках — книга о человеке! Это что же, изобретение нашего века: затратил пять минут и прочел многостраничный фолиант? Да, и ты мастер в этом жанре непревзойденный.

У Бардина свой взгляд на справку. Ну конечно, главные даты. Ну, разумеется, родословная, семья, среда и, более чем обязательно, вероисповедание. Все труды и все виды собственности. Колледжи и институты, а вместе с ними таланты, истинные и мнимые. Ну и главное: мировоззрение, партия, позиция. Но и это не все. Характер, страсть. Да есть ли такой словарь в природе, который ответил бы на эти вопросы? А если бы он и был, можно ли на него положиться? Всегда заманчиво осведомиться, что думает об этом живой человек, человек, которому ты доверяешь. Наверно, к данным о вероисповедании этот человек ничего не прибавит, а вот к данным о капиталах, мировоззрении или, тем более, о позиции по главным вопросам он способен сообщить нечто такое, что заставит тебя по-иному взглянуть на то, что ты уже добыл.

Бардину сказали: «Считайте, что вам повезло — в Москве Саша Гродко, советник нашего посольства в Штатах. Не иначе он сейчас в библиотеке добывает справку о валютных ресурсах Америки».

Бардин стал вспоминать, что он знает о Гродко, и припомнил разговор с Бекетовым. «Вот она, тайна дипломатии отечественной, — сказал Сергей Петрович другу, обозревая чуть продолговатый зал заседаний наркомата, где в это время происходила коллегия. — Видишь вот этого молодого с черным зачесом? Крестья-

янский сын с Гомельщины, Гродко. И село его имеет то же название. И все, кто живет в этом селе, носят только эту фамилию. И главное, все гродковцы точно от одного отца с матерью: вот такие же смуглокожие и черноволосые». — «Погоди, а откуда ты все это знаешь?» — полюбопытствовал Бардин. «А рядом со мною живет односельчанин Гродко». — «И у него фамилия та же?» — «Да только ли фамилия? Ты взгляни на него — родной брат Гродко». — «А как белорусу Америка? Знает он ее?» — «Знает Америку белорус. Особенно рузвельтовскую стратегию и тактику в экономике, а без нее американской дипломатии сегодня не понять». — «Но Гродко — экономист?» — «Дипломат, а прежде был экономистом».

Бардин разыскал Александра Александровича в читальном зале библиотеки, и, как показалось Егору Ивановичу, его собеседник откликнулся на просьбу Бардина не без желания. Рассказ Гродко о Гопкинсе был строг, подчас нарочито строг, но в нем были наблюдательность и желание добраться до сути.

— Сказать, что Гопкинс близкий друг и советник Рузвельта, еще не все сказать, — начал Гродко и взглянул на Бардина. Все время, пока Александр Александрович говорил, его глаза как бы участвовали в разговоре, внимательно, а подчас испытующе следя за тем, как Бардин воспринимает рассказ. — Ни одна фигура в Америке не вызывает таких распрей, как Гопкинс. Мнения, которые при этом высказываются, прямо противоположны. Много таких, кто видит в нем демократа, исповедующего веру Авраама Линкольна, к тому же человека не очень практичного, но храброго, такого бессребреника и чудака. Другие, наоборот, полагают, что он играет в Дон-Кихота и рыцарь печального образа, мол, является для него своеобразной маской. Он даже подзапустил болезнь свою, чтобы сообщить лицу некую монашескую бледность. Спрашивается, какой смысл сегодня играть в Дон-Кихота, да так ли он популярен в современной Америке? А дело в том, мол, что такой тип импонирует Рузвельту. Если быть точным, то не просто импонирует, а Рузвельту выгодно, чтобы рядом с ним был этакий Дон-Кихот в образе Гопкинса. А это непросто, мол, сегодня сыграть в Дон-Кихота. Вот Гопкинс взял аптекарские весы и

отвесил все по унциям: доброты, юмора, бескорыстия, чудаковатости, смешливости, малоречивости, трудолюбия, храбрости и всего прочего, что для человека не в диковинку, но обычно размещено в разных людях, а он взял и соединил в одном субъекте, полагая, что Дон-Кихот должен быть именно таким. Ну, казалось бы, как человек вберет в себя эти качества и сбережет, когда их нет у него от бога? Забудет, что его и что чужое, растеряет, рассыплет, в конце концов. Но Гопкинс, как полагают сторонники этой точки зрения, человек железный, он все помнит и, однажды войдя в роль, уже играет ее до конца. Вот так думают эти, вторые. А что есть на самом деле? Вы думаете, что и здесь золотая середина, при этом истина лежит где-то рядом с нею? Нет! Как мне кажется, истина лежит где-то ближе к первым, но вторыми я бы не пренебрег, нет, не их концепцией, а их наблюдениями. В том, что они узрели, есть немало стоящего... А вообще-то, чтобы приблизиться к истине, я бы обратился к правилу старому, во многом безошибочному: скажи, кто твои недруги, именно недруги, а не друзья, и я скажу, кто ты. Партию его недругов возглавляет Корделл Хэлл. Я не хочу сказать, что друзья Гопкинса являются нашими друзьями, но это, конечно, не Хэлл и ему подобные...

Ну что ж, после того, что рассказал о Гопкинсе Гродко, справка как бы была одухотворена, глянул человек... Но Гопкинс явился для Гродко поводом к рассказу об Америке. Как показалось Бардину, этот рассказ был лаконичен, но в нем была энергия мысли. Помнится, Александр Александрович очень хорошо говорил, как рухнет знаменитая доктрина Монро и американский капитал готовится к прыжку из Света Нового в Свет Старый, прыжку, который еще поразит наше воображение завтра.

Бардин слушал Гродко и думал: почему его рассказ казался во всем убедительным и не вызывал желания спорить, хотя некоторые положения были смелы весьма? Быть может, потому, что Гродко сместил рассказ в сферу, где, как понял Егор Иванович, его собеседник был силен: речь шла об экономическом потенциале Америки. Но не только поэтому. Все, о чем говорил Александр Александрович, было отмечено зрелостью

мысли, у которой одна основа — знание жизни. И в сознании Бардина возникли белорусская деревня Гродко и тропа, что привела Гродко из этой деревни в Москву, на Кузнецкий... Куда как скромнен университет, а как он много дал человеку...

Бардин прилетел в Архангельск, когда самолет с представителем американского президента готовился вылететь в Москву. Впрочем, летчики уже опробовали моторы, а Гопкинса не было. Городские власти устроили ему банкет с водкой и икрой, а Гопкинс опаздывал. Лил дождь, обильный и теплый. Автомобиль с представителем президента появился уже за полдень и остановился в стороне от самолета. Семь человек, как показалось Бардину, три американца и четверо сопровождающих, шли через взлетное поле, преодолевая напор ливня. Бардин без труда обнаружил Гопкинса. Ветер играл его долговязой фигурой как хотел. Гопкинс едва удерживал на голове шляпу. С ее полей, как, впрочем, и с руки, лилась ручьями вода. Американец поднялся в самолет, он был бледен и весел.

— Русская водка... О, это нечто взрывное. Не зевайте, а то она разорвет вас в клочья!

Когда самолет был уже в воздухе, Гопкинс сказал Бардину:

— Думал ли я когда-нибудь, что буду удостоен чести в роковой час, слышите — в роковой! — связать две великие силы! Я, сын шорника из Гриннелля! — Он махнул рукой с отчаянной и веселой храбростью. Нет, он не был так пьян, как хотел казаться, ему нравилось быть пьяным, так ему было легче сказать то, что он хотел сказать. — Между прочим, неизвестно, сумел бы мой отец выбиться в люди, а его сын стать тем, кем он стал, если бы телега не сломала моему родителю ногу, которая, как утверждали соседи, была надломлена от рождения, и он не получил бы от хозяев телеги пять тысяч отступных!.. Да, шорная мастерская была уже после того, как отца переехала телега, а до сломанной ноги была бедность...

Он взглянул с кроткой нежностью на свою мокрую шляпу, лежащую поодаль, и, схватив ее, с отчаянной удалей рубанул ею, рассыпав веер брызг.

— Честное же слово, в том, что я сказал вам, есть

смысл, лучше меня Россию никто не поймет. Да, я сын шорника из Гринелля...

Он снял мокрое пальто и пиджак и, оставшись в свитере, закатал рукава и стал растирать худые руки едва ли не от запястья до локтей, потом долго устраивал длинные ноги и уснул. Проснулся, когда самолет уже подходил к Москве. Он взглянул вниз и, рассмотрев березовую рощицу, сказал неожиданно строгим голосом — хмель прошел:

— О белые березы... российского Севера.— Гопкинс обернулся, произнес со счастливой лихостью: — Россия!.. Россия!.. — Потом вдруг хлопнул сухой ладонью по железной лавке, спросил: — Вы слышали об американце Стайнере? Это мой учитель! Не верите? Мой учитель писал книгу о Толстом-человеке и отправился в Ясную Поляну. Это было в начале века, и Толстой был уже очень стар. Но великий старец был рад встрече с американцем и беседовал с ним. Вы знаете, что сказал Толстой Стайнеру? Он сказал, что человек начинает понимать жизнь с той самой минуты, как он начинает думать о смерти. Толстой говорил, а вокруг ходила старая графиня и бросала гневные взгляды на гостя — по слухам, она была не властна над собой и в любви, и в неприязни. А Толстой сказал еще в тот раз американцу, что человек, чтобы прожить счастливо, должен вовремя уяснить, что ему надо от жизни, и не требовать больше, чем определено ему богом. А рядом ходила графиня и теперь уже с неприязнью смотрела не только на гостя, но и на мужа: она явно требовала от жизни больше, чем дала ей судьба...

Бардин думал: есть два Гопкинса. В начале пути и в конце пути. Какой из этих двоих был Гопкинсом и какой его неточной копией? А может быть, один разговор был продолжением второго? В самом деле, разговор о родословной («Я сын шорника из Гринелля!») должен был закончиться воспоминаниями о Толстом— Гопкинс прибыл в Россию. Чем завоевал этот человек свое выдающееся положение? Не тем ли, что он обнаружил, пока самолет шел из Архангельска в Москву, — расчетливым умением строить здание, которое точно отвечает его, Гопкинса, цели?

Так или иначе, а Гопкинс был Гопкинсом, и его, а никого другого Рузвельт избрал своим эмиссаром

для более чем ответственной миссии в русскую столицу..

Поутру, когда Бардин явился в Кремль, он увидел всю группу американцев. По тому, как посол Лоуренс Штейнгардт взглянул на человека в светло-сером костюме, стараясь, чтобы их глаза встретились, Бардину стало ясно, как неизмеримо высоко этот человек стоит над послом. Но в догадке этой Бардину нелегко утвердиться. Посол одет с иголочки. Светло-коричневый, в темную нитку костюм посла тщательно отутюжен, костюм же и шляпа Гопкинса... Такое впечатление, что это тот самый костюм, в котором Бардин видел Гопкинса в самолете, как, впрочем, и шляпа с блестящей лентой; именно ее Гопкинс положил под голову, когда лег на железную скамью после Архангельска. Следы путешествия хранило и лицо американца — оно было желто-белым. Но усталость, как, впрочем, не очень свежая одежда, не отразились на его настроении: с веселым любопытством он стоял посреди кремлевской площади и смотрел вокруг. Эта кремлевская площадь с целым букетом золотых куполов была очень русской. Стремительность, с какой человек переселился из одного мира в другой, захватывала дух.

Впрочем, сам вид Гопкинса точно свидетельствовал: он всего лишь частное лицо, если представитель президента, то представитель неофициальный, больше того — личный. И не беда, что при его появлении посол сгибается в три погребели, миссия человека в сером костюме носит предварительный характер. Предварительный. Поэтому весь оркестр больших и малых средств, которыми одна страна приветствует другую, может пока бездействовать; и оркестр, и флаги, и почетный караул.

Гопкинс точно подчеркивал всем своим видом: посол, что идет сейчас рядом с ним, — лицо официальное. И советник, что неотлучно следует за послом, отмечен доверием Штатов вполне — завтра посол выедет на родину и поверенным в делах будет советник. Да что советник! Третий секретарь, что сейчас завершает торжественную процессию на торцах Кремля, и то лицо, чье правовое положение достаточно прочно. А кто такой Гопкинс? На многокилометровой лестнице чиновничьей иерархии у каждого клерка своя тор-

жественная ступенька. Как ни длинна эта лестница, на ней нет места для Гопкинса. Личный представитель президента — американская табель о рангах не предусмотрела этого положения. Каково должно быть расположение президента к этому человеку, чтобы в переговорах, которые сегодня начнутся в Кремле, доверить ему американские интересы! Доверие! А что в данном случае лежит в его основе и кем является для президента этот человек?.. Друг детства, честная и бескомпромиссная душа, способная резать правду-матку, верноподданный клерк или сподвижник на многотрудном пути?

— В самолете, как мне показалось, было свежо... — заметил Бардин. — Вы не простыли?

— Ничуть, господин Бардин... Мои архангельские друзья были так гостеприимны...

— Значит, тепла на дорогу из Архангельска до Москвы хватило?.. — спросил Бардин. Ему хотелось поддержать настроение веселого озорства, которое сейчас владело Гопкинсом.

— Я чувствовал себя в дороге отлично!.. — Предложенный Бардиным тон Гопкинс поддержал охотно — как все больные люди, он склонен был прихвастнуть своим здоровьем. — А знаете, о чем я думал, когда смотрел из самолета на ваши леса? Гитлер со своими танками никогда не победит Россию, увязнет!..

Рядом шел Лоуренс Штейнгардт и односложно кивал головой. «Может, увязнет, а может, и нет?» — точно говорил посол. Бардин знает, что с тех пор, как самолет с Гопкинсом приземлился в Москве, едва ли единственным собеседником американского гостя был посол. О чем они могли говорить, оставшись вдвоем?.. Вопрос наиглавнейший: «Как долго продержится Россия и продержится ли?..» В самих Штатах мнения разделялись не без помощи военного ведомства, больше того, не без помощи военных дипломатов, аккредитованных в Москве. А как думает посол Штейнгардт? Он высокопоставлен, а поэтому осторожен. Он ищет ответа у многотерпимой истории. Похоже на то, что многомудрая наставница подсказала послу иные выводы, чем те, к которым пришел военный дипломат...

— Немцы оставили Лондон в покое? — не поднимая на Гопкинса глаз, спросил Бардин.

Гопкинс ответил не сразу — он хотел быть точным.

— С некоторого времени, — произнес американец и, наверно, подумал: в этих трех словах ответ на все вопросы русского — и на тот, что он посмел задать, и на тот, что он задать не посмел. Немцы остановили бомбардировки Лондона, когда они начали массовую переброску войск на восток.

Сталин принял Гопкинса в 18 часов 30 минут во вторник 30 июля.

Хотя это была первая встреча между ними, она была отнюдь не протокольной.

Гопкинс сказал, что он приехал в Россию как личный представитель президента. Рузвельт считает Гитлера врагом человечества и хочет помочь Советскому Союзу.

## 12

Как было условлено, поутру Бардин повез Гопкинса по Москве.

Утро выдалось пасмурным и прохладным. Гопкинс взял с собой легкое пальто. Американец поглядывал на небо не без опаски и порывался надеть пальто, но устоял. Как заметил Бардин, Гопкинс не хотел выдавать своих недругов.

Они побывали на Арбате, постояли у толстовского дома в Хамовниках, перебрались на тот берег реки и долго рассматривали город с большого Воробьевского холма. Потом по холму, оставляя справа церковь, пошли пешком — автомобиль следовал за ними.

— Я все думаю о моей встрече с русскими военными, господин Бардин, — произнес Гопкинс, отводя глаза от города, который медленно освобождался от утренней мглы. Вчера, уже после беседы со Сталиным, Гопкинс разговаривал с военными. Как стало известно Бардину, американец пытался установить точную номенклатуру возможной помощи русским и ее размеры. — Я связывал с этим разговором известные надежды... — добавил Гопкинс и остановился. В расступившемся тумане хорошо были видны красные стены Новодевичьего монастыря. — Это церковь?..



— Монастырь... Помните из истории: Годунов, Борис Годунов?

— Не столько из истории, сколько из... оперы, — засмеялся Гопкинс. — Если бы не опера, не знал бы и Годунова!.. Москва звала его на царство здесь?

— Здесь, — сказал Бардин и вспомнил отца. Старый Иоанн особенно часто перечитывал именно эти сцены пушкинской трагедии, пространно их комментируя. — Москва-то была не очень догадлива, — засмеялся Бардин. — Если бы царь не захотел, Москва могла бы и не догадаться его позвать.

— По-моему, он отказывался, и не раз? — улыбнулся Гопкинс.

— Отказывался! Мол, плачете не естественно, сердцем не чувствую горя. Вот заревете в голос — и согласитесь!.. — заметил Бардин весело.

— И они заревели?

— Еще как!

— И он, разумеется, дал согласие?

— Немедля...

— И они дали понять, что рады?

Бардин оторопел на минуту: вон какой, этот Гопкинс!

— По-моему, да.

Бардину показалось, что этот эпизод, предметом которого явилась более чем седая древность, как-то приободрил Гопкинса; подойдя к автомобилю, который продолжал медленно следовать за собеседниками, он протянул шоферу свое пальто и, возвратившись, зашагал веселее.

— Так я думаю о своей вчерашней встрече с русскими военными, — произнес Гопкинс, не успев погасить улыбки, вызванной воспоминаниями о Годунове. — Я связывал с этим разговором известные надежды...

— Вы хотите сказать, что надежды эти не оправдались?

— Нет, дело даже не в надеждах, но у меня сложилось впечатление, — он внимательно посмотрел на своего собеседника, будто соизмеряя все, что хотел сказать, с самим обликом Бардина. — Понимаете, впечатление... что этот генерал... — ему явно не хотелось произносить имени нашего военного, — да, этот генерал готов был отказаться от некоторых видов оружия, лишь бы его не сочли инициатором соответствующей просьбы... Простите, но он сделал это из... робости или сознания, что решение таких вопросов не является его компетенцией?..

Вот тебе и меланхоличный Гопкинс!.. Разговор о Годунове определенно вернул ему силы.

— А быть может, ни первое, ни второе... Просто генерал... смешался!.. — сказал Бардин.

— Вот вы, дипломаты, везде одинаковы — поймите наконец, генерал сробел. Понимаете, сробел!.. Нашему брату штатскому я бы это еще простил, но гене-

ралу, да еще в военное время... Робость? Непростительно!

«Вот тебе Годунов и избрание на царство,— подумал Бардин.— Теперь его, пожалуй, не вернет к меланхолической дреме никакая сила».

— По-моему, сейчас монастырь виден лучше,— произнес Бардин. Он не был заинтересован в продолжении разговора.— И площадь перед монастырем...

Но Гопкинс не ответил. Мысль, к которой он обратился только что, он не хотел бросать на произвол судьбы, для него эта мысль была важной, он хотел все додумать.

— Войдите в мое положение и порассуждайте...— произнес он. Новодевичий монастырь его уже не интересовал.— У меня были две встречи: Сталин и этот генерал... Сталин был широк. Генерал не обнаружил широты даже в тех скромных размерах, в каких может обнаружить эти качества генерал рядом с главой правительства. Почему?

Но Бардин не успел ответить — шофер подал сигнал, желая обратить внимание Гопкинса и его собеседника на происходящее на дороге. Шла колонна санитарных машин. Три десятка автомобилей с ранеными. На некоторых машинах были установлены навесы и раненные скрыты. Большая же часть полуторок была без навесов. Линия тротуара, на котором Бардин стоял с Гопкинсом, была много выше линии шоссе, однако непросто было рассмотреть то, что происходит в кузове,— машины шли на большой скорости. Только у одной полуторки борт был разнесен в щепы прямым попаданием и видны были солдаты, лежащие на соломе головами к противоположному борту. Над солдатами, опершись одной рукой о кабину, стояла девушка-санитарка. На ней была зеленая форменная гимнастерка и марлевая косынка. Девушка что-то говорила, склонившись над солдатом.

— Вы заметили, бинты совсем свежие,— сказал Гопкинс.— Еще вчера солдаты были в бою?..

— Вчера?.. Нет, пожалуй, позавчера вечером,— Бардин соотнес время, прошедшее с позавчерашнего вечера, и расстояние, пройденное автопоездом.— Впрочем, могло быть и вчера. До того, как погрузить на машины, их везли поездом..

Гопкинс надел пальто — ему стало холодно.

— Это... Смоленск?

— Да, пожалуй, Смоленск.

Они сели в машину и поехали в сторону, противоположную той, куда удалилась колонна. Бардин смотрел на американца, который кутался сейчас в свое холодное пальто, думал: «Отчего американцу стало зябко: от этой встречи с русскими солдатами или от разговора, который солдаты прервали?» Как развивалась у Гопкинса эта мысль, если он сейчас думал об этом?..

## 13

Итак, Гопкинс был принят 30 июля в 18 часов 30 минут.

Сталин вышел гостю навстречу и предложил кресло, стоящее подле письменного стола (он предпочитал беседовать со своими посетителями, оставаясь за письменным столом), но, возвращаясь к столу, взглянул в открытое окно и увидел в непросторном небе над Кремлем белую зыбь аэростатов. Он задержался у окна, глядя на аэростаты, при этом его глаза оставались прищуренными. Что заставило его смежить веки? Яркое небо, усиленное блеском аэростатов, или внезапно пришедшая на ум мысль: «Я старый воробей, и на мякине меня не проведешь?»

Когда он вернулся к столу, присутствующие уже достаточно обжили кресла — слева Гопкинс и Штейнгардт, справа Молотов. Переводчик занял место между американцами и хозяином. Сталин взглянул на гостей, точно прикидывая, насколько хорошо они расположились и в какой мере будут способны выдержать беседу, которая сейчас начнется. Затем он взял трубку, лежащую на столе, и поднес ко рту — огонь, дремавший в трубке, ожил, послышался запах дыма, пряного, хмельного.

— Как себя чувствует президент Рузвельт? — спросил он. Фраза, с которой беседа должна была начаться, всегда стоила ему усилий.

Гопкинс воспринял вопрос Сталина не столько по существу, как своего рода знак: американец может говорить то, что готовился сказать.

Гопкинс сказал, что президент здоров и просил своего посланца приветствовать Сталина. Отодвинув стул, чтобы видеть переводчика, Гопкинс заметил, что приехал в Россию как личный представитель президента. Он уточнил, как следует принимать его амплуа «личный представитель президента» и как его, Гопкинса, миссия соотносится с тем, что делает госдепартамент по обычным дипломатическим каналам. Президент считает Гитлера врагом человечества и хочет помочь Советскому Союзу. Впрочем, все то, что он говорит, Сталин найдет в послании Рузвельта, которое Гопкинс имеет честь вручить. Гопкинс также сказал, что он только что расстался в Лондоне с Черчиллем, который просил его сообщить русским руководителям, что он присоединяется к мнению президента.

Сталин слушал американца внимательно, занятый раскуриванием трубки; он не обнаружил особого интереса ни в тот момент, когда американец говорил о послании президента, ни тогда, когда он упомянул имя английского премьера. Впрочем, он сказал, что приветствует Гопкинса в Советском Союзе и что был информирован о его приезде.

— Необходим минимум моральных норм в отношениях между нациями, — заметил Сталин. — Без такого минимума нации не могли бы существовать. Нынешние руководители Германии не знают таких минимальных моральных норм и поэтому представляют собой антиобщественную силу.

Сталин сжато и выразительно сказал, что он думает о современной Германии.

— Таким образом, наши взгляды совпадают, — произнес он, когда почувствовал, что достаточно обосновал этот вывод и может наконец к нему обратиться — он вел беседу к этому.

Гопкинс решил, что этой своей формулой Сталин как бы подытожил первую часть беседы и давал понять американцу, что готов перейти к обсуждению практических дел.

Гопкинс спросил, в какой помощи нуждается Россия, что ей надо сегодня и что ей потребуется, если война окажется длительной.

Сталин подошел к окну и пошире раскрыл его створки — в комнате было жарко. Он как бы незна-

чай опять взглянул на небо и на какую-то секунду замер — где-то высоко-высоко, выше златоглавых соборов, выше аэростатов, быть может, выше облаков шел самолет.

— Нам нужно двадцать тысяч зенитных орудий, легких и тяжелых, — произнес Сталин и быстро пошел к столу; казалось, эту фразу он добыл, глядя на военное небо Москвы. — Это позволит нам высвободить две тысячи истребителей, которые нужны действующей армии...

Он сказал также, что Россия нуждается в крупнокалиберных пулеметах и винтовках для защиты городов.

— Нам нужен миллион или более винтовок, — сказал он.

Ему предстояло ответить на самую трудную часть вопроса Гопкинса: что необходимо России на случай длительной войны? Война шла второй месяц, однако речи о длительной войне еще не было. Американцы были первыми, кто поставил вопрос о помощи России в длительной войне. Сталин не мог не понимать, что обсуждение самого этого вопроса обоюдоостро. Просить о помощи в длительной войне, значит, признать сам факт такой войны, а это опасно. Вместе с тем игнорировать предложение Гопкинса о помощи, рассчитанной на тот случай, если России придется воевать годы, значит, поступиться чем-то насущным.

— Высокооктановый бензин и алюминий — вот что в первую очередь нам нужно для длительной войны, — сказал он достаточно решительно. — Дайте нам зенитные орудия и алюминий, и мы будем воевать три-четыре года...

Гопкинс подался вперед, обратив к Сталину правое ухо, этим ухом он лучше слышал. «Значит, три-четыре года?» — точно говорило его лицо. Казалось, ничего более значительного не было произнесено в этот вечер. Гопкинс помнил об этих словах и когда часом позже шел через площадь Кремля к Спасским воротам, молча наблюдая за строем красноармейцев в касках, которые в ожидании налета спешили занять свои посты на кремлевском холме, и много позже, когда смотрел на ночное небо Москвы, по-летнему светлое,

медленно вздыхающее в такт артиллерийскому грохоту и блеску огня.

Расставаясь со Сталиным, Гопкинс сказал ему, что хотел бы видеть его еще раз. Было условлено, что они встретятся вновь в этот же час завтра.

Как ни плодотворна была эта встреча, Гопкинс хотел обстоятельного разговора о силах, которые приведены в действие, о резервах материальных и людских, которыми стороны обладают, о перспективах войны. Он хотел разговора, который бы дал возможность ему ответить на главный вопрос, поставленный президентом: выстоит ли Россия?..

...Вечером, когда Гопкинс прибыл к Сталину, в приемной его встретил человек в крупных очках и темно-сером костюме, по-русски добротном, но чуть-чуть тесноватом. Видно, с тех пор, как человек в очках сшил костюм, прошло время, и немалое.

— Я вас приветствую, господин Гопкинс...— обратился он к американцу по-английски со спокойной и покоряющей уверенностью, которая свидетельствовала, что он не испытывает смущения оттого, что говорит на чужом языке. Впрочем, нельзя сказать, чтобы его говор был лишен акцента. — Как вам пришлось по душе Москва?

В этом обращении человека в роговых очках был свой расчет, очевидно, выверенный жизнью, — он полагал, что Гопкинс не может его не узнать.

Гопкинс действительно взглянул на незнакомца не без симпатии — американец узнал его.

— Город широкий, как все русское, господин Литвинов.

— Как все русское, господин Гопкинс, как все русское...

Да, Литвинов.. Старик Литвинов, старик даже не по летам, а по ненастной жизни своей.

Не многих берлинская деспотия страшилась так, как этого человека с бледными добрыми глазами, которые едва были сейчас видны за многослойными стеклами окуляров. Но время неутомимо, оно ни минуты не сидело сложа руки и порядком преобразило и Литвинова. В том, как он шагнул от окна навстречу Гопкинсу и потом зачастил мелкими шажками (ноги были

по-стариковски полусогнуты), Гопкинс увидел — его порыв не был рассчитан на его силы.

— Как все русские города, Москва хороша зимой, — произнес Литвинов, а Гопкинс взглянул на него искоса, подумал: «Не случайно он появился здесь, что-то есть в этом от далеко идущего замысла...»

Гопкинс вернулся к своим раздумьям с новой силой, когда, войдя в кабинет Сталина, увидел рядом с собой Литвинова. Неспроста же в кабинете оказались сейчас трое: Сталин, Литвинов, Гопкинс.

Сталин и Гопкинс — собеседники, Литвинов... на правах переводчика. Только ли на правах переводчика?..

Видно, сутки, минувшие после первой встречи американца со Сталиным, не прошли для русских даром. У них были свой взгляд на визит Гопкинса в Москву и свой план. Несомненно, что Литвинов — одно из звеньев этого плана. Уже это делало нынешнюю встречу для Гопкинса необычной. Разумеется, свой план был и у Гопкинса, и он был полон решимости реализовать его. Как ни важна первая встреча американца со Сталиным, нынешняя должна быть главной — вряд ли у трех участников нынешней беседы были сомнения на сей счет.

Первый же вопрос Гопкинса, обращенный к Сталину, обнаруживал это достаточно определенно: американец сказал, что президент Штатов хотел бы получить его, Сталина, оценку и анализ войны между Германией и Россией. Откинувшись в кресле, Сталин взглянул на американца с той испытующей пристальностью, с какой смотрел на человека, когда улавливал в его словах нечто недоброе. Но ум Сталина, достаточно рациональный, уже формулировал ответ. Уже складывались фразы этого ответа, как обычно, нарочито-расслабленные, очень похожие на само звучание его голоса, но достаточно точные, методично разграфленные на разделы и подразделы, с обязательными ссылками на цифры и обязательными выводами.

Чтобы как-то преодолеть неловкость паузы, Сталин пододвинул к себе коробку с табаком и, взяв добрую щепотку, медленно перенес табак от коробки к трубке и с очевидной неторопливостью принялся его вминать. Он делал это тщательно не только в силу привычки,

но из сознания, что за каждым его движением следят присутствующие. Итак, какова, с точки зрения Сталина, оценка войны?

Сталин признал, что лично он не верил, что Гитлер решится выступить против России теперь. Да, он сказал это Гопкинсу и как бы дал понять, что не обманывается насчет своей вины. Очевидно, он считал, что признание этого факта облегчит ему беседу, и сделал это не задумываясь. Впрочем, он предупредил и второй вопрос американца, возможно, полагая, что и этим помогает своей беседе. Он сказал, что к началу кампании немцы имели сто семьдесят пять дивизий на русском фронте и вскоре довели их до двухсот тридцати двух, в то время как русские располагали ста восьмьюдесятью дивизиями, при этом многие из них были далеко от фронта. Таким образом, численное превосходство было не на стороне русских. К тому же численный перевес немцев был усилен тем обстоятельством, что они удвоили и утроили свои дивизии в местах главного удара. Система цифр, к которой обратился Сталин, очевидно, призвана была объяснить американцу наши неудачи в первые дни войны. Впрочем, Сталин тут же заявил, что, по его расчетам, немцы смогут увеличить численность армии до трехсот дивизий, в то время как мы имеем возможность бросить против Гитлера триста пятьдесят дивизий. Но способны сделать это лишь весной будущего года. Сталин подчеркнул, что Германия недооценила русскую силу и уже сегодня не в состоянии наступать по всему фронту, она вынуждена переходить к обороне. Русские обнаружили тяжелые танки, врытые в землю.

— Да, своеобразная линия Мажино: танковая броня вместо железобетона, танковая пушка вместо артиллерийской установки, — сказал Сталин, выколачивая в пепельницу пепел. Считая себя человеком больше военным, нежели штатским, он любил говорить на военные темы.

Гопкинс слушал его с почтительным интересом, впрочем, нередко склоняясь над блокнотом, чтобы сделать записи. Гопкинс не стеснялся записывать. Больше того, иногда он наклонялся к Литвинову, который сидел рядом, и произносил едва слышно:

— Простите, триста пятьдесят дивизий?

Литвинов повторял вопрос по-русски и, дав возможность ответить на него Сталину, переводил.

Затем речь коснулась того, как вооружены советская и германская армии — танки, самолеты, артиллерия, ручное оружие. Сталин осветил и этот вопрос. Сталин вообще отвечал на вопросы Гопкинса охотно и обстоятельно. В том случае, когда он затруднялся ответить, он вызывал своего помощника, который неизменно был начеку, и необходимые сведения тут же добывались. Только однажды заметное смятение овладело Сталиным — американец спросил его, где расположены русские военные заводы. Овладев собой, советский главнокомандующий принялся отвечать. Правда, в этот раз его ответ был не столь обстоятелен и точен.

— Мы стараемся увести наши заводы из-под удара, — заметил он спокойно. — Все заводы — на восток! — вдруг воскликнул он почти патетически.

Вновь, может быть, более подробно, чем накануне, Сталин перечислил номенклатуру сырья и товаров, в которых нуждается наша армия.

— Да, зенитные орудия, алюминий, пулеметы, винтовки, — сказал он и, подняв руку с загнутым пальцем, повторил: — Четыре! Четыре! Калибр? Сейчас я вам точно укажу.

Он протянул руку к стопке мелко нарезанных листов, положил перед собой квадрат бумаги, тщательно написал, обозначив калибры: зенитные орудия — 20, 25, 37 мм, пулеметы — 12,7 мм, винтовки — 7,6 мм.

Гопкинс принял драгоценный листик в раскрытую ладонь и, поправив очки, тщательно, по-чиновничьи вписал меж строк четыре английские строки, время от времени глядя на Литвинова, советуясь:

— Machine — guns... Is it correct?<sup>1</sup>

Когда с этой процедурой было покончено, Гопкинс, имея в виду, что беседа клонится к концу, заметил, что хотел бы решить еще один вопрос.

Сталин сказал, что слушает его.

Гопкинс отодвинул блокнот с записями, будто желая дать понять, что все то, что хочет сказать сей-

<sup>1</sup> Пулеметы... Верно?

час, неизмеримо важнее того, что было уже им произнесено.

Он заметил, что его правительство, как, впрочем, и правительство Великобритании, готово удовлетворить все просьбы России, однако снаряжение, о котором идет речь, вряд ли достигнет русских берегов до начала зимы. Речь идет не только о том снаряжении, которое должно быть изготовлено, но и о том, которое имеется в наличии и может быть отгружено в возможно сжатые сроки. Короче, необходимы план длительной войны, объединение ресурсов и усилий трех держав в самом широком смысле этого слова. Америка должна быть не только в курсе дела сражающейся России, но и в курсе того, каковы возможности русской армии, каким оружием эта армия располагает. Гопкинс дал понять, что речь могла бы идти о военном совещании трех держав, совещании оперативном, способном сообразовать усилия трех государств. Гопкинс сказал, что имеет поручение предложить России такое совещание провести.

Сталин сказал, что он готов поддержать предложение Гопкинса о таком совещании, но если речь идет о нем, Сталине, то ему непросто выехать из Москвы.

Гопкинс заметил, что важно согласие Сталина. Лаконичная реплика американца предполагала, что он получил не все ответы на вопросы, поставленные им. В самом деле, вопросы о мобилизации ресурсов, об обмене военной информацией оставались еще открытыми.

Сталин сказал, что Россия такую информацию даст, и спросил у Гопкинса, исчерпал ли он свои вопросы. Гопкинс ответил утвердительно. Сталин выдвинул боковой ящик, достал пачку сигарет, не торопясь распечатал, предложил американцу. Тот охотно взял, протянул пачку сигарет вначале Сталину, потом Литвинову. Гопкинс ощупал карманы брюк, достал зажигалку, синеватое пламя обежало всех. Они закурили, и дыхание доброго табака вновь поплыло по комнате.

Гопкинс курил, вкусно причмокивая, Литвинов курил, расплывшись в улыбке. Его широкое лицо с толстыми губами выражало радость — давно ему не было так хорошо, как сегодня. Один Сталин потягивал свою

сигарету с суровой сосредоточенностью. Не иначе как в его сознании вызревал вопрос, которым он готовился завершить беседу.

— Не погасла ли ваша сигарета, господин Сталин? — засмеялся Гопкинс, поставив своим вопросом в неловкое положение прежде всего Литвинова — непросто было перевести этот вопрос.

— Нет, нет, никогда еще огонь не гас в моих руках, — улыбнулся Сталин, однако от этой улыбки он не стал веселее. Трудная мысль, которая владела им сейчас, не отпускала его ни на секунду. — Очевидно, на послание президента я должен был бы ответить своим посланием, — начал он, и Литвинов, увлеченный сигаретой, задержал ее у рта — он уловил значительность интонации.

Сталин продолжал.

Он сказал, что мощь Германии настолько велика, что России и Великобритании будет трудно разгромить германскую военную машину. Самым действенным шагом в борьбе с Гитлером было бы вступление США в войну. Это воодушевило бы народы, стонущие под гитлеровским игом.

— Вступление США в войну — вот проблема, которой господин Сталин хотел бы посвятить послание американскому президенту, если бы такое послание он написал? — спросил Гопкинс. — Верно я говорю?

— Верно, господин Гопкинс.

Видимо, Гопкинс не ожидал такого поворота разговора. Он затревожился и вновь, как в первую встречу со Сталиным, привстал, обратив правое ухо к собеседнику.

— Верно я понимаю?

Сталин подтвердил: верно.

Гопкинс стал объяснять, что приехал в Россию, чтобы содействовать помощи России в войне («Снабжение России всем необходимым — вот моя задача!»), но он готов передать президенту все, что составит содержание письменного или устного послания русских...

Сталин отвел глаза, задумавшись. Когда он думал, ему мешали взгляды людей. Потом он неожиданно поднял глаза, прямо взглянул на Гопкинса.

— Пусть вас это не огорчает... У президента нет причин быть недовольным своим посланцем. Ваша миссия была успешной...

Наутро американец вылетел из Москвы. Бардин, как было условлено, сопровождал его до Архангельска.

Видно, три страдных дня, проведенные в Москве, дали себя знать — едва самолет поднялся, Гопкинс уснул. Он был очень смешон в своем сером пальто и в помятой шляпе, которой после архангельского дождя он так и не сумел придать нужной формы. Он проснулся где-то за Вологдой и, осведомившись, который теперь час, протер иллюминатор и взглянул вниз. Самолет шел над темным бором. Бор был густо-синим, неоглядно широким, как небо над ним, тоже бескрайнее и синее. И Гопкинс вдруг вспомнил Кремль и вчерашнюю встречу.

— Мы разговаривали почти шесть часов, — заговорил он так, будто речь об этом зашла с Бардиным впервые.— У меня на родине или в Лондоне подобная миссия могла бы продолжаться бесконечно. Шесть часов разговора со Сталиным решили все... Он создает у вас уверенность, что Россия выдержит атаки немецкой армии. Он не сомневается, что у вас также нет сомнений, — он вновь взглянул в иллюминатор. Вдали в призрачной мгле блеснул извив реки и исчез. Гопкинс отвел глаза от иллюминатора, вздохнул.— Мне сказали, что ни один иностранец не получил столько сведений о силе и перспективах России, сколько было сообщено в эти два дня мне... По-моему, это правда.

— Правда, господин Гопкинс.

Он повел плечами, ссутулившись, улыбнулся, улыбнулся не столько собеседнику, сколько своим мыслям.

— По-моему, это знак приязни к моему президенту. Не так ли?

— Так, господин Гопкинс.

Он закрыл глаза, сказал так тихо и так сокровенно, как можно было говорить только себе:

— Нет, кроме шуток, в эти шесть часов мы совершили нечто великое...

Он положил под щеку ладонь и уснул. Казалось, он проснулся, чтобы сказать эти несколько слов и вновь погрузиться в сон. Он очень устал.

А Бардин не мог отказать Гопкинсу в правоте. В эти дни в Москве действительно свершилось нечто значительное. Если суждено было объединиться двум великим силам, то это объединение произошло в эти дни. Ничего Германия не боялась так, как этого союза. Сейчас этот союз был близок к осуществлению. Человек в сером коверкоте и помятой шляпе, что спал сейчас напротив, так и не поправив сдвинутую набекрень шляпу, мог спать спокойно — он сделал для этого все, что было в его силах.

## 14

Вечером, когда Тамбиев пришел в наркомат, его вызвал Грошев.

— Есть новость, Николай Маркович, и прелюбопытная — корреспонденты едут на фронт.

— Я еду?

Грошев помедлил.

— А вот это как раз еще не решено.

Тамбиев приблизился к столу.

— Нет, Андрей Андреевич, это решено, давно решено, еще в тот день, когда вы отказались отпустить меня в институт.

Грошев шевельнул лиловыми губами, насупился — тон Тамбиева ему не нравился.

— Я не решил, однако, если решили вы... зачем меня спрашивать?

— Андрей Андреевич, я прошу вас.

— Ну, это уже другой тон. Поезжайте.

— Все корреспонденты?

— Да, разумеется.

— На какой фронт?

— На Западный.

— Когда выезд?

— Часов в пять утра.

— Корреспонденты знают?

— Нет, но можно уже сказать... Кстати, Буа уже пошел в этот ваш Ноев ковчег... — указал Грошев на окно. — И против обыкновения... трезв.

Окна кабинета выходили в наркоматский двор, и, подойдя к окну, Тамбиев увидел, как двор пересекает француз Буа. Да, он был трезв, может, поэтому так пасмурен — в трезвом состоянии хорошее настроение у него исключалось начисто. Он шел походкой смертельно усталого человека. Его глаза были сонны, спина сутулее обычного, нижняя губа, добрая, как у лошади, отвисла.

— Буа — земляк Роллана, из Бургундии? — спросил Грошев, не отрывая глаз от окна, за которым все еще была видна усталая фигура француз.

— Нет, он из Гаскони. Кстати, вы заметили, что он приходит в убежище, как на работу: в семь он здесь...

— Как на работу? По-моему, он здесь работает. Парижская привычка — он может работать только на людях. К тому же есть иллюзия безопасности.

— Именно иллюзия. Кстати, я вижу Галуа. Через четверть часа вы можете сообщить им нашу новость.

То, что Грошев назвал Ноевым ковчегом, было сорокаметровым полуподвалом, достаточно светлым и сухим, чтобы в нем можно было работать. Подвал был обставлен по вкусу наркоматского управляющего делами, великого гурмана и жизнелюба. Из запасников управления делами в подвал снесли мебель восемнадцатого века, хрусталь и бронзу, увенчав все это скульптурным портретом неизвестного римского воина. Как ни далек был управляющий делами от забот о корреспондентах, он постиг их натуру верно: им импонировало пышное убранство подвала, и они шли сюда охотно. Впрочем, этому способствовало еще одно обстоятельство: новые сводки Совинформбюро поступали в отдел в тот самый час, когда с чисто немецкой аккуратностью на дальних подходах к Москве появлялись немецкие самолеты и начинался налет на столицу. Очередная корреспонденция писалась под грохот зениток и гром фугасок, что в немалой степени способствовало вдохновению.

Когда Тамбиев появился в убежище, корреспондентский корпус был в сборе и новость была известна инкорам.

— А не провести ли нам своеобразную... «летучку»? — поднял любопытные глаза Галуа — он был вос-

приимчив к новым русским словам и охотно их подхватывал. — У моих коллег много вопросов... Шутка ли, первая поездка на фронт!

— Да, пожалуйста, Алексей Алексеевич, хотя лучше некоторые из этих вопросов задать нашим военным, но они будут лишь к моменту выезда...

— Неважно. Проведем «летучку», это будет полезно. — Он значительно ударил ладонью о ладонь, призывая присутствующих к вниманию:—Friends, attention!..<sup>1</sup>

Первым реагировал Гофман; как и надлежит корреспонденту крупного агентства, он был чуток к малейшему движению воды и тут же занял место рядом с Галуа. Наоборот, старик Джерми не без труда оторвал усталые глаза от книги и, разумеется, не сдвинулся с места. Хорошенькая мисс Лоу, раскурив очередную сигарету, долго и безуспешно пыталась разгрести маленькой ручкой облако дыма и рассмотреть, что происходит вокруг.

— Алекс, что ты хочешь сказать?.. — взывала она к Галуа своим детским голоском — бедняжка пыталась уяснить, что происходит в полуподвале, и ничего не понимала...

А Галуа, по обыкновению, хлопал в ладоши и симпатично мычал. Как казалось Тамбиеву, это эканье и меканье, столь свойственное знатным предкам Галуа, сопровождало его русскую и французскую речь, сообщая ей известный колорит и весомость. Так или иначе, а необходимые слова были произнесены, и корреспонденты могли задать свои вопросы.

— А зачем нам выезжать утром, когда можно выехать днем? — подал голос мистер Клин и выдохнул облачко дыма — он любил душистые табачки и не намерен был изменять себе даже в столь суровых обстоятельствах, как сегодняшние.

— Нас будут возить по тылам или дадут возможность прикоснуться к огню? — спросил американец Лоусон. Он был на европейском театре войны, был на фронте и хотел эту свою привилегию утвердить и здесь.

— Кто будет говорить с нами из советских генералов? — спросил японец Тотикава и тут же был одернут американцем Викодем, корреспондентом более чем

<sup>1</sup> Друзья, внимание!..

благопристойной газеты «Крисчен сайенс монитоор»:

— Посмотрите на этого молодца — ему подавай генерала!

— Простите, а как будет обставлен там наш быт? — пролепетала мисс Лоу, но ответа невозможно было расслышать — дружный хохот покрыл ее слова.

— Простите, а не могли бы мы ознакомиться с образцами немецких листовок? — отозвался Ральф Баркер, корреспондент лондонской «Таймс». Его квадратные очки были очень приметны даже в сумерках полуподвала.

— А зачем нам эти листовки? — осек его Клин. — Взгляните на него — ему нужны листовки!

— Если они не нужны вам, почему вы думаете, что в них не нуждаюсь я? — спросил Баркер, спросил не без обиды.

— А по-моему, вам тоже они не нужны! — бросил Клин, поныхивая трубкой. — Для того чтобы сагитировать вас, листовок не надо... — заключил он с явным намерением, чтобы его намек был понят.

Корреспондентам было известно: у «Таймс» и Рейтер, по крайней мере в Москве, отношения весьма напряглись последнее время. Поднялся гул, сдержанный, неуклонно нарастающий.

— Все ясно... — крикнул кто-то, втайне надеясь, что спасительное «ясно» загасит пожар.

— Ясно, ясно! — подхватили с редким единодушием все остальные.

Галуа ударил ладонью о ладонь, экнул, мекнул и закрыл «летучку».

На рассвете машины с корреспондентами спустились по Кузнецкому к Петровке, появились в Охотном ряду, пересекли Арбат и по старому Можайскому шоссе устремились на запад. В Москве только что был дан отбой воздушной тревоги — последние ночи немцы продолжали бомбить Москву, но их налеты становились все менее целенаправленными. Бомбежки русской столицы плохо соотносились с действиями войск, наступающих на Москву; как могло показаться, в налетах на столицу не было крайней необходимости, они велись по инерции, чувствовалось, что немцам не хватает сил.

Небо над Москвой, по-августовски звездное, на

юго-западе казалось подпаленным — там бушевало пламя. Ветер дул оттуда, пахло дымом, горьким, отдающим горелым маслом. Мимо с тревожным завыванием промчались пожарные машины. Где-то у Киевского вокзала горел дом, горел, взметнув столб огня и дыма, щедро сыпая искрами.

Дорогу автомашинам преградила милиция.

— Сворачивай в переулок!.. Сворачивай!.. — кричали вокруг.

И, пытаясь перекричать все голоса, где-то поодаль вопила женщина:

— Варька там осталась. На костылях она, на костылях!.. Варьку вызволите!..

Все было в дыму и пламени. Только над головой неярко поблескивали большие уличные часы. Круглое стекло часов завалилось. Видно, это случилось в ту самую секунду, когда бомба врезалась в дом. Стрелки засекали этот момент — три часа пятнадцать минут. Тамбиев взглянул на свои. С момента взрыва прошло почти полтора часа.

Машины выехали за Москву.

Тамбиев сидел рядом с Галуа. Что он за человек, этот Алексей Галуа, думал Тамбиев. Кем он чувствовал себя в эту августовскую ночь тысяча девятьсот сорок первого года, русским или все-таки иностранцем? Вот как круто повернулось у человека: родился в России и, возможно, считал себя русским, хотя отец был прибалтом, а мать, кажется, англичанкой. Истинно русским: по языку, по культуре, по взгляду на жизнь, по складу характера, по тому первородному, что отождествилось где-то внутри человека с белыми русскими ночами, с мокрым и холодным лугом, с ивой над рекой. А потом военной волной выбросило его на французский берег, надолго выбросило. Какими были эти годы, знает только он, Галуа, но, наверно, было все: и нужда, и одиночество, и горький хлеб чужбины. Он очень горек, этот хлеб. Все было. Однако если человек перестал себя считать русским, то как он должен почувствовать себя сейчас, вот на этой старой Можайской дороге, выдавшей, например, железные полки французского императора? Если суждено ему себя почувствовать русским, то это должно произойти сейчас — да, да, сию минуту к нему возвращается его исконное первородство.

— Вы обратили внимание на эту стычку Клина и Баркера? — прервал молчание Тамбиев, молчание долгое.

— Да, конечно, Николай Маркович.

— Вы полагаете, что это стычка характеров? — спросил Тамбиев. По тому, как охотно отозвался Галуа на его вопрос, Тамбиев решил, что он может спросить его об этом.

— Думаю, что нет.

В самом деле, что произошло вчера в наркоминдельском подвале, украшенном скульптурой римского воина, спрашивал себя Тамбиев. Кто они, Клин и Баркер? Кто такой Клин, например?

Агентство, которое представляет Клин, самое многоспытное. По крайней мере, и возраст, и солидность, и чисто английская обстоятельность за ним. Тогда почему оно направило в Москву Клина? Нетерпим, агрессивен, даже когда нет крайней необходимости, недоброежелателен, нет, не только к советской стороне — к своим коллегам и к тем, кого отнюдь не упрекнешь в левизне.

Непонятно, почему он представляет агентство именно в России, да еще во время войны. С таким же успехом он мог представлять агентство в Тегеране или Монреале, впрочем, в Монреале с большим успехом, чем в Москве, потому что там говорят на французском, который Клин знает. В остальном он человек здесь чужой и не пытается это скрывать, больше того, ему доставляет удовольствие это выказать.

Баркер был человеком иного темперамента и, пожалуй, интеллекта. В отличие от собранного и целеустремленного Клина, выражающего и гнев и радость определенно, Баркер — порядочный мямля. У него козополо-рыхлая походка, сырой голос, и весь он какой-то недоваренный. Прежде чем заговорить, он должен прокашляться, потом пискнуть. Его не назовешь полным, но весь он правильно закругленный: круглые плечи, грудь, щеки, подбородок, впрочем, подбородок насечен едва заметной ложбинкой, которой Баркер должен был бы гордиться, она ему к лицу. Говорят, что Баркер довольно образованный человек и одаренный литератор, но при желании и первое, и второе можно было поставить под сомнение, так как он это не очень старался обнаруживать. Единственное, что

было вне подозрений, это его честность — она, как стержень, удерживала все, что было натурой Баркера, его личностью. Не было бы ее, Баркер бы распался, ведь он был, как сказали мы выше, порядочным мямлей. Впрочем, никто не мог утверждать, что Клин был бесчестен, поэтому самое сильное качество Баркера не было его преимуществом. Единственное, что могло вызвать зависть Клина, по крайней мере пока судьба его удерживала в Москве, это русский язык Баркера — несколько лет он прожил в Чехословакии, увлекся славянской филологией.

У Клина и Баркера нет зримых противоречий. По всем данным, они должны быть если не друзьями, то добрыми приятелями. Однако они недруги, и убежденные. Почему? Может быть, повздорили из-за мелочи. Люди ведь вздорят из-за мелочей. Не было бы этих проклятых мелочей, на земле был бы мир почти библейский...

А машины идут все дальше от Москвы. Рассвет неожиданно теплый, совсем не августовский. Дороги пусты, зато леса полны жизни. Все, что удалось перебросить за ночь, переживает день в лесу. От леса до леса — переход.

Впереди рядом с шофером — полковник генштаба Степан Иванович Багреев. Представляясь, назвал себя и по имени-отчеству. Штабист по характеру и образованию, закончил академию накануне финской и успел хлебнуть порохового дыма под Выборгом. Вообще, немногословен, как и надлежит быть офицеру генштаба.

— Когда будем на месте, товарищ полковник?

— С солнышком, впрочем, солнышко можем пропустить вперед.

Но первая остановка случилась до того, как взошло солнце. У въезда в деревню — солдаты с погашенными фонарями.

— Корреспонденты?.. Приказано в штаб.

Деревенская школа. Класс с рисованным портретом Горького. Усы у Горького, как у Тараса Бульбы, во всю щеку. На доске вразмах три слова, очевидно, написанные вчера: «Зазноба моя, зазнобушка!» Багреев увидел, стер ладонью, а ладонь вытер чистым платочком.

— Несерьезно как-то, не надо!

Пришел офицер в плащ-палатке — видно, примчался издалека, плащ-палатку не успел снять.

— Товарищ полковник, и вы, товарищ, — это к Тамбиеву. — Начштаба просит к себе.

15

Рубленая изба. Горница с окнами на улицу. От киота далеко на две стены иконы. За длинным столом, сплошь усталым картами, сидел генерал. Узкое его лицо было сумрачно. Увидев вошедших в комнату, он поднялся, но из-за стола не вышел. Он был высок, широк в плечах, однако тонок в талии, что делало его моложавым. Неожиданно тихим голосом, так не соответствующим стати, генерал спросил, как велика группа корреспондентов и какую прессу они представляют.

Игорь Владимирович Кожавин, представляющий вместе с Тамбиевым отдел печати, начал отвечать.

Генерал слушал его, опершись сильной рукой о стол, изредка поглядывая то на карту, лежащую перед ним, то на Тамбиева.

— Понятно, — сказал генерал, прерывая Тамбиева. У него было явно меньше времени, чем полагал Николай Маркович. — Какие вопросы могли бы интересовать корреспондентов?

Уже более лаконично, чем вначале, Тамбиев назвал два вопроса: как прочен успех, достигнутый войсками, каковы перспективы? И собирался назвать третий вопрос, когда генерал снова прервал его.

— Ясно, — сказал он и вышел из-за стола, дав понять, что готов идти в школу, где находились в это время корреспонденты.

За всю дорогу от избы до школы генерал не проронил ни слова. Рослый, на голову выше всех остальных, он шел свободным и сильным шагом, шел неторопливо, но быстро — стоило усилий поспеть за ним. Казалось, что он шел, повинувшись мысли, которая владела им сейчас. Она была трудной, эта мысль. Офицеры и солдаты, идущие навстречу генералу, неожиданно замирали и принимались печатать шаг, но ничто, казалось, не могло отвлечь генерала от его мысли, он отвечал на приветствия, не поднимая головы. Он первым вошел в класс, где сидели корреспонденты, и, оглядев их все тем же сумрачным взглядом, тронул кончиками пальцев околыш форменной фуражки с той торжественной четкостью, с какой только что отвечал на приветствия солдат.

— Кто будет переводить? — спросил генерал, обернувшись к Тамбиеву, и, сев за стол, на котором стоял граненый стакан с полевыми ромашками, дал понять корреспондентам, что они могут сесть, но они, чуть оторопев, продолжали стоять. — Садитесь, — сказал генерал и, не дожидаясь, пока они это сделают, начал говорить. Он сказал, что согласился встретиться с корреспондентами, если эта встреча продлится не больше часа. Корреспонденты должны понять его правильно, большим временем он не располагает. Сказав это, он снял с руки часы и положил их перед собой. Тридцать минут он намерен посвятить обзору событий, тридцать — ответам на вопросы.

Генерал говорил все тем же обыденно-спокойным голосом, каким говорил десять минут назад за столом, усталым картами. Он сказал, что сражение, которое дали советские войска немцам под Смоленском, во многом осложняет задачу немцев в их наступлении на Москву.

— Наступление приостановлено, — произнес генерал. — Больше того, мы потеснили врага и взяли Ельню. Чтобы остановить наступление советских войск, немцы начали подтягивать резервы.

Генерал отдал должное дерзости и мужеству партизан, с похвалой отозвался о советской артиллерии, однако признал, что нашим войскам все еще нелегко совладать с немецкими танками и авиацией.

— Наверно, это преимущество в танках и авиации зимой будет не столь очевидным, как летом, — сказал генерал. — Разумеется, зима явится суровым испытанием и для русских, но, как свидетельствует опыт, нам она не так страшна, как немцам...

Переводил Кожавин. Он как бы шел вслед за генералом, переводя фразу за фразой. Вначале записывал убористым и четким почерком, чем-то напоминающим печатный текст, и потом переводил. Переводил с той тщательной сноровкой и точностью, с какой делал все. Создавалось впечатление речевого потока. Будто нет переводчика и генерал говорит по-английски. И, странное дело, чем больше удавалось отстраниться Кожавину и стать менее заметным в разговоре между генералом и корреспондентами, тем большее удовлетворение доставлял самый этот процесс переводчику.

— А не полагаете ли вы, что до наступления зимы немцы попытаются добиться решающего успеха, собрав силы? В их положении это единственная возможность одолеть русскую зиму, — спросил Клин, спросил, едва генерал закончил свое короткое сообщение.

— Весьма возможно, что будет и так, — ответил генерал и поднял глаза на корреспондента. Он не ожидал, что первый же вопрос будет столь тревожно-важным.

— А не думаете ли вы, что нынешнее сосредоточение сил является не просто попыткой немцев локализовать русский контрудар, а началом подготовки к новому наступлению? — задал свой второй вопрос Клин. Он заранее заготовил эту обойму вопросов и теперь хотел выпустить ее.

— Любой контрудар бессмыслен, если он не является звеном замысла, — ответил генерал.

Клин умолк, и все молчали. Клину явно готовился задать свой последний вопрос. Все предыдущие были заданы ради этого, последнего.

— Полагаете ли вы, что в новом своем наступлении, если оно будет иметь место, немцы дойдут до Москвы? — спросил Клин.

— Нет.

Корреспонденты еще раздумывали над диалогом между Клином и генералом, когда подал голос Галуа.

— Не преувеличивает ли советская пресса значение успеха, достигнутого русскими войсками под Смоленском? — Скептическая интонация, прозвучавшая в словах Клина, оказалась заразной и для Галуа.

— Думаю, что нет, — ответил генерал. — Это первое поражение немцев за время войны не только на востоке, поражение, пожалуй, тактическое, но кто знает, может быть, оно является знаком стратегического неуспеха. — Улыбнувшись, генерал как будто застеснялся этой улыбки. Видно, последнее время он улыбался нечасто.

К обеду, который приготовили в соседней комнате, служившей некогда учительской, корреспондентам дали по сто граммов водки.

Беседа с генералом растревожила корреспондентов. Все, кто во время беседы молчал, сейчас распечатали уста, все, кто говорил, сейчас стали еще говорливее.

— Читатель не знает пощады, он хочет знать всю

правду, — подал голос Клин, улучив минуту, когда за столом наступила тишина. — Корреспондент тоже должен не щадить!..

— Смотри кого не щадить! — отозвался Баркер и залился румянцем — он не умел пить и быстро пьянел.

— Родную мать не щадить! — едва ли не шепотом произнес Клин. Он мог переходить с крика на шепот — шепот устрашал.

Стол затих.

— Знаешь, Клин, — вдруг произнес Баркер почти ласково, — сегодня линия нашей с тобой обороны проходит не только по Ла-Маншу, но и по Днепру. Не щадить здесь — это значит не щадить там!

Корреспондентам почудилось, что взрыв неминуем, но взрыва не произошло — то ли Клин струсил, то ли сообразил, что обострение разговора не сулит ему ничего доброго.

— Я еще подумаю, где проложить мою линию обороны, — заметил Клин неопределенно и встал из-за стола.

И вновь Смоленская дорога, ветреная и пыльная, с бомбовыми воронками, с дымом походных кухонь, со ржанием стреноженных лошадей в придорожных рошицах, с робкой песней.

Где-то у Гжатска их остановили пехотные командиры.

— Хотите поговорить с немцами со сбитого бомбовоза? — Командирам дали знать о корреспондентах, и пехотинцы вышли им навстречу.

— Если можно.

Три немца в синих комбинезонах — экипаж «хейнкеля». Настроение у немцев тревожно-приподнятое, то ли от сознания, что им не грозит смерть, то ли из чувства собственного превосходства.

— Москва и близко, и далеко? — спросил старик Джерми — ему хотелось задать вопрос пообиднее.

Командир экипажа с толстой шеей атлета только скептически улыбнулся, а веснушчатый коротыш, второй летчик, махнул рукой и засмеялся:

— До начала зимы Москва будет немецкой!..

Сочетание этих слов «немецкая Москва» развеселило коротыша, и он засмеялся еще пуще.

— Вы участвовали в бомбежках Лондона? — спро-

сил Галуа. Ему казалось, что этот вопрос, заданный в лоб, собьет с немцев спесь, но Галуа ошибся.

— Да, конечно, — ответил все тот же веснушчатый немец, а сидящий поодаль черный эльзасец, по всей видимости штурман, добавил охотно:

— Неоднократно и очень успешно. — Он оглядел своих товарищей: — В этом же составе...

Возможно, здесь было задето самолюбие командира экипажа.

— После России — Англия! — заявил он без малейшего смущения, заявил так, будто вместе с ним должны радоваться все остальные. — Управимся — и в Лондон! — почти воскликнул он.

— Чтобы быть в Лондоне, вам следует еще выбраться из русского плена. Из русского! — произнес старик Джерми. Он был в России еще в первую войну и лучше других знал Россию.

— Это ничего не значит, — сказал черный немец.

Они остановились на ночлег в полевом госпитале. Палатка, в которой разместились Тамбиев и Кожавин, стояла на отшибе от палаточного городка, однако рядом с медсанбатом. Ближняя из палаток медсанбата — операционная. Когда Тамбиев с Кожавиным вошли в свою палатку, из операционной был слышен кашель, утробный, прерываемый тяжелым дыханием.

— Братушка-доктор, побереги меня, я молодой... — слышалось из палатки. — Побереги...

— Пойдемте на дорогу, постоим в тишине, — предложил Кожавин.

Они выбрались из палатки. Пошли через поле, которое уже тронула роса.

Припахивало дымком, далеко справа жгли солому; и длинные космы дыма, подсвеченные пламенем, невысоко стлались над полем.

Этот костер да яркий огонь операционной не отодвигались в ночь, как и голос солдата, лежащего на столе: «Братушка-доктор...»

Они дошли до дороги и пошагали вдоль нее. Здесь было тихо.

— Что вы поняли, Николай Маркович, из рассказа генерала? — спросил Кожавин, остановившись. Голос его был очень свеж в тишине ночного поля.

— Не только из рассказа генерала, но и из встречи с этими немцами?—переспросил Тамбиев. Чем-то неведомым рассказ генерала перекликался с вечерней встречей с пленными.

— Да, пожалуй, и из встречи с немцами.

Тамбиев пошел дальше, ему не хотелось останавливаться.

— Понял, что нам будет трудно.

— Труднее, чем старался показать генерал?

— Труднее, Игорь Владимирович.

Кожавин посмотрел туда, где только что пламенел костер. Пламя опало, костер погас, тьма сейчас объела их, сплошная тьма, хотя все еще пахло дымом.

— До начала зимы два месяца, — произнес Кожавин едва слышно. — Они не могут ждать, пока их накроет зима. Они пойдут на все. Новый большой удар немцев? Может быть, здесь...

Где-то в стороне, не зажигая фар, прошла машина, однако звук мотора был слышен явственно.

— Игорь Владимирович.

— Да...

— Ваши выехали из Ленинграда?

— Да, сестра и бабушка. Не могу простить себе, что не повидал их.

Это было не очень похоже на Кожавина, обычно он был скрытнее, не любил говорить о себе. Всему виной эта ночь да ощущение тревоги. То, чего не скажешь в иное время, скажешь сейчас.

— А как ваши, Николай Маркович?.. На Кубани?

— Да.

Они медленно пошли назад. Из-за холма выглянул огонь операционной палатки. В стороне, в двух шагах от палатки, стояли носилки, теперь тщательно прикрытые простыней. Видно, под простыней лежал человек, только что моливший врачей о пощаде. Он был тревожно тих, этот человек, — может, отсыпался после операции, может, хлебнул осенней степи и затих навсегда.

— Вот в Вязьме, — подает голос Кожавин, — подслушал разговор двух солдат. Один говорит: «Видел давеча, как в деревне, попальной в прах, понимаешь, в прах, так, что и труб не осталось, видел, как по горелым кочкам ходит старуха... Без ума, без глаз: «Березонька моя белая... Березонька!..» — «Это под Ме-

дынью?» — спрашивает второй. «Нет, под Ельней...» — «Под Ельней?.. Нет, то было под Медынью, я сам ее видел...» — «Нет, хорошо помню, под Ельней». Так и не договорились. Один говорит: «Под Медынью...» Другой: «Под Ельней...» А если говорить так, как есть, то и под Медынью, и под Ельней, и в сотнях, в сотнях русских деревень ходит по горелым кочкам наше горе...

Все эти дни, пока машины шли по старому Смоленскому тракту, дорожные указатели — кусок фанеры или жести, полено, расколотое пополам и оструганное, сосновая доска — твердили упорно: «На Ельню!» На перекрестках за коротким перекуром счастливо вздыхали солдаты: «Ельня...» Скромный посад на Десне вдруг стал едва ли не стольным градом.

В Ельню приехали под вечер. Догорал закат, неожиданно яркий на темном сентябрьском небе. Все было сожжено вокруг, уцелели только трубы. В наступившей тьме они были похожи на стволы могучих деревьев, которые не успел спалить огонь — ветви сгорели, а стволы остались. Люди стояли меж этих стволов и порой, казалось, сами были похожи на деревья, которые не успел dokonать огонь. Из тех сотен и тысяч русских городов и сел, которые захватили немцы этим летом, Ельня была первой, отбитой у врага.

Часом позже, когда тьма была уже так густа, что не было видно ни труб, ни людей, Тамбиев шел с Гауа по окраине Ельни. Они вышли в поле и остановились. Прохладой и покоем дышали и лут, укрытый росой, и лес, что лег на отлете.

Изредка попадались люди, они, как летучие мыши, чуяли друг друга на расстоянии.

— Простите, Николай Маркович, но мне показалось, что кто-то вас окликнул...

Тамбиев оглянулся. Из тьмы шагнул человек, шагнул наугад, согнув могучие плечи, точно хотел подпереть ими падающую стену.

— Николай, да ты ли это?

Тамбиев даже отпрянул — в первозданной тишине простое слово было подобно грому.

Яков Бардин. И рука его. Шершавая, может быть, она стала даже еще жестче, чем прежде.

— Как вы это, Яков Иванович? — мог только воскликнуть Тамбиев. — В такой темноте...

— По голосу, Коля. — Большие руки Бардина охватили его, затрясли что было мочи. — В лицо не узнаешь, а по голосу не ошибешься... Голос поточнее лица! Как там наши, Коля?.. Про Егора все читаю в газете. Да, когда приезжал этот... американец... Я написал брату: «Не говори, Егор, Гопкинс, пока не перепрыгнешь!» — Он произнес это хмуро, без претензии на остроумие. Главное было не в остроте, в ином: американца, мол, слушай, Егор, а сам не забывай своего российского первородства. — А ты как сюда, Коля? Ах, да, с корреспондентами! Да что мы уперлись в ночь, как в могилу? Пошли, у меня тут за гречишным полем крыша.

— Я не один, Яков Иванович, со мной... Галуа. Слышали, француз Галуа?

Яков Бардин на секунду остановился. Ничто не могло бы его в эту минуту остановить — это остановило.

— Пошли, и на француза хватит!

Он шагнул в ночь. Было слышно, как он шагает — широко, вразмах. Шагал молча, думал о чем-то своем.

Когда минули гречишное поле, Тамбиев спросил:

— Как вы, Яков Иванович?

— Всяко было, Коля, — сказал он, не останавливаясь.

Они вошли в лесок и твердой тропкой, перевитой корнями, добрались до палатки.

— Минуту. Где-то тут у меня был фонарь, — он чиркнул спичкой, понес ее в палатку, защитив ладонью. — Под этой елью, как в блиндаже под тремя накатами!.. Вы на меня не обиделись за... Гопкинса? — поднял глаза Бардин на Галуа. Никогда они не были такими старыми, эти глаза. Два года, пршшедшие после ивантеевской встречи, стоили Бардину двух десятков лет.

— А чего мне обижаться?.. Он мне не ближе, чем вам.

— Ближе.

— Почему, простите?

— Один... брат — союзник.



Галуа засмеялся.

— Не ближе.

— И на том спасибо... К сожалению, кресла я вам предложить не могу, садитесь прямо на койку, хотите, на одну, хотите, на другую, — он взглянул на койку напротив, на которой лежала заячья шапка-ушанка. — Товарищ уехал в Вязьму, будет позже.

— Спасибо, — сказал Галуа и сел, не без любопытства взглянув на шапку. Она казалась сейчас некстати, эта заячья шапка-ушанка.

— Как вы, Яков Иванович? — повторил свой вопрос Тамбиев, решив, что теперь получит ответ.



— Что сказать, Коля? — спросил Бардин, приподняв вещевой мешок и извлекая из него, как некую драгоценность, синюю посудину с водкой. — Приехал в Барановичи принимать дивизию, а занесло в Ельню. Да как занесло!.. Поминай как звали, если бы не Климент! — кивнул он на заячью шапку. — Одиссея!

Галуа вытянул шею, повертел маленькой головой — он почуял, что предстоит услышать нечто необычное.

— Расскажите, пожалуйста, Яков Иванович, — попросил он запросто и достал блокнот.

— Только, чур, не записывать. Что запомните, то и запомните! — Бардин засмеялся, поднял стакан. — Как

дойдет дело до протокола, немею!.. Ну, будьте здоровы!..

Они выпили. Бардин пригубил, отодвинул стакан. Тамбиев отхлебнул, стал малиновым. Галуа опрокинул, искоса посмотрел на колбасу.

— Ну, не пытайте, смилитесь, — взмолился Галуа.

Бардин постучал кончиком указательного пальца по стакану с водкой.

— Да я, признаться, не знаю, что можно вам рассказывать, а что нет..

— Не верьте, Алексей Алексеевич, Бардин все знает, — улыбнулся Тамбиев. — На то он и Бардин, чтобы все знать.

Бардин помолчал, сказал не столько своим собеседникам, сколько себе:

— История чисто человеческая, из нее военной тайны не выведешь... Человеческая! — повторил он и посмотрел на заячью шапку. — Я расскажу, как было, а вы можете разукрасить. Разрешаю прибавить и кармина, и охры... Какая картина без охры? Я получил новое назначение, прилетел туда в пятницу. Командующий был в войсках и принял меня только на исходе дня в субботу. Признаться, я ждал встречи с ним не без тревоги. Однажды я уже служил под его началом. Человек умный, он в чем-то не знал чувства меры. Верную истину — солдат надо учить личным примером — он превращал в нечто такое, в чем не было уже смысла... Заметив однажды, что полковая кухня полна дымом, он снял гимнастерку и принялся чистить трубу. Дым, разумеется, улетучился, а вместе с ним... В общем, он считал, что солдата надо учить личным примером. Он принял меня, едва вернулся из поездки по войскам, и просил быть у него в понедельник в восемь. Он представил меня своему начштаба, сказав, что повезет меня в дивизию сам, и уехал. Еще сегодня он хотел побывать в соединении, которое находилось в том конце леса. Начштаба вызвал машину и сам отвез меня в Дом Красной Армии, там была гостиница для приезжающих офицеров. Кстати, начштаба Белогуб был человеком новым и жил в комнате напротив. Располагаясь, я заметил, что окно выходит в лес. От окна до леса, как отсюда до гречишного поля.

Он потянулся взглядом к выходу из палатки, будто хотел увидеть гречишное поле.

— Я взглянул на лес так просто, не зная, что еще этой ночью он мне понадобится... Одним словом, часов в двенадцать, когда я уже уснул, вдруг постучал Белогуб. «Ничего не пойму. По ту сторону границы на холме горит дом, и его никто не тушит... Вот, взгляните». Мы прошли в комнату начштаба, его окна выходили на противоположную от леса сторону. Действительно, поодаль горел дом. Дом стоял на холме, и отсвет пламени, казалось, коснулся даже стекла окна, из которого мы смотрели. «Не тушат», — сказал я. «Да, странно, не тушат», — согласился начштаба... В общем, это пламя на холме многое нам объяснило: кому-то незримо, кто пересек границу и находился где-то рядом с нами, немцы подавали сигнал. О чем?.. О чем-то значительном, ради чего стоило рисковать, разумеется, не сожженным домом, а неизмеримо большим — сигнал будет замечен и распознан... Белогуб позвонил в штаб. Никаких новостей, кроме разве того, что командующий прибыл в дивизию и пошел на вечер самостоятельности. «Нет оружия надежнее гранаты», — сказал начштаба и открыл ящик письменного стола, там лежали три гранаты-лимонки. «Можно взять и мне?» — спросил я. «А чего ж?» Начштаба еще раз взглянул в окно, за которым догорал дом, сказал, что, пожалуй, ляжет не раздеваясь. И это же советовал сделать мне. Я ушел, неся на ладони гранату. Сознаюсь, настроение у меня было какое-то озорное... Однако соловья баснями... Выпьем!

Бардин оглядел гостей, долил в стакан водки, азартно чокнулся, но и в этот раз выпил меньше всех.

— Короче, я проснулся от удушья, дым застал все вокруг, раскачивалась люстра, и комнату кренило. Я успел только нащупать гранату, которую положил в пепельницу, и кинулся в комнату начштаба. Дверь была заперта, я ее вышиб ударом плеча. Начштаба не было, должно быть, он ушел с вечера. Я взглянул в окно, которое все еще было открыто, и отпрянул: немцы, связная машина с откинутым тентом, четверо в шинелях — утро было холодное... Хорошо помню, что я даже не взглянул на гранату — она была у меня в руке. Метил в машину — взрыв! Вбежал в свою комнату и выпрыгнул в окно, в то самое, выходящее к лесу. Не понял, что расшиб ногу, было только неловко бежать, а бежать надо было — сзади жарили из авто-

матов, моя граната не всех подобрала. Нет, разбитой ноги не чувствовал, но понимал, что те, что гнались за мной, бежали шибче меня — и крики, и выстрелы были все ближе. Потом почувствовал, что обожгло спину, но это было уже в лесу. Полз ельником, он там густой. Не было ощущения боли, только очень кружилась голова. Мне даже казалось, что временами терял сознание. Как тень, идущая от облаков, на глаза надвигалась тьма, и все уходило. Так было несколько раз. А потом... Попытался встать и вдруг увидел, как пошли гулять вокруг меня ели. Понял, что рухну. Попытался схватиться за дерево, но руки уже не держали. Очнулся от ощущения холода и чего-то мокрого. Утро или ночь? Пожалуй, утро, уже с солнцем. Понимал: надо быть ближе к дороге. Стало теплее, и опять закружилась голова. Но, кажется, я выполз на тропу... Хорошо помню, что рядом была спиленная береза, уже подгнившая, и я подумал: наверно, далеко отполз от города, было бы близко, березу бы подобрали. И опять набежали эти темные облака — закружилась голова. Потом уже подсчитал: я пролежал подле этой березы сутки, а когда пришел в себя, увидел Климента. — Он кивнул на заячью шапку и, подняв стакан, осушил его до дна, осушил с радостью, будто ждал этой минуты, а поэтому берег водку. — Увидел я этого Климента и испугался: борода какая-то сизая, с рыжинкой, руки, точно корневища, зеленым лишаем заросли, на ногах гостолы из коры, перевязанные шпагатом, да на плечах посконная рубаха, да крест на груди — белый, вырезанный из консервной банки, вырезанный не без старания, на красной тесемочке. Только и человеческого, что вот эта шапка, — он дотянулся до шапки, тронул, как показалось, осторожно — шапка внушала уважение. — «Мне тебя господь бог послал, товарищ начальник, — сказал человек, снял ушанку и перекрестился. — Я тебя должен спасти, товарищ начальник, понял? — У него такая присказка была — «понял?». — А чтобы я тебя уберег, командиром буду я, а ты вроде моим солдатом. Иначе я тебя не спасу, понял?» Выя у него была что у быка. Взвалил меня на спину и попер. «Глаза побереги, начальство, чтобы терном не выдрало. Терн, он ой как зол!» Донес до середины леса, положил под осинку (там больше все осины — место сырое), осмотрел рану. Она мне пришлась под ремень,

если бы не ремень — худо. «Крови небось потерял страсть?» — «Крови не было». — «А откуда тебе знать, была она или нет? Она пошла в живот, от этого и глаза мугились... Вон как живот разнесло — кровь!» Вновь взвалил и понес, а сознание, как костер в долине, вспыхнет, погаснет, вспыхнет... «Послушай, браток, оставь... Россия небось вон куда отодвинулась, не донесешь». — «Нет, донесу, мне тебя донести надо». Он несет, а я думаю: «Донести надо? Кем он может быть, этот человек в постолах из бересты и с железным крестом на груди?.. Схимник, нарушивший обет молчания?.. Беглый кулак?.. А может, просто один из тех, кого во множестве забрасывали в наш тыл немцы и кому сигналили в ту ночь огнем горящей хаты?.. Кто он?» Признаться, я не сразу спросил об этом. Лес в тех местах сырой, грибов — гибель. Я не оговорился — гибель. Говорят, примета такая есть: грибное лето — лето к войне. Грибы на вертеле — сил не прибавит, но сыт будешь. И щавеля малость. И пригоршню ягод. Он все точно рассчитал — лес не даст умереть. На заре, утренней и вечерней, видел, как он молится. Так только крестьянин может молиться. Истово, не кляня никого, больше благодаря, веруя. И еду, что собирал по крохам в лесу, тоже принимал, как милость божью. Не прикоснется к еде, чтобы не тронуть черными пальцами жестяной свой крест на груди, не перекреститься. От грибов и щавеля не много сил прибавит, на ноги встать не могу. «Брось меня, брат, — молю, — брось. Сколько нести еще, да куда донесешь? Брось!» — «Нет. Убей — не брошу!» Скажет и взглянет на кобуру с наганом, безбоязненно взглянет. Чую, ничего ему от меня не надо и от оружия моего. Как-то нарочно обронил наган и заставил его подобрать. Подобрал, сдвинув брови, повертел, усмехаясь, вложил в кобуру. И опять я подумал: «Кем может быть этот человек?..» Думаю: спрошу — спугну, вовек не откроется. Да он и так был на слово не щедр. Как-то сказал: «В наших местах болота все с ряской...» — «Где это в ваших местах?» Он смутился, надвинул на глаза шапку. Он это делал и прежде, когда смущался. «В наших...»

Он больше отмалчивался, хотел защитить это свое молчание шутками, но иногда прорывало и его. «Вот вы полковник, небось всю жизнь шли к этой своей позиции?» — «Всю жизнь». — «Значит, постигли науку

убийства?» — «Постигал, Климент». — «Нет, вы не смейтесь. Я серьезно. По мне, армия — сплошное дармоедство. Какой в ней толк для жизни?» — «Пока есть война, Климент, нужна и армия. Война у ворот — поднимай народ!» Но он стоял на своем: «Загодя учить убийству — тьфу!» И еще любопытно: о немцах он почти не говорил, избегал говорить. «Или тебе немец — брат? Вон какая беда Россию в полон взяла, а ты молчок!» — «Нет, я не молчок, да только Россия как стояла, так и стоять будет... Что ей, России?. А немец?.. Он как ветер, пришел и ушел». — «Значит, сиди и жди, пока он уйдет?» — «Нет, ждать нельзя». Заночевали мы с ним в сосновом лесочке. Сгребли хвой гору и завалились спать. Ночью он развоевался — замычал, закричал. «А ну... тсс! Или привиделось что?» — «Привиделось». — «Что?» — «Дым зеленый обволок, не продохнуть». — «Это что же... дым зеленый?» — «Известно что, немец». — «Дым?» — «А то что ж? Дым! Пришел и ушел!» — «Как бы он тебя с потрохами не уволок, этот дымок!..» — «Нет, не уволокет! Россию дымом не сдвинуть!.. Дым!..»

Бардин поднял бутылку, поставил ее меж собой и фонарем, взболтнул, определяя, сколько в ней осталось влаги, разлил всем поровну.

— А потом уже где-то здесь, под Смоленском, попали мы под удар карателей. Партизаны склад с обмундированием сожгли, и немцы пошли прочесывать рощицу, в которой мы застряли. Уходи, говорю Клименту... Молчит, ни слова, только толчет ручищами вот этого своего зайца. «Брось и уходи!». Поднял глаза, смотрит. «Вот ты грамотный, а понять не можешь... Не волен я тебя оставить». Задачу он мне дал!.. Решил его больше ни о чем не спрашивать. Скажет — скажет, не скажет — его воля. Берег крутой, его острой волной подмыло. Там не то что двух таких беделог, как мы с Климентом, артиллерийский расчет упрятать можно. Если здесь пройдут, не увидят, разве только берег обрушат. Если по той стороне пойдут, не могут не заметить — река шесть сажен. Пошли по той стороне. Видим, пришел наш час скорбный. «Уходи, говорю, теперь самый час тебе уйти...» — «Нет, вот только держи, что даю. С ним и против бога, и против дьявола...» Чувствую, положил мне в руки кусок железа. Ощупал — крест. Точно такой, как у него на

груди. А немцы — через реку... «Уходи, Климент, пришел мой конец». — «Высока моя Голгофа... Вот ты грамотный, а понять не можешь — в тебе мое спасение». А немцы прошли. Прошли потому, что ложбинка на том берегу как раз против нашего места пришлась. Смотрят — ничего не видят. Потом я понял, за спиной у нас было солнце... А когда прошли, сели мы у воды, ноги вымыли, Климент и говорит: «Знаешь, кто я? Дезертир. Вера запрет дала, вот я и сбежал из дивизиона...» Я знал: он говорил правду, не мог не говорить правду. Вот и весь сказ — дезертир. Вера запретила, он и сбежал. Но ведь вера наложила запрет на мирное время, а здесь война... Одним словом, во мне, только во мне был его крест... Каяться не каялся, а спасение, кажется, добыл. Вот и вся история... человеческая, — закончил Бардин.

— Человеческая, — задумчиво произнес Галуа и, улыбнувшись, взглянул на заячью шапку.

— А как у вас в перспективе, Яков Иванович? Корпус?

— Что дадут, Коля.

— Климента возьмете с собой?

Бардин ответил помолчав:

— Пожалуй.

Бардин вызвался проводить. Шли, молчали. Где-то справа, сорвавшись, упала звезда, нарушив темень неба и поля.

## 17

Корреспонденты возвращались в Москву на тех же машинах, что и из Москвы. Тамбиев сидел рядом с Галуа. Из Вязьмы выехали с заходом солнца в надежде быть дома часу в одиннадцатом утра — время военное, ночью дорога полна машин.

— Вы полагаете, что Бардину легко расстаться с... заячьей шапкой? — спросил Галуа.

— Не думаю, хотя он и понимает меру вины... зайца.

— У зайца ушки на макушке! — засмеялся Галуа. Он любил ходкое русское словцо. — Заяц все рассчитал, хотя мне показалось, что Бардин видел в этом не только расчет, но и чувство искреннее. Бардин понимает: здесь была не только шкура, но и вера. Бар-

дин — психолог! Было бы иначе, он бы послал зайца ко всем чертям!

— Но это та мера вины, которая искушается?

— Возможно.

Встреча с Бардиным не давала Галуа покоя. Вернувшись от Бардина, он просидел над своим блокнотом до полуночи. Разумеется, он все записал. И не только записал, но и по-своему объяснил. То, что он произнес сейчас, было какой-то деталью этого толкования. Тамбиев знал по опыту, Галуа имел обыкновение рассказывать Тамбиеву о вещах, заранее зная, что они известны Николаю Марковичу, и он, Галуа, не сообщит ему ничего нового. Галуа проверял на собеседнике одно из тех толкований, которое он намеревался дать событию в корреспонденции. Хитрый Галуа не просто выверял свою мысль, он ее стремился своеобразно легализовать. Если он поступал так, наверно, у него была в этом необходимость.

— Кто вы такой, Николай Маркович? — спросил Галуа, наклонившись, и засмеялся. Нельзя было понять, что означал этот вопрос и какая доля иронии была в него вложена. — Нет, нет, кроме шуток. Кто вы?.. Как-то вы говорили, что родные ваши живут где-то на Кубани.

— На Кубани, Алексей Алексеевич.

— Простите, они армяне?

— Да тамошние... язык адыгейский.

Еще прошло с полчаса. Машина шла под гору. Шофер выключил мотор, стало тихо.

— А знаете, о чем я сейчас подумал?

— О чем, Алексей Алексеевич?

— Вспомнил свои питерские годы и подумал: с этим вашим происхождением вас, пожалуй бы, к Дворцовой, шесть<sup>1</sup>, и на пушечный выстрел не подпустили бы... Вы понимаете, что это такое?

— Понимаю.

— Если понимаете, скажите...

— Вот это и есть советская власть, Алексей Алексеевич.

Он вздохнул.

— Жалею, что сказал вам все это...

<sup>1</sup> На Дворцовой, шесть, в Петербурге находилось Российское министерство иностранных дел.

— Почему?

— Дал возможность вам выиграть спор.

— А разве был спор?

— Был.

Машина подкатила к «Метрополю», когда кремлевские часы отсчитали десять тридцать. Корреспондентов встретил француз Буа. У него был грипп, и он остался в Москве. По словам Буа, немцы только что сообщили: в Москве соберется конференция трех.

Клин, оказавшийся рядом, почесал седой висок.

— А они не сообщили, что хотят отметить эту конференцию... ударом по Москве?

— Нет, об этом они ничего не сказали, — заметил Буа. Он не хотел принимать иронического смысла, который был во фразе Клина.

— Тогда об этом сообщаю я, — сказал Клин небрежно и, забросив за спину вещевой мешок, первым вошел в гостиницу. Не очень было понятно, радовал или огорчал его прогноз, который он сделал.

Старик Джерми, стоявший неподалеку, только пожал плечами.

— Простите, господин Тамбиев, он не хотел сказать ничего плохого, он просто любит сильные слова.

Тамбиев дождался Кожавина, чья машина подошла позже.

— Вы полагаете, что нам следует зайти на Кузнецкий, Игорь Владимирович?

— Да, мне так кажется.

Они пошли по Неглинной, завернули на Кузнецкий. Сейчас они шли в гору. Рядом гремел обоз с фуражом: два десятка подвод, одна за другой. Кони устали, видно, шли все утро, а возможно, и ночь. Конец длинный — от Мытищ, а то и от Болшева.

— «А все Кузнецкий мост...» — с невеселой бравадой произнес Кожавин, глядя на неширокую стезжку просыпанной соломы, лежащую на плоской брусчатке. Видно, в это утро грибоедовская строка обрела смысл, какого не имела прежде. — Вы уже слышали о конференции трех?

— Да, Буа сказал об этом Клину при мне...

— Значит, вам и прогноз Клина известен? — спросил Кожавин.

— Да, разумеется. Его убедила в этом поездка?

— Не только его, — сказал Кожавин.

Тамбиев хотел спросить: «Кого еще? Вас, Игорь Владимирович?» — но смолчал. Да Кожавин и не хотел ждать, пока вопрос будет задан.

— Не очень хочется соглашаться с Клином, но он прав...

— Вы имеете в виду наступление немцев на Москву?

— По-моему, Клин говорил об этом.

## 18

Михайлов сказал Бекетову, что, судя по всему, Бивербрук поедет в Москву на конференцию трех. Михайлов хотел посетить Бивербрука в его министерской резиденции сегодня в три и просил Сергея Петровича быть с ним. Бекетов поблагодарил, сказав, что встреча с Бивербруком была бы и ему полезна.

Минуло два с половиной месяца с тех пор, как Бекетов прибыл в Лондон. Медленно, но верно Сергей Петрович постигал новые обязанности. Как ни своеобразна была жизнь посольства, она все больше становилась жизнью Бекетова.

Его глаз еще сохранил остроту видения, свойственную новым людям, и ухватывал то, что недоступно было другим. Очевидно, жизнь советского посольства в Лондоне напоминала посольскую жизнь в других столицах, но здесь было и нечто своеобразное. Это своеобразие облику посольства и всему его быту, как казалось Бекетову, во многом сообщил посол. Историк, не порывающий с наукой, он сумел с помощью каких-то только ему известных средств связать свои творческие увлечения с дипломатической практикой. Лингвисты, инженеры-энергетики, зодчие, становясь дипломатами, порывали со своей профессией. Михайлов, став дипломатом, не порвал с прежней профессией. И дело не только в том, что история ближе дипломатии, чем энергетика или архитектура, главное было в верности призванию, в решимости служить ему до конца. Разумеется, сочетать жесткие дипломатические будни с творческим трудом вряд ли мог даже Михайлов, но осмысливать происходящее, накапливать записи, накапливать впрок с намерением реализовать это в обстоятельном труде, который нужен людям, это Михайлов умел.

И еще он умел подметить в человеке искру божью и сберечь ее — и здесь у Михайлова был дар. Протянув руку к стопе деловых бумаг, лежащих на письменном столе, Михайлов, казалось, к удивлению своему, вдруг обнаруживал рукопись о таможенных законах, установленных Петром, или рукопись обстоятельной работы об известной стачке английских горняков. «Вот, прислал доцент из Саратова. Поймал меня, когда я был последний раз в Москве, а сейчас настиг, представьте себе, настиг в Лондоне!.. Если есть желание, могу дать прочесть, прелюбопытная работа!» И, взяв на ночь рукопись саратовского доцента, Бекетов действительно убеждался, что она принадлежит перу человека способного: в этой работе и знание предмета, и способность к анализу немалая... В посольстве говорили Сергею Петровичу, что когда Михайлов приезжал в Москву, в какие-нибудь две недели вокруг него возникал такой ансамбль больших и малых спутников, какому позавидовал бы сам Юпитер. В этом ансамбле были авторы произведений весьма экзотических, но это не смущало Михайлова. Он полагал, что заветная искра может отыскаться даже в тексте оды во славу пастыря, а остальное, в конце концов, приложится.

«Доброе дело имеет способность долго жить» — к этой формуле нередко приходил Михайлов. Откуда он вывел эту формулу, спрашивал себя Бекетов. Из какой поры своей жизни?.. Не из тех ли далеких времен, когда переселился в Англию, унося ноги от царской охранки, и потом жил на положении гонимого, перебираясь из одной лондонской мансарды в другую, жестоко мерз и голодал? «В Лондоне и теперь можно увидеть нужду диковинную, — сказал он как-то Бекетову. — Но то, что было в те годы, человеческому уму постигнуть трудно. Можете ли вы представить человека, бегущего по долгим лондонским улицам за каретой (где-то у парадного подъезда он увидел, как господин сел в карету, и теперь должен вместе с каретой домчаться до другого парадного крыльца, где господин из кареты выйдет), чтобы открыть дверцу и получить свою монету?» И еще думал Бекетов: «Что переживает Михайлов, глядя на тот же Лондон, где годы и годы он прожил на положении гонимого, а потом вернулся в этот город послом? Наверно, и у него есть минуты, когда ему хочется пройти по улицам своей юности.

Каким видится ему то лютое время, и кажется ли оно теперь лютым?.. А может быть, все горькое ушло и остались только зримые острова доброго, редкие, но зримые?.. Ведь, согласно известной формуле Михайлова, доброе дело имеет способность долго жить».

Итак, они ехали к Бивербруку.

— Кажется, у Горького, в его воспоминаниях о Толстом... Ну, знаете, когда они идут с Толстым где-то в Крыму и Толстой видит женщину, работающую на огороде... Вы помните, что говорит Толстой?

— Что-то о физическом здоровье русских аристократов, Николай Николаевич.

— Именно о здоровье... Не могу припомнить всей фразы, нет, не потому, что она груба, отнюдь! В общем смысл толстовских слов: если бы не мужицкая суть и не ее бы богатырская сила, захирело бы голубое древо русского дворянства, высохло бы от корней до кроны... Нечто подобное хочется сказать, когда речь идет о Бивербруке...

— Бивербрук и.. мужицкая могучесть?

— Именно! Эти лорды из плебеев, к которым принадлежит и Бивербрук, в сущности, явились той силой, которая дала жизненные соки голубому древу английской аристократии. Кстати, я вам рассказывал о своей первой беседе с Бивербруком?

— Нет, Николай Николаевич, но обещали рассказать. — Бекетов знал, дорога и прежде использовалась Михайловым для обсуждения каких-то аспектов предстоящей встречи.

— Когда в Москве начался знаменитый процесс «Лена-Голдфилдс»<sup>1</sup>, никто так зло и грубо не атаковал меня, как дружная стая Бивербрука... Прежде всего «Дейли экспресс». У Бивербрука было достаточно оснований полагать, что подобное не просто забыть или тем более простить. Может, поэтому, когда у него возникла необходимость в контакте с советским послом, он должен был отрядить гонцов, наказав им едва ли не стучать лбами об пол!.. В общем, это была клас-

<sup>1</sup> «Лена-Голдфилдс» — акционерное общество, учрежденное в начале века в Англии для эксплуатации золотых приисков на Лене. В 1925 году по концессионному договору, заключенному с правительством СССР, предприняло добычу золота в Сибири, на Урале и на Алтае. Ввиду невыполнения англичанами принятых на себя обязательств, правительство СССР расторгло с «Лена-Голдфилдс» договор.

сическая челобитная. Явился гонец от Бивербрука и сказал приблизительно следующее: «Лорд Бивербрук хотел бы с вами встретиться, он готов инициативу этой встречи взять на себя и с этой целью пригласить вас к себе... ну, хотя бы к завтраку. Однако прежде чем отважиться на это, он хотел бы знать, примете вы его приглашение?..» Как ни грубо было поведение почтенного лорда, в мгновение ока все было если не забыто, то отодвинуто на второй план. Разумеется, личные обстоятельства имеют значение и для посла, но в несравненно меньшей степени, чем для всех остальных. Представляя страну и разговаривая от ее имени, посол должен быть готов обуздать собственное честолюбие. Нечто подобное потребовалось от меня. Короче, в условленный час мы сидели с Бивербруком за столом. Вдвоем. И были взаимно радушны. Больше того — доброжелательны. Как будто у русских не было конфликта с «Лена-Голдфилдс» и дружная стая газетных борзых не лаяла на советского посла. Как будто никогда лорд Бивербрук не науськивал эту стаю, не говорил ей: «Ату!» Я-то знал, что он науськивал, не мог не науськивать, обязательно науськивал. И тем не менее мы были взаимно доброжелательны. То, что он мне сказал в то утро, в сущности, ничем не отличалось от того, что сказал мне за год до этого Черчилль, и это было знаменательно. В высшей степени знаменательно!.. С тех пор как в Европе появился Гитлер, фронт наших недругов, столь монолитный со времен русской революции, дал трещину. В Великобритании первым спохватился Черчилль, вторым, пожалуй, Бивербрук... Я имею в виду самых крупных наших ненавистников, так сказать, ненавистников с заслугами, на которых годы и годы держался английский антисоветизм. «Я понимаю, что главный враг Великобритании сегодня — гитлеровская Германия. Возможно, после поражения Германии дело будет по-иному, но все это не скоро. А пока мы друзья, и я готов служить этой дружбе, как готов служить Великобритании. Я не боюсь сказать: Великобритании, не России!» С той поры прошло шесть лет, но Бивербрук гшательно и точно соблюдает слово, данное им в то утро. Я скажу больше: среди англичан нет более корректного нашего партнера, чем лорд Бивербрук. Впрочем, сейчас вы в этом убедитесь...

Автомобиль подкатил к подъезду министерства.

— Вы дипломат по образованию или опыту?.. — спросил хозяин заинтересованно Бекетова. — А кем были прежде?.. Педагогом? Инженером-строителем?.. Представляю, какую великолепную профессию вы променяли на дипломатию!.. Я человек практического дела, и для меня создание гидростанций, например, да еще на великих русских реках, нечто более величественное и современное, чем дипломатия!.. В самом деле: как далеко дипломатия продвинулась за последние пятьсот лет?.. На дюйм!.. А строительство гидростанций?.. Нет, не за пятьсот лет, разумеется, а за пятьдесят... Эра! Я так думаю: великолепная мысль — глобальная карта энергетики!.. Так, чтобы одним движением рычага направлять реки электричества из одного конца планеты в другой!.. — Он даже покраснел — он был человеком увлекающимся, он мог себя заставить увлечься. Что для него строительство гидростанций, а вон как накалил себя, вон как зажегся... Он посмотрел на небо за окном, оно было ярко-синим, не лондонским. — А ведь с тех пор как у Гитлера возник восточный фронт, мы можем смотреть на небо спокойно...

В небольшом теле Бивербрука, как заметил Бекетов, был заряд энергии на трех великанов, и ему стоило усилий эту энергию укротить. Окруженный целым сонмом секретарей и помощников, которых Бекетов увидел в комнате рядом, он всех держал в состоянии постоянно вертящихся колес большой машины, его энергии хватало, чтобы зарядить машину на дни и ночи непрерывной работы. В нем и в помине не было того, что в представлении русского человека отождествляется с традиционной английской сдержанностью, — он смеялся, когда ему хотелось смеяться. Хозяин встретил русских весьма радушно, быстро и с явным удовольствием симпровизировал меню легкого ленча (время близилось к двенадцати), который просил сервировать в комнате рядом.

— Наши корреспонденты в Москве сообщают сегодня о поездке под Смоленск. Их пророчества невеселы: немцы не хотят зимовать в открытом поле и еще до холодов навяжут русским сражение... В общем, они хотят обосноваться на зиму в московском отеле, разумеется, с видом на Кремль... Кстати, порекомендуйте

и мне хороший московский отель с видом на Кремль...

— Ну хотя бы «Националь», — смеясь, сказал Бекетов.

— Попрошу забронировать мне апартаменты именно в этом отеле, я хочу взглянуть из его окон на Кремль до немцев, — засмеялся Бивербрук и покатился по комнате. Он был не толст, упруго-крепок. — Если я бронирую этот отель, наверно, у меня есть уверенность, что я там не встречу немцев.. Как вы полагаете?

Он задумался, — очевидно, поймал себя на мысли, что в этот раз юмор его не очень весел.

— Я еду в Москву и, естественно, тщательно подготовился к разговору по главному вопросу: наша помощь русским, точный перечень материалов, которыми мы можем помочь... Но, быть может, есть какие-то другие вопросы... Как вы полагаете?

Зазвонил телефон, зазвонил впервые. Бивербрук задвигал бровями.

— Э-э... Я же просил меня не соединять! — Он взял трубку, недовольно хмыкнул, услышав голос. — Мистер Крэгг, но я же просил звонить вас в два часа, а сейчас всего час тридцать!.. Я не заставляю себя ждать, мои сто двадцать строк будут у вас минута в минуту... Мистер Крэгг, вы человек новый и недостаточно осведомлены — газета никогда не опаздывала по моей вине! — Он вернулся к столу, улыбнулся — Крэгг не испортил ему настроения. — Быть министром и не оставлять своих редакторских обязанностей, наверно, не просто!.. Но как говорят в моем мире: «Ничего не поделаешь — газета должна выходить!»

Они сидели сейчас за столом, накрытым белой скатертью, и на плоских глиняных тарелках дымилось жаркое.

— Вы очень хорошо сделали, господин министр, подготовившись к обсуждению проблемы поставок. Это действительно для нас сегодня насущно... — произнес Михайлов, двигая тарелку, но не притрагиваясь к еде. — Хорошо и то, что вы запаслись точным списком товаров, — он тронул теперь вилку и нож, но все еще не приступил к трапезе. — Все это в высшей степени важно для сражающейся России, но, может быть, еще более важно другое...

— Я вас слушаю, господин посол...

Михайлов взял салфетку и принялся ее заправлять за борт пиджака. Он делал это с той неторопливостью и тщательностью, которые отличают каждое движение человека основательного и должны подчеркнуть значительность того, что он намерен сказать.

— Я говорю, более важно другое: проблема большой десантной операции союзников на континенте... Второй фронт.

Бивербрук, принявшийся было заправлять салфетку, положил ее на стол.

— Вы полагаете, что положение настолько серьезно, что немцы могут... срубить... русское дерево?

Михайлов коснулся кончиком вилки жаркого. Он явно хотел отвести взгляд от глаз Бивербрука — затененные густыми космами бровей, они не стали от этого менее острыми.

— Очевидно, немцы строят свой расчет на этом... Пожалуй, даже сегодня больше, чем вчера.

Бивербрук трудился сейчас над куском жареной говядины. Говядина была сочной, однако нож Бивербрука точно затупился, он плохо резал.

— С тем, чтобы потом бросить все силы на Британские острова и решить исход войны?

— Так мне кажется, — ответил Михайлов спокойно. Разговор обрел устойчивость, и оснований для волнения не было. — В этом случае Великобритания может потерять все. — Казалось, вместе с душевным равновесием Михайлов обрел и аппетит: он обложил жаркое листьями салата, сдобрил его подливкой. — Риск высадки на континенте не является для Британии вопросом жизни и смерти. Риск поражения русских равносильен для Британии гибели... Все достаточно ясно.

Бивербрук приготовился было ответить, но вдруг услышал шум автомашины, доносившийся из открытого окна. Он встал с завидной легкостью, быстро подошел к окну, не сказал — воскликнул:

— Господин посол, вот как раз об этом грузовом каре я говорил вам!.. Подойдите, пожалуйста, и вы, господин... Бекетов, только быстрее, прошу вас! Видите, как он разворачивается, а как он подвижен, несмотря на свои размеры! Не правда ли, великолепная машина!.. По мысли конструкторов, грузовик для пере-

возки гражданских грузов, по нашему мнению — военный грузовик, только надо чуть-чуть поднять и поставить дополнительную пару ведущих колес!.. Кстати, незаменимое средство доставки газет в провинцию! Пятьдесят таких машин могут сделать чудо: два часа — и «Дейли экспресс» в Оксфорде, еще час — и в Стратфорде!.. — Он оглядел своих гостей, развел руками: — Простите, но я еще и редактор!.. Он вернулся за стол, задумался. Не просто переключиться от грузовика ко второму фронту. — Как вы знаете, я защищаю идею второго фронта, — произнес Бивербрук, глядя на Михайлова. — Но своей победой под Ельней вы затруднили мне борьбу и вооружили моих противников... Мне говорят: «Вот видите, русские не так слабы, они протянут и без вас!» Дай бог побеждать вам и впредь, но каждая ваша победа затрудняет мою борьбу за открытие второго фронта. Диалектика, не правда ли? Вот вы победите под Москвой и лишите меня последних шансов, а?

Бекетов думал: он сложнее, чем мы думаем. Его образ мышления, система анализа, сам подход к фактам лишены шаблона, чужды догмы, в конце концов. Однако как решит Михайлов задачу, которую поставил перед ним Бивербрук?

— А по-моему, каждая наша победа ослабляет Гитлера, требует от него переброски новых сил на восток, а следовательно, облегчает высадку десанта, делает это предприятие делом верным.

Бивербрук рассмеялся.

— Да, вы по-своему правы, господин посол!..

Пришел секретарь и сказал, что звонит Канада. Бивербрук просиял.

— Вы слышите, Канада!.. — засмеялся Бивербрук. Этот звонок воодушевил его. — Вы заметили, чем выше поднимается человек по жизненной лестнице, тем он кажется его землякам ближе. А потом наступает момент, когда они жить без него не могут, не так ли?.. Я иду, иду! — закричал он секретарю, однако, покинув комнату, оставил дверь за собой открытой. — Нет, нет, для меня... материнская земля! (This is my mother land!) Я говорю: плох тот сын, который не кормит мать!.. Мне нужен хлеб! Я должен кормить Британию!

Он вернулся повеселевший. Ему очень хотелось сде-

лать гостей участниками разговора, который только что произошел, именно поэтому он и оставил дверь открытой.

— Черчилль говорит: «Нет, с канадцами будешь иметь дело ты, и хлеб будешь просить для Великобритании ты... Ох и скряги они, эти твои чертовы канадцы, как и подобает деревенским богатеям...» Наверное, он прав: они считают меня своим, и мне с ними легче разговаривать...

— Но хлеб вы добыли?

— Да, конечно... А по этой причине, как видите, весел и добр, как новорожденный...

Михайлов улыбнулся.

— Тогда обещайте сохранить это до Москвы...

— Сохраню, сохраню... — подхватил Бивербрук. Он действительно был сейчас в отличном настроении.

## 19

Две комнаты посольства, выходящие в сад, занимал отдел культурных связей и прессы, который отныне возглавлял Бекетов. Одна комната была чем-то вроде кабинета Бекетова, другая — референта Изосима Фалина. На следующий же день по приезде Бекетова в Лондон Михайлов провел Сергея Петровича в его рабочие апартаменты, познакомил с Фалиным.

— Фалин работник точный и усердный, — сказал Михайлов. — Все интересы у него здесь, в посольстве, и я это весьма ценю... Знает язык и при желании мог бы его применить с большей пользой.

Бекетов увидел человека лет тридцати четырех — тридцати шести, который, протянув ему большую, но неожиданно легкую руку, взглянул почти кротко и улыбнулся. У него было серое лицо и темно-карие глаза, как показалось Сергею Петровичу, внимательные. Он ходил почти неслышно, был нетороплив, а в жестах спокойно-вял. В его кабинете все было на своих местах, однако то, что понадалось на глаза, не свидетельствовало о кипучей деятельности. Хотелось думать, что сам человек интереснее, чем работа, которую он делает. Где-то в его характере выпало одно звено, только одно — способность увлечься. Бесценное звено, которое незримо связывает человека с делом. Так думал Бекетов в первый день знакомства с Фалиным, но ду-

мал, естественно, втайне. Они, эти наблюдения, завладели им вдруг и могли быть ошибочны. Но одно было несомненно и в этот первый день: Фалин заинтересовал Бекетова, и Сергей Петрович ждал разговора с ним.

— Что могу сказать о себе?.. Кончил институт на Остоженке, был там председателем профкома три года, а потом вот... заграничная работа... Биография плоская, как стол: никаких проступков, но зато и никаких доблестей, — закончил он едва ли не радостно. — Прежде стыдился, а потом привык. Зауряд-дипломат. Скажу откровенно, я доволен, что вы приехали.

Бекетов не мог сдержать улыбки.

— Почему довольны? Ведь вы же меня не знаете.

Вопрос Фалина не смутил, но, прежде чем ответить, он долго думал.

— Вот меня пригласили в Москве куда следует и сказали: мы тебе доверяем, Изосим, поезжай и работай. Приехал сюда, те же слова: мы доверяем вам, Изосим Иванович, работайте... Вы только представьте себе: привезли в Лондон и говорят «доверяем», а у меня сердце от страха переместилось из левого бока в правый. Сказать «доверяем» — это еще не все. Надо всегда руководить мною. Я привык, чтобы мною руководили!.. Вот в профкоме, на Остоженке, там дело другое, там руководили мною повседневно...

— А здесь, Изосим Иванович, вас так и оставили на произвол судьбы? — засмеялся Бекетов.

— Нет, посол внимателен к моей работе, про посла ничего не скажу... Но ведь надо совесть знать!.. У него и без меня дел много, не пойдешь к нему по мелочам!..

— А по мелочам к нему не надо, Изосим Иванович!..

— Но ведь мелочь мелочи рознь, Сергей Петрович, и потом... Как война началась, тут такие масштабы работы!.. С утра до ночи звонят, требуют материалов о России! — Он приподнял плечи, губы сложились в трубочку. — Дай им о русских хорах, о Палехе и Кубачи, о кавказских Минеральных Водах и, разумеется, о балете!.. А тут одна психопатка третий день одолевает: «Я прочла, что русские вывели белый огурец, кисло-сладкий, нельзя ли семена!» — Он закрыл глаза, вздохнул. — Вот умри, а достань ей белый огурец, иначе она богу душу отдаст... Вы говорите, посол. Ну,

не пойдешь к послу с белым огурцом, а ответить ей надо.

— С белым огурцом к послу не надо, — сказал Бекетов.

— И потом: мне требуется прессу читать. Какой же я, простите меня, оперативный работник, если я прессы не читаю. Ведь завтра на приеме лорд Девис спросит меня: «Мистер Фалин, а что вы думаете о школьной реформе в Шотландии?» Тут молчком не отделаешься, тут отвечать надо по существу... Надо ответить?

— Надо, Изосим Иванович.

— А как же я отвечу, если я газет не читаю?

— А вы читайте.

— Но ведь и работать надо?

— Несомненно.

— Тогда как же?

Бекетов не ответил. Он внимательно смотрел на Фалина, тот точно так же внимательно смотрел на Бекетова, без признаков робости, без недоумения.

— Кстати о Шотландии, — сказал Бекетов. — Я условился с послом о поездке в Эдинбург и Глазго. Я выеду послезавтра...

— Так просто... возьмете и поедете?

— Да, разумеется.

— Один?

— Да, а что?

— Нет, ничего.

Но Бекетову показалось, что Фалин недоумевал. Чего-то не понял, что-то хотел спросить и не спросил.

— Сергей Петрович, у меня к вам просьба, — сказал Фалин, когда Бекетов собрался уходить.

— Да, пожалуйста.

— Моя жена, Анна Павловна, и я хотели пригласить вас к себе.

— Ну что ж, рад.

— Спасибо.

Фалин жил в двух шагах от посольства. Трехкомнатная квартира, светлая и сухая, с окнами на Гайд-парк. Квартира кажется светлее от крахмальных скатертей и занавесок, вышитых работящими руками Анны Павловны, жены Фалина.

— Только и названье, что живу в Лондоне, а хожу,

как в лесу, по одной стежке: из дома на работу и обратно. Да только ли я?.. У всех лондонцев одна тропа, хотя никто из них и не признается. Больше того, очень горды, что живут в Лондоне. А чем их лондонская тропа отличается от тропы в какой-нибудь деревушке под Брайтоном?.. Только и разница, что одна выстлана камнем, а другая продирается сквозь терновник и колючую акацию...

— Так вот и бегаєте, Изосим Иванович, из одной крепости в другую? Из той, что выстлана красным деревом, в ту, что убрана крахмальным полотном?..

— Так и бегаю из деревянной в полотняную, и все по одной тропке, по одной, а кругом Лондон!..

— А кто вам мешает отклониться от тропы? Возли бы и отклонились... Хотите, я дам вам такую возможность? Поезжайте в Стратфорд... Да, кстати... взгляните в Виндзор и Оксфорд, это по дороге.

Фалин молчал.

— А мне посол говорил, что вы не робкого десятка, Изосим Иванович... Ходит слух, что во время последней бомбежки спасли вот этот дом от зажигалок.

Фалин вздохнул.

— Это другая храбрость, Сергей Петрович.

Анна Павловна пригласила Бекетова к столу. В крахмальном передничке, гладко причесанная, с безупречно ровным пробором посередине, была она строга и малоречива. Рядом сидела дочь Фалиных Анна, такая же строго-печальная и малоречивая. Мать сказала, что Анна в прошлом году пошла в английскую школу. Первое время ей трудно было с языком, но потом обошлось, сейчас она успевает.

— А как ее русская грамота? — спросил Бекетов.

— Ответ Сергею Петровичу, как твой русский, — сказала Анна Павловна дочери.

Девочка покраснела.

— Со мной занимается мама.

— Я не ошибся, Анна Павловна, вы педагог? — спросил Бекетов.

Теперь пришел черед краснеть маме.

— Ошиблись, я библиотечкарь. Работала в Тургеневской читальне у Чистых прудов.

— У нас в посольстве большая библиотека? — спросил он.

— Хотелось бы, чтобы она была больше, — ответила она.

— Ну что ж, это, наверное, зависит от нас? — спросил Бекетов.

— Да, конечно, — согласилась она.

На обед были щи, мясо с жареной картошкой, яблочный пирог. Все вкусное, всего много.

— Вы добрая хозяйка, Анна Павловна, — сказал Бекетов Фалиной, и слова эти, как показалось ему, не столько обрадовали ее, сколько мужа.

— Сергей Петрович, если вы надумаете сделать жене подарок, скажите, Аня вам поможет, — сказал Фалин, осмелев. — Тут есть такой пан Рудковский, — он засмеялся очень искренне. Было не очень понятно, почему фамилия пана Рудковского повергла его в столь веселое настроение. — В некотором роде фигура популярная!.. А ведь предприимчивость — это ум!.. Пан Рудковский говорит по-русски, и к нему идут все русские! Но они идут к нему не только потому, что он говорит по-русски, — у пана Рудковского все лучшего качества, при этом цены божеские. Настолько божеские, что возникает страх: да не разорится ли пан Рудковский и не явимся ли мы причиной его разорения? Я наблюдаю его уже три года — не разорился. Больше того, сколотил капитал, какого не имел прежде. В чем дело? В расчете... Пану Рудковскому есть расчет продавать товары высокого качества и при этом не втридорога — русским нравится пан Рудковский, и они охотно идут к нему, а их немало. Если каждый из них даст небольшую прибыль, в общем составит значительная сумма и пан Рудковский выиграет... Его сосед прогорит, если будет торговать по дешевке — десяти покупателям продавать невыгодно, пятидесяти — выгодно! Вот и судите, предприимчивость — это ум!

Пока Фалин рассказывал, Анна Павловна стояла поодаль, смутившись. Она явно не знала, как принимать рассказ мужа.

— Если возникнет такая необходимость, Аня вам поможет, — закончил свой рассказ Фалин и взглянул на жену. Она едва заметно кивнула головой.

Бекетов шел к себе, думал: «Да понял ли я Фалина, человека толкового и, очевидно, храброго, но, как он сам признался, храброго не до конца?»

К Бекетову явился полковник Багрич, военный дипломат.

— Простите за вторжение... Мне сказал о вашем приезде посол. Рад познакомиться. Полковник Багрич Артемий Иванович. С вашим предшественником мы были дружны. Если вам будет скучно, готов быть вашим спутником в вечерних прогулках по Гайд-парку... Из опыта трехлетней жизни в Лондоне знаю: одному чужбину не победить, вдвоем куда ни шло...

Полковнику Багричу лет шестьдесят, однако он худ, подобран, быстр в движениях, да и лицом моложав, смугл, его маленькие, на английский манер усы едва тронула седина.

Бекетов сказал, что рад и готов воспользоваться любезностью Багрича хотя бы сегодня. Они условились, что полковник зайдет за Сергеем Петровичем в семь.

Багрич был точен. Они вышли из посольства и через пять минут оказались в Гайд-парке.

Был тот предвечерний час ранней лондонской осени, розоватой от легкой мглы, теплой, когда яркая трава парка отдана собачьему царству Лондона. Тяжело храпя и посапывая, осторожно встряхивая жирком, пытаются бежать пинчеры, бульдоги и таксы, однако бегут рывками, часто останавливаясь и глядя унылыми глазами на небо, — бежать трудно, не пускает заросшее жиром сердце.

Посыпал дождь, потом перестал. Темные стволы дубов и вязов были недвижимы.

— Что сообщила Москва утром? — спросил Бекетов.

— Бои местного значения, действия разведчиков... Да в действиях ли дело, Сергей Петрович? — неожиданно остановился Багрич.

— Я вас не понимаю, Артемий Иванович.

— В отсутствии действий, в тишине.

— В тишине перед бурей, Артемий Иванович?

— Пожалуй.

Сейчас они шли боковыми аллеями парка, что обнимали парк со стороны посольства, здесь было и зеленее, и безлюднее.

— Я так понимаю задачу, — воодушевленно заго-

ворил Багрич. — Мы еще морально себя не перебороли после июньской катастрофы. Не только армия — народ... Лишь победа рождает веру, а вместе с нею обновление сил, — он взглянул на небо и, увидев темную крону, которая зеленой тучей распласталась над дорожкой, пошел быстрее. — Ельня — это еще не победа, и конный рейд по тылам — не та победа, о которой я говорю. Нужен стратегический успех. Его не имела еще ни одна армия в борьбе с немцами...

— Но то, что сделали наши в эти три месяца... тоже не имела ни одна армия! Молниеносной войны не получилось, — заметил Бекетов.

— Вы говорите со мной так, как будто бы я не профессиональный военный. Со мной нельзя так.

— А как надо с вами, Артемий Иванович?

— Как со мной говорить? Без прикрас — правду, — быстро парировал Багрич. — Вы говорите, не получилось молниеносной войны. Да, не получилось. Народ ничего не воспринимает безотносительно, он все соизмеряет. Наши потери едва ли восполнимы — в живой силе, технике, в территории, наконец... Немцы завладели украинским хлебом, рудой, углем... Это потери, равные катастрофе.

— Это еще не катастрофа, Артемий Иванович. Катастрофа — это смерть.

— Чтобы понимать, как это серьезно, надо, как я, просидеть в Мазурских болотах четырнадцать месяцев, а потом на карачках по карельским камням, поросшим ледяной корой...

— Но какой вывод из всего этого следует, Артемий Иванович?

— Для себя я сделал вывод: мне надо быть сейчас не здесь, а там... — Он поднял глаза. Над их головами было небо, все еще дышащее теплом и тишиной. — А вот какой вывод сделает Россия...

— Какой вывод, Артемий Иванович?

Багрич вздохнул, провел быстрой рукой по щеке.

— Вы знаете, почему я пришел к вам сегодня днем?.. И почему пригласил вас сюда?.. И почему заговорил с вами вот так, напрямик, как не говорил ни с кем, даже с вашим предшественником, хотя считал его человеком порядочным? Знаете, почему?

— Разумеется, нет, Артемий Иванович.

— Я знал младшего Бекетова, скажу больше, был с ним дружен.

— Саню?

— Да, Александра Петровича... Его дивизия стояла рядом с моей... А летом мы были в одних лагерях... Он тогда еще получил нагоняй от командующего за скакуна, которого купил в ростовском цирке и потом пригнал в лагерь... Помните?

Бекетов смотрел на Багрича, чувствуя, как наращивает удары сердце, ударяя в горло, в горло, — того гляди задохнешься... Багрич знал Саньку, он наверняка знал Саньку, если вспомнил эту рыжую кобылу из ростовского цирка, о которой потом в бекетовском доме вспоминали годы и годы, он знал Саньку... Мать родная, случится же такое.. Вот здесь, посреди Лондона, в Гайд-парке, вдруг возник брат со всей своей веселой и трагической судьбой.

— Помню его необыкновенный доклад, который он сделал в лагерях для старшего комсостава... о взаимодействии в современной войне, доклад, который по уровню стратегической мысли... явился откровением и для нас, старых вояк. — Он остановился, вздохнул, вздохнул немом, закрыв глаза. Видно, и его сердце ударило в горло.

— В общем, он мог бы стать нашим, советским теоретиком войны, при этом, я так думаю, покрепче Мольтке-старшего! Он был, — Багрич вздрогнул, взглянул на Бекетова, на его опущенную седую голову, на его потемневшее в сумерках лицо, на его плечи, которые неожиданно опустились. — Понимаю, когда война, военные должны воевать, но Александра Бекетова я бы не бросил на карельские камни, а поберег бы для большой войны. Сегодня бы ему цены не было! Итак, нужна победа, которая даст силы... Но ведь одни солдаты, какими бы они ни были храбрыми, победу не принесут... Нужен командир, при этом командир, умеющий организовать войско, способный мыслить современно...

— Вы полагаете, что у нас таких командиров нет?..

— Они есть, но их мало.

— Они будут, Артемий Иванович.

— Будут завтра, Сергей Петрович, а нужны сегодня.

— Какой же выход из положения?..

— Какой выход?.. Вы спрашиваете, какой выход?— Он остановился, опершись ладонью о ствол дерева, измерил дерево взглядом, точно спрашивая его: «Какой же выход?» — Вот вчера приходит ко мне седой господин в меховом жилете и полусапожках, ни дать ни взять гонец из того века. «Простите, вы полковник Артемий Багрич? — спрашивает по-русски. И голос грудной, каждое слово дышит... породой.—Честь имею: генерал от инфантерии... князь Кирилл Оболенский. Мне стало известно, что вы аккредитованы, так сказать, в качестве советника при военном атташе... Сказали и то, что вы были офицером армии его императорского величества, а затем... В общем, мы, наверно, сражались друг против друга в Таврии, а затем на крымских высотах. Я пришел не с повинной и не с челобитной. Мы были врагами и остались оными. Но мы русские. Поэтому, может быть, мы в состоянии помочь Руси в ее нынешней судьбе... Короче, мне известно, что в силу разных причин, в исследование коих не вхожу, русская армия испытывает нужду в командных кадрах... Поэтому имею честь предложить: послать гонцов по всему белу свету и собрать старое русское офицерство, поставив его во главе полков и дивизий и двинув оные против Гитлера. Не требуя покаяний, не навязывая им своей веры, не оскорбляя недоверием, осенив их добрым дедовским стягом: «Россия!» Что вы имеете сказать мне в ответ, полковник Артемий Багрич?»

Спутник Бекетова умолк, окинув парк кротким взглядом. Смеркалось, в окнах домов, которые были видны из-за деревьев справа, зажглись огни.

— И что же имел сказать полковник Артемий Багрич? — спросил Бекетов.

— Я ответил ему почти стереотипно: «Хорошо, я сообщу о вашем предложении по начальству и дам вам ответ по адресу, который вы мне оставите».

— Этим вопрос был исчерпан?..

— Для него, по крайней мере.

— А для вас?

— Для меня нет. Я подумал: «Ставить во главе наших полков... денкинцев и красновцев?.. Нет!.. Но кликнуть клич по России и собрать кадры старых офицеров, независимо от возраста и, смею так думать, взглядов, учесть их, призвать и поставить их в соответ-

ствии со старым званием и должностью... по-моему, в наших интересах. — Он не без любопытства взглянул на Бекетова, ожидая ответа, ему важно было мнение Бекетова. — Скажу больше, старое русское офицерство лучше, чем мы о нем думаем. И порядочность, и верность воинскому долгу, и хорошая профессиональная выучка. Каменев и Шапошников — не гордые одиночки. К тому же борьба с иноземным врагом для них неравнозначна гражданской войне. Простите, я так думаю. А как думаете вы?..

Бекетов молчал. То ли вопрос был непрост, то ли резким ответом боялся обидеть собеседника.

— Как полагаете вы, Сергей Петрович?..

Бекетов свернул на боковую тропку, как бы давая понять, что намерен закончить прогулку.

— Не означает ли все это, что мы должны... призвать белую гвардию?.. — спросил он не столько Багрича, сколько себя. — Нет, этого делать не надо... Речь идет ведь не просто о России...

— А о чем?..

— О Советской России, — ответил он. — С помощью белой гвардии мы ее не спасем, да в этом и нет нужды...

— Есть нужда, Сергей Петрович... Гнев против немца — великая сила. Но одним гневом немца не сразишь — нужна армия...

— Но ведь она есть у нас, Артемий Иванович, я говорю в этот страдный час: великая армия!

— Великая... Это верно. Но я хочу одного. Хотя бы в час смертельной опасности мы должны смотреть правде в глаза... У нас нет командиров... У нас меньше их, чем надо, — быстро нашелся он. — Июньская катастрофа это не только внезапность...

— Нам надо спасать Октябрь, и мы спасем его, а командиры придут с войной...

— Одной войны мало, нужны войны!.. Даже кровь не способна родить командиров, много крови... Нет опаснее заблуждения, чем вера во всемогущество России. Есть обстоятельства, когда даже Россия лишена возможности добыть победу...

— Да, очевидно, могут быть такие обстоятельства, — произнес Бекетов. — Но то, что происходит на нашей земле сегодня, — иное...

— Июнь сорок первого... иное? — спросил Багрич, спросил, полагая, что ошиб Бекетова с тона.

— Да, даже июнь сорок первого, — спокойно согласился Бекетов. — Вопреки всем бедам июня мы устояли...

Они покинули парк молча.

— Я вспомнил сейчас, Александр Петрович великолепно играл на флейте, — произнес Багрич и, кажется, обрадовался тому, что вспомнил эту деталь.

— Да, Саня играл на флейте, — сказал Бекетов, пожимая руку Багричу и поднимая воротник, точно хотел этим показать, что готовится покинуть спутника.

## 21

Поздно вечером Сергей Петрович вышел в сад и долго стоял во тьме, прислушиваясь, как скрипят мокрые ветви и в желобах позванивает необильный ручей. Он вспомнил свой вчерашний разговор с Багричем и удивился тому, как густо планета испещрена жизненными тропами, много гуще, чем в прежние времена, и как причудливо эти стежки пересекаются. Он стал думать о брате и вспомнил, что последнее письмо от него получил через Якова Бардина. Где-то в Таврии на больших учениях они водили друг против друга танковые корпуса. Тогда, читая письмо брата, Сергей Петрович думал, что Александр не зря увлекся теорией и практикой взаимодействия. Свою старую мечту о труде, посвященном этой проблеме современной войны, он наверняка решил претворить в жизнь. Помнится, Сергей Петрович тут же ответил брату и в шутку назвал его Советским Клаузевицем. На этом переписка оборвалась... А потом приехала Фиса, жена Александра, приехала, покрывшись черным испанским шарфом, как покрывались офицерские вдовы в первую войну, и все норвила показать старую Санькину фотографию. Господи, какой же он был на этой фотографии юный и бесстыдно счастливый в своем чонгарском костюме с клапанами поперек груди и шлемом, который венчал «шпиль». Позже «шпили» на шлемах были почти отсечены.

Бекетов поднял глаза. Посольский особняк был неотличим от темно-стальной глыбы неба, только справа на уровне деревьев пробивалась едва заметная по-

лоска света — очевидно, Бессменный Часовой, как звали в посольстве Шошина, проветривая комнату, неплотно прикрыл окно. Бекетов решил заглянуть к Шошину.

Еще не дойдя до кабинета, Бекетов почувствовал запах табака — это из логовища Шошина. Бессменный Часовой много курил, и дымом его табака было напитано все, что попадало в шошинский кабинет: бумаги, принесенные на подпись, книги, посуда, в которой Шошин держал нехитрую еду. «От вас несет угаром, будто вы побывали в дымовой трубе или в... кабинете Шошина», — сказала однажды Бекетову одна из посольских дам. «В кабинете у Шошина», — согласился Сергей Петрович, смеясь. «Сидит там в этом дыму, как в тумане. . . Одно остается — зажечь фары, не ровен час не опознаешь», — улыбнулась дама.

Вот и теперь шошинский кабинет дышал дымом..

— Бодрствует Бессменный Часовой? — спросил Сергей Петрович, входя в кабинет Шошина и разгребая дым. Если не разгребешь, не увидишь Степана Степановича.

Шошин оторвал глаза от газетной полосы (именно оторвал — Шошин был близорук), буркнул угрюмо:

— Да, бодрствую... Вот статья о советской артиллерии для утреннего выпуска... — Он назвал газету. — Сейчас должен быть курьер.

— Я на минутку, Степан Степаныч, — сказал Бекетов, осторожно прикрывая створку окна.

— Простите, Сергей Петрович, я не об этом... Я рад вам... — быстро поднялся Шошин, однако газетной полосы из рук не выпустил. — Одичаешь в этой ночи.

— Ну хорошо, дочитывайте, дочитывайте, а я подожду. Курьера действительно неудобно задерживать, — произнес Бекетов, опускаясь в кресло напротив и разворачивая газету.

Шошин схватил с пепельницы сигарету, которую, видимо, положил только что, попытался раскурить, но, убедившись, что она погасла, бросил и заученным движением потянулся за следующей, но при этом не отнял глаз от газетной полосы — он продолжал читать. А Бекетов держал перед собой газету и краем глаза смотрел на Шошина. Какими ветрами занесло Шошина сюда и какими удержало?.. Посол говорил, что Шо-

шин — газетчик, газетчик по призванию, отдавший большой столичной газете едва ли не тридцать лет жизни. По словам посла, он пришел в газету мальчиком, многие годы работал репортером отдела городской хроники, не без труда одолел английский. Так тридцать лет из ночи в ночь. Нет, это не была служба, исправная и холодная, это было творчество. В эти годы полуночных бдений Шошин постиг все премудрости газеты: писал аналитические «подвалы» и десятистрочную хронику, двухколонные корреспонденции и передовицы, а если надо, становился у кассы или у талера, набирал и верстал свои полосы... Как ни тяжел был этот труд, Шошин был убежден, что никакое другое дело не даст ему такого удовлетворения. Во веки веков сохранил суровый нрав и непримиримость ко всем и всяческим подлостям, но и сберег способность радоваться. И то сказать, что этот немолодой человек, малоречивый и хмурый, мог прийти в восторг и залиться безудержным смехом, когда удавалось напечатать нечто такое, что было недоступно газете, с которой конкурировала шошинская... «Вот это мы им вставили фитиля!» — кричал он пуще всех. Сколько он себя помнит, его газета жестоко конкурировала с другой столичной газетой, стремясь «обскакать» ее или, как нередко говорил сам Шошин, «тихо обойти на повороте». Некогда редакции этих газет находились рядом и звали друг друга соседями, но с тех пор прошли годы. Ныне от одной редакции до другой — версты, однако прежнее имя осталось: «Соседи». Положить живот, но обскакать «соседей» — девиз Шошина. Случалось, Степану Степановичу внушали: мол, конкуренция — удел прессы буржуазной... Он соглашался, но стоял на своем. Шошин почитал за доблесть заставить своих корреспондентов добыть материал, какого «сосед» не имеет. Как ни тяжела была минувшая ночь, но, едва продрал глаза, Шошин брал свежий номер газеты «соседей». Он знал, его самочувствие сегодня зависит от того, какой он найдет эту газету. Нередко «соседи» повергали Шошина в уныние, он мрачнел, никуда не звонил, заполняя квартиру клубами дыма... Но бывало и по-иному: он срывался с места и, схватив телефонную трубку, звонил... Кому? Ну, это было не столь важно, главное, чтобы было произне-

сено то, что хотел произнести Шошин: «Нет, нет.. Вы обнаружили, какой мы им вставили фитиль?.. Только подумайте, какой фитиль?!»

Иногда Шошин звонил в отдел печати Наркоминдела, и это всегда было событием для газеты: «Шошин опять говорил с Наркоминделом, они не советуют...» Справедливости ради надо сказать, что Шошину нравилось звонить в Наркоминдел, нравилось с тех далеких чичеринских времен, когда он мог позвонить в поздний полуночный час наркому и повторить вслед за ним: «Мы, Георгий Васильевич, совы — наш глаз обрел способность видеть ночью. Вот тут Рейтер сообщает... Да похоже ли это на правду?» Он был тщателен в нелегком своем труде, любил себя проверить... Однако когда до него дошел слух, вначале глухой, потом все более определенный — Наркоминдел приглашает его на работу, — Шошина охватило смятение. Он стал доказывать, что единственное его желание — продолжать работать в газете. Что до дипломатии, то у Шошина нет к ней никакого влечения, а к дипломатам он относится даже весьма скептически, но Шошин поздно поднял тревогу: вопрос был решен. Шошин махнул рукой. Назначили в наркоминдельский отдел печати — подчинился. Послали на полгода в английский доминион — принял безропотно. Направили в Лондон — не возражал, однако неожиданно для себя обнаружил: чем-то его новая работа напоминает старую. Так или иначе, а он нынче вел отдел прессы посольства. Встречался с корреспондентами. Отвоевывал для советской информации место в лондонской прессе. Старался, чтобы британскую прессу в Москве представили газетчики если не самые знаменитые, то самые честные. На его письменном столе появились рукописи статей (как в редакции), полосы, пахнущие свежей типографской краской (тоже как в редакции). Газеты выходили ночью, и Степан Степанович вопреки возражению посла сказал, что будет работать по ночам. «Если Чичерин принимал ночью иностранных послов, почему я не должен принимать ночью иностранных корреспондентов?» А между тем началась война и работы привалило... Приехал как-то в Лондон старый дружок Шошина, разумеется, газетчик. «Как вы там, ребята?» — «Перешли на казарменное, поставили койки, спим в ре-

дакции...» Шошин хотел было пойти к послу за разрешением поставить койку если не в кабинете, то в соседней комнате, но потом махнул рукой, решил спать на диване... Когда засиживался допоздна, не шел домой, хотя квартира была рядом. Казалось, Шошин втянулся в водоворот дипломатических дел, в какой-то мере почувствовал даже вкус к новой работе. Единственное, что оказалось сильнее его, — собственный характер. Не мог с ним ничего поделаться, был все таким же неуступчивым, нередко грубо неуступчивым. «Шошин — это проблема! — говорил о нем посол. — Просто не знаю, что с ним делать. Решительно не понимает человек, где, когда и что надо говорить. Редкая способность у человека затеять опасный разговор в неподходящем месте... Вот возьмет со стола этот мякиш и ну катать... Катает и говорит дерзости».

И прошлый раз, когда посол представил Шошина Бекетову, Степан Степанович извлек бог знает откуда мякиш и принялся катать. Господи, каких только привычек нет у людей. Говорят, Шошин делал это в минуту волнения:

— Кажется, кончил, — сказал Шошин, подписывая полосу и запечатывая ее в конверт. — Пусть ждет редактор, а не курьер — ему, бедолаге, надо до утра еще пять раз проехать Лондон!.. Этому принципу я и в Москве следовал.

— Вы это говорите к тому, что не намерены поднимать руку на британскую корону, Степан Степаныч?

— Да, разумеется, хотя по складу ума я больше экстремист, чем сторонник умеренных действий...

В коридоре послышались шаги. Вошел Фалин.

— Там курьер пакет требует, — произнес Фалин, указывая на дверь, которую оставил открытой.

— Я уже передал. А вы дежурите?

— Уже отдежурил, — сказал он, прикрывая дверь и опускаясь на край дивана.

— А я подумал: чего это Изосим Иванович в такой поздний час?..

Диван заскрипел — Фалин явно испытывал неловкость.

— Не хотите ли вы сказать, Степан Степаныч, что это удивило вас?

Шошин засмеялся. Разговор с Фалиным снял усталость.

— Сергей Петрович бы, наверно, не удивился, он вас знает мало. Что же касается меня, то я бы удивился.

— Простите, Степан Степаныч, но мне с вами и прежде было нелегко говорить, — Фалин пошел к двери.

— И мне тоже, Изосим Иванович.

Фалин закрыл за собой дверь, наступило молчание.

— И зачем вы его так, Степан Степаныч? — Бекетов взглянул на Шошина, взывая к уступчивости.

Шошин угрюмо смотрел на Бекетова, сминая мякиш. Вновь в руках появился этот мякиш неопределенного цвета. Шошин покатила его ладонью по столу, потом зажал в ладони, потом налепил на ноготь большого пальца, содрал и приспособил к ногтю мизинца, потом переместил на указательный и, неожиданно подняв этот палец, сейчас неестественно толстый, произнес:

— Но ведь это сказал я, а не вы, Сергей Петрович... В какой мере вы отвечаете за мои слова? — произнес он и едва ли не упер в Бекетова уродливый перст.

Бекетов привстал. Как ответить ему?.. Возразить, значит, вызвать его на фразу еще более резкую, оставить без внимания, значит, поощрить на поступки еще более безответственные.

— Я просто полагал, что с товарищем по работе надо говорить в иных тонах, Степан Степаныч.

— А я вас не лишаю такой возможности.

Бекетов протиснулся.

И вновь пришли на память слова посла: «Шошин — проблема... Вот возьмет со стола этот мякиш... Катает и говорит дерзости...»

За час до отъезда на вокзал Бекетов встретил в по-сольском вестибюле Компанейца.

— Сергей Петрович, а что, если я вас провожу?.. Вы ведь не уезжали с вокзала Ватерлоо?..

— Нет, Михаил Васильевич.

— Тогда я провожу.

— Спасибо. Только я зайду на секунду к себе, со-беру со стола бумаги. Не находите ли, Михаил Василь-

евич, что в наших встречах с вами установился известный цикл?

— Ну что ж... С той первой встречи прошло три месяца...

— Да, уже три, Михаил Васильевич.

Три месяца — срок немалый. Достаточный, чтобы узнать и Компанейца. В табели о посольских должностях Компанеец значился первым секретарем. Как казалось Сергею Петровичу, первый секретарь — это исполнительная власть. Он знает, что является сегодня заботой всех посольских отделов, целесообразно организует, учитывает, а нередко и контролирует. Но первый секретарь — не только организаторский талант, но и внимательный и точный глаз, все видящий, все отмечающий, решительно не дающий «просыпаться» ни одной детали... На высоте ли был Компанеец? Как полагал Бекетов, он был хорошим первым секретарем: усердным, точным, наблюдательным. Он, пожалуй, был больше исполнителем, чем аккумулятором идей, но с этим можно было бы и примириться, если бы все остальные были людьми деятельного замысла.

У Компанейца была молодая жена, много моложе его, пышнотелая ростовчанка, которая рожала ему детей и варила борщ. Надо отдать ей должное, и то, и другое она делала хорошо. Существо жизнелюбивое, она тосковала по Ростову, для нее Англия была слишком тиха и, пожалуй, туманна. «Мне не надо столько туманов, Миша! — жаловалась она мужу. — Мне бы ростовского солнца!» Пожалуй, немножко солнца не мешало бы и Компанейцу, но он молчал. Его деятельная энергия заменяла ему ростовское солнце с лихвой. Если бы в Англии было больше солнца, то вряд ли он им воспользовался бы. Ему надо было прочесть столько писем, разослать такое количество приглашений на обеды, завтраки, ужины, которые устраивали по известным поводам посол и советники, встретить и проводить такое количество лиц, поздравить, выразить соболезнование, дружески пожурить и приятельски наставить на путь истинный такое количество англичан и своих соотечественников, что вряд ли ему было до солнца.

Они вошли в кабинет Бекетова, и Сергей Петрович принялся собирать со стола бумаги.

— Михаил Васильевич, не пойму я этого вашего Шошина, — произнес Бекетов, когда бумаги были сложены в ящик письменного стола. — Что он за человек?..

Компанеец засмеялся.

— Он вас еще не успел послать к... цицеру, Сергей Петрович?

— Еще нет, но на пути к этому.

— Ну что ж, тогда вы счастливчик! Он этого еще не сделал с посланцем и с вами. Остальные уже удостоены этой чести.

— Вы... тоже?

— Разумеется, самый первый! И при весьма своеобразных обстоятельствах. Перед Октябрьскими торжествами зарпортовался — надо было надписать семьсот приглашений, а у меня надписана половина. Вот в полночь, когда у меня уже двоилось в глазах, вспомнил, что где-то рядом бодрствует Шошин с великолепным почерком. Почерк у него действительно редкий, говорят, что в этой своей редакции небольшие тексты он посылал в набор без перепечатки. Я к нему: «Степан Степанович, выручите, одна надежда на вас...» Он упер в меня эти свои два утеса: «Знаешь, Михаил Васильевич, поди ты к... цицеру!» Потом я пытался уточнить: «Что такое цицер, к которому он меня послал в ту ночь?» Говорят, в истинном смысле ничего обидного: шрифт, двенадцать пунктов. А в иносказательном нечто грозное. Одним словом, я не хотел бы еще раз быть посланным к цицеру... Вот так... А в остальном он хорош.

— И с тех пор отношения между вами испортились напрочь?

— Ничего подобного, с тех пор мы стали друзьями.

— Это каким же таким манером?..

Компанеец засмеялся.

— А вот каким. Я подумал: дело же не в том, что он меня послал к этому своему... полиграфическому богу, а в том, что он человек настоящий и работник редкий. Поэтому я пошел к нему на другой день и говорю: «Я понимаю, что у вас работы было выше головы. Но ведь вы поймите, у меня тоже был зарез... Поймите...» Он сказал: «Понимаю». На этом и порешили,—

закончил Компанеец, когда они вышли из посольского особняка и направились к машине, стоящей у подъезда.

— Минутку... — остановился Бекетов. — Мне показалось, что я не все бумаги убрал со стола.

Сергей Петрович возвратился в посольство, поднялся на второй этаж. Дверь в комнату Шошина была открыта, дым валил оттуда, как из трубы.

— Степан Степаныч, через полчаса я уезжаю в Глазго, — произнес Бекетов, быстро входя к Шошину. — Вам ничего не надо в Шотландии?

Шошин помахал перед собой распростертой пятерней, разгоняя дым, внимательно посмотрел на Бекетова.

— Нет, ничего, Сергей Петрович.  
Бекетов поклонился.

## 23

Как обычно, в восемь пятнадцать утра наркоминдельская машина была у ворот дачи и Бардин выехал в наркомат.

У него было достаточно оснований для дурного расположения духа. «Все-таки жестокая профессия, жестокая, несмотря на внешний лоск и политес». Одному всевышнему известно, сколько пережил Егор Иванович в эту ночь, но кому в конце концов дело до этого? Он дипломат и должен быть в форме: встреча на аэродроме, визит вежливости, обед, может быть, даже присутствие на торжественном представлении... Разумеется, только сияющий вид, только выражение радушия и праздничности. Именно праздничности, так, как будто ты только что со свадьбы: доволен, полон жизни, больше того, жизнерадостен. И кто подумает, глядя на твой более чем удовлетворенный вид, что именно этой ночью ты проводил сына в такое пекло, из которого... О мать моя родная, как же все это нелегко!.. Бардин взглянул на часы. Половина девятого. Вчера было условлено, что Бивербрук прибывает в одиннадцать. «В одиннадцать ты и сможешь продемонстрировать, как хорошо у тебя на душе», — вернулся он к невеселым мыслям. Кстати, в эти три-четыре дня, как было в июле, в дни приезда американцев, Бардин смо-

жет бывать на Кузнецком лишь по вечерам. Если к Павлу Вологжанину не пожалуют земляки, он сможет оставаться в отделе допоздна. Будет Августа Николаевна рядом — вдвоем выдюжат. Остальные не в счет, им еще надо набраться опыта.

А вот Павел — сила. Как-то вечером, еще до войны, идет Егор Иванович с Кузнецкого и повыше «Метрополия», рядом с Первопечатником, сидит Павел, а подле него вся его большая родня: отец, мать и четыре брата. Хоть и сидят, а видно, что бедово могучи и рослы, колени в подбородок уперлись. Павел не робкого десятка, а тут смутился: «Как-то неудобно на улице знакомиться, да так уж вышло. Знакомьтесь, Егор Иванович, моя фамилия — почти все наши налицо...» — «Как так «почти», разве не все?» — «Нет, Егор Иванович, еще троих недостает», — говорит тот, что помоложе, видно, самый бойкий. «А сколько всего?» — «Осемь». — «Так и... восемь?» — «Осемь, Егор Иванович, — отвечает кудряш, он набрался смелости за всех. — У нас, Егор Иванович, ночи долги, к тому ж мы сырую рыбу едим. Вот меньше и не получается...» Тот что постарше, ткнул кудряша кулаком в бок: «Вот, мол, человеку язык дан на нашу... погибель». А он развоевался — не остановить: «Семь кузнецов, один дипломат... Вот так-то, Егор Иванович».

Бардин любил наблюдать, как работает Павел. Приходил на работу раньше всех, мыл руки (полотенце у него всегда было свое), застилал стол чистым листом бумаги, раскладывал нехитрую еду: кусок колбасы, хлеб, соль (в самодельном пакетике, почти аптекарском), иногда помидор или яблоко. Ел не торопясь, как ест рабочий человек, знающий толк и в работе, и в еде, ел немного, но смачно. Потом закатывал рукава, растирал ладони, как трет их рабочий человек, прежде чем взять в руки молот и трахнуть им по раскаленной добела поковке. Он и словари раскладывал по столу, как рабочий человек раскладывает инструмент: здесь кувалда, клещи, молоток, зубило, гладилка... Он и язык (нет, не только английский — испанский!) осваивал, как осваивает новое дело мастеровой: «Держи кувалду позажимистей, иначе выхватится!..»

Бардин слышал, как с Вологжаниным разговаривала Августа Николаевна. «Эх, Павел, не я твоя жена,

ты бы у меня в министрах ходил!» — «Неужто так в министры и попер бы, Августа Николаевна?» — «Я говорю тебе: в министрах!.. У тебя все для этого: и ум, и хватка, и осанка!» — «Осанка тоже, Августа Николаевна?» — «Именно осанка. С твоей осанкой парады принимать!» — «Да какая уж у меня осанка, Августа Николаевна?» — не сдавался Павел. Осторожно и настойчиво он умел подзадорить Кузнецову — это была ее любимая тема. «Я тебе говорю, Павел! — продолжала Августа. — Вот в главке... по этим металлам... что расположился у Красных ворот, там всех членов коллегии сделали жены. Да, в своем роде высшая инстанция управления — этот самый бабий комитет... Нет, ты только подумай: до того, как заседает коллегия, собирается этот комитет: «Мой Вася, мой Федя, мой, мой, мой...» У одной было три мужа, всех в люди вывела — один почти нарком, остальные в этом роде. Так она говорит: «Дайте мне деревенского избача — министром сделаю!» Пойми, Паша, ты клад, но первым должен понять это ты...»

Что думал Павел, когда слушал речи Августы?.. Пробивная баба или лукавый царедворец в юбке?.. А может, это одно и то же? Павел не мог не видеть, как способна Августа. Неизвестно, когда она учила эти свои языки, но всегда оказывалось так, что она могла быть переводчицей при любом иностранце. Английский? Ну, это не проблема!.. Французский — не велика задача также. Немецкий — никогда не любила, но говорить может. Испанский?.. Достаточно, чтобы говорить по широкому кругу вопросов. Шведский?.. И он не страшен. В наркомате поговаривали, что она знает японский и в нужный момент загворит на нем не хуже, чем на пяти других. Но ведь она была не просто переводчиком. У нее были свой взгляд на вещи, свое представление о делах, свое мнение, наконец. Не мог не возникнуть вопрос: зачем надо быть лукавым царедворцем при таких данных?..

Не раз Бардин слышал: при твоих Павле и Августе мы бы забот не знали, это же комбайн. А действительно, они работали, как подобает людям зрелым, со спокойной и точной уверенностью, когда ничто не вызывает сумятицы, ничто не способно посеять в человеке паники. Стоит ли говорить, что с начала войны

не просто увеличился объем работы отдела — изменилось само место отдела в наркомате. Отдел ведал советско-британскими отношениями. Всегда это было значительно, но насколько важнее это было сегодня.

Разумеется, все, что возникало в ходе непростых отношений с Великобританией, было компетенцией наркома, больше того, правительства. Но многое призван был совершить отдел. Он был своеобразной мастерской этих отношений, мастерской опыта, анализа, точки зрения, в конце концов. Отдел должен был располагать информацией, характеризующей страну, ее общественные и хозяйственные институты, ее людей. «Погоди, погоди, в Шотландии заговорили о традициях Маклина. Нет, нет, и мы знаем, что Маклин был советским консулом в Глазго, но что стоило ему это, как он прожил остаток дней своих?» Нельзя отвечать приблизительно — справка, даже устная, вышедшая из отдела, обретала значение документа, а следовательно, ни одна ее буква не может быть поставлена под сомнение. Необходим обзор наших отношений со страной, предшествующих заключению пакта с немцами. Тщательно документированный обзор с обязательным цитированием всех бесед, которые имели место в Москве и в Лондоне. Нет, человек, который будет читать все это, не имеет времени, чтобы прочесть тридцать страничек. Только десять. В крайнем случае — двенадцать. А чем может помочь Великобритания, если говорить о военных материалах?.. Точный перечень. И транспорт, обязательно транспорт... Приезжают Бивербрук и Гарриман. Разумеется, обстоятельная биографическая справка. Нет, не общая, а применительно к событиям войны, и позиция, позиция! Отношение Бивербрука к СССР, а следовательно, к проблеме помощи, проблеме второго фронта!.. Тема конференции «Распределение военных ресурсов», но у этой проблемы есть и дипломатический аспект!.. Дипломатический! Отдел — мастерская, отдел — наблюдатель, может быть, бдительный ревнитель... Какую тенденцию обрели отношения сегодня, как складывается общественное мнение страны, точка зрения Черчилля и Кливленцев... Что надо делать нам, что делать?..

Отдел — страж, может быть, отдел — советник?.. Именно: советник. В момент, когда решение должно

совершиться, отдел проинформирует, предостережет, исправит, имея в виду наши интересы, благословит. Только так, не иначе. Всегда, и сегодня больше, чем всегда. Сегодня, когда самолет с Бивербруком и Гарриманом мчится к Москве. Заметили: Бивербрук и Гарриман? Видно, это знак времени: никогда чисто Британские проблемы не переплетались так с проблемами Америки, как сегодня. Поэтому отдел Великобритании — это в какой-то мере и отдел Америки, хотя американский отдел в наркомате есть.

Бардин смотрит на часы. До прибытия самолета полтора часа.

Почему Бардин вдруг вспомнил все это сегодня? Да не Сережка ли вызвал такое в сознании Бардина, Сережа, каким Егор Иванович увидел его нынешней ночью и каким, наверно, останется сын в памяти Бардина, что бы ни случилось.. И вновь загорелось сердце Егора Ивановича: вот он, вот Сергей.. И шинель, и сапоги, и пилотка. Все просторное, все болтается, да, таким количеством материи и кожи можно было обмундировать троих таких, как Сережка. У него руки и ноги — точно хворостинки. Да неужели он так немощен и незащищен? Или показался таким Егору Ивановичу?.. Если бы можно было, встал между ним и огнем, секунды бы не думал. Встал бы и счел бы за счастье умереть, не было бы смерти достойнее.

Однако чего ради Бардин так распек себя? Толстый мужик (у всех толстых телячья сердца?) едет в персональной машине, баюкает на тугих пружинах свои сто десять килограммов и клянет себя?.. Да не смешно ли это? И не противно?.. Да нужна ли стране в ее более чем суровую годину такая жертвенность? Да что стране, нужна ли сыну она?.. Не Сережка ли дал толчок этим мыслям?.. Война со всеми ее бедами так не тревожила и не обострила этого чувства, как одна эта ночь... Значит, пока штык войны не уперся в твою шкуру, ты был нем?.. Вот проводил сына в пекло и только тогда понял, что это такое, только этой ночью понял. Казалось, все, что будешь делать впредь, будешь делать и для него, для его спасения: пусть он живет, живет!.. Да, вот еще вопрос: почему Бардин не спросил сына, что ему надо? Эх, в очередной раз дал маху!.. Это же так элементарно — и забыл! И Егор Иванович

стал корить себя: всегда забывал про его нужды, всегда, даже когда он просил об этом. И Егор Иванович вдруг вспомнил... замшевые полуботинки на толстой подметке, которые сын увидел в обувном на Арбате и попросил: «Батя, купи...» Никогда не просил, а тут попросил: «Батя...» Так батя не купил — видите ли, после отпуска поиздержался и не купил. А надо было купить! Пианино загнать, а купить!.. Да что пианино, дачу спустить к чертовой матери, а купить парню эти коричневые замшевые. Тридцать пар купить — пусть носит! Как бы счастлив был Егор Иванович, если бы купил тогда эти замшевые...

## 24

Быть может, по аналогии с Гопкинсом первая встреча Бивербрука и Гарримана со Сталиным была назначена в Кремле на вечер и, возможно, по той же аналогии переводчиком был Литвинов.

Делегаты прибыли в Кремль и те десять минут, которые у них были до начала встречи (большая группа военных явно по вопросу, не терпящему отсрочки, только что вошла в кабинет Сталина), провели в приемной.

Как отметил Егор Иванович, Гарриман выглядел усталым, хотя он мог показаться таким в сравнении с подвижным Бивербруком. Высокий, в хорошо сшитом костюме приятного темно-серого тона (кто-то сказал Бардину, что Гарриман любит носить костюм такого цвета и зимой, и летом), Гарриман не спешил садиться, как не спешил и докурить сигарету, хотя приглашение в кабинет могло последовать тотчас же. Он не хотел состязаться со словоохотливым Бивербруком в красноречии, поощряя того улыбкой или словом, во всех случаях скупыми, но доброжелательными. Разговор касался того, в какой мере Запад знает Россию, и Бивербрук, может быть желая привлечь американца к более активному участию в беседе, сказал, что завидует Гарриману, который бывал в России и прежде. Очевидно, этой своей репликой Бивербрук надеялся возбудить интерес американца к беседе и, возможно, даже ожидал, что Гарриман разразится пространной тирадой. В положении Гарримана Бивербрук это сде-

дал бы с блеском, но американец только улыбнулся.

— Сознаюсь, что в моем первом путешествии по России у меня не было ни визы, ни паспорта... Мне было восемь лет, когда наш корабль, на котором я путешествовал с отцом, прибило к русским берегам и я очутился в кругу эскимосов... — Гарриман махнул рукой, очевидно полагая, что этой короткой репликой ответил на вопрос и может отступить в тень, но деятельный англичанин не позволил ему этого сделать.

— Погодите, а Грузия... Разве в Грузию вы забрались тоже без визы и паспорта? — засмеялся Бивербрук.

— Нет, Грузия — это иное дело, но ведь о ней надо рассказывать там, — он улыбнулся и показал глазами на дверь, в которую вошли военные. — В общем, я имел отношение к «Грузинской марганцевой компании» близ Кутаиси и зимой двадцать шестого года, инспектируя компанию, был в России, разумеется, с паспортом, — взглянул он на Бивербрука, который слушал Гарримана с особым восторгом, как бы похваляясь им перед русскими. «Американец все-таки заговорил. Заговорил, bestия!» — свидетельствовал весь вид Бивербрука. — Я ехал из Москвы в Тифлис четыре дня и всю дорогу провел в беседах с русскими... Знаете, что было самым характерным для этих бесед? Энтузиазм, я бы сказал, революционный энтузиазм, который владел людьми...

Бардин слушал Гарримана и думал: «Что привело его в Москву в столь нелегкий для судеб мира год и что заставляет его говорить так, как говорит он сейчас о России?..» Отец Гарримана, о котором он только что упомянул, — сын бедного священника. Его жизнь была трудной, прежде чем он отведал вольного хлеба. Он был и обходчиком на железной дороге, и кочегаром, и посыльным, и рабочим депо. Сколотив капитал, вначале небольшой, он решил попытать счастья и поставить на коня, который принесет ему солидный куш. Собственно, речь идет о фигуральном коне. Им могли быть драга на Юконе, газовые фонари в Нью-Йорке, комбайн на конной тяге (тогда они только что появились) или паровоз, который волочит, вздрагивая на рельсовых стыках, платформы с лесом или цистерны с нефтью. Старик Гарриман (ему шел тогда пятьдесят

второй год) поставил на паровоз и стал обладателем крупного состояния. Сын имел возможность не повторять пути, пройденного отцом, — ведь он был обладателем капитала значительного, — но он его в известной мере повторил, в известной мере... Правда, он окончил Йельский университет, но дальше, как утверждают его биографы, он решил... начать с азов и стал последовательно обходчиком путей, кочегаром и рабочим депо. Что преследовал Гарриман при этом, сказать трудно. Возможно, в этом был свой взгляд на становление характера, освященный опытом отца, которого молодой Гарриман боготворил. Так или иначе, а опытом отца молодой Гарриман воспользовался и дальше. Отец ставил на первый паровоз, сын поставил на современный электровоз. Видимо, различие в средствах, которыми пользовались отец и сын, было не только в этом. Отец вкладывал деньги в железные дороги, сын пошел дальше за прогрессом техники — он стал строить порты и суда, самолеты и аэродромы. Гарриман был одним из тех преуспевающих деловых людей, которых привлек Рузвельт, когда стал президентом. У Рузвельта был свой расчет, когда он привлекал к государственным делам людей, подобных Гарриману. Поступая так, он точно парировал удары всех тех, кто подозревал его в посягательстве на интересы американской элиты, — есть мнение, что Рузвельт не любил очень богатых. Призвав к участию в государственных делах таких, как Гарриман, Рузвельт как бы отводил это подозрение. Впрочем, Рузвельтом руководило и иное. Ему импонировали в преуспевающих бизнесменах их деловой подход к проблеме, их предприимчивость, их точность и, пожалуй, отсутствие иллюзий. Обладая сам этим качеством, Рузвельт вдвойне ценил его в других. Однако в какой мере новое положение могло устроить Гарримана и подобных ему, насколько преуспевающему дельцу было выгодно оставить блага более чем безбедного своего бытия и устремиться в жестокую военную пору за океан, да еще в варварскую Россию?.. Как объяснить можно было этот шаг, внешне безрассудный?.. Свойствами характера?.. Желанием присовокупить к капиталу положение в обществе?.. Жаждой внести свой вклад в борьбу, которая, и с точки зрения Гарримана, является борьбой спра-

ведливой?.. Бивербрук — понятно, а вот Гарриман — проблема. Проблема ли?

— Наверно, когда мы вернемся на родину, нас будут спрашивать о России и мы будем отвечать так, как будто бы знаем Россию, — сказал Бивербрук и взглянул на Гарримана, ища сочувствия. — На самом деле мы не имеем права на это, — англичанин усмехнулся. — По-моему, мистер Гарриман показал нам это сейчас достаточно наглядно.

— Все зависит от того, какую мысль вы выскажете при этом, — заметил Литвинов, наклонив голову, и посмотрел вверх очков. В этом взгляде, как заметил Бардин, было нечто стариковское, прежде Максим Максимович не смотрел так. — Важно не то, что вы увидели, а то, как осмыслили это.

— Это восточная мудрость? — спросил Бивербрук.

— Да, разумеется, — ответил Литвинов. — Не похоже?

— В этой фразе есть западное изящество.

— И восточное, — возразил Литвинов, смеясь, и зябко повел плечами — в комнате было прохладно, и Литвинов чувствовал это больше остальных.

— Открылась дверь, и из кабинета вышли военные.

Бардин видел, как испытующе взглянул на военных Бивербрук, остановив взгляд на каждом из них, будто желая прочесть по их лицам содержание разговора, который только что произошел у Сталина.

Гарриман бросил на военных короткий и пристальный взгляд — и его одолевало любопытство, но, в отличие от англичанина, он стыдился выказывать это любопытство.

Военные ушли, но приглашения в кабинет Сталина не последовало. Возможно, проведив военных, Сталин снял телефонную трубку.

Как показалось Бардину, военные были мрачны. Они не могли не знать, кто находился в приемной Сталина, но, проходя мимо, едва раскланялись, при этом без видимого радушия. Они определенно были мрачны. Не иначе, вести с фронта были малоутешительными, вести, которые заставили их явиться сюда и задержаться в кабинете Главнокомандующего много дольше, чем разрешал протокол.

Гостей пригласили в кабинет Сталина, и Бивербрук, к удивлению своему, обнаружил: по тому, как Сталин вышел навстречу гостям, как он произнес первое «Здравствуйте», улыбнувшись и как-то по-особому, повосточному подняв при этом трубку, как он, наконец, сел за стол и, откинувшись, развел руки, было видно, русский премьер решительно не воспринял мрачного состояния духа своих военных.

Это доброе настроение, как показалось Бивербруку, даже несколько весело-ироническое, помогало ему как бы не принимать всерьез и отводить, при этом весьма изящно, те из предложений гостей, которые он не считал для себя приемлемыми. Впрочем, это было позже, а вначале Сталин сделал традиционный для таких переговоров обзор положения на фронтах, точно такой, каким были предварены переговоры с Гопкинсом. У этого обзора было свое резюме, свой итог, очевидно исследованный заранее. Он, этот итог, свидетельствовал: численное преимущество на стороне немцев. По числу дивизий: триста двадцать на двести восемьдесят. По танкам: три — один. По самолетам: три — два. Как бы между прочим Сталин сказал, что для немцев преимущество в танках имеет абсолютно решающее значение: немецкая пехота не может идти ни в какое сравнение с русской. Как и предполагал Бивербрук, обзор, сделанный Сталиным, подводил гостей к точному перечню оружия и материалов, в которых нуждается сражающаяся Россия. Это, по словам Сталина, прежде всего танки, а уже после этого противотанковые орудия, средние бомбардировщики, зенитные орудия, броня, истребители и разведывательные самолеты и, он особо подчеркнул важность этого, колючая проволока. Очевидно, он построил этот список по степени важности. Именно поэтому он не собрал все самолеты в одном месте, а вначале назвал средние бомбардировщики, потом зенитные орудия и броню, а уже после этого самолеты — истребители и разведчики. Впрочем, как полагает Бивербрук, это могло и ничего не значить.

А потом подоспела очередь англичанам и американцам ставить вопросы.

Разговор зашел о том, где и в какой форме русские и англичане могли выступить против немцев плечом к плечу. Сталин назвал Украину. Бивербрук назвал Кавказ. Сказав это, Бивербрук имел в виду не только то, что английские войска накапливаются в Иране и могли бы быть легко переброшены на Кавказ. Не только это. Он полагал, что английские войска на Кавказе могли бы явиться своеобразным щитом, защищающим англичан на востоке. Это имел в виду Бивербрук, а может, не только это. Сталин взглянул на Бивербрука не без любопытства и, выколотив из трубки старый табак, набил ее новым.

— На Кавказе нет войны, а на Украине есть, — сказал он, подняв незажженную трубку и сделав ею такой жест, будто бы одним жестом он исключает дальнейшее обсуждение этого вопроса.

Что мог подумать Сталин, когда Бивербрук заговорил о Кавказе? Знал ли Бивербрук, задавая этот вопрос, что у русских с пребыванием англичан на Кавказе связаны свои ассоциации, зловещие? Но Сталин не исключал переброски английских войск в Россию, в такой мере не исключал, что даже назвал фронт — Украина. Какое объяснение дать этому: либо дело русских настолько плохо, что они готовы даже допустить англичан на русскую землю, либо они просто хотят доказать, как далеко готовы пойти в сотрудничестве с Великобританией? А возможно, это педагогический шаг, рассчитанный на то, что он не будет принят, однако окажет свое влияние на союз двух государств.

Гарриман сказал, что хорошо было бы организовать переброску американских самолетов через Аляску, разумеется, своим лётом.

— Мы сумеем организовать это, если будем знать аэродромы, — сказал Гарриман

Сталин задумался: что имел в виду его собеседник, когда речь зашла о сибирских аэродромах?

— Очевидно, самолеты поведут через Аляску американские экипажи, — сказал Гарриман, заметив, что предыдущая фраза вызвала раздумье русского премьера.

— Нет, это слишком опасная трасса, — заметил Сталин, не обнаруживая желания продолжать разговор.

Разумеется, Гарриман знал, что американцы уже были в Сибири и оставили след, который не способен зарубцеваться даже через четверть века. А если знал об этом Гарриман, то чего ради начал этот разговор?

Точно почувствовав, что разговор на эту тему не сулит ничего доброго, Гарриман вдруг заговорил о том, что американское общественное мнение все еще интересуется положением религии в России.

— Президента беспокоит реакция общественного мнения,— сказал американец.

Сталин сказал, что он недостаточно знает, как относится общественное мнение Америки к России, сказал так, как будто бы американец поставил вопрос, который имеет косвенное отношение к встрече.

Гарриман заметил, что он представит меморандум. Сталин не возражал.

Время близилось к полуночи, когда гости покинули Кремль. Какое впечатление оставила у них эта встреча, какова была ее температура?..

Еще в автомобиле Бивербрук заметил, что, на его взгляд, встреча была дружественной, больше того, дружественной чрезвычайно.

Гарриман согласился с ним.

Они вернулись к этим первым своим впечатлениям на другой день вечером, когда, как было условлено, состоялась вторая встреча.

## 26

Внешне, как показалось Бивербруку, все обстояло так, как накануне, и тем не менее что-то незримое вторглось в настроение русских, встревожив их, а может быть, вооружив против гостей.

Первая же минута встречи показала Бивербруку, что сегодняшней день во многом отличен от вчерашнего. Едва поздоровавшись со Сталиным, Бивербрук вручил ему письмо Черчилля. Англичанин сделал это не без торжественности, придав этому акту значение, на которое он, Бивербрук, только способен. Сталин принял конверт, повертел его, вскрыл, извлек письмо и не развернув, оставил лежать на столе, заговорив о том, что сегодняшнюю встречу он хотел бы посвятить обсуждению самого списка поставок.

Разумеется, вторая встреча была труднее по самой

своей сути. Если вчера речь шла об общих делах (это всегда легче); то сегодня надо было подробно рассмотреть список поставок: броня, о которой Сталин просил накануне, самолеты, автомашины.

— Почему вы можете дать только тысячу тонн стальной брони для танков, когда страна производит свыше пятидесяти миллионов тонн?—спросил Сталин, остановившись в двух шагах от Гарримана. В течение всей встречи он почти не садился.

Гарриман поднял на него глаза — интонация, с которой был задан этот вопрос, не могла даже показаться корректной.

— Чтобы увеличить производство именно этого сорта стали, необходимо время,— заметил Гарриман.

Но возражения американца не были приняты во внимание.

— Надо только прибавить легирующие стали,— был ответ.

Каждая новая статья в списке являлась немалым препятствием. Оно преодолевалось не без труда, движение было замедленным, иногда оно останавливалось надолго.

— Мы бы могли предложить броневики,— подал голос Гарриман, когда речь зашла о танках.

— Броневики — ловушка, они нам не нужны,— сказал Сталин и зашагал вновь. Зашагал с такой силой, что воздух в комнате пришел в движение и облако дыма, недвижимо стоящее посреди комнаты, колебнулось.

— Но, может быть, русских устроят «виллисы»?— возобновил разговор Гарриман.— Мы сможем предложить теперь же пять тысяч «виллисов»...

— «Виллисы» — это хорошо,— согласился Сталин, однако и в этом случае большого восторга не выразил.

Если Сталин сегодня задался целью строго дозировать внимание к гостям, то он сделал это не без искусства. Ни одного абсолютного согласия. Ни одной ободряющей фразы. Ни одной шутки или улыбки, призванной поддержать температуру беседы и способствовать взаимопониманию. И ко всему этому — письмо Черчилля, которое все еще лежало на столе без движения. Сталин как бы говорил этим: мы знаем цену всем вашим политесам и не переоцениваем их. Глав-

ное — в броне и колючей проволоке, которую мы ждем от вас и которую вы могли бы поставить нам. Что же касается слов, вроде тех, с которыми наверняка обратился английский премьер в письме, лежащем на столе, то нам известна их цена, и известна настолько, чтобы отнестись к этому письму более чем сдержанно, а вас сделать свидетелями этой сдержанности.

— Может быть, нам надо встретиться еще и завтра,— сказал Бивербрук с несвойственной для него строгостью — в ходе этих двух кремлевских встреч его юмор заметно иссяк.

— Ну, что ж... Завтра так завтра,— сказал Сталин. Это, как отметил для себя Бивербрук, был единственный за весь вечер случай, когда на предложение гостей Сталин ответил согласием без оговорок.

Гости собрались уходить, Молотов взглянул на стол и точно впервые увидел сам письмо Черчилля.

— Кстати, вот письмо премьера Черчилля,— заметил Молотов.

— Да, письмо,— согласился Сталин, обратив взгляд на письмо британского премьера, которое продолжало лежать между чернильным прибором и пресс-папье, как было положено в начале встречи.— Да, письмо,— сказал Сталин и пододвинул его к себе — письмо сделало свое дело и теперь ему можно было дать ход.

## 27

Когда на следующий день утром Егор Иванович явился к Бивербруку в гостиницу «Националь», английский гость был невесел. Он стоял у окна своей комнаты и печально смотрел на Кремль. День был холодным, и багрянец осенних листьев Александровского сада, видимого из окна, казался тусклым. Через Манежную площадь шли войска: артиллерия на конной тяге (крестьянские кони, несытые, без признаков породы, шли нелегко), обоз с кухней, которая несла над площадью погасшую трубу, шеренги уже немолодых солдат, нестройные, видимо наспех обмундированные, с винтовками через плечо. Винтовки были громоздки, нести их было не в привычку. Войска шли медленно.

— Послушайте, мистер Бардин, вы человек трезвый...— сказал Бивербрук, не отрывая глаз от пло-

щади, через которую шли войска.— Вы полагаете, что эти войска способны остановить немецкую машину?.. Только начистоту, без пропаганды...

Егор Иванович кинул взгляд на площадь: завершая движение, шел старый вояка с винтовкой, старый. Ему можно было дать все шестьдесят лет, не по обильным сединам и сутуловатости — по походке, ее ведь не переделаешь. Солдат догадывался, что на тротуаре стоит немало людей и смотрят колонне вслед, наверно, смотрят и на него, старого вояку. Надо было бы прихрабриться, приосаниться, но он так устал, что, честное слово, ему было не до того — впору снять с плеча винтовку и вместе со своими старыми костями погрузить на телегу, что шла впереди.

— Верю, господин министр.

Сейчас в поле зрения Бивербрука мог быть только этот солдат, идущий через площадь. Колонна прошла, на площади оставался только старый вояка.

— Вы полагаете, что этот солдат может остановить... машину?

Бардин подумал: что ответить англичанину?.. Сказать неправду, значит, оскорбить самого этого деда, идущего через площадь, да надо ли говорить неправду?.. Но что поделаешь, если Бардин действительно верил: вот этот старый вояка с трехлинейной винтовкой через плечо совершит то, что до него не мог совершить никто,— его храбрость свершит, его душа и его сила.

— Да, господин министр, верю...

Солдат одолел площадь. Бивербрук отошел от окна.

— Немцы сообщили сегодня утром, что конференции трех грозит провал. У плохой вести быстрые крылья!..

Фраза Бивербрука была обоюдоострой: в ней и как бы опровергалось утверждение немцев, и как бы подтверждалось.

— Вы полагаете, что немцы недалеко от истины?— спросил Бардин. Бивербрук не без умысла произнес свою фразу, он хотел знать, как оценивают результаты вчерашнего дня русские, в то время как Бардин хотел знать мнение гостей.

— Второму дню не хватало искренности и созидательности первого, не так ли?— сказал Бивербрук.



Вопрос поставлен достаточно откровенно и прямо: не хватало прямоты и позитивного начала. Что думает Бивербрук о вчерашней встрече? На взгляд англичанина, русский премьер вчера был более чем суров. Как он объясняет эту суровость и, пожалуй, воинственность, которую можно было принять подчас за дурное расположение духа? В течение всей беседы Сталин шагал из одного угла в другой, он много курил — папиросными окурками была полна пепельница. Он не присел и тогда, когда ему надо было звонить, а звонил он, как точно отметил про себя Бивербрук, трижды, соединя-

ясь с абонентом без помощи секретаря. Что мог подумать Бивербрук о вчерашней встрече, как шли его мысли? Сталин принял столь жестокий тон, чтобы показать Бивербруку и его американскому коллеге, что по праву общей борьбы русские справедливы в своих требованиях. Могло быть и иначе. Есть признаки нового большого наступления немцев. Кстати, сегодняшняя утренняя неприятельская сводка сообщает об усиленных действиях разведчиков на юге от Брянска, где-то у Путивля и Рыльска. Мог быть, наконец, и третий вариант. Мысль Бивербрука о вводе английских войск на Кавказ переключалась с идеей Гарримана о сибирских аэродромах и могла быть истолкована русскими как намерение союзников в обмен на зенитные орудия и сапоги колонизовать русскую землю. Помощь... ценой русского суверенитета?.. Но чем эти условия лучше того, что требуют от русских немцы?..

— Господин министр, вы опасаетесь, что Россия проиграет и ваши парламентские противники не простят вам этого, как и противники господина Гарримана из демократической партии?.. Не так ли?

Бивербрук даже подскочил. Он пересек комнату стремительно и бесшумно, словно бы не касаясь башмаками пола, и, приблизившись к письменному столу, на котором лежала начатая статья, вписал в блокнот несколько фраз, коротких и динамичных... Очевидно, мысль, высказанная Бардиным, необходима была Бивербруку для подтверждения какой-то своей тезы.

— Что скрывать, господин Бардин, у каждого из нас есть свой оппонент, достаточно агрессивный и, простите меня, кровожадный, который только и ждет того, чтобы мы оказались биты. Разумеется, вместе с вами.

— Вы хотите сказать, господин министр, что вчера в Кремле вы представляли своих оппонентов?.. — спросил Бардин, не скрывая улыбки.

— Нет, мы представляли самих себя, однако... мы не раз оглянулись на своих оппонентов, — заметил Бивербрук и вновь наклонился над блокнотом — он накапливал какие-то доводы и для себя.

Бардин думал, что по-своему Бивербрук прав. То, что зовется кливденской кликой, очевидно, не только

чисто британское явление, но, в известной мере, и американское. Говорят, что американский посол в Лондоне Кеннеди отнюдь не заодно с Черчиллем и Бивербруком. Незримая межа рассекала парламент, она расположила партии, проникла в государственный аппарат, расколола генеральный штаб и армию, вторглась в посольства... Бардин убежден, что на Софийской набережной и здесь вот рядом, на Манежной площади, есть и сторонники помощи России, и воинственные противники этой помощи. Одни говорят: «Русские выдуют, отобьют натиск немцев и обратят их вспять! История всевластна, не пренебрегайте историей, это дорого вам обойдется!» Другие не менее упорны в своих доводах: «Наше время в такой мере не похоже на предыдущее, что можно и пренебречь историей!.. Факты — цитадель правды, только факты, а они свидетельствуют, что у русского колосса оказались гипсовые рычаги...» Только вчера Бардину сказали, что среди американских военных в Москве по этой причине разыгралась целая баталия: майор Итон доложил о разгроме русской армии как о ближайшей перспективе, а полковник Филипп Фэймонвилл, прибывший с Гарриманом, жестоко высмеял его.

— Пусть это будет сказано между нами, господин Бардин. Если русские проиграют новую битву, они поставят меня и моих друзей в положение, которое близко к безвыходному... — однако поездка в Москву пошла Бивербруку на пользу — еще недавно англичанин говорил, что в нелегкое положение его поставит перед все теми же коллегами министра успех русского оружия.

— Ну что ж, им надо выиграть эту битву хотя бы для того, чтобы не осложнять вам жизнь.

— Но вы-то полагаете, что битва будет выиграна, господин Бардин?

— Если мы ее проиграем, то проиграем одни, господин министр. Если выиграем, — тоже одни...

Бивербрук приподнял плечи, точно из окна потянуло холодным дыханием осени. Чем-то последняя фраза Бардина напоминала Бивербруку замечание Сталина о броневиках — в ней была гордая неприязнь, не сдающаяся, несмотря на все испытания и беды.

Хотя встреча со Сталиным назначена на шесть, было условлено, что Бивербрук и Гарриман приедут в Кремль за четверть часа до встречи.

Большие настенные часы с боем отсчитали урочное время, а гостей не было.

Бардин видел, как Литвинов, сидящий в стороне над текстом советского меморандума, снял очки и взглянул на часы, точно хотел убедиться, соответствует ли их бой движению стрелок.

— Прошлый раз они были вовремя?— спросил Литвинов Бардина.

— Да, разумеется, Максим Максимович.— Он подошел к окну, из которого была видна торцовая гладь перед подъездом.— По-моему, их машины подошли.

Литвинов свернул вдвое текст меморандума, положил в папку.

— Не думаете ли вы, что они имеют уже мнение своих правительств по итогам первых двух дней?— спросил Литвинов, захлопывая папку.

— Мне кажется, да... не могут не иметь. Сегодня надо давать ответ,— сказал Бардин, отходя от окна. Англо-американцы должны были войти с минуты на минуту.

— Вы слушали сегодня радио?— спросил Литвинов, вставая.— По-моему, немцы усилили нажим, быть может, в надежде оказать влияние на ход переговоров.

— Они не думают, что переговоры закончатся сегодня,— заметил Бардин, приближаясь к Литвинову. Сейчас они стояли в дальнем конце комнаты, дверь, в которую должны были войти англо-американцы, была прямо перед ними.

— А вы думаете?— спросил Литвинов, и в его глазах, увеличенных выпуклыми стеклами очков, отразилась ироническая улыбка.

— Да, так мне кажется. Хотелось, чтобы это было так, очень... Я бы на их месте начал беседу с того, что без обиняков выложил бы все, что они имеют сказать. Тот раз чашу терпения могла переполнить одна капля...

— Чашу терпения? Чью, Георгий Ивансевич?— Литвинов звал Бардина так.

Бардин усмехнулся.

— Известно, чью. Как мне показалось из беседы с Бивербруком, вряд ли он заинтересован в неудаче переговоров. Разумеется, лично Бивербрук, как и Гарриман, а затяжка переговоров... не способствует успешному их завершению. Нет, не только потому, что может разразиться немецкое наступление, есть и другие факторы...

Литвинов слушал Бардина. Его глаза посуровели, губы недовольно оттопырились, хотя всем своим видом Максим Максимович показал, что сказанное Бардиным ему симпатично.

— Вы знаете, Георгий Иванович, я думал об этом же, но поторговаться и они могут, жестоко поторговаться. Для них тот, кто не торгуется, плохой бизнесмен и плохой политик. Впрочем, в стремлении выторговать им где-то изменило чувство меры.

— Они это поняли, Максим Максимович?

— Мне так кажется, но будем иметь возможность себя проверить.

Как это было в дни пребывания Гопкинса в Москве, Бардин последнее время все чаще встречался с Литвиновым. Его знание англо-американских дел, его связи в англосаксонском мире, его знание языка и фактов были очень полезны переговорам. Иностранцы по-своему расценили участие Максима Максимовича в контактах с англосаксонским Западом. Они хотели рассмотреть в этом признак нового курса в советской политике, рассчитанного на дружбу с миром, говорящим по-английски. Разумеется, дело было не в переориентации, а в личных достоинствах самого Максима Максимовича. Обидно, чтобы в такое время, как нынешнее, простаивала такая сила. Сам Литвинов с воодушевлением взялся за новое дело. Человек деятельный, чья жизнь прошла в жестокой борьбе с фашизмом, он видел в своем нынешнем труде продолжение того, что делал вчера. В той последовательности, с какой Литвинов привлекался к переговорам в более чем скромном качестве переводчика вначале с Гопкинсом, а потом с Бивербруком и Гарриманом, мог быть, как думал Бардин, и замысел — в дипломатии, как подсказывал Егору Ивановичу опыт, шаг такого рода оправдан, если есть перспектива.

Когда на пороге появились гости, Литвинов, как показалось Бардину, не без тревоги взглянул на большой желтый портфель в руках Бивербрука. Портфель напоминал саквояж, с каким провинциальные врачи навещали больных на дому. Если учесть, что прошлый раз англичанин был с папкой, то можно было предположить, что главное сражение произойдет сегодня.

Бивербрук увидел Литвинова и взмахнул свободной рукой.

— Геббельс все уже определил за нас!— воскликнул Бивербрук.— Однако такая наглость!

— Простите, господин министр, какое именно заявление Геббельса вы имеете в виду?

— Разумеется, утреннее... Он предрек конференции провал.

Литвинов поправил пенсне.

— А что сообщили о перспективах конференции сегодняшние лондонские газеты?

— О, господин Литвинов, мы еще не начали наш диалог, а вы уже задали все вопросы...

Они вошли в кабинет Сталина, так и не успев придать лицам строго-делового выражения, которого требовала предстоящая беседа.

— Судя по настроению господина Бивербрука, он уже решил все проблемы конференции, не так ли?— спросил Сталин, здороваясь с гостями и с большей пристальностью, чем обычно, глядя им в глаза.

— Речь шла о последнем пророчестве Геббельса, господин премьер,— заметил Гарриман своим спокойно-деловым голосом, в котором уже угадывалась интонация предстоящей беседы.

— Докажем, что Геббельс лжец,— сказал Сталин, приглашая гостей садиться.

— Очевидно, в нашей власти это доказать,— сказал рациональный Молотов и осторожно приблизился к своему стулу.

Наступила пауза, очень короткая, но точно обозначенная распорядком предстоящей встречи. Гости заняли места, в эти дни у каждого было свое место: у Сталина за письменным столом, впрочем, в течение пяти с лишним часов, которые длились две прошлые встречи, он оставался за столом не больше получаса, Литвинов — справа от Сталина, Молотов — рядом с Лит-

виновым, Бивербрук и Гарриман — по другую сторону стола.

— Я думаю, что мы положим перед собой два меморандума: русский и тот, который предлагаем мы с господином Гарриманом. В первом, как вы помните, дан список товаров, которые просят наши русские друзья, во втором... В общем, мы скажем, что можем мы поставить теперь и что позже....

— Мы свой список знаем, как знаете его и вы, — сказал Сталин. Он хотел разговора по существу и соответственно настроил себя на это. — Ваш список... знаете вы и не знаем мы, его и надо читать.

— Да, конечно, господин премьер-министр, — с готовностью откликнулся Бивербрук и раскрыл свой саквояж, который он предусмотрительно поставил рядом.

Бивербрук начал читать. По мере того как он читал, шаги Сталина, который пошел по кабинету, затихали и стали едва слышными. Это немало осложнило задачу Литвинова, который по шагам следил, в какой части кабинета находился Сталин, и соответственно к нему обращался. Когда шаги затихли совершенно, Литвинов окинул внимательным взглядом кабинет и вдруг обнаружил Сталина за столом.

— Как вы относитесь к нашему списку, господин премьер-министр? — спросил Бивербрук, закончив чтение.

— Я принимаю его, — сказал Сталин и встал из-за стола. Три дня единоборства, единоборства открытого, но достаточно упорного, дали свои результаты.

Казалось, реплика Сталина расковала и остальных.

— Теперь легче опровергнуть Геббельса, — сказал Молотов.

Было условлено, что договоренность будет закреплена в соответствующем документе. Его можно будет подписать завтра.

Все, кто находился в эту минуту в кремлевском кабинете Сталина, не могли не почувствовать, как разом изменилось настроение встречи. Как ни храбрились гости, до сих пор над ними висело пасмурное небо, с этой минуты небо прояснилось, добрый ветер растолкал тучи. «Как будто после дождя глянуло солнце», — отмечал позже Бивербрук. Сталин тут же реагировал на ясную погоду: он попросил накрыть чайный

стол. Ничего подобного в предыдущие два дня не было. Нет, это был не русский чай с водкой и икрой, а просто чай. Знаки внимания, как подумал Бивербрук, русский премьер наращивал по унциям.

— Погодите,— осторожно прервал Сталин размышления Бивербрука.— Что же все-таки произошло с Гессом?— Он понимал, что в веселом разговоре Бивербрук был ему верным партнером.— Шуленбург как-то сказал мне, что Гесс сошел с ума... Неужели сошел с ума?— Он смотрел на Бивербрука прищурившись, явно подзадоривая его, вызывая на разговор. Он не без умысла обратился к Гессу — в истории с Гессом был элемент авантюры, способный поразвлечь собеседников.

Бивербрук, подобно старому коню, почувал, что пришла его минута, и с силой ударил копытом.

— Какое там!.. Я ведь разговаривал с Гессом! О, сейчас я вам об этом расскажу!..

Он дал волю красноречию. Подобно своим канадским предкам, великолепно владеющим искусством импровизации, Бивербрук в этом коротком рассказе мигом перевоплотился в подслеповатого, с тонкими старушечьими губами Гесса.

— Мои друзья леди Эн и лорд Би могли бы создать правительство, которое бы осуществило революцию пэров...— произнес Бивербрук, смешно копируя Гесса и его английский.— В этом случае высадка немецкого десанта исключалась бы и единственным врагом была бы Россия...

Наверное, это было смешно, но смех был много громче того, что мог вызвать рассказ Бивербрука,— дал себя знать великий пост, который устроил Сталин в эти три дня кремлевских переговоров.

— Вряд ли Гесс пустился в это путешествие по просьбе Гитлера, но Гитлер наверняка знал об этом,— сказал Сталин. Он был осведомлен о поступке Гесса не больше остальных, но он, очевидно, думал над этим, много думал и пытался проникнуть в психологию поступка.

— Из беседы с Гессом у меня создалось именно такое впечатление.— заметил Бивербрук.

Встреча заканчивалась. Было условлено, что доку-

мент, подводющий итоги переговоров, будет подписан завтра.

— А не пообедать ли нам всем вместе?— спросил Сталин, когда пришла пора прощаться. Очевидно, он полагал, что теперь, когда переговоры закончены, он может позволить и это.

Когда гости покидали кабинет Сталина, Бивербрук обратил внимание, что в соседней комнате дожидалась приема большая группа военных. Как отметил про себя Бивербрук, у многих из них вид был далеко не парадный.

— Вы видели этих военных? По-моему, они прибыли прямо из огня...— сказал он Гарриману, когда они садились в машину.— Не началось ли то, что обещали немцы?

— Возможно, и началось,— был ответ.

## 29

А по Кузнецкому шли кавалеристы. Дивизион. Три полных эскадрона. В полном снаряжении. На рысях. Кони разномастные, да, пожалуй, разнокалиберные: мелкота. Одни ходили под седлом, другим седло было внове, видно, в бороне такой конь чувствовал себя лучше, чем под седоком. Но кони были упитанны, как видно, с доброго корма. И всадники держались браво, хотя были не все молоды. Больше того, немало было и седоусых, но от этого они не казались менее бравыми. Все были в шинелях солдатских или полушубках, но у иных вместо ушанок были шапки-кубанки с ярко-синим, фиолетовым или даже красным верхом, а поверх шинели был башлык, правда, не всегда того же цвета, что и верх кубанки. Видно, дивизион был сформирован из степняков.

Дивизион вступил на Кузнецкий, и кто-то, подивившись тишине, завел песню:

...Ты ле-ети, лети, мой конь...

Песню подхватили в охотку — ей было хорошо, этой песне, в непросторных пределах Кузнецкого.

...Как поймаю, зануздаю, ши-олковой уздою!..

Мигом Кузнецкий заполнился людьми. И откуда они только взялись? Вдоль кромки, отделяющей тротуар от дороги, выстроились непрерывной цепочкой.

- Ах, что может быть красивее коня!
- Эпоха-то больно не лошадиная!
- Конница — это вечно...
- «Даешь Варшаву, дай Берлин!» Как в той песне?
- Песня не песня, а вот как забелит поле русское, придет наш час.
- Конь и снег... м-да...
- На коня надейся, а мотор держи на газу!
- Главное, чтобы конь стрелял... Лишняя пуля никогда не будет лишней.
- Верно... Это вы сказали, товарищ?
- Видно, кони были недавно подкованы — цок был молодым, крепким.

...Ши-и-олковой уздо-ою!..

Конники поднялись по Кузнецкому и, взобравшись на холм, свернули налево. Ушла песня. Она звучала сейчас вполнакала где-то на Сретенке. Смолк постепенно и цок копыт. Только конский дух, устойчивый, неразмываемый и на сквозном ветру, остался на Кузнецком.

Не сразу опустела улица.

— Вы заметили, конники еще не были в деле?

— Что-то скажет время?

А на площади Воровского, в двух шагах от памятника тоже толпа: товарищи по беде, недавно вернулись из Берлина. Истинно тернистый путь прошли бедагаги... Русский человек никогда не ездил из Берлина такой дорогой: Вена, Белград, Константинополь... Неисповедимы пути твои, сорок первый. Да в путях ли дело?

— Острова, острова... Посольство — остров, торгпредство — остров... Вот оно — время собирания русских земель! Как собрать их до кучи, когда вокруг море ненависти? Того гляди спалят, разнесут в клочья, истолкуют... Вторглись в торгпредство, взломали ворота, стучат в дверь прикладами. Выдавили и ее. Наверх! Знают, каналы, шифровалка там! А келья шифровальная, что сейф: стены они стенами, а дверь железом обшита. А шифровальщик — парень еще тот. Запер эту свою дверь и разжег печь — спалить шифры!.. А тяги, как назло, нет, келья вдруг точно закупорилась!.. То ли

труба сажей заросла, то ли ее снаружи законопатили, чтобы выкурить парня. Вот они ему устроили, да только он не из тех: распластался на полу — там от дыму повольнее — и знай шурует в печи. Они колотят коваными сапогами в железо, грозят прошить из автомата, а он шурует в своей печке... Одним словом, когда они взломали это железо, он уже все спалил и сам лег бездыханным. Так они его со злости коваными сапогами... Вот она нынче какая, дипломатия!..

Притихла площадь Воровского... Кажется, аэростат, что приблизился к зениту в эту минуту, окаменел...

Ранним вечером 1 октября, в канун отъезда из Москвы Бивербрук шел через Кремль. Его спутниками были Литвинов и Бардин. Поодаль все таким же спокойно-усталым шагом шагали Гарриман и посол Лоуренс Штейнгардт. Ветер дул от Тайницкого сада, от реки, пахло сырой землей и осенними дымами — в саду жгли листья. Небо было полонено осенней хмарью. Оно давало много света земле, и белостенные кремлевские соборы, казалось, хорошо видны.

Бивербрук вдруг замедлил шаг, остановился посреди площади, задумчиво и радостно посмотрел вокруг.

— Пробыл три дня в Москве и не нашел минуты, чтобы глаза поднять. Кстати, что говорит Москва о нашей встрече, она рада, по крайней мере?

— Рада, господин министр, — ответил Бардин, не ослабив патетической нотки, с которой Бивербрук произнес свою фразу, однако и не усилив ее.

Егор Иванович смотрел на Бивербрука в упор. Вечер все еще был светел, и глаза Бивербрука были хорошо видны, он не отвел их.

— Москве... не до успеха конференции, так, господин Бардин?

— Нет, не это я хотел сказать, господин министр, — заметил Егор Иванович. — Разумеется, мы рады успеху конференции, все рады, — произнес Бардин. — Но как ни велик этот успех, он не является... альтернативой второго фронта.

— А вы полагаете, что есть такие, кто хотел бы этим заменить... десант?

— Да, я так думаю, господин министр, — сознался Бардин. — А вы думаете иначе? — взглянул он на Бивербрука, который, опустив глаза, медленно шел рядом.

— Да, наверно, есть такие, и их немало, — произнес Бивербрук. — Но в данном случае никто не может отвечать за других, каждый отвечает за себя...

Литвинов ускорил шаг, приблизился к Бивербруку.

— Если господин Бивербрук за второй фронт, а вместе с ним и господин Черчилль, то за кем же тогда остановка?

Бивербрук засмеялся. В этой тиши посреди площади, окованной со всех сторон камнем, его смех вызвал эхо.

— Господин Литвинов, мы с вами гости на Британских островах: вы прибыли туда из России, я из Канады... Быть может, я прибыл туда даже позже вас и знаю тамошние порядки хуже... Я могу только повторить: каждый отвечает за себя. — Он взглянул на небо, кремлевские соборы остались позади, перед ним было только небо, ненастное небо — белые, казалось, снеговые тучи шли над Кремлем. — Когда выпал снег... той осенью двенадцатого года? Вам трудно ответить на этот вопрос? Возможно, вы даже не знаете, а немцы знают... Они сейчас больше вас думают об этом, они должны знать...

Он шел, не отрывая глаз от ненастного неба, с кремлевского холма оно казалось особенно большим.

Приехала Ольга, вся какая-то смятенная.

— Ты послушай, что сейчас произошло, — вызвала она Бардина в сад. — Шагаю я вдоль полотна в свою Лосинку, — Ольга жила в Лосинке, — и вот идет товарняк. Я сошла с полотна. Вдруг слышу: «Тетя Оля!.. Тетя Оля!..» Я заметалась: Сережка, его голос!.. Смотрю во все глаза. «Тетя Оля, я здесь, я здесь!..» Ты понимаешь, ослепла, ничего не вижу, хоть ложись под поезд! А он: «Оля!.. Тетя Оля!..» Поезд прошел. Стою на полотне, не пойму: или мне привиделось это, или на самом деле так было?..

Они стояли посреди сада и молчали. Пламенел куст рябины по-октябрьски нестерпимо, побеждая тьму. И

прядь волос Ольги, упавшая на щеку, тоже была полна живого огня. Она терпела этот огонь у себя на щеке и не торопилась отвести его.

— Привиделось, Ольга,— сказал Бардин.

— Нет, Егорушка, не могло привидеться.

— Привиделось...

Она положила руку ему на грудь — несмелую, живую. Он молча шагнул к дому, и ее рука какое-то время следовала за ним, потом упала.

— Привиделось... определенно привиделось.

Она не могла скрыть своего состояния, Ольга. Бардин видел, как она стояла посреди столовой и ее локон все еще лежал на щеке — она так и не успела его отвести. Глаза сестры молчаливо следили за ней. Казалось, ничего нельзя было утаить от этих глаз, они все видели.

— Что с тобой, Ольга?— спросила Ксения.

— Ничего...

Позже, когда они сели ужинать. Бардин поймал на себе взгляд Ольги. Были в этом взгляде невысказанная досада и укор, злой укор. Какая досада жгла сердце Ольге, в чем она укоряла Бардина? Что-то с нею творилось непонятное с тех пор, как пропал Леня. Какая-то она стала не такая. Вот и голос, что слышался ей на полотне... Мать родная, видно, горе родит чудеса, не было горя, не было бы дива!

Только Ирка не восприняла настроения, поселившегося в семье,— все мыла в трех водах свои жиденькие кудряшки и пыталась нанизать на них мамины папильотки. Только вчера вырезала лошадок и шила куклам платья, а потом явилась с ярко-черными ресницами. «Ксения, стыд-то какой: не Ирина, девка уличная...»

Но Ксения только рассмеялась, закрыв рукой глаза. «Ничего не поделаешь, природа... Я сама была такой в ее лета...»

И дом наблюдал, робея и страшась, как Ирка тащила из маминого шкафа одно платье за другим и, вырядившись, шла к деду. «А ну взгляни, Бардин, как оно мне?.. К лицу?..» — «К лицу...— говорил старик, не поднимая глаз, затененных седыми лохмами, и, дождав-шись сына, шептал тайком:— Ну, жди, Егор, принесет она тебе... в мамином подоле... двойню! Вон какие

зыркалы у нее, цыганские.. Они, цыгане, скороспелые!»

Но то было прежде, а сейчас Ирку сморил сон. Отец отнес ее в детскую — Иркина комната все еще звалась детской — и, вернувшись, лег на тахту, еще хранившую тепло Иркиного тела. Ольга ушла к сестре, чтобы устроиться подле нее. С тех пор, как пропал Леня, в их комнате (в Ивантеевке у них была комната) все оставалось таким, как было при нем, и это пугало Ольгу.

И Бардин вспомнил, как Ольга увлекла его в сад и стала рассказывать о Сережке, повторяя, как рефрен: «Тетя Оля... Тетя Оля...» И еще вспомнил Бардин эту прядь Ольгиных волос на пламенеющей щеке, живую прядь... И на память пришел случай, как на Ольгиной свадьбе охмелевшие гости кричали: «Горько!», а она целовала по очереди Леню и Егора. А гости заходились от хохота и кричали пуще прежнего «Горько!», а Ольга продолжала целовать Алексея и Егора. Помнится, все смеялись, даже Ксения. «Ну и глупа ты, Оленька!.. Ну и глупа, Оленька!» — могла только вымолвить Ксения.

Бардин приподнялся и пошел к окну. «Вот ведь мерещится: рассказ был о Сережке, а из головы не идет Ольга!..» Он распахнул окно. Было прохладно и ясно. Было тихо, только где-то на западе, время от времени зарываясь в тишину, шел самолет да совсем рядом, обнаженная полуночным безмолвием, бежала электричка.

Бардин уже уснул, когда над его головой затряслось окно, того гляди вылетит. Егор Иванович помнит, что с вечера он запер калитку, значит, кто-то перелез через забор. И почему в это окно, если оно выходит в сад, а сад тоже закрыт?

— Сережка!..

— Папа!..

Вот оно — чудо, рожденное бедой.

— Ксения!.. Ксения!..

— Я слышу... Я давно все слышу...

В одно мгновение все лампы зажжены, все двери настежь.

Вот и Сережка: наголо острижен, в шинельке с чужого плеча, в кирзовых сапожищах, исхлестанных осенней грязью.



— А тетя Оля сказала, я не поверил!

— Я кричал, папа, я так кричал...

Да не плачет ли он?.. Куда его строптивость девалась?..

— Ну, садись, ближе к матери садись, рассказывай.

— Что рассказывать?.. Получил вот две штучки,— он касается пальцами петлиц.— Еду!

— А куда еще?..

Проснулась Ирка, прибежала в ночной рубашонке, прилепилась к брату с другого бока. Вот так и сидит, облепленный: мать с одного боку, сестра с другого.

Только Ольга стоит поодаль, дальше, чем надлежит ей стоять, смотрит хмурыми глазами на Сергея, потом на сестру, потом опять на Сергея.

— Ты надолго к нам, сын?

Сергей молчит — боится ответить. Смотрит на мать...

— Надолго?

— Сейчас уеду.

Мать заплакала, вцепившись в него. Ирка взглянула на брата застланными влагой глазами, намертво сжала руку.

— Приехал... пока поезд перегоняют с одной дороги на другую...

— На Ленинградскую перегоняют?

— Да.

Бардин встал, шумно зашагал по комнате.

— Ну, опустите вы его... Вцепились — не побегит... Но Ксения все еще держалась за Сергея.

— Сереженька, Зою позвать?..

Бардин застучал своими башмаками еще усерднее.

— Конечно, позвать! Сейчас же позвать. Позову я. Сейчас Ксения отпустила сына.

— Нет, я позову.. Дайте мне ее позвать.

Бардин вознес свои пухлые ручищи.

— Идти-то через сад... Куда ты пойдешь?

Но она уже потянулась к стулу, где лежал ее плед.

— Нет, Егор, я так хочу, я пойду!

— Тогда разреши Ольге тебя проводить.

— Нет.

Она натянула на худые плечи плед и пошла, держась за край стола, потом оперлась ладонью о стену, потом ухватилась за ручку входной двери. Они подошли к окну, все подошли, чтобы видеть, как она будет идти. Все стояли и смотрели, как она идет по саду. Луна была скрыта за плотным пологом облаков, но в саду было светло. Им было хорошо видно, как она идет от дерева к дереву, отталкиваясь от стволов деревьев, остающихся позади, и принимая новое дерево, будто оно выходило ей навстречу. Будто она отыскивала тайну того, как в этой лавине беды ухватить крупницу счастья.

— Зоя... Зюнька! — кричала она в ночи.

А Сережка, казалось, забыл и про мать, и про Зою,

которую должна была привести мать с минуты на минуту. Он поставил на обеденный стол приемник, который соорудил еще этим летом, и, включив его, затих.

— Я все сделал, кроме задней стеночки,— говорил он Ирке, переводя дух.— Вот вернусь и доделаю...

Потом подхватил Ирку и понес по столовой. А в дверях уже стояла Зоенька, стояла как-то сиротливо, и было такое впечатление, что еще минута, и она повернется и уйдет. Ксения устала и выглядела синей-синей. А Зоенька, видно, так и не поняла ничего. Она была в отцовской телогрейке и отцовских опорках на босу ногу.

— Сережка, ты смотри, кто пришел!— сказал Бардин и указал взглядом на дверь.

Сережка перестал кружить Ирку, пошел к двери.

— Здравствуй, воробышек,— сказал Сережка.— Какой же ты стал лохматый-лохматый!..

— Да я с ночной смены, Сергуня. Не успела переодеться.

Бардин опять воздел свои ручки.

— Ну, мы пошли! Оставим их одних!

— А я хочу здесь остаться, — сказала Ирка.

— Нет, нет, у них секрет!— сказал Бардин дочери.

Они все пошли в комнату Ксении, оставив Сережу и Зою в столовой.

Сейчас Ксения лежала на своей кровати, вытянув худые ноги. У нее был вид человека, который сделал больше, чем сделала она только что. Бардин откинул край простыни и сел в ногах у жены, Ирка легла рядом, положив под голову кулачок. И только Ольга стояла у двери, странно взволнованная, как подумалось Бардину, так и не понявшая, радоваться ей или печалиться тому, что происходило сейчас в бардинском доме. Вечером, когда прибежала со станции и рассказала Егору Ивановичу о происшедшем, ее реакция была определеннее...

— А их уже нет в столовой, они ушли, — сказала Ольга, почувствовав, что рядом тихо.

Ирка соскочила с кровати, выбежала в столовую.

— Они в самом деле ушли... Вот они здесь... в саду!

— Но Ксения сказала в ответ:

— Будем пить чай. Зовите их!

И Ирка подхватила тут же:

— Хватит целоваться! Будем пить чай!

А потом, когда напился чаю, Сережа сказал:

— Наш поезд, наверно, уже перегнали на Ленинградскую дорогу. Мне надо ехать.

Ксения заплакала, у Бардина щеки стали мокрыми, а Ирка сказала:

— Перестаньте, а то я тоже заплачу!

Только Ольга была спокойна, печально-спокойна: то ли она выплакала свои слезы раньше, то ли действительно не знала, радоваться ей или печалиться.

А Сережка уже шел по большой садовой дорожке к калитке. И Зоя была рядом, в отцовской телогрейке и в этих опорках на босу ногу.

— А ты куда, Зоя? Куда ты? — крикнул ей Бардин, распахнув створки окна.

— До вокзала я, Егор Иванович... А может быть, дальше, — сказала она и невысоко подняла руку.

— Может, дальше, — обернулся Сережа и тоже поднял руку.

А потом было видно, как они взошли на холм и пошли не оборачиваясь. Они знали, что вся семья стоит у окна и смотрит им вслед, но они будто условились, что не будут оборачиваться, молчаливо условились и не обернулись.

Бардин думал: «Твоя любовь к сыну может тебя переделать, Егор Иванович, перекроить натуру твою, да, вопреки сопротивлению жестоко перекантовать твой характер, который, казалось, к сорока двум годам менять поздно. Был преуспевающий дипломат Егор Бардин, привыкший вкалывать за троих (чего греха таить, любил вкалывать!), русский потомок царя Лукулла, а стал... Кем стал?... Вот она тебя скрутит, эта любовь к Сережке, сдавит руки и отведет за спину — да и столкнет тебя с кручи: плыви, храбрец, ты все можешь!..»

В предрассветье на кремлевском холме слышно, как движутся на юг птичьи стаи. Запрокинув голову, можно рассмотреть чуть искривленный клин. В этом движении хочешь не хочешь, а усмотришь нечто неодолимое, на чем стоит природа. Точно копьё, пу-

ценное сильной рукой, живой этот клин пронзает тучи. Только последний журавль оплошал: вон как чашит больным крылом, поспешая за стаей... Сколько небось народу, служивого и штатского, обратило взгляд на неверный полет бедняги, посочувствовало ему... Эко, неудачник, и каким огнем тебя прихватило, каким куском железа скособочило? И было ли это в начале твоего пути, где-нибудь у студеной вод финских или вот этой страдной ночью над волховскими топями и ржевскими порушенными лесами?.. И что ты увидел своим немудрячим птичьим глазом, который, говорят, сильнее цейсовских стекол, на пути от моря и что понял: какая грядет пора и что она несет России?

Птичи клинья, устремившиеся на юг, все больше обретают для людей в зеленых шинелях смысл знаменья. Чем-то эти деформированные клинья похожи на комету Галлея. И, как комета Галлея, способны породить страх в слабом сердце человека. Вот она, карающая десница, и на сей раз! А Наполеон смотрел на небо, в своем восемьсот двенадцатом? И видел ли птиц, хлынувших прочь? И видел ли в этом белую смерть? И не хотел ли обрести крылья, чтобы устремиться вослед?..

И люди в зеленых шинелях листают календари: «Когда снег в России?.. Скорее, скорее — обскákat зиму!.. Обойти сыпучее русское ненастье...» Нет, все должно быть спланировано с чисто немецкой тщательностью. Удар на Ленинград не даст победы, как не даст победы удар на Харьков и Воронеж — все решит московское направление... День и ночь гремят эшелоны, стремящиеся к Москве. Вяземские, юхновские, клинские леса стали своеобразными арсеналами фашистской мощи. В лесу — танки, в кустарнике по обочине шоссе — самолеты. Главные удары на Дмитров и Тулу, охват Москвы с севера и юга. У Москвы должны быть отобраны дороги, еще связывающие ее со страной, и главные из них — Ярославская, Горьковская, Воронежская... Первыми должны пасть фланговые — Ярославская и Воронежская, последней — тыловая, Горьковская... Первый удар — в лоб, позже в обход, по флангам. В предрассветье на Кремлевском холме слышно, как движутся на юг птичи стаи.

В большой дом на Кузнецком пришла автомашина с яблоками. Машина стояла посреди двора, открытая обозрению из всех ста окон. Яблоки были один к одному, крупные, тронутые знойным солнцем сорок первого года, ярко-желтые. Их ссыпали в мешки, плоды гулко постукивали, ни с чем нельзя было сравнить этот звук. Казалось, обычная картина: разгружали машину с яблоками, а у окон стояли люди, не могли оторвать глаз от мешков с плодами.

— Вон какая сила, это небось ранняя антоновка?

— Природу ничем не смутишь, она родит напрапалую.

— Какой свет идет от яблок — отдают солнце.

— Как не отдать, нынче солнца было много!..

Раньше, в начале лета нет-нет, а кое-кто из старых наркоминдельцев, ушедших в армию, и заглянет в наркомат, а сейчас тихо. Где-то на дальних дорогах закипает новая битва. Что-то в этой битве похоже на первые дни войны. Кажется, выступил Гитлер — в поход на Москву. Как тогда, в немецких передачах маршевая музыка и зловеще-торжественное: «Танки!.. Танки!..» Битва закипает под Вязьмой. Говорят, что в Химках ночью была слышна артиллерийская стрельба, да только ли в Химках?.. Сегодня поутру, когда Бардин шел на работу, кажется, на Серпуховке он стал свидетелем разговора. Нет, в их внешнем виде не было ничего от обывателей, даже наоборот, интеллигенты, два старых интеллигента, очевидно, коренные москвичи: «Вчера надел белую сорочку, а сегодня она черная! Вот глядите, черная! Вся Покровка усыпана пеплом, сыплется черт знает откуда — что-то жгут!..» По наркомату из рук в руки передается «Красная звезда» — с некоторого времени военная газета стала самой популярной и среди дипломатов. Как повсюду в Москве, ее зовут доверительно-ласково «Звездочка». Считают, что она дает информацию вслед за событием, без пауз, а поэтому в своих оценках точна. А сейчас газета заговорила языком опасности: «Под угрозой само существование советской власти». По кабинетам пошла карта Подмоскovie, смешно сказать, карта, которую брали с собой, когда отправлялись по подмосковным борам и рощам за груздями и опятами. Иностранцы корреспонденты, которые все еще собираются в своем



полуподвале, утверждают, что некое официальное лицо дало понять послам и посланникам, аккредитованным в Москве, что дипкорпус, возможно, покинет Москву. Немецкое радио сообщило, что с вяземским котлом покончено и все немецкие войска, занятые в этой операции, примут участие в наступлении непосредственно на Москву...

Кабинеты преобразились: там, где не было диванов, они поставлены — отныне рабочий день простерся от одной утренней зари до другой. В затененном углу комнаты на гвоздичке, вбитом в шкаф или стенку, противогаз и каска. В сумерки по коридорам идет очеред-

ной наряд тех, кому сегодня дежурить на просторной крыше наркомата. В доме, бесконечно гражданском, в котором со времен символической буденовки Чичерина военной формы не было, рассказывают едва ли не марсиане в брезентовых плащах и касках, с противогазом на боку, который по громоздкости может соперничать с парашютом. Впрочем, пейзаж, который при желании можно обозреть с крутого утеса-дома на Кузнецком, мало чем отличается от марсианского: темное, подсвеченное луной небо, белая зыбь аэростатов, еще удерживающих на себе отблеск солнца и поэтому еще более фантастических...

...С отъездом Сережки Бардин жил на московской квартире у Второй Градской, вернее, не в квартире, а в маленькой комнатке, заставленной старыми приемниками и ящиками с деталями и инструментом, с которой квартира начиналась. Здесь было царство сына. Приезжал за полночь, наскоро раздевался, валился на кровать, еще хранившую (по крайней мере, так казалось Бардину) Сережкины запахи. Дальше этой комнаты не шел, не хотел идти. Вставал ни свет ни заря, отправлялся пешком через парк к Крымскому мосту, а потом уже на метро доезжал до Дзержинской... Эти двадцать минут тишины, когда поутру он пересекал парк, стоили жизни. Деревья вдруг взялись и отцвели разом, отцвели тоскливо-жадным цветом октября. Они в самом деле пламенели, как на погиль, их листьями, как стелющимся огнем, была укрыта земля... И едва он входил в пределы этой пламенеющей тишины, нелегкие думы обступали его. Сережка уехал, точно канул в воду. Если бы не письмо от Зои, что ушла в то утро с ним, пожалуй, не узнали бы, куда он подался. Письмо было помечено неведомой деревушкой Ивановкой. Попробуй сыщи на Руси Ивановку — сыщи ветра в поле. Только и утешение, что та Ивановка была ржевской... Писала, что Сережка получил мотоцикл. Всю жизнь мечтал о мотоцикле, просил отца, отец отказывал — боялся, напорется на столб и поминай как звали. Отец отказал в мотоцикле, а война подарила. «Хочешь мотоцикл — получай, катайся на здоровье!.. Так-то... На игрушке — к праотцам!.. Куда как весело!» А она радуется: я в медсанбате, а Сережка на мотоцикле. Сказать — дети, еще не все сказать... У него

и глаза и ум матери, а она родилась на свет с душой страдальцы. Господи, как же ее испепелило горе — не человек, головешка. И жаль ее, и нет сил совладать с собой... Она себя не видит, Ксения. Она кажется себе даже красивой. Последний раз, когда был в Ясенцах, — лежит с накрашенными губами и пробует даже улыбаться... Разумеется, Бардин испугался. Испугался, а потом подумал, что не надо было обнаруживать испуга, тогда бы она не пришла в ярость. Разъярилась она не на шутку — Бардин оскорбил в ней женщину... Действительно, оскорбил, но что делать с собой?.. Ольга умна, но тоже какая-то странная. Все они какие-то... странные, с неутоленным самолюбием. Говорят, отец их всю жизнь пытался доказать, что лошадь Пржевальского должна называться лошадью Крепина — он первый ее обнаружил. А Ольга — есть в ней их самолюбие и их одержимость, однако и то и другое молчаливое, упорное, без бахвальства. Были молодыми, потешалась над любовью Егора ко всему сладкому. Ольга конфетам предпочитала соленые огурцы, звала сластеной, все порывалась бороться, а однажды скрутила Егору руки и привела к жене: «Вот возьми своего «Егоушку» (жена картавила), пристаёт к незамужним женщинам...» Вышла замуж и не оставила своих чудачеств — не стесняясь мужа, шла медведем на Егора, демонстрируя силу. А вот овдовела и странно притихла: смотрела на Егора исподлобья, молчала, старалась не показываться на глаза, из-за стола вставала первой, а когда доводилось говорить, была грубо немногословна. «Ты побереги свою силу для жены, она скажет спасибо...» Бардин смотрел на нее, робея, ей ведь было известно, что за двадцать шесть лет их знакомства он ни на дюйм не преступил грани... Она была единственным человеком, который все еще бывал в Ясенцах, да вот еще старый Иоанн Бардин, разумеется, до того, как заболел. Как-то не верилось, что и он способен занемочь, — никогда не болел, да и не очень удивлялся тому, что не болеет, считал это само собой разумеющимся. «Не должен болеть Бардин!..» Для него весь мир был разделен надвое: на Бардиных и на всех остальных. Врачи — для тех, остальных, а Бардины, они не болеют. А вот поехал к сестре в Суздаль и заболел. Письмо, которое получил Егор, сразу

и не понять. «Это не болезнь плоти, это болезнь души. Была бы душа спокойна, вовек бы не заболел!..» Ни о чем не просил, но из письма следовало: придется ехать в Суздаль...

Надо огдать должное Иоанну, он не просил. «Вот хвороба взяла в оборот, а ты уж как знаешь!..» — будто говорил он. «Как знаешь? Отец-то один... Было бы три их, может, и подумал, а тут... В общем, пойду в соседний гараж. Нельзя до Суздаля, хотя бы до Владимира. Нельзя в кабину, в кузове перегерплю. Помоги, браток, батка занемог!.. За день не управлюсь — за сутки, пожалуй, поспею! Буду ехать день и ночь...» Вот так шел Бардин по пламенеющей листве парка от Второй Градской до Крымского моста, предавшись невеселым раздумьям...

Итак, еще в августе Иоанн подался к старшей сестре, которую восьмидесятилетнее сиротство — старая дева, чернобыль в придорожье, сухой, обсыпанный пылью, — сделало едва ли не провидицей. Тогда у дороги было одно течение — к Москве. Теперь река обратилась вспять — на восток. Москва встала на колеса. Все, что испокон веков намертво стояло на земле, уйдя каменными корнями в самую ее утробу, — многоярусные заводские корпуса, магазины с зеркальными витринами, особняки, многоквартирные блоки, мощные корпуса академических институтов и лабораторий, — сама Москва, не город, государство со своим бытом, языком и порядками, теперь оперлась на колеса и пыталась сдвинуться с тех мест, где самой историей ей стоять предназначено: от Серебряного бора, Соколиных холмов, Воробьевых гор, мокрых берегов Яузы, от самой Москвы-реки... В эту ночь, оглашенную криками на мостах и переездах, гудением сотен и тысяч автомашин, уткнувшихся слепыми глазами погашенных фар в ночь, безнадежно заблудившихся, а поэтому злых, Бардин думал о том, что во многовековой истории России не было поры отчаянно-горестнее и труднее.

Ночью проехали Владимир. Знал, где-то здесь с кручи грозит земле и небу серебряными кулаками собор Успения, где-то стоит, согнув крутые плечи, собор Дмитрия, где-то встали поперек дороги не воротами — твердыней Золотые ворота. Но Бардин ничего не ви-

дел — была белесая мгла октябрьской ночи, отмеченная островами леса и тумана, белые полосы рек на отшибе да небо без конца и края... Он был в Суздале, когда ночь перевалила за середину — до рассвета оставалось часа три. Шел по улицам, затопленным тьмой (далеко же простерлось море тьмы), думал: «Однако жестоки Бардины, если сестру родную оставили в такой глуши... куда цари ссылали жен и наперсниц...» Искал дом Бардиной Ефросиньи не по воротам и ставням — по контурам крыши только ее и можно было углядеть в этой первозданной темноте. Вскинул высоко ручищу, нащупал щеколду, застучал — небось девический сон зыбок, должна услышать.

— Что колотишь, святой человек, не к глухим пришел!

— Откройте... тетя!..

— Егорка!.. Ох, господи... Иван, Иван, Егорка приехал!.. Егор, говорю, приехал!.. Как, какой Егор? Твой, твой!.. Ах ты, царица небесная! Погоди, Егор, не входи, я не одета!

Да, это она — и векового девичества, оказывается, мало, чтобы перестать быть женщиной.

— Что же молчишь, дружочек?.. Я спрашиваю «Кто там?», а ты молчишь, как в рот воды набрал... Только, чур, не зови меня тетей!.. У меня имя есть. Где ты здесь?.. Дай мне руку... Ах, какие они у тебя холодные и колются...

— Да откуда им колоться?

— Как откуда? Я же чувствую, ты меня уколел!.. Поднимай выше ноги — тут где-то метлу обронил Городец. — Она все еще зовет его просто Городцом, она зовет его экономом, на самом деле он душеприказчик, злые языки говорят, друг сердца. — Всю землю усыпал метлами. И откуда он только их так много взял?.. Вот тут у меня где-то электричество, протяни руку направо и поверни выключатель. Я говорю, направо, а ты налево... Дай-ка я сама, дружочек...

У нее редкое искусство оглушить человека. Она это делает корректно, больше того, вежливо-корректно, однако очень последовательно. Проживешь у нее в доме дня два и превращаешься в олуха царя небесного.

Вспыхивает свет. Она стоит в двух шагах от Бар-

дина, подняв крутой, с ямочкой подбородок, будто сейчас с нее будут портрет писать — ни дать ни взять Ермолова на известном серовском портрете.

— Да вы ложились ли спать, Ефросинья Кузьминична?..

— Разумеется, как всегда, в десять, а что тебя, собственно, смутило? Ах, понимаю, я должна была явиться к тебе простоволосой, в шлепанцах на босу ногу... Не так ли? Ты же знаешь, что неглиже — не мой стиль...

Да, Бардин это знает. Как знает и то, что за пятьдесят лет своего отшельничества она не растеряла многого, что дала ей семья, и прежде всего привередливой чистоплотности, хотя ей нелегко было держать свой дом в чистоте — как ни экономно она вела хозяйство, нередко жестокая рука нужды касалась и ее.

— Как отец, Ефросинья Кузьминична? — Бардин полагает, что внимание, на которое вправе рассчитывать она, ей оказано и он может спросить теперь об отце.

— Был Клепиков (она сказала Клепиков, полагая, что его обязаны знать, видно, какая-то здешняя знаменитость), нашел инфлюэнцу, а это значит — постельный режим, покой и тепло... Все это у меня есть в избытке... Больше, чем в Москве. Одним словом, сейчас лучше. Отец в сенцах; решил умыться на сон грядущий.

— А при чем Москва, Ефросинья Кузьминична?

— Сто лет маку не родило и голоду не было... Фиораванги слепил свой собор в Кремле по образцу и подобию владимирского, а Владимир младший брат Суздаля... Вот то-то!

— Небо просторное, Ефросинья Кузьминична, под ним и Москве, и Суздалю место найдется...

Она протянула руку к столу, на котором лежала полоска связанной шерсти, видно, связала накануне.

— Чем оно просторнее, тем дурной голове больше воли. Потеснее было бы, небось и глупость не разгулялась бы. — Она обронила спицу, быстро наклонилась с явным намерением не дать поднять ее Егору. — Вот в склепе женского монастыря свели эпитафии, да, единым махом взяли и свели!.. Как хочешь, так и разу-

мей, где кто лежит: где Петрова суженая, а где Иванова? А ты говоришь, простор! Простор нужен уму!

Она потянула нитку и в один миг распустила шерсть.

— Пойдем, небось уже умылся...

Они пошли в дальний конец дома — там была светелка, где обычно жили гости Ефросиньи и где дважды останавливался и Егор.

Все на своих местах, все, что помнит Бардин в доме попервоначалу, осталось на своих местах, будто бы отлито из чугуна и обречено здесь стоять вечно. Напольные часы с боем в правом углу. Книжный шкаф со словарем Граната и многотомным брэмовским изданием «Мира животных», цветочница синего стекла, высокая и узкая, будто стебель гладиолуса, который помещен в нее, венские стулья вдоль окна, вазы с яблоками, кажется, точно такими, какие были в этом доме в ту осень... дай бог памяти, шестнадцатого или семнадцатого года. И надо всем этим Ефросинья Кузьминична, высокая, стянутая корсетом, с прической в виде пасхального кулича, тоже отлитая из чугуна, тоже обреченная украшать этот дом вечно.

— Иван, Егор к тебе приехал, — сказала и пошла прочь, неистово стуча каблуками, будто хотела ими досказать все, что не сказала.

Иоанн, вооружившись лупой, крупной и странно прямоугольной, в черном ободке, рассматривал фотографии. Видно, фотографии были нечетки, и старый Бардин, отстранив лупу, водил ею по матовой поверхности отпечатка.

Егор взял лупу из рук отца, попробовал поднести ее к глазу.

— О, сильна, bestия! Небось удружил приятель со Знаменки? — Человек, о котором говорил Егор Иванович, был добрым дружкой Иоанна, бесценным и бескорыстным сподвижником по собиранию Иоанновой библиотеки о премудростях отбора во флоре и фауне. — Он снабдил тебя таким дивом?

— Нет, не угадал, — заметил Иоанн и пододвинул сыну стопку фотографий, которую рассматривал только что. — Стекло, оно и есть стекло, эка невидаль! А вот это действительно диво!

— Ну, на это тебя хватит. С икон?

— Угадал, с них.

— Богомаза.. не Бардиным ли величали?

— Ну, вот тут вся эрудиция по части иконописи и иссякла — не Бардиным.

Егор Иванович вздохнул, точно свалил с плеч чувал пятипудовый.

— Ты своими загадками печенки мне занозил, того гляди, кровью изойду. Не мучь, объясни.

— Так и быть, пощажу, да только в последний раз, — возликовал Иоанн и выждал минуту, ублажая себя сладостью победы над сыном-строптивцем — не часто Егор винился вот так. — Гляди попристальнее, иконы-то в клеймах! Понял!

— Вижу, в клеймах! Да что из того?

— Эко, нерасторопен, точно и не Бардин! — ткнул Иоанн сына еще раз, мог и не ткнуть, да велик был соблазн дать ему по заливке. — В клеймах-то вся жизнь наша в ту далекую пору! Да нет же, не духовная, а светская, пойми, чадо милое, немудреное, светская! — воскликнул Иоанн, будто отвечая на возражения сына, хотя тот и не думал возражать — он был кроток в эту минуту не меньше известного библейского животного. — Вот и присмотришься. Тут и мужик с сохой, и баба с прялкой, и пастух со стадом... А как подмечены подробности: и избы, и амбары, и овины. Да что овины? Мужики с бабами как точно писаны! А ведь это, почитай, век пятнадцатый, если не четырнадцатый!.. Ты говоришь «клейма», а я говорю «летопись»...

— Это ты говоришь «клейма»!

— Я-то знаю, что говорю! Мне эти клейма вот как нужны. Они мне расскажут такое, что я в древней рукописи не сыщу.

— Про поля ржаные да гречишные? — спросил Бардин.

— А ты что думал? Расскажут! Спасибо, что приехал, — он коснулся влажно-холодными губами щеки сына, указал слабой рукой на стул рядом, пошел к кровати. Лежал, тяжело дышал, молчал. Он стал за эти дни оливковым — лицо, шея, даже кисти рук. Только глаза остались прежними. Некогда светло-серые, просвечивающие до доньшка, они стали с годами молочно-

серыми. Он смотрел прочь от Егора, редко моргал, будто был так занят своими думами, что забывал вовремя моргнуть. Он молчал, отворотив глаза не только потому, что ему было худо, точно копил обиду, жестоко единоборствовал.

— А Москва... того, тю-тю! — вымолвили его фиолетовые губы.

Хотел знать, что стало с Москвой, наперекор тяжело своему состоянию тянулся к газетам (вон их какая груда на стуле) и прилаживал репродуктор, хотя радио никогда не любил («Суетная штука! День и ночь точно наперегонки, да и мыслей на пятак нет!»), наверно, пытался говорить с сестрой, и конечно же спорил, не просто спорил — негодовал. На кого? На Егора, конечно, только он и ему подобные держат Иоанна в неведении. Яков, тот молчун и рохля, он по военной части, а там все ясно. Мирон — на шумит, надерзит и ничего толком не скажет, а вот Егор... Этот знает, что новость для отца хлеба насущнее, а молчит. Его к стенке не припрешь! В мать пошел, та тоже была «режь — кровь не пойдет!» Ничего ты ей не докажешь, хотя из тех ласковых телков, что двух маток сосет. У этого тоже слова хотя и нынешние, а по сути своей божьи. Дипломатия! Это и есть... поповство, только без ряса! По разумению старого Иоанна, есть в ней, в этой дипломатии, что-то от елейности и келейности церкви. Вот и сейчас: поди как кроток, а попробуй тронь.

— Это как же понять «тю-тю»?

— У меня нет сил с тобой спорить. Ты же понимаешь, как понимать.

Не просто уразуметь смысл этих слов: то ли он взывает к состраданию, то ли хочет защититься состраданием и сказать нечто такое, чего в иных обстоятельствах не сказал бы.

От тебя все стерплю, батя, от тебя терпеть легче.

— Наверно, так и надо с ним говорить сегодня — лежачего не бьют. К тому же скажешь — не простишь себе потом. Что с него взять. Но он же воспользовался и этой фразой. Лежит, жуёт губы, они у него совсем чернильные, будто выпачкал химическим карандашом.

— Ты вот видел ее? — он скосил глаза на дверь,

в которую вышла сестра. — Явление! От этого так просто не отвертись, объяснить надо, себе объяснить...

— А чего тут объяснять, все ясно. Он, Городец этот, был для нее самцом, да из тех, что бабу в полон берут прежде всего своей мужичьей силой... На этом, прости меня, вся ее вера и держалась! Ушло это — ушла и вера. Чего тут голову ломать?!

Старый Иоанн ничего не сказал, только кротко и печально посмотрел на сына.

— Ты что ж молчишь, батя?

— Что сказать? Мало видел, хотя полмира проехал...

— Видел больше — просвети.

Старик приблизил к свету руки — они лежали как-то косо, будто вывихнутые.

— Ты бывал в русских церквах после той войны? Если же бывал, то ничего не видел. Я не боюсь сказать — не видел!.. Вот это половодье черных платков на платформах, на дорогах в церковь, на церковном дворе, на паперти, у всех церковных окон, в самой церкви... Вдовья Россия! Ты слышал, как они плачут, в голос, в рев?. Это стон по мужской силе? Глупость! Не просто глупость — кощунство! Это плач по человеку, по семье, по дому, по распятой жизни! Ты войди в положение этой женщины, которая вот так осталась одна со своим горем, сиротина сиротиной — она да этот вдовий платок.

— Прости, батя, тогда в чем проблема?

— В чем? А в том, что ты должен этого человека утешить...

— Я?

— Да, ты должен утешить. Ты не можешь, а церковь может.

Егор не сразу собрался с мыслями, хотя должен был признать, что в них была своя логика. Отец не просто болел — думал.

— Это что же, проблема... совести, батя?

— Нет, почему же? По-моему, веры.

— Веры?

Отец будто не слышал вопроса. Он смотрел на свои руки, которые все также косо лежали на одеяле, и точно не узнавал их. Он не слышал вопроса или хотел сделать вид, что не слышит. И оттого, что вопрос остал-

ся без ответа, он звучал в сознании еще настойчивее: «Веры? Веры?»

— Ты подвел меня к двери и хочешь, чтобы я вошел в нее, не говоря, что это за дверь...

Он глядел на сына исподлобья. Глаза его точно застлало туманом, но от этого они не утратили ни мудрой зоркости, ни силы:

— Нет, почему же. Я скажу: все наши неудачи — и Минск, и Киев, и, как теперь, Смоленск и Москва — от одного: веры недостает... Я хочу веры, а ты ее не можешь мне дать!

Бардина словно на крыльях подняло.

— Вот этого я от тебя еще не слышал! Что же ты хочешь сказать?

— Ты меряешь на свой аршин, а ведь ты — это еще не Россия!

— Что ты хочешь сказать?! — почти выкрикнул Егор, выкрикнул так, что в приоткрытую дверь глянули ненастные очи Ефросиньи да конец ее черного платка и исчезли.

— У меня сил нет спорить с тобой, — вновь сказал старик и посмотрел в окно. Ночь уже была не такой аспидно-черной, как час назад, — белесо-сизые сумерки занавесили окно, это был еще не рассвет, но ночь кончалась. — Плесни водицы. На тебя, парень, силы надо...

Он напился, тронул ладонью губы, отставил стакан.

— Вот ты говоришь, Октябрь. Когда Октябрь совершился, народ пошел... за стягом. Чей стяг был справедливее, за тем и пошел. Красный стяг обещал мир и землю, за красным и пошел. Верил на слово. Ты понял меня? На слово! И в гражданскую тоже на слово — какая там была земля, какой мир?.. На слово! Ты следи за моей мыслью и разумеи: и в революцию, и в гражданскую народ шел за стягом. Дело, оно только началось и было как тот журавль в небе... В общем, народ клал на одну ладонь то, что было прежде, а на другую то, что ему обещали, и взвешивал, по-простому, по-мужицки пытался определить, какая рука потяжелее, — он повернул руки ладонями вверх, однако, застеснявшись, спрятал их под одеяло. — Худо ли, хорошо, а на одну ладонь легло дело, постылое, трижды нелюбимое, нередко ненавистное, но дело, а на дру-

гую — слова. Да, слова, которые обещали рай небесный на земле. И слова оказались весомее дела, слова взяли верх! Ты следишь за моей мыслью? — Он вновь пригубил стакан, отпил добрую его половину, видно, волновался, внутри жгло, хотелось пить. — С тех пор прошло, дай бог памяти, почти четверть века. По тебе, радостно-победных, а по мне, непростых, однако не в этом суть. Впервые, ты уразумей это, впервые народ может положить на вторую ладонь тоже дело и взвесить. Не просто слова — дело! А итоговую черточку подбей сам, как умеешь... У меня сил нет на это, тут силы нужны. Кстати, пораскинь мозгами, как ты поднимешь народ, весь народ, нет, не только таких, как ты сам. Весь народ, да так, чтобы вера была. Без веры мы с тобой не выкарабкаемся!

Бардин опустил на стул у двери.

— У меня иного стяга нет, кроме октябрьского.

— Ты же знаешь, что я говорю не об этом.

— А о чем?

Старый Иоанн попытался привстать. Он даже оперся на локти и взглянул на сына, взывая о помощи, но сын замешкался и не успел — умышленно замешкался или нет, — не успел.

— Ты хочешь воевать за Октябрь и войей себе на здоровье, а тетка твоя Ефросинья — за Россию и за бога русского. Дай ей такой стяг, чтобы он был и ее стягом. А она не одна такая. Пойми, не одна! Ты понять этого не можешь. По тебе, все, кто думает по-твоему, правы, те, кто думает иначе, неправы.

— Мне нет дела до тетки Ефросиньи! — произнес Бардин, сдерживая себя. — Да и нет в природе такого стяга, чтобы были на нем моя вера и бог русский. Меня интересуешь ты, отец мой родной! Как ты, вот что я хочу знать.

— Как я? — переспросил Иоанн, переспросил кратко, будто этот вопрос возник перед ним впервые. — Я с тобой, но при одном условии.

— При каком?

— Мне надо, чтобы то, что лежит на ладони, было потяжелее...

— Это и зовется корыстью! — вознегодовал Егор, однако голоса не возвысил — не хотел вмешивать в разговор Ефросинью.

Иоанн молчал. С нарочитой неторопливостью взял со стола газету, развернул, положил обратно.

— Значит, ладонь легка, отец? — попробовал возобновить разговор Егор, но Иоанн продолжал хранить молчание. — Легка?

— Легка, — ответил Иоанн, когда молчание сделалось неприлично долгим.

Егор встал, да с такой силой, что вода из Иоаннова стакана выплеснулась на газету.

— Легка, говоришь? — Он зашагал и вдруг услышал, как заскрипели, загудели, застонали половицы — сам Ефросиньин дом пытался вступить за Иоанна. — Как ты можешь говорить такое?

— А почему мне не говорить? У меня перед тобой преимущество!

— Это какое же?

— Ты не видел старой жизни, а я видел! Тебе не с чем сравнивать, а мне есть!

Егор подошел к отцу, стал над ним.

— Так ты используй свою привилегию, используй сполна. Ну чего же молчишь? Или мне сказать за тебя, а? Вот ты говорил мне, и не раз: «Всею благодатью общества грош цена, если оно не сумело поднять человека к свету». Ну возьми, к примеру, этот степной аул на Кубани, куда мы ездили с тобой, и не раз. Там, где председателем колхоза этот адыгеец Мосса... Ну, разумеется, там были грамотные и до революции, по-русски грамотные, но в год на аул прибавлялось по одному такому грамотею! Я точно подсчитал: весь аул стал бы грамотным через четыреста лет! А при революции он одолел эту задачу даже не за четверть века... Да что грамотность? Здоровье народа — что может быть насушнее? Тот же Мосса, нестарый человек, а помнит: в семье дяди на одной неделе дифтерит троих детей сожрал. А сейчас худо-бедно, а такого у нас нет...

— Каверза ты, а не человек: чтобы отца родного убедить, так он, видите, отправился в аул степной.

— Погоди, а почему бы мне не сказать об ауле степном, если ты этот аул знаешь? Или это, по твоему разумению, не Россия?

Иоанн улыбнулся своей улыбкой тишайшей. Что-то почудилось ему в последних словах сына такое, что заставило его так улыбнуться.

— Ты эти свои фокусы оставь! — воскликнул Иоанн, и его улыбку точно ветром сдуло. — Хворобы, которую ты разумеешь, я не подцепил! Ты понял меня, у меня нет хворобы этой и не будет! — Он потянулся грубой ладонью к щеке, стал ее тереть, будто она онемела. — По мне, у всех народов один праотец — человек! Если у тебя память не отшибло, то ты должен вспомнить: когда я родил этот тяжелый колос, ну, этот, бардинский, то первую пригоршню зерен отдал адыгейским ребятам, ну, там, где Мосса, которого ты припомнил, и первую делянку высеял у них, на Урупее! Ты вспомнил теперь — на Урупее! — Иоанн умолк, только слышно было его дыхание, уже старческое. — Разве я говорил, что мы ничего не сделали? — произнес он примирительно. — Сделали, но могли сделать в три раза больше... — Он вновь раскрыл ладонь. — То, что лежит на моей руке сегодня, могло быть повесомее..

— Это как же понять «повесомее»? Не всегда хлеба было вдоволь?

Иоанн не спешил ответить. Потянулся к газете, но отнял от нее руку, недотянувшись, будто она была накалена, — не хотел показывать, что хочет выгадать минуту.

— Белого хлеба народ так и не наелся, — заметил он угрюмо. — И это в России, а?

— Хлеба белого и впрямь было не вдоволь, да так ли вдоволь, его было прежде, белого-то? — спросил Егор. — В ауле степном — кукуруза, а в наших местах, ярославских, — черный. Не так ли?

— Так-то оно так, но задача эта для державы советской первая. Решили мы ее? — Егор заметил, что Иоанн покрылся испариной, стал красным — этот спор потребовал много сил, больше, чем у него было.

— Что ты говоришь со мной, как знатный гость американский? Это дело больше твое, чем мое. Ты знаешь, как нам было трудно?

Иоанн тронул ладонью лоб, ощутил, что ладонь мокрая.

— Тому солдату, что сидит сейчас в окопе и ждет, когда нагрянут танки немецкие, нет дела, что нам было трудно, — сказал Иоанн, собравшись с силами.

— Нет, неверно, — возразил Егор, не тая злости, и

вновь под его сильными ногами застонали, закричали Ефросиньины половицы. — Ему есть дело до этого, и он это понимает. Он понимает, он...

Когда Бардин вышел из дома и, оглянувшись, увидел в неверной мгле предрассветного утра суздальские соборы, они ему показались хмуро-задумчивыми, будто мысли и заботы этой ночи дошли и до них.

## 32

Тамбиев сказал Грошеву, что вхож в семью Глаголевых. Сказал между прочим, не предполагая, что Грошев не преминет этим воспользоваться. Оказывается, медицинский журнал напечатал статью Александра Романовича о лицевых операциях и Баркер, которого эта тема увлекла, просил отдел печати организовать встречу с хирургом. Грошев полагал, что нет причин отказывать англичанину, и просил Тамбиева поехать с корреспондентом, впрочем, Грошев сказал, что это должен решить сам Николай Маркович.

Тамбиев был обязан знакомству с Глаголевым Анне Карповне — она была верным сподвижником Александра Романовича на ниве профессиональной. Маленькая женщина, нелепо косолапая, с огромными ярко-черными глазами, умно-внимательными или пугливо-удивленными, Анна Карповна всегда была корректно-приветлива и радушна. И когда она говорила обнадеживающе «Александр Романович вас примет», и когда она вынуждена была сказать «Александр Романович не сможет вас принять», она это делала одинаково добросердечно. Одни утверждали, что известный врач ценит в ней железность, впрочем, «железность» — не то слово. Металл способен уставать, Анна Карповна не знала усталости — тридцать лет она работала с Глаголевым день в день. Другие утверждали, что врачу дороги в ней обязательность и точность, — именно благодаря этой точности и безотказности он выгадывает те драгоценные секунды, которые так важны хирургу, когда он берет в руки скальпель. Там, где нужна фраза, ей достаточно слова, там, где нужно слово, ей достаточен жест, кивок, движение глаз. Наверно, это сделали годы и годы совместной работы, а может, нечто такое, что было в самих людях.

Тамбиев сказал Грошеву, что готов ехать с Баркером. Едва ли не в равной мере были интересны в предстоящей встрече и Глаголев и Баркер. Глаголев — человекомски, Баркер... Николай полагал, что предстоящая встреча даст ему возможность осуществить давнишнее желание и ближе познакомиться с англичанином. Конфликт между Баркером и Клином, по мнению Николая, отражал отношение корреспондентов к России в эту осень сорок первого года.

Они выехали поутру, намереваясь провести в госпитале первую половину дня. Машина шла на восток от Москвы. Минувшая ночь была холодной, и октябрьская трава, укрытая толстым слоем инея, выглядела заснеженной. Солнце не было застлано облаками, однако от этого не становилось теплее. Наоборот, иней на солнце был почти ослепителен, и это еще больше делало его похожим на снег. Думалось о зиме. Какой-то она будет? Одетый в овчинный полушубок, в роговых очках и с маленькой трубкой во рту, Баркер, возможно, против своего желания, был чуть-чуть щеголеват, хотя, как казалось Тамбиеву, меньше всего думал об этом. Судя по всему, у него было смутно на душе в это утро. Очевидно, и для него вид осеннего поля, укрытого инеем, отождествлялся с предстоящей зимой: какой все-таки она будет? Но как начать с Баркером воделенный разговор, как поставить вопрос, чтобы он не прозвучал обнаженно, не встревожил бы.

— Говорят, не все спутники Гарримана покинули Москву? — спросил Тамбиев, когда они проехали последний московский переезд. — Полковник Фэймонвилл остался в Москве.

Фэймонвилл был известен Тамбиеву. Сподвижник и друг Гопкинса, он слыл сторонником взаимопонимания с Россией, чем-то его позиция напоминала позицию Баркера.

Баркер повернулся к Тамбиеву, дав понять, что намерен дослушать собеседника.

— В своем новом качестве уполномоченного по лендлизу полковник мог бы многое сделать, — произнес Тамбиев, однако тут же упрекнул себя — новая фраза не приблизила его к тому, о чем он хотел спросить Баркера. — Кстати, хорошо, что это полковник Фэймонвилл, — бросил Тамбиев в отчаянии.

Баркер молчал. Может, он распознал намерение своего собеседника, а возможно, просто сосредоточился, желая ответить Тамбиеву по существу.

— Каждый из тех, кто ратует за помощь России и открытие западного фронта, — он произнес это слово без колебаний: про себя он называл второй фронт западным, — имеет перед собой оппонента, оппонента воинственного, — теперь было ясно, что, имея в виду полковника Фэймонвилла, он говорил о себе. — Согласитесь, что сегодня не очень-то удобно полковнику Фэймонвиллу защищать свое мнение.

— Вы говорите о Вязьме?

— Я говорю о Москве.

Баркер сказал «о Москве», а Тамбиев представил, как еще вчера вечером в ресторане гостиницы «Метрополь», где питались по своим инкоровским талонам корреспонденты, а возможно, в просторных апартаментах американского коллеги, где они нередко встречались, Клин спросил Баркера, спросил без обиняков, подергивая плечом и подмигивая: «Эй, Баркер, ты слышал речь... Гитлера? Слышал, говоришь? Так что ты на это скажешь? Не завидую я тому русскому генералу, что принимал нас под Вязьмой, а ты, Баркер?»

— Вы полагаете, что полковник Фэймонвилл лишился всех козырей? — спросил Тамбиев, когда они подъехали к переезду. На переезде ожидался поезд, и перед шлагбаумом собрался длинный хвост автомашин.

— Нет, я хочу сказать другое, — произнес Баркер, глядя на поезд, который в эту минуту, не сбавляя скорости, проходил мимо. Поезд был длинным и пестрым. Он состоял из пассажирских вагонов, товарных платформ, пульманов, цистерн и даже вагонов электрички — признак отступления. — Русские обороняются, но тем, что военные зовут инициативой, все еще владеют немцы. — Он продолжал смотреть на поезд, последний вагон которого только что прошел мимо, и тотчас грузовичок рядом засигналил, видно, этот грузовичок бывал под бомбежкой, инстинкт самосохранения был у него развит больше, чем у остальных. — Я знаю, пораженчество — не русская болезнь! Но сегодня речь идет об ином. Сила государства, наверно, измеряется тем, как оно... покажет себя в такой день, как сегодня. Вы понимаете меня, понимаете? Франция

сломалась в один день, Польша тоже...— Они оставили позади переезд и продолжали путь.— Главное, найти в себе силы. Способна на это Россия?

У ворот в большой госпитальный двор их встретил старый солдат, несмотря на позднюю осеннюю пору, в пилотке, которая сидела на нем, как шляпа Наполеона, поперек головы. Солдат коснулся кончиками пальцев пилотки и лихо повернул ручку телефонного аппарата. Тотчас явился румянощекий молодой человек в белом халате и надраенных сапогах, назвал себя военврачом Синельниковым и предложил проводить гостей.

— Нет, вы не опоздали, — произнес он, глядя на часы. — Сейчас как раз заканчивается обход.

Они пошли через госпитальный двор. Баркер внимательно посмотрел вокруг с очевидным намерением увидеть такое, что свидетельствовало бы о событиях, происходящих сейчас на западе от Москвы. Стояли санитарные машины — на фанерных фургонках, видимо наскоро сколоченных, были выведены красные кресты, — еще вчера машины были в районе боев. Поодаль, заслоненная желто-зеленой в эту позднюю октябрьскую пору твоей, расположилась широкая подвода, заполненная соломой. На соломе сидела девушка в зеленой куртке медсестры и ела из солдатского котелка. Судя по тому, что девушка не подняла глаз на проходящих и не оторвалась от еды, она была очень голодна, видно, сдала своих больных только что. От машины, стоящей за могучей твоей, шел человек на костылях, с перевязанной головой.

— Ну, знаешь, бризантный снаряд, тот, что взрывается над землей и поливает тебя, как из душа! — говорил он провожающему его красноармейцу и при этом протягивал руку и, шевеля пальцами, пытался изобразить «душ», которым его «полило».

Они получили халаты, и Тамбиев, взглянув на Баркера, поймал себя на мысли, что тот похож на детского врача, который приходил когда-то к Тамбиевым со своим саквояжиком из толстой матово-желтой кожи. В доме Тамбиевых знали, что при всех обстоятельствах доктор пропишет микстуру, настоянную на мяте, и цинковую мазь, но доктора любили и верили ему —

он, этот врач, как сейчас Баркер, был солиден и красив.

Они свернули налево и едва ли не лоб в лоб столкнулись с Глаголевым и сопровождающими его медиками.

— Простите, товарищ военврач, — начал Синельников, немало смутившись — эта встреча была и для него неожиданной. — Господин Баркер, корреспондент...

Александр Романович остановился, нахмурившись, он предпочитал бы, чтобы эта встреча произошла не здесь.

— Здравствуйте, здравствуйте... — второе «здравствуйте» было адресовано Тамбиеву, такое же официальное и корректно-учливое, как первое.—Предупреждаю, операция продлится часа три, может быть, даже четыре. Вы представляете, что значит простоять четыре часа? С вами это бывало когда-нибудь?

Баркер смутился.

— Однажды на Балканах, когда открывали храм в трансильванском городе... Дева. Служба, на которую меня пригласили, длилась пять часов. Аналогия, как видите, своеобразная.

— Но ее достоинство в том, насколько я понимаю, что она не выдумана, — сказал Глаголев. — Я освобожусь минут через пятнадцать. Проводите гостей ко мне, — он поклонился так, как раскланиваются с людьми, которых видят впервые, и проследовал дальше. Шесть врачей, сопровождающих хирурга, повторили этот поклон, ни на унцию не превысив норму приветливости, какую отмерил для себя и для них шеф. Среди военных медиков, сопровождавших Глаголева, была и Анна Карповна.

— Он вынужден прервать обход? — спросил Баркер Синельникова.

— Да, только что доставили инженера воздушной армии. Атака в воздухе, жестокое лицевое ранение. Говорят, хорош, как бог.

— Глаза целы? — спросил Баркер.

— Левый, кажется, задет. Пулеметным огнем из-за спины. Летел на связном из штаба армии на полевой аэродром.

— Это произошло сегодня?

— Два часа назад.

Когда Баркер и Тамбиев были приглашены в операционную, больного уже внесли туда. Большой человек с темно-русскими волосами, чистыми, еще не тронутыми сединой, лежал на носилках. Из груды марли и ваты, которыми была обложена голова, смотрел здоровый глаз. В нем были и мысль, и тревога, и боль. Он все видел, этот глаз, и, как показалось Тамбиеву, на все мог ответить. Губы больного, очевидно, были сжаты намертво, он боялся пошевелить ими, опасаясь растревожить рану, и на все вопросы отвечал этот глаз, печальный и всевидящий.

— Как врач, я должен сказать вам, полковник, вы вели себя великолепно, — произнес Александр Романович, стараясь, чтобы человек, лежащий уже на столе, его увидел. — Майор, который доставил вас сюда, показал мне вашу записку, ту самую, где вы назвали наш госпиталь и указали, как к нему проехать. Вы сберегли свою кровь и облегчили мне задачу. Не тревожьтесь, все будет хорошо, — закончил Александр Романович, и человек, лежащий перед ним, с силой сомкнул веки в знак согласия и, быть может, благодарности.

Тамбиеву удобно было рассмотреть сейчас Александра Романовича: хирургу было теперь не до Тамбиева. Для своего возраста младший Глаголев сохранил и фигуру, и подвижность, и известную быстроту жестов. Он среднего роста, ладно сложен, во время операции любит осторожно разминать плечи, которые у него чуть-чуть покаты, как у женщины. Он скуп на жесты, хотя хорошо чувствует руки, которые у него и сильны, и быстры, — наверно, это профессиональное. В его лице сочетание мужественности и женственности — большой нос и маленькие, тщательно очерченные губы, округлый подбородок, насеченный едва заметной бороздкой, и большие серые глаза, окруженные темными веками, заметно припухшими, все в мелких морщинках. Они, эти морщинки, как земля в засушливое лето, безжалостно резки. Странно, но когда Глаголев пытался сосредоточиться, морщины выступали и глаза казались особенно усталыми.

Кто-то положил пинцет на стеклянный столик, металл, соприкоснувшись со стеклом, высек легкий звон, потом этот звук повторился вновь и вновь, сдержанно,

но настойчиво. Больной неожиданно вздохнул, и утробный голос, сдавленный, больше похожий на мычание, чем на внятную речь, казалось, взрыл гору марли и ваты, которыми была обернута голова, — больной засыпал.

Глаголев стал у изголовья.

— Ближе свет, ножницы...

Будто был включен хронометр, начавший отсчитывать драгоценные секунды, руки врача обрели стремительность. Жизнь была разложена на секунды, только секунды, и ничего больше. Уложишься — спасешь. Просрочишь — погубишь.

Застучали ножницы, и полетела марля, необычно черная, напитанная спекшейся кровью, потом пятно проступило на свежей вате, и Тамбиев увидел пораженную часть лица. Будто сабельный удар распахал щеку, не пощадив ни костей, ни мышц, лицо перестало быть лицом.

Николай видел, как сдвинулись брови хирурга и странно утоньшились губы. Глаголев взглянул на здоровую часть лица, закрыл глаза. Взглянул и Николай и едва подавил вздох. Лицо человека, лежавшего на столе, было мелово-бледным. Оно несло на себе следы боли, но все еще было хорошо верною и мужественной силой линий — абрис подбородка, губ, носа был четок...

— Скальпель!.. — сказал хирург, и в этом слове, произнесенном с тревожной суровостью, казалось, нашли выход и печаль, вызванная сознанием опасности, и ощущение беды, которую так трудно отвратить, хотя врач и обещал, что он эту беду отвратит.

Дело даже не в страданиях, думал Тамбиев, хотя они и адские. Человек потерял нечто такое, с чем он пришел в жизнь, что отождествлялось для сына с именем отца, для жены с именем мужа, — лицо... Он точно раскололся, этот человек, со своими двумя лицами — был один, стало двое, — и, наверно, хирург должен найти утраченную половинку, а если не найти, то сотворить. Должен сделать такое, что человеку прежде было не под силу.

Тамбиев и Баркер вышли из госпиталя и успели почти наполовину пройти большой госпитальный двор,

направляясь к машине, когда Николай Маркович сказал англичанину, что хочет вернуться.

— Мне они показались такими усталыми, — указал он на здание госпиталя, которое сумерки и снежная заметь точно отодвинули в глубь двора. — У них, конечно, есть машина, но я предложу на всякий случай.

— Да, да, пожалуйста, — согласился Баркер, продолжая идти. Он был занят своими мыслями.

Тамбиев был обрадован несказанно, когда Александр Романович согласился. Оказывается, свою машину он отпустил в город, и, как ему сообщили только что, в срок она не вернется. Едва тронулись, Анна Карповна уснула, и разговор, возникший в машине, поддерживали трое, вернее, даже двое: Глаголев и Баркер.

— Россия — орех крепкий для Гитлера! — произнес Баркер по-русски.

— В каком смысле орех? — спросил тихо Глаголев. Он устал и был недобр.

Баркер смутился заметно. Ему надо было соорудить достаточно сложную русскую фразу, соорудить быстро — вряд ли он был готов к этому.

— Русская сила — не пустое слово, — произнес Баркер не без труда и, кажется, был счастлив.

Глаголев молчал, по всему было видно, зло молчал — эти три часа, проведенные им у операционного стола, и, пожалуй, голод (чашка кофе, которую он выпил после операции, не утолила голода) родили в нем столько злости.

— В ту войну нас тоже похваливали и бросали в огонь. «Вы храбрые, вы очень храбрые... Вон как вы здорово горите!» — Он умолк, казалось бы ошеломленный тем, что произнес. — Эти похвалы у меня вызывают реакцию обратную — у меня есть память...

— Простите, но я сказал правду, — заметил Баркер, смутившись.

— Правда, когда люди произносят только то, что подкреплено делом. Все остальное оскорбляет, — бросил Глаголев едва ли не воодушевленно. Он хотел, чтобы Баркер возразил ему — это позволило бы дать англичанину бой, он жаждал боя.

Но бой не состоялся.

— Господин Баркер — наш друг, Александр Рома-

нович, — негромко вымолвил Тамбиев, стремясь спасти положение.

— Знаешь, Коля, то, что сказал я, могу сказать только я, ты уже сказать этого не можешь...

Разговор разладился. Им оставалось последовать примеру Анны Карповны и уснуть или сделать вид, что они спят. Так они и доехали до Москвы.

## 33

Поздно вечером Тамбиева вызвал Грошев.

— Ну как там ваш Глаголев?

— Почему мой?

— Ну это не важно, Николай Маркович. Как он?

— А вы уже что-то знаете?..

— Что именно? Как он запретил Баркеру нахвалять Россию?

— А откуда вам это известно?

— Мне рассказал Баркер, смеясь, разумеется.

— Там-то это было не очень смешно, — сказал Тамбиев, не отозвавшись на смех Грошева.

— Я это понял, — произнес Грошев строго и, сняв крышку с эмалированной кружки, которой он с некоторого времени обзавелся и, как понял Тамбиев, гордился очень (атрибут далекого Востока, где когда-то работал Грошев), отхлебнул горячего чая.

— Кстати, Глаголев сегодня ночью улетает на Волховский...

— Ну, это, надеюсь, вам сказал не Баркер?

— Глаголев сказал, — произнес Грошев, а Тамбиев только ахнул: значит, Грошев знаком с Глаголевым и, чего доброго, знает его ближе, чем знает Тамбиев. — Вы хотите меня о чем-то спросить, Николай Маркович?

— Нет, Андрей Андреевич, но, быть может, вы хотите мне что-то сказать?

— Хочу.

— Я вас слушаю.

Грошев наклонился над эмалированной кружкой, но на этот раз чая не отведал — казалось, ему приятен был сам запах чая, само его дыхание.

— А вы племянницу Александра Романовича знаете?

Вот он, святоша Грошев, о ком заговорил: Софа Глаголева, в прошлом году окончившая архивный инсти-

тут на Никольской, червоноволосая девушка, замкнуто-надменная и неразговорчивая, была дочерью старшего Глаголева, жившего на втором этаже того же особняка у Никитских. Как-то не без участия Анны Карповны Тамбиев помог ей перевести с немецкого журнальную статью о Ганзе и ганзейцах — статьей заинтересовался Исторический музей, где работала Софа. Наверно, отношения между Тамбиевым и Софой на этом закончились бы, если бы не немецкий — он нужен был Софе тем более, что она, подобно всем Глаголевым, знала только французский.

— Да, знаком с нею и через нее с Александром Романовичем. Не с Маркелом, а Александром, — уточнил Тамбиев.

— Это и естественно, — быстро реагировал Грошев.

— Почему естественно? Ведь она дочь Маркела.

Грошев улыбнулся и, сняв очки, принялся их протирать. Видно, очки понадобились ему, чтобы загасить улыбку, это, как заметил Тамбиев, он делал не впервые.

— Вот тут как раз и узел конфликта, — произнес Грошев, когда очки были протерты и возвращены туда, где им быть надлежит. — Софья Глаголева действительно дочь старшего брата, но росла в семье брата младшего...

— Конфликт у дочери с отцом?

— Нет, берите выше — между братьями. Отца ее вы знаете?

— Он, кажется, военный писатель?

— Не только — дипломат военный.

Вон как, дипломат военный! Нет, Маркела Романовича Тамбиев не знал. И не видел даже. Старший Глаголев, казалось, не выходил из своей квартиры на втором этаже, не выходил, да и не подавал признаков жизни... Впрочем, на круглой вешалке, что стояла рядом с лестницей, Тамбиев иногда видел шинели гостей Маркела Глаголева: это все были шинели, украшенные не столько шпалами, сколько ромбами.

— Маркела Глаголева я не знаю, — сказал Тамбиев.

Грошев молчал, прихлебывая чай. По всему, этот чай был сейчас не таким огненным.

— Я был в этом доме в начале войны, правда, не у

Александра, а у Маркела Романовича, и поймал себя на мысли, что вижу войну в новом свете. — Грошев допил чай, осторожно прикрыл эмалированную кружку, отставил. — Того, что может вам сказать Маркел Глаголев, никто вам не скажет. Нет, не только военный аспект событий, при этом стратегический, но и дипломатический, тоже масштабный. Глаголевы — это академия!

— Вы сказали — академия? — изумился Тамбиев, не мог не изумиться. — Это каким же образом?

— Не порывайте связей с этой семьей и поймете. Кстати, я оставляю за собой право попросить вас об одолжении. У Наркоминдела будет просьба к Глаголевым...

Наверно, смысл того, что сказал Грошев, должен был открыться не сразу. Тамбиев запасся терпением. Что-то чудилось Тамбиеву в семье Глаголевых благородно-значительное. Что-то сулила ему эта семья такое, что открывало новое в большом мире Москвы. Был ли это Маркел Романович, Александр Романович или Софа, каждый из них нес Тамбиеву что-то такое, что способно было и встревожить и увлечь. В том кругу, который знал до сих пор Тамбиев, таких не было, хотя самостоятельная жизнь у него началась не сегодня и людей он видел. Тамбиев заметил, ему были интересны люди, на познание которых требовалось время. Надежда, что ты не перестанешь открывать в этих людях все новое, как бы долго ты ни знал их, и была той силой, которая влекла теперь Николая Марковича в дом Глаголевых. И еще: суть этих людей представлялась Тамбиеву доброй, а это, как он понимал, было не малым.

Дом Глаголевых... Этот флигелек стоял у Никитских ворот в глубине двора, необширного, мощного плоским камнем, с озерцами влажной земли; посреди которых в разных местах двора росли старые липы. Флигель был двухэтажным, сложенным из белого кирпича, с удлиненными окнами и дверьми, как, впрочем, и крышей, тоже удлиненной, островерхой, крытой черепицей. Чем-то флигелек напоминал голландские домики, что строили русские баре в конце прошлого века

на отшибе от барских хором и селили там иностранных учителей, агрономов, ветеринарных врачей. Впрочем, и внутреннее устройство флигеля тоже было нерусским, и Тамбиев это обнаружил при первом посещении. В доме было два этажа, соединенных металлической винтовой лестницей (ступени, как запомнил Тамбиев, были как бы тиснеными, вафельными), при этом один этаж точно повторял второй: кабинет с деревянными панелями, гостиная с камином, просторная кухня с кафельными стенами такой лилейной белизны, точно то была не кухня, а перевязочная.

У Тамбиева из головы не шел разговор с Грошевым о Глаголевых. Младший Глаголев был уже на Волховском. Анна Карповна последовала за ним. Казалось, все пути в дом у Никитских отрезаны. Но раздался звонок, более чем неожиданный — Софа. Ну, конечно, всему виной новая Ганза! Тамбиев пошел. Был бы младший Глаголев с Анной Карповной дома, Тамбиев, возможно, не ощутил того, что ощутил теперь. Вот этот дом, в котором ни души, большой дом... Пожалуй, в пустом доме люди чувствуют себя ближе друг к другу. Наверно, тишина такого дома так грозна, что человек должен искать защиту в другом. А может, дело не в этом? А может, все в сознании, что между ними нет третьего? Как в ночи, как в открытом поле, как в дороге, когда есть, разумеется, третьи, и их много, но они все чужие и не нарушают этой грозной тишины...

— Вы когда-нибудь видели портрет Коленкура, писанный маслом? — спросила она.

— Бонапартова посла в России?

— Да. Показать?

— Конечно.

— Пойдемте.

Они пошли к железной лестнице. Софа была на три ступеньки впереди, а поэтому над ним, высоко над ним. Она точно заманила его на эту железную лестницу, чтобы взглянуть на него вот так, сверху вниз. А может быть, ему это померещилось и виной всему та же грозная тишина?

Они поднялись наверх и проникли в кабинет старшего Глаголева. Пахло табаком. В полутьме светились никелированные детали «ундервуда», он стоял посреди

стола с начатой страничкой в каретке. Настольная лампа на тонкой и высокой деревянной ножке была поставлена так высоко, чтобы света хватило и для машинки, и для лежащих рядом книг. Книги лежали по всему столу. Тамбиев взял первую — томик Клаузевица, его максимы. Поднял глаза — фотография. Да не Глаголев ли с Софой? Глаголев? Седой человек в партикулярном пиджаке и при галстукке, сероглазый, видно, глаза очень светлые, на фотографии они почти одного цвета с волосами.

— Это он?

— Да.

— Но ведь он военный?

— Был.

Она говорила, а он думал: она особенно хороша, когда говорит. Даже дело не в том, что она говорит, а вот сам процесс ее речи, это сочетание ее голоса и движения губ... Наверно, это образовалось в ней где-то на пределе ее семнадцати лет вместе с ее красным девичеством и будет живо, пока она будет вот так хороша, как сегодня.

— Какое искусство для вас серьезно, Софа?—вдруг спросил Николай. Этот вопрос возник у него при взгляде на книжный шкаф. Там он увидел длинный ряд книг — собрание Толстого. Имя писателя было тиснуто на корешке четко и повторено многократно: Толстой, Толстой... — Какое искусство?

Она опустила глаза. В ней шла работа мысли, трудная.

— То, что может свободно говорить о смерти, не испытывая ни страха, ни безразличности, ни той меры сострадания, которая парализует способность человека понимать, что есть смерть... — произнесла она медленно, не без труда выговаривая каждое слово. Она хотела ни на вершок не отклониться в ответе от того, что чувствовала в эту минуту: — То, для которого при виде смерти существует главное — философия смерти, самая суть того, что есть смерть. Там, где другие спасаются бегством, оно стремится добраться до самого корня. У него свои отношения со смертью. Разумеется, оно, это искусство, смерти смотрело в лицо, но не оскорбляло ее своим скепсисом и тем более не провоцировало ее — с нею шутки плохи. Бог является для

этого искусства авторитетом сомнительным, смерть — безусловным.

Он затихал и принимался следить, как складываются слова в ее речи. Нет, ему было интересно не только сочетание слов, но и то, какие именно это слова. Вот она сказала: «Бог является для этого искусства авторитетом сомнительным». Да ее ли это слова? Быть может, всю эту тираду об искусстве и смерти она подслушала у Глаголева-старшего? Вот Тамбиев, например, мог и не сымпровизировать все это так, играючи, а должен был выносить. А может быть, она этим и отличается от Тамбиева, что у нее это врожденное?.. Да, то, что ему следовало постичь в результате превеликого труда ума, к ней явилось как свойство ее голубой крови, как качество, так кажется Тамбиеву, интеллекта, который был преемственным. А может, Николай, как это было на железной лестнице, все еще смотрит на нее снизу вверх? И виной этому не столько интеллект, сколько плоть грешная?

Он поймал себя на том, что сделал шаг к двери.

— Погодите, а портрет Коленкура?

Она достала книгу и раскрыла ее. Он смотрел сейчас на портрет, но думал о другом.

— Я не ошибся, книга французская.

— Вы торопитесь? — спросила она, и он, взглянув на нее, заметил, что кожа ее лица сейчас синевата. — Торопитесь, верно? А я поставила чай...

Ему не хотелось обижать Софу.

— Ну что ж, если не долго...

— Пойдемте.

Чайник встретил их веселым посвистом, он действительно готовился закипеть. Она открыла дверцу кухонного шкафа и с робкой торжественностью вынула оттуда вазу с печеньем, а потом масло в хрустальной масленке и брусочек сыра. Именно с робкой торжественностью, чуть отстранив от себя, как показалось Николаю, даже не глядя на то, что доставала из шкафа и на стол ставила. Тамбиев втайне посмеялся над ней: ну, конечно, она чуть-чуть стесняется, что стол ее так небогат, поэтому и смешалась. Она наклонилась к шкафу и, как показалось Тамбиеву, достала полкирпичика черного хлеба, достала и тихо вскрикнула. Когда Николай устремился к ней, она лежала, привалившись к

шкафу, и лицо ее стало си́не-белым, точно в окне вспыхнула молния. Он поднял ее, подивившись, как она легка. Когда он нес ее к кушетке, что стояла тут же, ее рука не удержалась и он услышал, как она ударилась об пол. Испуг объял его: да не конец ли это? Он кинулся в соседнюю комнату в надежде проникнуть в кабинет Александра Романовича и найти там аптечку, но она окликнула его:

— Не надо, все уже прошло.

Он обернулся. Она привстала. Ее рука, такая же си́не-белая, как и лицо, лежала на виске — ей все еще было плохо.

— Это обморок? — произнес он.

— Да, — сказала она и закрыла глаза.

— Голодный? — только теперь он понял — ее свалил запах свежего хлеба.

— Наверное...

Ну вот тут решительно ничего нельзя было понять — на столе сыр с маслом, а ее валит голодный обморок.

Он заставил ее лечь. Когда клал ей под голову подушку, коснулся плеча и нащупал ключицу. Истинно, кожа да кости.

— Да вы ели сегодня, Софа?

Она открыла глаза, в них лежала мгла.

— Нет.

— А вчера?

Она молчала, смежив глаза.

— Я спрашиваю, вчера вы ели?

Она вдруг улыбнулась.

— Нет.

Наверное, надо было накричать на нее, но Тамбиев молчал. Нет, здесь определенно что-то похоже на тайну.

— Ну, тогда есть будем вместе, — сказал Тамбиев и принялся разливать чай. — Погодите, а позавчера вы ели?

Она молчала.

— Ну, отвечайте же, ели позавчера?

Она и в этот раз не ответила. Только отвернулась к стене.

— Возьмите, пожалуйста, плед со стула и разверните. Нет, я сама укроюсь...

Укрылась и точно стала невидимой. Не поймешь, куда делась. Чем-то похожа на мумию из египетского саркофага. Да и лицо ее, словно из папируса, тоже было неотлично от пепельного лика фараоновой суженой. Только и осталось живого — густо-синие капельки сережек в ее маленьких ушах.

— А теперь, если можно, чая сладкого. Только чая.

Он ушел поздно вечером. Ни о чем больше не спрашивал. Ему было хорошо, что она рядом. Оттого, что она, такая несмелая и слабая, вдруг обрела власть над ним. От сознания, что без него ей было бы сегодня худо. Но что произошло с нею сегодня? Ну, конечно, она испытывала себя голодом. Хотела понять, где предел ее сил, и, наверно, была обескуражена, что предел недалек. Но и в этом случае, наверно, надо знать, зачем она это делала.

По природе она молчунья. Улыбчива и молчалива. Эта ее улыбка была будто бы специально изобретена, чтобы меньше говорить. Она улыбалась и тогда, когда соглашалась с собеседником, и тогда, когда хотела сказать ему «нет». В первом случае она будто говорила: «Да, вы, пожалуй, правы, но ваша работа безусловна». Во втором: «Я не могу с вами согласиться, но тут виноваты не столько вы, сколько я. Подумаю и, весьма возможно, соглашусь».

Видно, она избегала категоричности во всем. Тамбиеву казалось, что это она делала не столько подсознательно, сколько сознательно. По ней, как полагает Тамбиев, твердо сказанное «да» или «нет» делают затруднительным общение с людьми, так как могут столкнуть ее с такими же «да» или «нет» собеседника. Ее отношения с людьми построены на таких полутонах, и они, эти полутона, ею так любимы, что все время есть опасение, как бы эта сложная музыка отношений не затенила истины. Дома, пожалуй, это не опасно, а как в Историческом музее, куда Софа определилась после своего историко-архивного и где она должна объяснять посетителям суть явлений достаточно конкретных?

Она как-то произнесла фразу, которая для Тамбиева была неожиданна: «Стиль, например в одежде, это нечто такое, когда человек помогает природе». Ее одежда, как заметил Тамбиев, чуть-чуть старомодна,

нарочито старомодна, и в этом, наверно, ее понимание своей сути. Эти ее длинные волосы, с годами темнеющие, почти червонные, стянутые узлом, эти ее платья, чуть расклешенные, эти блузы с глухим воротом, эти ее зауженные пальто, отделанные мехом, и любовь к муфтам, казалось, были не просто немодны, но даже архаичны, и все-таки это необыкновенно шло ей и делало ее самой собой. Как кажется Тамбиеву, эта ее старомодность имеет прямое отношение к тому, что Тамбиев назвал ее молчаливой улыбчивостью.

И самое главное: вот она появилась с Александром Романовичем в доме у Никитских и встретила отца, которого, быть может, знала по рассказам дяди, а может, слабо помнила. Встретила и как совладала с собой, а заодно с отцом и дядей? Каково было ей, и хватило ли тут ей этой самой музыки отношений?

...Был седьмой час вечера, когда Тамбиев подошел к Никитским. Входная дверь против ожидания была распахнута. Николай протянул руку к дверному звонку.

— Входите! — отозвался голос сверху. Тамбиев испытал чувство, похожее на тревогу. — Глаголев, Маркел Романович.

— Простите, мне Софу! — отозвался Тамбиев.

— Входите, входите!

Железная лестница сейчас была перед Николаем. Он стал взбираться.

— Входите, пожалуйста. — Да, это был он — в говоре Глаголева не было откровенного оканья, но что-то близкое этому было заметно весьма, видно, он со Средней Волги. — Вы, случайно, не Николай Маркович? Я так и знал! — Он сделал попытку стряхнуть пепел с лацканов пиджака, но это ему не удалось. — Да что мы стоим здесь? Входите! Сонечка уехала к брату моему на Волховский... Прошу вас, — произнес Глаголев и движением руки пригласил войти. — Хотите чашечку кофе? — указал он на горящую спиртовку, над которой был укреплен медный чайник. — Грешный человек, папираса уже на меня не действует, а вот кофе хорошо... Люблю работать, когда вот, как сейчас, кофе...

Тамбиев мог рассмотреть Глаголева. Глаголев казался Тамбиеву каким-то матово-седым. Нет, не только его волосы, но и лицо, шея, руки — все было сереб-

ристо-серым, приглашенным и неотличимым от волос. Да и голос у него был негромким, матово-тусклым, комнатным. Трудно было представить, как звучал такой голос с профессорской кафедры. Глаголев виделся Тамбиеву не столько ученым-трибуном, властителем умов и сердец своих молодых питомцев, сколько ученым-литератором, творящим в тиши кабинета.

— Занят проблемой, которая, я так думаю, должна интересовать и вас, — произнес Глаголев, заметив взгляд Тамбиева, обращенный на стопку рукописных листов, лежащую в левом углу стола. — Вот проблема, которая не дает мне покоя: могли мы отразить первый удар немцев? Не предупредить — на это мы не имели права, — а именно отразить? Ну, разумеется, учитывая элемент внезапности, которым обладал враг, и преимущество в силах, которые нарастил он в направлении головного удара... Ну, как? Значительно?

— По-моему, да, — согласился Тамбиев, согласился не без воодушевления, и едва не обжегся горячим кофе. — И какой же ответ на задачу?

— Я так думаю, могли, если бы решили эту задачу на уровне века, так сказать. Как решили? А вот как! — Он извлек из стола небольшую грифельную доску, взял кусочек мела. — Вот оно, минское копьё... — неожиданно сильной рукой, какая в нем до этого и не угадывалась, он изобразил это копьё, нацеленное на Минск с запада. — Как сшибить его? — Он посмотрел на Тамбиева с ободряющей добротой, улыбнулся, точно хотел сказать: «А ведь задача не проста! Совсем не проста!» — Нужны были авиационные кулаки в тылу, отнюдь не ближнем! Много! Хорошо замаскированные! Как только копьё обозначилось, собрать мощь и ударить, ударить стремительно и прицельно. — Он пояснил свою мысль графически — три стрелы устремились к копьё. — Главное в амплитуде действия самолетов. Расположенные в тылу, они держат в поле зрения границу на значительном расстоянии и могут быть собраны в течение часа на любом ее участке.

— Вы имеете в виду дальние бомбардировщики?

— Нет, средние, но с достаточным резервом дальности.

То ли кофе крепкий тут виной, то ли пространная реплика, но лицо Глаголева, только что тускло-серое,

стало розоватым. Даже ровная линия пробора, разделившая глаголевские седины, стала розовой. Видно, разговор, происшедший только что, глубоко его взволновал.

— Но то, что случилось однажды, может и не повториться! — сказал Тамбиев.

— Вы так думаете? — усмехнулся Глаголев, медленно прихлебывая кофе.

— Да неужели такое может повториться? — спросил Тамбиев. — Нет, не только в этой войне — в истории России?

Глаголев допил кофе, убрал свою доску. Он сидел сейчас задумчиво-печальный. Прежняя бледность как бы вернулась к нему.

— Все может повториться, — сказал Глаголев. — Мы не знаем, какое лето ожидает нас.

Тамбиев был обескуражен. Да неужели мудрость жизни, как и мудрость знаний, подсказала Глаголеву такое? Только подумать: повторится лето сорок первого! Повторится с его великим отступлением, с окружением многотысячных армий, с падением сотен и сотен сел и городов, с уходом России на восток. Да возможно ли здесь повторение?

— Вы говорите, кулаки! Но чтобы собрать эти кулаки, надо их иметь! — не сказал, а отсек Тамбиев. Сама фраза была корректной вполне, но она была произнесена столь нетерпимо, что Глаголев поднял голову и с внимательной грустью посмотрел на собеседника.

— В сорок первом у нас этой авиации не было, в сорок втором мы... мы не можем ее не иметь, — произнес он, все еще глядя на Тамбиева в упор. — Не будем иметь — погубим последнее...

Тамбиев ушел. Ну конечно же Глаголев пытался воссоздать чисто стратегическую картину войны в тот первый, зловещий для нас месяц, понять наши просчеты, главные. Но выводы, к которым он обращался, были ударом обуха. Из всех тех, кого знал Тамбиев, никто не шел так далеко, и это настораживало. Правда, никто из людей, известных Тамбиеву, не знал стратегию войны так, как ее знал Глаголев. Быть может, на нас надо было обрушить обух, все еще надо было?.. Хотел Тамбиев того или нет, но он должен был при-

знать: этот седой человек в синем пиджаке, обсыпанном пеплом, сказал такое, что хотелось вскрикнуть, так внезапно и жгуче остра была боль.

Посол пригласил Бекетова.

— Долго ли вы будете оставаться холостяком, Сергей Петрович?

У Бекетова перехватило дыхание: что имел в виду посол? Екатерина приезжает во вторник, однако Бекетов не говорил об этом с послом.

— Увы, во вторник сладкое холостячество заканчивается, Николай Николаевич, — произнес Бекетов, стараясь водрузить на место упавшее сердце. — Приезжают жена и сын. Вы только подумайте, Николай Николаевич, и сын! Кстати, он у меня шахматист...

— Сегодня же накажу домашним разыскать мои японские шахматы! — произнес Михайлов, приглашая Бекетова последовать за ним. В тот вечерний час он нередко выходил в сад позади посольства. — Вчера мы получили документальную ленту... Было бы уместно пригласить по этому случаю... мир культуры.

— Гостей, разумеется, приглашает посол?

— Нет, зачем же. Просмотр явится удобным поводом, чтобы представить людям искусства Бекетовых.

— Вы полагаете, что гостей примем мы с Екатериной?

— А почему бы и нет?

— Для Екатерины-то это будет нелегко — с корабля на бал!..

— Не беда, Сергей Петрович. У всех нас корабль предшествовал балу.

— Но гостей будет принимать посол? — спросил Бекетов.

Михайлов улыбнулся.

— Если очень попросите, да.

— Я прошу вас, Николай Николаевич.

— Ну что ж, коли просите.

Михайлов дал согласие, а у Бекетова наступили дни ожидания: если просмотр устраивается и для того, чтобы представить лондонским интеллектуалам чету Бе-

кетовых, то, наверно, это непросто и для Сергея Петровича, и тем более для Екатерины Ивановны.

Сколько знает Бекетов Екатерину, жена единоборствовала с Чикушкиным. Как ни старалась Бекетова заманить Чикушкина в музей и показать ему экспозицию, не мог областной владыка выкроить минуты. «Все зависит от Чикушкина, — разводила руками Екатерина. — Придет в музей — будут у нас и деньги, и штаты, и новое помещение для фондов. Но как его заманить в музей — вот задача!.. Вьон, а не человек: скользнет меж пальцев — и в воду!.. Как будто бы и понимает. «Выберу минутку и явлюсь, Екатерина Ивановна, надо только минутку выбрать!.. Да, конечно, Екатерина Ивановна, да, да!..» Он испокон веков говорил «да». Сказать «да», значит, не вызвать возражения, а когда дойдет до дела, можно и не сделать. И Бекетов видел, как Екатерина в белой блузе и юбочке с бретельками, с дерматиновым портфелем, в котором, завернутые в вощеную бумагу, покоились дежурные бутерброды с сыром, мерила долгие московские версты, счастливая тем, что вчера добыла копию с дарственной грамоты царя Ивана, а сегодня возьмет приступом государственный архив и отвоюет грамоту царя Петра... Вот только бы Чикушкин пришел в музей и глянул, какие богатства собрала Екатерина Ивановна, все зависит от Чикушкина...

На своем почти двенадцатилетнем пути во славу музея все повергла Екатерина Ивановна, всех заставила пасть ниц, устоял только Чикушкин, не нашел минутки заглянуть в музей... Даже смешно, за двенадцать лет не нашел минутки, а за это время кто только не перебивал в музее: и британский лорд, и Малый театр в полном составе, с ареопагом своих знаменитых старух, и французские парламентарии, и даже академик Иван Петрович Павлов собственной персоной... Стучал палочкой по каменному полу и вздыхал: «Ну, я вам скажу, это же непостижимо!.. Ну, я вам скажу!..» А потом призвал Екатерину Ивановну, посадил ее пред светлы очи свои, молвил: «Вы же... отчаянный молодец, Екатерина Ивановна, такое богатство сберегли для России!..» А она только улыбалась и кивала головой, не скажешь же академику Ивану Петровичу про вековую борьбу: «Мне бы только Чикушкина за-

получить, Иван Петрович, а там и помирать не страшно...» А потом началась война, Чикушкин стал директором картофельного совхоза под Москвой и, как действительно известно Екатерине Ивановне, благополучно правит картофельной державой. И все, что сберегла Екатерина Ивановна из музейного добра, все, что наскребла правдами и неправдами, одолевая долгие московские версты с дерматиновым портфелем под мышкой, бережно упаковала в ящики из-под китайского чая, добытые в знаменитом магазине на Мясницкой, и отправила за Уральский хребет, чтобы, не ровен час, не досталось это богатство немцу-супостату... Все отправила за Урал, а сама осталась в Никольском стеречь древние изразцы и фрески, одна осталась... Однажды, явившись в Никольское, Бекетов подошел к сторожке, где Екатерина жила сурком, охраняя свое сокровище, Игорька она отослала к сестре, в Солотчу, и в крохотное оконце, накрест перечеркнутое полосками цветной бумаги, увидел жену, сидящую на скамье, и будто увидел все эти годы. Да, стоял перед окном и смотрел на жену и будто видел все эти годы, всю жизнь свою видел. Как отпечаток листьев на камне: листа нет, а рисунок его и точен, и девственно чист. Даже голову она подняла, как прежде, с задорной и непоколебимой прямоотой, с вызовом, и волосы отвела, как прежде, и бретели у нее соскользнули с плеча, как много лет тому назад... Был миг, летучий и зыбкий, Бекетов не знает, чему он был обязан за этот миг — незримому движению света в сторожке или чисто психологическому эффекту, но миг этот был, и он явил Екатерину, какой она была прежде, стерев седины, растушевав жестокие следы годов...

А потом они сидели с Екатериной на деревянном крылечке музея и Сергей Петрович говорил ей: «Вот дался тебе этот Чикушкин! Пойми, нет его!.. И какой смысл говорить о нем, когда его нет?» А она твердила свое: «Он пять лет у меня уволок, этот Чикушкин! Не было бы его, я бы вон как много успела...» — «Не возьму я в толк сути твоей, Катерина! Какой смысл в твоём гневе, когда до Чикушкина, как от земли до неба? Идешь по пустому следу». — «Нет, не по пустому!» — «Тогда объясни, в чем, так сказать, пафос твоего гнева, смысл философии твоей». — «Боюсь, явится Чикуш-

кин!» — «Ну и что?..» Вот тут-то она и лишилась языка — молчит, будто бы ее в воду окунули. «Я говорю: ну и что?..» — «Хочу быть разгребателем грязи... Хочу сражаться с нечистью, что мешает жить людям, сражаться, как Стеффенс!.. Слышал?» — «О, простая душа!.. Но Линкольн Стеффенс, он-то в Америке! Там небось не было Октября!» — «А Октябрь — это что, страховка от нечисти?.. Нечисть, как крыса, плодовица!.. Так вот, возьму ведро мышьяка и пойду искать ее норы...» — «Но нечисть — это корысть?» — «Да, травить корысть, где бы она ни гнездилась!» — «И это, так сказать, твоя жизненная позиция, цель бытия твоего земного?» — «Если хочешь, и позиция, и цель. А разве плохо?..»

...Он все еще считал дни и часы до приезда Екатерины, то есть, разумеется, до вожделенного вторника, когда, явившись к себе, увидел ее спящей. Произошло нечто такое, что не происходило никогда прежде: самолет британских воздушных сил, идущий из Архангельска в Шотландию, вместе с русскими авиационными инженерами взял Екатерину Ивановну и домчал ее до Британских островов. Хочешь не хочешь, а попадешь с корабля на бал!.. Бекетов устремился в посольскую светелку свою и, открыв дверь, увидел ее спящей сном накрепчайшим. Сын, разумеется, уже гонял мяч на заднем дворе. Видно, за все эти дни и ночи, пока самолет нес Екатерину над дубравами русского севера, а потом над беломорскими и атлантическими водами, она не сомкнула глаз.

А Бекетов смотрел на шубку жены, отороченную заячьим мехом, экзотическую для Лондона, на сумку из ярко-зеленой клеенки, которую, наверно, заняла у приятельницы перед отъездом, на большой картонный чемодан и думал: «А в каком платье она явится на сегодняшней прием и есть ли у нее это платье?»

— О каком платье ты говоришь, Сережа, и при чем здесь платье? — спросила она, не отнимая щеки от его ладони. — Ты спроси: как Россия?.. — Она жалась щекой к его ладони, будто только в ней, в этой ладони, была ее надежда и ее защита. — Когда я уезжала из Москвы, электрички с беженцами шли куда-то за Волгу и через Театральную площадь гнали стадо коров... О каком платье?

Он и в самом деле ощутил неловкость: «О каком платье можно говорить, когда вот такое?..»

— Ты как-то растерялась, Катя, — сказал он осторожно — он редко называл ее так.

— Может быть, — согласилась она.

— Не все так плохо, — пояснил он.

— Да, конечно, — был ее ответ.

— Я ожидал тебя встретить не такой, — заметил он.

— Да, да, — подтвердила она, но, кажется, уже думала о другом.

— Мы все-таки пойдем с тобой, Екатерина, на просмотр, — сказал он, помолчав. Он не хотел ее оставлять одну со своими думами.

— Да, конечно, — согласилась она. — Пойдем.

— Ты выехала из Москвы в пятницу? — вдруг осенило его. — Нет, скажи, в пятницу? Так ты не знаешь самого главного — наши расколотили немцев под Гжатском! Как расколотили!

Она ответила с печальной укоризной:

— Да, да...

Она раскрыла чемодан, пошла в ванную. Он слышал, как она вздохнула и, точно застеснявшись, включила воду. А когда выключила воду, Бекетов слышал, как она произнесла внятно:

— Не надо, не надо... — И еще раз так же внятно: — Не надо, не надо!..

— Я не расслышал, Екатерина? — подал голос Бекетов. — Тебе что-то дать?

— Нет, нет, — тут же ответила она.

Никогда прежде он не замечал за нею такого. Да неужели ее ушибло вот так? Он смотрел на нее, как она старательно, по-бабьи расплетает свои странно утончившиеся косы, теперь не русые, а пепельно-русые, думал: «Наверное, слова бессильны объяснить все, что происходит в России, все слова бессильны, надо увидеть человека, вот такого... Она как горящая головешка — в ней и огонь, и дым...»

А потом был просмотр. На экране горели русские деревни, и когда ветер сбивал дым, была видна черная земля. Бекетов смотрел на жену. Она сидела, закрыв лицо руками.

— Тебе худо, Екатерина?

— Нет, ничего, — ответила она, но рук от лица не отняла.

«Нет, ее не надо уводить отсюда, — решил он. — Надо, чтобы она была на людях и с людьми, так ей будет лучше».

— Вы что же прячете от нас Екатерину Ивановну? — подал голос посол, когда в зале зажегся свет. — Елена, я говорил тебе о приезде Екатерины Ивановны, — обратился он к жене.

— Здравствуйте, Екатерина Ивановна, — произнесла Михайлова с откровенной приязнью. — Я рада, нашего полку прибыло.

— Благодарю вас, Елена Георгиевна, — произнесла Бекетова.

— По-моему, посол к тебе добр, — заметила Екатерина, уловив момент.

— Кто тебе сказал это? — спросил Бекетов, немало заинтересовавшись.

— Жена посла только что, — ответила Екатерина.

— Но я слышал ваш разговор... Речь же шла об ином.

— Об ином, — согласилась Екатерина.

Но гости уже двинулись к двери, ведущей в банкетный зал.

— Вот сейчас ты мне должна помочь, Екатерина, — произнес Бекетов, переходя с женой из кинозала в банкетный, однако не изменив при этом того спокойно-иронического тона, чуть-чуть торжественного, чуть-чуть меланхоличного, который сопутствовал ему всегда. — Страда начнется сейчас, — добавил он, все еще полагая, что общение пойдет ей на пользу.

Сто человек, перешедших из кинозала в зал банкетный, были отнюдь не новичками на такого рода приемах. Страда начиналась не только для Бекетова, она начиналась для всех ста. Этот прием накоротке, не обремененный ни присутствием сильных мира сего, ни условностями официальной встречи, позволял людям брать быка за рога. Потребовалось не больше пяти минут, чтобы большая говорильная машина пришла в движение и банкетный зал наполнился таким гулом голосов, какому позавидует биржа. Казалось, никогда с сотворения мира рюмка водки и более чем скромный сэндвич с кружочком колбасы или пластинкой сыра не в состоянии были вызвать такого потока энергии, какой они вызвали сейчас: завязывались знакомства, импровизировались тосты, раздавались приглашения.

Подошел Шошин.

— Сергей Петрович, кажется, я говорил вам о Коллинзе... Вот он собственной персоной. Ну, помните, известный биолог?

За Шошиным следовал Коллинз. Костюм из темно-серой материи, благородно неярко и ворсистой, должен был искусному глазу объяснить все: и положение обладателя костюма, и возраст, и даже характер.

— Знакомство можно установить и на посольском пятачке, но серьезный разговор я предпочитаю вести дома. — Коллинз поклонился Бекетову. — Приглашаю, господин Шошин, вас и вашего друга. Куропаток в винном соусе у меня не будет, но овсяной водкой угощу...

— Как, Сергей Петрович, поедем в Оксфорд?..

Бекетов рассмеялся, с веселой и отчаянной лихостью махнул рукой.

— Ну что ж, я готов!

Они условились, что встретятся вечером в пятницу. Прежде чем вернуться к себе, Бекетов предложил жене обойти посольский садик.

— Там сыро, Сережа, и неуютно, — сказала жена.

— Ну что ж, что сыро? Холодная сырость—хорошо.

Они вошли в садик и неожиданно обнаружили там Фалина. Он стоял в дальнем конце садовой дорожки и смотрел на небо. Оно было все в дымах, низко стелющихся.

— Вот смотрю на дым. Не принимает его небо! — произнес Фалин, усмехнувшись. — Эта крайняя туча, похожая на носорога, я смотрю на нее уже минут десять, не хочет уходить из города!.. И не уйдет, пока не вернет городу всю гарь. — Он вздохнул, невесело засмеялся. — Говорят, что белые лебеди в ботаническом саду стали черными!— воскликнул он.

«Это он вспомнил ботанический сад по ассоциации с носорогом»,— подумал Бекетов.

— Поедете к Коллинзу, Сергей Петрович? — вдруг спросил он, все еще глядя на облако. Сейчас оно удлинилось, обратившись из носорога в ящера.

— Чудак человек этот Коллинз!

— Чудак человек? Это что же значит?

Фалин взглянул на жену Бекетова. Она стояла в

стороне, вобрав руки в рукава пальто, — ей было холодно.

— Одно слово, хитер враг! С ним у себя дома не просто, а уж отважиться к нему в нору... Не завидую я вам, Сергей Петрович! — Он вновь взглянул на Бекетову. Казалось, ей стало еще холоднее. — Однако волков бояться — в лес не ходить!

— Именно, — согласился Бекетов.

## 35

И вот пошли английские мили. Кажется, они придуманы специально для того, чтобы русский человек взял в толк английские расстояния. Преодолеть сто английских миль — победить вечность.

— Вы давно были у Коллинза? — спросил Сергей Петрович Шошина, когда над осенним полем показались чайки — они здесь не только в местах прибрежных.

— С весны не был, да, признаться, не стремился.

— Простите, по какой причине?

— Не могу видеть, как эта Бетти измывается над почтенным Коллинзом.

— Бетти — это жена?..

— Нет, жена само собой, как надлежит быть жене Коллинза, а вот мисс Бетти. Одним словом, там деспотия мисс Бетти: и над людьми, и над морскими свинками... Кстати, видите... нечто вроде леса справа, нет, это не холмы, это деревья — там царство мисс Бетти.

— А Коллинза?

— Я уже сказал, что он на правах подданного мисс Бетти!

Они уперлись в кирпичную ограду, построенную без претензий, но достаточно высокую и прочную, потом свернули налево. Так они проехали минут двадцать, защищенные справа оградой, а слева осенним полем, ненастным и черным. Ограда точно брала в охапку толстоствольные акации, они были густы и по осеннему темны, эти деревья. Время от времени между деревьями прорывалась островерхая крыша дома и тут же увязала в жестких ветвях акаций. В доме не было света.

— Вон как мрачно царство мисс Бетти, — усмехнулся Бекетов.

— Мрачно? — переспросил серьезно Шошин.

Они подъехали к железным воротам, позвонили.

Вышел старик в зеленой фуражке, деловито осведомился, кто пожаловал в столь поздний час, пошел в кирпичный домик, который был виден в открытую калитку.

— Мисс Бетти! — крикнул он в телефонную трубку, крикнул торжественно и подобострастно, и лицо Шошина выразило почтительную робость.

— Слыхали? — поднял он палец. — Это и есть царство мисс Бетти!

Служба мисс Бетти действовала исправно — разрешение было получено тут же.

— Будет показывать свинок и собак, не противьтесь, это неизбежно, — сказал Шошин, когда они, сопровождаемые стариком в зеленой фуражке, направились к зданию института — квартира Коллинза была там.

Коллинз вышел навстречу, при этом вначале показался ирландский сеттер, полный радушия и достоинства, а потом его хозяин.

— Здравствуйте, рад приветствовать вас, рад, — произнес Коллинз и посмотрел на сеттера с такой кротостью и храброй гордыней, будто бы сам родил этого пса. — Мне приятно познакомиться вас с моим другом мистером Крейтоном. Где вы, Арчибальд?..

Но Арчибальд шел, поотстав. Высокий, с квадратными плечами, с седой шевелюрой, с усами, не по-английски пышными, заметно подкрашенными, он показался Бекетову чуть-чуть картинным.

— Вы видели вечерние газеты? — спросил Коллинз, когда церемония представления была закончена. — Немцы сообщают, что началась битва за Москву... Мы с Арчибальдом считаем: то, что военные зовут критическим моментом войны, наступило. — Он оглянулся на Крейтона, тот задумчиво приглаживал оранжевые усы, разводя большой и указательный пальцы. — Всегда говорил: «Погубит Англию этот хитрец Уинстон!.. Сам себя перехитрит!»

Бекетов подумал: «Разговор начался так стремительно, что, пожалуй, знакомство с морскими свин-

ками может сегодня и не состояться». Видно, в самый канун прихода русских гостей у Коллинза с его другом был разговор.

— Не слишком ли вы строги к господину Черчиллю? — спросил Бекетов и взглянул на Шошина. — Мы с мистером Шошиным не разделяем вашего гнева...

— Не разделяем, не разделяем, — произнес Шошин и нажал колесико зажигалки — он очень хотел курить.

— Я всегда говорил, мудрость — это не только благоразумие, но еще решительность. Где вы, Арчибальд? Мой друг подтвердит. Он врач-психиатр. Ему и карты в руки!.. Арчибальд, вы, отдавший полжизни изучению психологии глупости... Да, разве я вам не говорил, мистер Бекетов? Работа моего друга так и называется «Психология глупости». Итак, под какую рубрику ваших изысканий вы отнесете поведение нашего правительства? Врожденная или благоприобретенная глупость? Глупость как результат эмоционального взрыва или ошибки в расчетах?

Они стояли сейчас на террасе, образованной поворотом большой лестницы, и если бы не деликатность Бекетова, он мог бы рассмотреть Коллинза в упор. Англичанин был плебейски низкоросл и широкоскул, с толстым носом, напоминающим садовую землянику, и по той самой присказке, которая гласит, что все лысые любят бороды, начисто лыс и бородат. Когда он говорил, садовая земляника делалась ярко-пунцовой и точно вызревала на глазах.

— По-моему, опасность, нависшая над вами и над нами, в такой мере нас сблизила, что мы можем быть так откровенны, как не были прежде. Ваш старый лозунг, с которого вы начали революцию — «Конец тайной дипломатии», — обретает новое значение...

— Можно подумать, что все это вы сказали Черчиллю? — спросил Сергей Петрович.

— Нет, не сказал, но готов сказать, — отозвался Коллинз и первым зашагал по лестнице. Он шел, не касаясь перил, шагая через две ступеньки, при этом приземистая его фигура стала карликовой, он не столько шел по лестнице, сколько стался.

Они оставили пальто на круглых вешалках гнutoго дерева и, сопровождаемые Коллинзом и его другом,

вошли в гостиную, яркая люстра и красные обои которой показались им особенно праздничными после хмури осеннего дня.

— Кембл, пригласи гостей в кабинет! Сделай это для меня, пригласи в кабинет!— В гостиную не вошла, а вплыла госпожа Коллинз. Распушенная юбка с множеством оборок делала и без того не очень миниатюрную фигуру госпожи Коллинз громоздкой.— Представьте, собрала краснодеревщиков со всей империи и соорудила нечто достойное профессора Коллинза, а он, простите меня, работает на... насесте в курятнике! Нет, вы только взгляните, какая красота пропадает! «Мне там не пишется!»

Она попыталась увлечь гостей и показать свое сокровище, но Коллинз сказал:

— Не надо, милая, мы тебе верим! — И госпожа Коллинз обратила строгий взгляд на маленькую женщину, которая вдруг появилась в квадрате открытой двери.

— Вы хотите что-то сказать, мисс Бетти?

— Нет, ничего, — произнесла женщина и исчезла.

— Я сейчас буду, мисс Бетти, — сказала ей вслед хозяйка, чтобы как-то победить неловкость, и, обратившись к гостям, заметила: — Вот я и говорю, на насесте пишется, а здесь не пишется.

— Ты пойми, дорогая, твой мрамор, бронза и медвежьи шкуры мне не нужны! Ты была в шотландском домике Бернса? Вот это моя стихия!

Вновь в темном квадрате двери блеснули толстые окуляры мисс Бетти.

— Вы хотите мне что-то сказать, мисс Бетти? — повторила хозяйка.

— Нет, ровно ничего.

— Я иду, я уже иду, — произнесла госпожа Коллинз, однако с места не двинулась. — Сегодня разговаривала с одним знакомым поляком, у него магазин готового платья у вокзала Ватерлоо. «Не разумею вас, англичан. О чем вы думаете? Поймите, вы живы, пока живы русские!.. Поймите, пока живы русские!» — Она вздохнула и встала. — Теперь я пойду...

— Послушай, милая! — крикнул Коллинз вслед жене. — Если этот старый тори не явится через пять минут, я приглашу гостей к столу. — Он умолк на ми-

нуту, дожидаясь ответа жены, и, не дождавшись, крикнул еще громче: — Ты готова, милая? Запомни, через пять минут!

Но Коллинзу не пришлось привести свою угрозу в исполнение: отворилась дверь, и мистер Раймонд Хор, выставив пикой бороду, точно желая пронзить ею всех, кто окажется у него на пути, появился в гостиной. Как-то знатная родословная не очень сказалась на облике Хора. Гость Коллинза был невелик ростом, худ и жилист. Эта жилистость выдавала в нем характер и, пожалуй, силу, которую он тут же выказал — рука у него была крепкой.

— Вот если бы вы пришли минутой раньше, любезный Хор, то услышали бы нечто любопытное, что рассказала нам Клементина, — произнес Коллинз. В этой реплике Бекетов почувствовал не столько намек на опоздание, сколько желание завязать первый узелок спора, в котором хозяин был заинтересован.

— Я понимаю, рассказ Клементины был так хорош, что не поддается воспроизведению, но, может быть, усилия четырех мужчин могут как-то восполнить слабые силы одной женщины, — произнес Хор весело — слишком явственно в словах хозяина было приглашение к бою, и Хор готов был этот бой принять.

— Я попытаюсь это сделать, а мои гости мне помогут, не так ли? — Борода Коллинза обрела упругость, от бороды Хора ее отделяла ладонь, того гляди, не спросясь хозяев, бороды пойдут войной друг на друга. — Лавочник у вокзала Ватерлоо, то ли чех, то ли поляк...

— Поляк, — сказал Крейтон, не выпуская изо рта трубку. Видно, он был не большой охотник до разговоров — за последние полчаса это слово было первым, произнесенным им.

— Так вот, знакомый поляк сказал: «Не пойму я вас, англичан. О чем вы думаете? Поймите, вы живы, пока живы русские!»

— Именно это сказал поляк? — спросил Хор, устраиваясь в кресле.

— Именно это, а разве мало?

— Нет, почему же? Если предисловие больше, чем

того требует книга, которой оно предпослано, надо подумать: «Что это за книга?»

— А если говорить по существу? — Голова Коллинза была запрокинута — Коллинз не хотел отклоняться от сути.

Хор вдруг встал и пошел к открытой двери. Он шел не торопясь, явно фиксируя внимание присутствующих на том, как осторожно воинствен его шаг. Маленькие ноги Хора, обутые в штиблеты, ступали бесшумно, точно шелковистый ворс гамаш, которым были прикрыты ботинки Хора, обволок и подметки с каблуками. Хор скрылся за дверью и через минуту вернулся с газетой.

— По-моему, этого у вас еще нет... — произнес он и положил на стол газету. Она хранила дыхание дождливого вечера. — Вот здесь все сказано... Последнее сообщение.

Чтобы рассмотреть текст, Бекетову надо было наклониться, однако аншлаг был виден достаточно отчетливо: «Русская столица перенесена на Волгу — завтра Москва может быть сдана». Бекетов взглянул на Шошина. Он встал и принялся тереть правую щеку, будто она неожиданно занемела.

— Москва сообщила о боях за Клин, — заметил Шошин, продолжая тереть щеку.

— Простите, но ваше радио и прежде запаздывало, — заметил Хор и, бросив быстрый взгляд на хозяина, добавил: — Но это не столь важно. Главное в другом: что делать Англии? Вот когда действует формула: «Промедление смерти подобно!»

Мокрая газета продолжала лежать на столе, не вызывая больше интереса, — все, что ей надлежало сказать, она сказала. Где-то в глубине дома послышался грубо-повелительный голос мисс Бетти:

— Мне все ясно!

Кто-то нес стопу тарелок, нес, мощно ступая, и каждый его шаг отмечали тарелки — там продолжали накрывать стол к обеду.

— Именно: «Промедление смерти подобно!» — подтвердил Коллинз, и его короткие пальцы ухватили бороду. Еще мгновение, и он ее оторвет. — Есть одно решение — европейский десант! Его надо было высаживать вчера, однако и сегодня не все потеряно. Сегодня!

Хор смущенно опустил глаза. Его большая, много

больше, чем могла бы быть, рука легла на краю стола, пальцы ударили дробь, ударили неправдоподобно громко, видно, Хор когда-то был барабанщиком.

— Вчера — быть может, сегодня — поздно. Я не удивляюсь, если завтра московские дивизии немцев появятся в Дюнкерке.

Коллинз встал, молча повел рукой:

— Не думаете ли вы, что настало время послать Гесса на континент, на этот раз уже в качестве нашего эмиссара? Так сказать, бумерангом!

Каменные пальцы Хора застучали по столу с еще большим ожесточением.

— Я этого не сказал и не мог сказать, но вы же знаете, что такое мнение есть. Я прошу русских гостей извинить меня! Я прошу извинить: то, что я скажу, не мое мнение, но оно весьма распространено. Мы — подданные его величества короля, и мы имеем право думать об интересах отечества! Прежде всего — отечества. Ведь русские, когда требовали их интересы, пошли же с немцами на мировую! В восемнадцатом и тридцать девятом! Дважды! И сочли это решение более чем патриотическим! Почему мы не можем сделать этого? В сущности, это тот же Брест!

— Нет, господин Хор, это не Брест, — подал голос Шошин.

Ритмичная дробь, которую только что выбивал Хор, прервалась.

— Простите, почему?

— Брест помог русским отстоять независимость России, — сказал Бекетов. У него чесались руки, слишком этот Хор был празднично тщеславен, не по времени праздничен и тщеславен. — А здесь, как я понимаю, кабала!

— Не большая, чем та, какую приняла после Бреста Россия!

— Большая! Несравненно большая! — воскликнула Бекетов и добавил тихо: — Если Британия идет на такой мир, она должна отдать себя с потрохами. У Британии нет тылов России!

— Британский тыл — Америка! — тут же парировал Хор.

— Когда вы попали уже в пасть Гитлеру, Америку просить о помощи поздно! — был ответ Бекетова.

Хор сжал руку в кулак, сжал со значением.

— По-моему, правота на стороне вашего оппонента, — заметил Коллинз, взглянув на Хора.

— Признайтесь, вас встревожило то, что я сказал? — Вопрос Хора был обращен к Бекетову.

— Да, но только в той мере, в какой это сказал английский военный.

— Точнее, бывший военный. Может быть, вам интересно мнение тех военных, кто лишен привилегии сказать о себе «бывший»?

— Да, конечно.

— Приезжайте ко мне в Брайтон, у меня будут военные...

— Ваши единомышленники?

— Нет, почему? Вас это настораживает?

— Ничуть.

— Так вы будете?

— Я готов.

— А господин... «Это не Брест»?

Шошин заулыбался — Хор нашел ему подходящее имя.

— Мне трудно обещать, мистер Хор. — Шошин положил руку на край стола и выбил дробь с не меньшим искусством, чем Хор. Все рассмеялись.

— Ну что ж, я готов пригласить полковника Багрича, мы знакомы.

Хор еще сучил пальцами, но они вдруг утратили способность издавать звук.

— Ваша тревога за судьбу Британии вызвана тревогой за судьбу России, — сказал Хор, очевидно чувствуя, что беседа клонится к концу. Надо ли было, чтобы русские плохо думали о нем?

— Верно, — согласился Бекетов, он не хотел сжигать всех мостов. — Господин Хор не должен винить меня — это моя родина.

— Но ведь в Британии моя родина.

Теперь поднялся Коллинз. Он вдруг пришел в веселое настроение.

— Послушай, Крейтон, в твоём табеле глупых поступков... авантюра Гесса — глупость?

— Нет, — сказал Крейтон угрюмо.

Гости покинули дом Коллинза в одиннадцатом часу. Хозяин проводил русских к машине. Дождь пре-

кратился, но небо все еще было беззвездным. Дом был на холме, невысоком, в этот вечерний час ветреном. Было приятно стоять здесь, подставив лицо сырому ветру.

— Хор — это кливденское поражение? — спросил Бекетов, когда машина выехала за ворота.

— Да, Кливден, каким он выглядит в сорок первом, — ответил Шошин.

— Это так же опасно, как прежде? — спросил Бекетов.

— Опаснее, — был ответ.

...Всю дорогу, пока машина стремилась к Лондону, в сознании стояло: «Опаснее... Опаснее...»

— Вы напрасно отказались ехать к Хору, — сказал Бекетов Шошину. — В том, что сегодня происходит здесь, нет проблемы важнее.

— Какой именно? Кливден?

— Да, Кливден, хотя он и зовется сегодня Брайтоном.

Шошин закурил, приоткрыл окно, выпустил первое облако дыма. Казалось, оно некоторое время гналось за машиной, потом отстало.

— У вас есть кто-нибудь в Москве? — спросил Бекетов.

— Старик отец. Большой насквозь — разновидность водянки. Разволнуется и превращается в гору. Был редактором буденновского «Красного кавалериста». Ходил до Варшавы. Боюсь, как бы не сотворил чего над собой. Третьего я дал телеграмму...

— В Наркоминдел?

— В Наркоминделе у меня никого нет, на Страстную.

— В газету?

— Да.

Он погасил окурки, закрыл окно.

— Михайлов небось не спит, — сказал Шошин, помолчав. — Ждет нас.

— Да, не спит, — согласился Бекетов.

Бекетов был в посольстве в половине двенадцатого. Как и предполагал Сергей Петрович, посол бодрствовал. На столе лежала недописанная телеграмма —

по всему, итог дня. Не дописал, ждал Бекетова. Хотел дополнить: как восприняла московское наступление немцев Англия, что думает делать она.

— Какая-то чертовщина, Сергей Петрович, только что слушал Копенгаген, — сказал Михайлов, указывая на включенный радиоприемник. — Передают бог знает что!

— Что именно?

— Нечто такое, что и повторять не хочется.

Прежде Михайлов был мужественнее.

— Бои на московских окраинах?

— Да, что-то в этом роде!

Вошла Елена Георгиевна.

— Вот так я и буду ходить всю ночь и просить, чтобы ты съел свой сухарик?.. — Она указала на стакан с уже остывшим чаем и нетронутый бутерброд с сыром.

— Мне приятно тебя видеть, — улыбнулся посол.

— Сергей Петрович, что же это будет? — вздохнула она и взглянула на приемник, взглянула, не скрывая неприязни. — Копенгаген сообщает, что немцы в Химках!

— Елена, — простонал посол.

— Так это же передано по радио, на весь мир передано.

— Ты думаешь, радио не передает глупостей? Именно оно к этому и приспособлено!

— Тем лучше, милый, — произнесла она, направляясь к двери. — Казнить себя тоже не след. Ночь дана, чтобы спать! — произнесла она. — Англичане работают днем!

Она ушла. Было слышно, как Шошин прошел в кабинет — заступил на ночную вахту.

— Рассказывайте, — посол взглянул на недописанный лист, будто хотел сказать: «Все, что вы скажете, сегодня ночью будет известно Москве».

Бекетов напряг мысль. Что в разговоре, происшедшем в обиталище Коллинза, было главным? Как это часто бывает в минуты тревоги, обострились, стали непримиримыми две точки зрения: опасение, что европейский десант англичан может опоздать, и в связи с этим обвинение, адресованное Черчиллю, — он преда-

ет русского союзника. Легче воссоздать беседу, труднее расставить в ней акценты. Едва ты пытаешься установить эти акценты, беседа проваливается в тарарары и становится малозначительной.

Что же в ней было главным, главным для нас?

Посол слушает Бекетова.

В сознании посла уже сложились последние фразы дешеси. Его обязанность: не только обратить внимание на опасность, но предложить средство с опасностью совладать. Каким будет это средство в нынешний нелегкий момент? Вот это, пожалуй, самое трудное. Из всех нелегких задач эта самая трудная!

— Вы полагаете, что вам все-таки стоит побывать у Хора? Не одному, а с кем-то из наших военных? Важен не Хор, а все, кто позади него. Впрочем, важен и Хор. В некотором роде разговор с врагом в лоб! Ну что ж, дипломатия — это и разговор с врагом. Даже больше разговор с врагом, чем с другом, не так ли?

Последние слова Михайлова не давали Бекетову покоя. Вопреки переменчивым флюидам времени Михайлов держался принципов, в которые уверовал с революцией: если он считает, что это полезно делу, он готов идти хоть в берлогу к черту, нисколько не думая о том, как к этому отнесутся другие. В обычных условиях и это не доблесть, в обычных условиях.

## 36

Когда Бекетов сообщил полковнику Багричу о приглашении Хора, у почтенного полковника это не вызвало энтузиазма.

— Это какой Хор? Племянник той кливденской дамы?

— Кажется, кливденской, — ответил Бекетов.

— А зачем, собственно, мне к нему ехать?

Бекетов, как мог, объяснил: политически нам выгодно уяснить, чем дышат сегодня те, кого представляет Хор.

— Скажите послу, что Багрич приболел! — заметил полковник. — Приступ, мол, радикулита. Меня действительно поламывает... Знаете, эта английская болезнь, — он вдруг пошел по комнате, смешно потяги-

вая ногу, как ходят при радикулите. — Застужу поясницу — завтра не встану.

Бекетову показалось, что Багрич не хочет ехать к Хору не только потому, что боится простуды. Возможно, он полагал: то, что дозволено дипломату, военному дипломату не дозволено.

Бекетов не пошел к послу и выехал к Хору один.

Как было условлено с Хором, Бекетов пересек Брайтон и, едва машина въехала на приморское шоссе, свернул на дорогу направо. Лаконичное «private», стоящее у начала дороги, дало знать Сергею Петровичу, что он уже был в пределах владений Хора. Родовой особняк Хора, сложенный из песчаника, был отодвинут от дороги и полузатенен кронами старых деревьев, сейчас почти безлистых. Солнце садилось за холмами в противоположной стороне от дома, и большие, цельного стекла окна дома пламенели.

Хор вышел навстречу Бекетову, едва привратник сообщил ему о приезде русского гостя, и, к удивлению Сергея Петровича, повел его не в дом, а в глубь сада. Они долго шли аллеей, устланной осенней листвой, пока прямо перед ними не возник флигель, сложенный из бревен. Флигель был срублен грубо и ладно. Солнце не проникало в сад, но дом не потонул в предвечерних сумерках — дерево, из которого был сложен дом, обладало способностью удерживать свет.

Видно, Хор намеренно ограничил число приглашенных — он готовился к серьезному разговору. Узнав о том, что не приехал Багрич, Хор произнес полушутя-полусерьезно, намекая на кавалерийские петлицы полковника:

— Кавалерия сегодня стала не та — утратила подвижность.

Кроме хозяина и Бекетова за столом оказался пехотный майор весьма преклонных лет, настолько преклонных, что казалось, самая большая неловкость, которую он испытывал, это его майорские погоны. Он приехал с юга, дальнего юга — лицо его было прокалено солнцем, такого солнца на Британских островах не бывает. Бекетов сказал ему об этом. Он заулыбался, при этом губы его порозовели и ярче стали ровные линии зубов. С улыбкой он становился моложе.

— Да, это юг, но не столько благословенный, сколько адский.

— Послушай, старина Хейм, спой-ка вот эту, тобрукскую, — попросил Хор.

Хейм вдруг запел вполголоса:

Солнце, как красная промокашка, легло на пески,  
и там, где были глаза озер, остались черные дыры...

Он сделал такое движение ладонью, будто хотел разогнать облако табачного дыма над головой.

— Как говорил один мой друг в Тобруке: «Смерть идет на тебя вместе с твоей печалью». Не надо предаваться печали, не надо. «Солнце, как красная промокашка...» — пробовал он петь.

Бревна, из которых был сложен дом, казались здесь округлыми, гладкостругаными. Матицы, на которых покоился потолок, словно были вытесаны из таких же могучих стволов. Голландская печь, обложенная майоликовыми плитами, горела не первый час и разогрела дерево. Пахло влажной хвоей, смолой, лесной свежестью.

— Эту песню поют в Тобруке? — спросил Бекетов, когда Хейм попробовал вновь напеть ее.

— Да, только в моем дивизионе, а сочинил ее мой начштаба. Мне нравится, а вам? Нет, скажите прямо: нравится или нет? Быть может, вы думаете, проста слишком? Проста, а берет за душу! — Он помолчал, испытующе посмотрел на Бекетова. — Хотите, расскажу историю?

— Тобрукскую? — спросил Бекетов.

— Тобрукскую, — ответил майор.

— Рассказывайте!

Он помолчал, задумавшись. Потом схватил со стола бутылку, поднес к свету, не без труда прочел по-французски (он был не тверд во французском):

— Реми Матран. Коньяк. Мэзон фондэ... — Обратил взгляд на Хора, который, открыв дверцу печки, бросил в нее несколько поленьев. — Вначале выпьем, потом расскажу! — Хейм разливал коньяк, напевая все ту же песню про красную промокашку, и, вскинув руку, в которой держал бокал с вином, осушил его. — Как говорил мой друг в Тобруке: «Веселые погибают последними!» — Он сел, взглянул на Хора, пальцы которого уже напряженно и твердо стучали по столу. — Послу-

шай, перестань. Если хочешь, чтобы я рассказал эту историю про бригадного генерала Томаса Клея. Ты знаешь Клея? Нет? Тогда слушай. Когда я служил в артиллерийском штабе, я бывал на Виктория-стрит. Моя задача: доложить карту, все то, что произошло за истекшие сутки! И неизменно мой рапорт принимал генерал Клей. Война уже шла, большая война! Были известны и Дюнкерк, и черные пески Аджедабии, и переходы из Дерны в Тобрук без глотка воды, и бури, песчаные бури, которые гремели над Киренаикой, превращая день в ночь, и от которых не было спасения. Одним словом, уже был ад войны, и в нем солдат — жертва этого ада. А в это время на Виктория-стрит было солнечно и тихо. Перед генералом Клеем всегда были стакан горячего чаю и булочка, пахнувшая ванилью... Да и сам генерал Клей был чем-то похож на эту булку: приятно подрумяненный, сдобный, усыпанный родинками, будто изюмом. Как и надлежит быть сдобной булке, Клей казался вежливым необыкновенно. Одним словом, если был ад войны, то, наверно, был и ее рай — кабинет генерала Клея. И вот минуло два года. Тобрук, окопы и колодцы, занесенные песком, немцы, осадившие город, черные лица солдат, от жары черные, может быть, от голода.. И неизвестность: «Когда кончится этот ад?» Именно неизвестность — немцы осадили город, однако в плен не сдавались! Нет ничего страшнее неизвестности — страшнее жажды! И вот новость: «Сбили немца! Летчик сгорел, а штурман цел». Краснобородый немец — скиперская борода! Генерал в штабной палатке допрашивает. Не генеральское дело немца допрашивать, но тут случай особенный — нужен пленный! Взглянуть бы, он и на немца не похож, больше швед, чем немец. Но в палатку всем смертным вход заказан. Если и подойдешь, то не ближе... Одним словом, от меня до палатки — стометровка. Я бегун, я любое расстояние на глаз определяю. Слышно, как воет там генерал с пленным немцем. «Ах ты, собака! Да будешь ты отвечать?! Ах!.. Ах!..» Даже здесь, в ста метрах от палатки, мороз шел по коже, а как там, в палатке? Генерал был свиреп! И генерала понять можно: Тобрук в осаде, а впереди неизвестность. А потом вышел генерал темнее тучи. Признаться, я вздрогнул: вот, видно,

волк!.. Когда присмотрелся, что-то знакомое... Погоди, да не ванильная ли это булочка?.. — Он посмотрел на Бекетова, усмехнулся. — Теперь вы поняли меня? Чтобы понравилась песня про красную промокашку, надо быть в Тобруке.

— А на кой бес мне твой Тобрук, когда надо спасать Англию?! — вдруг выпалил Хор. Видно, коньяк оглушил и его.

— Стой, я что-то не понимаю. Разве тобрукская крепость не стоит на Темзе?

— Нет, конечно.

— Тогда что стоит на Темзе? — спросил Хейм.

— А все то, что стоит на Темзе.

— Погоди, пришел твой черед давать объяснения.

— Если завтра падет Москва, ты думаешь, что нас спасет твой Тобрук?

— И Тобрук!

— Нет!

— Тогда что спасет?

Хор запнулся. Не от робости запнулся. Ему предстояло сказать главное. Он протянул руку к столу, застучал.

— Перестань, Хор.

— Нет уж, разреши.

— Хочешь набраться храбрости?

— Хочу.

— Тогда уж лучше выпить...

— Давай.

Наливая Бекетову, Хор бросил с веселой лихостью:

— Из нас троих вы можете оказаться самым трезвым. Вы так хотите?

Бекетов рассмеялся.

— Нет, так не получится. Просто мой автомобиль расходует меньше горючего.

— Но он не застрянет в дороге?

— Нет.

— Хорошо!

Они выпили. Хор пил легко, будто переливал из одной посуды в другую. Выпив, не спешил закусить, ел мало. Его друг, наоборот, выпив, медленно розовел и вихрем набрасывался на еду, причитая:

— Французы!.. Ничего не скажешь, умеют!.. —

И, рассмеявшись, добавляла лукаво: — Я хочу сказать, это у них получается!

Однако, пьянея заметно, он не упустил нити разговора. Не потому, что был пьян меньше Хора. Просто его держала в напряжении, как думал Бекетов, обида. Трудно сказать, что это была за обида. Быть может, уязвленное самолюбие (где они теперь, седые майоры?). А возможно, неизвестность, неизвестность и тревога, о которой он говорил только что: тревога за Тобрук, за Англию, за собственную жизнь, которая вместе с Тобруком и Англией мчится неведомо куда. Обида жила в Хейме, тревожила, держала настороже и ум, и память: там, где другие могли забыть, майор помнил.

— Если не спасет Тобрук, что спасет? — спросил Хор. — Давайте закурим, а? — вдруг осенило Хора.

— Давайте, — сказал майор.

Не вставая, Хор дотянулся рукой до письменного стола, выдвинул ящик, не положил, бросил пачку распечатанных сигарет, сигареты рассыпались по столу.

— Простите мою неловкость. Курите!

Закурили. Дым висел над столиком, словно отказываясь подниматься.

— Так что спасет? — произнес Хейм. Эта обида, точно ребристый камень, залегла внутри — вздохнешь и поранишь грудь.

— Я хочу, чтобы это знали русские: не все силы на Британских островах представляет Черчилль...

Хор пошел по второму кругу, думал Бекетов. Осторожно, но верно он возвращался к оксфордской теме.

— Есть силы, и влиятельные... — продолжил Бекетов фразу Хора — ему хотелось ускорить возвращение Хора к оксфордской проблеме, заговорить по существу.

— Я хочу выделить именно это слово — «влиятельные», — подхватил Хор. Он произнес эту фразу с такой готовностью, что, казалось, в ней, только в ней суть сегодняшней беседы, и этим, только этим Брайтон отличается от Оксфорда. Не было бы этого слова — «влиятельные», — вряд ли бы был резон приглашать сюда Бекетова.

— Я так и думаю: как бы влиятельны ни были эти силы, народ враждебен им... — сказал Бекетов и взглянул на Хейма. Тот хотел участвовать в поединке хозяина с русским, однако ничего не понимал. «Да скажите

же, о чем речь, — будто говорил его взгляд. — Не такой же я балбес, чтобы не понимать!»

Хор загасил первую сигарету и зажег вторую.

— Народ — это профсоюзы? — спросил он.

— Нет, не только. Армия тоже, — сказал Бекетов.

Хор взглянул на Хейма. Хозяину дома показалось, что беседа достигла кульминации.

— Давайте выпьем! — предложил Хор.

Выпили еще раз. Хейм выпил с той же отвагой и охотой, что и прежде, но всем своим видом будто говорил: «Какого черта вы дурачите меня! Погодите, я здесь что-то вроде стратфордского памятника Шекспиру: красив, но нем?.. Не хочу быть Шекспиром, хочу быть Хеймом! Я сказал, не хочу быть безмолвной бронзой!» Бекетову показалось, если бы Хейм произнес это сейчас, то у него вышло бы не так твердо, как прежде, — глаза Хейма заволок синеватый дымок хмеля. Он пьянел неудержимо.

— Ловлю на слове! — заметил Хор с воодушевлением, которое было непонятно. — Если армия — это и есть народ, то народ... против Черчилля!

Хейм встал, — видно, его терпению пришел конец. Он поднял над головой загорелый кулачище, однако опустил его на стол осторожно — он был еще не так пьян, чтобы стучать кулаком по столу.

— Я хочу понимать, что здесь происходит.

Бекетов рассмеялся.

— Пусть растолкует мистер Хор. По праву хозяйина...

— Сядь, объясню потом, — сказал Хор.

Кулак Хейма взвился вновь и опустился на стол с такой силой, что бутылка с остатками коньяка подскочила.

— Нет, теперь!

— Выпьем, — сказал Хор.

— Нет, растолкуй... Выпьем потом!

— Слушай. Прошлый раз, когда я был у Коллинза, речь зашла о Гессе... — начал Хор необычно тихо и с тревогой взглянул на Хейма. Тот все еще дышал трудно — удар кулаком потребовал сил немалых. — Я сказал, если немцы возьмут сегодня Москву, дело может повернуться так, что Гесс станет... вроде бумеранга! Ты понял, бумеранга?..

Хейм продолжал грозно раскачиваться.

— Конечно, понимаю!

— Тогда выпьем, — сказал Хор.

— Нет, растолкуй, успеем выпить.

Каждое новое слово Хору давалось не без труда — он понимал, что продолжать рассказ небезопасно, но продолжал его. Был бы один Хейм, он, пожалуй, оборвал бы рассказ. Перед Бекетовым это делать было неудобно. Оборвать рассказ — значит выказать непорядочность, больше того, трусость. Он должен был досказать, досказать, не пропустив ни единого слова, не исказив рассказа.

— Я говорю: «Русские ошибаются, что это политика одиночек! Она, эта политика, опирается на силы немалые!» А наш русский гость говорит: «Если эти силы не поддерживает народ, они, мол, не страшны...» А я спрашиваю: «А что вы называете народом? Если профсоюзы, то вы, пожалуй, правы! А вот если армию, прав я...»

Хейм перестал раскачиваться.

— А вот тут ты остановись. Значит, по-твоему, армия хочет, чтобы Гесс полетел обратно и предложил Гитлеру мировую?

Хор дотянулся нетвердыми пальцами до стола, выбил дробь.

— Не совсем так...

— Перестань! Не совсем? Всего лишь «не совсем»? Значит, по-твоему, армия хочет послать Гесса к фюреру? Да, в Тобруке хотят! В Тобруке, зарывшись по горло в песок, без воды, без воды! Так? Да, так? — Он ухватил стол цепкими ручищами и, легко вскинув, пустил его по винтовой лестнице с такой силой, что бутылка с французским коньяком со звоном отозвалась в первом этаже.

— Будем считать, что британская армия против полета Гесса на континент, — сказал на прощание Бекетов Хору, смеясь. Сергею Петровичу хотелось сохранить весело-ироническое настроение до конца.

Бекетов вернулся от Хора в одиннадцатом часу. Жена спала, прижав к груди, как ребенка, раскрытую книгу.

— Ты спишь? — спросил он. Ему почудилось, что он не слышит ее дыхания.

— Нет.

— Надо спать, уже поздно.

— Не могу.

Она приподнялась. Ее волосы, неожиданно рассыпавшиеся, делали ее похожей на ту, которую он встретил много лет назад и полюбил. Ему стало жаль ее.

— Поспи, сон — это хорошо...

— Только и осталось, что спать, — рассмеялась Екатерина.

Она переложила книгу на тумбочку, встала.

— Отпусти меня домой. Не могу я так: в мире все идет ходуном, а я как неприкаянная. Да неужели я так мало значу, чтобы не найти себе дела? Я дела хочу, пойми! Ну что я здесь? Приехать сюда — значит, начисто потерять место в жизни. Быть может, в мирное время... Но сейчас, сейчас!

«А ведь она права, — думал он, — права. Действительно, вот так закричишь от боли... От голых осенних деревьев, которые лезут мокрыми сучьями в душу, закричишь. От пористого нерусского неба, заваленного пыльным войлоком дыма. От слоистого тумана, который лежит на тебе. Она права, однако что делать? Был бы русский институт, пошла бы преподавать язык. Был бы музей, пошла бы туда. Была бы школа, наконец... Единственное вакантное место — полуреферент-полусекретарь в отделе культурных связей посольства. Фалин сказал: пыльная работенка! Все, что идет из воксовского особняка на Большой Грузинской, приходит сюда. Новые книги в бумажных, по военным временам, обложках и репродукции, тиснутые на сытой, по довоенной поре, меловой бумаге, партитуры Чайковского и Хачатуряна, проспекты Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, разумеется, доиюньские, с многоцветными фотографиями павильонов, чем-то похожих на сказочные дворцы Багдада, рукопись книги корреспондента «Красной звезды», только что прошедшего с боями по немецким тылам от границы до Гжатска, бесценная рукопись, в которой едва ли не впервые рассказано, как Красная Армия была немцев... Кипы

книг, нот, рукописей, фотографий, железные коробки с фильмами, альбомы репродукций — все, отмеченное уже нелегким военным временем (желто-серая бумага, плохо просыхающая краска). Пыльная работенка? Может быть, действительно пыльная, но чистая и благородная, призванная восславить труд и ратную доблесть Страны Советов. Увлечет ли это Катю, даст ей удовлетворение, покажется благородным? Наверно, легче проникнуть в значимость дела, труднее проникнуть в душу книги, рукописи, нотной записи, почувствовать ее, зажечься ею. Однако что это за работа? Миссионера, несущего новую веру, культуртрегера, просто солдата пропаганды?.. И сумеет ли Екатерина совладать со всем этим при ее возвышенном отношении к своему призванию в жизни, при ее привередливом чистоплюйстве, при ее робости и деликатности? И хватит ли у нее культуры и познаний в языке? Но и это не главное препятствие — Екатерина ведь должна работать под началом Бекетова. Мыслимо это? Быть может, посол поймет это и согласится, а как поймет сама Екатерина? Не ровен час, примет это за некую разновидность семейственности...

Да надо ли говорить об этом Бекетову с нею? Не лучше ли, чтобы ее пригласил посол? Теперь же пригласил».

Бекетов пошел к послу.

Дверь в кабинет посла распахнута. Люстра в кабинете не горит, но журнальный столик освещен — настольная лампа перенесена туда. За столиком посол с Игорьком играют в шахматы. И не скажешь, чей ход, — партия сковала обоих. Бекетов не видел лица посла, но лицо сына было видно. Не столько лицо, сколько его чуб, упрямо вздыбленный, выдающий и настырность его, и терпеливость, и упорство, не столько бекетовское, сколько Катеринино. И Бекетову вдруг стало хорошо, что вот этот чубатый, двенадцатилетний — плоть от плоти его, бекетовский. И Сергей Петрович вдруг вспомнил свою мать. Наверно, ею владело то же чувство, когда однажды в первые годы революции, увидев сына на трибуне Михайловского манежа, она вдруг обратилась к стоящему рядом человеку в форменной куртке железнодорожника, совсем неизвестному ей, и сказала вне связи с происходящим:

«А ведь это мой сын...» Как же велика была в ней потребность в этих словах, если, произнося их, она должна была пренебречь тем, что она, нестарая женщина, дочь известного в Питере присяжного поверенного, учительница, заговорила на людях с человеком, с которым в иных обстоятельствах угроза смерти не заставила бы ее заговорить первой.

— Вот оно — чувство непобедимое!.. — сказал Бекетов. — Сын мой, сын мой, — повторил он, улыбаясь, и вошел в кабинет.

...— Послушай, Катя, тебя спрашивал посол...

Она рассмеялась. Быть может, это свойственно людям, которые долго живут друг с другом: она знала, какой стезей пойдет сейчас его мысль.

— Ты это сейчас придумал?

На другой день ее действительно пригласил посол. Она пошла, решив, что не даст себя уговорить.

— Игорек рассказал вам, Екатерина Ивановна, какую партию он у меня вчера выиграл? — спросил посол.

Что говорить, издавек он начал свою операцию, подумала она и утвердилась в своем намерении не дать себя уговорить.

— Нет, от него не дождешься. Он был заметно взволнован, мне даже показалось, радостно взволнован.

— Мне говорили, что он у вас ума отнюдь не математического, верно? Так бывает... шахматист-гуманитарий?

— У него все еще сто раз переменится. Впрочем, дипломатия — дисциплина гуманитарная или математическая? — спросила она.

Ее подмывало сказать: судя по тому, как вы рассчитали все повороты этой беседы, несомненно, математическая.

— Вы хотите сказать, дипломатия, как математика... Внешне далека от жизни, на самом деле сама жизнь, не так ли, Екатерина Ивановна?

— Дипломатия, как архитектура: в ней гуманитарные науки сомкнулись с математическими, — сказала она.

Он помолчал. Такое впечатление, что последняя ее фраза чуть-чуть обезоружила его, внесла смятение в стройные ряды его мыслей.

— Я тут поделился с Сергеем Петровичем одной идеей,— сказал Михайлов.— Сергей Петрович не одобрил моей затеи, но мне она кажется стоящей...

Она решила говорить напрямик.

— Мне достаточно, что он стоит во главе нашего семейного клана,— сказала она, смеясь.— Стать под его начало и в посольстве, значит, утратить остатки независимости...

— А если под мое начало? — спросил посол.

Ну вот, здесь начинается нечто дипломатическое, каверзное, подумала она.

— Каким образом?

— Под начало посла,— сказал он и затих. «Как она?»

— Хорошо, что не под начало наркома! — попыталась она обратить эту фразу в шутку.

— Я не настаиваю, но, может быть, есть резон вам подумать,— закончил посол.

— Я подумаю,— ответила она.

— Мне так кажется, у вас должно получиться,— сказал он ей на прощание. У него была необходимость произнести эти несколько слов на прощание, он хотел ободрить ее.

— Подумаю,— повторила она, не изменив интонации. Тем, что и слова, и интонация были повторены, она хотела показать, что заканчивает эту беседу, не уступив ни на йоту.

Она вернулась домой, не заходя к мужу. Впрочем, она знала, что у Бекетова сегодня нелегкий день и, возможно, его в посольстве нет.

Но Бекетов вскоре явился.

— Игорек лег? — спросил он, хотя видел спящего сына — его кровать была за шторой, полузанавешенной сейчас.

— Лег,— ответила она, не поднимая глаз и не выказывая желания говорить.

Он помолчал. Это, в конце концов, становилось невыносимым. Наверно, у него возникло желание сказать дерзость и взломать это ее молчание, даже у него, но он произнес примирительно:

— Поспим и мы. Сон даст силы тебе и мне.

Но Екатерина не шевельнулась. Не он, она хотела разговора, даже в молчании своем, как ему показалось неприязненным, хотела разговора.

— Вот ты говорил: «Сейчас война, а все остальное потом...» Так ты сказал?

— Да, я так сказал.

— А честно ли это?

— А почему не честно?

— Дать подлости укрыться за картофельными буртами, честно?

— Но ведь не в этом главное, пойми...

— И в этом! — На секунду она замкнулась в своей броне — копила злость, решимость копила. — Вот ты был на Печоре и... вернулся, так?

— Вернулся, как видишь.

— Вернулся к тому, кто послал тебя на Печору. Прямым путем к нему? Верно я говорю?

— Ну, предположим...

— И смотришь на него глазами едва ли не влюбленными и, этак улыбаясь, киваешь головой, точно он посылал тебя не в печорское пекло, а на золотой ялтинский песок...

— Ну и что ты хочешь этим сказать?

Она все куталась в свой клетчатый плед, будто с каждым словом ей становилось все холоднее.

— Только одно: честно это?

— Знаешь что? Давай спать. Спать, спать. Или нет? — Он пошел по комнате и, оглянувшись, увидел ее на белом поле стены. Ссутулившаяся и завернувшаяся в плед, она выглядела сейчас девочкой. — Я ведь думал об этом. Пойми, думал!.. Конечно же, я мог ему сказать, как тебе сейчас... Все начистоту! У меня бы хватило и слов, и прямоты! Но этого не надо было делать. Пойми, не надо!.. Сейчас надо собрать все силы, чтобы одолеть изверга, все остальное потом.

— И это... потом?

— Даже это... в первый же день после победы...

Она усмехнулась.

— А победителей судят?

Его вдруг осенило — надо заговорить о чем-то ином, да, собрать силы и переключить многотонный состав этого разговора на другие рельсы.

— Ты была у посла? — спросил он ее.

— Да, конечно.

— И что?

— Ничего,— ответила она.— Тут прилетел какой-то наш летчик, привез тебе письмо.

— От Егора? — спросил он, принимая письмо, хотя нужды в вопросе не было — на конверте почерк Егора.— Значит, была у посла? — спросил он, не распечатывая письма.

— Я уже сказала, была. Ты хочешь спросить, как? Обещала подумать.

Кремень не так тверд, сказал он себе и вскрыл письмо.

Оно было написано на бланках метеосводки и помечено 12 октября. Егор писал, что приехал с оказией в Щелково и встретил дружка-летчика, улетающего в Лондон. С ним и пересылает это письмо.

«Серега, когда ты получишь это письмо, быть может, решится судьба Москвы, а вместе с ней и России... Крепко верю: там, где лежит судьба Москвы, на веки веков легла судьба отечества нашего».

Писал, что Сережка где-то под Ржевом в мотоциклетной роте, Ксения в Ясенцах последние дни. Дождается свекра, который из Суздаля перекочевал в Ивантеевку. Потом следовало несколько строк о разговоре с отцом.

«Мой старик не упускает случая, чтобы атаковать меня. Вспомнил свои прошлогодние пророчества о погонах на солдатских мундирах и гвардейских полках на манер Преображенского. Вспомнил, как я его высмеял тогда и предал анафеме, чтобы ткнуть меня под самую печенку: «Чья взяла?.. Тогда вы готовы были меня освистать, а как **ныне?**» Вот что интересно: что-то из отцовских пророчеств сбывается, хотя я, как ты помнишь, с ним сражался насмерть и готов сражаться...» И по печатному тексту бланка, там, где речь шла о силе ветра и высоте облаков, приписка: «Если однажды нагряну к тебе, соберись с силами и постарайся устоять».

Час от часу не легче: с одного бока Екатерина, с другого — Егор. Того гляди дух испустишь от натиска такого! Если ненароком явится друг в Лондон, быть бою! В том, как Бардин воспроизвел слова отца, видел Бекетов: чем-то позиция Иоанна была сыну симпатична. Дело не в погонах и гвардии, которые прочили нашей армии, хотя если спросили бы Бекетова, то он

бы и с погонями повременил, ему по душе нынешняя форма. Он ее носил. По Бекетову, Егор должен был дать старику бой наихлесточий. А как Егор? Дал он ему этот бой? Не выказал жалости, не смалодушествовал?.. «Что-то из отцовских пророчеств сбывается...» Нет, Бекетов такого не написал бы. Мы дети Октября и сильны октябрьской верой, октябрьским знаменем и за стяг и веру эту пойдем до конца... Да и Егор пойдет, разумеется, но к отцу снисходителен. Так полагает Бекетов, снисходителен.

## 37

Где-то на исходе одиннадцатого по Кузнецкому идет первый ночной патруль. Точно само военное время отбивает секунды на больших часах, шаг размеренно весом. Так могут идти люди, облеченные правом. Да и то сказать, сейчас они в ночи военной первое начальство — любого могут остановить.

— Пропуск? — вспыхивает фонарик и гаснет. — Можете идти. — Видно, солдат с фронта — фонарик с моторчиком, трофейный, слышно, как он жужжит в ночи.

Патруль прошел. Тишина, почтительная тишина. Обитатели Кузнецкого, что несут свою полуночную вахту у домов, затаили дыхание.

— Гитлер грозитя открыть шлюзы на Москве-реке, так, чтобы и холм кремлевский ушел под воду...

— Мало ли какие глупости говорит Гитлер, надо ли повторять это, товарищ?

— Я молчу.

И опять тихо. Только слышно, как идет патруль в ночи, где-то на Неглинной он сейчас, а может, уже на Петровке. Истинно, железным его шагом само военное время отбивает ритм...

В наркомате паковали архивы. Каминьы министерства, нетопленные с сотворения мира, неожиданно ожили. Трубы, заросшие паутиной и пылью, отказывались пропускать дым. Многослойные облака стояли в кабинетах.

Бардин не без любопытства наблюдал за сподвижниками по отделу. Вот когда сказываются характеры! Вологжанин вопреки дыму и пеплу сидел за письмен-



ным столом в белоснежной сорочке, в урочный час ел свой бутерброд, как обычно, был спокойно-рассудителен, сохраняя самообладание, и работал за троих. Кузнецова норовила заманить Бардина в угол поукромнее и, роняя слезы из глаз и носа (она плакала легко), вопрошала: «Что будет, что будет?»

Из Наркоминдела на Курский вокзал уже шли грузовики, там стоял под парами специальный состав на Куйбышев. Приходили наркоминдельцы, ушедшие в ополчение, обязательно в сопровождении кого-то из однополчан. Были эти однополчане один колоритнее другого: длинноволосый гример из Малого — его шеве-

люры на три парика хватит, молотобоец с автозавода, приземистый, с лиловыми ногтями (маленько задел кувалдой), студент ИФЛИ в ковбойке и квадратных очках — он пришел с подружкой, однако подружку оставил у памятника Воровскому и, осекаясь на полуслове, подбегал к окну и смотрел вниз: как она там? А однажды пришел седой человек в опорках, на его выцветшей гимнастерке поперек груди были точно отпечатаны темно-зеленые полосы, видно, гимнастерка выцвела, когда ее еще украшали чонгарские нашивки. Человек погрузил на полковую полуторку пять мешков с войлоком, отблагодарил наркоминдельских хозяйственников за щедрость и уехал почти счастливый: «Теперь медсанбат с подушками...» Кто-то спросил: «Однако не щедр Наркоминдел, чего так?» Оказывается, человеком в выцветшей гимнастерке и солдатских опорках был посол Аралов. В прошлом посол, нынче начштаба полка, доброволец Красной Армии. «А коли посол, мог бы попросить что-нибудь и потяжелее войлока. Хрусталь, например, знатную бронзу, фарфор — не грех солдатам хлебнуть чайку и из фарфора! Все одно эшелон, стоящий под парами, не поднимет всех наркоминдельских сокровищ...» — «Он от этого войлока на седьмом небе, посол Аралов!.. А что ему твой хрусталь, его вместо подушки не положишь — жестко!»

Далеко за полночь, когда в длинных наркоминдельских коридорах стихли шаги и даже Вологжанина сморил сон, Егор Иванович раскрыл дверцы канцелярского шкафа, в котором Августа берегла старые бумаги. На пол упала синяя картонка, заполненная скорописью и удостоверенная круглой печатью. Бардин подумал, что синяя картонка была мандатом времен революции, а оказалось, что это письмо, а печать приложена к нему, чтобы удостоверить написанное. А содержание письма было столь значительным, что действительно нуждалось в подтверждении. Письмо сообщало, что на Волге в жестоким бою погиб Николай Маркин. Егор Иванович ощутил, как у него сдавило сердце. Вот как скрестились твои пути тернистые, время. Маркин, легендарный Маркин... Тот, кто первым явился в российское Министерство иностранных дел и возгласил власть революции. Тот, кто первым произнес

это счастливо-бедовое «Ключи на стол!» и этим дал понять старым обитателям Дворцовой: «Точка, ваше время истекло, господа...» Тот, что проник в тайнопись дипломатии царской и расшифровал договоры, хранившиеся в железных комнатах... И вот синяя картонка с извещением о смерти героя. Как ни скупа картонка, а уразуметь можно: Маркин погиб, командуя военным судном в неравном бою с береговой артиллерией. Если быть точным, то эта артиллерия, укрепившаяся на волжских берегах, расстреляла Маркина вместе с его кораблем. Да погибали когда-нибудь так дипломаты?

Бардину позвонила Ольга.

— Приезжай, Ксении плохо...

Он просил объяснить, что такое, но ответ был не многим пространнее:

— Очень плохо.

Бардин сумел приехать в Ясенцы лишь в одиннадцатом часу вечера и издали заметил дымок над трубой бардинской обители. В доме не спали. Ему открыла Ольга.

— Что так поздно? Я бы легла, да вот белье поставила...

Она впустила его, но в дом не вошла, дав понять, что хочет говорить с ним.

— Плохо, что ли? — спросил Бардин. Они стояли сейчас в темных сенцах. Ольга держала руки у груди, и они дышали жарким и добрым дыханием.

— Все из-за этой бомбы, что упала позавчера на ларь москательный... Осветило, как днем! Вот ей и стало худо: сердце стиснуло и держало до утра, — произнесла она горячим шепотом. — Какая там эвакуация — ее в соседнюю комнату не перенесешь!

— Спит она?

— Спит, слава богу. Положила рядом Иришку и уснула.

Они прошли на кухню.

— Ты ел? У меня есть синенькие с перцем! Помому, ты любишь, а?

— Ленкя любил с перцем. Там у них на Кавказе все с полымем, — произнес Бардин ненароком. Он вспомнил, что Алексей, муж Ольги, действительно любил синенькие.

— Да, Алексей... — сказала она.

Он ел, как всегда, с аппетитом. Она сидела у окна, устремив на него свои затянутые дымкой глазищи. Он глядел на нее время от времени, и она казалась ему дочерью дремучего бора, бог весть как появившейся в их доме. Было в ее глазах, похожих на отстоявшуюся в лесных бочагах воду, в разлтых бровях, в самой коже ее лица, не тускнеющей в своей яркой смуглости даже за длинную московскую зиму, было в ней что-то неожиданно дикое, нездешнее. Да и нравом она была под стать зеленым глазищам и неубранным бровям — необузданно лихая, больше похожая на мальчишку, все рвалась свалить Егора с ног. И еще подумал Егор в тот вечер, глядя на Ольгу: вот две сестры, Ксения и Ольга, а как разнолики... Для Ксении ее знатная родня была чем-то живым, что она чуяла в крови своей. Егор мог застать ее стоящей перед старинным гобеленом (Ксения говорила на старинный манер «гобылен») и пытающейся распознать в затейливой вязи линий нечто такое, что, казалось, ушло безвозвратно. Иногда Ксения извлекала бог знает откуда железный ларец, усыпанный самоцветами, и, вздыхая, открывала его. Некогда все это в семье Ксении звалось, наверно, фамильными драгоценностями, но сейчас вызывало жалость... Да, было чуть-чуть жаль тех далеких людей, которым эти милые пустяки могли доставлять радость. Именно пустяки: часы, сделанные в форме ореха, обрывки коралловых бус, скрепленные золотом, обломок броши, золотая запонка. Все непривычной формы, не похожее на то, что было миром сегодняшних вещей, что видел Егор каждый день. Однажды она, стыдясь, показала Егору столовую ложку... «Взгляни, вот как выглядела наша монограмма, — произнесла она, робея и волнуясь. — Ты только взгляни, монограмма!» Время источило серебро, от ложки осталась половина. Егор смотрел на ложку, и ему виделся далекий предок Ксении, старик с подагрическим румянцем, не очень опрятный и жадный, который истер песочным языком серебро, пощадив разве только монограмму... Где-то в заветном углу ее платяного шкафа хранилось бальное платье прабабушки. Она могла вдруг облачиться в это платье и пройти из одного конца квартиры в другой, робко кокетливая и недоступная, странно похожая на свою

прародительницу, портрет которой Егор видел в альбоме, заключенном в плюшевый переплет, кажется тоже доставшийся от прабабки. «Ой, бабушка Ядвига была вертихвостка. Дед был ее третьим мужем», — говорила Ксения не без восторга, но сама была иной: Егор — он был для нее «свет в окне».

Одним словом, Ксения была шляхтянкой, для которой Речь Посполитая была отнюдь не отвлеченным понятием, а вот Ольга... Она закончила свой садоводческий, мечтала переселить помидоры с грядок на ветви и получить многолетнее томатное дерево. Она работала и споро, и красиво, работала для себя. Главное, что это ей доставляло радость, остальное не в счет. Егор не раз наблюдал, как, вооружившись садовыми ножницами, она охорашивала деревья. Там, где она прошла, деревья точно выпрямлялись, обретая рост и стройность. Ей было приятно подать к завтраку садовую землянику, диковинно крупную, еще хранящую прохладу земли, или встать до зари и, играючи, окопать все деревья сада. Она являлась из сада бесстыдно румяная, с рассыпавшимися волосами... Ксения, которая в сестре души не чаяла, любила усадить ее рядом и расчесать ее «непокорные»... Все гребешки в доме давно были без зубьев, однако эта операция продолжалась вновь и вновь и сопровождалась смехом, когда из первозданной тьмы Ольгиных волос вместе с зубьями гребня извлекались сухие яблоневые листья, смолистая сосновая хвоя и даже обрывки бересты... В доме Ольгу звали «наша Оля», любили, жалели и боялись прежде всего железных объятий, при этом Егор боялся больше всех. Сказать, что сестры были разными, не все сказать. Они были людьми разного мира, среды неодинаковой, быть может, непохожего корня. То, что волновало Ксению, не трогало Ольгу, было ей чуждо в такой мере, что казалось неправдоподобным, что их вызвала к жизни одна мать. Егор нередко задумывался над этим, однако найти ответ было нелегко. Впрочем, был один ответ, для Егора убедительный: Ольга была младше Ксении лет на семь, на те самые семь лет, в течение которых свершилась революция... Это и явилось той межой, которая разделила жизнь одной и другой в такой мере, что казалось, они выросли в разных семьях.

Бардин ел свои синенькие и в какой раз думал о судьбе сестер, Ксении и Ольги. А Ольга смотрела на Бардина и говорила, что Иришка выросла из платьев, всех своих платьев и, если бы у Ольги дошли руки, она бы перешила ей свои. Прошлой ночью, когда бомба угодила в москательный, в кухне высыпались стекла, и она призвала кривого Николая с того конца Ясенцев, чтобы он вставил окна. Он вставил одно окно и, получив поллитра, запил, запил и пропал. Еще она говорила, что соорудила посылку для Сережки, однако не успела обшить ее мешковиной, вот обошьет и отправит.

Бардин слушал ее, и ему чудилась в этом нехитром рассказе Ольги Ксенина интонация. Никогда Ольга не была похожа на Ксению, а вот сейчас похожа, думал Бардин. И еще думал: почему она так похожа на Ксению сегодня, именно сегодня? Не оттого ли, что все сказанное Ольгой Бардин слышал прежде от жены и привык слышать от жены? Да, дело не только в Ольге, но и в нем, Бардине. Почему он говорит с нею о делах, в сущности, не самых важных, покорно говорит? В иную минуту Бардин остановил бы ее на полуслове, а сейчас слушает с такой робкой внимательностью, какой у Бардина отродясь не было.

— Повезешь Ксению за Урал? — спросил он.

— Я-то готова, да ей будет нелегко, — ответила она уклончиво и печально посмотрела на Бардина. Печь остывала, но все так же были обнажены руки Ольги, все так же бежали наперегонки от плеч к запястью семь ее родинок, мал мала меньше.

— Не доедет?

Она закрыла глаза, долго сидела так, не шелохнувшись, точно углубившаяся в свою думу, на веки веков тайную.

— Может и не доехать, — наконец ответила она.

А потом они сидели у Ксении и Егор говорил:

— Надо ехать, ехать, пока не поздно...

А Ксения молчала, только смотрела в упор. Он знал, он помнил по тем юношеским годам, когда видел ее глаза у самых своих глаз, видел: они только кажутся серыми, а на самом деле зеленые.

— С кем ехать? — наконец спросила она. — С тобой, Ольга?

— Да, с Ольгой, — подхватил он. — С кем же ехать, как не с ней? Она дала мне слово.

— А почему тебе не поехать с нами?

Бардин ждал этого вопроса. Он, этот вопрос, был в ее взгляде. Она живет в ином мире, то, что для него очевидно, ей надо еще постичь.

— Пойми, как я могу просить об этом сейчас! Ну только представь, как?.. Должна быть у меня какая-то совесть?.. Никто не просит — я буду просить. Никому и в голову не приходит просить. Ты только подумай: Москва горит, немцы в двух шагах от Химок. К тому же ты представляешь, что будет, если все начнут упрашивать отпустить их с женами?

— Не просят потому, что все здоровы. Разве я просила бы, если бы была здорова?

Лучше было бы и не начинать этот разговор. Ну что ей сказать? Нет, в самом деле, что ей сказать? Вот и Ольга смотрит с укором, и для нее все сомнения Ксении убедительны. Видно, надо сказать о Стокгольме, не должен говорить, нет права, а надо, иначе ее не убедишь.

— Может статься, что завтра я должен буду лететь бог знает куда.

Она отвела глаза, устремила их в никелированное «яблоко» на спинке кровати, спросила не Егора, а этот ком никелированного железа:

— Куда?

У него лопнуло терпение:

— Да мало ли куда? В Стокгольм!

Она не сводила глаз с «яблока».

— Значит, меня... умирать за Урал, а сам в Стокгольм?

Он взглянул на Ксению. Господи, как она его сейчас ненавидела! Что он может сказать к тому, что уже сказал?

— Ты, ты совесть имеешь, в конце концов? — спросил он тихо. Тише, чем хотел бы. — Пойми, горит Москва! Подумай не только о себе... Ну, подумай! Ты... — Он задыхался, его большое тело точно взбухло, оно будто не умещалось в комнате. Он опрокинул столик, пепельница покатила по полу, подпрыгивая. Не поднимая ее, он вышел из комнаты. — В восемь придет машина, будьте готовы! — крикнул он уже со двора, однако, закрывая калитку, подумал: «Надо ли было так

резко? Может, и в самом деле «умирать за Урал»?.. Не надо, не надо!.. Да уж что теперь делать?»

Ночью он приехал на Казанский вокзал. В кромешной тьме, сталкиваясь с такими же, как он, и тщетно пытаясь разминуться, переползая под вагонами едва ли не на четвереньках, перебегая через площадки и вспоминая нечистую силу во всех ее видах, Бардин отыскал наркоминдельский эшелон и в дальнем купе третьего вагона Ксению с Ольгой и Иришкой.

— Ну вот теперь у меня отлегло, — сказал он, чтобы что-то сказать, и поцеловал во тьме холодную руку Ксении. — Придет день, и мы вновь соберемся в Ясенцах, все соберемся... — Он выпустил руку жены и, беспомощно смятенный, напрочь незрячий, стал искать Иришку. — Где ты, Ирина? Ну, отзовись. — Он тронул ладонью губы дочери. Они были тверды и немые. — Ты что же приумолкла? — Он вновь приник к руке Ксении — она, эта рука, была непривычно легкой и непобедимо студеной. — Ну, дайте хоть взглянуть на вас... Вы это или не вы? — молвил он и повел зажженной спичкой во тьме. Ксения уткнулась лицом в угол, а Иришка стрельнула из тьмы немигающими глазами, которые показались ему белыми.

— Жестокое время! — проговорила Ксения. — Жестокое, жестокое...

А потом он стоял в тамбуре с Ольгой и говорил ей, сжимая ее большую, ощутимо натруженную руку:

— Вся надежда на тебя, Ольга! Была бы моя тетка Ефросинья рядом, сказала бы: «Тебя нам господь послал!..»

А Ольга вдруг ринулась к нему из тьмы, обвинив руками, ткнулась горячим лицом в грудь, а потом вдруг заплакала по-бабьи голосисто, в три крика. Бардин не знал, что она способна так плакать...

Поздно вечером Бардин просил разыскать Кузнецову. Она явилась уже в двенадцатом часу.

— Егорушка Иваныч, этак вы меня могли и не заставить — второй эшелон уходит утром...

— Да, утром, но только не на восток, а на запад...

Ее глаза повлажнели, она улыбнулась и тут же заплакала.

— На западе немцы, Егорушка Иванович.

— В Стокгольм летим, голубушка.— Она была, пожалуй, единственной, кого он называл так. Ее это и настораживало, и воодушевляло — что вкладывает Егор Иванович в это «голубушка»?

На какой-то миг слезы точно запеклись в ее глазах: она не знала, радоваться ей или плакать.

— До Стокгольма ли сейчас, Егорушка Иванович?

— Именно до Стокгольма.

Она сникла.

— Погодите, но я все погрузила. Мой гардероб...

— Бог с ним, с гардеробом, пусть едет за Урал.

— Нет, Егорушка Иванович, нет.

Бардина взорвало:

— Не нет, а да! Вот вам два часа на сборы.

— Погодите, почему только два часа, когда до утра еще пропасть времени?

— Сколько вам надо?

— Ну, часов пять...

— Валяйте. В четыре будьте здесь!

Ее точно волной смыло — только хлопнула дверь, выходящая в коридор, да застучала по паркету штука-турка...

Когда поднялся бардинский самолет и вначале лег курсом на восток, а потом, набрав высоту и развернувшись, взял на запад, Егор Иванович сидел у иллюминатора. Как ни силен был мороз на высоте и густы снеговые тучи, Бардин видел в ослепительно ярком свете луны неоглядные просторы, забеленные студенным дыханием ноября, ярко-черные полосы лесов, синие реки, высвеченные луной, города на берегах рек, как и леса, черные, без единого огонька, и неистовство закипающего боя, несмотря на пять тысяч метров, отделяющих самолет от земли, грозного. Бардин знал: там, внизу, на бескрайней равнине, скованной дыханием зимы, Россия пошла в свое первое наступление на немца, пошла рывком, пытаясь смести врага напором армий, прибывших из прикаспийских степей, из неоглядного Зауралья, со всех краев державы... В самом накапливании этих армий, которое велось одновременно с боем на изматывание, было нечто исконно русское: вначале отнять силу, а потом смять... Наступле-

ние только-только начиналось, еще неизвестно, как оно могло повернуться и какой конец ждал его, еще тревога, а может быть, неуверенность владели сердцами: а не скопил ли немец по примеру наших в тылу своих наступающих армий резервную армию, способную на контрудар ответить еще большим ударом?.. Однако решение состоялось и армии пошли в наступление, наступление, которое могло быть большим или меньшим в этой войне, но должно быть по-своему решающим. И, глядя на сине-белую равнину, которая все еще расстилалась под самолетом, Бардин думал: не явится ли эта зимняя одиссея новым подвигом России. И еще думал Егор Иванович: где-то там, на просторном поле, освещенном лунным сиянием, на берегу озера, что сейчас вспыхнуло посреди снегового поля, или у обочины дороги, которая рассекла негустой лес надвое, должен быть и Сережка... Бардин не знал, как он там, но казалось, огонь всех пулеметов скрестился на нем, и губительное артиллерийское пламя шло на него, на Сергея, и удар танковых пушек, беспощадно прицельный, всех пушек, сколько их было на фронте, обратился против Сергея... И было бесконечно горько от сознания: сын в адовом огне, а ты забрался высоко-высоко и смотришь, как там казнят сына, смотришь и не пытаешься помочь... И вновь вспомнились слова Ксении: «Кинься в ноги Воскобойникову, умоли, пусть уберезит Сережку...» Однако не просто совладать с тем, что идет на тебя стеной! Большая победа в войне — избавление от сатаны для тебя и для Сережки. Для Сережки! И все то, что ты делаешь, служит этому. И эта ночь в твоей жизни, и этот полет через линии фронтов, и все, что тебя ожидает завтра...

Он вспомнил Коллонтай, какой видел ее последний раз. Это было немногим больше года назад в том же Стокгольме, на все той же Виллагатан, где Бардину предстоит быть теперь. Только что был подписан мир с финнами. Все в ее кабинете напоминало век девятнадцатый: книжный шкаф с медной по полированному дереву отделкой, бювар с нарядным тиснением, кресло с цветной подушкой, фотографии близких и самой Александры Михайловны, некоторые в старомодных свальных рамах, и ваза с цветами рядом с чернильницей. Цветы здесь не вянут, всегда свежие. Несмотря

на позднюю пору (был октябрь, с сизым туманом и морсящим дождем), в вазе, стоящей на столе, лилии были нетускнеющими. Видно, Александра Михайловна любила эти цветы. «Шведы знают, что Москва заинтересована чрезвычайно в том, чтобы шведский нейтралитет не был нарушен», — произнесла Коллонтай. «Шведы сказали вам это?» — спросил Бардин. «Да, шведский премьер, с которым я говорила позавчера, при этом в выражениях достаточно определенных: «Дружба с Советским Союзом является основной опорой Швеции...» — «Это задача для нас и на завтра?..» — спросил Бардин, он хотел этот разговор довести до конца. «На завтра?.. — повторила его вопрос она. — Нет, на завтра... больше: сберечь нейтралитет Швеции и удержать финнов...» Она была прозорлива, Александра Михайловна, она видела из своего стокгольмского далека, как повернутся события через год: шведский нейтралитет сберечь удалось, однако финны в войне...

«Но у вас есть умение говорить с финнами, Александра Михайловна, даже в обстоятельствах чрезвычайных весьма», — заметил Бардин, он имел в виду недавние переговоры с Финляндией о мире, к которым Коллонтай была причастна. Она встала и, подойдя к шкафу, на котором стояла фотография отца, отодвинула ее от края. «Если это произойдет, иного выхода нет...» — сказала Александра Михайловна. Бардин понял ее слова так: «Если финны все-таки выступят, очевидно, задача изменится: сберечь шведский нейтралитет, убедить финнов выйти из войны...» Разумеется, задача могла выглядеть и иначе: сберечь нейтралитет Швеции и склонить ее присоединиться к союзникам. Но Александра Михайловна не обманывалась, вряд ли это было реально. А может быть, и все остальное было не очень реально, по крайней мере сегодня, ведь немцы придвинулись к самым стенам Москвы, того гляди враг взберется на Поклонную гору...

И Бардин вновь стал думать о нашем наступлении: «В самом деле, не новая ли зимняя одиссея началась на российских просторах?»

...Бардин и Кузнецова были на Виллагатан в девятом часу.

— Александра Михайловна у себя? — спросил Егор

Иванович первого секретаря, который встречал их на аэродроме.

— Да, разумеется, — ответил он. — Наверно, уже сделала гимнастику и работает. Как принято в Стокгольме, она начинает рано: в девять у нее уже могут быть посетители...

Действительно, Коллонтай уже принимала, однако, узнав о приезде Бардина, вышла ему навстречу. На ней было темное платье, отделанное мехом. Она любила темные платья — она была светлой, и темные платья ей очень шли.

— Я вас помню, — произнесла она и протянула руку. — Только что лондонское радио сообщило, что наши войска отбили Клин. Для вас это не новость?

— Новость, Александра Михайловна.

Она увидела Кузнецову, которая, смутившись, отступила к двери, и поклонилась ей.

— Вас я тоже помню. Не вы ли помогали мне разыскать этот кабинет на четвертом этаже Наркоминдела, в котором читали прессу послы?

— Я, Александра Михайловна.

— Вот видите, узнала.

— Спасибо.

— Узнала, узнала, — улыбнулась Коллонтай, а Бардин сказал себе: у нее улыбка какая-то ласково-сановная. В этом она не виновата, это от долгого обращения с людьми, которые смотрели на нее снизу вверх.

Они поднялись этажом выше, где были приготовлены для них комнаты, а Кузнецова все повторяла:

— Ах, какая женщина!

Бардин рассмеялся.

— Нет, это я должен говорить: «Ах, какая женщина!»

Еще в тот приезд в Стокгольм Егор Иванович обратил внимание, как добротен был поставлен этот дом, как он был налажен. Даже в нынешнее нелегкое время в самом ритме жизни, в котором жил этот дом, была спокойная целесообразность. Только и слышалось: «Александра Михайловна хотела бы...», «Александра Михайловна просила...» Именно так мог сказать и дежурный по посольству, и советник, и шофер, и глава торгового представительства, и радетельная повариха-кормилица.

И еще Бардин в тот раз приметил, а сейчас готов был подтвердить: была в Коллонтай светочность, редкая способность излучать радость, и отблеск этого света лежал на всех, кто имел отношение к дому. Впрочем, в облике дома сегодня угадывалось и такое, чего тогда не было и быть не могло, — он жил по законам военного времени. Да, посреди стокгольмского благополучия, которое так характерно для страны, полтора столетия не ведавшей войны, был дом, живший по законам самой свирепой из войн. Казалось, что камни дома обрели чувствительность кожи, так они воспринимали температуру времени. Маленькая антенна на крыше посольства была обращена на восток. Каждый раз, когда события на востоке достигали своего апогея, окна дома на Виллаган будто накалялись добела, и требовалось время, и немалое, чтобы пламя смирилось — свет в окнах посольства словно и не гас... У посольства был свой замеряющий температуру событий термометр, чуткий и безошибочно точный, — скромный посольский бюллетень. Наверно, в городе, где выхлещут три десятка ежедневных газет, отпечатанных на лучшей в мире газетной бумаге, добротной иллюстрированных, многостраничных, вряд ли может быть услышан слабый голос скромного посольского издания, камерного, по виду любительского... Оказывается, может! Тысяча экземпляров бюллетеня мгновенно расходилась в Стокгольме. Срочная стокгольмская почта, посыльный, специальный министерский курьер, посольский нарочный — все средства связи большого города, способные донести пакет с известием, безусловно, заслуживающим внимания, приходили в движение... И пакет доставлялся по адресу: видный писатель, генерал в отставке, пишущий ежедневные обзоры военных действий для шведского агентства, бургомистр Стокгольма, давний друг Советов, редакция большой столичной газеты, депутат парламента, Общество друзей СССР — содружество бессребреников, в глазах одних — безнадежных чудаков, в глазах других — благородных энтузиастов, всемогущий суверен шведского королевства, ассоциация медиков. У бюллетеня крепкие крылья — советское посольство. Именно крепкие — посольство, во главе которого Коллонтай. Полушутя-полусерьезно бюллетень зовут в Стокгольме

«Голос Колонтай». Что-то было и в самой Колонтай от ее посольского издания: вера и храбрость и еще раз храбрость... Те пятнадцать лет, в течение которых Колонтай представляла СССР в Швеции, были годами сложными: война с Финляндией, советско-германский договор, потом вторая война с финнами. Не каждому послу под силу такое, а тут еще посол-женщина, как известно, до Колонтай женщины в послах не значились!.. Нужен был авторитет Александры Михайловны, чтобы совладать с задачей. У нее был дар: она умела обращать то, что зовется авторитетом, на пользу делу, которому служила.

...В одиннадцать Бардин был у Колонтай. Его встретила молодая женщина, одетая с подчеркнутой тщательностью (белая, тонкого шелка блузка, несмотря на свирепый мороз за окном, темная юбка, длинная), и попросила подождать, обнаружив в говоре легкий шведский акцент. «Видно, добрая подружка Александры Михайловны, — подумал Бардин. — Сподвижница ее скандинавских странствий и деяний».

Егор Иванович ждал минут пять. Дверь кабинета открылась, и вышел человек в куртке, украшенной крупными медными пуговицами. В приемной кроме Егора Ивановича было несколько человек, однако человек в куртке безошибочно угадал в группе лиц, находившихся в этот момент в приемной, Бардина и поклонился так, будто просил извинения, при этом его тщательно выбритое и, несмотря на заметный слой пудры, сизое лицо расплылось в улыбке.

— Вы заметили человека, который только что был у меня? — спросила Александра Михайловна, когда Бардин вошел в кабинет. — Блистательный актер... — Она назвала имя. — Когда англичане высадились в Архангельске, присоединился к ним, участвовал в боях, был нами взят в плен и возвращен в Швецию чуть ли не по приказу Ленина. — Она взглянула на стол, и Бардин увидел белый конверт, как показалось Егору Ивановичу, вскрытый, и на нем перстень с крупным квадратным камнем. — Вот принес и написал: «От антифашиста».

— А насчет Архангельска не упомянул?

— Так и сказал: «Я знаю вас, поэтому и верю в ваш антифашизм...» — заметила Александра Михайловна.

— «Я знаю вас» — это Архангельск? — спросил Бардин.

— По-моему, да, — согласилась она.

Коллонтай вызвала секретаря. Вошла молодая женщина в белой блузке.

— Он бедняк из бедняков. Это для него сокровище, — сказала женщина, взглянув на перстень.

— Он приехал специально? — спросила Коллонтай.

— Да, звонил до этого из Гетеборга дважды, — ответила женщина и вышла.

— Никогда не думала, что будет так: несут кто что может, — заметила Коллонтай. — Кремневое ружье, с какими войска Карла шли на Петра, медицинский инструментарий, старинный ковер работы древних персидских мастеров, вещь красивая и явно уникальная, коллекцию монет, по всему, редкую, тысячу американских долларов, греческие амфоры, добытые при раскопках древнего храма на Балканах... Одним словом, вещи неожиданные, но, по всему, ценные. Именно в неожиданности их смысл — если человек принес амфоры, значит, у него, кроме них, ничего нет стоящего, значит, он, как тот актер, которого вы встретили, человек отнюдь не состоятельный. — На улице точно смерклось, день пасмурный. Александра Михайловна встала и пошла к двери, чтобы включить свет. — Вот что интересно: они все больше понимают, как справедлива наша война. — Она зажгла свет, и дерево под окном, обнаженное, облитое осенним дождем, заискрилось, точно каменное.

— Вопреки участию финнов понимают? — спросил Бардин.

— Представьте, вопреки, — сказала она и пошла к столу. — В Швеции начинают понимать, финнам не надо было ввязываться, это не их война...

— Но финны, финны догадываются, что шведы думают сегодня таким образом?

— По-моему, догадываются.

— И продолжают воевать? Будут продолжать?

— Очевидно, до тех пор, пока не возникнет новое Бородино.

— Это что значит? Пока у врагов России не рухнут последние надежды на победу?

— Не только. Пока финны не почувствуют, что

могут выйти из войны, не опасаясь немецкой кары.

— Мера зависимости?

— Вначале, я так думаю, они были зависимы меньше, сейчас больше.

— Это можно сказать и о Швеции, Александра Михайловна?

— Да, к великому сожалению, то, что мы называем шведским нейтралитетом, утрачивается и может оказаться на ущербе.

— Вы хотите сказать, нейтралитет есть величина отнюдь не постоянная?

— Именно.

— А вот как немцы навязывают свою волю? В Финляндии есть войска, но в Швеции их нет...

— Швеция тоже берется изнутри, при этом была атакована раньше Финляндии, даже раньше Норвегии с Данией.

— Каким образом?

— Я называю это десантом коммивояжеров! (Вон как, коммивояжеров! — подумал Бардин. — Наверно, это слово характерно для Коллонтай. Оно, это слово, было модным в начале века.) Упал десант с неба, как все десанты сегодня. Тысячи немцев, которые вошли в страну, пользуясь всеми ее дверьми и, пожалуй, окнами. Вы слышали песенку Герхарда, ну, известного здешнего актера, о троянском коне, очень злую? Она об этих немцах. Никогда их не было в Швеции так много, как сегодня.

— А как отнеслись к этому шведы?

— То, что вы видели, — она указала взглядом на перстень, — во многом результат этого.

— Но как обратить все это в реальные ценности для нас?

— Что вы называете... ценностями? Поворот в политике Швеции, выход финнов из войны?

— Да, я это хотел сказать.

— Вряд ли такой поворот возможен, недостает главного.

— Бородина?

— Пожалуй, Бородина.

«Да, недостает Бородина! — подумал Бардин. — Недостает такого удара, чтобы дрогнуло могучее и гро-

моздкое сооружение, именуемое немецкой военной машиной. Может ли стать Бородином Москва, да, все то, что сию минуту происходит на заснеженных подмосковных полях? Видно, на этот вопрос никто, кроме Москвы, ответить не в силах».

— Какая дорога у дипломатии, Александра Михайловна?

Она улыбнулась.

— Все та же — быть бурлаками истории... Согнуть вью, покрепче приладить к плечам ремни и подналечь, чтобы сдвинуть баржу с отмели! Вначале баржу, потом судно потяжелее, потом опять баржу!.. Одну за другой, чтобы дать ход течению, свободу реке! — Она рассмеялась. — Поверьте мне, бурлаками!

Это сравнение тоже характерно для нее, подумал Бардин. Нет, не тем, что это слово пришло к нам из того века: «По кремнистому берегу Волги-реки...» Нет, не поэтому. Она была женщина — самое нежное и ранимое творение природы, и она любила все могучее. Да, наверно, она любила в трагедийном театре слушать Адельгейма в роли Отелло, а в оперном Шалыпина, поющего мельника... В ее сознании бурлак не символ простолюдина, а символ великана, которого сама природа наделила силами, которых нет у других. И не только это. Бурлак — это труд, напряжение в труде, терпение. Да, терпение это обязательно. Именно терпение она имела в виду, когда сказала: «Бурлаками».

— Я хочу, чтобы вы пробыли с неделю...

— Три дня, Александра Михайловна.

— Трех мало, но три так три. Я хотела, чтобы вы встретились с бургомистром Хагеном, буду просить принять вас сегодня. Кстати, сегодня ночью я закончила чтение его книги путешествий по Франции. Вам не приходилось видеть, она издана и по-английски?

— Нет, Александра Михайловна, — сказал Бардин, и шальная мысль пришла в голову: «Господи, до французских ли впечатлений стокгольмского бургомистра, когда пламя уже лижет кровлю дома, того гляди заберется под стрехи?.. И потом, самое ли это насущное чтение и для Коллонтай, чтобы отдать ему ночные часы?..»

— Вам будет интересна встреча с этим человеком, это наш давний друг. Я взяла за правило и, наверно,

приучила к этому бургомистра: ничего не пропускать из того, что касается этого человека, будь то книга, статья, речь... Кстати, письмо о книге его французских впечатлений я ему уже отослала. Я пошлю новое письмо вслед и попрошу его о встрече. Думаю, он мне не откажет.

Бардин шел от Коллонтай, твердил непрерывно: «Учись, отрок Егор, набирайся ума-разума. Ты уразумел, дитя природы, для чего ей надо было ночь напролет читать французские впечатления бургомистра? Ты проник в ее мысль? Чтобы устроить тебе встречу с бургомистром? И не только поэтому — чтобы иметь такого друга, как этот бургомистр, друга, к которому можно обратиться с просьбой о завтрашней встрече. «Финские проблемы никто не знает лучше его!» Вон куда ведет книга о французских впечатлениях! Понял? Вот она очинивает мягкие фаберовские карандаши своей машинкой, укрепленной на столе, и пишет письма: «Только что прочла Вашу книгу, друг Хаген!..», «Раскрыла утреннюю газету и увидела Вашу речь!..», «Вы не упускаете случая, чтобы заявить о себе в прессе — прочла Вашу статью...» И тянет, изо дня в день тянет свою баржу наперекор отмелям и перекатам и зовет всех к этому. Бурлаки? Да, пожалуй, бурлаки!.. Не бойтесь и не стыдитесь быть бурлаками! Бурлаки — это хорошо!..»

Но не успел Бардин подняться к себе, как раздался телефонный звонок, и Егор Иванович узнал голос молодой шведки.

— Товарищ Бардин? С вами будет говорить Александра Михайловна...

(Как заметил Бардин, шведка всех звала строго-торжественно «товарищ», исключение составляла, пожалуй, только Коллонтай.)

Коллонтай просила спутницу Бардина зайти к ней.

— Хочу показать ей здешний парк, — сказала Коллонтай.

Бардин знал по прошлой поездке, Коллонтай любила этот парк, у нее были там заветные аллеи, она уверяла, что два часа, проведенные в парке в послеобеденное время, заметно прибавляют силы.

— Думаю, что ей будет приятно ваше приглашение, Александра Михайловна.

Но Кузнецову, к удивлению Бардина, встревожило приглашение Коллонтай.

Бардин как мог объяснил — добрый знак гостеприимства. Если бы он, Бардин, был женщиной, и он бы получил такое приглашение.

— Не такая уж я простофиля, Егорушка Иванович. Так просто на два часа, да еще при такой занятости! Не верю!

Она вернулась с прогулки обескураженная.

— Не пойму я вашу Александру Михайловну: два часа говорила о хризантемах! Не для этого же она меня увлекла в этот парк!

Бардина это развеселило. Женщина рациональная, для которой каждая встреча имела смысл, если только приближала ее к вожаденной цели, Кузнецова отказывалась понимать человека, если не видела практической цели в его поведении.

— Погодите, но ведь вы на месте Коллонтай пове-  
ли бы себя так же? — спросил Бардин не без лукавства.

— Вы шутник, Егорушка Иванович, — произнесла она, но не улыбнулась — ей было не до смеха. — Ничего не понимаю!

Вечером Хаген позвонил Бардину.

— Добрый вечер, мистер Бардин, это Хаген. А что, если нам завтра встретиться не в Стокгольме, а в Упсале? — произнес он по-английски достаточно свободно. Как потом установил Егор Иванович, Хаген начинал свою карьеру в представительстве одной лондонской фирмы в Гетеборге и был силен в английском, хотя и говорил с чуть-чуть «уэльской кашей» во рту — его шеф происходил из Бирмингама. — В Упсале дом моих родителей, знаете, рядом с университетскими теологами, через дорогу от резиденции епископа...

Прошлый раз, когда Бардин был в Швеции, он посетил Упсалу, разумеется, побывав и в университете.

— Погодите, это не рядом ли с медицинским факультетом? Там еще виден стеклянный шатер его знаменитой хирургической...

Хаген рассмеялся.

— Именно стеклянный шатер! Поздравляю, вы по-

лонили сердце старого упсальца. Итак, завтра ровно в два я вас жду у себя. Я вам покажу в Упсале нечто такое, что и вы не видали!.. — Он принялся диктовать адрес, тщательно уточняя написание и, как истый англичанин, время от времени вскрикивая: «Спелинг!.. Спелинг!..» — и тут же расшифровывая имена собственные по буквам.

На другой день в условленный час Бардин был в Упсале у стеклянного шатра университетских хирургов. Родительский дом Хагена действительно был рядом.

Стокгольмский бургомистр оказался человеком диковинно рослым и, в отличие от большинства людей такого типа, не сутулым, больше того, статным. Несмотря на осеннюю пору, на нем был ярко-васильковый галстук с нарядной булавкой, какие любят носить преуспевающие американцы. Он предложил Бардину в своем роде программу пребывания в Упсале: они смотрят город, обедают в загородном ресторане и ужинают у Хагена дома.

— Да, стоит ли у вас отнимать весь день? — спросил Бардин, оглядывая большую комнату, в которой они сейчас находились (Хаген считал неудобным приступить к осмотру города без того, чтобы они не побывали у него дома), с виду гостиную, в которой множество вещей, чуть-чуть музейных, было расставлено с правильной чопорностью, что свидетельствовало о том, что дом мемориален и малообитаем. — Может быть, после обеда я отбуду?

— Не лишайте меня такого удовольствия, — сказал Хаген. — Не вас — меня, — добавил он, смеясь. — Я хочу представить вас отцу. Как вы догадываетесь, он немного старше меня и по этой причине говорит по-русски.

Они сели в автомобиль и поехали по городу. Хаген сказал, что не любит туристские маршруты Упсалы и считает, что они не дают представления о городе, поэтому не будет показывать ни собора, ни упсальской звонницы на холме, ни королевского дворца. Единственное, что он хотел показать, это актовый зал университета, он хорош по своим формам.

Зал действительно был хорош необыкновенно: круглый, точно спланированный.

— Глядя на здание, не скажешь, что оно хранит такое чудо, — заметил Бардин и подумал: приблизились они к существу разговора, который должен был сегодня между ними состояться, или все еще находятся на дальних подступах?

— Если говорить о чуде, то, наверно, вам надо показать вот это... — произнес Хаген и зашагал к входной двери, но, не дойдя до нее, свернул резко налево. — Вот, взгляните, это интересно, — произнес он, остановившись у стенда. — Смелее, смелее.

Бардин подошел к стенду. Рукопись. Желтая бумага, отвердевшая и кое-где треснувшая, и несколько строк, полувыцветших, написанных синими чернилами.

— Это рукопись Коперника, да, собственноручная...

Он быстро пошел вдоль стендов, при этом каждый шаг рождал новые имена, редкие... Потом он неожиданно остановился, наклонившись к стеклу.

— А вот это вам прочесть легче, чем мне.

Бардин едва сдержался, чтобы не вскрикнуть: «Вот ведь накрутил, раб божий! Славянская вязь, славянская...» Егор Иванович попробовал вникнуть в текст. Это оказалось нелегко. Автор рукописи, судя по всему, современник царя Алексея Михайловича, предавал анафеме российского монарха и его государство. Кто бы это мог быть?

— Вам говорит что-нибудь это имя—Котошихин?.. — Да, Хаген произнес «Котошихин», однако само имя было так необычно даже для русского, а поэтому так характерно, что Егор Иванович понял, речь идет о знаменитом канцеляристе Посольского приказа Гришке Котошихине, перебежавшем вначале к полякам, а потом к шведам.

— Это и есть исповедь Котошихина, известная как тетрадь в сафьяновом переплете? — спросил Бардин. Он знал, что шведы, приняв Котошихина, склонили его к сочинению пасквиля на Московское государство, весьма злого.

— Да, именно об этой тетради шла речь, вот и сафьян, мне кажется, виден, — сказал Хаген.

Они покинули университет, а Бардин все думал: «С какой целью Хаген показал мне университет и что было главным: актовый зал или тетрадь Котошихина?»

Они сели в машину и поехали дальше.

— Швеция и прежде была разной, — сказал Хаген, когда университетская площадь осталась позади.

— А чем вам интересна история с Котошихиным? — спросил Бардин. Он хотел охватить мысль Хагена возможно полнее.

— В ней ничего нет особенного, перебежчики были везде и всегда... Ничего, за исключением одного... — добавил он с той значительностью, которая говорила: настало время сказать главное. — Вскоре после Котошихина Карл Двенадцатый пошел на Россию. Смею думать, Карл, отправляясь на Россию, читал Котошихина.

Бардин рассмеялся.

— Что-то есть в судьбе Карла от судьбы Котошихина?

— Авантюра, да, в том классическом виде, в каком она известна человеку с младенческой поры. Был бы историком, написал бы специальный трактат «Авантюра», исторический и психологический аспекты предмета. Психологический обязательно. Авантюра — удел натур незрелых, легко возбудимых, неспособных соотносить цель с усилиями, которых задача требует. Авантюра — обман или почти обман, а то, что стоит на обмане, никогда не было прочным. Поверьте мне, человеку, который знает жизнь, никогда...

Он умолк, умолк с тем чувством удовлетворения, которое испытывает человек, сказавший то, что хотел сказать. Непонятно было только, к чему он это произнес, недоставало нескольких слов.

— Смею думать, что финскому национальному характеру чужда авантюра. Финн — это труд, а авантюра не любит труда! И тем не менее молодое государство финнов стало жертвой авантюры в ее классическом проявлении. Парадокс?.. Да, пожалуй...

Автомобиль выехал за пределы Упсалы и остановился в местечке, для которого типичным были два холма. Они, эти холмы, казались невысокими, потому что были пологими, как бы медленно набирающими высоту.

— Туда мы не пойдем, — взглянул Хаген на вершину холма, над которой сейчас проносилась быстрая тучка, — там ветер и, как мне кажется, свежее, чем здесь. К тому же я озяб и хочу есть. Одним словом, прошу вас, — он указал на двухэтажный домик, пере-

поясанный по фасаду балконом. — Как говорят шведы, не пренебрегай открытой дверью, следующая может быть на замке.

Они вошли в дом, и дыхание старого деревянного дома, старого и чистого, заставило их взбодриться и прибавить шагу — им надо было еще подняться на второй этаж.

— А не устроиться ли нам под сенью этой березы? — сказал Хаген, указывая взглядом на большую люстру, выструганную из березового дерева. — Здесь нам будет хотя и одиноко, но тепло. Как вы?

— Я готов, — сказал Бардин — у него не было сомнений, что предусмотрительный Хаген здесь свой человек и столик, за которым они сейчас устроились, был им обжит прочно.

— Вот и прекрасно, — подхватил Хаген и кивнул официанту, который, заметив его, на всех парах мчался к столику. — Теперь разрешите мне отдать необходимые распоряжения, — сказал Хаген. Он чувствовал здесь себя привычно. Человек с салфеткой знал наперед, что произнесет гость, и Хагену оставалось лишь отрицательно или утвердительно поводить головой. — Вот я и говорю, авантюра в ее классическом проявлении!.. — вдруг произнес Хаген, продолжая разговор, который оборвался еще до того, как в автомобильных окнах возникли два холма. — Вы полагаете, что я голословен? Сейчас я вам докажу, что нет. Прежде чем я это сделаю, мы должны распить вот эту бутылку медка, которым знаменит именно этот ресторан. Ничего не знаю лучше, чем бокал этого медка...

Они выпили. Золотистый напиток, медово-пряный и неожиданно хмельной, пился легко.

— Этим летом, в самый разгар битвы за Смоленск, я был в Хельсинки и говорил с Рюти. Он знал меня по своим поездкам в Стокгольм и однажды даже был у меня дома, но я не мог рассчитывать на честь быть принятым Рюти. Нет, не потому, что я бургомистр, а он премьер-министр. Нет, не потому. Надо отдать ему должное, ему чужды такого рода условности. Просто он был наслышан о моих настроениях и не очень стремился к встречам со мной, хотя и позже он бывал в Стокгольме, а я в Хельсинки. Но тут произошло непредвиденное. У нас в Упсале говорят: «Нет ничего

сильнее, чем стечение обстоятельств». Одним словом, я был приглашен на освящение нового храма и встретил там Рюти, встретил лицом к лицу. Я мог, конечно, не узнать Рюти, но я на это не способен. Одним словом, встреча состоялась. «Послушай, Хаген, мне хотелось бы поговорить с тобой. Возможно ли это?» — «Да, конечно», — сказал я, хотя, как я понимал, эта встреча устраивала больше его, чем меня. Он человек умный и должен понимать: время, когда Швеция считала Финляндию своей младшей сестрой, все заметнее уходит в прошлое. Нет, не потому, что шведы стали меньше любить финнов, а потому, что финны связали свою судьбу с немцами. Одним словом, встреча состоялась. «Я доверяю твоему уму, Хаген, скажи мне напрямик: сегодня шведы относятся к нам хуже, чем в зимнюю войну?» Я сказал: «Хуже». — «Почему?» — «Та война была в большей мере финской, чем эта». — «И ты полагаешь, что этот процесс в настроениях шведов будет развиваться?» — «Да, так кажется мне». — «И он, этот процесс, необратим?» — «Да, конечно». — «Только потому, что шведы не любят немцев?» Нет, я не так бескорыстен, как может показаться. Коли эта встреча состоялась, я хотел сказать Рюти все то, что хотел сказать. И я сказал: «Послушай, Рюти, шведы не очень понимают, почему финны ввязались в эту войну. Те, кто понимал вчера, сегодня не понимают, а те, кто что-то понимает сегодня, наверняка откажутся понимать завтра... Неужели вам не ясно, что русские просили у вас карельскую горловину действительно из желания отодвинуть опасность от стен Ленинграда?.. И просьба о Ханко была определена этим. И просьба о Петсамо этим же, только касалась не Ленинграда, а Мурманска... Или ненависть ко всему русскому лишила вас способности рассуждать здраво? Разве сегодня нейтралитет был бы не лучшим выходом из положения для финнов? Вам мало было зимней войны?.. И потом, ты серьезно веришь в немецкую победу?.. После того как на сторону русских склонились англичане и американцы?.. И не похоже ли все это, прости меня, на авантюру?» Он слушал меня молча, даже странно, я говорил резко, а он молчал, только подергивалось его левое веко, странно подергивалось — набухало и точно лопалось. «Ты бы не решился, Хаген, сказать мне такое,

если бы говорил только от своего имени», — наконец произнес он. «Представь, то, что я сказал, я сказал и от своего имени». — «Верю. — И еще он сказал: — Нам поздно менять решение». — «Это Маннергейму поздно, а тебе?» — «Я сказал, нам...» Он, конечно, мог быть откровеннее в тот раз, но даже то, что он сказал, что-то значило. Но не слишком ли мы увлеклись разговором? — спросил Хаген и указал взглядом на блюдо с ростбифом, который был гарнирован листьями салата и кольцами свежего лука. Ростбиф дымился. Выпили по рюмке водки, водка была шведская, настоящая на травах, чуть терпковатых, умеряющих огонь, который был в водке.

— Простите, но кто осуждает сегодня Рюти? Только шведы?

— Вы хотите спросить, в какой мере влиятелен сегодня Паасикиви? Это мое мнение. Возможно, оно неверно. Время к нему все щедрее, но он не пользуется этим в полной мере, человек он деликатный.

— Вы видели Паасикиви?

— Нет, хотя говорил с людьми, близкими к нему.

— Они полагают, что Рюти сидит крепко в седле? — спросил Бардин и подумал: «Вопрос поставлен достаточно откровенно, но, может быть, так и надо ставить этот вопрос — разговор должен быть максимально приближен к сути».

— Если вы не поможете его вышибить из седла, им самим это сделать будет трудно, — сказал Хаген.

— А как должны помочь им мы?

— Нужна победа достаточно внушительная...

Бардин улыбнулся.

— Победа нужна не только поэтому!

Это развеселило Хагена.

— Как говорят в Упсале: «Не объясняй, как хороша моя жена, это как раз та женщина, на которой я женился».

Как было условлено, на обратном пути они вновь побывали в доме Хагенов. Хозяин провел Бардина в угловую комнату, где, обложенный цветными подушками, восседал Хаген-первый.

— Я здесь, как на маяке, — произнес старик по-русски, произнес не без запинки. — Весь мир вижу. Там, где не хватает силы глазам, беру вот этот би-

нокль, — указал он на миниатюрный радиоприемник. — Далеко вижу!.. — он пригласил Бардина сесть. — Простите, когда вы в последний раз встречали госпожу Коллонтай? И еще встретите? Кланыйтесь ей, пожалуйста. Ну что вам сказать? Я знал деда госпожи Коллонтай с материнской стороны и бывал у него в усадьбе «Кууза» в Финляндии. Мне даже кажется, что однажды я видел там маленькую Сашу. Но это было уже в пору, когда больна была ее мать, и эта болезнь... Одним словом, это было в начале века, в самом начале века. Говорят, что мать была человеком мужественным. Я знаю, знаю. Я только помню, что был в «Кууза» в момент сердечного припадка и слышал, как она кричала. У меня до сих пор стоит в ушах этот крик... Человек, я так думаю, стойкий, она не могла сдержать себя, так остра была боль. У деда была библиотека, нет, не только финская, но и русская. Там еще были этот необыкновенный «Брокгауз» и весь комплект приложений к «Ниве», который дед, как мне кажется, переплел для Саши.

— Папа, по-моему, ты это уже рассказывал господину Бардину! — вдруг вмешался в разговор младший Хаген, вмешался с той храброй решимостью, которая свидетельствовала, что русский язык у него в ходу.

— Как рассказывал? — Он строго посмотрел на сына и, не выдержав, улыбнулся. — Ты хочешь сказать, что я повторяюсь? Нет, повторяюсь не я, а ты со своими шуточками...

— А я ждал, заговорите вы по-русски или нет, — сказал Бардин Хагену-младшему, когда между отцом и сыном воцарился мир.

Младший Хаген рассмеялся.

— У нас в Упсале говорят: «Только та тайна интересна, которая живет до поры до времени», — возвратился он к английскому — тут он чувствовал себя свободнее.

Часом позже Бардин простился с младшим Хагеном.

— У меня сложилось мнение, что друзья Паасикиви не хотели бы порвать контактов с русскими даже в нынешние мрачные времена, — сказал Хаген.

— Вы полагаете, что их время приближается? — спросил Бардин.

— Да, я так думаю, — ответил Хаген, — А теперь у меня вопрос к вам, главный: не настало ли время британскому послу уезжать из Хельсинки? И не только британскому?

Что говорить, Бардин мог лишь руками развести — Хаген пытался проникнуть в суть скандинавской миссии Бардина, и небезуспешно.

Бардин вернулся в посольство в одиннадцатом часу вечера и постучал к Кузнецовой.

— Вы уже легли?

— Я? В десять часов? Нет, сколько мне лет, чтобы я ложилась в десять? Заходите, у меня яичница стынет.

— Нет, уж заходите вы, у меня просторнее, и несите свою яичницу.

— Тогда распахивайте дверь — у меня еще сардины и пикули. Сто лет не ела пикулей!

Она явилась с подносом, полным необыкновенных яств, и сразу в холодном холостяцком обиталище Бардина запахло жизнью.

Он сидел в кресле, развернув газету, и краем глаза наблюдал, как она работает. Как быстро она приводит его комнату в порядок. В какие-нибудь десять минут он увидел в ее руках губку, и одежный веник, и обувную щетку, но тут он запротестовал:

— Не позволю!

— А мне, если хотите, приятно, Егорушка Иванович.

— Нет уж, увольте!

— А я думала, это должно быть и вам приятно, — произнесла она, смеясь.

Бардин и прежде замечал, в том, как она ухаживала за мужчиной, предупреждая его желания, по возможности говоря ему только приятное, заглядывая ему в глаза и будто говоря: «Ты мой царь! Ты, только ты!..» — как ходила по комнате, как бы обволакивая тебя и облекая запахом неизменно одних и тех же духов, чуть-чуть удушливых, как она касалась вдруг как бы невзначай твоей руки легкой безупречно гладкой ладонью, как она закатывала глаза, храбро, значительно, как вздыхала и отводила голову, показывала родинку на предплечье — во всем этом было что-то от искусства японской женщины ухаживать за своим по-

велителем. Бардин смотрел на нее, рассуждал: «Да не думает ли она понравиться мне, вот такая курносая, с сальным лицом, кривоногая?..» А может быть, несравненное искусство Кузнецовой так обезоруживает мужчину, что он вдруг начинает не замечать ее кривых ног?

— Августа Николаевна, ваша яичница и впрямь может остыть. Садитесь и рассказывайте!

Она вернулась к столу и принялась рассказывать о том, что сделала за день. Бардин знал, что она умела реферировать прессу, быстро просматривая ее, отбирая самое необходимое, диктуя перевод на машинку, тщательно и точно правя написанное. То, что она могла сделать за день, вряд ли было под силу штату референтов. Работала она с тем напором и злой отвагой, какая выдавала человека, любящего работать. Поэтому, когда Бардину предложили поездку в Стокгольм и спросили, кого бы он хотел взять с собой, он назвал одну Кузнецову. Бардин знал, как ни сложна будет работа, он справится, если рядом будет Кузнецова. Вот сейчас то, что она сделала за день, перелопатив гору газет и отыскав в этой горе «зерна жемчуга», было под силу, пожалуй, только ей. Бардину хотелось установить, уловила ли стокгольмская пресса изменения в настроениях Финляндии, что сегодня характерно для мнения финской прессы о войне и как это мнение соотносится с тем, что думает об этом шведское общество.

— Вы полагаете, что сумеете ответить на этот вопрос и доказать это, ссылаясь на прессу?

— Да, сумею, — сказала Кузнецова, и Бардин знал, что у него нет причин для беспокойства.

Они выпили по стакану красного вина, выпили залпом, и Кузнецова вдруг вспомнила прогулку с Коллонтай.

— Вот убейте меня, Егорушка Иванович, не могу понять я эту женщину, — произнесла она тихо и украдкой посмотрела на дверь. — Выше моего разумения.

Бардин рассмеялся. Оно так и должно быть — выше разумения... Не отстояла бы Коллонтай так далеко от Кузнецовой, пожалуй бы, Августе Николаевне было легче понять ее.

— Почему выше разумения? — спросил Бардин, ему хотелось знать, как это объяснит Кузнецова.

— Вы когда-нибудь слышали, какой была молодая Коллонтай? — спросила Кузнецова. Как заметил Бардин, ей очень хотелось поговорить об этом. — Я слышала, что в нее была влюблена половина Совнаркома. Если женщина — это гармоничное сочетание глаз и голоса, то Коллонтай была образцом такой женщины. Говорят, она была очень хороша, да и сейчас в ней еще жив этакий бесенок, способный натворить бед! И вот такая женщина вдруг обретает и положение, и власть, и, если хотите, такую известность, которая не часто сопутствует человеку при жизни, а потом добровольно, вы слышите, добровольно, заточает себя вот в эту крепость, которая зовется посольством, но которую точнее было бы назвать дипломатическим монастырем, отказавшись от всего и в первую очередь от своего призвания женщины. Согласитесь, Егорушка Иванович, что это измена самой природе. Вы это понимаете?

— Погодите, до какого времени вы предполагаете держать за узду матушку-природу? — спросил Бардин.

— Ну хотя бы лет до пятидесяти! Я понимаю, как хотелось бы вам объяснить поведение Александры Михайловны и в этом случае.

— Как, Августа Николаевна?

— Вы убеждены, что у нее нет корысти совершенно?

— А вы убеждены, есть корысть?

— По-моему, есть. Вы наблюдали, как она рассчитывает каждый удар, когда речь идет о посольских связях? Человек, умеющий так рассчитывать, будет рассчитывать во всем...

— В чем именно?

— Когда речь идет о собственном благополучии, в этом тоже. Вы полагаете, нет? Вот так возьмет и ринется в огонь?

Ему хотелось сказать: «Да, вот так, в самое горнило огня, как Жанна д'Арк! В самое пекло!» Его подмывало сказать это, но у Кузнецовой это могло бы вызвать ироническую усмешку, а он не хотел этого. Ему казалось, что смех этот оскорбит человека, о котором идет речь. Однако этот разговор был Бардину любопытен. Сама Кузнецова нащупала оселок, на котором способно выверить характеры. Корысть? Да, пожалуй, корысть. Даже интересно: Кузнецова и умна, и, когда

надо, обаятельна, и по-своему образованна, и уж как поднаторела в наркоминдельских делах, но никогда она не будет Коллонтай! И не потому, что родилась много позже, нет, очевидно, есть нечто в самой натуре человека. Что именно? Бардину так кажется, что сама Кузнецова назвала это. Но вот задача: корысть может быть благоприобретена?

## 40

Утром ему позвонила Коллонтай.

— Георгий Иванович, не слишком рано я побеспокоила вас? Я слышу ваше дыхание, наверно, делаете гимнастику? Вы молодой, вам, пожалуй, не обязательно, а я делаю, мне спастись надо! — Она рассмеялась. — Звонил Хаген. Он хотел бы устроить вам встречу с человеком, которого он ждал. Он оставил телефон, по которому вы могли бы ему позвонить. По моему, эта встреча должна вас устроить — гость Хагена из Хельсинки.

— Успею ли я до отъезда?

— Надо успеть любой ценой.

— Что значит «любой ценой»?

— Даже ценой отмены отъезда.

Но отменять отъезд не пришлось — встреча состоялась. Она была короткой, но в ней было все, что дополняло представление Бардина о существовании проблемы. Собеседник Бардина — он назвался Кайненом — был торговым моряком, который, однако, последние лет десять возглавлял фирму, и немалую, по продаже мебели. Небольшой, свитый из крутых и твердых мускулов, заметно выпиравших из-под пиджака, Кайнен напоминал Бардину карельскую березу, чье изображение хранил его фирменный герб. Встреча Бардина с Кайненом произошла на борту судна, которое финн ухитрился пригнать в Берген, а потом в Стокгольм с грузом кресел и полукресел. Ступая по ворсистой дорожке, высланной едва ли не от трапа, Бардин попал в каюту Кайнена. Кюта больше походила на будуар, чем на деловой кабинет: полированное дерево, точно сто зеркал, обращало неяркий огонь настенных ламп в костер и делало Кайнена румянощеким.

Зная, что ему придется иметь дело со старым пор-

товиком, к тому же, как полагал Егор Иванович, не раз ходившим в Англию, Бардин приготовился пустить в дело английский и был приятно удивлен, когда хозяин заговорил на хорошем русском. Оказывается, Кайнен родился на русском севере, закончил шесть классов гимназии в Архангельске и закончил бы, пожалуй, все восемь, если бы не война, а вслед за этим революция... Одним словом, финн говорил на хорошем русском, при этом в речи его, как отметил для себя Бардин, была свойственная деловым людям энергия, делавшая его речь выразительной и точной.

— Я понимаю, что немцам надо запереть Мурманск, но зачем же топить английские суда? — сказал Кайнен и зашагал по каюте с такой силой, что казалось, корабль качнулся, вызвав волну. — Взгляните, что происходит. До тех пор, пока англичане не высалят десант в Европе, единственная возможность помочь вам — море. Владивосток исключен начисто. Дальний Восток далеко, по крайней мере для англичан. Южная дорога далека и опасна. Северная опасна, но близка. Значит, северная. Но что значит северная дорога? — Он протянул руку и, отыскав в стопке карт, лежащих на столе, нужную ему, развернул ее перед Бардиным. — Взгляните вот сюда. То, что зовется английским конвоем, это своеобразный обоз. Да, девять фур и охрана. Сооружение громоздкое и беззащитное. Если немцам расположить авиацию где-то поблизости от Мурманска да еще воспользоваться таким природным маяком, как полярное солнце, то как довести этот обоз до цели? Но в какое положение ставит себя Финляндия? Так вот, Киркенес стал взлетной площадкой против англичан. Немцы крушат английские конвои из Киркенеса. А чем это отличается от налетов на Лондон? Киркенес, который был окном Финляндии на запад, служит обратной цели. Вот и получается, Киркенес подставляет себя под русские бомбы, сам подставляет. К тому же...

— Да, да.

— Мне сказали: «Победят русские — тебя ждет разорение». А я знаю, что меня ждет разорение, если русские не победят. Парадокс?

Бардин не смог скрыть улыбки.

— Да, пожалуй.



— Русские летчики каждые три месяца сжигают по одному моему складу. Мои склады, что факелы, горят хорошо. Я подсчитал, если война продлится еще три года, с моими складами будет покончено. Я не верю, что в эти три года победят немцы, а вы победить можете. Вот поэтому я и говорю, пусть это будет раньше. То, что сегодня делает Финляндия, — продолжал он, — ведет к самоизоляции. Когда великая держава обрекает себя на одиночество, это полбеда. Когда же это делает малая — смерть... Да, Финляндия благополучно превращается в остров, и это, пожалуй, самое страшное. Мы воспрянули потому, что имели друзей

в мире. Вся наша независимость стоит на этих друзьях. Не очень уверен, чтобы мы хотели жечь английские корабли. Простите меня, но вряд ли это отвечало бы даже желанию Маннергейма, даже Рюти... Но в этом как раз весь идиотизм нашей позиции и состоит: не желая топить английские конвои, мы их топим, не желая участвовать в осаде Ленинграда, мы участвуем, не желая...

Бардин улыбнулся.

— Есть такое мнение, что финны не только не участвуют в осаде Ленинграда, но защищают его с севера.

Кайнен опустил в ладони лицо, наверно, ему так легче было сосредоточиться.

— А вы не находите, что в этом утверждении есть резон? Я знаю, что Финляндия, как бы это сказать, не разрешила немцам атаковать Ленинград с финской земли. Я был в Выборге. Это похоже на правду.

— Да, но снаряды, которые падают на Ленинград, точно указывают, огонь ведет и финская артиллерия...

— Я был в Выборге в начале ноября, я не дам со-  
зврат — на Карельском перешейке нет немцев.

Бардина это начинало бесить.

— Зато в немецкой армии, атаковавшей Смоленск, были финские полки.

Кайнен развел руками, вздохнул.

— Что можно сказать, что сказать? Ведь за все это надо будет кому-то отвечать! Отвечать перед Англией, отвечать перед Америкой и Россией!

Он выдвинул ящик стола, достал коробку сигарет, пододвинул Бардину, взял сам. Курил жадно, долгими затяжками.

— Никогда не завидовал шведам — сейчас завидую. — Он наклонился, чтобы в иллюминатор увидеть красновато-коричневые камни королевского дворца. Вечерело, и туман уже затянул крыши домов на набережной, но дворец, стоящий на холме, был виден. — Как мне кажется, есть одно средство, которое нам надо сбересть и которое поможет нам обрести надежду на спасение.

— Какое именно? — спросил Бардин. Ему интересно было наблюдать, сколь извилистым путем следовала мысль собеседника.

— Даже тот, кто верит в победу, не должен сжи-

гать мосты. Тем более надо сберечь эти мосты нам. Если хотите, я пошел на встречу с вами по этой причине.

Кайнен дотянулся до выключателя, повернул — он явно опасался, что костер, которому дала силу полированная берега, опалит его.

## 41

Бардину стало не по себе, когда он узнал, что самолет приземлится не в Москве, а в Куйбышеве. Как ни отрадны были последние сообщения с фронта, как ни обрадовали и не воодушевили они Бардина, которого уже столько месяцев жизнь снабжала радостью по весьма скудному пайку, эта последняя весть о Куйбышеве глубоко обескуражила — если столицей стал Куйбышев, значит, в судьбах страны произошло такое, чего она еще не знала.

Ему не приходилось бывать в Куйбышеве прежде, и эта первая поездка по городу, наверно, навсегда останется в памяти. И толпы иностранцев, чья необычная одежда здесь казалась почти экзотической, — дипломатический корпус уже переехал в Куйбышев. И аршинные афиши, неоправданно праздничные, с именами московских знаменитостей, которые удостоили город своими концертами, — истинно праздник по случаю пожара. И вавилонское столпотворение на куйбышевском вокзале, куда сбежались поезда со всей России. И стаи любопытных, вдруг обнаруживших на городской площади московскую знаменитость и с молчаливой отвагой стремящихся за нею. И совсем уж необычные для волжского города новости: в ответ на вероломство Страны Восходящего Солнца, атаковавшей американские корабли в Пирл-Харборе, американские газетчики подстерегли группу японцев где-то на берегу Волги и поколотили их. И объявление, которое по местному обычаю клеилось на водосточных трубах: «Сотрудникам Наркоминдела нужны комнаты. Обращаться в Управление делами наркомата, Галактионовская, 19».

Да, Наркоминдел помещался на Галактионовской в угловом доме, выходящем одним своим крылом к городскому театру. Когда автомобиль с Бардиным и

Кузнецовой пришел на Галактионовскую, дом, несмотря на поздний час, был полон народа — очередной эшелон прибыл накануне утром. Шло великое вселение, и десятки людей, не очень обращая внимания друг на друга, волокли шкафы, столы и пишущие машинки, обживая каморки, которые они получили по железному списку управления делами, обживали прочно.

Бардин разыскал Вологжанина, разыскал легко, однако, войдя в комнату и взглянув на него, подивился выражению его глаз: была в них молчаливая скорбь и, пожалуй, страх.

— Вы что так? — мог только вымолвить Егор Иванович. — Не ждали?

— Как не ждал? Шифровка пришла вовремя, да вот не встретил...

— Поэтому и расстроились? — спросил Бардин и обрадовался про себя: «Не было бы больших забот!» — Не беда, прощаю...

Но Вологжанин, казалось, не реагировал. Он печально пошел к столу и, усевшись, словно спрятав взгляд в ящик, который открыл.

— Вот тут вам телеграмма, Егор Иванович, — произнес он, не поднимая глаз. — Еще в субботу пришла. Посоветовались, решили пока не оповещать вас...

Бардина осенило: Ксения?.. Все в этом «посоветовались».. Ксения!.. Кстати, отец уже в Шадринске?

— Ну, не пытай, давай...

Вологжанин извлек телеграмму, положил на стол. Она лежала сейчас перед Бардиным. Четыре слова: «Ксения скончалась пятницу. Ольга».

Его точно обдало паром — взмок. Никогда не чувствовал тяжести тела — сейчас почувствовал. Того гляди ноги не удержат, слабость пошла от ног. Он сел, кружилась голова. «Вот оно! — сказал он, а потом подумал: — К чему это я сказал? — И тут же ответил себе: — Ну конечно же вот, вот оно! До сих пор снаряды ложились рядом с моим домом, сейчас ударило в самую крестовину. Какой дом без Ксении? Сережка знает? Как бы не сломило его все это. Да надо ли ему сообщать? Надо, надо! Мы все мудреем с горем! Мудреем настолько, что начинаем ценить то, что у нас есть. Ценить начинаем? А что ты не ценил? То, что имел Ксению! Не ценил, не ценил!.. И когда любил ее,

любил себя в ней. Свои слабости пытался оправдать жизнелюбием, а на самом деле это было себялюбие, а попросту — эгоизм. Вот оно!..» И вновь молочная мгла застлала глаза и в горле стало сладко. И как там Ольга одолела беду? Правда, уже после Ксении с Ольгой и Иришкой в Шадринск подался Иоанн, но какой он помощник.

— Егорушка Иванович!.. Выпейте, вот это выпейте!..

«Это Кузнецова, дело дошло и до валерьянки, сроду не пил, да и пить не буду!»

— Хватит! — Он встал, вынул платок, вытер лицо. — С отчетом до утра управимся? — обратился он к Кузнецовой. — Договоритесь с машинисткой... Хорошо бы утром вылететь...

— Да что вы, Егорушка Иванович? — судорога мяла губы Кузнецовой. Еще миг, и брызнут слезы. — Я вас не отпущу одного!

Что так встревожило и, странное дело, взбудрило Кузнецову, подумал Бардин. Какой план складывался сейчас в ее сознании? Впрочем, Бардин верил, что судорога действительно искривила губы Кузнецовой, и не останови он ее, она бы разревелась, но это уже было не столько из жалости к Бардину, сколько из сострадания к самой себе.

— Улечу один, — сказал Бардин.

— Ни за что, Егорушка Иванович!

Он потер ладонью виски — это было предзнаменованием грозным.

— Я вас просил добыть... машинистку.

Утром он вылетел к своим, разумеется, один.

Они приземлились на просторном поле, усталом снегом, заметно потемневшим. Тянуло сырým ветром, подтаивало. Не без труда он отыскал кирпичный домик, стоящий посреди пустыря, но входить в дом не спешил. Кто-то пробежал по влажному снегу к дому, пробежал вприпрыжку, и Бардин на минуту замер, раздумывая: «Кто бы это мог? Не Ольга ли? Получила телеграмму и заторопилась?» Егор Иванович поймал себя на мысли, что ему хочется объяснить эти следы на снегу именно так...

Бардин постучал.

— Войдите. — Да, это Ольгин голос.

Он вошел в сенцы, там было темно и тихо. Пахло пшенной кашей, приправленной луком.

Бардин шагнул в комнату. У открытой печи сидела Ольга, еще не успевшая сбросить с себя телогрейку. Это ее следы на снегу видел Бардин.

Она встала, но, стараясь удержаться на ногах, оперлась о край печи.

— Ну, здравствуй, Оленька, здравствуй, — пошел он к ней, но она не тронулась с места. Только подняла лицо, и он увидел, что сине-лиловые тени под глазами странно расширились. — Ты уж прости меня... всех своих чад, и больших, и малых, на тебя оставил.

— Никак Егор? — подал голос отец. — Чую твой шаг слоновый.

В дверях стоял Иоанн: в одной руке газета, в другой очки, подпоясан старым армейским ремнем, видно, из личного цейхгауза сыновей — солдат Якова и Мирона. Та рука, что держит очки, на весу. Ольга писала: сердце.

— Никак усох маленько, Егорка?

— Как ты, отец?

— Вон каким жаром пахнуло, — указал он взглядом на газету. — Того гляди, сгоришь.

— Пожалуй, в такой амуниции не сгоришь.

— И амуниция горит.

— Теперь вижу, батька как батька!..

— И на том спасибо!..

Егор Иванович обратил взгляд в конец комнаты и увидел на просторном столе альбом, сшитый из листов картона, больших и, судя по виду, добротных. Он подошел к столу, раскрыл альбом. Колосья. Парад пшеничных колосьев. Колосьев-богатырей. Егор Иванович мигом уразумел — бардинских колосьев. Один другого крупнее и весомее.

— И уральская земля знает бардинские пшеницы?

Иоанн, казалось, возликовал:

— Вот гляди в это окошко. Видишь кирпичный сарай под цинком? Видишь?.. Ну, с виду электростанция или вокзал железнодорожный, а на самом деле контора Потребсоюза. Так вот я сказал: если хотите меня слушать, собирайте народ в этот сарай кирпичный. Дальше я не пошел. Сил нет. И что ты думаешь? Чуть ли не половина уральской земли сюда собралась!..



Хочешь, верь, хочешь, нет. Перешел дорогу вот по той тропке, что пустырь перечеркнула, и держал речь, почитай, часа четыре: что есть земля наша кормилица и что есть хлеб наш насущный... А на другой день два мужика дюжих приперли чувал муки-крупчатки, так сказать, вместо гонорара. Ну, муку я им отослал обратно, так, оставил малость на оладьи Иришке.— Он посмотрел на Егора не без неприязни. Глаза его сощурились, ноздри затрепетали.— А почему, собственно, я тебе это объясняю?.. Неужели ты, чадо мое бесценное, так и не уразумел, кто есть отец твой?

А потом они сидели втроем и Бардин слушал, как

Ольга роняла слова и они бухали гулко и одиноко, как камни, падающие в колодец, хотя были негромки.

— Как отъехали за Волгу, она все сидела у окна... «Если не можешь помочь, то хотя бы не требуй помощи у других» — это ее слова. Когда подъезжали к Уралу, сказала: «Ты понимаешь, Оленька, здоровье — это работа! Надо, чтобы работали все жизненные центры: и сердце, и легкие, и печень. Выключишь — омертвишь!» Когда приехали, она проторила тропку от кровати к швейной машине. «Надо ходить!..» Я сказала: «Нельзя так сразу». Но она уже убедила себя: «Нет, нет, я знаю...» Я подослала к ней врача, и тот пытался ей объяснить: «Нельзя так...» Но она внушила себе: «Главное — победить боязнь». Как-то я проснулась под утро, а она у зеркала: обвила шею ожерельем и губы накрашила. «Я слыхала, ты опять ходила?..» — спросила я ее. Она засмеялась. «Да, немножко...» Вот как сейчас слышу ее смех, счастливый... С тех пор я и ночи не спала: подстерегу и уложу, возьму на руки, вот так, и отнесу в постель. Она как пушинка, я ее легко поднимала. Но, видно, я ее не устерегла, проснулась, а она лежит на полу, уже холодная, и ожерелье вокруг шеи, и губы, конечно, накрашены... — Ольга взглянула на Егора, и ему показалось, на него смотрят не только ее глаза, но и сине-лиловые круги вокруг глаз. — А красные губы с ожерельем — это для тебя, Егор, — закончила она. — Я так поняла.

— Ее нельзя было переломить, — отозвался старик Бардин. — Она внушила себе...

— Сережка знает?

— Нет... Думала, приедешь ты и сообщишь. Прислал письмо: «Мама, ты пиши мне». — Она раскрыла книгу, лежащую на краешке стола, и Бардин увидел в ней письмо сына. — Вот. Ирка все бегаёт на кладбище... Бежит прямо из школы, с книжками, и приходит голдая и зареванная...

— Пойдем на кладбище, Ольга, пока Ирки нет, — сказал он и взглянул на письмо сына, которое продолжало лежать в раскрытой книге.

— Пойдем...

Он шел вслед за ней неширокой тропкой, вытоптанной во влажном снегу, и видел ее, идущую впереди,

большую и сильную. Она была одета так, как одевалась, когда работала в саду: стеганая куртка, сапоги, платок, повязанный так, что концы его свешивались на грудь. Они пришли на кладбище, и она едва ли не побежала по снегу. Наверно, ее знобило, и она все время поводила плечами. Когда она замедляла шаг, он мог рассмотреть, как она трет руки, выпрастав их из варежек, и подносит к губам, при этом дышит громко и прерывисто — вот-вот расплачется.

Она пересекла кладбище и остановилась, стараясь обнять взглядом неровный ряд свежих могил. Бардин посмотрел туда, куда смотрела она, и на какой-то миг в картине, что открылась его глазам, он увидел нечто жестокое, победно-жестокое. Ему почудилось, развернувшись на фронт и воздев победные стяги крашеной жести и бумажных цветов, шагала сомкнутым строем смерть, шагала могуче — не успеешь оглянуться, полонит землю. В этом движении черной рати, расцвеченной многоцветной бумагой и железом, Бардину даже привиделось что-то весело-ликующее. Ему стоило усилий прогнать эту мысль, и он зашагал вслед за Ольгой, стараясь не смотреть по сторонам.

— Вот здесь. — Ольга показала на могилу, до которой было еще шагов пять. И, повинувшись странному чувству, Бардин остановился. Так они долго стояли, глядя на могилу, которая неожиданно возникла перед ними. Эти пять шагов, которые сейчас лежали между могилой и Бардиным, означали такое, что не сразу удавалось осмыслить. Это было не просто расстояние между жизнью и смертью, нет, здесь человек вдруг обретал право стать над тобой, как твой судья, твой укор, твоя совесть, в конце концов. Отныне все, что надлежало тебе сделать в жизни, больше того, что возникало в тебе, как твое дело, твоя мысль, твое намерение, обретало право на жизнь лишь с благословения ушедшего. Бардин хорошо знал, что никогда этот человек не имел над ним такой власти, как теперь. Казалось, смерть стирает само имя человека, низводит его до этого холмика сырой земли, а она вдруг дала ему власть, какой он не имел никогда прежде. И власть, и способность влиять на живое деяние человека... А потом они возвращались с кладбища, и все, что попадало Бардину на глаза, отныне входило в его жизнь:

и эта осинка над дорогой, и этот склон горы, и эта полоса оврага вдали.

Поздно вечером, когда уснула Ирина и был распит нещедрый графин за помин души, Бардин вышел из дома и подивился тьме, что разлилась вокруг. Истинно, хоть глаз выколи. Он вспомнил, как где-то здесь они шли сегодня с Ольгой и она, оглядывая двор, говорила, что ходила в здешний питомник и выклянчила саженцы смородины, крыжовника да малины. Как сойдет снег, примется за дело, если не по силам будет ей, Ирка поможет — еще в Ясенцах Ольга заметила, что Иришке сад по душе. И еще вспомнил Бардин, что за весь вечер Ольга едва сказала два слова, только держала ладонь у лица, стараясь погасить его знойный пламень, да прятала глаза, тоже знойные. Мысли эти так полонили его, что он не слышал, как открылась дверь и Ольга вышла из дому, став где-то рядом.

— Егор, ты здесь? — спросила она, но, оглянувшись, Бардин не увидел ее, видно, глубокая смуглость ее лица сделала ее неотличимой от этой ночи.

— Да, здесь, — ответил он.

— Протяни руку, вот так...

Ольга коснулась его руки и тотчас отняла. Он слышал ее дыхание, оно будто прибывало, становясь все слышнее.

— Я хочу тебе сказать, Егор.. Можно?

Ее дыхание, только что шумное, оборвалось. Она затихла, и вместе с нею будто погасли все звуки вокруг. Да не перед новой ли это бедой? Что-то должно было сейчас вырваться значительное. Было предчувствие, что произойдет. В неподвижной цельности темноты, в тишине, которая казалась литой... Где-то шел человек. Снег отвердел, и шаг стал слышен. Все громче. Он шел из тишины, этот человек. У него были сильные ноги, и снег едва ли не взрывался. Каждый шаг — взрыв. Взрыв, взрыв! Вот, казалось, дойдет — и все откроется. Все, что было тайной. Но человек прошел стороной, не раскрыв тайны. А предчувствие осталось, Бардин это ощутил точно, осталось.

— Не женись, Егор, — сказала она и вздохнула. — Повремени.

Нет, его не обмануло это предчувствие, она реши-

лась и сейчас все скажет. Вон как храбро она устремилась к нему.

— Дай мне руку, дай же! Нет, погоди, не надо. Ах, какая я дура, у меня голова пошла кругом.. Или я испугалась себя? Я сейчас все скажу! («Господи, что она приберегла в зыбкой тьме души своей? В чем хочет открыться?») Нет, пожалуй, хорошо, что сейчас так темно — я же знаю, что ты умеешь хмуриться, а тут я защищена самой ночью... Я глупая баба, я это точно знаю, глупая, но я не могу ничего поделать с собой. Я люблю тебя, Егор! («Вот это да! Истинно, беда не ходит в одиночку!») Я тебя всегда любила, Егор. Сколько помню, столько и любила. Я и к дому твоему прилепилась потому, что ты был в этом доме. Стыдно сказать, я к Ксении пошла в прислуги не из-за нее, а из-за тебя, хотя, видит бог, я ее любила... («Свят, свят... Что же это такое? О мать родная, дай силы сыну твоему Егору!») Я стыдилась своего чувства и гнала его прочь. Сестра, она мне была хорошей сестрой. За такое адовых мук мало! Я великая грешница, Егор. Мне бы надо было уняться — вон горе какое! Ты что, оторопел? Не иначе, сила нечистая привиделась? Коли так, гони ее к черту! («Вон какие слова пошли у нее! Это от робости, эти слова. Она ими подстегивает себя, как кнутом! Хлестнула и рывком вперед.. О Ольга горемычная!») Мне бы сына от тебя, и уйду на все четыре стороны! Стыдно сказать, мысль о сыне не оставляла, даже когда Ксении было худо! Вот увидела тебя и все забыла. Хожу и твержу: люблю его, только его!.. Ты небось думаешь, что я прельстилась твоей должностью высокой? Хочу быть женой посла, носить платье со шлейфом и ходить на приемы к королю? Истосковалась по жизни великосветской? Ничего этого мне не надо! Мне бы лопату, кусок земли и яблоньку — вот вся моя жизнь великосветская!

— Да где ты? — протянул руки Бардин, но ее и след простыл. — Ольга, Ольга, да куда ты делась? — Он шагнул во тьму. Нет ее. — Ольга, куда ты пропала! — Нет, она и в самом деле провалилась сквозь землю! Да была ли она здесь?

Он вернулся домой. Ее нет. Вышел из дому, побрел прочь.

— Ольга, Оленька? — Нет ответа, только далеко-

далеко, вскрикивая на поворотах, шли машины да по весеннему звонко ломался лед под их скатами.— Ольга?

Стоял посреди пустыря, не мог собраться с мыслями. Все, что тайно вызревало в ней годы и годы, что чувял Бардин и гнал прочь, грянуло как гром среди ясного неба!.. Да ясно ли было это небо, расколотое ударом грома? Вон сколько лет все это вызревало в ней, вызревало исподволь, как может только зреть сокровенная мысль женщины — нет тайны большей. Вон как храбра она была в своем чувстве, как бескорыстна, с каким упорством шла вперед, с какой верностью. Если бы то была не сестра, пожалуй, не избежать взрыва. Ему было чуть-чуть страшно при одной мысли об этом, страшно и радостно. Это льстило его мужскому самолюбию. Черт возьми, значит, есть в нем что-то такое, что может заставить женщину отважиться! Он сказал себе это и застыдился мысли, которая ненароком вломилась в его сознание... Не об этом он должен сейчас думать, да это и недостойно истинного чувства. Ольга — она настоящая. Вот главное. Она настоящая, и все, что она говорит, правда. Ей можно верить великой верой! И не только потому, что это чувство родилось в святом огне страданных дней и Егора, и Ольги... Нет, не поэтому — в самой ее натуре было что-то истинное в прямоте и безыскусности нрава... Но, наверное, было в ней и деспотическое, что-то такое, что вызвано ее характером и к чему он приспособлен мало — Ксения была человеком деликатным. Но замечал ли он все это прежде? Она для него всегда была Оленькой, да, малышкой в доме. Еще с той поры, когда Ксения привела ее в дом и представила весьма церемонно, а потом вдруг заметила, что из-под платья видны кружева Олиных штанишек... Она была для него малышкой и тогда, когда вдруг вытянулась и обрела фигуру прелестной девушки, и являлась в их дом не иначе как с красной розой или гвоздикой в волосах. От него к ней было расстояние большим, чем от нее к нему. Она казалась ему малышкой, а вот он ей не казался старым. Что-то есть в этом от закона природы. Она относилась к нему с грубой фамильярностью, как парень к парню, все норовила подтолкнуть сильным плечом, все мерилась с ним силой, посмеиваясь над его

слоновостью. Теперь он понимает, посмеивалась, чтобы скрыть чувство. Нет, это впрямь гром среди ясного неба! Она не думала говорить с ним об этом, подумала бы — повременила. Пожалуй, через год этот разговор был бы естественнее, и он ей сказал бы такое, чего сказать теперь не может. А может быть, она поспешила с этим разговором сознательно?

Он вернулся в дом, но ее все еще не было. Быть может, она испугалась собственных слов и сбежала? Он подумал, в этой внезапной тревоге за нее было что-то такое, чего он не ощутил бы вчера. Потом он подумал, что она, наверно, ходит где-то рядом, дожидаясь, пока он ляжет и в доме погаснет свет. Он выключил свет и лег. Только сейчас почувствовал, как устал. Он понимал, что не должен спать (уснешь — обидишь Ольгу, обидишь жестоко), но совладать с дремой не было сил. Проснулся, когда на дворе был день. И встревожился — самолет уходил в два. Но встревожился напрасно, было немногим больше десяти. В доме была только отец: Ольга ушла в город, Ирина в школу.

— Пораскинул умом: как жить будешь? — спросил Иоанн.

Егор не ответил.

— Я говорю: как жить будешь? Без Ксении... как?

— Вот переборю зиму, тогда видно будет, — сказал Егор. — Надо, чтобы поработало время..

— Время что ноги: есть ли в нем ум?

— Есть.

Иоанн вздохнул: не столько сбросил с плеч нелегкую ношу, сколько взвалил ее на плечи.

— Ты был у Сережки? — спросил старший Бардин.

— Где именно?

— Как где? Под Калинином?

— Под Калинином нынче немцы...

— Ну, я не знаю, где... Был или не был?

— Не был.

— Если недосуг, я съезжу.

Егор Иванович понимал, дело не в Сережке, хотя старик и тревожился за внука. Просто Иоанн искал повода, чтобы накалить разговор и сказать сыну то, что хотел сказать.

— Немцы под Москвой, а мы ударили в литавры, будто бы кинули их за Одер, — сказал он так, словно разговор об Одере был прямым продолжением того, что сказал о внуке.

— По твоему опыту и знаниям стратегии, отец, тебе бы надо быть не за уральским щитом, а где-то ближе к огню, — сказал Егор, смеясь, — оттуда тебе сподручнее было бы давать советы насчет литавр.

Иоанн крикнул.

— Ты упек меня за уральский щит и ты же коришь? К чертовой бабушке, забирай меня отсюда!

Он долго молчал нахохлившись. Потом вспомнил, что Ольга наказывала покормить Егора, ушел на кухню.

— Садись, а то, того гляди, яичница в дым обратится, а второй раз я тебе не изжарю — не из чего! — Он принес сковородку с яичницей, поставил ее на опрокинутую тарелку. — Вот тут еще есть вареники с творогом, — пододвинул он глиняную миску, стоящую посреди стола. — Мука малость подопрела, как я понимаю, а творог хорош.

Бардин ел, смотрел на отца. Он сидел за столом напротив, большой, рыхлый, похожий на неожиданно выпершее из макитры дрожжевое тесто. Белая борода распласталась на полной груди. Каждый раз, когда Иоанн вздыхал, борода вздымалась вместе с грудью, согласно разламываясь там, где легла разделяющая ее надвое бороздка.

— Ты послушай меня, я дело говорю, — сказал Бардин-старший идохнул, да так мощно, что ветер, возникший при вздохе, взрыл бороду. — Сколько помню тебя, столько говорил тебе: только тот народ жизнестоек, который помнит свое прошлое. В этом прошлом опыт, а вместе с тем урок и мысль. Ты скажешь, прошлое не существует, есть книги, в книгах живет мысль человека, давно ставшего тленом. Верно, но эта мысль живет и в живом человеке, ты слышишь, в живом, если не разрушена преемственность поколений. В мире, который считает себя новым, должен почитаться единственный титул — седая борода! Настало время нового сената! В нем и верность, и мудрость, и прозорливость. Нет, я не оговорился — время совета седобородых! Ничто не должно решаться без того,

чтобы они не сказали «да». Они могут принять, и они могут отправить в преисподнюю.

Бардин доел свою яичницу, отодвинул сковороду, отодвинул шумно.

— Ну, предположим, мы утвердили совет седобородых. Что они прибавят, седобородые, к тому, что скажут их внуки?

Иоанн положил на стол кулаки, закатал рукава по локоть, обнажив руки, молвил, будто стараясь растолковать:

— Мне трудно сказать, что они скажут, но один толк будет наверняка — они сомкнут день вчерашний и сегодняшний, а это значит, не допустят, чтобы прервалась преемственность поколений!..

Егор достал платок, вытер им шею. Ох, старик вредный.. Вот другие отцы — любо посмотреть!.. Что ни слово, то ласковое, что ни слово — участие и радость. К такому отцу тянешься, а этого... бога молишь, чтобы не повстречаться. И все норовит дать тебе под дых, все исхитряется под печенку. Только и дел у человека, чтобы подстеречь и хлопнуть тебя по загривку. Отец!

— Что значит «сомкнуть»? Вот, например, революция. Сомкнула она день вчерашний с днем сегодняшним?

— Вон куда хватил — революция! Да разве я об этом говорю? Революция революцией. Я не об этом. То, что сломали, сломали правильно, туда ему дорога. А ведь ломать-то надо было не все. Разумей, не все надо было ломать, а ломали подчистую. Ну, предположим, стихия, у нее нет глаз. Она идет напрапалую, рушит, что под руку ей попадет: купеческий лабаз к чертовой матери, древний храм с иконами пятнадцатого века тоже к чертовой матери!.. Но ведь стихия, она без ума, она сила злая. А революция? Революция — сила добрая! Ежели она идет на смену несправедливости, значит, куда как добрая! А почему так случилось?.. Нет, ты скажи, почему? «Лес рубят — щепки летят»? Нет! Тогда почему? Нарушена преемственность поколений! Стариков авторитета лишили, а молодым отдали! А молодой, он что? Что ему иконы пятнадцатого века? Ведь они, эти иконы, в храме, а храм — это религия, а религия — опиум!.. Вот он и бьет кувал-

дой по древнему письму! А ему невдомек, что иконы эти — сокровища!

Господи, так и вареников не испробуешь. Вот ведь самодоволен человек. Все прибрал к рукам: и мудрость, и волю непогрешимую, и способность видеть, и, разумеется, способность предвидеть, и что-то знать, и что-то чувствовать. Никому ничего не оставил, всем завладел... Монополия! А того не поймет, наивный человек, что до него тоже люди жили, и чего-то желали, и о чем-то думали. Мало сказать, жили — живут! Живут, черт побери!.. И, наверно, понимают не меньше его, хотя ведут себя не так громогласно. Но как ему втолкуешь все это, когда он вызывает тебя на разговор, чтобы послушать себя.

— Нет, погоди, ты все свалил в кучу: били ли кувалдой по древнему письму!.. Допускаю, били. Но ведь было ясно не только тебе, что это варварство. Чем твоя проповедь отличается от того, что говорил в свое время Луначарский?.. То, что ты говоришь, ты, прости меня, содрал у него!.. Разница только та, что он говорил лет на двадцать раньше тебя.

— Ты дурака из меня не делай, а что мое, отдай. Я знаю, что говорю дело, понял? Хочешь оглупить, чтобы легче было сшибить меня? Не дамся! Ты Луначарского не тронь, как не хочу трогать его и я. Мне дела нет, что он там говорил. Я Бардин, рядовой гражданин советской державы, и хочу сказать, что думаю я, сказать не оглядываясь! Это ты оглядывайся, если хочешь. Ты государственный служащий, тебе как-то сподручнее, а мне этого не надо, мне мои лета не велят шей крутить.

Бардин отодвинул вареники с творогом — разом пропал аппетит. Ему лета не позволяют крутить шей, а ты, мол, валяй крути. Нечего сказать, нашел время для разговора. Сердца нет у человека! Иной бы родитель в такую минуту... Да разве ему об этом скажешь? Засмеет! Скажет, по случаю семейной беды просишь амнистировать, не говорить всей правды. У него и на такое храбрости хватит. Нет, с ним надо только так: сила на силу.

— Ты моей совести не тронь! — кричит Егор. — Мне достаточно, что я сам знаю, она у меня есть, к тебе за визой не пойду!..

— Визой? Во! Слыхали, визой!.. Особачили язык! Только подумать: язык особачили! Чиновник... ты чиновник и есть. С отцом родным каким языком говоришь! Визой! Ты еще скажи: «Курировать!..» Ну скажи! И еще: «Хозяин!» Да, да... Как там у вас? «Хозяин сказал!» — и этак закатыть глаза: хозяин где-то там, в небеси, рядом с богом! Дали по шапке всем хозяевам, а слова забыть не могут: «Хозяин!» Тьфу!

Ну что ты ему на это скажешь?.. С какой злостью говорит! Слова-то какие: «Особачили!» Нет у него желания помочь. Доброй воли нет. Именно, нет доброй воли. Человек, для которого твое дело близко, найдет другие слова. Даже когда к чертовой матери посылает, сделает это по-доброму, не обидно. «Особачили!» Вот он влез на свой Олимп, недостижимый, бардинский, и творит суд! Нет дела. Он взобрался на пик, куда ни одна пушка не достанет, и творит суд.

— Но чего ты хочешь? Скажи толком, в чем твоя программа, положительная, так сказать. Ну вот, дали бы тебе власть, что бы ты сделал? Скажи, что сделаешь?

Вот это человек — смеется!.. Наговорил бог знает что и даже настроения себе не испортил. Больше, повеселел! Ты в мокрую курицу обратился, а он все еще орел. Истинно, ровесник всего живого бессмертен! По нему пушками бей — не возьмешь. Только взгляните, смеется.

— Позитивная, говоришь? Совет дедов! Сенат! Право голоса не в восемнадцать, а в шестьдесят! Только в этом возрасте человек и набирает опыт. В городе, в селе, в хуторе на четыре двора — совет стариков. Круглая печать государства у них. Старик должен быть первым человеком в государстве. Как на Кавказе, там старикам руки целуют. Как на казачьей Кубани, там последнее слово за стариками. Как в Древней Греции, там совет мудрецов был властью. Как на древней матушке Руси, там неслухи держали ответ перед стариками. А что сделали мы? Исключили стариков из жизни! Старик, мол, — старое время, а старому времени крышка! Значит, и старикам заупокойная. А то люди не могут взять в толк, что нынешние старики революцию сотворили, а мы им по шапке! Ты хочешь сказать, что вы дадите им возможность вкусить плоды и уйти на почетный отдых? Изволь знать мое мнение: этот

почетный отдых есть форма отстранения. Боитесь старичков, вот и отправили их в ссылку, назвав ее отдыхом почетным. Нужен сенат революционный!

— Сенат, значит! А что он будет делать? Программа деятельности? Цель?

— Главная цель? Ну, если хочешь, преемственность поколений... Взять у вчерашнего дня все, что нужно дню сегодняшнему,— вот цель. А программа...

— Да, для сегодняшнего дня. Будь этот сенат сегодня, что бы он делал?

— Мобилизация, всеобщая и полная мобилизация народа.

— Ты думаешь, что народ еще не мобилизован?

— Мобилизация, говорю, всеобщая.

— Это как же понимать, всеобщая? А сейчас какая мобилизация! Не всеобщая?

Иоанн встал, видно, и его обильных сил оказалось недостаточно, чтобы довести этот разговор до победного конца. Встал, подошел к ведру с водой, зачерпнул, принялся пить. Пил в охоту, вздыхая от удовольствия, роняя частые капли на бороду, на широкую, в седых волосах грудь.

— По этой мобилизации, если хочешь, я не должен сидеть за хребтом Уральским.

— Так ты и не сиди, вернись из-за хребта.

— Я и вернусь, за визой к тебе не пойду. Слышишь, не пойду за визой!

— И вернись.

— Вернусь. Да только ли во мне дело? Обойти всю Россию и дать каждому дело. Слышишь, каждому! Выскрести доньшко и всем дать дело, и убогим людям, и старухам заваливающим, и калекам... Школы к делу призвать — школы смогут горы свернуть! Кликнуть клич русским людям, что живут в разных державах: помогите России одолеть супостата!.. И это не все. Вызвать к жизни, так сказать, традицию русскую, военную и статскую, заставить ее работать на Россию в три пота. Ты не смейся, традицию... Не робеть перед историей и не страшиться взять ни у царя Ивана, ни у царя Петра.

— Традиция традицией, а царей к чертовой бабушке! — вознегодовал Егор. — Это цари-то — программа

положительная? Кстати, вот вопрос. Скажи, пожалуйста, в четырнадцатом, да, в четырнадцатом, когда Россия схватилась с немцем, эта программа действовала? Нет, нет, скажи, небось в ту пору кого-кого, а царей не отвергали... Итак, прикинь и скажи, действовала?

— Ну, предположим, действовала, — сказал старый Бардин. Он был обескуражен — этот вопрос возник перед ним, как овраг перед конем, что до этого шел наметом. Что-то было для Иоанна тут каверзное. Иоанн не установил, что именно, но чуял, каверзное.

— А какой из этого толк получился? Вот прикинь своим умом, отец. В четырнадцатом Вильгельм, нынче — Гитлер. Кто могучее? Я думаю, Гитлер. Значит, нынче труднее, чем тогда. В четырнадцатом был немец с австро-венграми, нынче — вся континентальная Европа. Значит, нынче труднее, чем тогда. В четырнадцатом был второй фронт, нынче его нет. Значит, нынче труднее, чем тогда. Худо ли, бедно ли, а Россия сейчас стоит и даже, я так думаю, помаленьку подвигается к победе, а что стало с Россией тогда, известно. Почему так? И стариков не очень почитает, и военную со статской традицию забыла, а все-таки стоит и борется! В сущности, один на один с немцем. Почему? Может, ответишь, революционный сенатор?

Иоанн был мрачен.

— Отвечай сам.

— Нет, зачем же. Теперь твой черед.

— Отвечай, говорю.

— Так почему же Россия нынче один на один побеждает, а тогда с доброй полудюжиной союзников не могла? Почему? Кто помог ей? Я так думаю, не царь Иван с царем Петром, а тот осенне-багряный день семнадцатого года, когда она кончила со старым. Я так думаю, что здесь кладезь нашей силы.

— Кладезь? — спросил Иоанн Бардин. — Кладезь, значит?

— Ну что ж, кроме нас двоих есть еще и третий — время. — сказал Егор. — Подождем, что скажет оно. Кстати, не Ольга ли это идет?

Иоанн приткнулся к окну, всматриваясь, вытирая слезы:

— Ольга.

Она поклонилась Егору и, не раздеваясь, села на краешек скамьи, что стояла у окна. Она сидела, задум-

чиво покачивая головой, будто поддакивая чему-то такому, что слышала только она.

— Пожалуй, мне пора, — сказал Егор, поднимаясь, но она и бровью не повела. — Ты меня проводишь, Оленька?

Она подняла глаза, печально взглянула на него.

— Прости меня, Егор, не смогу, — сказала она. — Сегодня приходили из школы, в Иришкином классе собрание... — Она признала это не без труда, точно сил у нее осталось только на это.

— Ну, как знаешь, Оленька, — сказал он и взял пальто. Бардин так и не решил, действительно ли так важно было для нее это собрание или она воспользовалась этим, чтобы избежать продолжения разговора, который не сулил ничего хорошего.

Как и предполагалось, в два он вылетел в Москву.

## 43

Однако слоновья же шкура должна быть у дипломата! Позвонили: завтра в семь прибывает Иден, тебе встречать. И Бардин ехал на вокзал, как на свадьбу. Да и выглядел он соответственно: в шубе, крытой черным сукном, в каракулевой островерхой шапке, повязанный клетчатым кашне, из-под которого выглядывала белая сорочка. Один бог знает, как в нынешнюю ненастную пору удалось ее сохранить такой. Тщательно подстриженный и выбритый, Бардин ехал на вокзал встречать английского гостя, и его вид отнюдь не свидетельствовал, не должен был свидетельствовать, что он только что прожил один из самых грозных месяцев в своей жизни, и что всего три дня тому назад он стоял в открытой зауральской степи у дорогой могилы. Истинно, слоновья кожа должна быть у дипломата!

Да, в Москву приезжал Иден, и Бардин в какой уже раз за эти дни принялся думать о нем. Существовало мнение: Иден в английской политике фигура декоративно-протокольная. Сторонники этой точки зрения как бы говорили: «Вы взгляните, как он великолепен. Антони Иден!.. Именно так мы представляем классический тип английского аристократа: длинноног, худ, не крупен в кости и не очень широк в плечах, с лицом, в котором видны и ум, и сановность. Сановность, которая, как свидетельствует опыт, не возникает

вдруг, чтобы ее породить, необходимы века. И совсем не обязательно, чтобы достоинства, которыми столь щедро оделила Идена сама природа, сочетались у него еще и с умом. Давно замечено, что природа носит ум и красоту в разных корзинах. Когда же случается наоборот, это до добра не доводит».

Надо сказать, что сам Антони Иден не только не опровергал эту точку зрения, а в известной мере ей способствовал. Он одевался не очень современно, но в его одежде была та не бросающаяся в глаза изысканность, с которой научилась одеваться английская аристократия в викторианское время. Но, человек ума трезвого, он не намерен был слепо следовать всему английскому. Ценитель живописи и ревностный ее собиратель, он понимал, что здесь английский гений себя не проявил и, все может быть, не проявит, и устремил свою страсть на коллекционирование французских импрессионистов. Поговаривали, что его мнение о стране складывалось из того, обнаружил ли он в этой стране нового Дега или Ренуара. Так рисовала облик Идена молва, а каким был этот человек на самом деле? Велик был у Бардина соблазн принять Идена таким, каким он выглядел во мнении молвы. В нем, в этом мнении, было нечто такое, что брало в плен. Что именно? Наверно, та доза скепсиса, малая, но всемогущая, которая едва ли не дает тебе право творить суд.

Велик был соблазн принять мнение молвы, но оно было тенденциозно, а дипломат не должен отдавать себя во власть тенденции, как бы заманчива она ни была, — тенденция обезоруживает. Если есть тенденция, очевидно, есть и антитенденция. Какова она? История английской политики последних десяти лет — это история двух групп: той, что стремится отстоять британские позиции в союзе с немцами, и той, что допускает соглашение с Россией. Сказать, что Иден принадлежит ко второй группе, пожалуй, не все сказать. Он сделал себе на этом имя. Он аргументировал свою точку зрения не без изящества. Он считал, что англо-русский союз доказал свою жизненность на протяжении полутора веков. Благодаря этому союзу были низвергнуты все деспоты Европы, начиная с Наполеона. Великобритания и Россия, два могущественных государства, стоящие одно на западном рубеже Европы, а

второе — на восточном, не хотят и не могут мириться с господством в Европе третьей державы. Третья держава становится слишком опасной и для Великобритании и для России.

Иден был первым британским министром, которого принимала новая Москва еще в 1934 году, и внимание, сказанное тогда ему в Москве, соответствовало этому. В ту пору Запад не очень баловал Россию подобными визитами. Английскому министру показали сокровища Кремля и московское метро, строительство которого уже заканчивалось, русскую и западную живспись, не обойдя, разумеется, Дега с Ренуаром. Итог бесед Идена со Сталиным был выражен, как теперь установил Бардин вновь, в коммюнике, которое было на редкость быстро согласовано специалистами по этой части во время их встречи в посольском особняке на Софийской и которое гласило, что у Британии и России «нет противоречий интересов ни в одном из основных вопросов международной политики». Бардин, перечитавший это коммюнике теперь, нашел его излишне оптимистичным, однако в глазах Егора Ивановича это как раз хорошо характеризовало Идена. Возможно, английский министр, как это часто бывает в дипломатии, ради главного готов был пренебречь второстепенным, пренебречь настолько, что делал вид, будто не в его силах рассмотреть это. Единственное, что для Идена было несомненным и во что он действительно верил по возвращении из Москвы, заключалось в том, что русские приветствовали миссию Идена в Москву, его миссию, и его, Идена, как носителя идеи, которая сделала возможной эту поездку в Россию. Иден был в такой мере в этом уверен, что, когда летом 1939 года возник вопрос о заключении англо-советского пакта, способного предупредить гитлеровскую агрессию, и тогдашний министр иностранных дел Галифакс отказался ехать в Москву, Иден дал понять правительству, что готов взять на себя эту миссию. Тогда эта поездка не удалась, но все, кто был осведомлен о настроениях Идена в ту пору, готовы были свидетельствовать: Иден все определеннее ставил на русскую лошадь.

Это было два с лишним года тому назад. А как теперь? Тогда его «да» и его «нет» значили много меньше, чем теперь, — тогда он был бывшим министром.

Правда, есть мнение, что в правительстве, которое возглавляет Черчилль, реальные права министра, и тем более министра иностранных дел, не следует переоценивать, но это мнение может быть субъективным, а следовательно, тенденциозным, а тенденция, как было сказано, не способствует установлению истины.

Так или иначе, а Иден прибывал в Москву в более чем ответственный период ее истории. Если вспомнить прошлый его приезд в советскую столицу, то можно было установить даже нечто общее: теперь, как и тогда, обе страны стояли перед великими испытаниями. Тогда речь шла о том, чтобы предотвратить войну, сейчас — одолеть врага и войну выиграть. Тогда — возможен ли сам союз и в какой мере обе стороны готовы его осуществить, теперь — достаточно ли жизнестоек этот союз и способен ли он совладать с превратностями времени. Как ни плох был политический климат тех лет, поездке Идена в Москву сопутствовала удача. А как теперь? На подмосковных полях, скованных морозом, какого давно не знала Россия, накаляясь с каждым днем все больше, продолжалась самая большая битва этой войны, а перспектива второго фронта была так же далека от осуществления, как и в начале войны. Можно было подумать, что восторжествовала формула Трумэна, провозглашенная на второй день после июньского вероломства Гитлера: «Пусть они убивают друг друга...»

Так или иначе, а Иден прибывал в Москву и Егор Иванович явился на вокзал встречать английского гостя.

Бардин подумал: «Бекетов едет?» Оказалось, что едет не только Бекетов, но и Михайлов, а это уже было интересно. Далеко не всегда посол сопровождает иностранного гостя... Если это имеет место, значит, гость приветствуется. Из этого можно было вывести два правила любопытных. Первое: только в общечитии каждый гость желателен. В дипломатии действуют иные законы. Второе правило конкретно и в какой-то мере деликатно: а если бы ехал Черчилль, разрешили бы послу сопровождать его? Вряд ли. То обстоятельство, что Черчилль — премьер, не имело бы здесь ровно никакого значения. Следовательно, то, что отождествлялось в сознании советских руководителей с именем

Идена, решительно не распространялось на Черчилля, хотя если копнуть глубже... Ну, чем Иден, в конце концов, отличался от Черчилля?

С покатою взгорья, где стояли припортовые постройки Мурманска, едва угадывалось море — снеговая тьма, именно тьма, хотя и белая. Как в такой тьме отыщешь дорогу, не напоровшись на железные зубья тевтона? Кстати, английский крейсер идет в одиночку, защитившись от всех невзгод броней и скоростью, пожалуй, больше даже скоростью, чем броней. Но те корабли, что вошли в порт в последние сутки, явились сюда точно из сказки, у них странно праздничный вид. Корабли разукрасил лед, тонны льда, которым оброс корабль. Этот лед, что коварные объятья недруга: доверись им и испустишь дух.. А как тот корабль, что идет к Мурманску из далекого шотландского порта? Сберег он спасительную скорость или полярная ночь обратила его в айсберг? Небось на корабле аврал и команда, вооружившись ломами, скалывает сказку..

Для англичан и в иное время года поход в Россию был событием, а тут в разгар зимы российской, да еще какой зимы! Будь Иден человеком суеверным, пожалуй бы, трижды осенил свою грудь крестным знаменем, прежде чем продолжить путь. Где-то в первый день путешествия или в самый его канун настигла его весть о японской диверсии в Пирл-Харборе... Как английский гость? Пришел в замешательство или сплюнул через левое плечо и продолжил путь?

Когда красноармейцы в дубленых полушубках выстроились вдоль береговой линии и военные музыканты поднесли ко рту каленую на морозе медь своих труб, а в белесоватой тьме полярной ночи появился Иден и, на ходу отворачивая шалевый воротник шубы, приветственно вскинул руку, Бекетов подумал: политика — это умение видеть на расстоянии, видеть настолько, чтобы не делать глупостей. Четверть века назад или около того вот на этой же мурманской земле сподвижники и посланцы Черчилля принимали парад тех, кто видел в большевиках заклятых врагов своих. А вот сегодня тот же Черчилль направляет в Мурманск первого своего эмиссара, моля большевиков прийти на помощь Англии. Направляет именно в Мурманск — исто-

рические параллели и исторические несообразности отсюда видны лучше. Хочешь не хочешь, а выведешь мораль: человек должен соотносить свои поступки не только с днем сегодняшним, но и с завтрашним. Кстати, у этого завтрашнего дня есть одна особенность — он приходит раньше, чем, казалось, должен прийти.

Вот хотя бы эта новость, только что полученная в Мурманске: началось наступление под Москвой. Советская победа разом переселила Идена на седьмое небо. Поздравляя Михайлова, англичанин так сжал его руку, что посол, высвободив ее и отведя за спину, должен был шевельнуть пальцами, чтобы удостовериться, что она цела. Ничего не скажешь, метаморфозы времени. Советская победа сделала английского министра в такой мере счастливым, в какой в иные времена способно было сделать его таким только поражение.

Специальный поезд, который на запасном пути ждал английского гостя, был сформирован по всем правилам военного времени: для Идена броневая вагон, рядом открытые платформы с укрепленными на них зенитками, впереди поезда, на расстоянии трех — пяти километров от паровоза, тянущего состав, второй паровоз, в своем роде щит. Где-то на первых перегонах поезд шел вдоль линии фронта, чуть ли не в поле видимости врага. На беду, небо очистилось от туч и северное сияние развесило свои многоцветные полотнища. Четыре с лишним дня морского путешествия дали себя знать — гости уснули. Сон уберег гостей и от красот северной ночи, и от тревог прифронтовой дороги. Когда Иден впервые вышел из броневой вагона, нечто похожее на рассветные сумерки разлилось по снежному полю, обозначив темную линию бора на горизонте. Иден с такой поспешностью окунул голову в ворсистый воротник, что сшиб набекрень ушанку, подаренную русскими военными в Мурманске.

— А солдаты вот так... всю ночь на морозе? — обратил англичанин взгляд на платформу, по которой шагали царственно спокойным шагом, один в одну сторону, второй в другую, красноармейцы в тулупах.

— Да, всю ночь, — ответил генерал Нэй, оказавшийся подле.

— И им не холодно?

— Наверно, холодно, но не так, как нам с вами.

— Потому что на них эти бараньи дожи.

— Не только. Они русские, господин министр.

Иден переступил с ноги на ногу — мороз начал подпекать и его.

Говорят, что дипломат должен видеть то, что у всех прочих лежит за пределами видимого. А что значит уметь видеть? Очевидно, в такой мере уметь проникать в психологию человека, которого ты наблюдаешь, чтобы то немногое, что ты увидел в человеке, дало возможность прочесть его всего. У Бекетова задача чисто психологическая — увидеть Идена. Да, по тем крохам, можно сказать, даже жалким крохам, которые дает неблизкое общение с человеком, общение больше официальное, чем личное, составить свое мнение о нем. Егор как-то сказал Бекетову: «Ты смотришь на человека и видишь его, так сказать, в исторической перспективе. История — это хорошо, но дипломату нужна психология. Попытайся проникнуть человеку в душу... Поверь, она даст тебе много». Но у Бекетова свое мнение: психологу здесь не противостоит история. Наоборот, история может сотворить такое, что одной психологии не под силу...

## 44

Грозны полуночные зарницы над Москвой. Немое небо, где-то бесследно увязли в неоглядной пучине земли и облаков громы битвы, и только огонь некуда упрятать. Его сполохи так сильны, что казалось, еще мгновение и загорится, шипя и потрескивая, само небо... Когда город озаряет такой пламень, большой дом на Кузнецком словно преобразается. Загораются окна, и дом будто становится обитаемым. Но зарницы тускнеют и уходит огонь из окон. Темно и тихо. Эта тишина от наледи, которой оброс нетопленный дом. Главное сберечь стекла. Не дать снегу и стуже вломиться в дом и натворить бед. А как сбережешь окна, когда взрывная волна выламывает их вместе с переплетами?

Нет-нет, а к дому и придет кто-то из наркоминдельцев. Благо «Метрополь», где расположилась оперативная группа наркомата, не за горами. «Как там добрый дом на Кузнецком? Выдюжил, старина?» — «Похоже, что так». Странное дело, дом как дом, а будто существ-

во одушевленное. Почему? Наверно, потому, что частица жизни твоей осталась в нем... Вспыхивает небо, а вместе с ним и окна. Истинно, дом точно становится обитаем. Будто не было смятенного октября и все, кто покинул его, пустились в обратную дорогу. С Приволжья, из-за хребта Уральского, с кровавых ратных полей, смоленских, гжатских, вяземских... Да будет ли такое?

Поезд пришел на Ярославский, и в толпе встречающих, небольшой, но плотной, Бекетов так и не обнаружил Егора Ивановича. Он не предупредил, разумеется, Бардина о приезде, у него не было данных, что друг его будет обязательно на вокзале, но логика их отношений, неодолимая и, как всегда, точно действующая, подсказывала ему: Бардин должен быть на вокзале, не может не быть. Поэтому, когда он наконец обнаружил друга, быстрым шагом приближающегося к вагону, то был рад и тому, что видит Егора Ивановича во здравии, и тому, что правило, которое он только что вывел для себя и Бардина, продолжает действовать с прежней силой. Но внимательный Бекетов ухватил в друге и иное.

— Что-то ты мне не нравишься, — сказал Бекетов, когда Бардин, облобызав друга, еще лежал у него на груди, вздыхая. — Да не занемог ли ты? Полегчал, будто баржи на себе таскал по перекатам.

— В моем положении баржа не самое трудное.

— Погоди, что ты хочешь сказать? — насторожился Бекетов и, дотянувшись до спины друга, ставшей странно сутулой, положил на нее руку. — Ксения?

— Ксения, — произнес Бардин.

— Так... А я гляжу на тебя, не тот Егор. Так, так...

— Пойдем, Сережа, отсюда... Холодно мне, — сказал Бардин и двинулся вдоль платформы. Бекетов медленно последовал за ним. — Что-то сердце, точно кто холодную руку за пазуху сунул...

Они дошли до здания вокзала, но входить туда не стали.

— Вот что, Егор, сегодня я человек казенный, а завтра, была не была, пробьюсь к тебе, — сказал Бекетов и огляделся. Группа гостей, над которыми сейчас возвышалась мурманская ушанка Идена, обогнула здание вокзала.

— Не опоздаешь, Сережа? — спросил Бардин. Он заметил взгляд Бекетова, обращенный на гостей, над сплоченной группой которых все еще маячила ушанка Идена. — Встретимся завтра.

— Подожди, Егор. — Бекетову очень хотелось сказать другу нечто такое, что способно было утешить его, но нужные слова не шли на ум. — Ты-то решил, как жить будешь?

— До меня ли, Сережа? Тебе пора, — Бардин пожал руку другу и зашагал прочь.

Как обещал Бекетов, он позвонил Бардину на следующий день.

— А что, если бы тебе сейчас, по старой памяти, явиться на Остоженку, Егор? — спросил Бекетов осторожно. — Тебе будет хорошо у меня. Как ты?

Бардин поехал. Сергей Петрович ждал друга едва ли не в той самой комнате, в которой состоялась их первая встреча, когда Иоанн Бардин ненароком вспомнил профессора истории с Подсосенского и направил к нему юного Егора. В комнате стояла чугунная «буржуйка», какой и в наши дни железнодорожники обогревают товарные вагоны, отправляясь в дальнюю дорогу. Чья-то рачительная рука (Егор подозревал, что это была старушка соседка, которая невзначай возникала в квадрате открытой двери и исчезала) протопила комнату, вскипятила чай и даже изжарила добрую сковороду картошки с луком. Бардин привез бутылку «цимлянского», которую раскопал в Иоанновом погребеке в Ясенцах.

— Ты сиди, Серега, да рассказывай про заморские чудеса, а я уж сам накрою стол, как умею, тут у меня определенная привилегия перед тобой.

— Чудеса — это что же? Иден?

— Ну, хотя бы.

— Хочешь спросить, как далеко яблоко от яблони откатилось?

— Хочу спросить, Серега.

— Как упало с яблони, так и лежит у самого ствола.

— Что есть яблоня и что есть яблоко, Сергей Петров?

— Черчиллевское древо есть... яблоня.

— Этак ты мне отобьешь аппетит, и я «цимлянской» влаги не захочу, а? — спросил Бардин.

— А вот тут у меня нет опасений...

— Где будут границы России после войны, друг Бекетыч?

— Хочешь знать мое мнение?

— Да, Серега.

Бардину казалось, что друг отвечает на его вопросы в охотку еще и потому, что этот разговор был своеобразным щитом для Сергея Петровича: он защищался им от Ксении, понимая, что тут он беспомощен. Впрочем, этот разговор, как должен был признаться себе Егор Иванович, был щитом и для него: если бы друг вновь спросил его «Как жить будешь?», Бардина поверг бы этот вопрос в смятение.

— Ну?

— Сказал бы, да боюсь ошибиться, Егор.

— По-моему, бритты встали на дыбы, так?

— Встали. Еще как! С их точки зрения, новые границы — это не столько безопасность России, сколько вид экспансии...

— Даже после того, что пережили мы в сорок первом?

— Даже после этого.

— Разве мы не были правы, когда требовали отодвинуть границу от Ленинграда? Все последующее не доказало нашей правоты?

— Именно это и было сказано Идену.

— А он?

— Говорит, что решение проблемы — в объявлении войны финнам.

— И это все, Бекетыч?

— Пока, я так думаю.

— Что значит «пока»? Разговор начался, его следует продолжить.

— Да, трудный разговор.

— Ну что ж, ты был не щедр в своих ответах, но и за это я тебе благодарен. Будем считать, что бокал «цимлянского» ты заработал.

— Спасибо и на том.

Уже за полночь, когда проблемы, вызванные идемовской миссией, были исследованы досконально и паузы, одна, а вслед за этим вторая и третья дали знать друзьям, что должное должно быть сказано, Бекетов спросил:

— На кого ты оставил семью там, за Уралом?

— На... Оленьку да на отца, — сказал Бардин, раздумывая: отец возник в его сознании уже после того, как имя Ольги было произнесено, и это, так показалось Бардину, безошибочно отметил для себя Бекетов.

И вот тогда еще раз грохнул всей своей многопудовой медью колокол молчания.

— Погоди, а как ее муж? Так и не отозвался?

— Муж как? Без вести... на финской, — ответил Бардин, не сводя глаз с друга. Было такое впечатление, что он что-то знает, знает и не говорит.

— Без вести? — не выговорил, а тихо воскликнул Бекетов. Этот ответ сказал ему больше, чем, казалось, должны означать слова, которые при этом были произнесены. — Оля, она... верна твоей семье, — добавил он, поразмыслив.

— Да уж как верна! — подхватил Бардин с жаром и точно оступись: не много ли жару вложил он в этот ответ?

Странное дело, Бардин и боялся этого разговора, и хотел его продолжения, но Бекетов замкнулся. Он сказал все, да и услышал, как можно было подумать, все, что хотел услышать от Бардина.

— Наши рассчитали верно: вопрос о границах должен быть решен, ну, не сегодня, так в эти месяцы, — сказал Бекетов, недвусмысленно обнаружив, что хочет сменить тему разговора. — Если англичане не скажут «да» теперь, завтра они его не скажут.

— Ты полагаешь, так, как они зависят от нас сегодня, завтра могут не зависеть? — спросил Бардин.

— Я в этом уверен, — подтвердил Сергей Петрович.

Под утро, возвращаясь с бекетовской Остоженки в «Метрополь», Бардин вновь и вновь взвешивал то немногое, что сказал ему Сергей Петрович по существу переговоров, и, соотнося это с тем, что знал сам, должен был прийти к мысли не очень обнадеживающей: те, кто верил в миссию Идена, ошиблись.

Казалось, машина была еще в пределах Москвы, когда по правую и левую руку от дороги легли разбитые немецкие бронетранспортеры, покалеченные пушки,

снарядные ящики с клеймами рейха, бочки необычайной формы, смятые в лепешку, штабные автомашины и выпроставшееся из машин разномастное барахло: штанина от форменных брюк, разумеется, с лампасами, пилотка, башмаки на деревянной подошве, картонные иконки, многоцветное изображение нагой женщины (она, только она и была храбра на русском снегу), этикетки, открытки, орденские колодки, все яркое, кричащее, точно на погибель... И рядом в бездонном снегу, точно желая переплыть белую пучину, немцы, бездыханные, замерзшие, немые. Кто взметнул руку над белой волной, кто зарылся с головой в отвердевшую пену, кто выскочил наружу по пояс и навеки затих...

Там, где великое неистовство войны достигало наибольшей силы, шоферы старались пригасить скорость и Иден пододвигался к смотровому стеклу.

— О, это урок! — произнес он вполголоса однажды, не без труда распечатав бледные губы. — Им надо было явиться сюда, чтобы получить этот урок...

Уже за полдень въехали в Клин. Стояли черные трубы на месте сожженных изб. Вопреки всем невзгодам войны они были нерушимы. С них начинался дом, и с них, казалось, он должен возродиться. Но как скоро это будет и будет ли? А сейчас ветер врывается на пепелища, взрывает золу и сажу, гнал по белому насту, стремясь поспешно зачернить его. Истинно, белое поле становится черным — все спалено, все порушено. Если и есть тепло, то у костра на снегу.

Привели пленных и поставили на крыльце полу-сожженного дома. Их шестеро. Старшему не больше двадцати пяти. Вид бабий, хотя все в шинелях. Наверно, потому, что на некоторых из них платки, на одном платок был белый, шерстяной.

Подошел Иден. Немцы насторожились. Тот, что был в белом платке, крикнул, стараясь опередить товарищей:

— Гитлер капут!..— видно, защитная реакция — до сих пор выручала.

Иден стоял сейчас у крыльца. Немцы были над ним. Взглянул на их башмаки, поспешно погасил улыбку. Не иначе как вспомнил русского зенитчика в тулупе, что катил на открытой платформе от Мурманска до Москвы.



— Так все одеты у вас? — спросил англичанин.

— Вся армия, — сказал немец в белом платке. С той минуты, как немец послал фюрера к праотцам, он осмелел заметно.

— А ведь зимой в России снег, — сказал Иден.

Немцы засмеялись, тот, что в белом платке, громче остальных.

— А нам казалось, что зимой нас здесь не будет, — меланхолично заметил немец помоложе. Он один был без пилотки.

Бекетов, что стоял поодаль, был почти уверен, что Идена одолевало искушение спросить немца: «А где вы предполагали быть к зиме? Не на Британских ли остро-



вах?» Но англичанин смолчал. В иных обстоятельствах Иден, пожалуй бы, спросил немца, но сейчас в этом не было смысла. Для Идена, разумеется. Спросить, значит, показать русским, что вторжение на острова предотвращено, потому что немцы застряли под Москвой. Надо ли это показывать русским?

Но мысль Идена уже набрала энергию и ее ничто не могло остановить.

— Подобное могло быть и с нами, — сказал Иден, когда они переступили порог клинской обители Чайковского.

Все время, пока Иден объезжал Клин, рядом с ним

был полковник Иван Костылев — старый вояка, давно пребывавший в отставке, которого вновь призвала в строй война. Костылев не без охоты вызвался сопровождать Идена — он полагал, что его опыт офицера, хорошие манеры, а может, даже и выправка в данном случае могут быть полезны России. Все было бы хорошо, если бы не сутуловатость, которая мешала Костылеву нести корпус, как это подобает бравому воину, да, пожалуй, больная нога, которая сковывала подвижность. Вот так, ругая себя за сутуловатость и за больную ногу, однако не подавая виду и даже, наоборот, демонстрируя настроение, которого у него не было и в помине, Костылев следовал за Иденом.

— Вы старый русский офицер, господин полковник? Я так полагаю, старый офицер?

— Все точно, имел честь громить австрияков под командованием высокочтимого Алексея Алексеевича в мае шестнадцатого года в Галиции...

Иден поднял руку, призывая на помощь Бекетова, который, услышав английскую речь полковника, отстал, полагая, что участие третьего лица в данном случае не обязательно.

— Скажите, пожалуйста, кто есть Алексей Алексеевич?

— Ну, разумеется, генерал Брусилов, главнокомандующий Юго-Западным фронтом, — заметил полковник, не дожидаясь, пока Бекетов переведет вопрос Идена.

— О, Брусилов, Брусиловский прорыв! — выговорил Иден, возликовав. В том, как он произнес эти несколько слов, чувствовалось, Иден рад не только тому, что его собеседник был участником известной битвы прошлой войны, но и тому, что эта битва оказалась в пределах представлений Идена об этой войне.

Они вошли в избу, просторную, жарко натопленную и тщательно выскобленную и вымытую, хотя, по всем признакам, сейчас и нежилую.

На столе, застланном большой географической картой (разумеется, изнанкой навверх), стояли самовар, графин с водкой, тарелки с колбасой и сыром и глиняная миска с горой черного хлеба, свежего, аккуратно нарезанного.

Иден взглянул на графин с водкой, заулыбался.

— Русский чай? — Посмотрел на окно, стекла были

неожиданно прозрачны (видно, печь топилась часа полтора и оконная наледь истончилась), и, увидев сожженный дом напротив, помрачнел, стал молча, устраиваться за столом.

Костылев сел напротив. Он взял графин и с веселой пристальностью взглянул, как плещется внутри него холодно-прозрачная влага.

— Как вы, господин Иден? Готовы... для начала?

— Чай? — переспросил Иден по-русски и улыбнулся. — Давай, давай!

Выпили. Иден с лихостью нарочито бесшабашной («Была не была!»), точно это была не рюмка водки, а нечто большее. Полковник деловито, по обязанности (водке он предпочитал вино, но когда надо было, пил водку), Бекетов пил водку в охотку, мороз пронял и его.

— А вот мог бы я вас спросить? — обратился Иден к Костылеву, когда не без помощи огурца и кусочка сыра огненная влага была загашена.

— Да, пожалуйста, — отозвался полковник и перестал есть.

— Вы старый русский, видевший ту войну и эту... Какое чувство у вас доминирует? Вы понимаете меня?

— Мне так кажется, понимаю, — отозвался Костылев и задумался, сомкнув губы. — Какое чувство... доминирует? Сделать все, чтобы не было третьей войны, — вот это чувство. Простите меня, господин министр, но, будь моя воля, я бы настоял на границах, которые гарантируют безопасность Советского Союза.

Иден помрачнел. Казалось, начатый им разговор принимал оборот, которого он не ждал и, пожалуй, не хотел.

— Это что же... линия лорда Джорджа? — спросил Иден. Этот вопрос лежал для него на поверхности.

— Нет, не только линия Керзона, — был ответ Костылева.

— Мурманск, Ленинград?

— Да, разумеется. И Прибалтика. И все остальное. Все, что вызывало у нас опасения и что эта война не опровергла, а подтвердила, — сказал полковник и протянул руку, чтобы взять графин, но Иден остановил его. Что-то было в этой водке для Идена общее со словами Костылева — грозила сшибить наповал, сжечь.

— В каком смысле... подтвердила? — спросил Иден.

— Уязвимыми оказались как раз те места, которые мы хотели оградить от удара,— сказал полковник и принялся разливать чай — это он хотел сделать сам.

— Значит, Ленинград? — спросил Иден.

— Да, Ленинград, в частности... — Полковник закончил разливать чай и отодвинул рюмку. Все, что он хотел сказать, он сказал.

Через полчаса Иден и его спутники простились с Костылевым.

Бекетов так и не мог решить: этот разговор в избе-пятистенке вызвал Иден или его навязал английскому министру полковник? Как казалось Бекетову, для Идена был резон решиться на такой разговор. В конце концов, потеря для англичанина никаких, а приобретение явное, ну, если даже сравнить, например, мнение полковника с тем, что накануне Иден услышал от Сталина. Кстати, совпадение настолько разительное, что кажется, один инспирировал мнение другого. Сталин инспирировал? Не полковник же. Тогда о чем это говорит? Стихия это или организованная атака на союзников? И старый военный в качестве атакующего? Нет, в такой атаке могут участвовать все, но не полковник, с которым только что говорил английский гость. Непохоже это на полковника. А если непохоже, значит стихия... Если так, то грозно. Из всех определений России, бытовавших на Западе, вот это, по Идену, самое точное: Россия грозная, грозная...

А потом гости возвращались в Москву. И снеговое море, бывшее в начале дня белым, сейчас выглядело синим. Но так, как это было прежде, в тщетной попытке одолеть снеговую пучину взлетали над смерзшимся настом руки мертвых.

Поезд Идена уходил с Ярославского.

Когда проехали Вологду, Иден вдруг вспомнил и Мурманск и Каңдалакшу, будто один город был связан с другим цепью, сейчас неразрывной,— достаточно было ухватить одно название и выхватывалась вся цепь. Не иначе как города будили в сознании англичан печальной памяти событие восемнадцатого года: флаг интервенции был поднят здесь и дороги вторжения, того, черчиллевского, прокладывались по английским картам, через эти города. Но ведь Иден свободен ото

всего этого? Сколько ему могло быть лет в ту пору? Восемнадцать? Свободен? Да не благо ли сохранить вот эту свободу по отношению к прошлому Черчилля? Только ли к прошлому?

Если бы Черчилль сейчас ехал в Россию, избрал бы он этот маршрут? Да, маршрут, где были бы и Мурманск, и на отшибе Архангельск, и, разумеется, Кандалакша с Вологдой?.. Вот в речи, посвященной вторжению немцев в Россию, он сказал, что не намерен отказываться ни от одного своего слова, сказанного в свое время о новой России... От слова и дела? А как быть с Мурманском и Вологдой? От этого тоже не намерен отказаться? Если не намерен, то какова основа у нынешнего союза с Россией? Конечно, столь опытный демагог как-нибудь выкарабкается и на этот раз, но история грозна... Она вдруг возьмет и поставит к стенке. Не сегодня, так завтра. А пока этого не произошло, следует проникнуть в суть того, что является ее уроком. Быть может, главная привилегия Идена в том и состоит, что у него еще есть возможность проникнуть в суть этого урока истории. Даже в нынешнем его, зависимом от Черчилля, положении... В чем история покарала Черчилля, как это стало ясно Идену сегодня? Оказывается, национальные интересы Великобритании и Советской России не в такой мере сталкиваются, чтобы идти на русских войной. Нет, не только сегодня, но и вчера. А если так, быть может, необходимо проявить большее понимание того, что Советы зовут своими национальными интересами. Ну, например, по вопросу о границах.

Вот она, история и психология, как ее понимает Бекетов, хотя деликатный Сергей Петрович и не претендует на истину в последней инстанции.

Тамбиев вернулся в Москву в конце ноября, а в самом начале декабря в столицу заспешили из Куйбышева иностранные корреспонденты.

Еще до того, как московское радио сообщило о первых победах под Москвой (это было вечером 5 декабря), в какой-то мере похожее промелькнуло в лондонских радионовостях, переданных накануне: русские

ввели резервы и нанесли поражение, равного которому немцы еще не знали в этой войне.

Корреспонденты отрядили в отдел печати Галуа, благо, что отряжать было недалеко — по иронии судьбы Наркоминдел, или его своеобразный московский филиал, теперь находился в том самом здании гостиницы «Метрополь», где он пребывал в достопамятные чичеринские времена, до переезда на Кузнецкий.

— Если вам дорога моя жизнь, милый Николай Маркович, — прогундосил Галуа, как обычно мекая и экая, — свезите их, пожалуйста, хотя бы на московскую Пресню или, по крайней мере, в Химки. Иначе они меня пристрелят, как куропатку. Говорят, что этот... Клин купил какое-то необыкновенное охотничье ружье «Зауэр, три кольца» и грозился меня укокошить. Он, конечно, разбойник, этот Клин, но его понять можно: в каких-нибудь ста километрах от Москвы идет великая битва, а мы сидим, как куры на нашесте. Надо наконец решить вопрос, в известной мере принципиальный: военные мы корреспонденты? Если военные, то должны видеть войну. Как вы полагаете, Николай Маркович?

— Поймите, господин Галуа, — пробовал отвечать Тамбиев в тоне, какой предложил его собеседник, — когда войска в движении, их нагнать непросто. К тому же, до корреспондентов ли сейчас военным?

— Только сейчас, а не позже, — возражал горячо Галуа. — Такой материал надо брать прямо... со сковороды! Поймите наконец, что это в ваших интересах. Сейчас, ни днем позже. Когда сковорода остынет, всему этому половина цены. Сейчас это пойдет на первые полосы, а неделей позже может перекочевать на вторые. Скажите, это вам выгодно?

Тамбиев понимал, что Галуа во многом прав, однако организовать поездку корреспондентов на фронт было, как утверждали военные, достаточно сложно: наступление набирало силу, войска действительно были в движении.

— Это событие номер один, и умалить его непросто, — пробовал возражать Тамбиев.

— Верно, но надо взять от этого события все, что можно. Если о Московской битве написать со слов русских военных, да еще показать корреспондентам поле

боя... Это же для вас много выгоднее, чем питать газеты западного мира... утками из Берна и Стокгольма. Поймите, корреспондент должен сказать: «Я был на месте битвы и видел собственными глазами...» Или: «Я разговаривал с русским генералом... имярек, руководившим действиями войск на Истре, и свидетельствую...» Вы понимаете, какое значение это может иметь для вас? Да, да, после стольких неудач, нет, не только ваших, но и наших, вдруг победа! Простите за сравнение, которое вам может показаться вульгарным: есть смысл продать эту победу дороже. К тому же вам надо учитывать одно обстоятельство...

— Какое, господин Галуа? — полюбопытствовал Тамбиев. Видно, все, что произнес только что Галуа, не возникло вдруг — каждое посещение отдела печати им готовилось тщательно.

— Хочу дать вам один совет: если вы хотите действовать гибко и хотите взять от корреспондентов все, что они могут дать, вам необходимо, как бы это сказать по-русски... не класть все яйца в одну корзину. Я выражаюсь не очень понятно?

— Да, пожалуй, — согласился Тамбиев. Как заметил Николай Маркович, Галуа любил в ответственный момент обратиться к фразе, которая казалась ему типично русской.

— Поясню свою мысль: вы, русские, любите во всем масштабы. Это, быть может, определяется размерами России. Ваши купе в железнодорожных вагонах, сами ваши вагоны, ваши поезда больше европейских. Ваша одежда... эти ваши многоярусные шапки, дохи, подбитые пудовыми шкурами, эти унты на меху... Одним словом, для вас добротность—это суть. Размеры и вес! Ну, не сердитесь на меня, не сердитесь. По крайней мере, больше, чем для европейца, не правда ли? Теперь о корреспондентах и поездках на фронт. Пока вы не наберете корреспондентов если не дивизию, то, по крайней мере, полк, вы не выедете. Да, вам нужна и здесь мощь — полк, не меньше! Смею вас уверить, здесь полк не обязателен. Даже скажу больше: иногда полезно послать трех журналистов, окружив их соответствующим вниманием. Я допускаю даже поездку одного журналиста. Да, журналист, обладающий известным именем и, что очень желательно, знающий Россию, на-

правляется на фронт один, чтобы стать обладателем имен и фактов, которые будут принадлежать только ему. Итог его поездки — цикл статей или даже эссе, на опубликование которых согласна большая газета или группа газет. Полагаю, что вам это должно быть выгодно. Поверьте мне, что событие, которое вы отдадите этому журналисту, в итоге его поездки получит не меньший резонанс, чем при поездке корреспондентского полка, а качество написанного будет намного выше. К тому же в самом этом акте есть элемент поощрения, больше того — награды. Вы как бы говорите журналисту: «Вот поезжай один, и это будет для тебя как бы вексель. Да, тебе его предстоит оплатить. Как оплатить? Ну, прояви какое-то понимание нашей позиции, а точнее, добрую волю». Нет, вы не смейтесь, во всем этом никакой хлестаковщины. Я готов предложить нечто конкретное.

— Что именно, господин Галуа?

— Разрешите мне побывать в Ленинграде. Поймите, для меня это... бесценно. — Он умолк. Этот разговор Галуа начал как политик, политик искушенный, для которого многое из того, о чем он говорил, имеет аспекты видимый и скрытый, но вот он заговорил о Ленинграде, и волнение перехватило горло. Здесь он был искренен, так казалось Тамбиеву. Как ни искушен он был профессионально, где-то человеческое, исконное заявляло о себе. — Того, что я смогу сказать о Ленинграде, не скажет другой, поймите.

— Эта мысль о векселе распространяется и на вашу поездку в Ленинград? — спросил Тамбиев и улыбнулся. Трудно было не улыбнуться.

— Да, разумеется, если под векселем понимать добрую волю, — ответил Галуа и тут же добавил, стремясь предупредить отказ: — Я понимаю, что Ленинград — это сложно сегодня.

— Да, сложно, — согласился Тамбиев.

Галуа ушел. Тамбиев задумался. Каждая новая встреча с Галуа давала материал для раздумий. Ну, разумеется, Галуа хотел выглядеть проще, чем он был на самом деле, быть может, даже он создал себе маску: русский, волею судеб оказавшийся на том берегу, но помнящий свое первородство и желающий ради этого на все. Вот и приехал в Россию в час ее смертельной

опасности, и все, что он пишет, исполнено великого уважения к народу, ведущему борьбу, хотя в чем-то нарочито недоговорено, в чем-то не ортодоксально. В более чем деликатном для него вопросе о втором фронте Галуа готов проявить понимание русской позиции, хотя высказывает не столько свое мнение, сколько тех коллег-инкоров, которые склонны признать русскую точку зрения резонной. Однако весь ли здесь Галуа? Вряд ли, думает Тамбиев. Есть в Галуа нечто иезуитское, когда, прихрамывая, он идет по залу, присоединяясь то к одной группе, то к другой. Если незримо пройти с ним рядом, то изумишься немало, как меняется интонация Галуа в зависимости от того, с кем он говорит.

«О, этот Черчилль — порядочная шельма! — не преминет сказать Галуа, если беседа один на один.— Пока он у власти, второго фронта не видать. Не ахти какой друг русских этот Бивербрук, а как Черчилль напустился на него, когда тот заикнулся о втором фронте! На месте Бивербрука я бы вправил ему мозги».

Но вот он вприпрыжку обегает зал и ненароком сталкивается с Клином.

«Ну что можно сказать о втором фронте? Худо ли, бедно ли, а старушка Британия сопротивляется. Простите, о чем вы говорите? О действиях на континенте? Не думаю, чтобы Черчилль решился. Не хочу сказать, что согласен с Черчиллем, но понять его могу. «Сегодня мы поможем русским, а завтра они дадут нам пинка под зад и нам придется убираться с континента, как во времена Дюнкерка...» Что ни говорите, а Черчиллю нельзя отказать в правоте...»

Но главное, конечно, не в этом. Галуа — журналист-дипломат, достаточно авторитетный в кругах официальных. Одним литературным трудом такого положения не завоеешь, тем более человеку, чье французское происхождение сомнительно. А он человек достаточно влиятельный. Первое, что сделал Бивербрук, прибыв в Москву, пригласил к себе Галуа. Нет, не потому, что Галуа в кругу франков франк, а в кругу русских русский. И не потому, разумеется, что анализу русских дел, который сумеет сделать Галуа, можно доверять — в этом анализе будут и мысль, и трезвый расчет, и знание предмета. Нет, не только поэтому. Если верно, что

у посла помимо посольских советников есть советник за пределами посольства, то этим советником мог быть Галуа. Но у какого посла? Французского? Нет, не только. У английского тоже. Даже у английского больше, чем у французского. Имеет ли значение подданство? Очевидно, не решающее. Галуа подобен утесу посреди степи: он не столько над землей, сколько в земле, и зримая часть утеса не дает представления о его размерах.

Видно, всему, что сказал Галуа, следовало дать ход. Тамбиев позвонил секретарю и сказал, что хотел бы видеть Грошева. Опыт говорил ему: необходимо выйти за пределы фактов, раскрыть психологию беседы, все, что беседа дала ему для понимания Галуа, например. И еще, рассказ утратит существенное и может быть понят неверно, если Тамбиев не выскажет своего мнения.

Тамбиев пошел к Грошеву. Тот выслушал Николая Марковича и, сняв очки, закрыл глаза так, что в уголках собрались слезинки.

— Не уходите, Николай Маркович, я хочу переговорить с наркомом, — сказал Грошев и протянул руку к телефону, что стоял несколько в стороне. — Сегодня в отделе был Галуа... — начал он и выждал, очевидно мысленно взвешивая, какое впечатление эта первая фраза произвела на наркома и может ли он продолжать разговор в том тоне, в каком начал. — Он поставил перед отделом три вопроса. — В том, как энергично Грошев произнес эту вторую фразу, и в том, как лаконично он обозначил тему, было очевидно, нарком готов был выслушать Грошева, но не был настроен к слишком пространному разговору. — Да, разумеется, первый вопрос нами поставлен перед военными, но корреспонденты заинтересованы, — произнес Грошев, очевидно отвечая на вопрос наркома. — Да, да, я на месте. Жду вашего звонка. — Он положил трубку и, взяв со стола очки, надел их. — Просит подождать минут пятнадцать, вы не уходите. Значит, Иден полагает, что его миссия не вызывает тревог?

— Так я понял Галуа, — сказал Тамбиев. В той сумме вопросов, которые воспроизвел Тамбиев, говоря о беседе с Галуа, этот был для Грошева сегодня главным.

Грошев молчал, поглядывая на аппарат, по которому он сейчас говорил с наркомом. Что должно было произойти в эти пятнадцать минут? Они необходимы

наркому для раздумий или для разговора с кем-то третьим? Кто может быть этот третий? Сталин? О, не следует переоценивать важности проблемы, нарком может говорить и с кем-то из военных. В конце концов, среди тех проблем, которые упомянул Галуа, поездка на фронт — первая.

Грошев встал и пошел по комнате. Его нынешний кабинет был не так просторен, как на Кузнецком, но и здесь Грошев протоптал свою дорожку. Едва он достиг окна, резкий звонок на какой-то миг припечатал его к ковру — слишком хорошо знал Грошев характерный, с рокотанием звук наркомовского телефона.

— Благодарю вас, в четверг в шесть утра выедем, — произнес Грошев и положил трубку. — Вы поняли, Николай Маркович, — обратил он взгляд на Тамбиева. — В четверг в шесть. У вас есть три дня.

Грошев сказал, в четверг в шесть, и Тамбиев подумал не без тревоги: успеем ли? Опыт подсказывал ему, дело идет хорошо, если соответствующий темп ему сообщается тут же. Иначе говоря, многое можно и должно сделать сегодня. Благо, что корреспонденты тут же: «Метрополь» собрал нынче воедино и хозяев, и гостей. Но ведь у Тамбиева сегодня были свои планы на вечер. Невелико, казалось бы, время — два часа, а удастся ли выкроить? Поездка корреспондентов — дело достаточно сложное: уточнить программу с военными, а вместе с нею маршрут, а заодно и обеспечить безопасность, оповестить корреспондентов, условиться о машинах. Да мало ли дел, когда большой ковчег корреспондентского корпуса, своей разноплеменностью готовый соперничать с известным судном деда Ноя, отправляется в путь?

Поздно вечером, когда детали поездки были уточнены и состав корреспондентов определен, Тамбиев вышел из «Метрополя». Стыдно сказать, но со времени возвращения в Москву прошла почти неделя, а ему так и не удалось побывать на Кузнецком. Падал снег, в его неторопливом движении и блеске было что-то торжественное. Эта торжественность не очень сочеталась с сурово-печальным видом города, с черными провалами окон, в которых, казалось, навсегда погас свет,

с темными фигурами людей на белом снегу, с размеренным гудением зенитных орудий, похожим на звук жерновов, с блеском прожекторов, вдруг разрубающих небо надвое и неожиданно вырывающихся из мглы белые, странно удлинненные тела аэростатов.

Тамбиев поднялся по Лубянскому проезду, пересек площадь. Большой дом на Кузнецком сутулился вдали. Площадь перед домом была укрыта цельным пластом снега, цельным, непотревоженным, только как-то наискось, загибаясь в ворота, бежала несмелая дорожка. Тамбиев вошел во двор, остановился. Где-то высоко-высоко в нерасторжимом кольце ста наркоминдельских окон глядело небо. Тамбиев прошел в подъезд, достал зажигалку. Синее пламя отразилось в наледях, затвердевшей на стенах, стеклах нешироких окон, выходящих с площадки на лестницу, каменных ступенях, гнупом железе перил. Тамбиев стал взбираться по лестнице, дивясь, каким чудом сюда попали глыбы снега и обломки льда. Иногда он водил зажигалкой по стенам, приближал ее к дверям. Кое-где в снегу проступали следы беспорядочно-смятенные: кто-то приходил сюда, может быть, стучал и, не достучавшись, уходил обратно. Дом точно вымер, никаких признаков жизни.

Тамбиев добрался до своей площадки, тронул первую дверь, вторую, они открылись так легко, будто бы кто-то невидимый вышел Николаю Марковичу навстречу и распахнул двери. Он шагнул в комнату и затих, застигнутый картиной почти сказочной. Вместо окон три квадрата неба, ветер заносит снег в комнату, и он падает, как на Лубянском проезде, с торжественной медленностью. Снег укрыл пол, диван, стол, глобус на полу, да, школьный глобус, который достался Николаю Марковичу от прежних жильцов. Всюду по стенам многоцветные огоньки, в их мерцании есть что-то рождественское. Вот только большой шелковый абажур, что висел посреди комнаты, раздело — там, где он висел, покачивается один каркас. Видно, бомба упала под окнами на Варсонофьевском. Взрывной волной напроочь вышибло окна вместе со стеклами и маслянисто-черной бумагой, которой они были заклеены еще в июне, обсыпало стеклянной оспой обои — многоцветные огоньки на стенах от этой оспы.



Тамбиев стоял, не зная, что делать. Да что, собственно, можно сделать? Подошел к книжному шкафу и закрыл дверцу. Закрыл и пошел прочь. Уже на Кузнецком остановился, подумал: «Может, вернуться? Вернуться, и что?» Махнул рукой и пошел дальше, под гору.

Кожавин сказал Николаю, что хотел бы говорить с Грошевым и просит быть при этом разговоре. Напористость, с которой решил действовать Кожавин, как показалось Тамбиеву, была для него необычна.

Сколько помнит Кожавина Тамбиев, он всегда был спокойно-деликатен.

— Погодите, Игорь Владимирович, а стоит ли пороть горячку?

— Стоит, Николай Маркович.

— Ну, тогда объясните, как мне следует вести себя у Грошева, а кстати и скажите, зачем мы туда идем.

— А я вам разве еще не сказал? — улыбнулся Кожавин. Было в его улыбке что-то робко-стыдливое, Тамбиеву даже казалось подчас, девичье.

— Нет, Игорь Владимирович.

— Ну, тогда извольте. Мне стало известно, что корреспонденты просят в Ростов. Возможно, пока туда будет послан Гофман или Галуа. Я хочу быть с ними.

Тамбиев не думал, что его миссия к Грошеву будет столь деликатна. В самом деле, если Николай идет сейчас с Кожавиным к Грошеву, значит, он заранее говорит Игорю Владимировичу «да». Иначе говоря, подерживая Кожавина, он отказывается от поездки сам. Да надо ли это делать Тамбиеву? А может, вопрос решится так: Кожавин летит на Дон лишь в том случае, если Тамбиев летит на Неву?

— Согласен, Игорь Владимирович, но в Ленинград полечу я.

Кожавин изменился в лице.

— Николай Маркович, на вас креста нет, я же ленинградец.

— Но вы же не ростовчанин, Игорь Владимирович.

— Но ведь и вы к Ростову имеете косвенное отношение, Николай Маркович, так?

Тамбиев не ответил. Ему показалось, что разговор этот становился неуправляемым.

— Вы обиделись, Николай Маркович?

— Да есть ли тут основание для обиды?

Казалось, Кожавин оживился.

— Благодарю вас. Думаю, то доброе, что есть у нас, мы сбережем.

Они пробыли у Грошева час. Согласие его на поездку Кожавина в Ростов было получено, разумеется, если эта поездка состоится.

До поездки на фронт оставалось два дня. Вечером

Кожавин выманил Николая Марковича из «Метрополя» — следуя известному правилу о сочетании приятного с полезным, Игорь Владимирович, для которого часовой променад был ежевечерен, выводил на прогулку по очереди весь отдел. Они прошли Охотный, минули американское посольство и университет, свернули на улицу Герцена. Два часа назад позвонила Софа, накануне она прилетела в Москву. Тамбиев сказал, что хотел бы повидать ее, она не противилась. Но как быть с Кожавиным?

Они поднимались к Никитским. Если взглянуть на Кожавина глазами древнего афинянина, то древний грек нашел бы Игоря Владимировича некрасивым. Зыскательный афинянин не назвал бы его курносым, но обратил бы внимание на его задорно приподнятый нос и сказал бы, что это несовместимо с нормами классической красоты. И тем не менее Кожавин был красив: крепок, мужествен, ладен, по-своему хорош собой. Он был великолепно сложен и в сочетании с чистыми красками глаз, лица, волос, в сочетании с самой манерой говорить и держать себя производил впечатление патриция. Ему прочили большое дипломатическое будущее. Наверно, внешность Кожавина имела к этому известное отношение, но не больше. Он был умен, образован, с благородной свободой говорил по-английски, обладал той мерой хорошего тона и сдержанности, которая так необходима дипломату. Кажется, по образованию он был инженером-энергетиком, но круг его интересов был так широк, при этом в такой неожиданной сфере, как архитектура, например, живопись, музыка, что специальное образование как-то не обнаруживалось.

— Здесь был третьего дня посол Михайлов, — произнес Кожавин, когда слева обозначились консерваторские липы. — И, так сказать, сугубо лично, не оповещая Грошева, закинул удочку...

— Ну и как удочка вернулась к Михайлову? — засмеялся Тамбиев. — Был смысл тянуть ее?

Но вместо ответа Кожавин вдруг вытянул руку.

— На моих восемь. День убывает стремительно. А всего две недели назад я еще мог читать в это время. А по утрам иней в Александровском саду похож на

снег! Зима, вторая! Какой она будет? — Он взглянул на Тамбиева и, точно вспомнив прерванный разговор, спросил: — Итак, удочка... Был смысл тянуть ее Михайлову? — Он поднес согнутый палец к крылышку носа и точно спрятал улыбку. — Чего греха таить, предложение любопытное в высшей степени.

— Горчаков начинал в Лондоне, Игорь Владимирович, — бросил Тамбиев.

— Да, в Лондоне, но, по-моему, лондонские годы были у него не лучшими. Не так ли?

— Как сказать, — возразил Тамбиев. — Школа языка и школа дипломатической практики, лондонская школа была для него бесценной. Не на этом ли фундаменте строился большой дом горчаковского умения?

— И на этом, разумеется, — отозвался Кожавин и задумался, казалось, его сомнения ожили. — Одним словом, я сказал Михайлову «нет».

— Значит, удочку можно было и не тянуть! — обрадовался Тамбиев, ему нравилось, что Кожавин отказал Михайлову. — Оказывается, есть некая неотразимость и в отделе печати.

Кожавин взглянул на Николая Марковича, пытаюсь определить, какой долей иронии он отметил эту фразу и была ли тут ирония.

— Ну, вот хотя бы Горчаков — разрешите использовать это лестное для меня сравнение до конца — уехал бы в Лондон, если бы ему пришлось начать службу в иностранном ведомстве лет за пять до того, как он ее начал?

— В осьмьсот двенадцатом? — улыбнулся Тамбиев.

— Именно в осьмьсот двенадцатом, когда француз шел на Москву.

— Но ведь служба Горчакова в Лондоне была в такой же мере полезна России, как и служба на родине, — пытался возразить Тамбиев — он хотел понять Игоря Владимировича до конца.

— И была, и не была, — тут же парировал Кожавин. — Наверно, первый секретарь нашего лондонского посольства не увидит Ростова, а я увижу. И это, простите меня, такая привилегия, какой ни один наш дипломат не имеет. Прав я? Нет, скажите, Николай Маркович, прав?

— Да, пожалуй, — согласился Тамбиев, не мог не согласиться.

А между тем они дошли до Никитских, и Тамбиеву пришла в голову шальная мысль: что, если пожаловать к Глаголевым сейчас вместе с Кожавиным? Ну, разумеется, нарушение норм, но, быть может, деликатная Софа все поймет и не осудит? Николай Маркович сказал об этом Кожавину и поверг его в трепет — Игорь Владимирович знал семью Глаголевых по рассказам Грошева.

— А может быть, мой приход туда следует подготовить? — спросил Игорь Владимирович. По тому, как он это произнес, Тамбиев понял, что перспектива побывать у Глаголевых и настораживает его, и увлекает. — Как вы, Николай Маркович?

Тамбиев сказал, что он войдет к Глаголевым один и, сославшись на то, что его на улице ждет товарищ, откланяется. Если последует приглашение Кожавину, он даст Игорю Владимировичу знать. Если приглашения не последует, они продолжат прогулку. Кожавин нашел этот план простым и естественным. Через пятнадцать минут Тамбиев вышел из глаголевского дома вместе с Софой и ввел Игоря Владимировича в дом.

— Погодите, ведь я ее видел в Историческом музее, не так ли? — произнес Кожавин, когда Софа вышла в соседнюю комнату. — Нет, я не мог ее ни с кем спутать! — повторил Игорь Владимирович. — Ну, хотите меня проверить? Речь шла о конфликте между Барклаем и Багратионом под Смоленском. Она сказала, что бывает в музее и теперь.

Тамбиев почувствовал, что Кожавин произнес все это с несвойственным ему жаром, при этом, когда Софа появилась, как-то нарочито нахмурил брови и стал серьезнее, тоже чуть-чуть нарочито, а когда она сказала, что решила сегодня подклеить обои и вместо клея развела побелку, и показала при этом на белое пятно на обоях, Игорь Владимирович улыбнулся и взглянул на Софу с открытой приязнью, с нескрываемым желанием показать, как все это было с ее стороны мило и симпатично. Одним словом, Тамбиеву стало не по себе. Его настроение не поправилось, когда Софа вызвала Кожавина в комнату рядом и попросила испра-

вить примус, который чадил, и показала компас, судя по всему, трофейный. А потом они пили чай и вишневую наливку, которую Софа налила из четверти, повязанной марлей. И Николай Маркович вновь отметил для себя, что Кожавин, желая сделать Софе приятное, хвалил наливку сверх всякой меры. Если бы он знал, что наливку приготовила не Софа, а Анна Карповна, наверняка умерил бы похвалы. Но вот что любопытно: Софа-то знала, что наливку приготовила не она, а Анна Карповна, но принимала кожавинские похвалы как должное. Одним словом, Тамбиеву было плохо. Нельзя сказать, что Кожавин ему существенно ухудшил настроение, когда сказал на обратном пути в Наркоминдел, что у Софы лицо отдает голубизной. Истинно дальтонизм — болезнь влюбленных. Первой у влюбленного выходит из повиновения способность различать цвета, иначе ведь голубой кожи не увидишь.

Только утром, вернувшись в своих мыслях ко вчерашнему вечеру, Тамбиев вдруг вспомнил про компас, что показывала ему Софа, и спросил себя: а зачем ей компас? В самом деле, зачем? Тамбиев почувствовал недоброе и, улучив минуту, сбежал в Исторический музей, благо что музей в двух шагах от «Метрополя». Но, добежав до Исторического музея и единым духом взлетев на второй этаж, он вдруг увидел в пролете открытых дверей Кожавина. У Тамбиева оборвалось сердце. Как ни велик был этот дом, в нем, на взгляд Тамбиева, существовала одна тропа, и разминуться на ней было почти невозможно. Тамбиев повернул обратно.

Двумя днями позже Софа позвонила и сказала, что через полчаса улетает на Волховский фронт и вернется не скоро.

— Не забывайте Глаголева, — сказала она, дав понять, что заканчивает разговор.

Тамбиев положил трубку и долго думал над прошедшим. Он припомнил тот ее обморок, а потом разговор о компасе, однако так и не решил, имело ли все это отношение к ее нынешнему отъезду.

На другой день часу в десятом вечера Тамбиев пришел к особняку у Никитских и был удивлен немало,

увидев свет. Была пурга, сухая, круто замешенная на жесткой крупе, какая бывает в Москве только в декабре. Может, поэтому свет в окне показался уютно-домовитым. Тамбиеву почудилось, что в доме Софа. Он постучал. Ему открыл Глаголев. Он стоял в дверях, накинув на плечи шинель, и ему требовалось усилие, чтобы узнать Тамбиева.

— Заходите, пожалуйста,— будто спохватился он.— Не скумекал в одночасье. Вот они лета мои! Простите великодушно.

Тамбиев пошел вслед за Глаголевым. Горела электроплитка (Глаголев назвал ее электромангалом), котлал, точно взрываясь, чайник. На столе, придвинутом к печке, были расположены странички рукописи. Видно, в холодном доме бумага напиталась влагой и сейчас, просохнув, приятно попахивала.

— Да, улетела. Сказала, что на Волховский, а там бог знает. Понять? Напрасное занятие! Я уже приучил себя к тому, что все, что она делает, не очень понятно. — Он помолчал. — Вот сижу сейчас, кропаю, и такой смех взял: истинно, Пимен века двадцатого! — произнес он улыбаясь и, застеснявшись темных зубов, сомкнул губы. Губы у него не по-стариковски полные и свежие, а зубы коричневые. — Рукопись требует тишины, даже вот такая рукопись, как эта, — указал он на стол, устлавный исписанными листами. — Сбежал сюда, а как-то неприятно — один! Нет, не то, что трушу, а так, тревожусь маленько. Из головы не идет этот случай с танковым обозревателем из «Вестника». Уединился писать статью, нет, не дома, а здесь же, в журнале, а когда хватились, он уже десять дней как кончился. А тут, простите меня, не дом, а склеп фамильный. Стены аршинные! Да был бы и звукопроницаемый, какой толк? Когда дух испускают, «караул» не кричат...

Он теперь говорил обо всем, но только не об Александре Романовиче и Софе, отметил Тамбиев. «Вот возьму сейчас и спрошу, в лоб спрошу».

Но Тамбиеву было нелегко осуществить свою угрозу.

— Хотел свить себе гнездо в кабинете, да в окно задувает, — скосил Глаголев глаза на комнату рядом.—

Вот и бегаю туда за картами и книгами. Сейчас опять побегу и вас потащу. Вы готовы?

Тамбиев не очень понял его.

— Да, пожалуйста.

Глаголев взял фонарь, и они пошли. Рука его дрожала, и фонарь дрожал, а по стенам бежали тени, казалось, тени людей, которых не было в комнате. Тень Тамбиева была длинной и неожиданно большеголовой, тень Глаголева — долгорукой и узкогрудой. Когда Глаголев приподнимал фонарь, его дрожащая рука начинала так ходить из стороны в сторону, что тени принимались препираться и, того гляди, готовы были кинуться врукопашную.

Они шли из комнаты в комнату, шли быстро, и руки Тамбиева наполнялись вещами весьма своеобразными, и двух рук уже не доставало: глобус на деревянной подставке, готовальня, свиток ватмана, кожаный очечник, керосиновая лампа с цветным стеклом, книги... За книгами Глаголев взгромоздился на лестницу, из которой выростала деревянная рука, непропорционально длинная и прямая. Когда лестница начинала угрожающе раскачиваться, Глаголев хватался за эту руку и останавливал лестницу.

— Вы думали над такой проблемой: куда немцы нацелят свой главный удар? — вдруг произнес Глаголев, забравшись под самый потолок. — На Москву? — Его тело сейчас дрожало больше обычного, и рывки эти сообщались лестнице, и она шла ходуном. — Нет, я хотел бы знать, что думаете вы. На Москву?

— А вы полагаете, Маркел Романович?..

Он спустился с лестницы и, взяв из рук Тамбиева глобус и готовальню, пошел из кабинета.

— Я полагаю, что стратегия — это не только карта противника, но и его психология. Наполеон говорил, что рассуждать о том, что не проверено опытом, есть удел невежества. Что есть опыт, скажем точнее, русский опыт, для Гитлера, а кстати, и психология опыта? Ответ в двух словах: московский неуспех. Гитлер сменил Браухича и встал во главе армии сам. Казалось бы, новый удар на Москву сулит немцам двойную реабилитацию, армии и Гитлеру. Пусть поможет нам в ответе на этот вопрос психология. Под Москвой может быть не только выигрыш, но и проигрыш. Но что зна-

чит проиграть под Москвой? Значит, все потерять: и войска, и престиж, в том числе потерять престиж Гитлеру... Проиграть в ином месте — значит, рискнуть всего лишь войском. Если говорить о психологии, удар должен быть смещен прочь от Москвы. А если говорить о стратегии? Немцам нужен простор для маневра, а следовательно, степь и дороги. На русском севере нет ни первого, ни второго. Оказывается, вывод, который подсказывает собственно стратегия, в сущности, тот же, что подсказала психология: юг, только юг! И еще, о том, куда придется главный удар, думаем не только мы, но и немцы. Южная группа немцев, в сущности, является флангом, если зрительно представить себе всю их армию, нацеленную на Москву. А уж так повелось испокон веков — все неприятности от уязвимого фланга. Нет, помяните меня, все совершится на юге.

Тамбиев заметил, для Глаголева работа над статьей — это не столько работа за письменным столом, сколько спор с упрямым и неуступчивым оппонентом. Вовлечь собеседника в спор, распалить его, поставить в положение жестоко обороняющегося, а может, и наступающего, скрестить оружие и заставить его, а заодно и себя добывать доводы — вот задача, которую Маркел Глаголев решает постоянно. Чем неожиданнее и изощреннее доводы, к которым обратились оппоненты, тем больше возможностей у Глаголева высветлить ведущую мысль. Но вот что занятно: сегодня, взобравшись под потолок и наклонив лестницу так, что она, того гляди, грохнется оземь, Глаголев меньше всего хотел спора. То, что он произнес сегодня, больше было похоже не на вопрос к задаче, а на ответ.

— Помните наш разговор о кризисе сражения? — спросил Глаголев, когда они вернулись. — Главное свершится в сорок втором! В длительной войне, а сейчас мы видим, что война длительная, соотношения сил — это соотношение резервов, нет, не только наших, но и всех тех, кто составляет силу коалиции. Сорок второй — это год, когда резервы обретут мощь огня. Не только наши, но и Америки, и война перевалит через хребет. Немцы не могут не понимать этого. Ждать они не имеют права. В их положении тактика выжидания смерти подобна. Поэтому решительная битва им нуж-

на, как только они будут в состоянии ее дать. Вот он, кризис сражения...

Тамбиев не мог не обратить внимания на то, что Глаголев произнес все это, не задав Николаю Марковичу ни единого вопроса. Видно, он уже минул процесс спора и теперь проверял на собеседнике его итог. Но то, что произнес Глаголев, меньше всего было похоже на статью (не выносить же на страницы газеты вопрос о том, где немцы осуществят свой главный удар предстоящим летом!). А если это не статья, то что это?

— Но начинать, имея такие острова и полуострова в тылу, как Демянск, Изюм и Севастополь с Керчью, сподручно ли, а? — спросил неожиданно Глаголев, и Тамбиев отметил вновь: да, его мысли свойственна стройность, какую обретает она после того, как легла на бумагу. Все, что он только что высказал Тамбиеву, наверняка тщательно продумано и письменно изложено. И Тамбиев вновь спросил себя: если это не статья, то что это?

— Мой мангал пора на свалку, не дает тепла. — Его руки с широко раздвинутыми, по-стариковски узловатыми пальцами точно повисли над плиткой. — Вам не холодно, Николай Маркович?

— Немножко, Маркел Романович, — ответил Тамбиев и вдруг решился: Софа — сейчас спрошу. — А почему бы не перенести сюда чугунную печку? — как бы невзначай спросил Тамбиев.

Глаголев продолжал держать руки над плиткой, сжимая и разжимая их, будто она действительно перестала давать тепло.

— О какой печке вы изволите говорить?

Он стоял сейчас над Тамбиевым, скрестив на груди руки так, что пальцы оказались под мышками. «О какой печке, о какой печке?» — говорил весь его вид, как показалось Тамбиеву, возмущенный.

— Я видел печку на кухне первого этажа, — выговорил Тамбиев, приподнимаясь. Он не мог дальше терпеть стоящего над собой Глаголева.

— Простите, но это не мое.

Тамбиеву показалось, что Глаголев остановился на полуфразе и достаточно толчка легкого, чтобы он сказал наконец то, чего не хотел говорить.

— Но ведь это Александр Романович... — начал бы-

ло Тамбиев, но Глаголев вдруг оперся о спинку кресла и стал медленно отодвигать его от письменного стола, будто намеревался сесть.

— Да, Демянск и Изюм, а потом Севастополь с Керчью... — неожиданно произнес Глаголев, глядя на испи-санную страницу и точно приглашая Тамбиева взглянуть на нее — он писал об этом.

Всю обратную дорогу от Никитских до «Метрополя» Тамбиев возвращался в своих мыслях к этой встрече и находил, что она поставила перед ним дюжину во-просов, один другого неодолимее. «А если не статья, то что это было такое?» — спрашивал Тамбиев себя с той осторожной последовательностью, которая вдруг воз-никает в человеке, когда его мысль не дробится, когда у нее определенная цель. Тамбиев принимал один до-вод и отвергал другой, чтобы тотчас отвести и этот новый. А может, где-то наверху, вдруг осенило Там-биева, захотели знать, что думает старик Глаголев о войне и ее ближайших перспективах? В конце концов, то, что может сказать Глаголев, скажут немногие. Но почему Тамбиев так уверовал в Глаголева? Это вера в знания? Да, пожалуй, в знания и немного в силу его характера. В том, как Глаголев сегодня напрочь отсек все разговоры о младшем брате и Софе, хотя для него не было больнее раны, чем эта, была тоже сила харак-тера, по крайней мере для Тамбиева.

Наутро корреспондентский «конвой» — восемь ма-шин с корреспондентами и три с офицерами сопровож-дения и охраны — покинул Москву, направляясь в Клин. Грошев ехал с офицерами Генштаба в первой машине, Тамбиев и Кожавин — во второй.

— Хотите чаю, Николай Маркович? — спохватился Кожавин, когда они выехали из Москвы, и полез за термосом. Он был большим любителем чая и обычно брал с собой в дорогу термос. — У меня даже сахар сегодня есть!

— А не бабушкин ли это сахар, Игорь Владимиро-вич? — произнес Тамбиев — он знал, что весь свой паек, достаточно скудный, Кожавин отсылал бабушке с сест-



рой за Урал, куда семья Кожавина эвакуировалась из Ленинграда.

— Нет, бабушке на этот месяц, пожалуй, сахара хватит. Я отослал бабушке и банку тушенки. Вы представляете, Николай Маркович, тушенки!.. Как раз к Новому году получит.

Для нещедрого пайка, который получали наркоминдельцы, тушенка была дивом немалым и выдавалась лишь в дни, когда дипломаты отряжались в поездку с корреспондентами.

— Видел перед отъездом Бардина, — произнес Кожавин, наливая в пластмассовый стаканчик чай. — Не



Бардин, а половина Бардина! В довершение ко всем бедам, говорят, еще сын под бризантный снаряд попал. Слышали?

Да, разумеется, Тамбиев слышал. И не только слышал, но и получил от Сережки письмо: «Представляешь, диферблат ручных часов расколотило, а меня убергло, так, в трех местах занозило малость!» Дальше следовал адрес: деревня в еловом бору где-то между Клином и Дмитриевом.

— Так вы слышали про сына Бардина, Николай Маркович? — спросил Кожавин.

— Слышал,— сказал Тамбиев и тут же подумал: вот бы упросить Грошева рвануть в этот еловый бор, не было бы дела добрее и для Егора Ивановича, от которого и в самом деле половинка осталась, и для Сереги. Ну, если нельзя днем, можно ночью, пока спят корреспонденты. На каком только коне к Грошеву подъехать?

— Мне бы хотелось прорваться в госпиталь к Бардину-младшему.

— У меня осталось что-то от пайка: галеты и кусок шоколада. Возьмите, Николай Маркович.

— А я для него кое-что приберег. Только вот Грошев...

— А что Грошев? Обязан понять.

Но не все зависело от Грошева. Встреча с командующим армией, на которую так рассчитывали корреспонденты, непредвиденно отдалялась — армия была в движении. В Клину командующего не оказалось — армия пошла дальше. Не было его и в деревне, лежащей на большой Тверской дороге. Был утром, а сейчас... Ищи ветра в поле! «Конвой» последовал еще дальше — не ровен час, угодишь в расположение немцев! Командующего можно было догнать, совершив три, а может быть, и четыре перехода. Он продвигался вперед и менял свои КП раньше, чем об этом удавалось сообщить в Клин. Этим и воспользовался Тамбиев.

Госпиталь находился в десяти километрах от Клина. Ночь опустилась на землю, и вид сожженных деревьев стал еще печальнее. И черные трубы на белом поле снега, и обугленные стрехи сараев, и просто черные пятна угля на снегу стали ярче. Так же, как днем, шли нескончаемой вереницей по дорогам и вдоль дорог погорельцы. Шли из сожженных деревень в недалекий тыл, чтобы уберечься от лютого ненастья. Иногда у обочин дороги возникал костер, и тогда Тамбиев мог рассмотреть стоящих над костром людей с вытянутыми к огню руками. В свете огня хорошо видны руки в печной саже, в угле. А потом Тамбиев въехал в лес и подивился его необычному виду. Наверно, так выглядел лес на далекой Тунгуске, побитый знаменитым метеоритом. Стояли стволы, голые, со срезанными маковками, расщепленные, диковинно изуродованные — ветви

и хвою спалил огонь. Непонятно было, как в таком лесу мог расположиться госпиталь — лес просвечивал, точно марля.

— Вы кто будете больному? Друг или, может быть, брат?— спросила Тамбиева женщина в белом халате с крупным, на старый манер, красным крестом на козынке (если и была когда-то сестрой милосердия, может, и не носила этот крест, а сейчас вот нашла, ей лестно быть сестрой милосердия, подумал Тамбиев). Она была маленькой, заметно сторбленной, от старости сторбленной, и пребывание ее здесь можно было объяснить только войной.

— И друг и брат одновременно,— сказал Тамбиев.

— Это как же?— спросила она. Видно, в этой глухой ночи и ее одолело одиночество.

— Вот так, друг и брат.

— Ну что ж, это хорошо,— произнесла она понимающе.— Он сегодня все кислого молока у меня просил. «Так хочется кислого молока, все бы отдал за глоток!» Ну, знаете, как у детей бывает. Проснется в полночь: «Хочу кислого молока!» — и все. Хоть беги через дорогу к соседке. А он и есть ребенок. В одной палате с ним солдат лежит, тверской, так он с ним все порывается играть в города: «Ростов, Винница, Амстердам, Можайск, Киев...» — Она помогла Тамбиеву надеть халат, хотя это ей было и нелегко — маленькая, она держала халат на вытянутых руках.— Тут слух был, наши Калинин взяли, так? Видно, не все сразу. О господи!

Она шла сейчас по длинному коридору с неожиданной для ее возраста энергией, потом остановилась.

— Как-то заглянула к нему, а у него глаза красные,— зашептала она, украдкой поглядывая на дверь, что была рядом, по всему, это была Сережкина палата.— Нет, он не плакал, а глаза печальнее печального и все прятал что-то под подушку, может, письмо, а может, платочек какой. У него горе?

— Видно, горе,— сказал Тамбиев и, осторожно тронув дверь, вошел. Он стоял у двери и смотрел на койку справа. Вот этот большой, непонятно загорелый и сурово-печальный, наверно, и был Сережка. Он лежал, вытянувшись во всю свою бардинскую огромность, и руки его крепкие в запястьях и пальцах, тоже бардинские,

были широко разбросаны, будто охватывали что-то, что охватить могли только они. На тумбочке рядом с кроватью ночничок, прикрытый бумажным колпачком с подпалиной на боку, раскрытая книга, точно упавшая на спину, страницами вверх, краюшка черного хлеба с кусочком чеснока, истертым наполовину, — любил с детства краюшку, натертую чесноком.

Тамбиев шагнул к кровати, встал опершись о ее спинку.

— Ты, Николай? — Сережка ощутил это прикосновение к спинке кровати. — Ты это? — Он хотел встать, но нога не пустила. — Э-э-эх!

Он удержал вздох и обратил его в шутовское «эх!».

— Ну, рассказывай, Сережа. Как ты? — Тамбиев дотянулся до его руки, сел на край кровати.

— Как я? Вот смотри, весь на виду!

— Нет, ты мне все подробно... Это не только для меня, для отца тоже, он просил, ждет.

Сережка шевельнул бровью, как показалось Тамбиеву, недовольно.

— Ждет, говоришь? — Он молчал, только двигалась бровь, выдавая его тайную мысль. — Ну, коли ждет, скажи, что все обошлось. Ты небось с корреспондентами?

— Да, думали догнать штаб в Клину — ушел дальше, если удастся настичь, то где-то на полдороге к Калинин.

Сережка вновь сомкнул губы, не удержав лишь бровь, острую в изломе.

— Там старший Бардин дивизией командует. Если придется встретить, обо мне ни слова! Лады?

— Почему ни слова?

— Мне милостей не надо, в том числе и бардинских.

— Это что же значит, бардинских? Отца, дяди Якова с Мироном?

— Да и отца не надо. В июле стерпел, теперь как-нибудь выдюжу, один выдюжу! Так ведь, батя? — Он взглянул на соседа, который, проснувшись, с печальной укоризной внимал разговору. Тамбиев поклонился ему, тот ответил кивком, едва заметным. Был он острижен и выбрит, но крупные морщины, не морщины — трещины земные, раскроили лицо, загорелое до глубокой корич-

неватости.— Так говорю, Ювалыч? — повторил Сережка.

— Так-то оно так, да невелик верстак и на столе не просторно, — сказал сосед и улыбнулся, но от этого не сделался моложе.

— Это почему же... верстак невелик? — спросил Сережка соседа.

— Отец, он есть отец, от него, как от смертного часа, не улетишь, не ускачешь, — сказал сосед и быстро погасил улыбку, будто застыдился.

Сережка посмотрел на соседа грозно, вздул ноздри.

— Вот так пройдешь по войне... Думаешь, хватил водки цистерну да килограмм свинца в живот, вот и стал солдатом, а? Солдат — это другое, — он ударил себя ребрышком ладони поперек груди. — Оказывается, нет! Когда тоска по родной матери вот тут встала, это тебе посерьезнее свинца в животе. Как ты, батя?

— Не накормил живот свинцом, и слава богу, — сказал сосед.

— Слава богу, — согласился Сережка.

— А коли нет свинца в животе, показывай, Сережа, — сказал Тамбиев. — Мне перед отцом ответ держать.

— А чего показывать? Заживет, как на собаке, — сказал он тихо — боль отдалась в потревоженной ноге и отняла голос. — Вытащили железо, — сказал он, подумав. — Говорят, мотоцикл не противопоказан. Как ты, батя? — взглянул он на соседа.

— В этой твоей машине бога нет.

— Без бога оно быстрее, Ювалыч, — огрызнулся Сергей.

— Дальше смерти не уедешь, — сказал сосед.

Тамбиев взглянул на часы, встал.

— Ты меня прости, Сергей, надо ехать. — Он прошел к тумбочке, стоящей у входа, на которой оставил сверток с пайком. — Вот это для тебя.

— Не от отца ли? — вспыхнул он, вспыхнул жарко, так, что румянец поднялся к глазницам.

— От отца, — сказал Тамбиев.

Сергей рассмеялся.

— Я так и знал. А ты говоришь, батя... — взглянул он на соседа.

— А что я тебе сказал? Отец, он начало всех начал я есть! — сказал сосед.

Сережка рассмеялся вновь, с веселой хлопотливостью схватил планшет, стал рыться в нем, приговаривая:

— Нет конверта. Ты смотри, конверта не могу найти!

— Да ты пиши, я и так передам, — сказал Николай.

Сергей согнул в колене здоровую ногу, положил на нее планшет, принялся писать, искоса наблюдая, как сосед привстал, взял костыль и пошел из палаты.

— Знаешь, Николай, знаешь!.. — Он выронил планшет вместе с карандашом и, закрыв лицо руками, вдруг вздохнул, точно у него перехватило горло.

— Сережа, да что ты? — бросился к нему Тамбиев. — Сергей, не надо!

Но слова эти уже не в состоянии были ничего сделать, могучая и немая сила рвала его на куски, перехватывая дыхание, сотрясая его. Он точно единоборствовал с нею, пытаюсь остановить крик, который рос внутри.

— Гах!.. Га... га... — вздыхал он и, протягивая руку, пытался удержать больную ногу — ее, будто деревянную, подбрасывало на кровати. — Ты знаешь, Николай, когда я узнал про маму, я думал, что умру, — сказал он, пытаюсь совладать с дыханием, которое продолжало грохотать. — Я думал, что после Вереи мне ничего не страшно. Там тридцать наших мотоциклов протаранили немецкие порядки. Знаешь, прошибли так, как может только прошибить противотанковый снаряд! Прошибли и остались в кольце, немцы сомкнули позади нас брешь! Понимаешь, раз — и сомкнули! И вот нам надо было пробить ее изнутри. Ты знаешь, что это было? Таранили и огнем и железом, и скоростью. Скорость, она вроде металла, Николай. И пробили! Так я думал, что ничего страшнее я уже в жизни не увижу. Не увижу! Знаешь, ничто во мне слезу не может вышибить, а тут не могу... Тут вся моя храбрость разом кончилась. — Он умолк, принялся укладывать больную ногу. — Что я хотел сделать? Ах, да... письмо. — Он взял из рук Николая планшет с карандашом, задумался. Потом вдруг сложил бумагу, сунул в конверт. — Вот написал два слова, а остальное передай, как можешь, —

сказал он.— Был слух, что отец летал в Стокгольм. Верно?

— Верно.

— Ты скажи ему, что я живой. И еще скажи, что я не такой слабый, как он думает. Скажешь? Хорошо.

Они простились, и, выйдя в коридор, Тамбиев чуть не столкнулся с Сережкиным соседом. Похоже, что он поджидал Николая.

— Ты вот что, парень,— сказал Ювалов, глядя на костыль.— Скажи-ка отцу, пусть плюнет на свою дипломатию и приедет разок к сыну. Он, конечно, генерал от дипломатии, а я солдат, но он отец, и я отец, мы тут с ним равны. Так ты скажи ему, пусть плюнет и приедет. Если хочешь, можешь прибавить: Ювалов, мол, сказал.

Тамбиев пожал руку Ювалову и вышел. Уже садясь в машину, вспомнил про письмо Бардину и, почуввав неладное, поднес сложенный лист бумаги к подфарнику. Ну конечно же Сережка благодарил отца за посылку. Тамбиев порвал письмо и бросил, решив не тревожить Егора Ивановича и все необходимое передать на словах.

## 49

Командующий армией генерал Василий Кузнецов пригласил гостей в штабную избу и без проволочки приступил к делу. Сказать, что генерал был невелик ростом, сказать негочно — он был так мал, что для человека его положения это казалось почти неприличным. Но такое впечатление сохранялось лишь до тех пор, пока Кузнецов не начал рассказ. Он говорил с той простотой и независимостью суждений, какая характерна для человека, привыкшего разговаривать со всеми людьми, как с равными, не обедняя мысли и не упрощая картины событий в рассказе; это было особенно ценно, и генерал неуклонно, но верно завладевал вниманием корреспондентов, а заодно и их расположением.

— Война нас научила одной истине: чтобы обратить врага вспять, надо вымотать его, вымотать крепко и, когда он будет при последнем издыхании, подтянуть свежие силы и смять. Вот наша армия — ей дано имя

Первая ударная — и явилась этой свежей силой, призванной нанести победный удар. Все началось с операции у яхромского моста через канал. Враг захватил мост и оказался на восточном берегу канала. Задача заключалась в том, чтобы вернуть его на берег западный. (Тремя часами позже генерал сказал Грошеву: «Могу сообщить, разумеется, доверительно. Мне позвонил Сталин. Разговор короткий: «Отбросьте противника за канал. На вас возлагаю личное руководство контрударом»). Это было в ночь на двадцать восьмое ноября, а двадцать девятого к утру немцы уже были возвращены на западный берег. Но это явилось лишь вступлением к главному. Главное — Солнечногорск, Клин. Не хочу делать из этого секрета, брали не в лоб, а в обход. Армию мы одели по-зимнему: полушубки, шапки-ушанки, валенки. (В разговоре, который состоялся у генерала с Грошевым, было сказано: «Вы видели наш народ? Есть у нас и молодежь, есть и пожилые, а им тепла надо чуть побольше, чем молодым»). Были у нас морячки с Тихого океана, а моряк, да еще стоящий на лыжах, это что-то вроде ракеты. Одним словом, вот эти морские ракеты и отрезали немцам пути отступления. Солнечногорск взяли штыковой атакой. Клин осадили по всем правилам осады и послали парламентариев: «Сдавайтесь!» В Клину оставался немецкий комендант, он ультиматум отклонил. Тогда, так сказать, Клин вышибли клином...

Галуа рассмеялся, обратив на себя недоуменные взгляды остальных.

— У нас тут есть свой Клин, — сказал Галуа, все еще смеясь. — Его клином не выбьешь.

— Свой Клин? — спросил генерал озадаченно, но дальше расспрашивать не стал, тем более что Галуа принялся объяснять неожиданный каламбур генерала и свою реплику корреспондентам.

— Ну вас, басурманы, — махнул Галуа на своих коллег, убедившись, что объяснить все это им мудрено. — Ох и осточертели они мне... хуже горькой редьки! — закончил он, теперь уже обращаясь к русским.

— Ай, ай! Значит, осточертели хуже редьки горькой, да? — медленно, как бы разжевывая слова, проговорил американец Филд. Он был женат на девушке из

Замоскворечья и говорил по-русски. — Нехорошо, господин Галуа, так говорить о своих коллегах.

— Ты, Филд, вечно лезешь поперед батьки в пекло! — крикнул Галуа, смеясь. Он выскреб с самого доньшка своей памяти эту поговорку, чтобы сбить с толку бедного Филда.

— Нет, я не лезу... поперек! — воскликнул Филд возмущенно.

— Да не поперек, а поперед! — поймал его Галуа и захохотал пуще прежнего.

— Ты, Галуа, старый петербургский шулер! — бросил Филд и подмигнул Джерми, который оказался рядом. — Вот ты кто.

Корреспонденты хохотали, хохотали не столько потому, что проникли в суть перебранки между Галуа и Филдом, а просто так, в знак доброго настроения.

— Басурманы вы! — закричал Галуа и залился пуще прежнего. — Креста на вас нет! — добавил он и, взглянув на генерала, развел руками. — Простите, ради бога, это так, небольшая разрядка. Все, что вы нам рассказали, очень интересно, но вот вопрос: что говорят немцы о перспективах русской кампании?

Галуа точно подал знак, посыпались вопросы.

— Как вы полагаете, генерал, какова была цель немцев, стратегическая, разумеется, когда они начинали зимнюю кампанию? — просипел Баркер. Он был простужен и отправился в поездку, пренебрегая советами врачей.

— А как отразится все это на положении Ленинграда? — спросил Галуа. Многие из того, что происходило на фронте, он воспринимал применительно к Ленинграду.

— Как вы представляете себе, генерал, дальнейшее развитие событий на советско-германском фронте? — хотел знать старик Джерми.

— Что произошло в психологии немцев? — произнес генерал, как бы раздумывая. — По-моему, весьма знаменательно. До Москвы немцы не знали поражения, сейчас они его знают. Как это скажется на ходе войны? Прибавит нам силы? Очевидно, но, я так думаю, ожесточит врага. Борьба впереди, борьба тяжелая...

Тамбиев заметил: генерал старался так построить свой рассказ, чтобы не создалось впечатления, что мо-

сковская победа настолько подорвала силы немцев, что им уже не устоять. Наоборот, он говорил об этой победе осторожно, иногда даже с обидной осторожностью, как профессиональный военный, который слишком хорошо помнит первую заповедь военачальника: ничто так не опасно, как недооценка сил противника.

— Страдает ли русская армия от холодов? — спросил старик Джерми. Видно, этот вопрос был задан в пикку тем, кто полагал, что русские побеждают благодаря зиме.

— Разумеется, страдает, как все живое.

— Вы полагаете, генерал, что проблема второго фронта остается актуальной и после Московской битвы? — спросил Клин. В той концепции войны, которую он создал в своем сознании, этот вопрос занимал свое большое место.

— По-моему, даже более актуальной, чем вчера. Когда немцы терпят поражение, особенно остра необходимость в дополнительном ударе.

— Не думает ли генерал, что история повторяется и русские обрели Кутузова в лице маршала Жукова? — подал голос старик Джерми. Он любил исторические ассоциации.

Раздался смех, смех доброжелательный — корреспондентам было симпатично имя Жукова, и они добрым смехом как бы сами ответили американцу.

— Простите, а английское оружие участвовало в Московском сражении? — спросил Клин. Он знал, что в северные русские порты пришло семь конвоев, и был уверен, что какая-то часть оружия направлена на вооружение частей, действующих под Москвой. С некоторого времени Клин сменил хозяина. Он представлял теперь прессу доминионов и по мере сил пел хвалу метрополии.

— А вы ведь были на военных дорогах и все видели, — был ответ. Генерал хотел, чтобы корреспонденты ответили на этот вопрос сами. Доля этого оружия была так невелика, что обнаружить его, даже при очень большом желании, было мудрено.

— Как вы думаете, генерал, у немецкого командования была идея организованного отхода? — спросил Баркер.

— Это интересный вопрос, — ответил Кузнецов,

оживившись. Перспектива ответить на этот вопрос явно увлекла и его. — Пленные говорят, что такая возможность обсуждалась немцами, но этому будто воспротивился Гитлер, опасаясь, что отвод в условиях русской зимы мог превратиться в бегство, которое остановить уже было бы нельзя. Прими события такой оборот, это нанесло бы смертельный удар престижу Гитлера. Я не оговорился, смертельный. Ведь не ранее как девятого октября имперское управление информации — очевидно, с согласия Гитлера — сообщило, что исход войны предрешен и с Россией покончено. Впрочем, если бы немцы все-таки решились отвести войска, вряд ли они имели возможность это сделать — наш удар был нанесен сейчас же после того, как немецкое наступление остановилось. Немцы отдали приказ приостановить наступление шестого декабря, то есть в момент, когда наши армии уже атаквали немцев по всему фронту, и то, что зовется стратегической инициативой, было в наших руках...

Тамбиев сидел рядом с Кузнецовым и хорошо видел, как белели маленькие ладони генерала, когда он разжимал кулаки. Генерал виделся Тамбиеву натурой и деятельной, и самостоятельно мыслящей. Генерал, разумеется, понимал, что его рассказ произвел бы невыгодное впечатление, если бы был рассказом всего лишь о бригаде или даже об армии. Корреспонденты хотели видеть стратегию войны, и их можно было понять. Генерал говорил, учитывая масштабы фронта, больше того, вооруженных сил. Не потому, что имел на это полномочия, а в силу того, что был первым советским военачальником, с которым встретились корреспонденты в зимней битве под Москвой. Конечно, Кузнецов мог уйти от этого, ограничив рассказ масштабами армии, но этого как раз и не надо было делать. Корреспонденты хотели видеть войну во всей ее беспредельности, они хотели профессионального анализа того, что являла собой фронт, и генерал шел на это. Тамбиева интересовало в генерале и другое. А не боится ли он упрека: мол, превысил свои права и затронул вопросы, которые, строго говоря, лежат за пределами полномочий командарма? Наверно, были такие опасения у генерала. Тогда почему он пренебрег этим? Потому, что имел на это разрешение командования?

Возможно, поэтому, но не только. У генерала такого масштаба, как Кузнецов, сегодня была большая самостоятельность, чем вчера. Большая. То, что было невозможно вчера, сегодня определенно было возможно, и генерал уловил это. Точно уловил. Да, правда была здесь.

— Генерал, расскажите о себе, — попросил Галуа.

Кузнецову не очень хотелось говорить о себе, и он ушел от ответа. В штабе армии его ждет командир соединения, которого ему неудобно задерживать, — наступление продолжается...

## 50

Тамбиев взглянул в окно. Там, у осинки, обросшей ивеем, стоял штабной «газик», стоял «на парах», того гляди, снимется и помчится дальше. Командир соединения, о котором только что сказал генерал, видно, прибыл на этом «газике». В тех вопросах, которые задали инкоры командарму, наверно, есть своя ведущая мысль. Что это за мысль? Чем объяснить последние неудачи немцев? Русской стужей? Негибкой стратегией Гитлера, который полагает, что отступление, даже в тактических целях, невозможно? Или возросшей силой советских войск, а значит, их воинского умения?..

Инкоры уже покинули штабную избу, когда к Тамбиеву примчался Галуа и, размахивая длинными руками, произнес:

— Вы знаете, кто есть тот командир соединения, к которому спешил Кузнецов? Помните Вязьму и эту палатку в открытом поле?.. Комбриг Бардин! Я уже ему сказал о вас, и он просил не уезжать без того, чтобы... Он вот-вот выйдет. Это его машина, — указал он на «газик», что стоял «на парах».

— Вы полагаете, что он здесь ненадолго?

— Он сказал: «Четверть часа от силы — и айда!» Но, по-моему, минут пять уже утекло. Как вы думаете, могу я рассчитывать на разговор с ним? — бросил Галуа, останавливая Тамбиева. — Этот его рассказ о заячьей шапке и походе через белорусские леса имеет свое продолжение.. Дайте понять ему, в такой встрече есть толк.

Но Галуа не рассчитал времени — дверь штабной

избы распахнулась, и на пороге показался Яков Бардин. Была в его лице эта бардинская смолистость — в смуглости щек с румяной подпалинкой, в дремучести волос, некогда непотревоженно-черных, а сейчас в ярких искорках седин. Короткий разговор, который был у Якова Бардина с командующим, немало разогрел его — старший Бардин нелегко дышал, и клубы пара окутали его, точно он вышел из бани.

— Яков Иванович, да вы ли это? — крикнул ему Тамбиев и пошел навстречу.

— Я, Николай, так и есть, я, — произнес он с тем спокойствием, которое показало Тамбиеву, что Галуа действительно говорил о нем с Бардиным. — Как там Егор? Газеты, так думаю, врут о нем: встретил, проводил, встретил?..

— Врут, Яков Иванович.

— Вот и я думаю, голова-то у него дай бог каждому, а если верить газетам, то вся жизнь — «встретил, проводил»... Ты, может быть, веришь такому, а я нет.

— И я нет, Яков Иванович, — сказал Тамбиев, смеясь.

— И не верь, — произнес он и вытер мокрую шею платком. — А теперь шутки в сторону. Как он после... Ксении? Небось стал... серым? Знаешь, Николай, а Сережка тут, у Григорова. Я-то молчок, что знаю об этом, да и он голоса не подает, хотя, так мне кажется, не может не знать, где я и что я... Он сел на мотоцикл по глупости. Его конек — радио! Мне бы в бригаду такого, вот как нужен, позарез! Но как ему скажу? Откажется да еще обругает! Вот и смотрим друг на друга так, будто между нами речка, а на самом деле речки нет.

Тамбиев смолчал. Эта бардинская чересполосица нелегка, самим Бардиным не совладать, а посторонним тем более.

— Как немец, Яков Иванович? — спросил Тамбиев. Ему хотелось знать мнение Бардина. — Сколько ему надо, чтобы встать на ноги?

— Зиму, Николай.

— Только?

— Да, зиму, так думаю я, — сказал он и медленно пошел к машине. — Война впереди.

— Эх, хотелось поговорить об этом, как там, в па-

латке на вяземском поле, когда речь шла о заячьей шапке...

Яков Бардин вдруг остановился, печально посмотрел вокруг.

— О заячьей шапке?.. Ну что ж, до следующего раза, — он поднял руку, и шофер, заметив этот жест, уставился на Тамбиева, точно говоря: «Нам пора! Пора!» — Ну что ж, может случиться так, что облюбуюем палатку в Москве и зажжем фонарь на ночь.

— Может случиться, Яков Иванович?

— Я так думаю.

Машина взяла с места и скрылась в клубах снега.

Тамбиев возвращался в Москву в одной машине со стариком Джерми. Николаю Марковичу показалось, что старик озяб, и он предложил ему место рядом с шофером, но Джерми отказался.

— Я не спросил русский дженерал про Пирл-Харбор, — произнес он, кутаясь в старую меховую шубу, которая, видимо, грела все хуже. Он сказал на американский манер «Хорбр». — Америке надо знать Russian opinion...

— Да, конечно, господин Джерми, — произнес Тамбиев. — Америка должна знать, что думают об этом русские военные.

— О, да! Для Америка it is veri important, очень важно! — откликнулся Джерми и, выпростав руку из варежки, потер одно ухо, потом другое. Он совершил эту процедуру торопливо и, закончив, поспешно сунул руку в варежку.

Колонна ехала сейчас проселком, ведущим к Рогачевскому шоссе. Смеркалось, и снег был мягко-фиолетовым, медленно гаснущим. Где-то в открытом поле, снежно-сверкающем и пустынном, стояла походная кухня, и ее дым, вздуваемый ветром, стлался над снегом. Шофер включил печку — растекалось тепло, домовитое, припахивающее дымком, казалось, дым походной кухни проник и сюда.

— Veri important! — повторил Джерми, и Тамбиеву показалось, что он слышит легкий, с посвистом храп американца. Видно, он действительно озяб и стал отогреваться.

Джерми слыл у корреспондентов человеком не без причуд. Никто не знал, есть ли у него семья, но та

жизнь, которую он прожил на людях, была жизнью бо-быля. Нет, не только теперь, но и в те далекие годы первой войны, когда он впервые приехал в Россию. То, что он делал в те годы, в конечном счете было посвящено исследованию психологии солдата. Русского солдата Джерми изучал на фронте, немецкого — в лагерях для военнопленных где-то в Прикаспии. Когда грянула революция, Джерми был в Петрограде. Он не раз слушал Ленина. Он знал Горького и как-то, возвращаясь в Россию из Америки, был у него в Петрограде на Кронверкском и разговаривал о помощи голодающим Поволжья. Он сообщил Горькому, что американскими друзьями России была собрана значительная сумма в помощь голодающим Поволжья и он, Джерми, участвовал в сборе этих средств. Наверно, годы, проведенные в России, создали Джерми репутацию знатока России. Может, поэтому, когда Рузвельт решил признать СССР, среди тех американцев, с которыми беседовал президент, был и Джерми.

Тамбиев любил наблюдать Джерми. Это был высокий седой старик, плечистый и светлоглазый, который не очень-то долюбивал инкоровскую братию и держался особняком даже тогда, когда в силу необходимости должен был, как вот теперь, быть в одной группе с ними. Джерми говорил, что корреспондент ничего не может увидеть, если смотрит «в сто глаз», и по этой причине стремился уединиться. «Джерми пропал!» — произносил встревоженный Галуа под веселый хохот всех остальных, когда корреспонденты собирались к машинам и надо было продолжать путь. Однако, как ни тревожны были эти слова, тревоги они не вызывали — все знали, что Джерми найдется. И действительно, Джерми вскоре появлялся в сопровождении местного священника, которого он каким-то чудом встретил, или деревенского должителя, помнящего едва ли не битвы русских с турками.

Разумеется, Грошев тут же приглашал Джерми для разговора. Грошев хмурился, при этом его смуглое лицо становилось белым, он опускал глаза, опускал так, будто виноват был не Джерми, а он, Грошев. «Господин Джерми, как вы можете вести себя так? Ведь мы находимся в десяти километрах от линии фронта! Поймите, что вести себя так... опрометчиво!» На этом раз-

говор обычно и заканчивался, на более сильные слова деликатного Грошева не хватало.

Если рядом оказывался соотечественник Джерми Филд, он пытался вразумить старика. «Пойми, Джерми, ты не один,— говорил Филд, говорил громко, так, чтобы его возмущенный голос был слышен.— Можешь ты это понять?» А Галуа неизменно добавлял, подмигивая Грошеву: «Вот вы все такие, американцы, нет вам веры». В ответ Джерми кивал седой головой, будто хотел сказать: «Виноват, кругом виноват!» Казалось, внушение пошло Джерми на пользу и впредь он будет вести себя по-иному, но приходило время новой поездки, вереница машин направлялась к фронту, и вдруг, казалось бы, преданное забвению «Джерми пропал!» проносилось по машинам, и Галуа принимался искать Филда: «Эй ты, Филд, куда ты девал своего Джерми?» Поднимался шум, он продолжался до тех пор, пока на горизонте не возникала нелепо-долговязая фигура Джерми, сопровождаемая, как обычно, гривастым попом или героем Шипки. «Ну и хитрец этот твой Джерми! — говорил Галуа Филду. — Взглянешь на него — любитель знатной старины! Да что там старины! Схимник, пилигрим, пророк, «духовной жаждою томим!» А на самом деле? Как все вы, американцы, делец!.. Даже он... делец! Нет, ты мне скажи, кто он есть? Боишься? Тогда я скажу. Сказать? Личный представитель президента!» Филд разводил руками: «Ну при чем здесь президент?» Но Галуа уже вошел в роль, и остановить его было мудрено: «Все вы, американцы, хитрецы!»

Галуа шутил в своей обычной нарочито-грубоватой манере, однако в этой его шутке, как казалось Тамбиеву, было зерно истины: Джерми действительно был человеком, симпатизирующим президенту и иногда подававшим президенту советы, касающиеся русских дел. Из писем старого американца, если они направлялись президенту, Рузвельт мог узнать такое о России, чего не давали ему ни депешки посла, ни пресса, но у Джерми было свое представление о России, свое видение русского. Что это было за представление, что за видение? Джерми, как говорили Тамбиеву, пытался разыскать на русской земле... матушку Русь, да, кондовую Русь-матушку, которая, как ему казалось, была вечна и которую не могла переиначить даже столь могущест-

венная сила, как Октябрь. Тамбиев не допускал, чтобы в этих своих письмах на имя президента Джерми выражал неприязнь к новой России, но, сравнивая Россию старую и новую, он отдавал предпочтение той, исконно-патриархальной, которую создал в своем воображении и которую продолжал искать и, как полагал он, находил... Так или иначе, Джерми мог заблуждаться, но он не был чудачком, слава о чудачковатости Джерми была преувеличена.

— О да! — сказал Джерми и проснулся. — Я спал хорошо! — Он достал из жилетного кармана часы, тщетно пытаясь разглядеть их. — Рашен дженерал знает разницу между Теодор Рузвельт и Франклин Рузвельт?

— Простите, господин Джерми, а к чему вы это говорите?

— Я очень внимательно слушал рашен дженерал, русский генерал.

— Но ведь он же не говорил о Теодоре Рузвельте. Джерми рассмеялся. Смех был неживой: хо, хо, хо!

— Он говорил... секунд фронт, второй фронт. Говорил так, как будто в... Уайт хауз, Белый дом, Теодор Рузвельт, там Франклин Рузвельт!

— Я не понял так генерала, господин Джерми.

— Я так понял, — он подвигал плечами — мороз его стал беспокоить вновь. — Ваша дверь — Вашингтон! Вы стучите Лондон! Теперь, теперь — Вашингтон!

— Почему теперь, господин Джерми?

— Я так думаю, теперь! Что такое Пирл-Харбор? Это... американский июнь.

Так вот что хотел сказать пилигрим Джерми, вот что вынашивал он! Он полагает, что проблему второго фронта надо решать с американцами. Они нас лучше поймут. Наверно, лучше понимали и прежде, но сегодня больше, чем вчера. Джерми по-своему прав, теперь!.. Что-то есть в Пирл-Харборе, так думают американцы, от 22 июня: злая воля фашизма, вероломство.

— Господин Джерми, а вы знали Теодора Рузвельта?

Он точно насторожился: пытаясь понять, какое отношение этот вопрос имеет к существу разговора.

— Да, знал.

— Что он был за человек?

Джерми вынимает руку из варежки, трет лицо.  
— Американский Черчилль!..

Однако Джерми не растерялся: ему действительно удалось соотнести свой ответ с сутью разговора.

Где-то на перегоне от Рогачева к Дмитрову колонна остановилась, чтобы дать возможность корреспондентам поразмяться — мороз забирался в машины, отнимал дыхание. Тамбиев вышел из машины. Черное, перевитое морозными дымами небо и белое, даже иссиня-белое, будто подсиненная простыня, поле. Безветренно и тихо, так, что слышно, как скрежещет и гремит схваченный морозом лес да далеко-далеко воет то ли волчья, то ли псиная стая... Тамбиев смотрит, как, притоптывая, прихрамывая, приплясывая, корреспонденты сбиваются в кучу. Чем дольше длится стоянка, тем гуще, теснее, нерасторжимее — спасение в нерасторжимости. О чем думают сейчас эти люди? Вот он, свирепый лик русской зимы, свирепый не только для немцев. Когда последний раз была в России вот такая зима? Не в восемьсот ли двенадцатом? Она, русская зима, точно копила силы, точно собирала державную мощь, чтобы вот так грянуть первый раз по французам, потом по немцам.

Тамбиев смотрит на людей, сгрудившихся на зимней дороге. Они все притоптывают да пританцовывают, собираясь теснее. Казалось, задохнешься от этой тесноты, а им холодно...

— Russian winter — death, death... Русская зима — смерть, смерть, — говорит Джерми, возвращаясь в машину.

Да, очевидно, русская зима — смерть. Еще продолжалась московская баталия и советская армия теснила врага, отбивая города, лежащие на подступах к Москве: Волоколамск, Наро-Фоминск, Калуга, Малоярославец, Можайск... Зимний фронт медленно принимал свои очертания, близилась великая пауза, первая долгая пауза с начала войны, пауза жестокой мысли, трудного решения. Ценой великих усилий немцам удалось

стабилизировать фронт, но меч отмщения был все еще занесен над ними — вокруг лежала враждебная страна, будущее было смутным... Перед германской армией возникла психологическая задача, равной которой армия не знала. Молниеносной войны не получилось, армия застряла в русских снегах, уныние объяло некогда неколебимые ряды, всеильный червь разочарования поедал в сознании немецкого солдата одного кумира за другим, грозя сожрать и самого фюрера. Эта истина так обнажилась, что ее узрел и фюрер. Он сместил Браухича с поста главнокомандующего сухопутной армией и этим как бы отнес неудачи армии на его счет, сам возглавил войско. Это давало возможность фюреру овладеть ситуацией и сосредоточить усилия на подготовке армии и страны к летней кампании. Теперь армии внушалась мысль: будущее лето станет победным, гарантия тому безупречное имя фюрера. Правда, германская армия лишилась ореола непобедимой, но грядущая победа должна была вернуть ей и это. Хотя поражение было неслыханно жестоким, большая часть офицеров еще верила в победу. Они тогда не представляли, что в ходе московской баталии германская армия утратила нечто такое, что ей уже не удастся восполнить, и московская зима будет иметь для германской армии последствия губительные..

Перед советскими и немецкими стратегами лежала одна и та же военная карта. Линия фронта фиксировала итог зимней кампании. Она, эта линия, была достаточно извилистой. Эта извилистость таила немалые неожиданности для одной и другой стороны. Да, это была одна карта, но каждая сторона читала ее по-своему, как, впрочем, по-своему готовилась решить большие и малые задачи, которые на этой карте возникли.

Советская сторона формировала резервы, наращивала темпы выпуска нового оружия. Война заставила отодвинуть многие заводы за «уральский щит», и массовый выпуск этих образцов не мог быть осуществлен. Только теперь эти заводы обретали свои истинные мощности. По-новому, казалось, должна была быть прочитана и карта резервов. Как ни велик был приток этих резервов, самые оптимистические подсчеты свидетельствовали: вряд ли в эти зимние месяцы удастся превзойти врага в живой силе. Таким образом, зимняя

пауза не очень-то обнадеживала. По крайней мере, было маловероятно, чтобы в оставшиеся до лета месяцы было обретено преимущество, необходимое для победы. Впрочем, это превосходство в силах могло бы быть достигнуто в одном случае: надо было вынудить врага снять с восточного фронта сорок дивизий. Так с новой остротой встал вопрос о втором фронте. Назрела необходимость острого разговора. Быть может, старик Джерми был прав, когда говорил Тамбиеву: с американцами даже больше, чем с англичанами.

Где-то в апреле, когда поглубело небо над Москвой и на деревьях скверика перед Большим театром, что был виден из тамбиевского окна «Метрополя», захлопотали стрижи, Николай узнал, что нарком собирается за океан.

— Послушай, Николай, ты будешь в Москве в начале мая? — спросил Бардин, неожиданно явившись в тамбиевскую обитель.

— Да, очевидно. Если отлучусь, то ненадолго.

— Я решил вернуть своих в Ясенцы, — сказал Бардин. — Иришка одолела, да и отец ворчит. Ольга хранит молчание, но, как мне кажется, из деликатности. Хочу просить тебя: приедут, помоги им.

По тому беспроволочному телеграфу, который вопреки невгодам войны и ненастью зимних месяцев действовал исправно, Тамбиеву было известно: Бардину предстоит дорога.

— Ну что ж, я готов, — сказал Тамбиев. — Со встречей Ольги и Иришки я как-нибудь... сдюжу, но как быть, если приедет Сережка?

— Сережка?.. — Казалось, эта проблема возникла перед Егором Ивановичем только что. — Сережка — это серьезнее. — Он умолк, как-то очень кротко сложил руки на отощавшем животе. — Ничего не поделаешь, лететь-то надо. Значит, оставляю Ясенцы на тебя, — произнес Бардин с той категоричностью, к которой обращался, когда хотел, чтобы было по его.

— Ну что ж, коли так, пусть будет так, — произнес Тамбиев, но, обратив взгляд на Бардина, заметил: он, разумеется, ожидал согласия Тамбиева и сейчас думал уже о другом, быть может, более важном, об этом говорил весь его вид.

— Ты помнишь, Николай, мой разговор с Джерми? Ну, осенью сорокового на Спиридоньевке?

— Это когда Джерми рассказал вам о Хейвуде и «Ай Дабл Ю Дабл Ю»? — Тамбиеву был известен интерес Бардина к американской истории начала века, и в связи с этим, как помнит Николай Маркович, рассказ Джерми произвел на Егора Ивановича впечатление немалое.

— Именно о Хейвуде и «Ай Дабл Ю Дабл Ю».

— Вы хотели бы его видеть вновь?

— Да, но я, Николай, не хотел бы тебя просить об этом.

Многоопытный Бардин понимал: в данном случае Тамбиев представляет отдел, при котором корреспонденты аккредитованы, и посредничество здесь может быть и неуместно.

— Но интерес к Джерми и в этот раз равнозначен интересу к американской истории, Егор Иванович? — спросил Тамбиев.

— Это надо знать отделу печати? — спросил с лукавой ухмылкой Бардин.

— Надо, Егор Иванович.

— Ну, коли надо, отвечу: почти...

Очевидно, разговор на Спиридоньевке запомнил не только Бардин, но и Джерми. Запомнил настолько, чтобы заинтересоваться познаниями Бардина в американской истории начала века и послать ему том Гарее «Первая американская революция». Бардин, почувствовав расположение собеседника (как все старые люди, Джерми был чуть-чуть тщеславен, ему льстило внимание Бардина), искал повода встретиться с Джерми, но при занятости Егора Ивановича это было непросто. Сейчас имелось к этому и желание, и, главное, необходимость. День выдался солнечно-апрельский, характерный для московской весны — апрель много горячее мая. После зимней стужи, свирепой и нескончаемо долгой, дохнуло теплом. Это тепло проникло даже в апартаменты гостиницы, где этой зимой ртутный столбик иногда оказывался угрожающе невысоко. Бардин пригласил Джерми к себе. В угловой комнате, выходящей двумя окнами на Малый театр, а двумя на площадь, в этот весенний день было особенно солнечно.

Бардин, верный себе, достал кофеварку и принялся ее налаживать. В комнате запахло кофе, и это прибавило ей и тепла, и уюта. Джерми снял пиджак и, оставшись в шерстяном набрюшнике, принялся листать Сервантеса.

— Не скучаете по дому, господин Джерми? — спросил Бардин, покрывая большой салфеткой часть стола. Эта салфетка была у Егора Ивановича вроде скатерти-самобранки, она честно служила ему вот уже три недели.

— Я старый бродяга! — воскликнул Джерми почти ликующе. — Поэтому я не умею скучать! — Последняя фраза далась ему с трудом, но, соорудив ее, он рассмеялся — он был доволен собой. — Я заметил, после Пирл-Харбора Америка и Россия стали не так далеко!.. Вы не согласны? — спросил он неожиданно и внимательно посмотрел, с какой тщательностью и старанием Бардин накрывает свой небогатый стол. Ему был в диковинку этот добродушно толстый человек, ловко орудующий кухонной утварью.

— Еще недостаточно близко, должны быть ближе, как того хочет президент Рузвельт, не так ли?

Джерми перестал листать большую книгу.

— Рузвельт?

— Да, президент Рузвельт.

Джерми осторожно прикрыл книгу, задумался. Что-то похожее на догадку мелькнуло в мутно-серой мгле его глаз.

— Президент хочет понять Россию, — сказал Джерми раздельно. Видно, эту фразу он повторял в кругу своих русских друзей и прежде — он произнес ее с несвойственной ему уверенностью.

— Вы сказали, хочет? — спросил Бардин, спросил спокойно, едва заметно выделив «хочет».

Джерми отодвинул книгу. Нет, теперь не догадка, большее овладело его сознанием, он все определеннее понимал, что заставило этого толстого господина пригласить его, Джерми, обставив встречу с такой симпатичной непринужденностью и тщательностью.

— Вы хотите знать, что есть Франклин Делано Рузвельт? — спросил он с грубоватой прямоотой. — Так я вас понимаю?.. — Он приостановил руку Бардина, ко-

торый поднес к его чашке с кофе бутылку с коньяком, потом разрешил налить. — Это непростой вопрос, поэтому я буду говорить по-английски. Можно? — Он помолчал, ему нужно было какое-то мгновенье, чтобы переключиться с одного языка на другой, хотя этим новым языком и был английский.— Ничто не безусловно в этом мире, даже мнение людей о звездах. Одни говорят, что звезда светит потому, что она звезда. Другие, наоборот, полагают, что она светит потому, что кругом ночь. Вот вам и два мнения о Рузвельте. Скажу сразу, я держусь первого. Два мнения! Что же говорят они, и его доброжелатели, и его явные и тайные недруги, и что обычно отвечаю им я? Они: «Он не обладает даром мыслителя. Он не столько размышляет, сколько реагирует. Он не способен к отвлеченному мышлению». Я: «Ну что ж, это, наверно, плохо, но, я так думаю, это не самая большая беда!.. Он человек действия, а следовательно, и опыта». Они: «Да, но деятель его масштабов должен видеть будущее». Я: «Наверно, но он доверяет только тому, что прошло проверку временем». Они: «Но согласитесь, что он действительно не обладает даром мыслителя». Я: «Что касается ума, то я не знаю другого нашего деятеля, который бы обладал такой гибкостью ума. Вы бывали на его пресс-конференциях? Нет, нет, вы видели, как полк журналистов идет на него в атаку и с каким завидным умением он парирует град ударов, которые сыплются на него?» Они: «Но поймите, что этого недостаточно, когда речь идет о деятеле такого масштаба. Недостаточно по одному тому, что рядом с ним Черчилль. Нет, не только сподвижник, но и антагонист...» Я: «Ну что ж, Черчилль, так Черчилль! Значит, Рузвельт и Черчилль, так?»

Джерми смотрит на Бардина: «Интересно ему все это? Дело говорит Бардину Джерми? Судя по печально-внимательному взгляду бардинских глаз, дело».

— Итак, Рузвельт и Черчилль? До того, как приехать в Россию, я был в семье Рузвельта и разговаривал... Разве важно, с кем? Если это семья Рузвельта, то, очевидно, мой собеседник был президенту человеком достаточно близким. Настолько близким, что был где-то рядом с президентом на палубе знаменитой «Августы», когда подписывалась Атлантическая хар-

тия. Вы, наверно, знаете, что до этой встречи Рузвельт виделся с Черчиллем лишь однажды, если быть точным, то виделся Рузвельт — не Черчилль!.. Почему? Это я вам сейчас объясню. Как известно, во время первой войны Рузвельт был заместителем морского министра. Всего лишь заместителем, а Черчилль к тому времени уже успел проиграть Дарданеллы и стать фигурой заметной. В такой мере заметной, что, встретив на банкете в Лондоне американского вице-министра, он эту встречу даже не запомнил. Вот и получилось: Рузвельт с Черчиллем встречался, а Черчилль с Рузвельтом нет. Итак, с тех пор прошло двадцать два года, и они встретились вновь...

Бардин слушал Джерми и думал: такое впечатление, что его реплики о Рузвельте приготовлены заранее. Не исключено, эта тема занимает такое место в жизни Джерми, что он и прежде обращался к ней в своих беседах. Но возможно и другое. Ну, например, Джерми мог знать о поездке русских и по-своему хотел на нее влиять. В конце концов, обратиться к доброму слову о президенте во всех случаях полезно.

— Я сказал, что встреча была обставлена достаточно торжественно, — продолжал Джерми. — Были и вручение королевского послания, и передача английским морякам американских подарков (подарки были невесомы, на грани символа: вино, фрукты, сыр!), и богослужение на «Принце Уэльском» перед амвоном, обвитым американским и британским флагами, когда сотни людей вознесли к небу «Вперед, воинство Христово» и «Сильны во спасении». Но я хочу сказать не об этом, да и не это было главным. Главное началось, когда два человека сели за стол и в упор взглянули друг на друга. И несмотря на то, что вокруг стола разместился корпус советников, экспертов, их участие в разговоре, происходящем за столом, было не большим, чем участие массивных кресел, на которых они расположились. Это был не диалог — монолог; за столом главенствовал старый Уинни! Да, говорят, он был в ударе в тот день. По-бабьи пышноплечий и пышногрудый, он, казалось бы, должен был вызывать смех, но воспринимался серьезно вполне. Больше того, умел заставить забыть свою бабью внешность и, пожалуй, бабий голос. Он, говорят, так завладел вниманием, что

в течение тех двух часов, пока продолжался его монолог, единственно, что способны были произнести находящиеся в комнате люди, было: «Ради бога, тише!» Однако что было лейтмотивом его монолога? Речь шла о Британской империи.

— Как можно было понять Черчилля? Он полагал, что война не только не поколеблет устоев империи, она их упрочит. «Вот где-то по этой линии у нас с вами могут возникнуть некоторые разногласия», — подал голос Рузвельт, подал осторожно. Слова были сильными, интонация — очень терпимой. И еще сказал Рузвельт несколько слов. Смысл их, как я понял, сводился к следующему: не может быть и речи о надежном мире, если за ним не последует прогресс отсталых стран, если не будут созданы условия для этого прогресса. «Нельзя достигнуть этого методами восемнадцатого века!» — заключил Рузвельт, удержав голос в строгих пределах той интонации, в какой он произнес начало этой реплики. Но старого Уинни ничто не могло обмануть, в том числе и эта интонация. Те, кто с ним беседовал, рассказывают, что у него способность черепахи погружать голову в тело почти по надбровные дуги, на поверхности не остаются даже глаза. В тот раз он подобрал голову и не сразу ее показал собеседникам вновь. Инстинкт самосохранения? Может быть, но дело обстояло именно так. Одним словом, Рузвельт лишил Черчилля дара речи. Нет, разумеется, старый Уинни продолжал говорить о недопустимости вмешательства в имперские дела, но вряд ли это могло кого-либо обмануть. Наверно, это понял и Черчилль. «Господин президент, мне кажется, что вы пытаетесь покончить с Британской империей», — сказал старый тори. Представляю, что стоило ему сказать это. Но он сказал не все, пожалуй, он сказал даже не главное из того, что хотел сказать. Вот суть главного: да, он, Черчилль, понял Рузвельта именно так, но, несмотря на это, считает, что Америка — единственная надежда империи. Да, он, Черчилль, убежден, что без Америки империи не устоять. Уместно спросить: думая так, больше того, утверждая это, что защищал Черчилль? Что он защищал в это лето тысяча девятьсот сорок первого года, трагическое не только для русских, но и для англичан? Правда, на Британские острова уже

не падали бомбы, они падали только на Россию, но разве от этого положение этих островов не продолжало оставаться очень тяжелым? Что защищал? Вопреки всем превратностям судьбы он следовал логике своей жизни, железной логике, и не оставлял надежды столкнуть Америку с Россией. И это, наверно, было вторым туром разногласий. Собственно, разногласия, говорят, возникли еще при встрече советников, когда речь зашла о поставках по ленд-лизу. Доводы англичан: «Зачем давать всё это добро русским, когда в нем нуждаются англичане? Дать русским — это все равно, что дать немцам: русские отступают!» Можно было подумать, что так далеко могли пойти в своих выводах безответственные советники, если бы аргументы эти сейчас неожиданно не повторил Черчилль: «Русские! Конечно, они оказались гораздо сильнее, чем мы когда-либо смели надеяться, но кто знает, сколько еще они протянут...» Он даже мог говорить о падении Москвы, а вслед за этим о выходе немцев на русский юг, как о факте, если не совершившемся, то более чем вероятном. Так-то! Это и есть Черчилль!.. Я человек справедливый и должен сказать, не все англичане держали себя так по отношению к России. Кто держал себя иначе? Вот этот карлик, почти гном, крикун и задир, именуемый лордом Бивербруком, держал себя иначе. Он сказал: «Мы должны помогать России, без нее мы протянем ноги!» — Джерми допил кофе и, встав, снял со спинки стула пиджак. Судя по всему, он почти закончил свой рассказ. — Я знаю, что вы хотите мне возразить, — произнес он, и веселые блики заиграли в его глазах. — Как человек, немного знающий русских, я сейчас попытаюсь определить, каким будет ваше возражение. Вы хотите сказать, что я идеализирую Рузвельта, не так ли? Да, вы хотите сказать, что он не так добр, как может показаться из моего рассказа. Вы даже можете сказать, что его желание покончить с Британской империей небескорыстно. Ну что ж, пусть это будет вашим мнением. Я даже готов признать, что это мнение в какой-то мере правомерно, когда оно ваше мнение. Что же касается меня, то я смею называть себя если не другом президента, то его доброжелателем и готов стоять на своем.

В какой раз Бардин поймал себя на мысли: а ведь

рассказ Джерми достаточно откровенен. Разумеется, это впечатление чисто эмоциональное, но иногда такое впечатление бывает вернее всякого иного. Но почему Джерми рассказал Бардину все это? Видно, у американца были какие-то свои интересы. Можно допустить, что он действительно старый друг семьи президента, по-своему преданный этой семье, и перед самым фактом великого лицемерия (именно лицемерия!), которое сегодня явили союзники, хотел бы уточнить, где кончается Рузвельт и начинается Черчилль.

Старик Джерми был провидцем и в какой-то мере точно установил все то, что хотел бы ему сказать Бардин, но Егор Иванович полагал, что вступать с американцем в спор, да еще по столь деликатному вопросу, как этот, вряд ли был резон. К тому же в Рузвельте-человеке было такое, что импонировало и Бардину, а в остальном Егору Ивановичу еще предстояло разобраться.

В середине мая миссия Молотова собралась за океан, намереваясь сделать остановку на Британских островах.

Полет предполагалось осуществить в строжайшей тайне. Молотову было дано имя Бауэра, а самой миссии соответственно «миссия Бауэра».

В списке тех, кто сопровождал наркома, значилось и имя Бардина.

У летчиков была нелегкая задача — пересечь линию фронта на пути в Великобританию, а затем совершить не менее дерзкий рывок через Атлантический океан.

С той довоенной поры, когда быстрокрылый моноплан Коккинаки пересек Атлантику и приземлился где-то близ Нью-Фаундленда, советские летчики по этому маршруту не летали. Может, поэтому, когда возникла мысль о встрече, а она принадлежала Рузвельту, президент предложил советской миссии, направляющейся в США, американский самолет — у летчиков США был опыт трансатлантических перелетов. Но Сталин сказал «нет». Для России это был уже вопрос престижа, и она не могла позволить, чтобы столь ответственная миссия, какой была миссия Молотова, направлялась в США на американском самолете. Лет-

чиков, готовивших полет, эта задача увлекла. Они полагаали, и их можно было понять, что предстоящий перелет за океан, осложненный к тому же опасностями войны, был событием не только для дипломатии, но и для воздушных сил. Линию фронта предстояло пересечь в северных широтах, где в это время началась пора белых ночей, следовательно, ночная тьма уже не могла быть для самолета защитой. Единственное спасение — высота.

И тем не менее пересечь линию фронта решено было ночью с тем, чтобы за полночь обойти Данию и в предрассветный час быть над Британскими островами.

## 52

Когда до отъезда оставалась неделя, Егор Иванович получил задание выехать в Калинин. Группа англо-американских дипломатов, в том числе военные дипломаты, хотела бы побывать в районе боев. В поездке на юг (там именно и был сейчас район особенно активных боев) им отказали и предложили Калинин. Ведомства, обычно участвующие в подобных поездках, отрядили по генералу. Наркоминдел направил Бардина. Поняв, что в просьбе им, по существу, отказано, посольства направили в Калинин лиц, не столь ответственных, — хроника отношений между союзниками содержала и такие факты.

Бардин сделал в этой поездке все, что можно было сделать в его положении, и когда эскорт с иностранцами готовился покинуть Калинин, связался по ВЧ с Наркоминделом и испросил разрешения побывать у сына, который лежит в госпитале под Дмитровом.

Бардин получил разрешение на поездку к сыну, но, откровенно говоря, не был уверен, что застанет его в госпитале. Последнее Сережкино письмо, полученное Ириной на прошлой неделе, гласило, что дело стремительно пошло на поправку и не исключено, что после-госпитальные месяц-полтора он проведет «на воле». Поэтому, когда Егор Иванович разыскал в глубине лесочка, посеченного огнем, красное зданье госпиталя и, переступив порог, ощутил вместе с парной духотой характерный запах йода и карболки, ему потребовалась добрая минута, чтобы смирить разбушевавшееся

сердце и произнести раздельно (главное, чтобы произнести раздельно!):

— Бардин... Сергей Бардин — из одиннадцатой палаты?

Девушка, к которой обратился Егор Иванович, взглянула на Бардина не без сострадания.

— Последняя дверь по коридору.

Бардин хотел было добраться до этой последней двери мигом, но почувствовал, что это непросто — сердце не пускало. Да, вот так сдавило и не даетдохнуть.

— Я вам разведу капель... сердечных, — сказала девушка, сказала почти машинально.

— Нет, не надо, — ответил он и, подняв глаза, подивился длине коридора: вон та, последняя комната была едва ли не в конце земного бытия Бардина.

Он пошел, вернее, сдвинулся с места, и попытался идти, но сердце остановило его. Тревога объяла Бардина, такого еще не было. Вот он, пришел твой конец, раб божий Егор! Такого действительно еще не было. Да неужто это тебе за великий твой грех перед сыном? Отмщение? Да, отмщение! За то горькое июльское утро, когда Ксения молила тебя кинуться в ноги Воскобойникову? А может, за эти долгие месяцы разлуки с сыном, когда не нашел минуты свидеться? За Сережкин крик боли, а может, и испуга, когда осколок врезался в ногу и, так казалось Бардину, зашипел? За стон его сдавленный, что исторг он, когда, опрокинувшись, упал на отвердевший снег? За кровь, что прерывистой цепью легла по снегу, когда тащили ребята Сережку до санбата, уложив на двух шинелях? А может, не только за это, но и за то, что не дал всем срокам выйти.. Иди, иди тернистой стезей, взбирайся по острым камням!

— Сережка, отец приехал! Сережка!

Не крик, а вопль! Да не девчонка ли это, что сулила только что капли сердечные? Бардин оглянулся. Она. Эко голосина! На каланчу пожарную с такой силищей в голосе народ сзывать — петуха красного оципывать! Погоди, да, никак, это Зоенька, соседская дочка из Ясенец, которую Ксения выманила в тот вечер, а потом они проводили с Сережкой!

— Зоенька, ты?

Но в дальнем конце коридора за спиной Бардина приоткрылась дверь, приоткрылась едва слышно, но этот мышинный скрип уже никуда нельзя было деть, Егор Иванович услышал бы его за версту, если бы слуха не хватило, самим бы сердцем усек.

Бардин обернулся: Сережка! Золотая бородаща, если не патриаршая, то митрополитова наверняка — волосы уже затенили шею и распластались по груди, и вместо рук и ног четыре Кащеевы косточки. Только и есть во всем облике ребячьего, так это глаза, Ксенины глаза! Вот этот прищур их, эта мгла печальная, когда они распахнуты... Ксенины, Ксенины!.. Это она на меня глянула его глазами!

И откуда вдруг силы взялись у Бардина? Одоле л длинный коридорище с одного вздоха! А Сережка не очень-то силен — вон как пошагал нетвердо, держась за подоконник. Ну, здравствуй! О, щей нахлебался вдо- сталь — капустой кислой с ног до головы пропах!

— Ты небось из-за стола, Сережа?

— Да, ели только что с Ювалычем... Ты про моего Ювалова слышал?

Бардин против воли своей запнулся.

— Как же. Наслышан. Коля Тамбиев говорил.

— Ну, если наслышан... к столу, так сказать. Как мама говорила, чем бог послал...

— Мама?.. — Бардин не без труда перевел дух. — Меня там встретила девочка с косичками, — указал он на дверь. — Ну, с такой родинкой на кончике носа...

— Верочка Рымарь. Известно, Верочка.

— Ты сказал, Верочка? А я думал, Зоенька, ну, та... Зоенька из Ясенец.

Сережка помрачнел.

— Нет, папа, Зоеньки здесь нет. Она подалась к своим в Ленинград.

— А она разве оттуда?

— А ты не знал? Ее мама, Анастасия Георгиевна, из Гатчины. Ну, Зоенька и рванулась в Ленинград. Да вот жива ли? Ювалыч, где ты тут? Знакомься, батя мой.

Рука у Ювалова, как показалось Бардину, жесткая. Протянув руку Бардину, Ювалов не расслабил ее, не взрыхлил. Наоборот, удержал в ней силу, больше того, силу напруг — рука точно единоборствовала с рукой Бардина, обнаруживая норы.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Ювалов, и это «пожалуйста» в сравнении с твердой рукой прозвучало неким великодушием. — Мы сейчас составим тумбочки, и все будет хорошо. Вот теперь хорошо. Пододвигайтесь. Небогато, но от всего сердца.

Истинно, небогато: алюминиевая тарелка и на доннышке щец маленько, синих, может, от алюминиевой тарелки синих, а может, так.

— Ешь, батя. Это твоя доля. Не загадывали, а загадали. — Егор Иванович взглянул на Сережку. Припер его сын этими Ксениными глазами, точно вилами двурогими к стене, не отпрянешь, не увернешься. — Горячих щей с дороги — хорошо! Будто знали, что ты приедешь. Твоя доля. И хлеба, бери хлеба, — указал он на ржаные квадратики, каждый со спичечную коробку. — У нас пекарь мировой, хлеб выпекает, что надо. Ложку бери, и за дело!

Бардин взял ложку. Нелегка она, хотя и алюминиевая! Как же ты приехал к сыну с пустыми руками? Рванул на полных парах, и мысли вразброс? Вот завтра Сережку припечатает миной, тогда ты прозреешь, немудреная душа!.. Прозреешь и — один исход — руки на себя наложишь... Тяжела ложка, хотя и алюминиевая, ой как тяжела!

— Ты прости, батя, что у нас так... негусто!.. Тушенка-то, что ты прислал с Тамбиевым, вышла у нас. Мы бы тебя той тушенкой угостили. Хороша была тушенка! Как, Ювалыч, хороша была?

— Хороша была тушенка, — поддержал Ювалов, раскладывая на алюминиевые тарелки пшеничную кашу. — Да и в каше тоже сила есть, ежели маслицем еще ее сдобрить, а? Эх, маслица маловато!

Тушенка, тушенка-то тоже пришлась не в бровь... Хорошо они тебя вот этой тушенкой, что приволок сюда Тамбиев, судя по всему, от твоего имени... Да, смилостивился великодушно и приволок. Чтобы защитить тебя, нет, не перед сыном, а вот перед этим солдатом!.. Однако вон каким жаром обдало тебя... жаром и влагой горячей. Точно подняли тебя на третью полку парной и березовым веником протянули от загривка до пят... Вот так-то, раб божий Егор! Небось возомнил себя царем сущего, ан нет... Не дери носа и держи в узде себялюбие. Да есть ли оно у тебя? Видно, есть.

— Сережа писал, что у вас сын, — посмотрел Бардин на Ювалова.

— Да, под Волховом, в болотах сидит.

Бардин сдвинул брови. Ну, вот сын под Волховом, зарылся небось в гонь, и отец, судя по всему, не делает из этого трагедии. Не делает трагедии не потому, что ему не жаль сына своего так, как Бардину Сережку? Нет, конечно. Но он понимает, что година грозна, и со скромной суровостью принимает свою долю страданий. Со скромной суровостью и, пожалуй, достоинством. Нет, все не так просто. Но вот Сережке живую кожу пропороло осколком мины. Тот раз в Калининне Бардин держал в руках такой осколок. Рваный осколок, весь в острых углах. Он, этот осколок, и рассчитан на то, чтобы быть рваным. Такой пройдет по живому телу, нет, не просто распашет его, а разбрызгает... Наверно, вот этак пропороло не только Сережку, а тысячи и тысячи таких, как он. Да что пропороло? Уложило бездыханными. Но по этой причине не бежать Бардину от его любви и, пожалуй, жалости к сыну?

Сергей наклонился, заглянул отцу в глаза.

— Ты сыт, батя?

— Сыт, Сережа. Спасибо.

Ювалов сложил алюминиевые тарелки, подался к выходу.

— Я снесу и покурю зараз.

Он вышел.

Бардин кинулся к сыну, накрыл его большим телом.

— Батя, да, никак, ты.. ревешь? Да мужик ты или нет? Ну, кончай.

Но это было, наверно, уже не во власти Бардина. Точно взорвалось что-то внутри него, и сотрясло, и повело:

— Виноват я перед тобой.

— Да ты что, батя? В чем виноват-то?

А потом они сидели, разом лишившиеся сил, и Бардин говорил:

— Как нога, Сережа?

— Зажило, как на собаке...

— Тогда покажи.

— Да ты что, батя? Это близко к тому месту, что не показывают.

— Покажи, покажи, я отец.

— И не проси.

— Покажи, тебе говорят, а то сам взгляну!

— Ну, тогда запри дверь изнутри.

— Сейчас... Ну, а теперь показывай. Господи, истинно Кошечей бессмертный — кожа да кости.

Все виделось Бардину в Сережке угнетенно-ребячьим, вызывающим жалость: и ноги с острыми коленками и странно дряблыми икрами, и живот, показавшийся ввалившимся, и тазовые кости, неожиданно обнажившиеся, и это место, которое не показывают, и рубец, на котором отчетливо пропечатались недавно снятые швы, сейчас лилово-красный, перечеркнувший ногу от коленки до паха.

— Небось крови пролилось море? — спросил он сына и припал ладонью ко шву, точно удерживая кровь, которой пролилось море.

— Говорят.

— А ты?

— Не помню. Удар вроде пришелся по голове и заволокло, все заволокло.

— Сейчас не больно?

— Нет.

— Правду говоришь?

— Нет, нет, батя.

Бардин закрыл глаза. Этот рубец, перехваченный швами, заметно затягивало, но для Бардина он был живым, его твердую полоску, сейчас горящую, восприняла кожа Бардина...

— Ты прости меня, Сережа.

И часом позже, когда машина вынесла Бардина из леса, порубанного артиллерийским огнем, в котором укрылся Сережкин госпиталь, думалось об одном: вот он, Сережка, отрок твой! Раздвинул грудь и залег у самого сердца... Наверно, это хорошо, что он лежит у тебя под сердцем. А с ним и беспокойство жизни твоей, и укор... Да неужто ты нуждаешься в укор? Нужен он тебе, этот укор? Нужен, коли есть необходимость соскабливать с себя вот это себялюбие. Есть оно, есть.

Бардин вернулся из Дмитрова в первом часу ночи и, не заходя к себе и не раздеваясь, пошагал в полутемный коридор на первом этаже. Там была резиденция хранителя необильных продуктовых запасов наркомата. Судьба-насмешница одарила зава кладовой именем

символическим — Пшеницын, но люди, корректирующие судьбу, окрестили продуктового бога Беспшеницыным. Второе имя точнее определяло и прижимистую натуру каптенармуса, и скудные припасы его кладовой. Так или иначе, а Бардин поднял Беспшеницына с постели, когда тот видел самый сладкий сон, и, заклиная именем всего сущего, вымолил у него две банки сгущенного молока, килограмм соленых галет и (о, счастье!) брусок сала, дав согласие, что все это будет у него удержано из пайка. На рассвете Бардин разыскал гараж Санупра и вручил дары наркоминдельской кладовой седобровому сержанту, который вез в дмитровский госпиталь машину с марлей. Бардин еще искал слова, стараясь объяснить сержанту, как это для него, для Бардина, важно, но седобровый человек понял все с полуслова.

— У меня самого сын на фронте, — сказал сержант и дал Бардину понять, что просьба его будет выполнена точно. Егор Иванович испытал радость, но была она преходящей. «Если все это тебе доступно, почему же ты не сделал до сих пор?» — спросил себя Егор Иванович и должен был признаться, что на этот вопрос ему ответить трудно.

## 53

Итак, за океан. Бардин приехал на аэродром с первой машиной и остаток времени до отлета провел у коменданта аэродрома. Полковник Карпухин, занимающий этот пост, был старым воздушным волком, он летал еще на французских «этажерочках» — «вуазене» и «фармане», и нынешний свой пост воспринял как дань заслугам. Бардин был знаком с Карпухиным по своей первой командировке в Скандинавию и знал, как ни долг срок до отлета, полковник поможет его скоротать. Но в этот вечер сам Карпухин стал слушателем. У окна, обратившись лицом к взлетному полю, стоял человек в комбинезоне летчика и, внимательно следя за тем, что происходит на стартовой линии, курил. Он не заметил или не хотел замечать, как в комнату вошел Бардин, и, так и не обернувшись, заговорил. Он говорил в той же манере, в какой и курил, короткими и сильными «затяжками».

— Море кипит от горячего железа — бомбят день и ночь! — говорил он, не заботясь, как показалось Бардину, чтобы его поняли. — Стоя стоит, кажется, на высоте слышно. Одним словом, как в лучшие дни сорок первого. Убей меня господь, ничего не поняли и ничему не научились, какой была дырявой голова, такой и осталась! Будто бы не было зимы и московского наступления. Сердце горит, Карпухин! Когда же кончится этот бардак?

Внизу включили моторы. Человек обернулся, и Бардин увидел лицо говорящего. Его разлтые брови и его усы свисали, будто бы их обмакнули в масло. Человек взял планшет, лежащий на столе, и вышел из комнаты, забыв проститься.

— Это что, Севастополь? — спросил Бардин, указав взглядом на дверь, в которую вышел седой летчик.

— Нет, слава богу, пока Керчь, — сказал Карпухин и вздохнул. — Плохо там наше дело, Крым уходит.

Был бы Бардин суеверным, пожалуй бы, плюнул через левое плечо — недобрая примета узнать такое перед дорогой, да еще перед такой дорогой.

В начале шестого, когда солнце было еще высоко над кромкой леса, подкатила машина и, забрав Бардина, ушла к дальнему краю взлетного поля. Лес уже заволокла предвечерняя сумеречность, и он казался темнее обычного. Нужно было усилие, чтобы заметить самолет. Выдавали размеры — четыре мотора. Видно, самолет поступил на вооружение недавно, Бардин такого не помнил. Да не тот ли это четырехмоторный, цельнометаллический, пришедший на смену громоздким ТБ, на которых наши теперь ходили на Берлин и Кенигсберг?

У самолета стайка летчиков. Увидели Бардина, заулыбались — первый пассажир!

— Как погода?

— Грозовые фронты, целых три.

— Не считая линии фронта?

Смех щедрый, есть потребность в смехе.

— Вылетим к семи вечера?

— Да, в восемнадцать сорок.

Во взглядах, обращенных на Бардина, и радушие, и пристальное любопытство. Что они знают о предстоящем полете и знают ли? Маршрут знают, штурманские

расчеты делаются заранее. А что знают еще? Из того, что было произнесено, ничего не выдавало осведомленности.

Да и взгляд Бардина, устремленный на летчиков, наверно, испытующ? Хочется установить: да неужели никого не встречал из них прежде? Пожалуй, нет. Вот они, причуды человеческого бытия, — увидел впервые человека и вручил ему жизнь. Увидел впервые? Конечно же совсем не знаешь человека. Сейчас не знаешь, а где-то над морем будешь в не меньшей мере удивлен, что всего семь часов тому назад не знал. Твое желание узнать этого человека будет неутолимо, сколько бы ты ни знал, все мало.

Оказывается, случай не столь всевластен, как это тебе показалось сейчас, и все имеет свою историю, разумную и, пожалуй, надежную. Эта надежность — в самой жизни людей, которым ты доверился. Вот тот, кто назвал себя командиром корабля, обнаружив в говоре, как ты уловил безошибочно, нечто прибалтийское, был командиром корабля и за Полярным крутом, когда его самолет давал позывные судам, затертым во льдах. А вот тот, что назвал себя штурманом, явив в говоре украинскую певучесть, был штурманом и в Заполярье. Если нынешний их маршрут пройдет где-то над Северной Атлантикой, над Фарерскими островами, а заодно над исландскими и гренландскими скалами, наверно, их полярные рейсы будут им полезны. И то, как они ходили к дрейфующим судам в море Лаптевых. И то, как совершали двадцатипятичасовое воздушное плавание над Карским морем, плавание автономное, когда над морем было только незаходящее солнце. И то, как они ходили на Диксон, оставаясь в воздухе ровно столько, сколько требовалось, чтобы заделать пробоину в днище лодки, на которую предстояло сесть гидросамолету. Но в полярном ли опыте и гренландских скалах дело, когда где-то на полпути от Москвы к Балтийскому морю самолету надо пересечь линию фронта? Разумеется, не в полярном, а в боевом. Но на то четырехмоторный корабль и приписан к АДД (авиации дальнего действия), чтобы у его летчиков боевой опыт был. Приблизительно там, где предстоит пересечь линию фронта сегодня, они пересекали ее и прежде, направляясь с бомбовым грузом к столи-

де рейха. Кстати, при желании можно отыскать на самолете и доказательства того, что под огнем он был: немецкие зенитки пробили правое крыло. Как ни тщателен ремонт, он не устранил всех следов.

Приходит машина с Молотовым, и Бардин смотрит на летчиков. Для них это неожиданно? Кажется, да. По взглядам, обращенным на Молотова, который, устроившись на траве, сейчас натягивает унты, кажется: летчики уже все знают, но ищут новых доказательств, что это именно так. Значит, из того, что составляло тайну полета, им был известен только маршрут.

Еще минута, и пассажиры поднимутся в самолет. Где-то подле, сталкиваясь друг с другом и не умея разминуться, мечутся фотокорреспонденты. Они будто возникли из-под земли. Никому до них нет дела, и только полковнику Карпухину свело скулы. Ох, он и крестит их в эту минуту. Ну, конечно же он думает не о себе, а о тех, кто поведет самолет. Вся эта вакханалия проводов с взаимным лобызанием, охами и ахами, а заодно и щелканием фотоаппаратов будто специально возникла, чтобы дать понять летчикам, что, наверно, они и сами поняли: полет будет трудным, очень трудным...

На высоте было светлее, чем у земли, но холод принимал здесь ощутимо.

Нелегко было уснуть, и каждый был погружен в свои думы. В них было такое, что разрушало границы обычного. Нет, не только то, что утром предстояло увидеть Лондон, а тремя днями позже американскую землю. Не очень верилось, что не далее чем завтра пополудни вот тут, по правую руку от Егора Ивановича, будет идти Бекетов, здесь и прежде было его место. Бардин вспомнил разговор с Бекетовым в первый день войны на Варсонофьевском, нелегкий спор о путях России в войне и эти крики, что неслись по переулку из конца его в конец: «Зашторьте окна — свет!» И еще: «Свет!.. Свет!..»

Было в этих криках что-то панически-смятенное. Что греха таить, завтрашний день казался тогда черным даже людям, отнюдь не самым робким. А теперь? Как ни горьки утраты (их не перечесать, эти утраты), казалось бы, самое страшное осталось позади, хотя завтра будет не легче, чем было вчера. Этот нелегкий

завтрашний день уже родился на белой от морской соли приазовской земле. Не началось ли лето 1942 года с этой встречи с седоусым летчиком, прилетевшим из Керчи? «Какой была дырявой голова, такой и осталась!»— выкрикнул летчик, выкрикнул стгоряча, подумал бы малость, не сказал бы такого. А может быть, седоусый этот человек прав? Может, надо побывать в Керчи, чтобы понять седого? «Море кипит от горячего железа — бомбят!..» Да, большой котел 1942 года уже начал закипать, уже слышно его клокотанье, пока еще осторожно-дробное, но, того гляди, загудит котел! Через месяц пойдет второй год войны. Второй! Да в человеческих ли силах выдюжить такое и возможен ли год третий? Нет, третьего года не будет, не может быть. Взорвется котел, у железных стенок котла тоже есть свой предел прочности. Все должно решиться теперь. Не решится — треснет котел, обратится в прах!

А самолет продолжает уходить все дальше на северо-запад.

Грозовые фронты. Один, второй, третий... Потом прожектора, взрывающие облака. Потом ночная земля в пламени пожаров, белая полоса ракеты, вспышки артиллерийского огня.

Где-то на подходах к Британским островам самолет настигло солнце. Ему потребовалось десять часов, чтобы обогнуть землю и встретиться с самолетом вновь...

## 54

Специальный поезд, идущий из Шотландии в британскую столицу, сделал остановку в Чекерсе — загородной резиденции Черчилля, которая на время пребывания русских в стране становилась и их резиденцией.

В обход формальностям, обычно сложным, премьер захотел видеть русскую делегацию в первый же вечер и приехал для этого в Чекерс. В том, с какой прямоотой, быть может, грубоватой, премьер отказался от принятой в этом случае экспозиции, было очевидно: Черчилль жаждет разговора по существу.

Впрочем, не желая подчеркивать официальный характер встречи, а заодно и выказывать поспешность, с какой она была устроена, Черчилль пригласил гостей не в свой кабинет, а в комнату, которая могла одно-

временно быть и комнатой для игр и библиотекой. Статуя адмирала Нельсона в сочетании с глобусом и большой картой Великобритании, которая неярко отсвечивала на дальней стене, свидетельствовали, что эта комната была очевидицей событий значительных.

Итак, предстоял разговор по существу.

Молотов сказал, что он прибыл в Лондон, чтобы обсудить вопрос об открытии второго фронта. Сравнительно недавно президент Рузвельт в телеграмме Сталину своеобразно стимулировал рассмотрение этого вопроса (Молотов сказал: «Дал толчок!»), предложив Сталину, чтобы он, Молотов, направился с этой целью в Штаты. Советское правительство согласилось с предложением Рузвельта, но сочло необходимым направить миссию через Лондон. Оно это сделало, понимая, что именно на британского союзника должна выпасть первоначально главная задача по открытию второго фронта. Военные дела России складываются таким образом, что именно в предстоящие недели и месяцы она должна пройти через серьезные испытания. Советское правительство высоко ценит все виды помощи, которые оказывают союзники, но главное сейчас второй фронт. Судя по всему, немцы сохраняют численное преимущество на востоке. Поэтому проблема, как понимают ее русские, состоит в том, чтобы отвлечь с восточного фронта сорок дивизий. Это может сделать второй фронт.

Англичане слушали присмирив. Лицо Черчилля, только что такое одухотворенное, как бы погасло — губы запали, как при беззубом рте, глаза потухли. Но вот он заговорил, и, странное дело, лицо преобразилось. Оно выражало сейчас и уверенность, и силу. Наверно, это выражение сообщила лицу мысль Черчилля. Он ее уже ухватил и принялся развивать с тем воодушевлением, с каким это делал всегда.

А мысль его была вот какой. Издавна держава, владеющая флотом, обладала безмерным преимуществом перед державой, у которой этого флота не было. Сумей обнаружить незащищенный участок побережья и нацелить на него флот, разумеется, способный высадить десант, и победа обеспечена. Так было прежде. Сейчас иное дело. В распоряжении противника авиация, ее способность маневрировать. Поэтому достаточ-

но противнику иметь мощные воздушные силы, чтобы незащищенный участок был мгновенно защищен. Следовательно, многое зависит от того, сумеет ли Великобритания авиацию врага сковать своей авиацией. Враг введет в действие бомбардировщики, которым англичане должны противопоставить истребители. Но истребители как бы привязаны к своим базам, расположенным на островах, радиус их действия ограничен. Этим определяется и район высадки. На взгляд Черчилля, это Шербург, Шербургский выступ. Значит, англичанам необходимы истребительная авиация и флот десантных судов. Истребители у них есть, десантные суда еще надо построить. При тех потерях, которые несет их флот, большого количества десантных судов они не построят, вся надежда на американского союзника. К тому же, как полагает он, Черчилль, маловероятно, чтобы эта операция отвлекла с русского фронта значительные силы противника, по крайней мере, такие, какие назвал Молотов. Поэтому план операций должен быть здравым и разумным. Вряд ли делу русских, как, впрочем, и делу союзников, помогла бы операция, которая закончилась бы катастрофой и позволила противнику говорить о победе, а в стане союзников посеяла бы смятение.

Нет, Черчилль ни на дюйм не отступил от того, что сказал Иден в Москве. Больше того, он дал понять, что мнение министра иностранных дел является в своем роде «дед лайн» — «линией смерти», дальше которой англичане не намерены идти.

— Взвесьте такой факт,— произнес Черчилль и, в знак того, что он завладел вниманием слушателей и уверен, что это прочно, прервал рассказ и, пододвинув коробку с сигарами, извлек, как могло показаться, ту, что была поувесистее.—После поражения Франции в этой войне наша страна, казалось, была не защищена. Ну, нельзя же всерьез принимать во внимание несколько плохо вооруженных дивизий, менее сотни танков и двадцать полевых орудий... И вот что интересно, Гитлер не отважился вторгнуться на острова. Не отважился, как мне кажется, потому, что не верил в полной мере в успех. Такое же положение сегодня у нас...

Черчилль кончил и, наклонившись, чиркнул колесиком

ком зажигалки, но обратил глаза не столько на синеватый лепесток пламени, сколько на своего собеседника. Молотов пододвинул к себе папку, лежащую перед ним и в течение всей беседы остававшуюся закрытой, медленно поднялся. Поднялись и остальные русские, как, впрочем, не одновременно, но, заметно торопясь, сделали это и англичане. Сейчас стояли Черчилль и Молотов, при этом три шага, разделявшие их, были рекой, в которой не было брода.

— Конечно, может быть и иное мнение относительно того, почему Гитлер не решился на вторжение, — попробовал возобновить прерванный разговор Черчилль, но, заметив, с какой церемонностью и демонстративной поспешностью Молотов отвесил прощальный поклон, умолк. В этом поклоне Молотова было нечто такое, что гласило: «Правота не прямо пропорциональна многоречивости. Иногда есть резон ответить на многоречивость молчанием и этим утвердить правоту».

...Бывает так: ты носишь в себе образ твоего друга в пору долгой разлуки, а потом вдруг встречаешь его и обнаруживаешь, ты знал его столько лет, а все-таки не запомнил. Не запомнил совершенно, ведь он не такой, каким ты его представлял. В какой-то мере подобное испытал Бардин, встретив Бекетова в Лондоне. И эта манера останавливать взгляд на чем-то постороннем и долго, долго смотреть, печально моргая глазами. И эта походка, нет, походка — самое характерное: он ходил теперь, чуть-чуть приседая и, казалось Егору Ивановичу, не так энергично работая руками, как это он делал прежде. И эта складка у рта, она всегда у него выражала энергию, а сейчас выглядела почти горькой. И эта улыбка, добрая, в большей мере добрая, чем ей надлежит быть, даже чуть-чуть стариковская... А может быть, Бардин и не мог увидеть всего этого в прежнем Бекетове по той простой причине, что у Сергея Петровича этого не было прежде, а появилось теперь. Да полноте, могло ли все это вот так проглянуть в человеке за какой-нибудь год, даже такой, как этот? Могло? А может быть, Бардин глядел на друга, точно смотрелся в зеркало, и только деликатность Бекетова не дала возможности Егору Ивановичу увидеть

себя таким, каким он явился в Лондон в это майское утро 1942 года?

Но в том ли главное, что изменился Бекетов или неумолимое время неуважительно обошлось с Бардиным? Важнее иное — жив Бекетов! И Егору Ивановичу стало хорошо, кажется, впервые за эту ночь хорошо, вопреки всему ее ненастью и горьким вестям... Наверно, трудно было бы жить Егору Ивановичу, если бы не было Бекетова. Даже чудно, не родной человек, не отец, не брат, а как дорог! Когда Бардин как-то увидел старенькую мать Сергея, он был немало обескуражен: неужели эта женщина, в сущности, чужая Бекетову, хотя чем-то неуловимо и похожая на Сергея Петровича, неужели эта женщина со склеротическим румянцем, сотворила человека, который стал для Егора роднее родного? И еще, вот Бекетов куда как не похож на Бардина! Бардин — медведь, этакий увалень, силаща из силащ, из могучей дружины муромского молодца. А кто такой Бекетов? Всей своей натурой пetersбургец, выросший где-то на Кировной или на набережной Фонтанки у Летнего сада... «И в Летний сад гулять водил...»? А что такое друг, в конце концов? Это человек, которого тебе постоянно недостает. Да, тот самый, о котором ты думаешь: «Был бы Сергей Бекетов, мне было бы легче!» Когда человек понимает тебя так полно, что ты даже не ощущаешь его. Когда твоя совесть и твоя воля смыкаются с его совестью и волей. Когда человек готов сделать для тебя все, сделать с радостью, так же, как с великой охотой сделаешь для него все и ты. Да что там мудрить. Друг, если он истинный, он, как мать, на всем свете у тебя один.

И еще думал Бардин, друг — это когда люди понимают и в молчании. Все, что ты хотел сказать ему, ты ему скажешь в срок, так же как скажет тебе и он. Даже, как сейчас, когда прошел год, год, равный вечности. Да, так бывает, что вот такой год вторгнется в твою жизнь и сделает эту жизнь столь долгой, какой бессильна сделать это природа. Вторгся год и все перепахал в твоей жизни, все перекорежил, и ты встречаешься с близким человеком, как после тяжелого увечья: ты предстал перед ним на костыле или с культей вместо руки. А он, твой друг, все так же держит свою большую ладонь у тебя на спине и все так же

преданно братски заглядывает тебе в глаза, и только по запекшейся боли в его глазах видно, как ему неможется.

..Уже в девятом часу вечера, когда была распита бутылка доброй водки с изображением большой московской гостиницы на этикетке и на столе появилось блюдо с голубцами, завернутыми в виноградные листья, чуть захмелевший Бардин заговорил о Ксении. Эти голубцы, завернутые в виноградные листья, сохранившие приятную терпкость и кислинку, должны были, по замыслу хозяйки дома Екатерины, напоминать Ксению — в давние времена щедрый бардинский стол украшало и это блюдо.

— Ольга рассказала о своем последнем разговоре с Ксенией, — заговорил Егор, самым голосом показав, что готовится сказать значительное. — «Вот что, Ольга, сейчас я уже точно знаю — умру...» Ольга говорит: «Наверно, нет ничего тяжелее и нелепее, как слышать живой голос человека, смотреть ему в глаза, живые, живые, и думать о том, что он уже выселил себя из этого дома и этого мира, навеки разлучил себя с кругом близких, не его похоронили, а он похоронил, при этом всех сразу...»

— Напрасно она согласилась уехать из Москвы, — вдруг прервала Бардина Екатерина. — Был бы ты рядом, все обошлось бы.

— Ты так думаешь? — встревожился Бардин.

— Я это знаю, — сказала Екатерина, не колеблясь.

Бекетов забеспокоился — ему послышался в словах жены укор, при этом не только в адрес Бардина.

— Ты неправа, Катя! Нет, нет! — Он повернулся к другу. — Ты все сделал верно, Егор. — Сергей Петрович смотрел на жену не без страха, ему все казалось, что она способна произнести непоправимое. — Небось в Москве еще деревья и зазеленеть не успели? — вдруг спросил он друга. — Хочешь в парк? Он ведь рядом. Слышишь, как шумят дубы? Слышишь?

Бардин не слышал шума деревьев, как вряд ли мог услышать этот шум и Бекетов. Они пошли.

Последний раз Бардин был в Лондоне осенью тридцать восьмого. Тогда на Бейсуотер, вдоль оград Гайд-

парка, лондонские художники устраивали выставки полотен и лондонские собачники прогуливали по ярко-зеленым лужайкам догов и фокстерьеров. Ныне Бейсуотер была немногочлюдна, да и парк выглядел темным и заметно пустынным. Только дыхание весны, вопреки всем невздадам могучее, сообщало парку жизнь. После холодноватого московского мая здесь уже было начало лета, по-лондонски обильно зеленого. Темнь и тишина, тишина тревожного покоя и, пожалуй, ожидания. С тех пор как гроза переместилась на восток, она уже не возвращалась сюда. Вот и сейчас лондонская тишина означала: зреет новая буря, там зреет...

— Наверно, самым трудным было определить, где начнут немцы, — сказал Бекетов, когда под ногами захрустел влажный песок парковой дорожки. — Казалось бы, психологически... Москва, здесь была их самая большая неудача, и здесь, надо думать, они должны были искать своеобразную реабилитацию, не так ли?

— Боюсь, что мы делали прогнозы, опираясь лишь на психологию, — сказал Бардин. Он понимал, что друг привел его под тенистые кроны не только потому, что круто повернулся разговор с Екатериной, у него были вопросы к Егору Ивановичу по существу того, что нынче происходило в мире.

— А надо? — улыбнулся Бекетов.

— Надо? Нет, психологию отвергать не следует, но есть нечто поважнее.

— Разведка плюс расчет? — быстро спросил Бекетов, ему хотелось проникнуть в раздумья друга.

— Хотя бы.

— А что в данном случае могли показать разведка плюс расчет? Керчь?

— Могли бы показать и Керчь.

— Сомневаюсь, Егорушка, — сказал Бекетов. Он и прежде, если и возражал другу, то возражал мягко.

Бардин мог загнать мизинец — вот тебе первый вопрос, по которому у него с другом не было единодушия. Можно было бы ринуться в бой, но Егор Иванович смолчал: сомневаешься, ну и сомневайся! Пусть пройдет время, и ты увидишь, кто был прав. Они пошли тише, погружившись в свои мысли. Было слышно, как дождь стучит по листве, этот звук был так похож



на шум идущей по мокрому асфальту машины, что хотелось обернуться, как бы ненароком не сшибла.

— Того, что случилось в Керчи, у нас давно не было, — сказал Бардин. Седоусый летчик не шел у Бардина из головы: — Перед отлетом видел одного нашего авиатора, так он сказал про Керчь: «Стон, говорит, стоит там — на высоте слышно!»

У Бекетова разом отпала охота спорить. Да какой может быть спор, когда загорелось сердце, застучало в висках, того гляди задохнешься.

— Чем они взяли в Керчи? Техникой? У них там ее больше было?

— Нет, военные говорят, что техники было поровну, — сказал Егор Иванович и вдруг почувствовал, что нужны другие слова — ведь не чужой перед ним стоит человек, а свой, и не просто свой, а друг. И какой друг! Будто бы Бардин говорит даже не с Бекетовым, а с самим собой. Тогда почему же так стыдно Егору Ивановичу? Именно стыдно. До каких же пор будет продолжаться такое и сколько все это будет стоить России? — Техника, говорят, была.

— Тогда в чем дело? — спросил Бекетов.

Они вышли из Гайд-парка и долгими, похожими на расселины в скалах улицами направились к реке.

— Разве не понятно, то, что произошло в Керчи, это больше, чем Керчь, это судьба сорок второго, а он может быть последним военным... — Он ускорил шаг, пошел вперед, забыв, что Бардин где-то позади. — Знаешь, Егор, сорок третьего военного может и не быть... А Керчь — это очень плохо, хуже, чем может показаться вначале. Нам не надо приучать себя к мысли, что у нас есть надежда, кроме надежды на самих себя. — Они вышли на площадь, и Бардин взглянул налево. В туманной мгле очерчивались шпили Вестминстера. — Есть только мы, и никого больше.

— Тех... тоже нет? — указал Бардин на Вестминстер. Черный утес аббатства, неправильно скошенный, с грозным перстом Биг Бена рядом, едва угадывался.

— Для Америки, наверно, они есть, для нас нет. По крайней мере, все наши расчеты надо строить так, как будто их нет вовсе, — произнес Бекетов, не спуская глаз с Вестминстера, который точно поворачивался в ночи, становясь все различимее.

— Это тебе подсказал год жизни в Лондоне? — спросил Егор Иванович.

— Да, пожалуй, этот лондонский год. Черчилль здесь видится лучше.

— Черчилль? — переспросил Бардин, переспросил не потому, что не расслышал, он хотел разговора о Черчилле.

Они приблизились к берегу. Река была темно-бурой, под цвет неба. Где-то на мосту, чьи фермы оплели воду, шли ремонтные работы, и удары молота по металлу, усталые, хотя и ритмичные, точно стлались по реке, медленно размываясь, уходя в воду.

— Когда-нибудь найдется в этом городе человек, который, опираясь на документы (мы их не знаем), исследует проблему «Черчилль и второй фронт». Если это будет англичанин, он, наверно, возведет это в доблесть: он, мол, сумел водить русских за нос столько, сколько ему было надо. Да, он возведет это в доблесть, хотя в основе этой доблести был сознательный обман. Он, этот автор, захочет исследовать психологию обмана. Быть может, он скажет, что история британской общественной мысли породила столь диковинное явление, как хамбаг. Возьми оксфордский словарь и разыщи там это слово. Вот смысл этого слова: псевдо-правда, а проще говоря, ложь в облике правды. Следовательно, позиция Черчилля: обещать, заведомо зная, что ты не выполнишь этого обещания. В этой позиции ничего нет от импровизации. Она — плод ума зрелого, логики неодолимой. Цель — переложить всю тяжесть войны на плечи Республики Советов и сберечь силы для последнего удара по немцам и по русским, который решит судьбу войны.

— А как относятся сегодня к Черчиллю англичане, нет, не белая кость, а народ?

Бекетов задумался. Нехитрый вопрос, а ответить нелегко.

— Думаю, что лучше, чем когда-либо прежде, — ответил Бекетов.

— Даже те, кто видит, что он обманывает Россию? — спросил Бардин.

Однако в каком коробе он держит эти вопросы? Так и прежде с ним было: сидит сопит, а потом двинется на тебя медведем, впору за рогатину хвататься.

— Народ может и не понимать всего, — сказал Бекетов.

— А не склонен ли ты думать, что народ все-таки понимает это, но не хочет ставить Черчиллю в вину? Даже, наоборот, держится такого мнения: «Ох и шельма этот старый Уинни, клянется русским в любви и преданности, а на самом деле только и печется о том, чтобы, не дай бог, Россия не победила раньше времени. Иначе империя может отправиться к праотцам...» Не думаешь ли ты, что народу симпатична черчиллевская хитринка, тем более что от этой хитрости он, народ, тоже стрижет купоны?

— Прости, Егор, но у тебя нет оснований думать так о народе.

— Нет, у меня есть основания думать так, Сергей. Вот тот же Черчилль держал под кнутом Индию и заставлял ее крутить большое колесо империи, а ведь он это делал не только для себя. Какая-то толика благ перепала и народу. А как народ? Не хотел брать? Говорил, что эти блага пахнут кровью? Нет, не говорил, брал. Как ты?

— Если власть у Черчилля, народ даже против его воли можно сделать соучастником преступления. Но я ведь говорю не об этом, я говорю о доброй воле народа. А она, эта добрая воля, не с Черчиллем, а с Россией... Я вижу это здесь, я убежден в этом.

— А как Рузвельт? — спросил Бардин.

Бардин не видел лица Бекетова, но ему показалось, что он видит улыбку друга, которая вдруг возникает на его лице даже тогда, когда тонкие губы его рта накрепко сжаты.

— Ты знаешь, что в январе сорок первого на письменном столе Рузвельта был текст директивы Гитлера, директивы, составленной во исполнение плана «Барбаросса»? Я скажу тебе больше, Эдгар Гувер, очевидно, желая подтолкнуть Гитлера к нападению на СССР — не дай бог передумает, — через подставных лиц сообщил немецкому послу: Россия готовится нанести удар... Не думаю, чтобы такой шаг был совершен без ведома Рузвельта.

— Не хочешь ли ты сказать, что ты не видишь разницы между Рузвельтом и Черчиллем, дорогой Бекетыч? — спросил Бардин. Он называл так друга не часто, сообщая придуманному им имени явно ироническое звучание.

— Нет, не хочу, — ответил Сергей Петрович. — Я хочу сказать только, что мы все плохо знаем Рузвельта.

— Не тот, за кого мы его принимаем, так?

— Не совсем тот, как кажется мне. Эта его широта и, пожалуй, терпимость, это обаяние, которое непобедимо, нельзя воспринимать независимо от его личности.

— Ты хочешь сказать, мы думаем о нем лучше, чем он этого заслуживает?

— Да, нам хочется думать о нем лучше, — сказал Бекетов.

— Это ведь мне хочется думать о нем лучше, не тебе, — признался Бардин и, не удержавшись, рассмеялся.

— Верно, мне меньше, — согласился Бекетов.

— А я думаю, вот это наша псевдобдительность так парализует зрение, что мы перестаем видеть разницу даже между Черчиллем и Рузвельтом, — вдруг вырвалось у Бардина, вырвалось не без обиды.

Бекетов ничего не сказал, он только остановился, опершись о каменный парапет набережной, поднял глаза. Мост сейчас был над ними, и удары молота о металл точно обрушивались на них.

— Если ты понял меня так, Егор, то, прости, ты меня не понял, — сказал Бекетов, не оборачиваясь. — А тебе надо бы понять меня, — заговорил он, поразмыслив. — Надо хотя бы в преддверии завтрашней встречи.

— Ты полагаешь, что Черчилль и теперь уйдет от прямого ответа на вопросы? — спросил Бардин.

— Ты сказал «вопросы», — заметил Бекетов. — Их два?

— Главных, как я понимаю, два: большой десант и... нечто декларативное о дружбе и союзе, — ответил Бардин.

— Эти вопросы рядом поставила жизнь? — спросил Бекетов.

Бардин задумался. Его друг стал говорить ребусами. В самом деле, как понять последние его слова? Возникли эти два вопроса стихийно, или британский союзник решил поставить их рядом по соображениям тактическим? Это хочет выяснить для себя Бекетов?

— Прости меня, Сергей, но что ты имеешь в виду, спрашивая меня об этом? — поинтересовался Бардин. Чтобы продолжить разговор, ему надо было знать мнение друга полнее.

— Изволь, — согласился Бекетов. — Мне казалось, это эти два вопроса рядом поставлены сознательно: если не удастся решить один, должен быть решен другой. В этом замысел и, так я думаю, выигрыш.

— А может статься и такое: вопросов два, а ответ один, к тому же не столько делом, сколько словом.

— Это как же понять: «вопросов два, а ответ один»?

Договор об англо-советском союзе?— спросил Бекетов. В вопросе Бекетова был резон немалый. Еще в дни декабрьского визита Идена, когда проблема послевоенных рубежей России впервые стала предметом подробного разговора, возникла идея англо-советского договора. Как понимал Бардин, этот договор не давал ответа ни на один из животрепещущих вопросов, которые тогда волновали Россию и по которым она хотела бы помощи союзников, но декретировал дружбу и союз в тех общих выражениях, которые англичан ни к чему не обязывали. Больше того, он, этот договор, уходил от обязательств, в которых советский союзник был на-сущно заинтересован. Создавалось впечатление, что предложение о договоре Черчилль держал в своем походном ранце на тот случай, если русские вновь пойдут в атаку на англичан. Идея договора обсуждалась и прежде, но в окончательном виде она возникла только теперь, при этом по инициативе англичан. Русские понимали, какое место в расчетах их британских союзников занимает договор, но возражать было ни к чему — договор декларировал решимость покарать врага и переустроить мир на новых началах и уже одним этим мог явиться своеобразным мостом к конкретным делам, которых ждала Страна Советов.

— Как сказывали наши предки: «И на том дай боже!» — заметил Бардин, подводя черту спора с другом.

— Мирон твой в Америке? — спросил Бекетов вне связи с предшествующим.

— Да, еще с того июня.

— Так вот попомни, то, что не досказал я, доскажет Мирон.

— Попомню уж, — произнес Бардин, улыбаясь. Он не таил обиды на друга.

Те несколько дней, что русские пробыли в Черкесе, Черчилль жил в имении неподалеку. В самом жесте Черчилля, поселившего Молотова в резиденции главы правительства, было желание не только подчеркнуть, что хозяева оказывают русским полную меру приязни и внимания, но, особенно важно, что эта приязнь и это внимание исходят лично от Черчилля — обстоятельство хотя само по себе и знаменательное, но

имевшее большее значение для англичан, чем для русских, занятых заботами куда более насущными. Впрочем, в первые дни пребывания делегации в Лондоне участие Черчилля в ее делах на этом ограничилось. Переговоры вел Иден. Несмотря на то что со времени поездки английского министра в Москву прошло пять месяцев, было такое впечатление, что эти переговоры и не прерывались. С новой остротой встал вопрос и о советских границах, и о втором фронте.

Что касается границ, то у русских были основания полагать, что со времени московских переговоров в позиции англичан произошли изменения, в какой-то мере обнадеживающие. На это прямо указывала телеграмма английского премьера Сталину от 12 марта нынешнего, 1942 года. Там была такая фраза: «Я отправил президенту Рузвельту послание, убеждая его одобрить подписание между нами соглашения относительно границ России по окончании войны». На что Сталин ответил: «Очень благодарен Вам за Ваше послание, переданное в Куйбышеве 12 марта». И дальше: «Что касается первого пункта Вашего послания о границах, то я думаю, что придется еще обменяться мнениями о тексте соответствующего договора в случае, если он будет принят обеими сторонами для подписания».

Казалось бы, сейчас время обсуждения, а может быть, даже подписания такого договора наступило, но английская сторона в лице министра Идена дала понять, что позиция ее здесь остается едва ли не прежней. В такой же мере обескураживающей была и позиция англичан в вопросе о втором фронте. Короче, в итоге двухдневных переговоров с Иденом возжеленная цель была так же далека, как в тот самый момент, когда русский самолет с «миссией Бауэра» приближался к английским берегам. Истинно, черчиллевский Чекерс явился той постелью, которую мягко стелют, но на которой жестко спать.

Но, может быть, Иден специально занял столь неуступчивую позицию, чтобы дать возможность Черчиллю проявить понимание?

Соответствующее распределение ролей между министром иностранных дел и премьер-министром иногда носило именно такой характер.

Итак, предстояла встреча с Черчиллем.

Когда на следующее утро русские направились в служебную резиденцию английского премьера на Даунинг-стрит, 10, Бардин, не отрывая глаз от лондонской толпы, одетой уже по-летнему легко и даже нарядно (бомбежки кончились, и небо обрело свои прежние краски; оно было в это утро ярко-синим, в белых яблоках облаков), думал о том, какой нынешняя встреча будет психологически. После разговора, который был вчера у Егора Ивановича с Бекетовым, Бардину хотелось знать, каким Черчилль предстанет сегодня, очень хотелось соотнести все сказанное вчера с живым Черчиллем.

Бардин сидел рядом с шофером и в те редкие минуты, когда машина оказывалась перед задымленной многоэтажной громадой или зеленой стеной деревьев, видел в лобовое стекло, отсвечивающее словно зеркало, сидящих сзади.

— Вот вам и хрестоматийный Лондон! — сказал Михайлов Молотову, когда справа обозначилась колонна Нельсона. — Сегодня хрестоматия обретает смысл, какого она не имела прежде. Лондонский Трафальгар стал местом рабочих манифестаций, требующих высадки десанта в Европе.

Пенсне Молотова поблескивало. Где были сейчас его мысли? Не на аэродроме же, где он впервые встретился с Иденом. В какой мере то небольшое, что сказал ему британский министр, могло определить содержание сегодняшней встречи? На первый взгляд за протокольной округлостью этих слов не прощупывался никакой иной смысл. Но это было вчера, а сегодня?

Дом на Даунинг-стрит, как показалось Бардину, был в этот майский день прибежищем покоя и тишины. Несмотря на май, в доме топились печи и из открытой двери пахло запахами хорошо обжитого жилья.

Черчилль вышел навстречу гостям. Его уверенно бойкая походка не очень сообразовалась с грузной фигурой. Здороваясь, он, казалось, задерживал руку, чтобы упереть в человека упрямый, неприятно испытующий взгляд. Он хотел оставаться самим собой, оглядывая русских с тем хмурым любопытством, с каким бы он смотрел на них, если бы не был связан необходимостью видеть в них союзников и выказывать радушие.

— Завидую вам, как завидовал мистеру Идену, — он весело-ободряюще взглянул на своего министра иностранных дел, который, услышав свое имя, поднял от бумаг красивое лицо и, полусклонив голову с кокетливой и нарочитой небрежностью, улыбнулся, как показалось Бардину, улыбнулся на всякий случай, не проникнув в смысл слов Черчилля. — Вы летели через линию фронта, — произнес Черчилль и по привычке обратил взгляд на стену — очевидно, справа от себя он привык видеть карту военных действий.

— Господин премьер вернулся из инспекционной поездки по Шотландии, для нас это линия фронта, — произнес Иден. С той минуты, как Черчилль назвал его имя, он подключился к разговору. Как заметил Бардин, у Идена было состояние, очевидно, для английского министра привычное: осторожно-бдительно следить за разговором, который вел Черчилль, и в случае необходимости приходить ему на помощь. — Линия огня! К сожалению, она, эта линия, длиннее, чем нам хотелось бы.

Черчилль направился к своему креслу, сел с той удобной обстоятельностью, какая была ему нужна, чтобы сказать то, что он хотел сказать.

— Линия фронта! — Он задумался, из одного угла рта в другой пошла его сигара. — То, что сделали английские войска в Тобруке, а потом в Эль-Аламейне, станет достоянием летописцев. Вот посудите, — он сказал: «Вот посудите!» — и все, кто слушал его, поняли, что он начал один из тех обзоров положения на фронтах, на которые был такой мастер. Казалось бы, куда как жесткая материя — положение на фронтах, — но он умел говорить об этом так, будто бы рассказывал историю изменчивой и трагической судьбы человека. По мере того как он продолжал рассказ, в кабинет входили военные и штатские. Иногда они просили Черчилля взять телефонную трубку, иногда, склонившись, сообщали срочное и требовали тут же решения, а однажды просьба была изображена на бумаге и бумага была положена так, чтобы он при своей дальновзоркости (в его шестьдесят восемь лет дальновзоркость должна была быть достаточной) видел ее. Ему это не мешало, он отдавал распоряжения и продолжал держать главную мысль в уме, используя даже самую

паузу, чтобы усовершенствовать эту мысль. Бардин полагал, это умение дал ему парламент, опыт борьбы с оппонентами, которые неумолимы. Он был великим искусником молниеносного ответа, импровизации. И вот еще что было интересно Егору Ивановичу, когда он слушал Черчилля. Наверно, не все то, что сообщали ему его сподвижники, было одинаково радостно, но он и бровью не повел. Дело даже не в том, что он не хотел обнаруживать неудачи перед русскими, он, видимо, полагал, что в таком большом деле не обойтись без неудач, а если так, то на печаль у него не должно быть времени.

Бардин чувствовал, что рассказ Черчилля интересен, больше того, рассказ увлекает. Особенно Черчилль был силен в местах эмоциональных: рассказ о переходе через пустыню, об осадах крепостей-оазисов (не пустить врага к воде!), о танковых битвах в песках... Иногда он прерывал рассказ и говорил: «Я помню!..» — и следовала вставная новелла. Он любил говорить: «Я помню!» Его жизнь была полна странствий, и ему легко было сказать: «Я помню!» В рассказе была психология. У жажды свои законы, человек точно попадает на планету, которая не знает воды. Бардину трудно было сказать, повторяется ли хозяин дома, но единственное было очевидным — нужно усилие, чтобы противостоять впечатлению, которое производил этот рассказ, усилие, чтобы не утратить независимости.

Бардин смотрел на Молотова. Молотов точно говорил хозяину дома: «Послушайте, вы умный человек и, очевидно, обладаете тем, что называется чувством меры, но тогда поймите, мы приехали сюда из страждущей России, которая приняла в этот год такое, в сравнении с чем все ваши Эль-Аламейны выглядят далеко не так, как это видится вам. По крайней мере, не нам же надо это рассказывать и отнюдь не в таких тонах. Наверно, все это вы рассказывали американцам и теперь решили повторить русским, потому что в первом случае рассказ произвел впечатление? Но что хорошо для американцев, не всегда так же хорошо для русских. И рассказ должен быть другой, да и интонация иная».

Казалось бы, время, отведенное для черчиллевских воспоминаний, вышло. Настал час решения. Англичане

предложили проект договора о союзе. Русские сказали «да». Оставалось подписать договор.

...Темный, соответствующий моменту костюм сделал Черчилля моложе.

— Сколько бы ни высадили, всех изгоним. Британия — не Бельгия! — Он мог иногда позволить себе начать разговор с третьей фразы, не давая труда объяснить, что этой фразе предшествовало. — Изгоним! — Его шаги были так быстры еще и потому, что они были мелки, мельче, чем должны быть у человека такого роста и комплекции, как Черчилль. — Всех до одного изгоним! — заключил он и посмотрел на Идена, который в этот момент задумчиво шевелил длинными пальцами.

— Надо, чтобы наш союз охранял Европу и после войны, — сказал Иден и этой фразой решительно приблизил разговор к главной теме.

Иден произнес эти несколько слов, когда Черчилль готовился вернуться в свое кресло. Он остановился, и Бардин увидел, что Черчилль пытается застегнуть пиджак и это ему сделать трудно. Видно, пиджак был сшит еще в то беспокойное для Британских островов время, когда все было здесь чуть-чуть худощавее, чем обычно, однако в течение этого года... Война, разумеется, продолжалась и грозила Британии новыми испытаниями, но огонь ушел от британских берегов, ушел далеко, и на него можно было смотреть как бы со стороны.

— Я благодарен мистеру Идену, который наперекор русскому декабрю и военному ненастью пробился в Россию и сделал возможным... Одним словом, хорошо, что мы имеем возможность подписать документ, призванный декретировать нашу волю к миру, — сказал Черчилль и, справившись с пиджачной пуговицей, сел за стол. — Итак, прочтем текст договора статью за статьей. Как вы полагаете?

Тремя часами позже договор был скреплен подписями, церемонный Иден, вооружившись очками, что он делал не часто, понимая, что это его старит, положил перед собой текст речи.

— Мы взаимно обязались оказывать друг другу военную и другую помощь и поддержку всякого рода

в войне против Германии... — говорил Иден, а Черчилль смотрел на министра и шурился, улыбаясь своим мыслям. Не часто ему случалось в обществе Идена быть слушателем.

Самолет теперь шел над Атлантикой, и впереди была Америка.

Полярные летчики, для которых генеральной репетицией для полета в Америку были многочасовые рейсы над Северным Ледовитым океаном, великолепно вели самолет. Спокойные, настроенные чуть-чуть иронически, понимающие друг друга с полуслова, они старались не очень обнаруживать, по крайней мере перед пассажирами, невзгоды, которых в таком полете было предостаточно. «Зрителям нет дела до того, что происходит за кулисами», — отвечали они, смеясь, когда пассажиры были особенно настойчивы в расспросах...

Самолет как бы охватил океан с севера и, совершив три промежуточных посадки — Рейкьявик, Гус-Бей, Монреаль, — 28 мая приземлился на вашингтонском аэродроме.

Пять дней, проведенные в Лондоне, помогли Бардину лучше понять происходящее. Оказывается, незадолго до того, как в Лондон прибыли русские, там был Маршалл. Цель миссии Маршалла — русские дела. (Был бы Сережка рядом, сказал бы: «Скажи мне, батя, а этот Маршалл с маршалским жезлом или без оного?») И в самом деле, то была миссия действия или разведки? Как понимает Егор Иванович, где-то в конце зимы, быть может, по просьбе президента американские военные досконально исследовали, возможен ли большой десант в Европе. Они изучили этот вопрос независимо от англичан и дали ответ, не оглядываясь на британского партнера: да, возможен. Подсчеты военных, подсчеты тщательные, показали: в нынешней обстановке, когда германская армия увязла в России, такой десант может быть осуществлен. Возможно, этими расчетами руководили не только благие намерения. Практичные американцы полагали, что открытие второго фронта предотвратит вступление русских в Европу. Если в расчетах американцев присутствовала эта мысль, то можно сказать наверняка, что именно с это-

го момента (конец зимы — весна 1942 года!) между англичанами и их заокеанскими партнерами начался спор, который продолжался, в сущности, всю войну и решился едва ли не в майские дни 1945 года. Американцы полагали, что настало время для большого десанта, позже будет поздно. Черчилль отвечал: «Рано!» Но вот вопрос, почему. Боялся быть сброшенным в море? Первое время это опасение было, теперь вряд ли. Истинная причина: отнять у немцев и русских возможно больше сил, ослабить их и решить войну в свою пользу. И уж конечно не допустить русских в Европу.

А пока американские военные обратились к подсчетам, какие шансы у большого десанта на успех. Результаты их подсчетов столь обнадеживали, что Рузвельт тут же направил Маршалла в Лондон и почти одновременно телеграфировал Сталину, что хочет видеть авторитетную русскую делегацию в Вашингтоне. Предмет переговоров — второй фронт. (Ходил слух, что президент, увлеченный перспективой большого десанта, вместе со своими военными советниками подсчитал, что для такой операции потребуется шестьсот судов. Однажды, как утверждают, он даже взял лежащий подле блокнот с бланком Франклина Д. Рузвельта и набросал рисунок такого судна.)

Но ведь Маршалл уже был в Лондоне и, очевидно, вел переговоры с Черчиллем. (Сережка бы сказал: «Батя, Маршалл-то забыл маршальский жезл в Вашингтоне».) Не надо быть провидцем, чтобы определить, как они протекали. Англичане наверняка сказали американцам: «Нет». Они сказали это свое «нет», когда русские уже летели в Вашингтон. И вот вопрос к задаче: как это английское «нет» скажется на переговорах в Вашингтоне и способно ли оно изменить намерения Рузвельта? Если не способно, то как поведет себя англичане? Подчинятся мнению американцев и русских или же начнут контратаку? На кого? Ну, не на русских же. Черчиллевский натиск... Президент готов отразить его? А может быть, сию минуту идет над океанской гладью, обгоняя самолет, телеграмма из Лондона, в которой дана своя оценка миссии русских, свой взгляд на их приезд в Лондон... Наверно, трудно просто отвергнуть идею большого десанта, легче один

проект заменить другим. Черчилль любит эти проекты. Быть может, потому их так много, что одни из них истинные, а другие должны симулировать истинные. Однако все проекты носят кодовые названия, при этом столь звучные и неожиданно торжественные, будто бы все они настоящие. Быть может, эти названия пере-кликаются с тем, как видит мир английский премьер, каким он представляется его глазу и воображению. Но названий этих так много, что кажется, их плохо помнит даже тот, кто их придумал.

Был бы Сережка рядом, ткнул бы отца острым локтем: «Батя, англичане умели путать следы еще во времена Холмса!» Сережка! Как он? Бардин закрывает глаза, и разом встают в сознании мерцающие снега под Дмитровом, налет сажи, что, как черный платок, протянулся по ветру вслед за сожженной деревней, деревья, которые беспомощно тычут в небо культы посеченных артиллерией ветвей, и Сережка, сидящий на больничной койке: «Ты меня не жалеи... Не надо».

Бардин вздыхает, да так, что кажется, самолет воспринимает этот вздох: «Не виноват перед ним, а есть чувство вины... Есть эта вина, которая залегла булыгой внутри и давит, не дает дышать. Ведь не виноват, а такое чувство — виновен и он тебе судья». Наверно, в том, что сегодня делает Бардин, есть и нечто ратное, нечто от тех испытаний, которые приняла Россия. Так думает Егор Иванович, так хотел бы думать. «Хотел? А на самом деле? Да какое может быть сравнение! Хоть себя не обманывал бы, себя! Огонь, который должен был принять ты, принял твой сын. Принял и отвел от тебя смерть! Да так ли?»

Самолет, как понимает Егор Иванович, шел над океаном. Казалось бы, пришло время страху, а его не было. Совсем не было у Бардина никакого страха. Страх был за Сережку.

Русские были в Белом доме в пятницу 29 мая в четыре пополудни. День был неярким, но теплым, и час, предшествующий встрече, русские провели в парке.

Как ни секретно было их прибытие в Вашингтон, Бардина не покидало чувство, что об этом знает боль-

ший круг людей, чем хотели бы и русские и американцы.

Когда их делегация появилась в парке, лежащем рядом, Бардин, оглянувшись, увидел: прикинув к окнам, в парк смотрело несколько человек.

Бардин полагал, не только посол Литвинов, которого американцы знали в лицо, вызвал их любопытство.

А Молотов с Литвиновым свернули в боковую аллею и, очевидно желая соизмерить содержание разговора с длиной аллеи, замедлили шаг. Видно, разговор не вмещался в размеры аллеи, и под тенистым вязом, скрывающим их от любопытных глаз, они остановились.

Литвинов был в светлом костюме, легкое пальто он перебросил через руку. Молотов был в темном макинтоше и темной шляпе, вид у него был много официальнее, чем у Литвинова, да, пожалуй, чуть-чуть не по сезону — видно, что он прибыл из страны, где лето еще не наступило.

Говорил Литвинов, а Молотов слушал, сдвинув брови, глядя вдаль. Он казался сурово-печальным. О чем они могли говорить? Когда Литвинов говорил с президентом по главной проблеме, интересующей русских? Что думают об этом военные? В чем они поддержат президента и в чем ему возразят? Эйзенхауэр? Маршалл? Макартур? А как Гопкинс? Верно ли, что его зовут личным министром иностранных дел Рузвельта?.. А каково тогда положение Хэлла? И что думает Хэлл о главной проблеме, которая интересует Россию? Он по-прежнему здесь в оппозиции? Тогда, быть может, разговор должен вестись без него? Да, Рузвельт и Молотов? А как быть с Гопкинсом?

...Русские пошли из парка. Бардин поднял глаза. В окнах были все те же лица. Нет, тайну русской миссии в Вашингтон надо было еще сберечь. Как бы в ходе вашингтонских бесед Бауэр не стал Молотовым...

Они были в служебных апартаментах Рузвельта тотчас после того, как камердинер вкатил в кабинет коляску с президентом. На ковровой дорожке, ведущей в кабинет, еще удерживался след от колес, когда из кабинета вышел камердинер. В его руках был плед.

Камердинер поклонился гостям, дав понять этим своим поклоном, что гости не ошиблись, признав в нем лицо, имеющее отношение к президенту, и это ему приятно. Плед в его руках был обычным шотландским пледом в красную клетку, судя по всему, не новым: бахрома была уже не столь густой и пушистой, как прежде, на сгибе проступало кофейное пятнышко, видимо свежее. Но камердинера не смущало это. Он на ходу развернул и сложил плед, сложил с таким старанием и тщательностью, которая должна была показать — в его руках вещь, нужная президенту, а остальное ему не столь важно.

Из кабинета вышел Гопкинс и, увидев русских, чуть-чуть дружески-фамильярно поднял бледную ладонь, с почтительным уважением пожал руку Молотову и Литвинову, остальным поклонился с радушием гостеприимного хозяина, а заметив Бардина, поднял руку и, соединив большой и указательный пальцы, прищелкнул.

— Такой крепкой водки, какую я пил в Архангельске, в природе больше нет, — произнес он и закашлялся — после архангельского застолья у него явно першило в горле.

Гостей пригласили к президенту.

Бардин ожидал увидеть крупноплевого человека, чуть поноватого и от этого кажущегося еще крупнее, с красивым, несколько одутловато-бледным лицом и ослепительной «рузвельтовской» улыбкой, выражающей полную меру радушия, а увидел седого старика, худого и заметно остролицего, с желто-восковым лицом, на котором тем заметнее были синевато-мглистые круги под глазами. Его улыбка была живой и откровенно дружелюбной, но это была улыбка больного человека.

Бардин понимал, что это первое впечатление должно быть очень верным, но оно уйдет. И действительно, прошла минута, и перед Бардиным, казалось, был прежний Рузвельт, да, тот самый, крупноплекий, с одутловато-бледным лицом и солнечной улыбкой.

Хотя церемония представления велась через переводчика, она не потребовала много времени. Бардин заметил, Рузвельт не без изящества представил своих коллег. Представляя Хэлла, президент, как показалось

Егору Ивановичу, с известной обстоятельностью подчеркнул его внимание к русским делам, будто говоря: «Если вы считаете его главой антирусской партии, то заблуждаетесь!» Наоборот, Гопкинса президент представил строже и скромнее, чем мог бы. «Вы знаете друг друга, и тут я вам ничего не могу сказать нового», — точно говорил президент, но скрытый смысл этой сдержанности был иным — президент не хотел усугублять и без того тяжелых отношений между государственным секретарем и Гопкинсом. К тому же не в интересах президента было превозносить Гопкинса — совершенно очевидно, что в отношениях Америки с Россией Гопкинс был фигурой номер один.

На вопрос президента о том, как удалось преодолеть долгий и нелегкий путь, Молотов заметил с тем эмоциональным лаконизмом, который ему был свойствен:

— Перелет из Москвы в Лондон, а оттуда через Исландию, Лабрадор нам не показался утомительным... — и взглянул на своих спутников, точно обращаясь к ним за поддержкой. — Ничего чрезвычайного, за исключением, пожалуй, одного: наш военный советник повредил ногу и остался в Лондоне, нам придется его как-то заменить на переговорах. — Он сказал «на переговорах», сказал впервые и взглянул на президента.

— Сегодня у нас здесь нет военных, — сказал президент, — но завтра генерал Маршалл и адмирал Кинг к вашим услугам.

Он произнес эти несколько слов с той приязнью, с какой говорил до сих пор; но в словах этих было и что-то протокольное. Он будто хотел сказать: разговор мы отнесли на завтра; в нем будут участвовать военные, а следовательно, в порядке дня главный вопрос.

Молотов понял, здесь кратчайший путь к разговору по самому существу проблемы, которая интересовала русских, поэтому был прямой смысл остановить внимание президента. Молотов заметил, что хотел бы обсудить военное положение, обсудить всесторонне. Он говорил с Черчиллем, но тот не дал ответа на вопросы, поставленные русскими. Правда, Черчилль выразил пожелание, чтобы на обратном пути из Вашингтона русские остановились в Лондоне. Быть может,

английскому премьеру необходимо время, чтобы ответить на вопрос Молотова.

— Японцы скапливают флот на островах Фучья и Марианских,— сказал президент и характерным жестом, чуть стариковским, защитил глаза от солнца, которое проникло в кабинет. Не очень было понятно, почему он вдруг заговорил о японцах — потому ли, что он считал эту проблему для себя наиважнейшей, потому ли, что не хотел сейчас отвечать на прямой вопрос русского министра.— Трудно сказать, куда устремят японцы этот флот: на Австралию, Гавайи, Аляску или Камчатку?

Молотов выдержал паузу. В самом деле, чем объяснить, что президент ушел от ответа на вопрос? А может, здесь нет ничего предвзятого, а просто желание отнести разговор по существу на завтра? Итак, президент хочет знать, куда бросят свой флот японцы. Молотову ничего не известно об этом, но, как он полагает, стремление устроить русских является постоянным у японцев.

— Наш главный враг — Гитлер,— сказал Молотов, сделав еще одну попытку вернуть разговор к сути.

Рузвельт умолк на минуту, потом сказал:

— Да, Гитлер. Пока не прояснится в Европе, мы должны на Тихом океане держать фронт...— Он взглянул в окно, следя, как солнце за окном покидает поляну и зелень медленно тускнеет.— Непросто было убедить других в верности этой точки зрения, но теперь она, кажется, стала общепринятой,— добавил он. Кого он имел в виду: только ли американцев или еще и тех, за океаном?

Рузвельт протянул руку к бумагам, лежащим у него на столе.

Манжета на руке президента сдвинулась, обнажив сплетение кровеносных сосудов, как показалось Бардину, неестественно голубых.

— Что знает господин Молотов об условиях, в которых нацисты держат русских пленных в Германии? — спросил президент, тщетно пытаясь освободить стопку бумаг от скрепки. Гопкинс подошел к президенту и помог ему справиться со скрепкой, невзначай бросив взгляд на бумаги, а потом на Хэлла.— Что он знает об этих условиях? — повторил свой вопрос прези-

дент и посмотрел на Хэлла, будто желая спросить его, верно ли он понял своего государственного секретаря.

Скопческое лицо Хэлла вдруг подернулось румянцем.

— Да, речь идет о Женевской конвенции, мой президент,— сказал Хэлл и оглянулся на Гопкинса, который принялся тереть тыльные стороны рук — неожиданно их обдало морозцем.

Бардин приметил еще в Москве это его состояние и этот жест, от волнения его бросает не в жар, а в холод. Но почему егохватило стужей теперь? Как понимает Бардин, стопка бумаг, которую взял президент, похожа на памятные записки: чистое поле листа, четкий машинописный текст, просто текст, без названия и без подписи. Очевидно, меморандум подготовлен Хэллом, эту реплику государственного секретаря о Женевской конвенции можно понять именно так. Не исключено, что Гопкинс видит стопку бумаг впервые, вон с каким неприязненным удивлением он взглянул на бумаги, освобождая их от скрепки. Проблема «Хэлл — Гопкинс» имеет свои грани.

Молотов пытается ответить на вопрос президента. Смысл его ответа: русские располагают данными, что немцы бесчеловечны с пленными. Об этом, в частности, рассказали двадцать пять пленных, которым удалось бежать в Швецию из Норвегии.

— Но может быть, необходим договор об обмене списками военнопленных? — спросил президент и подвинул текст меморандума.

Бардину показалось, что в голосе Молотова появились ноты, которых не было только что, — гневная укоризна, может быть, даже возмущение.

— Советское правительство готово на переговоры с любой страной, но только не с немцами,— был ответ Молотова.— Начать переговоры с немцами, значит, дать им возможность утверждать, что они придерживаются международного права.

Вновь белая рука президента повисла над столом. Рука нетверда, и президент спешит опереться на локоть.

— А не могли бы мы помочь улучшению отношений между Россией и Турцией? — спросил президент, держа перед собой белый лист меморандума, и его весело-

иронический взгляд устремлен сейчас то на Хэлла, то на Гопкинса. В этом единоборстве он не хочет давать преимущества ни одному из них, даже наоборот, он хотел бы дать преимущество Хэлли и этим нейтрализовать его — в переговорах, которые начнутся завтра, Хэлл не должен участвовать.

Видно, Молотова немало раздражают эти меморандумы Хэлла. Он, Молотов, приехал из страны, обьятой огнем войны. Второй фронт — единственная и действительно насущная задача его миссии. Он об этом хочет говорить, а ему навязывают разговор о советско-турецких отношениях. Но президент говорит об отношениях России и Турции, говорит с явным желанием, чтобы на его реплику откликнулся советский министр, очевидно, это имеет смысл и для президента.

— Ну что ж, мы готовы обсудить и это, — произносит Молотов, сдерживая волнение.

Рузвельт вздыхает облегченно: эти два хэлловских меморандума и ему стоили сил, но все, кажется, обошлось.

— Вот и хорошо, — говорит Рузвельт и смотрит на Гопкинса, но тот неприязненно насторожен. «Что же тут хорошего? — точно говорит он президенту. — Этот старый хрыч Хэлл не нашел ничего лучшего, как явиться сюда с турецким меморандумом... За этим ли летели сюда эти люди, преодолевая ненастье войны и стихии? Нет, в самом деле, что тут хорошего?»

Но президент доволен, что ему удалось сегодня сделать предметом разговора меморандумы Хэлла, по крайней мере, есть какая-то видимость делового разговора, в котором участвует государственный секретарь. После этого завтрашний разговор, пожалуй, можно провести и без него.

— Быть может, господин Молотов счел бы возможным встретиться с государственным секретарем и обсудить всю сумму вопросов, которые имеет в виду департамент? — произнес Рузвельт, он хотел бы сделать здесь все возможное.

— Да, конечно, — соглашается Молотов.

— Хорошо, — удовлетворенно замечает президент.

— Хорошо, хорошо, — подхватывает Хэлл и рожает от удовольствия, хотя удовольствия в этом лаконичном диалоге для него мало: президент вызвал Моло-

това на разговор о хэлловских меморандумах, а затем устроил эту встречу государственного секретаря с советским министром, чтобы отстранить государственного секретаря от участия в переговорах и сделать возможным участие в них Гопкинса.

— Значит, экипаж русского самолета впервые прошел по океанской трассе из Москвы в Вашингтон? — спрашивает президент, улыбаясь, — более чем сложный маневр, который он только что осуществил с первым дипломатом Америки, решительно улучшил ему настроение.

— Да, впервые, господин президент, — говорит Молотов. Ему еще не ясно, почему президент вернулся к этому разговору, но сам разговор советскому наркому приятен.

— А нельзя ли пригласить русских летчиков к президенту и дать ему возможность пожать им руки?

Молотов смеется:

— Благодарю вас, господин президент. Они сочтут это за честь.

Некоторую скованность — Егор Иванович заметил ее в Рузвельте, когда они вошли в кабинет, — к концу беседы удалось победить.

Президент сказал, что он хотел бы провести нынешний вечер в кругу гостей и приглашает их на обед, всех гостей. Как показалось Егору Ивановичу, в этом жесте не было ничего протокольного. Просто президент полагал, что предстоящему разговору с русскими большая мера человеческой теплоты не будет противопоказана.

Когда Бардину сказали, что обед будет в овальном кабинете президента, он вспомнил знаменитые пресс-конференции Рузвельта, некоторые из них проходили здесь. То, что принято было называть овальным кабинетом, точнее было бы назвать залом — он был достаточно просторен. Как многие другие апартаменты дома, которые успел повидать Егор Иванович, зал был выдержан в светлых тонах. (Этот дом был ярко-белым и изнутри). Наверно, не потому, что здесь был кабинет президента, место его деловых встреч, но и благодаря самим формам помещения зал не обременяли обычные

дворцовые атрибуты: лепнина, хрусталь, посеребренный и позолоченный металл и дерево. Единственным украшением был довольно строгий бордюр по грани потолка, как бы подчеркивающий форму кабинета — правильный овал.

Бардину показалось, что президент любит этот свой кабинет и работает здесь не только тогда, когда имеет дело с внушительной группой посетителей. Доказательство этому Бардин увидел и в том, что квадратная металлическая корзина для бумаг была далеко не пустой, а на столике-этажерке (протяни руку и достанешь) лежали сегодняшние газеты. Для удобства президента газеты были разложены так, чтобы были видны названия (кроме почтенных нью-йоркских и вашингтонских Егор Иванович увидел крупные провинциальные: «Чикаго трибюн», бостонскую «Крисчен сайенс монитоор», «Филадельфия инкуайер»), а три ряда полок, расположенных в нише, врезанной в стену, были заполнены томами справочных изданий, которые нужны были президенту повседневно.

Да и нынешний обед был, очевидно, устроен в кабинете, чтобы дать возможность президенту в случае необходимости взять телефонную трубку — время военное!

Егор Иванович полагал, что в этом кабинете приятно работать: трехстворчатое окно, высокое и просторное, расположенное за спиной президента, выходило в парк с его ярко-зелеными лужайками и темными купами старых дубов. Можно подумать, что в погожие весенние и летние дни президент, очевидно, работал при открытых окнах и в эти дни запах нагретой солнцем листвы вместе с отсветом молодой травы, казалось, входил в дом.

— Признаться, роль хозяина за обеденным столом много приятнее, чем за столом письменным, — произнес президент, опираясь на могучую руку камердинера и медленно передвигая большие ноги. Наверно, когда президенту неможется, потребность в шутке особенно велика. Нет, не только чтобы превозмочь недомогание, но и сделать вид, что не больно. — Виски, водку или коктейль? Если коктейль, разрешите приготовить мне, — обратился он к гостям. Его страсть к приготовлению коктейлей была известна. Сам он почти не пил,

но любил, когда пили другие, при этом как мог помогал этому, приготавливая коктейли,— здесь у него был дар.

— Ну что ж, коктейль, да еще из рук президента, это, наверно, хорошо! — возликовал Гопкинс и оглядел русских гостей. На обеде были все, с кем накануне беседовал президент, и отсутствовал Хэлл — это заметно воодушевляло Гопкинса.

— Да, да, только коктейль! — подхватил Рузвельт, окруженный батареей бутылок необычной формы и расцветки (синего, зеленого, гранатово-алого стекла). Президент был похож в этот момент на средневекового алхимика, добывающего мудреное зелье.— Да, коктейль! — Он рассмеялся, рассмеялся так сильно, что должен был снять очки и протереть глаза.

Как казалось Егору Ивановичу, у президента была необходимость явить знаменитое рузвельтовское обаяние, но в кругу своих русских гостей он, возможно, был более робок, чем обычно. Нет, его сковывало не только то, что в отличие от многих бесед, которые он вел, приходилось говорить сейчас через переводчика и пока слово совершало непростое путешествие от президента к переводчику, а от переводчика к собеседнику президента, оно выцветало. Сама манера, в которой вели переговоры русские -- точность и непреложная конкретность, — заметно сковывала президента, больше того, мешала ему стать самим собой. Может быть, и обед этот он придумал для того, чтобы почувствовать себя наконец в своей тарелке? Человек, страдающий тяжким недугом, он искал спасения в смехе.

А между тем президент провозгласил тост за здоровье русских гостей. Он сказал, что много думает о послевоенном мире. Хорошо бы осуществить разоружение, оставив оружие только для полиции, чтобы она имела возможность наблюдать за преступными силами, вроде нынешних Германии и Японии. Он убежден, что мировое хозяйство не сможет подняться из пепла, если придется тратить средства на вооружение. По его словам, будущее, поддающееся нашей способности предвидеть, простирается на четверть века, и мы сегодня должны обеспечить мир, по крайней мере, на эти двадцать пять лет. Президент провозгласил тост за русских гостей, бокалы были разом опорожнены —

бокалы с коктейлем президента. Искусство президента было оценено по достоинству, обед начался.

Президент пригубил свой бокал и просил положить ему салата с креветками. Он сказал, оглядываясь по сторонам, что только на банкетах ему и удастся обмануть бдительность приставленной к нему прислуги и съесть то, что ему действительно нравится.

— О, никто так плохо не ест, как президент Соединенных Штатов. — И, улыбнувшись тайной мысли, он махнул рукой. — Человеку кажется самым вкусным то, что было вкусным в детстве. Я люблю жареные фисташки! Все отдам за пригоршню фисташек. Но те, кому доверена моя жизнь, считают, что именно в фисташках может быть упрятана моя погибель. И вот бедные фисташки вступают на тернистый путь: полиция пытается их рентгеном, химики — кислотами и прочая, и прочая... Это продолжается до тех пор, пока фисташки не попадают к человеку, который должен принять решение, давать фисташки президенту или не давать. И он решает: «Эка невидаль — фисташки. В мусорную корзину их! Жил президент без фисташек, проживет еще». Вот и получается, чтобы есть фисташки, президент не должен быть президентом.

Президент смеется вместе со всеми. Только, пожалуй, Гопкинс серьезен, рассказ о фисташках он уже слышал. Но Бардина немало позабавил рассказ. Что говорить: Рузвельт может быть приятным хозяином. А ведь разговор с Гувером — Бекетов напомнил Егору Ивановичу это вовремя — мог происходить и в овальном кабинете. Да, Рузвельт сидел не за письменным столом, а за журнальным, и телефоны были переключены туда, они переключаются, достаточно всмотреться пристальней, чтобы увидеть и штепсели. И все в кабинете было, как сейчас: и эти три полки со справочниками, и столик для газет, и знамена на дровяках из красного дерева. Да, эти вещи из овального кабинета были очевидцами иного поведения Рузвельта, вещи — свидетели. Если допросить их, они, пожалуй, расскажут. Да где же кончается один Рузвельт и начинается другой?

Русские гости задерживаются у президента до полуночи. Вопреки протоколу и, пожалуй, здравому смыслу. Можно и побережь себя — утром переговоры.

— Господин Молотов, кого вы хотели бы видеть в Вашингтоне? — спрашивает президент. Для того чтобы быть радушным хозяином до конца, пожалуй, этого вопроса не доставало, но для Молотова этот вопрос неожидан, вон каким пасмурным стал русский делегат.

— Быть может, адмирала Стэндли или посла Девиса... — произносит Молотов, раздумывая. Об адмирале Молотов уже говорил президенту. Возникало и имя посла Девиса, президент знает, что русские доверяют его доброжелательности. Кто-то рассказывал Бардину: незадолго до войны, когда осложнились отношения между Америкой и Россией, непредвиденно осложнились, Девис просил Рузвельта направить его в Москву. «Я сумею поладить с русскими», — сказал он.

— Да, адмирал Стэндли, адмирал Стэндли, — произнес президент.

Молотов назвал Девиса и Стэндли. Рузвельт упомянул только Стэндли. Случайно ли он опустил имя посла или сознательно? Посол, судя по всему, не очень ладил с Хэллом. Наверно, в том, как Девис относился к России, было нечто общее с тем, как относится к ней сегодня Гопкинс. Устроить встречу Молотова с Девисом — значит еще больше осложнить отношения с Хэллом. С Рузвельта хватает и Гопкинса, Рузвельт произнес имя адмирала, о после Девисе он умолчал, хотя настроение у него было в этот полночный час преотличное и он готов был делать благие дела и после полуночи.

Вернувшись в гостиницу, Бардин застал на столе телеграмму от Мирона: «Буду в Вашингтоне шесть вечера, радуюсь встрече. Жди звонка». Первая мысль: «Удастся ли освободиться к шести?» Потом пошли воспоминания. Бардин видел брата в последний раз где-то в июле прошлого года. Брат заехал в наркомат по дороге на аэродром. Егор Иванович вышел к памятнику Воровскому. Мирон оброс рыжей бородой (чужак-человек, он не внял совету Егора: шрам, рассекший щеку, делал его лицо энергичным!), в новенькой форменной гимнастерке цвета табака, видно, сшитой по случаю командировки. «Лечу на заводы Сикорского и Север-

ского! — произнес Мирон и указал взглядом на автомашину, в которой, как заметил Бардин, было еще несколько летчиков в таких же табачных гимнастерках. — И то дело, русские правят и американским небом!.. — «Ты надолго?» — «Не знаю. Как пойдут самолетики через Аляску, сбегу!.. Пыльно! Она хоть и военная дипломатия, а дипломатия. С Бардиных и одного дипломата хватит. А мне водить бы «мощу» да рубить фашиста! Как там, на Гвадалахаре!» В этот момент машина, стоявшая поодаль, подавала сигнал, мол, время вышло, пора и совесть знать. «Скажу наперед, Америка не по мне!.. — бросил он, прощаясь. — В Америку революция придет последней. А может, не так?» Вот и все, что успел сказать Мирон за те десять минут, в течение которых свела их судьба у памятника Воровскому. Ему так и не удалось вернуться из Америки ни через месяц, ни через шесть. «Америка не по мне!» — сказал он тогда. А как теперь?

Мирон опоздал со звонком. Попутный «дуглас», которым Мирон летел в Вашингтон с тихоокеанского побережья, сделал вынужденную посадку где-то около Виннипега.

— Ну да не беда, главное, я уже здесь, — крикнул Мирон, позвонив с аэродрома. Жди меня... ну, знаешь, позади Белого дома, у этой металлической решетки, там эти очереди экскурсантов, понял? Там и я как-то стоял.

Не было бы у брата бороды, пожалуй, и не узнал его — Мирон явился в штатском.

— А я думал увидеть тебя в этой твоей гимнастерочке, а ты истинный денди! — воскликнул Егор, когда они зашагали вдоль ограды, и взглянул на брата. Мирон носил костюм с той щеголеватой праздничностью, с какой носят его военные.

— Что ты! На заводе я постоянно в своей форме, а вот в город не очень, — произнес Мирон и толкнул брата плечом, толкнул с радостной отвагой. В кои веки привалило такое счастье — встретить в Америке брата. — Как признают во мне русского военного, хоть улицу закрывай. «Лонг лив Раша!» — и все тут!.. А признать не мудрено — красная звездочка! Когда наши трахнули немцев под Москвой, я был в Вашингтоне. Так меня тут вот, у Белого дома, подняли на руки

и принесли в гостиницу! С тех пор я и порешил, не хочу, чтобы меня носили.

— Боишься, уронят? — засмеялся Егор.

— Боюсь, — признался Мирон и, подумав, сообщил: — Я тебя сегодня делить не хочу даже с президентом Штатов!

— Это ты к чему?

— Говорю, делить не хочу, а это значит, побудем, брат, вечером вместе. Как ты?

— Ну что ж, вместе так вместе.

Хотя Мирон бывал в Вашингтоне наездами, он знал город хорошо. На северо-восточной окраине был дом, где жили русские морские офицеры, прибывшие в Штаты с такой же миссией, как и Мирон. Дом принадлежал грекам, родные которых перебрались из России в Штаты в начале века. Хозяйина сожгла чахотка, сожгла в середине тридцатых годов, и дом остался на руках его сорокалетней жены и двух сыновей, старшему из которых было семнадцать, а младшему пятнадцать. В доме еще жила сестра хозяйина, совсем глухая. Существо одинокое, замкнуто-печальное и самоотверженное в своей любви к племянникам и дому, Айяка не сразу доверилась русским, а доверившись, была к ним добра. Все это рассказал Мирон брату, пока машина, подпоясанная клетчатым пояском, несла их к северо-восточной окраине Вашингтона.

— А прекрасная гречанка говорит по-русски? — переспросил Бардин и едва удержался, чтобы не засмеяться.

— Так, чуть-чуть, но ее научили не столько родные, сколько ее нынешние постояльцы.

— Ты научил? — спросил Бардин строго.

— Да что ты на меня смотришь зверем? — вдруг взъярился Мирон. — И я научил. Только то, что ты вообразил себе, не так.

— Верю, верю, — сказал Егор и, нащупав острое плечо брата, сжал. — До каких пор ты будешь таким дохлым? Кости торчат, как у доходящей клячи! Хоть бы на американских харчах набрал малость.

— Такие, как я, не набирают, — произнес он и усмехнулся. «Толщина физическая, она от толщины душевной!..» — будто говорила эта его усмешка. А Бардин думал, сколько помнит он Мирона, всегда был

таким вот маленьким и костистым. Точно и не Бардин. Будто сладили его из остатков, из того завалящего, что наскребли где-то на доньшке. Истинно, последний. Чем он только очаровывает прекрасную гречанку? Обделили его начисто, разве только ума и злости родные отвалили полной мерой. Нет, не той злости, что стала душой и энергией себялюбия, а той, что идет от неудовлетворенности самим собой, от горящей души. Иной бы угомонился, а этот разлегся на углях и вставать не собирается с этих углей. Вот Яков обстоятельно спокоен, невозмутимо могуч, таким, как Яков, хорошо мосты строить: если и возвели мост, то навечно. А с Мироном и свай не вобьешь — изведет... «Знаешь, Егор, столько еще бед на земле... Не могу отстраниться от чужой боли и не умею...» — «Ты полагаешь, я умею?» — «Не знаю».

Хозяйки дома не было, а мальчишки забрались на голубятню. Видно, кучный табунок вернулся из высокого высока уже после того, как село солнце. В доме оказалась только Айяка. Она ударила каменной ладонью Мирона по плечу, с силой трянула руку Егора и, радуясь встрече, в немом смехе обнажила желтые зубы и повела братьев в дальний конец галереи, где и прежде была комната Мирона.

— Располагайся, как дома, люди они добрые, я им верю, — указал Мирон на дверь, в которую вышла Айяка. — Ты читал сегодня газеты? — спросил он и взглянул на брата быстро и пристально, будто припечатал.

— Ты имеешь в виду Севастополь?

— Да, Севастополь... Тут вот надо мной жил морячок, его прямо с Херсонеса сюда прибило. Вот ночью, бывало, как замычит, как заколотит пудовыми кулачищами! Только Айяка его и не слышит. Что там Гвадалахара, когда есть Севастополь! Хотя Гвадалахара достойна великой чести. Как в Севастополе, белые камни, белые на открытом солнце... Значит, Севастополь? Ой, лето будет!.. Ой, лето!.. — Он протянул руку к шторам, раздвинул — его давила эта полутьма. — Как президент? Как он тебе, а?

Вот задача — президент! Ну, началось! Истинно, прав Сергей Бекетов: то, что не успел сказать он о президенте Штатов, доскажет Мирон.

— Так тебе лучше знать, какой он президент.

— Почему мне лучше?

— Если дает самолеты, значит, хорош. Как с самолетами для Страны Советов?

Мирон поскреб указательным пальцем рыжую бороду.

— Я скажу, а ты сам суди. Мы получили за два зимних месяца двести пятьдесят истребителей, а хотели бы получать пятьсот ежемесячно.

Бардин не стал веселее от Мироновых слов.

— Наверно, это меньше, чем мы хотели бы, но и это дело, не так ли?

— Так, конечно, — согласился Мирон, не выразив энтузиазма. — А коли так, то лучшего президента в Америке нам и не надо, а?

Бардин чувствовал, Мирон точно подводит под него мину. Подводит с неотвратимой последовательностью. Егор Иванович видел это, но продолжал идти своей тропой.

— Короче, ты хочешь знать, что я думаю о Рузвельте? — спросил Бардин.

— Хочу.

— Тогда слушай. Дай бог, чтобы жизни Рузвельта хватило до нашей победы, с другим президентом нам бы пришлось труднее.

— Значит, бог послал нам Рузвельта, так? — усмехнулся Мирон.

Бардин умолк. Непросто было ответить на вопрос Мирона, ответить так, чтобы не оставалось места для иронии.

— Не видел бы я его, пожалуй, умолчал бы. Но вот сегодня, только сегодня я видел, у него есть добрая воля и та мера понимания наших нужд, которая дает мне право сказать: с ним я могу договориться. Был бы на его месте Черчилль, мне было бы труднее.

— Значит, Черчилль плох, а этот хорош, так?

— Думаю, что Рузвельт не Черчилль..

— Вот вы все такие... Советские либералы!.. Ублажат вас, пригласят к столу, обласкают и ободрят, скажут, что приветствуют в вашем лице великую Россию, вы и потекли патокой. А вот если взять вас в ваших визитках и манишках да на белые камни Гвадалахары, да, да, на те самые камни, которые обагрены с благо-

словения таких, как Рузвельт! Хотел бы я видеть, как повело бы вас. Или свозить вас на хлопковые поля Джорджии или там Алабамы и показать вам, как свистит бич надсмотрщика не в восемнадцатом веке, а сегодня... А ведь это тоже с благословения президента.

— Ты что же, хочешь, чтобы, явившись сюда, мы хлопнули дверью? Этого ты хочешь?

Мирон стоял сейчас, маленький, рыжебородый, с всклокоченными волосами, редкими, но жесткими.

— Нет, я не такой безнадежный, как ты думаешь.

— Тогда чего ты хочешь?

Младший Бардин зашагал по комнате, зашагал с такой силой, что буфет для чайной посуды, стоящий в углу, точно музыкальный ящик, запел на все голоса.

— Я просто хочу, чтобы вы не давали обратить себя в этаких Маниловых от политики. Чтобы вы знали цену и этому вину, и этому слову. Чтобы призрак белых камней Гвадалахары, как белых камней Севастополя, всегда стоял перед вами, напоминая о тех, кого нет среди нас. Чтобы вас постоянно жгла ненависть к людям, которые хотят выглядеть сейчас нашими друзьями, а на самом деле стояли, стоят и будут стоять — ты слышишь, будут стоять! — по ту сторону фронта, разделившего мир надвое. Вот чего я хочу! Да что там говорить! Хочу просить тебя, сделай милость, представь мир лет через пять после войны, нарисуй его себе году в сорок восьмом или там сорок девятом. Ну подымись этак на каланчу... тысяча девятьсот сорок девятого года! Подымись, подымись. Ах, как хорошо видно с нее. Рассмотрю и Гвадалахару с Барселоной, и Мюнхен, и вот этот союз с американцами, и этот твой вояж за океан... Что греха таить, вы, дипломаты, временщики, ваше дело конъюнктурное, но и вам не грех соизмерять его с тем вечным метром, что, как нас учили в школе, хранится там где-то, в заповедных сенях науки, и составляет энную долю земного меридиана. Сверять, как оно, ваше нынешнее дело, соотносится с этим вечным аршином. Не слишком ли вы поддались настроению, не изменила ли вам ненароком память, не очень ли вы поверили партнеру, он ведь вон какой мастак рулады распевать, соловей златоголосый, и только!

— Погоди, а что есть этот твой аршин? Правда наша?

Мирон просиял — не все, что говорил младший Бардин, прошло мимо Егора, что-то постиг и он.

— Наша вечная правда, — сказал Мирон и посмотрел на Егора из своего сумеречного угла. — Я у тебя вроде занозы в пятке, не так ли? Хочешь ступить, а она, заноза, хватя! А тебе страсть как надо на пятку ступить, потому твой шаг сановный с пятки начинается. Ты не ходишь, как все. Шаг человеку дан, чтобы нести тело, а тебе, чтобы передвигать свою сиятельность. Вот ты ступаешь и, истинно, ног под собой не чувствуешь: вот я какой сиятельный! Вот я какой вальяжный! Я — как моя бабка Елизавета. Ту тоже все обожали за ласковую мудрость, покладистость и доброту. А как ее не любить, если у нее в каждом кармане по фунту барбариса. Даст барбарисинку и точно человека в карман положила. Прости меня, брат, но что-то у тебя от этой бабки Елизаветы, твоя доброта превратилась почти в профессию.

— Бабка Елизавета тут ни при чем. Ее ума и ее щедрости на нас двоих хватит да еще Якову перепадет. Сколько бабка Елизавета выходила сирот на своем веку, иному приюту не объять. Я, брат, отрекаться от бабки Елизаветы не буду. Говоришь, на бабку Елизавету похож? Спасибо тебе за это. Это же великая честь — на нее походить. Чем же это плохо, если я помогу тетке Пелагее или внуку дяди Миши? Тетка девчонкой осталась вдовой и пошла в прачки, чтобы своих двух младенцев до ума довести, а ведь Ленька, внук дяди Миши, — сын солдата, сгоревшего в монгольской степи. Верно, мне хорошо, когда я помогу. Верно, у меня на душе праздник, когда я подсоблю человеку. Больше того, хожу, как именинник. Все ловлю себя на мысли: «Что у меня так светло вот тут? Ах, Леньку приняли в фабзауч, и я, грешен человек, помог парню...» Но ведь, видит бог, мне от этой подмоги ничего не надо.

— Вот тут-то и собака зарыта — надо!.. Ты ведь помогаешь почему? Не потому, что тебе жаль Леньку! Нет. Тебе надо ощутить себя этаким, прости меня, Иисусом! Вот, мол, я какой хороший! Нет, будь честен, скажи, прав я? Я ведь тебя знаю. Прав? Только будь честен.

— Погоди, ты хочешь отнять у меня и право радо-

ваться тому доброму, что я сделал? Я же тебе сказал, сделаю доброе, и у меня светло вот тут. Да, я рад. Но только не для того я делаю все это, чтобы радоваться. Ну что мне до того, что Ленька скажет?

— Нет, брось, это для тебя важно. Ты ведь хочешь слыть добрым. Для всех добрым. Даже для тех, кого друзьями нашими никак не назовешь. К слову, приехал в Америку — только подумать, в Америку! — и хочешь быть добрым! Ну вот, к примеру, что тебе быть добрым к Рузвельту? А ты хочешь быть добрым и к нему. Даже смешно, к Рузвельту!

Бардин смешался — не часто приходилось Егору Ивановичу отбивать такой натиск. Мирон шел на приступ с той энергией и настойчивостью, какая вдруг обнаруживалась в нем, когда речь заходила о чем-то таком, что было его убеждением, его верой.

— Прости меня, но ты упрям, Мирон!

— А это вот нечестно, ты же знаешь, это не так. Нет, не в упрямстве дело.. Пойми, мне надо найти общий язык с Рузвельтом. Надо вот так! Пойду я к нему с твоей неприязнью, погублю дело, да меня и не пошлют, если верой моей будет неприязнь.

— Значит, ты на время твоего вояжа перестаешь быть самим собой? Надеваешь маску?

— Нет, не надеваю, да у меня и нет необходимости в этом — Рузвельт достаточно реальный политик, чтобы понимать, с кем имеет дело...

— Реальный политик? Вот это и есть формула всеядности — реальный политик! Вот послушаешь вас, и кажется, мир населен сплошь реальными политиками, а враги провалились в тартарары. Ты заметил, у вас нет врагов. Вон там, подо Ржевом и в Севастополе, они есть, а у вас нет. А может быть, бросить вас на месячишко-другой в пламя, а? Помнишь воспитание под Верденем? Да воспитание на раскаленных севастопольских камнях? Как ты?

Вот ведь человек развоевался, подумал Бардин. Видно, он давно готовился к этому разговору. Готовился сам, готовила его жизнь. Чтобы понять его, не надо возмущаться. А может, перевоплотиться в Мирона? Но перевоплотиться ведь непросто. Попробуй стань

Мироном, когда у него были Гвадалахара с Барселоной да еще Уэска в придачу?

— Нет, именно реальный политик. Ничего иного я не хочу искать. Реальный политик. Вот ты сказал, вечный аршин. Для меня он вечен, как и для тебя. Однако прикинь этот аршин. Что это тебе скажет? Мы живем в этом мире не одни. Волею истории живем не одни и, я так думаю, еще будем жить не одни. Ленин послал Чичерина в Геную! Он послал его, наказывая сесть за стол переговоров с Ллойд-Джорджем. Кстати, Ленин готов был сам отправиться в Геную, а это значит, разговаривать и с Ллойд-Джорджем, и с Барту, и с Виртом. Он готов был это сделать потому, что был меньшим революционером, чем ты? Нет, он понимал, мы живем еще с тем миром, и нам надо уметь с ним разговаривать. Ты пойми, чадо милое, уметь! А это значит: уметь расколоть их и сшибить лбами, как во времена Бреста. Уметь расположить, как это умел Чичерин. Да, я не хочу выбирать слов — расположить! Мы ведь знаем, назначение Чичерина—инициатива Ильича. Однако почему Ильич назвал именно это имя — Чичерин? Человек интеллекта недюжинного? Да, но среди сподвижников Ильича таких было немало. Знаток языков? И это было не в диковинку. Тогда почему? Он был потомственным аристократом да к тому же еще дипломатом кадровым. Чичерин стал Чичериным не потому, что он был аристократом, но в какой-то мере и поэтому. При равных условиях у него было больше шансов расположить собеседника, установить контакт. Вот и соображай. В той же Генуе были и Воровский, и Литвинов, и даже Рудзутак, а главой делегации был Чичерин. Конечно, легче всего отдать себя во власть неприязни. Но какой толк в этом? Вот возьмем, к примеру, тебя, чадо милое. Нет, я не оговорился, тебя, тебя! Зачем ты приехал в Штаты? Добыть самолеты для России, не так ли? Да, добыть и трудной дорогой переправить сражающейся России. Не только это является делом твоим насущным. Тебе еще надо, и это ты знаешь лучше меня, увидеть нечто значительное. Нет, не будь дураком и не пытайся откреститься: сами с усами! Я дело говорю. Значительное и в сфере профессиональной. Пойми, то, что тебе покажут сегодня, завтра могут и не показать. Уразумей истину эту. Ты

сумеешь совладать со всем этим, если будешь в силах расположить к себе людей, если хочешь установить контакт с ними. Значит ли это, что ты поступишься своей первосутью? Нет, разумеется, но если говорить о пользе для России, для революции, верен путь мой, не твой. Врага надо ненавидеть, но при этом не лишать себя ни ума, ни глаз. Иди-ка ты, Мирон, к лешему. Или нет. Оттого, что я пошлю тебя к лешему, ты ведь не перестанешь быть моим братом. Одним словом, я есть хочу. Тебе хорошо с твоими сиротскими килограммами, а каково мне с моими пудами!

Мирон расхохотался:

— А я думал, чего это ты усох? На глазах пуды обратились в килограммы. Пошли на кухню.

Братья пошли на кухню. Ну конечно же тут жили греки. Стояла чаша с оливками. По карнизу были развешаны связки красного перца. Пахло жареным мясом, приправленным луком. Айяка стояла поодаль и наблюдала, как Бардин снял пиджак, освободил манжеты сорочки от запонок и, закатав рукава, вымыл и насухо вытер руки. Она сказала «Ийу-у-у!», когда он взял нож и застучал по кухонной доске, рассекая мясо на мелкие куски. Она кричала «Ийу-у-у!» еще и еще раз, показывала Бардину желтые зубы и хлопала Егора Ивановича по толстой спине, выражая одобрение. А когда Бардин разжег мангал и, нанизав мясо на шомпола, укрепил их над углями, она расхохоталась и, изловчившись, ухватила за чуб и так рванула, что у него потемнело в глазах.

Вечер не принес свежести, наоборот, становилось душнее. Братья накрыли стол на галерее. Было так темно, что на белом поле скатерти все стоящее на столе едва угадывалось. Пришла молодая хозяйка. Несмело приблизившись к столу, воскликнула: «О Мирония!..» Бардин встал, пододвинул ей стул, но она продолжала стоять. «О Мирония... Мирония!..» — повторяла она. Ее платье шуршало сухим и ломким шумом, а в волосах светился гребень, усыпанный стеклярусом. Непонятно было, как он отразил нещедрый свет этой ночи. «Ты садись, Тамара!» — говорил Мирон, но она только повторяла: «Мирония, Мирония...» Она ушла, оставив этот шорох платья и запах духов, удушливо-сладкий, южный.

— У нее серые глаза? — спросил Бардин.

— Нет, карие, — ответил Мирон. — Светло-карие, — уточнил он, опомнившись. Он думал о чем-то своем.

— А мне показалось, что серые, — заметил Егор.

Они сидели, как-то потерявшись. Энергия и страсть их встречи мгновенно улетучились, каждый ушел в свои думы. Недопитая бутылка стояла, едва приметная в темноте, линия вина точно окаменела, вино не шло.

— А как Ирина с Ольгой? — вдруг затревожился Мирон.

Наконец-то! Весь вечер Бардин ждал, когда он заговорит об Ольге. Весь вечер ему чудилось, вот-вот. Но Мирон, казалось, забыл о ней. Егору даже подумалось, чем ожесточеннее был их спор, тем большей решимости исполнялся Мирон не говорить об Ольге.

— Ты это к чему? — спросил Бардин и затих. Во тьме ворковали напряженно голуби. — К чему это ты?

— Что ты будешь делать с нею? — спросил Мирон.

— С кем, с Ириной?

— Нет, с Ольгой.

Бардин понял, все, что он, Бардин, носил эти месяцы в себе, все, что было его тайной, самой тайной из тайн, все, в чем он даже себе признавался не без робости, все, что он так храбро нес, стараясь сберечь, каким-то чудом перебросилось через океан и поселилось в сознании брата. Чудом ли? У каждой мысли есть свой зачин и свой венец. Быть может, в самом зачине зернышко решения. А остальное в биении сердца да, пожалуй, в упорстве мысли. Как ни глуха дверь, стучи в нее, стучи день и ночь, стучи без усталости и достучишься.

— Почему с Ольгой? — затревожился Бардин.

Брат смотрел во тьму. Где-то вскрикнула машина и смолкла. Далеко, за черными купами деревьев, за знойной тьмой (небо здесь, как где-нибудь в Красноводске или Кутаиси, удушливо-черное, щедро засеянное звездным просом), за черными контурами деревянных сараев, прошел поезд, в будке с голубями сорвалась с жердочки крупная птица. Было слышно, как мягко шумят, посвистывая, ее крылья.

— Сказать? — переспросил Мирон.

— Да, скажи.

Мирон вздохнул.

— Это было давно, еще до Ясенец, до Испании, даже до Иришки. Нет, пожалуй, Иришка уже была. Одним словом, это было давно. Вы жили летом в Пушкино, и я приезжал готовиться к зачетам и увидел Ольгу. Она была совсем девочкой, а я уже мужчина — академия почти на ущербе. В тот день на ней была юнгштурмовка, тогда все юнгштурмовки носили. Мы пошли в березовый лесок, там необыкновенный березовый лесок — бело как в белостенном городке. И я там ей открылся. Я давно хотел ей открыться, но не решался, а тут, может быть, потому что академия была уже позади. Короче, взял и сказал, а она... Вот до сих пор у меня ее голос вот здесь: «Я однолюб... И я уже не перелюблю!» Мы ведь с нею были друзьями, я и спросил: «Кто он?» И она сказала: «Егор». Я бы о многом мог ее спросить тогда, но на это у меня сил уже не было. Я ушел от нес, даже в Пушкино не вернулся, в беспамятстве отшагал по лесам километров сорок и выскочил к железной дороге где-то у Загорска. Потом я узнал, что она вышла замуж, но это не потому, что она переменилась, такие не меняются, просто кинулась в замужество от тоски. Нет, я не хочу сказать, прилепилась к семье твоей, чтобы дожидаться своего часа. Нет, не в этом дело. Просто после гибели Алексея она еще больше уверовала: здесь ее звезда! О, я знаю Ольгу, она по-своему суеверна и может так сказать: здесь! И вот эта храбрость ее, когда сыпались зажигалки на Ясенцы, это не от любви к сестре, а к тебе, к тебе, дьявол толстый! И вот эта самоотверженность, когда она призрела и больного отца твоего и дочь. Надо знать их, чтобы понять, за это по доброй воле не возьмешься. А что это говорит тебе? Так вот она взяла и обрекла себя на подвижничество? Что говорит тебе, когда она принимается лопатить просторные твои уголья в Ясенцах, выворачивая булыжник да гальку, я знаю эти твои уголья! Или, подоткнув юбку, меняя одну воду за другой, принимается мыть полы? Или мылить и драить твоих чад, а потом их обстирывать? Ты думаешь, что она это делает из любви к причудам? Нет, поверь, никакое чудачество не заставит человека до ломоты в пояснице лопатить

эти твердые твои суглинки, лопатить в радость. А она это делает в радость, я это знаю. Есть одно зелье, которое превращает муки в радость, — любовь. Вот полюбит человек, и все ему в охоту: и труд ему не в труд, и тяжесть не в тяжесть, все наполовину легче. Ты это видишь, дьявол толстый?

Бардин сидел безмолвно. Нет, это посерьезнее спора о советском либерале. Бардин будто растворился в ночи. И звездное пшено вдруг тронулось с места и потекло неяркой рекой. И контуры деревьев и крыш незримо поднялись и сомкнулись с небом. И голоса, что были так четки, вдруг размылись и плеснулись неземным гулом. Как в далекой юности, когда вдруг долго смотришь на небо и оно, опрокинувшись, становится землей.

— Ты это видишь, Егор? Видишь? Ну что приумолк? Небось трудно, брат? Сразу и не скажешь, а?

Бардин вздохнул, вот ведь задал задачу человек напоследок.

— Не скажешь,— произнес Бардин и точно камень свалил с горба.

Бардин свез Мирона на аэродром, его самолет улетел за полночь. Бывают же дни такие. Не день — год превеликий, все вместил. Да сегодня ли утром Бардин был у Рузвельта? Вот так день.

Мирон улетел на западное побережье, поближе к авиазаводам. У него было много работы, он уже знал, что отныне самолеты-истребители будут идти в Россию летом через Аляску, и не терял надежды первую их партию снарядить еще в июне—июле. Мирон улетел, а у Егора Ивановича наступила пора раздумий нелегких, не шел из головы разговор с братом. Немало было сказано в течение тех четырех часов, которые они просидели на веранде дома, окруженные парной Вашингтонской тьмой, сказано важного, но было одно, что вытолкнуло из сознания все прочее, вытолкнуло властно, — Ольга.

В том, как Мирон заговорил об Ольге, была обида за нее и, быть может, за себя, за любовь свою. Она была светлой и храброй, эта любовь. Может быть, по-

этому Мирон, испокон веков считавший брата баловнем судьбы, полагал, что и здесь ему счастье привалило незаслуженно, и был не столько рад за брата и, пожалуй, за Ольгу, сколько обижен за себя. А как он, Егор? Хотел вспомнить ее и слышал голос ее посреди ветреного шадринского пустыря, голос одиноко и незащищенно горестный: «Люблю тебя, черта, и не могу ничего с собой сделать.. Сколько помню себя, всегда любила...» И было в этих словах что-то от женской муки, которая тем сильнее, чем обнаженнее и горше одиночество. С тех пор прошло месяца три, а в Бардине жили эти слова. Они казались радостно-озорными, а поэтому живыми, поджигаящими кровь. Да, они могли среди ночи разбудить Бардина, взломав тьму. Бардин прочь гнал мысли об Ольге, пытался гнать. Ну, конечно же, это была не столько любовь, сколько тоскливое беспамятство мужика, изголодавшегося по женщине.

А может быть, это любовь и у Бардина, тот первый ее проблеск, который, как слабый солнечный блик, не очень заметен. Бардин стыдился своего чувства.

Как было условлено, переговоры по главному вопросу начались 30 мая в десять часов утра, при этом состав участников был ограничен всемерно. За столом переговоров расположилось семь человек. Советскую делегацию возглавлял Молотов, американскую — Рузвельт и Гопкинс. Чтобы разговор не уходил от сути, Рузвельт просил согласия русских пригласить военных советников, генерала Маршалла и адмирала Кинга.

— Какие новости на Тихом океане? — спросил президент, обращаясь к адмиралу Кингу. Он это сделал чуть демонстративно, с намерением показать русским, что у него нет от них секретов. Этот вопрос, если взглянуть на него глазами американцев, был очень хорош как затравка для большого разговора. Как могли заметить русские, Рузвельт умел начать беседу.

— Ничего особенного, — ответил Кинг, очевидно проникнув в замысел президента. — Да, ничего особенного, разве только за исключением традиционного

спора между земной сушей и океаном. — Он взглянул, улыбаясь, на президента, точно давая ему возможность воспринять смысл сказанного. — Генерал Макартур схватился с адмиралом Нимицем, но причиной раздора оказалось недоразумение, и все обошлось, — закончил адмирал почти торжествующе. Он великолепно вышел из положения, этот хитрец Кинг: ответил на вопрос президента, ответил с видимой искренностью, приобщив русских союзников к столь деликатной материи, как спор генерала Макарура и адмирала Нимица, но ровным счетом ничего не сказал — недоразумение.

Американцы подхватили последнее слово своего адмирала «misunderstanding» — «недоразумение», оно резво вспорхнуло и облетело сидящих за столом.

— Мисандестэндинг, — сказал президент, улыбаясь.

Первый узел разговора был завязан, завязан неплохо, и президент на правах председательствующего счел возможным сказать несколько слов по существу того, что сегодня предстояло обсудить. Он сказал, обращаясь к Маршаллу и Кингу, что Молотов только что прибыл из Лондона, где он обсуждал проблему вторжения. Президент начал рассказ с азов («Молотов только что прибыл из Лондона...»), точно хотел этим показать русским, что он еще не говорил с военными о миссии Молотова и готов это сделать в присутствии русских, ничего не утаивая. Впрочем, Молотов может дополнить президента, как он сочтет это необходимым. Он сказал: Молотов потом сам осветит положение во всех подробностях. Итак, продолжал президент, Молотов говорил с англичанами о вторжении. Его приняли в Лондоне достойно, но воздержались от сколько-нибудь определенных обещаний. А между тем немцы сохраняют преимущество в технике и обстановка на русском фронте неустойчива. Русские хотят, чтобы англичане и американцы высадили на континенте десант, способный отвлечь сорок дивизий врага. Как полагает он, Рузвельт, положение следует признать трудным, а будущее серьезным. Не предрекая масштабов помощи, следует сказать, что Америка считает своей обязанностью в меру сил помочь Советскому Союзу.

Реплика президента была короткой, но она как бы задавала тон разговору: «Америка считает своей обязанностью помочь Советскому Союзу». Не реплика —

формула. Разумеется, президент не впервые говорил на эту тему со своими военными советниками, как не впервые он говорил об этом с Гопкинсом. Поэтому формула президента и его вопрос были как бы точным оглавлением проблем, которые он уже обсуждал со своими американскими коллегами. И не просто оглавлением, они давали представление и о том, в каких тонах эта проблема здесь обсуждалась. «Мы считаем своей обязанностью помочь Советскому Союзу». Все это важно было знать Молотову прежде, чем он намеревался ответить на вопрос президента. Именно потому президент сказал то, что он счел необходимым сейчас сказать, только такая формула могла вызвать расположение русских и стимулировать откровенный разговор.

Теперь говорил Молотов. Как ни оптимистична была реплика президента, Молотов волновался заметно. Если у его миссии за океан должен быть кульминационный момент, то этот момент наступил сейчас. Все, что отстаивалось в сознании в те долгие часы, когда четырехмоторный самолет шел над русскими просторами и русскими городами, погруженными во мрак, а потом переваливал через Атлантику, все, что вызревало в эти долгие часы воздушного путешествия, должно было обрести жизнь сию секунду. Молотов волновался — вот сейчас он заговорит, и, как это бывало с ним иногда прежде, смятение вдруг проникнет в стройные порядки его слов, и потребуются время, чтобы строй был восстановлен.

Молотов сказал, что сегодня Гитлер, в сущности, хозяин всей Европы. Надо надеяться, что в результате сурового единоборства 1942 года русские выстоят. Но, может быть, следует взглянуть и на темную сторону картины. Молотов так и сказал — «темную сторону картины», — имея в виду под этой нарочито расплывчатой и неопределенной фразой поражение Красной Армии. Он дал понять: как ни горестна такая перспектива, подобный оборот событий не исключается. В этом случае Гитлер смог бы значительно приумножить свое могущество, военное и материальное, и переключить силы на западный фронт, сделав его главным. Стоит ли говорить, что это привело бы к затяжке войны. По словам Молотова, силы, которые бросил Гитлер сего-

дня на восток, очень велики, и немцы попытаются нанести на востоке мощный удар. Мы полагаем, что сможем продержаться, но положение серьезно и вопрос стоит прямо: могут ли союзники предпринять наступление на континенте, которое бы отвлекло сорок дивизий? Если союзники скажут «да», исход войны будет решен еще в этом году. Если они скажут «нет», мы будем продолжать борьбу одни, делая все, что в наших силах, но никто не вправе ожидать от нас большего. Поездка в Лондон пока ничего не дала, советская делегация не получила сколько-нибудь положительного ответа. Черчилль просил Молотова остановиться в Лондоне на обратном пути из Вашингтона, русские полагают, что ответ англичан теперь будет конкретнее. Он, Молотов, отдает себе отчет, что в случае, если вторжение начнется, англичане должны будут взять на себя главное бремя, но он понимает, в какой мере значительной будет роль в этом деле и Соединенных Штатов. Молотов закончил заявлением: он не преуменьшает риска предстоящей операции, но хотел бы услышать прямой ответ, готовы ли Штаты к открытию второго фронта. Глава русской делегации так и сказал.

— Я прошу дать мне прямой ответ.

Молотов умолк. Гопкинс поднялся и закурил. Не гая зажигалки, он подошел к президенту. Президент взял сигару и принялся ее очищать, руки его в эту минуту больше обычного выглядели слабыми. Лицо Гопкинса продолжало оставаться сумрачно-суровым. Никто больше него не употребил усилий, чтобы нынешняя встреча состоялась, но он таил молчание. Советник президента крепко сомкнул рот, предоставляя президенту говорить то, что, казалось, должен был произнести он, Гопкинс.

— Ясно ли вам положение дел? — произнес президент, обращаясь к Маршаллу, когда сигара была очищена и зажжена. Молотов угадал: многое из того, что произнес президент в начале беседы, было обращено прямо к генералу. — Можем ли мы сказать Сталину, что готовим второй фронт?

— Да, — сказал Маршалл, и все пять американцев, сидящие за этим столом, точно повторили это «Иес», каждый на свой лад, но все одинаково сознавая, на-

сколько это значительно и ответственно для общего дела союзников.

Вновь заговорил Рузвельт, заговорил, переводя взгляд то на Маршалла, то на Молотова, будто бы поощряя их к разговору, который они начали. Президент просил передать Сталину, что американцы надеются на открытие второго фронта в сорок втором году. Он сказал «в сорок втором», и это «forty two», как только что произнесенное «уес», казалось, повторили вслед за президентом и Гопкинс, и Маршалл, и Кинг.

Говорил Маршалл. Говорил, положив кулак на кулак. По его словам, армия прилагает все усилия, чтобы большая операция на континенте, о которой идет речь, стала возможной. Он, Маршалл, человек военный, и ему понятны и серьезность нынешнего положения, и необходимость быстрых действий. (Маршалл произнес это, глядя на Молотова, точно давая ему понять, что согласен с тем анализом положения на европейском театре, который только что дал нарком.) Его, Маршалла, радует сопротивление, которое русские армии оказывают немцам. Если говорить откровенно, американцы располагают хорошо обученной пехотой, авиацией и бронетанковыми войсками. Трудность в транспорте. Маршалл полагает, что стратегический замысел должен заключаться в том, чтобы заставить немцев бросить на западный фронт всю свою авиацию, но это невозможно сделать без того, чтобы на них не оказывали давления наземные войска. Молотов строит свои расчеты на сорока дивизиях. Что же касается американцев, то они должны исходить из того, сколько солдат они способны переправить через Лэ-Манш, и начать генеральное сражение по уничтожению немецкой авиации. Американцам нужна воздушная битва.

Вновь заговорил президент. Он сказал, что каждый конвой, направленный к русским берегам, превращается в военную операцию в трех измерениях, и, пододвинув к себе блокнот, изобразил, что он под этим понимает: самолеты (он научился их рисовать, не отрывая карандаша от бумаги), корабли (под рукой президента они были хороши, но чуть-чуть старомодны, похожи на многопушечные фрегаты, которые президент рисовал в детстве), подводные лодки (на рисунке

президента перископ был больше своих размеров, зато было видно, это подлодка).

Кинг, внимательно следивший, как президент обозначил «операцию в трех измерениях», медленно заговорил. Да, в Нарвике и Тронхейме находятся крупные германские корабли, а в Северной Норвегии мощные авиабазы. Довести конвой в Мурманск и Архангельск — проблема серьезная. Особенно опасен отрезок пути от Исландии до Мурманска — германские самолеты засекают конвой и наводят на него свой флот, надводный и подводный. Чтобы обезопасить конвой, в открытом море должны находиться мощные силы английского и американского флотов. Вместе с этим два конвоя следуют навстречу друг другу из Исландии в Мурманск и из Мурманска в Исландию. Это делается для того, чтобы их могли прикрывать одни и те же самолеты. Советская авиация оказала бы конвоям немалую помощь, если бы подвергла бомбовым ударам базы подводных лодок в Нарвике и Киркенесе. Положение осложнено движением полярных льдов на юг — коридор свободной воды невелик, и это сужает радиус действия конвоев. Вот самая последняя весть: вчера вечером конвой, идущий в Мурманск, потерял пять судов и эсминцев. Очевидно, летом будет легче: льды отодвинулись на север, коридор свободной воды станет шире. Правда, охранять конвой в светлые дни полярного лета труднее, но это уже другая задача.

Как ни ярок был рассказ Кинга, президент первым установил, что его адмирал отклонился от маршрута и взял несколькими морскими милями в сторону. Но президент решил не обнаруживать этого, тем более что приближалось время завтрака и предстоял перерыв. Поэтому в тон адмиралу президент заговорил о делах, которые были достаточно насущными, но к проблеме большого десанта прямого отношения не имели. Например, о создании своеобразного воздушного понтона Америка — Россия через Аляску и переброске по этому понтону американских истребителей — перспектива достаточно дерзкая, но, на взгляд президента, реальная.

Молотов слушал президента с тем строгим, может быть, даже чуть-чуть хмурым вниманием, какое принимало его лицо, когда дело непредвиденно осложня-

лось. Действительно, рассказ адмирала Кинга о конвое, а потом эта реплика президента о переброске истребителей через Аляску могли сказаться на обсуждении главного — второй фронт. Пока этот вопрос не был решен, все остальные представлялись второстепенными. Каким бы обнадеживающим ни было сегодняшнее совещание (на вопрос президента Маршалл сказал «да», и в согласии со своими советниками президент назвал годом вторжения сорок второй), разговор не был окончен, больше того, наиболее ответственная его часть была впереди. Необходим документ, он должен зафиксировать достигнутое. Молотов слушал президента и думал о своем. Необходимо усилие, чтобы завершить прерванный разговор. Очевидно, усилие значительное.

...Когда часом позже за большим столом банкетного зала президент, обратившись к Молотову, спросил, не пожелает ли он ознакомить присутствующих с состоянием военных дел в России, советский нарком охотно откликнулся на эту просьбу. Быть может, эта просьба президента давала Молотову единственную в своем роде возможность еще раз подчеркнуть, в какой мере серьезно положение, и, таким образом, подвинуть американцев к решению, которое в эти дни вызревало. В иных условиях вряд ли была необходимость в столь суровых тонах рисовать положение России, но сейчас это было нужно.

Молотов сказал, что нынешние операции немцев являются, как он думает, началом летней кампании, к которой они готовились. В пику немцам, которые атаковали позиции советских войск в Крыму, Красная Армия начала наступление под Харьковом. Это весьма печально, но нет смысла скрывать факты. Керченский удар немцев заставил советское командование ускорить харьковскую операцию. Советская тактика под Харьковом, рассчитанная на окружение города, оказалась вначале удачной — советские войска вбили клин юго-восточнее Харькова. Немцы начали контр наступление в районе Барвенково, введя здесь шесть бронетанковых дивизий. Молотов сказал, что он уже две недели как из Москвы и положение на этом участке фронта представляется серьезным. По крайней мере, он не возьмется предсказывать исход этого сражения.

Как полагает Молотов, немцы могут в ближайшее время сосредоточить свое внимание на Москве или Ростове или даже проникнуть на Кавказ по линии Новороссийск — Майкоп — Баку.

Рассказ Молотова был откровенно суровым, суровее, чем хотели бы этого американцы. Молотовская фраза: «Это весьма печально, но нет смысла скрывать факты» — была лейтмотивом рассказа. Те из соотечественников президента, кто был настроен на празднично-легкомысленный лад, были чуть-чуть шокированы. Вместе с тем, казалось, президенту тон рассказа пришелся по душе. Можно было подумать, что именно такого рассказа он ждал от Молотова, ждал, чтобы сказать некоторым своим коллегам: «Я вас и прежде предупреждал, не следует недооценивать серьезности положения на русском фронте. Вот слушайте и мотайте на ус, если русским не будет оказана действенная помощь, мы усилим Гитлера и, чем черт не шутит, будем иметь дело с ним на американской земле!»

Час спустя состоялась церемония, которой президент, так можно было подумать, отвечал на сообщение Молотова.

Это был в какой-то мере торжественный акт: президент принимал весь состав делегации, а вместе с нею и экипаж русского бомбардировщика, доставившего делегацию за океан. Да, это было в характере Рузвельта: там, где он мог, он старался проявить полное радушие, тем более что ему предстояло пожать руки рядовым русским, солдатам и дипломатам, сражающимся против фашизма.

Присутствующих представлял Литвинов. Иногда президент прерывал посла и, обращаясь к тому, кого представляли, спрашивал: «Вы бывали в Штатах прежде?» Или: «Как вам нравится наша столица?» Или еще: «А не считаете ли вы, что американцы чем-то похожи на русских?» Президенту была приятна встреча с русскими летчиками. «Вы пионеры на пути из России в Америку! Я знаю, как трудно быть первым!» И, приподнявшись, что было ему нелегко, произнес, обращаясь к летчикам, короткий спич:

— Сейчас, когда вы знаете дорогу, вы побываете

здесь еще раз и привезете вновь народного комиссара.

Эта встреча, которая была так хороша по настроению, завершилась тем, что Рузвельт вручил Молотову список материалов, которые американцы обязались доставить русским в течение года. В том, как этот деловой акт был превращен хозяевами в церемонию откровенно торжественную, чувствовалось не столько удовлетворение тем, что сделано для России, сколько сознание, что все совершенное недостаточно.

Не надо было быть большим провидцем, чтобы предположить, что каждой встрече у Рузвельта, на которой присутствовали русские, сопутствовала встреча, на которой русских не было. Неважно, размышлял Егор Иванович, кто присутствовал на этих встречах, много важнее, какова была позиция каждого из тех, к совету которых обратился в эти дни президент, и, разумеется, позиция самого президента.

Гопкинс, пожалуй, был единственным, кто, кроме президента, был участником всех совещаний, происходящих в эти дни в Белом доме по русским делам. Но вот что интересно, Гопкинс если и высказывал свое мнение, то, очевидно, один на один с президентом. На самих же совещаниях он хранил молчание. Наверно, на это были свои причины, достаточно веские. Все, кто хотел атаковать Рузвельта, делали это, используя не очень понятное для внешнего мира положение Гопкинса при президенте. Гопкинс как будто давал недругам президента козыри, каких бы они никогда не имели, если бы Гопкинса не было. Если учесть, что удары получал не столько Гопкинс, сколько Рузвельт, то станет очевидным, сколь неудобна для президента была дружба с Гопкинсом. Если же все-таки он с ним дружил, то легко понять, как необходима была ему эта дружба. Гопкинс был советником президента в самом высоком и полном значении этого слова. Советником и, пожалуй, другом. Другом более бескорыстным, чем многие друзья президента. Говорят, Черчилль назвал Гарри Господином Корень Вопросы, имея в виду конкретность и существенность всего того, что делал Гопкинс. Это, пожалуй, верное определение. Сам Гопкинс делил людей на говорящих и делающих, относя себя ко вторым, но молчал он сейчас не по этой причине. Очевидно, он полагал, что должен отступить в тень, это

больше соответствует его положению в Белом доме и не столь обременительно для президента.

Маршалл? Если говорить о военных советниках президента, то генерал Маршалл, как убежден Бардин, является ближайшим. Можно предположить, что идея вторжения на континент в 1942 году возникла в беседах, участниками которых были президент, Гопкинс и Маршалл. Больше того, весьма возможно, что эта тема возникла во время поездки Гопкинса и Маршалла по Великобритании. Ходили слухи, что Черчилль без особых симпатий говорил о Маршалле. Эти высказывания Черчилля странным образом совпадали с поездкой Маршалла на Британские острова. Быть может, поводом к ним послужило мнение генерала о большом десанте. Тот факт, что на известный вопрос Рузвельта о вторжении Маршалл ответил категорическим «да», свидетельствует, что он был здесь единомышленником Рузвельта и Гопкинса, хотя разговоры с англичанами должны быть еще свежи в памяти Маршалла и каждый новый поворот в обсуждении этой проблемы, возможно, рождал в его сознании один и тот же вопрос: «А как посмотрят на это англичане? Не испугает ли это их?»

Хэлл? Как отметил для себя Бардин, у него лицо игуменьи: недоброе, иссушенное заботами, чуждое мирским волнениям. Его антисоветизм, видно, принял форму веры. Хэлл так долго его исповедовал, что уже не в силах отказаться от него, хотя сегодня возносит свои молитвы не так громко. Любая форма участия в русских делах для него крамола. Есть мнение, что он не участвует в переговорах по главным вопросам отчасти и по своей воле. В документе, который подытожит переговоры, он просил это отметить, назвав обсуждаемые вопросы военными. Хэлл избрал эту формулу, чтобы отмежеваться от того, что происходит в эти дни в Белом доме, и объяснить свое неучастие. Такой человек, как Хэлл, не имеет права на существование без того, чтобы у него не было антагониста. В неприязни к Гопкинсу Хэлл черпает силы, чтобы утвердиться в своей позиции.

Нет, решительно, такой человек, чтобы жить, должен иметь антагониста.

Интересно наблюдать за Рузвельтом, когда он си-

дит, устроившись в углу кресла, чуть-чуть подобрал ноги, укрытые пледом. Он так высох, что его уже не хватает, чтобы заполнить все кресло. Но, как всегда, очень живые глаза, они все видят. Они точно озабочены, останавливаясь на людях, сидящих подле: Гопкинс, Хэлл... Кажется, президент сейчас решает эту задачу человеческую: как соотнести этих людей, а иногда и развести, сделать так, чтобы они разминулись? Вот сейчас у него именно эта цель, чтобы его советники не сшиблись лбами. Что же касается главного — отношения к России, — то президент тут верен себе: Америка признала Советскую Россию по почину Рузвельта, остальное должно быть производным этого факта.

Русским предстояло встретиться с президентом в четвертый раз, последний.

Удалось ли Рузвельту в эти дни связаться с «бывшим военным морским деятелем», обменяться впечатлениями о встречах с русскими? Да, трансатлантический кабель исправен. Если эти контакты имели место, какой результат они дали?

## 59

Бардин зашел в посольство и встретил Гродко. Александр Александрович ездил на западное побережье и прибыл в Вашингтон только что. Бардину была приятна встреча с Гродко, беседа в наркоминдельской читальне в начале войны запомнилась.

— А я уже хотел обидеться, — сказал Гродко, рассматривая Бардина с печальной внимательностью. — Думаю, забыл, быстро забыл.

— Нет, помню, не могу не помнить, но ведь вас не было. Так? Вчера смотрел на Гопкинса и вспоминал вас. Тогда в этой наркоминдельской читалке были сказаны верные слова.

— Ну, спасибо. Как будет полегче, заходите.

— Да я бы, признаться, не хотел откладывать.

— Тогда сегодня вечером, у нас московское расписание, работаем допоздна.

— Охотно. Благодарю вас.

Вечером Бардин пришел в посольство.

— Пять минут. Егор Иванович, последний абзац. Сейчас сдам на машинку.

— Отчет о поездке? У вас небось старое доброе правило: по горячим следам, не откладывать.

— Да, я люблю сразу. — Он сложил исписанные странички, тщательно пронумеровал. — Чаю: хотите крепкого?

— Не откажусь. Как поездка?

— Второй фронт, все страсти вокруг него!

— Америка нас понимает лучше? — спросил Бардин.

— Очевидно, — он сказал «очевидно», хотя было желание сказать более определенно. Он осторожен. — Дело не в том, что американцы прогрессивнее, хотя английская твердолобость, как вы понимаете, явление уникальное. — Он засмеялся, махнул рукой. — Признайтесь, вы сейчас могли подумать так. В Вашингтоне любят говорить об английской твердолобости, в Лондоне, пожалуй, об американской бесцеремонности, ну, об этой способности янки в любой обстановке чувствовать себя, как дома. — Как показалось Бардину, Гродко был чуть-чуть смущен. — Признайтесь, подумали так?

— Нет, хотя, если бы подумал, не отказался, в этом наблюдении есть доля истины, — улыбнулся Бардин.

— Так я говорю, — продолжил Александр Александрович, — американцы спешат покончить с Гитлером, чтобы расправиться с Японией.

— Им надо спешить? — спросил Егор Иванович.

— Да, конечно. Ресурсы Азии, людские и всякие иные, это нечто глобальное. Удар как можно раньше... Я слышу, поливают сад, — взглянул Александр Александрович в окно. — Я открою, не боитесь сырости?

— Нет, наоборот, — отозвался Бардин. Гродко быстро подошел к окну и раскрыл. Было слышно, как внизу бушует вода, шипит в траве и точно трескается, ударяясь о камень. — Гитлер — враг номер один и для Америки? — был вопрос Бардина.

— Да, стратегически удары у американцев распределены именно так: первый удар по Германии, второй — по Японии.

— Не только силами Америки? — Логика беседы подсказала Бардину именно этот вопрос.

— По всему, дело идет к этому.

— Американцы так спешат, что готовы допустить долю риска? — спросил Бардин. Он знал, что американские военные готовы к европейскому десанту и при нынешнем уровне подготовки, в то время как англичане считают операцию осуществимой лишь после реализации плана подготовки, громоздкого, рассчитанного на годы.

— Да, риска, но.. риска американского.

— Надо ли это понять так, что американцы что-то недоучитывают?

— Нет, дело, очевидно, в ином.

— В чем именно?

— Американцы считают, что при том преимуществе в силах, которое имеется уже сегодня, не обязательно, чтобы все пуговицы на мундире были застегнуты. Можно, в конце концов, и распахнуть мундир, будет не так жарко.

— Но как далеко американцы готовы пойти, отстаивая свою позицию?

— Вот это, наверно, главный вопрос, — произнес Гродко, казалось, он уже знал следующий вопрос Бардина и понимал, как нелегко будет ответить.

— Могут американцы воспротивиться возражению англичан, серьезно воспротивиться? — спросил Егор Иванович. Вот он, вопрос, которого ждал собеседник Бардина.

Александр Александрович подошел к окну, пошире его раскрыл. Садовник покинул сад, и запах мокрой травы, смешанный с запахом влажной земли, медленно остывающей после полуденного зноя, проник в комнату.

— В таком деле, как второй фронт, американцы зависимы от англичан, — произнес наконец Гродко.

— В чем именно зависимы?

— Десант будет высажен с Британских островов.

— Да, но и англичане зависят от американцев.

— Да, разумеется, — произнес Гродко.

— Разная степень зависимости? — уточнил Бардин, ему показалось, что Гродко хотел сказать именно это.

— Можно ответить и так. Можно, хотя ответ этот мог быть и полнее.

— В каком смысле полнее?

Гродко сейчас вернулся в свое кресло. Свет за окном погас, и листва, только что прозрачно-золотая, стала черной, а вместе с нею черным стало и ночное небо, обсыпанное звездной пылью.

— А вот что. В то время как англичане утвердились в своей позиции и будут отстаивать ее до конца, американцы импровизируют.

— Это что, разница в темпераментах Рузвельта и Черчилля?

Гродко улыбнулся:

— Нет, я бы сказал иначе. Темпераменты очень точно характеризуют позицию сторон, хотя дело, разумеется, не в темпераментах.

Бардин встал.

— До новой встречи. Это было интересно и, я так думаю, полезно. Благодарю.

— Пожалуйста. Рад встрече.

Бардин ушел.

## 60

Первого июня, за три недели до годовщины войны, состоялась четвертая встреча с президентом, последняя.

Было утро, как обычно для Вашингтона в июне, знойное, даже душное. Видно, окна в кабинет президента были закрыты до того еще, как город ощутил зной, — в кабинете было прохладно.

— Русские слышали о добровольном обете молчания, который приняли на себя американские газетчики? — спросил президент, смеясь, когда гости появились на пороге его кабинета. — Мы хотели, чтобы о приезде господина Молотова никто не знал, но уберечь эту тайну оказалось невозможно, это Америка! (Русские вспомнили первую прогулку по саду, окружающему Белый дом, и лица любопытных в окнах). Те, кто аккредитован при Белом доме, узнали. Пришлось собрать газетчиков и сказать: вводим закон молчания, при этом хранителем его будете вы сами. Не знаю, как завтра, но сегодня они молчат.

Казалось, доброе расположение духа передалось гостям. Президент умел приберечь к началу разговора

такое, в чем была искорка веселья и что призвано было поднять настроение его собеседников.

— Очевидно, сообщение о переговорах должно быть опубликовано, как только господин Молотов вернется в Москву. Кстати, надо сделать так, чтобы о самом факте возвращения узнали русские послы в Вашингтоне и Лондоне, а через них и мы. Сообщение должно быть опубликовано в трех столицах одновременно. Не так ли?

Молотов кивнул. «Надо еще долететь», — точно хотел сказать он этим своим ответом, как могло показаться Рузвельту, сдержанным весьма.

— У меня на руках меморандум госдепартамента, — сказал президент, поглядывая на Молотова, который был строг. Президент должен был уловить эту сдержанность, когда еще шла речь о корреспондентах. — Представительные группы Финляндии хотят мира с Россией.

Президент добавил, что группы эти могли бы собрать свои силы и явить их финскому общественному мнению, если, разумеется, Москва и Вашингтон сделали бы какие-то определенные шаги.

— Представительные силы? — переспросил Молотов. — А эти силы представительные кого представляют? Финляндию они представляют официально?

— Нет, — был ответ президента.

— Но хотят мира?

— Да.

— Они имеют в виду какие-то определенные условия?

— Нет, — сказал президент.

— И они не высказали никаких условий при этом?

— Нет.

Казалось, президент уловил сдержанность Молотова и этими лаконичными «да» и «нет» пытался преодолеть ее.

— В какой мере эти группы выражают мнение нынешнего правительства Финляндии?

— Наши сведения ограничиваются тем, что такие группы существуют, их несколько, — сказал президент, видно, памятная записка Хэлла, которую русский исчерпал своими вопросами, не могла дать больше, и президент был слегка обескуражен. Это не усколь-

звучало от Молотова. Он сказал, что хотел бы обсудить этот вопрос со Сталиным. Последняя фраза, казалось, была встречена Рузвельтом с облегчением.

Президент должен был заметить, на его сообщение русские реагировали с меньшим энтузиазмом, чем мог он ожидать. Это объяснялось двояко. В отношениях России со Штатами финская тема была предметом деликатным — в России наверняка помнили, как много Штаты сделали, чтобы осложнить недавний русско-финский конфликт, при этом особенно деятелен был автор памятной записки, которая лежит на столе у Рузвельта. Русские вправе не доверять этой акции, весьма возможно, что «представительные группы», на которые опирается в своей записке Хэлл, ничем не отличаются от тех, которые два года назад питали его ненависть к России. Весьма возможно, что финские контрагенты Хэлла сегодня те же, что были вчера. Но отсутствие энтузиазма у гостей к сообщению президента могло объясниться и иным. Они хотели ясного разговора по главному вопросу.

Президент заговорил об авиатрассах между Америкой и Россией через Ближний Восток и Аляску, первая — почтовая, вторая — транспортная, для перегонки самолетов. Молотов обещал рассмотреть и этот вопрос.

— Важно, какую часть пути будут обслуживать русские самолеты, какую — американские. Советские самолеты до Номы или американские до Петропавловска. Важен принцип, дело надо наладить.

Молотов сказал, что он сделает все возможное, чтобы решить вопрос.

Тогда президент заговорил о послевоенном мире. Речь шла о расчетах по займам военного времени. Президент думал над этим. Старый опыт подсказал ему новую мысль. Вместо уплаты процентов по займам следует выработать план выплаты только капитала и заложить его на годы, быть может, немалые. Молотов сказал, что, вернувшись в Москву, обсудит и эту проблему.

В этом месте беседы Гопкинс, внимательно следивший, как президент развивает свою мысль, наклонился к Рузвельту и спросил его, не хочет ли он обсудить свой проект о создании международного фонда. Хотя Гопкинс заметно приблизился к президенту, чтобы

спросить об этом, он произнес вопрос достаточно громко, не делая тайны. По крайней мере, русский переводчик его слышал. Легким кивком головы президент дал понять, что принял его замечание к сведению, но продолжал говорить, оставив, как это выяснилось позже, совет Гопкинса без внимания. Как ни внимателен был президент ко всему, что говорил Гопкинс, он мог с той же мягкостью отвергнуть совет многоопытного Гарри, с какой он его выслушал.

Затем речь зашла об устройстве той части мира, которая является колониальной. Президент упомянул Индокитай, Сиам, Малаю и голландскую Индию, заметив, что каждой из этих стран (он сказал «риджэнз!» — «районов!») нужно разное время, чтобы подготовиться к самоуправлению, но стремление к независимости повсюду одинаково. По мере того как президент развивал свою мысль, русских заметно охватывало волнение. Конечно же, Рузвельт и прежде высказывался в том смысле, что необходимо покончить с колониями, и однажды даже поверг английского партнера по Атлантической хартии в состояние гнева, но с русскими на эту тему он не говорил, да и трудно было предположить, что на столь деликатную тему он начнет разговор с русскими.

Но вот вопрос, почему Рузвельт заговорил об этом с русскими. Разумеется, Рузвельт мечтал не столько о крушении колониализма, сколько об уничтожении системы колониальных отношений, дающей известные выгоды одной группе государств перед другой, наверно, здесь играла известную роль не столько давняя ненависть Рузвельта ко всем видам рабовладения, сколько не меньшая ненависть к системе британской колониальной деспотии. Но вопрос был поставлен, и Молотов не мог скрыть своего удовлетворения, что президент счел необходимым этот вопрос с ним обсудить. Молотов сказал, что эта проблема заслуживает серьезного внимания союзников и что, как он полагает, в Советской стране ей будет уделено большое внимание. Очевидно, всякое решение по этому вопросу будет зависеть от гарантий со стороны трех великих держав (и, может быть, Китая), при этом свою формулу, саму по себе достаточно четкую, Молотов сопровождал оговоркой: гарантии должны сочетаться с контрольными

функциями, которые помешают Германии и Японии вновь вооружиться и угрожать войной другим странам. Видно, мнение русского делегата воодушевило президента, по крайней мере, он подытожил этот тур беседы фразой, которая прозвучала обнадеживающе.

— На мой взгляд, не следует ожидать здесь каких-либо затруднений, — сказал президент.

Рузвельт откровенно взглянул на часы и развел руками. Дотянувшись прохладной ладонью до руки Молотова и явно прося извинения, он сказал, что в двенадцать он должен завтракать с герцогом и герцогиней Виндзорскими, но до того, как это произойдет, хотел бы обсудить с Молотовым вопрос, как можно было понять, имеющий немалое значение. Он упомянул о сиятельной чете англичан с тем веселым озорством, с каким он, как могли заметить в эти дни русские, говорил о веселых пустяках, украшающих быт президента и имеющих значение только в той мере, в какой они делают этот быт не таким скучным. Возможно, он обратился к именам герцога и герцогини Виндзорских в надежде блеснуть новым каламбуром, но сейчас на это просто не было времени, и, махнув рукой, он перешел к сути того, что хотел сказать Молотову.

По словам президента, американцы надеются открыть второй фронт в нынешнем, сорок втором году, но они смогут ускорить приготовления только в том случае, если будут располагать большим количеством судов. Поэтому военные хотели бы, чтобы русские, имея в виду эту главную задачу, пересмотрели список товаров, которые Штаты должны поставить России. Вывод, к которому пришли американцы, был для русских более чем неутешителен — поставки должны быть сокращены. Рузвельт повторил: второй фронт должен быть открыт в сорок втором году. Сказав это, Рузвельт полагал, что он обрел право произнести и иное: в конце концов, одни и те же корабли не могут быть в двух местах. Тут же выяснилось, что американцы хотели бы сократить поставки не столько самолетов и автомашин, сколько металла, каучука, химикатов.

— Вы же не успеете обратить это сырье в оружие нынешним летом или осенью, — заметил президент.

Гокинс ощутил недовкость, он видел, в какое замешательство привел этот разговор гостей.

— Да, но танки и боеприпасы будут отправлены в том количестве, в каком это было запланировано прежде,— заметил Гопкинс, стараясь скрасить впечатление.

Как ни пытался Гопкинс смягчить удар, он был нанесен, и русские не могли скрыть, что они огорчены. Но беседа продолжалась, она должна была продолжаться, и Молотов, стараясь вернуть беседу в прежнее русло, обратился к иронии. Это было ему в такого рода обстоятельствах даже не очень свойственно. Он спросил: а не получится ли, что русские дадут согласие на сокращение поставок и в обмен не получат ни достаточного количества материалов, ни второго фронта? Раздался смех, несколько нервный, и мгновенно стих. В наступившей тишине Молотов спросил президента, какой ответ он должен сообщить в Лондоне и в Москве по главному вопросу: второй фронт?

Президент вновь взглянул на часы, они показывали двенадцать, и с лихой небрежностью махнул рукой, точно говоря себе: «Стоит ли обращать внимание на пустяки, когда их и впредь будет немало?» Итак, Молотов поставил вопрос с такой категоричностью и прямотой, с какой не ставил прежде. Можно было даже подумать, что репликой о сокращении поставок Рузвельт дал возможность повернуть дело таким образом. Своим вопросом Молотов как бы говорил собеседнику: его ответ должен быть коротким и точным. Что же должен сказать Молотов в Лондоне, например?

Рузвельт взял со стола часы и надел их на руку, не взглянув на циферблат. Нет, этот его жест решительно не имел никакого отношения к тому, что время встречи истекло, больше того, часы уже отсчитывали минуты, принадлежащие герцогу и герцогине Виндзорским.

— Можете сказать в Лондоне, что мы надеемся открыть второй фронт,— произнес Рузвельт.— Мы это сделаем тем быстрее, чем быстрее Советское правительство предоставит нам эту возможность.— Как отметил Рузвельт, детали этого решения будут уточнены после возвращения американских военачальников, которые в настоящее время находятся в Лондоне и которые вернутся на родину вместе с высшими чинами британской армии, возглавляемыми лордом Маунбетеном и маршалом Порталом.

Президент взглянул на Молотова, стараясь определить, какое впечатление его слова произвели на гостя, и, замедлив на лице русского улыбку, с видимой торжественностью протянул ему обе руки.

— Picture, my picture! Портрет, мой портрет! — произнес президент с той наигранной патетикой, с какой произносил эту фразу в подобных обстоятельствах не раз прежде, извлек из бокового кармана вечное перо и, сняв с него колпачок, как бы приготовился к действию.

Принесли фотопортрет президента, тот самый, сияющий белозубой «рузвельтовской» улыбкой. Президент с видимым удовольствием украсил его приятно матовую поверхность своей росписью, не забыв поставить дату: 1 июня 1942 года.

Говорят, что дипломатический текст похож на хорошие стихи: он ничего не выказывает явно, но все необходимое всегда при нем. Из опыта Бардин знает, нет ничего увлекательнее и груднее, чем создать такой текст. И текст коммюнике, как сейчас. Даже больше, пожалуй, внешнее коммюнике стоит иного договора. В первооснове коммюнике мнение сторон — переговоры. Даже точнее, нечто такое, что означает сближение точек зрения сторон. Однако, как ни близки эти точки зрения, они никогда не сблизятся настолько, чтобы стать одним мнением.

Наверно, искусство составления коммюнике состоит в том, чтобы, не обнаруживая различия взглядов, создав иллюзию их единства, отстоять нечто такое, что наиболее полно отражает твои интересы. Но, наверно, это возможно, когда коммюнике не отступает от существа переговоров, а, наоборот, максимально к нему приближено.

Хороший дипломат не полагается на память, но только когда дело касается проверки фактов. Если же говорить о функциях его памяти, то она должна быть настолько действенна, чтобы быть готовой воспроизвести картину переговоров, в такой же мере общую, в какой и детальную. Воспроизвести, чтобы, как сейчас, не выйти за пределы того, что имело место на переговорах, и сберечь для документа их дух и букву.

Американцы предложили свою формулу коммюнике. В нем второй фронт лишь маячил, а сорок второй год как год осуществления большого десанта был исключен начисто.

Русские отвергли американский текст и предложили свой.

По всему, в этом был риск немалый: американцы могли не согласиться с мнением советской стороны, быть может, даже дать бой. Но, полагая, что здесь игра стоит свеч, русские пошли на риск, и это было оправданно. Собственно, документ, который предстояло принять, можно было назвать коммюнике лишь условно. На самом деле это был текст договора, при этом по вопросу первостепенному. Тот факт, что этот текст исходил от трех великих держав и предназначался к одновременному опубликованию в Москве, Вашингтоне и Лондоне, по существу, означал, что под ним стоят подписи Рузвельта, Черчилля и Сталина, да, и Сталина, хотя он присутствовал на переговорах лишь символически.

Очевидно, русскому тексту документа следовало все поставить на место.

Вот попробуй отвертись, когда в коммюнике есть такая фраза:

«...При переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач открытия второго фронта в Европе в 1942 году...»

В том случае, если американцы примут русскую формулу, осмелятся ли англичане изменить ее?

Бардину сейчас казалось: хорошо, что разговор о втором фронте с англичанами был оборван на полуслове. Возразив, они, в сущности, передоверили решение вопроса американцам. Передоверили? Да, в известной мере. И американцы решили? А это можно теперь проверить.

Текст коммюнике был направлен американцам.

На вашингтонском аэродроме стоял наготове советский самолет, а новый текст совершал в это время трудное круговращение.

Русский текст был показан всем, кто участвовал в переговорах.

Гопкинсу текст импонировал, и он его принял.

Хэлл повторил свою прежнюю просьбу: не упоми-

нать его среди тех, кто участвовал в решении военных вопросов.

Маршалл полагал, что фраза о втором фронте слишком сильна, и счел необходимым, чтобы ссылка на 1942 год была опущена.

Президент принял коррективы Хэлла и отверг поправку Маршалла.

Третьего июня советский самолет покинул Штаты, взяв курс на Лондон.

И вновь океан, необозримый, иногда кажущийся выпуклым, сверкающий на солнце, то огненно-дымный, как лава при выходе из кратера, то серо-лиловый, в красных прожилках, как та же лава, выкатившаяся на равнину, затвердевающая.

Но как ни сильны воздушные ухабы, течение мысли неодолимо, течение упрямой мысли. Вот попробуй проникнуть в такую: как развяжут этот узел англичане? Ведь текст коммюнике должен быть опубликован и от их имени. В какой мере им придется по душе формула о втором фронте и сорок втором году? Если двое из трех союзников (и каких союзников!) проголосовали «за», очевидно, третий уже не в силах сказать «нет». Отвергнуть, значит, пойти на разрыв. Отвечает ли этот разрыв намерениям англичан? А если не разрыв, тогда какой выход из положения? Истинно, течение упрямой мысли неодолимо, и никакие ухабы ее не нарушат.

А солнце стремительно уходит за округлую линию океана, и лава, только что огненно-дымная и живая, на глазах обрастает корой и окаменеет, при этом океан вдруг становится странно похожим на поверхность неведомой планеты, выхваченную оптическим стеклом из бездны вселенной...

Едва самолет приземлился на английской земле, русским сказали, что их хотел бы видеть Черчилль. Это не столько воодушевляло, сколько настораживало. Эта настороженность не стала меньше, когда, прибыв в резиденцию премьера на Даунинг-стрит и пройдя по сложной системе коридоров, русские были препровожд-

дены (иначе это и не назовешь: строгие чины протокола, чопорно-торжественные и молчаливые, встретили делегацию у входа и, не говоря ни слова, ввели в здание) не в кабинет премьера, как это было в прошлый раз, а в зал заседаний, в этот утренний час достаточно людной. Было такое впечатление, что англичане приготовились скрепить своими подписями текст нового договора. Нет, этому впечатлению не противоречили, а точно соответствовали не только сами апартаменты, в которые были доставлены русские, не только количество высокопоставленных английских лиц, приглашенных на церемонию, но даже и форма одежды, что в английских условиях безошибочно указывало на характер церемонии. Именно подписание договора или что-то вроде этого.

Черчилль вышел навстречу гостям, при этом его вид не столько выражал озабоченность, сколько спокойную праздничность, даже веселость, и это было уже непонятно. Ну, разумеется, история слишком определенно свидетельствовала, что сила английской дипломатии заключалась в том, что она никогда не давала застичь себя врасплох. Можно было допустить, что эта дипломатия и на этот раз обратилась к средству, которое способно было предупредить неожиданность. Но что это было за средство и в какой мере оно было действенным, чтобы вот так воодушевить того же Черчилля?

— А вы знаете, это наше коммюнике о сорок втором годе способно серьезно ввести в заблуждение немцев,— произнес английский премьер почти торжествующе.

— Надеюсь, только немцев,— улыбнулся Молотов.— Что же касается нас с вами, то мы знаем, сорок второй есть сорок второй.

То, что можно было назвать спокойной праздничностью у Черчилля, точно рукой сняло.

— Вот документ, который имеет прямое отношение к существу нашего разговора,— сказал Черчилль и направился к столу, из-за которого он только что поднялся, встречая русских. Его шаг был нетверд, а тело как бы потряхивалось, что происходило с ним в последние годы всегда, когда он старался идти быстро. Но особенность этой его походки заключалась в том,

что ему удавалось принять деловой вид, но не удавалось идти быстро. Иначе говоря, чем больше он работал ногами, тем медленнее он шел. Было впечатление паровоза, который начинал вдруг усиленно вращать колесами и имитировал движение, шипел, испускал пар, но стоял на месте.

— Вот документ, о котором я говорил, — сказал Черчилль и в наступившей тишине, что определенно выражало значительность происходящего, подал Молотову тонкую папку, настолько тонкую, что казалось, она была пуста.

Но, увы, папка не была пуста. Документ, вложенный в папку, гласил:

#### «ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

*Мы ведем подготовку к высадке на континенте в августе или сентябре 1942 года. Как уже объяснялось, основным фактором, ограничивающим размеры десантных сил, является наличие специальных десантных судов. Между тем ясно, что ни для дела русских, ни для дела союзников в целом не было бы полезно, если бы мы ради действий любой ценой предприняли какую-либо операцию, которая бы закончилась катастрофой и дала бы противнику удобный случай для похвальбы, а нас свергла бы в замешательство. Невозможно сказать заранее, будет ли положение таково, чтобы сделать эту операцию осуществимой, когда настанет время. Следовательно, мы не можем дать обещания в этом отношении, но если это окажется здравым и разумным, мы не поколеблемся претворить свои планы в жизнь».*

Нет, океан был не самым опасным отрезком пути, самым опасным был вот этот — самолет пересекал линию фронта. Но, странное дело, мысли об опасности отодвинулись событием, которое только что произошло. Да не характерно ли было все то, что только что свершилось, для английской дипломатии, для того, что отождествлялось с ее изменчивой сутью на протяжении веков?

Возник вопрос о границах, и англичане сняли его с помощью союзного договора, который сам по себе

символизировал принципы наиболее благородные, но был порожден не столько тем, что у англичан была необходимость декларировать эти принципы, сколько возможностью избежать обязательства о советских границах.

В порядок дня был поставлен вопрос о втором фронте в этом году, и англичане изобрели вот эту свою памятную записку с ее формулой на все случаи жизни: «...следовательно, мы не можем дать обещания...»

Но в тот момент, когда самолет, преодолев наконец линию фронта, шел к Москве и на обширном поле подмосковного аэродрома, укрытом негустым мраком июньской ночи, готовились погасить сигнальные огни, полный смысл этой английской формулы еще предстояло постичь.

## 62

Бардин вернулся в Москву на рассвете и, не заезжая на Вторую Градскую, отправился в Ясенцы.

Машина мчалась много раз езженным Ярославским шоссе, и, оглядываясь по сторонам, Бардин точно хотел выпросить у самой подмосковной земли, как ей нынче можется.

Июнь уже вступил в свои права, июнь дождливый, и зелень казалась необыкновенно яркой и свежей. У самых Ясенец машина въехала в деревеньку с тремя березами у околицы, и Егор Иванович заметил ярко-красную заплату на крыше. За страдную зиму крыша прохудилась, и хозяйин, вернее хозяйка (хозяйин воюет или, почитай, уже отвоевался) окунула кусок крапивного мешка в краску и положила на худое железо, а той краской, что осталась, выкрасила две крайние рейки на воротах. «Видно, не все потеряно, ежели есть минута и о красоте подумать», — улыбнулся Егор Иванович, глядя на красную заплату и ворота в алой раме.

Бардин попросил шофера остановить машину, когда до дома оставалось еще квартала два. Шел и думал: сейчас будет так... И выстраивался порядок встречи. Сию секунду Егор Иванович свернет за угол и увидит белую косынку Ольги на огороде. Он окликнет Ольгу, она вскрикнет и всплеснет руками, как это делает человек, который, зарывшись глубоко в воду, хочет вырваться наружу. На Ольгин крик выбежит Иришка и,

увидев отца, побледнеет и медленно опустится на край ступеньки — когда она волнуется, ее покидают силы. И вслед за Иришкой, держась за косяк двери, выползет старый Бардин. «Носит тебя, Егор, по белу свету, словно облачко невесомое!..»

Так думал Егор Иванович, стараясь рассмотреть в пролете переуллка дом за зеленым штакетником, но все случилось иначе. Ольги с Иришкой не оказалось дома, и Егора Ивановича встретил лишь отец. Он сидел в большой комнате за столом, накрытым белой скатертью (не иначе, ждали Егора — белая скатерть на этом столе появлялась в дни праздничные), и колдовал над бутылкой домашнего вина. Он увидел сына, весело сощурился, будто ему плеснули в лицо теплой водой, пошел навстречу Егору, пошатываясь.

— Значит, жив-здоров, сынок? — повторял он счастливо. — Жив-здоров?.. Вижу, непросто сломить бардинское дерево, — произнес он и повалился сыну в объятия, всхлипывая. Прежде он подгаивал не так быстро, подумал Егор. Прежде слезы у него были подале. Не иначе, время добралось и до него. — А я уж и счет потерял дням, — произнес Иоанн и ткнулся заметно влажным лицом в плечо сына. Не так уж много времени прошло с тех пор, как Егор видел отца последний раз, а старый Бардин побелел и, пожалуй, порозовел заметно — этакая стариковская розоватость, неестественно алая, прозрачная — да руку, контуженную инсультом, научился держать на весу. — Значит, жив?

— Жив, — сказал Егор, точно извиняясь, что явился к отцу во здравии...

— Вот и хорошо, — произнес Бардин, и в голосе его уже не было слез. Иоанн «отлепился» от сына и, как-то сразу подобравшись, пошagal уверенно твердой походкой к столу, где дожидалась его бутылка домашнего вина. — Вот отыскал в подвале три бутылки ягодной. Перед обедом чарочку, ах, как хорошо! — Он отодвинул от себя бутылку, застеснявшись, и, подобрав больную руку, положил ее на стол. Она, эта рука, вопреки натуре Иоанна была странно покорна. — Да не подумали ты, что я запил на старости лет? Скажи, не подумал?

— Нет, Бардины тут защищены броневой сталью.

— Верно, Егор, — встрепенулся Иоанн и пристально

посмотрел на сына.— Верно, хотя иногда так худо, что, пожалуй бы...— Он задумался, опустил глаза. Его брови, заметно разросшиеся, однако в отличие от снежных волос ярко смоляные, сейчас нависли над глазами и почти затопили их, так бывало с ним и прежде, когда в сердце его копилась хмарь.— Ходят слухи, вече собирается. Того гляди колокола кремлевские проснутся?

— Погоди, ты это о чем? Колокола? — переспросил Егор Иванович, он не очень понял отца.— Ах, да, колокола! — воскликнул Егор. Кажется, пора привыкнуть к многозначной бардинской речи, он ведь говорит о сессии, назначенной на четверг.— Ты прав, вече.

— Это какой же такой спех? — спросил Иоанн.— Кажись, дом в огне, не ровен час, пламя матицы порушит, и вдруг... вече? Я так думаю, как ни всемогущ твой язык велеречивый, а с огненным язычишкой ему, пожалуй, не совладать!

— Да ты знаешь, о чем речь пойдет на вече? — спросил Егор в сердцах. Нет, старик Бардин жив, и жива его строптивая суть.— Знаешь?

— Знаю!

— О чем?

Иоанн засмеялся, да так дерзко взял и захохотал. Неужели он знает, о чем пойдет речь на сессии?

— Нет, нет, скажи, о чем.— Егору казалось, что единым ударом он сшибет отца и тогда, дай бог силы, дело за невеликим, как-нибудь доконает.

— О чем? — Иоанн все еще хохотал.

— Да, о чем речь?

— О молотовской миссии за океан, о большом деле.

Знает, дьявол! Что ни говори, а хитер, бестия. Намекнул ему кто-то или сам допер? Сам!

— И что ты хочешь этим сказать? — спрашивает Егор как можно невозмутимее. Главное — сохранить вот эту невозмутимость, не дай бог, заметит, что ты потерялся ненароком, что предательское смятение пробралось в твое сердце, не жить тебе, раб божий Егор.— Что ты хочешь сказать этим? — Вот так, повторяя одни и те же слова, можно, пожалуй, довести до белого каления Иоанна.

— А вот что. Зачем вы людям голову морочите? — вдруг бросил Иоанн, перестав смеяться.

Нет, не слова его, как бы ядовиты они ни были, а его лицо, неожиданно жестокое, заставило Бардина насторожиться.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Егор.

— А что имеете в виду вы, собирая народ? Не хотите ли вы сказать, что союзники обещают высадить большой десант еще в сорок втором году?

— Хотим.

— А какой смысл говорить это?

— Как какой смысл?

Иоанн улыбнулся. О, эта улыбка не предвещала ничего хорошего!

— Вот ответ мне, ради Христа, по-честному. Ты веришь, что союзники высадят большой десант в этом году? Я вижу, ты задумался. Хорошо, меня устроит любой ответ. Если ты хочешь сказать, что тебе трудно ответить на этот вопрос определенно, я и этот ответ приму с благодарностью. Итак, какой ответ ты избираешь?

— Пожалуй, третий. Мне трудно ответить на этот вопрос определенно, хотя я бы хотел верить.

— Спасибо, ты ответил честно, а вот как ты будешь говорить там, на вече? — спросил Иоанн и зарделся, от удовольствия зарделся, от предчувствия, что победил в нелегком споре с сыном. — Так и изречешь: «Мне трудно ответить на этот вопрос определенно»?.. Так? А может, найдешь другие слова, ну, например: «Я верю в открытие второго фронта!»?

— Прости меня, отец, но ты не угадал, я так не скажу.

— А как, Егор?

— Я скажу, вот документ, подписанный нами и союзниками, вот их обязательства.

— Погоди, но такой ответ никого не устроит, на то оно и вече, чтобы знать мнение, в данном случае твое мнение... Впрочем, если ты просто изложишь смысл документов, то и одним этим ты как бы выразишь сочувствие, а следовательно, и мнение. Оно, это мнение, в такой мере определенно, что есть необходимость опровергнуть его, если, разумеется, у тебя иной взгляд.

— Ты хочешь поймать меня на слове, отец.

— Нет, я не ловлю тебя на слове, да и не мне ловить тебя. Я просто хочу сказать, если ты веришь, что союзники откроют второй фронт в этом году, то, прости ме-

ня, сын, ты дурак. Если же ты не веришь в это и делаешь вид, что веришь, то ты, как бы это сказать помягче, человек нечестный. И в одном случае, и в другом решительно нет необходимости собирать людей и говорить им, что второй фронт будет. И не просто говорить, а похвастаться своей особой, делать вид, что это чуть ли не твоя личная заслуга! Не твоя именно, а тех, кто был с тобой. Зачем?

— Ты полагаешь, что в данном случае вече неуместно?

— Да, Егор, я так думаю.

— Я хочу, чтобы ты договорил до конца, отец.

— А что тут говорить, и так ясно — не надо людей вводить в заблуждение! Не надо сеять ложные иллюзии. Знаю русского человека и не думаю, что это поможет ему. Если ты хочешь, чтобы русский человек явил все, что он в состоянии явить, ему надо говорить правду. Самую ярую, самую, прости меня, голую, так, что отвернуться впору, а он не отворачивается. Правда, от нее не отворачиваются. Всегда говорить правду, а сегодня больше, чем всегда. Ты взгляни, каким полымем объята земля наша — немцы прошли Дон и Кубань! Да знала когда-нибудь это наша земля? Надо сказать людям: надейтесь только на себя. И еще: на себя, на себя, на себя. Если ты скажешь «Надейся на себя», он делает даже больше того, что делает сейчас. Не хочешь говорить худого слова о союзниках, хотя они того заслуживают, молчи. Именно молчи. Однако не говори, что ты им веришь, когда ты им не веришь. Да как им верить, когда мериллом их честности является Черчилль! Ты понимаешь, простая душа, что такое Черчилль?

Иоанн умолк. Было похоже, что главное он сказал. Он наполнил серебряный сосудик, стоящий подле, дал отпить сыну, отпил сам и промокнул губы тыльной стороной здоровой руки, промокнул благоговейно робко, будто, уподобившись преосвященству или тем более святейшеству, поднес руку для поцелуя. — Ну, говори, — молвил он почти милостиво.

— Ну что ж, слушай. Вот ты говоришь, что мериллом их честности является Черчилль. Мериллом их честности является не Черчилль и, пожалуй, не Рузвельт, а та категория профессиональных политиков и дельцов,

которая слывет там за государственных кашеваров и которая, так думаю я, не исключает открытия второго фронта в этом году. Мне так кажется, что не столько они выражают точку зрения Рузвельта, сколько он их мнение, — сказал Егор едва слышно. Когда ему предстояло высказаться обстоятельно, он начинал вполголоса. — Короче, это живой процесс, и нам следует влиять на него, веря в свои силы и не гипнотизируя себя чем-то таким, что может сковать нашу мысль. Ты понял меня?

— Эко человек самонадеянный! — вырвалось у Иоанна. — А что ты сказал такого особенного, чтобы не понять тебя?

— Нет, я просто хочу, чтобы ты следовал за моей мыслью, не отставая.

— Ты поспедай, а уж я как-нибудь не отстану.

— И вот вопрос, как нам поощрить эту группу в ее усилиях, в которых мы так заинтересованы. Встать спиной, ко всем встать спиной, в том числе к тем, в ком мы заинтересованы? Да разумно ли это? Дать им понять, что мы им не верим? Всем дать понять, в том числе тем, кто верит нам и кому, я говорю дело, мы должны верить? Думаю, что это было бы неумно и не отвечало бы интересам нашим. Наоборот, надо дать понять им, что мы верим им и, больше того, строим какие-то свои расчеты, опираясь на эту веру. Пусть сам тон нашего разговора с ними и сама система наших отношений, сама постановка этого вопроса на сессии окажет на них влияние и даст им понять — они ответственные! Есть момент чисто психологический: если ты говоришь человеку, что ты ему не веришь, ему легче отказаться от своего слова. Другое дело, что ты не должен полагаться в своих расчетах на их обязательство. Не должен! Так, как будто их нет. Начисто.

Иоанн рассмеялся.

— Не понимаю я вот этой дипломатии, которая идет вразрез с моим представлением о добре и зле, о правде и лжи, о тех вечных истинах, на которых испокон веков держался мир. Если я человеку не верю, ты убей меня, а не могу я сказать ему, что я ему верю. Кто тебя учил такому, сын мой? Я тебя учил?

Вот это и есть Иоанн Бардин. Истинно, не ухватишь его!

— Не думаю, чтобы у нас было разное представление о вечных, как ты говоришь, истинах. Наверно, правду и ложь мы видим одинаково. Но там, где ты скажешь «Врешь, каналья!», я скажу: «На мой взгляд, уважаемый коллега, вы несколько отклонились от истины». Конечно, и я могу сказать: «Врешь, каналья!», но я не имею права говорить это, так как завтра мне надо вновь сесть с ним за стол переговоров. Оттого, что ты говоришь «врешь», а я говорю «отклонились от истины», ты не становишься честнее меня.

— погоди, но ты же должен признать, что моя правда честнее, она не дезориентирует народ, не ведет его по ложному следу, — прервал Иоанн Егора и сделал попытку шевельнуть пальцами больной руки, но пальцы оставались неподвижны. — погоди, ты помнишь точную формулу коммунисте насчет второго фронта? — спросил неожиданно Иоанн, что-то он задумал опять. — Ну, вспомни.

— Точно не помню, но смысл такой: была, мол, достигнута полная договоренность относительно неотложных задач создания второго фронта в Европе в тысяча девятьсот сорок втором году...

— Припомни, в этой формуле есть слова «полная» и «неотложных»? Я это говорю к тому, что это очень важные слова. Есть они?

— По-моему, есть, — сказал Егор.

Иоанн поддел здоровой ладонью больную руку, как лопатой, и перенес руку в бинте поближе к Егору, будто желая дать ему возможность получше рассмотреть ее.

— Теперь взвесь то, что я тебе сейчас скажу. Вот союзники дали это обязательство, вы повторили его с кремлевской трибуны. О, она высока, эта трибуна! Повторили и точно сказали народу: верь! Верь! Второй фронт будет!.. А союзники — бац! — и отказались от второго фронта в тысяча девятьсот сорок втором году! В какое положение вы поставите себя перед народом?

— Нет, ты и тут не прав, народ, он не так, прости меня, не мудр, как ты о нем думаешь, и, поверь мне, он знает о наших отношениях с Западом не меньше нас с тобой, при этом понимает факты отнюдь не так прямолинейно, как понимает или, вернее, хочет понять их Иоанн Бардин.

— Остановись, сделай милость. Ты хочешь сказать, что народ — это ты? Не я, Иоанн Бардин, а ты, мой мудрый отпрыск?

— Нет, наверно, не я, но, прости меня, и не ты. Народ — это больше нас с тобой, много больше.

— Тьфу, вот ведь истинно, тетка Ефросинья, ту тоже, чтобы переговорить, надо пуд соли слопать! Хватит с меня. Я поехал. — Иоанн встал и пошел в свою комнату.

— Ты сказал «поехал»?

— Да, я тебя ждал, чтобы уехать. Ивантеевская квартира-то Миронова без присмотра. Здоров буду, завтра вернусь этим часом.

Он взял кепчонку, бросил на руку старый Миронов реглан (он любил форменные вещи своих сыновей, Якова и Мирона), пошел из дому. Он шел неожиданно быстро, отводя в шаг здоровую руку, как казалось Бардину, подогретый разговором, который у него только что был с сыном. Видно, шел и костил вовсю Егора: «Истинно, тетка Ефросинья! Надо пуд соли съесть, чтобы переговорить».

— Ольга, Ольга когда будет? — крикнул Егор отцу вдогонку.

— Как смеркнется, так она и будет, — молвил Иоанн и приподнял над головой кепчонку, и от этого, как показалось Егору, слова, произнесенные отцом, обрели чуть иронический оттенок. Иронический? Да не было ли в этом поступке Иоанна второго смысла? Чего он вдруг шарахнулся и пошел прочь из дома? Ждал сына, почитай, полгода, считал дни и недели, а потом вдруг поднялся и пошагал прочь из дому! Как он сказал только что: «Как смеркнется, так она и будет...» Да не подстроил ли старый Иоанн вот этой встречи Егора с Ольгой? Ушел и будто запер их одних в пустом доме.

Бардин пошел по дому, из комнаты в комнату, из комнаты в комнату, и дом вдруг загудел, застучал, загрохотал, точно тишина, что втекла сюда из сада, вдруг треснула. Он шел по дому, и в его сознании жил только этот грохот. Видел ли он, что всего несколько месяцев тому назад хозяйкой этого дома была Ксения и все, решительно все, что является миром этого дома, создано ею? Видел ли он сейчас, что все, видимое здесь, было результатом ее верности этому дому, ее любви к

Егору? Вот этот письменный стол, который она купила по дешевке на Преображенском рынке, а потом продраила наждаком и трижды покрыла лаком, вот эта настольная лампа, доставшаяся ей от ее знатных предков и многократ реставрированная и возвращенная к жизни, чтобы украсить стол Егора, вот этот коврик у кровати Бардина... Видел ли сейчас Бардин все это, шагая по дому? И думал ли он, что не в ином месте, а именно под этой крышей Ксения поставила на ноги семью, дала жизнь детям Бардина, а ему, Егору, дала ощущение полноты жизни, великое чувство, которое не было бы дано ему, если бы у него не было Ксении? Думал ли об этом Бардин? А может, этот грохот, как предвестник того неотвратимого, что надвигалось на Егора Ивановича вместе с этим медленно тускнеющим июньским днем, вместе с сумерками, вместе с ночью, должен был все смести, смести начисто, обратив в пепел все старое?..

...На рассвете Ольга оставила Егора и сбежала в свою комнатку, сбежала на минуту, чтобы вернуться в красном платье.

— Господи, да не будь ты таким соней! Взгляни на меня. — Она пошла по комнате, со стыдливой храбростью поводя плечами. Да не ночью ли была рождена эта храбрость? — Люблю все новое, — произнесла она и засмеялась тихо. — Прости меня, но я и дом переделаю на свой лад. Переделаю, не пощажу.

— А что ты не пощадишь? Сестрино? — спросил Егор, утирая ладонью слезы, которые вышибло утреннее солнце, оно было над подоконником. — Пойми, она тебе не чужая, сестра!

Ольга пошла прочь.

— Верно, сестра, но это все другое, совсем другое! — произнесла она с бедовой веселостью.

И Егор подумал, она все переделает в этом доме на свой лад и ничего не пощадит. Нет, не потому не пощадит, что ей не дорога Ксения, а потому, что в том новом, что народилось в ней теперь, есть некая деспотическая сила, которая сильнее ее любви к сестре, сильнее и, главное, бедовее...

Бардин дождался, пока зал опустеет, и пошел кремлевским двором. Что-то было в этом событии от тех

далеких лет, когда над страной простиралось мирное небо. Разве только больше, чем обычно, было военных гимнастеров да на самих лицах людей появилось выражение скорби и, пожалуй, усталой решимости. Видно, не только у Бардина было желание в этот пасмурный вечер пройти по Кремлю неспешным шагом, чтобы неожиданно стать у самого Ивана Великого и, запрокинув голову, смотреть до боли в глазах, как колеблется над тобой многосаженный столп колокольни.

— О, я тоже смотрю, смотрю. Чуть голова не оторвал.

Егор Иванович оглянулся. Джерми.

— А я вас не видел на сессии, мистер Джерми.

— Я немножко разговаривал в кулуары.

Ну, разумеется, Джерми верен себе: сессия для него не столько зал, сколько кулуары.

— Ну что ж, мистер Джерми, все слова, наверно, сказаны, пора и за дело, так? — спросил Бардин. Он хотел знать, что думает старик Джерми по существу того, о чем шла речь сегодня.

Джерми молчал. Скреб торец подошвами башмаков и молчал.

— Еще много будет сказано, мистер Бардин, — вздохнул Джерми, каждое новое слово рождалось у него со вздохом.

Его тень, горестно согбенная, тень старого человека, медленно передвигалась по камню. Кремлевский торец казался нерушимо цельным и молодым по сравнению с этой тенью.

— Много слов, прежде чем совершится дело, мистер Джерми? — спросил Бардин; в короткой реплике Джерми жила тревога.

— Человек есть distance между слово и дело. Чем короче distance, тем лучше человек, — сказал Джерми и засмеялся. Смех прозвучал неожиданно громко, то ли тишина была тому виной, то ли тесные кремлевские камни, отразившие голос.

— Но Рузвельт — это тоже distance? — спросил Бардин и улыбнулся потому, что хотел придать этому вопросу характер шутки.

— Не знаю, — засмеялся Джерми. Засмеялся и исчез. Даже тени на плоском кремлевском камне не оставил.

Бардин запрокинул голову. Все еще вздрагивал многосаженный столп колокольни Ивана Великого, того гляди, прочертит небо и рухнет, упершись крестом в берег Оки, а может, и Волги.

Что-то было в словах старика Джерми такое, что хотелось прояснить, что-то недосказанное, смятенное, неясное, может быть, даже тревожное. И еще было в словах старого Джерми нечто от того, что услышал Егор Иванович под крышей бардинского дома в Ясенцах. Истинно, старик Джерми был заодно с Иоанном Бардиным в своей скептической ухмылке: «Не знаю».

Как некогда, Бардин на исходе дня ехал в Ясенцы. Наркоминдельская «эмка», когда-то ярко-черная, а сейчас ядовито-зеленая, уносила его на север от Москвы, в тот заповедный край озер и леса, где, так казалось Егору Ивановичу, начинался великий океан российской тишины и свежести. Если Ольга оказывалась дома, Бардин увлекал ее на реку. Река в Ясенцах питалась почвенными водами и за лето так и не успевала прогреться, но Егора это не пугало, он любил студеную воду. Потом они пересекали мокрый луг, весь в лилово-красных озерцах (солнце было на закате), и поднимались в рощу. В ней было, как в бухте, полной парусных лодок, белым-бело. Да и у Ольги было что-то от этой белизны. Ольга хорошо «читала» лес, ее глаза видели то, что недоступно Бардину. Ее ладони быстро наполнялись всякой лесной ягодой, будто она не собирала ее по ягодинке, а черпала пригоршнями.

— Это тебе, Егор, — она подносила пригоршню к его рту. Он смешно шевелил губами, фыркал и вбирал ягоды едва ли не вместе с ее ладонью. Ладонь у нее была, точно березовый ствол, теплой и бархатистой.

Потом они разувались и шли по мху. Мох был ворсистым и приятно глубоким, ноги погружались в пушистую зелень.

Потом они сидели на опушке рощицы и смотрели, как низину заволакивает туман, и он спрашивал ее:

— Надо бы что-то сказать Иришке, когда приедет, а?

— Не надо говорить, — улыбалась она. — Все ска-



жется само собой. Вот время выйдет, тогда скажем.

— А когда оно выйдет, время-то? Есть у него срок, чтобы выйти?

— Есть срок, — все еще улыбалась она.

— Когда же этот срок?

— Тем летом.

— А если раньше?

— Раньше нельзя, всему свой срок, — говорила она.

Она ему казалась, как всегда, спокойно бескорыстной, уверенной в своей силе. Она не неволила его, боль-

ше молчала, чем говорила, но и в молчании был тот же смысл: «Всеми свой срок...»

Было в ней, как чудилось Бардину, что-то от чистоты и целомудрия этого леса и этого поля. Все казалось Бардину, ее прямоте и, пожалуй, ее простоте храброй можно позавидовать.

— А почему тем летом?—полюбопытствовал Бардин. — Ты боишься, что дети взбунтуются?

— Нет, просто раньше нехорошо как-то, — отвечала она.

— А если все-таки взбунтуются?

Она пожала круглыми плечами.

— Не знаю.

Они шли домой опушкой леса. Стлались мхи, неожиданно бирюзовые или черные, все в искрах. Ноги точно искали ворсистый ковер, он был глубоким, этот ковер, и, несмотря на свежий вечер, хранил тепло минувшего дня, нога не столько проваливалась, сколько приятно тонула во мху.

— Сбереги моих, — сказал он, не поднимая глаз.

Она остановилась.

— Сберечь? Ты что, из-за этого меня берешь? Я удобна?

Голос ее неожиданно собрался, стал почти тверд. Вон какую жестокость родили мягкие мхи.

— Но ведь они не только мои, но и твои.

— Да, мои тоже, — согласилась она. Ее ноги ступали по мху все так же спокойно, как минуту назад.

На рассвете его разбудил голос автомобильного рожка. Он раздвинул шторы и увидел наркоминдельскую «эмку». Первая мысль: «О господи, что еще? Пропало воскресенье!»

— Кто там? — окликнул он Ольгу. Просыпаясь, он слышал ее голос, она пела, последние дни она все пела.

— По-моему, там женщина, — сказала Ольга, из кухонного окна ей было виднее.

— Женщина? — мог только воскликнуть он. — Откуда ей взяться, женщине-то?

— Верно, женщина, — сказала Ольга все так же спокойно-доброжелательно.

Бардин накинул халат, пошлепал босой к входной двери.

— Вот это да!

Открыл дверь, так и не успев запахнуть халата. Августа стояла на росной траве в своих красных туфельках на босу ногу (собралась к Бардину спешно) и, зябко поеживаясь, кусала синие губы.

— На сборы пять минут, — произнесла она и попыталась улыбнуться. Лицо ее было серо-землистым, видно, она не спала эту ночь.

— За пять минут и с чашкой чая не управитесь. Хотите чаю горячего? Я вижу, как вы промерзли. Хотите?

— Не-е-е откажусь.

— Тогда заходите.

Она вошла.

— У меня действительно з-зуб на зуб...

Августа сбросила плащик, прошла в большую комнату, с превеликой жадностью огляделась вокруг. Каждую вещь, что попадалась ей на глаза, она пристально допрашивала, стремясь понять нынешнее положение Егора Ивановича. Пока она еще ничего не понимала, поэтому сохраняла и самообладание, и норов, и энергию. Но вот она увидела Ольгу, и волна слабости захлестнула ее.

— А где Ирина, Егорушка Иваныч? — спросила она, стараясь мысленно разгрести этот туман и как-то вынырнуть из него. — Разве Ирины нет? — произнесла она, хотя интересовалась иным: «Господи, да неужели вы одни в этом доме? Совсем одни?»

— Нет Иришки, она уехала к тетке в Суздаль, — помедлив, подал голос Бардин из соседней комнаты. Он уже принялся одеваться. — Она уехала в Суздаль, — повторил он и, спохватившись, произнес: — Да, вы знакомы с Ольгой? Оля, Оля!

Вошла Ольга и стала рядом с Августой Николаевной, а Бардин взглянул на Августу Николаевну и обомлел, никогда она не казалась ему такой некрасивой, как сейчас. Эта некрасивость вызывала жалость: глаза с синими подтеками да еще какие-то навывкате, будто кто-то положил палец на предглазье и оттянул веко... Как же это Бардин не замечал всего этого прежде? Даже самый некрасивый человек бывает иногда краси-

вым, но с возрастом он бывает красивым все реже. Но, наверно, к некрасивому привыкаешь. А Августа точно ухватила этот взгляд Бардина, исполненный тоски, и шарахнулась от Ольги прочь.

— Где дедушка Бардин? — спросила Августа Николаевна и обратила недобрый взгляд на Ольгу. — Его тоже нет?

— В Ивантеевку подался, — сказал Егор Иванович, выходя в столовую. Он был одет. — Что там еще стряслось? — спросил Бардин, спросил каким-то иным тоном, который не очень соотносился с тем, что говорилось только что, и взглянул в окно, выходящее в сад, будто Наркоминдел, который он имел сейчас в виду, находился где-то за садом. — Что там загорелось?

— Черчилль прилетает, — сказала Августа вполголоса.

— Это что же, открывать второй фронт или закрывать, упаси господи?

— Не знаю, право, — сказала она, принимая чай из рук Ольги, а сама все с той же жадностью смотрела на руки Ольги: от запястья до круглых плеч, от запястья до круглых плеч. Что-то было в этом взгляде откровенно плотское, будто на Ольгу глядел мужик, а не баба.

А потом они собрались и пошли к машине, но Августа едва передвигала ноги.

— Подождите минутку, Егорушка Иванович, — сказала она, приваливаясь к его плечу. — У меня ноги какие-то глиняные, не идут. — Она остановилась, ухватившись за его руку. — И-е-ех!

Она закрыла глаза, веки ее почернели, лицо было мокро от слез.

— Августа Николаевна? Да что с вами?

— Худо мне, Егорушка Иваныч.

— Может, попить?

Ее трясло, трясло сильно и как-то корежило и поводило. Внутри у нее клокотало, она задыхалась.

— Вернемся.

— Нет, нет! — едва ли не выкрикнула она. — Видимо, при этих словах к ней вернулось сознание. — Я не спала, — произнесла она и пошла к машине, держась за его руку. — Простите меня, Егорушка Иванович, простите, — произнесла она и, не отпуская руки,

ткнулась в автомобиль, благо его дверца была открыта.

Она полулежала, закрыв глаза и вытянув ноги. Что-то похожее на икоту все еще сотрясало ее время от времени.

— Это бессонная ночь, — повторяла она, а Бардин думал: «Да в бессонной ли ночи дело? А может, Ольга всему виной?» Сколько помнит себя Бардин и свои отношения с Августой, он не давал ей повода вот так вести себя. А может быть, она усмотрела нечто такое, чему он не придал значения? И как она учуяла Ольгу? Ведь учуяла же! Что ни говори, а был в ней некий тревожный инструментик. Ох, и чуток он, бестия!

— Августа Николаевна, вы сказали, Черчилль?

Она все еще всхлипывала, впрочем, смеялась и всхлипывала. Достала зеркальце и, устремив глаза в него, онемела, была не очень довольна тем, что увидела. Потом, зажав в щепотку пушок, начала приводить лицо в порядок. При этом совсем по-обезьяньи ее быстрая рука обежала лицо, коснувшись и виска, и подбородка, и, разумеется, носа, который она выбеливала с особой тщательностью — нос не держал пудры.

А Бардин думал о своем: «Если Черчилль устремил стопы в Москву, значит, и Сергей Бекетов будет в Москве. Не может Бекетов не быть в Москве...»

В предвечерний час, когда июльское солнце склоняется к закату, по длинным коридорам большого дома на Кузнецком идут сторожа. Они идут не однажды хоженной дорожкой из комнаты в комнату, с этажа на этаж, уперев в пыльный паркет слабый лучик карманного фонаря. Вместе с тишиной, что неожиданно вошла сюда в достопамятный октябрьский день 1941 года и точно затвердела, вместе с запахами того дня (беда пахла сожженной бумагой, непобедим этот запах, он угадывается и сегодня) дом хранит само настроение того тяжкого часа. Оно, это настроение, в грозном молчании вещей, которые вдруг стали людям не нужны и замерли, пораженные апоплексией неожиданности: ничком упал книжный шкаф и разлетевшиеся стекла устлали комнату (за эти месяцы они стали лохматыми от пыли), опрокинулась настольная лампа и

абажур, соскользнув на пол, укатился в дальний угол и затаился, он до сих пор там лежит, помаргивая уцелевшим стеклышком... А сторожа идут. Обойти дом — едва ли не то же самое, что пройти по Тверской из конца в конец. Версты! Тут все выверено, как ни топорись, но раньше полутора часов не управишься. Поэтому неторопливо спокоен и размерен шаг, размерен звон ключей, сопутствуемый шагу.

Казалось, за эти десять месяцев далеко отлетел горестный октябрь (нелегко врагу оправиться от московской контузии!), а дом на Кузнецком все еще пуст. Пришло новое лето, и новый хребет обозначился явственно. Как-то возьмет его наша дружина? Где-то на четвертом этаже ветер выдавил вместе со стеклом сине-сизую бумагу, и закатное солнце точно встало у самого окна, багрово-огромное, все в грозных полосах. Чем-то это солнце, упершееся в линию горизонта, похоже на осколок зеркала. Смотри, земля, как ты выглядишь в лихое лето 1942 года! Видно, солнце приняло цвет беды, объявшей землю. Вон оно какое, красно-воспаленное, кровавое. Кажется, и ратная страда просматривается на ощутимо выпуклом стекле солнца: и мученическая Керчь, и ныне плененный Харьков, и трижды бессмертный Севастополь, который, как стало ясно ныне, держал в своей твердой ладони ключи от южных дорог России...

Скрылось солнце, и ночь вошла в дом, вошла беспрепятственно, казалось, проникнув сквозь плотную бумагу. Темно и тихо в доме на Кузнецком, никуда не упрятать усталый шаг сторожей да звук гремучего железа в их руках...

И вновь, как в памятные дни визита Идена в Москву, в шести окнах бардинского департамента, обращенных к Малому театру, круглую ночь горел свет.

— Господи, полжизни отдала бы за глоток кофе! — кричала Августа Николаевна в исступлении. Свою норму кофе, полученную правдами и неправдами, она израсходовала еще в начале месяца. — Полжизни!

Привычная картина: стол, заваленный кипами английских газет, пришедших с последней почтой, и стенографистка, одуревшая от бессонницы, рядом.

— Курите так, как я, Верочка, затягиваясь, удерживая дым вот тут, тогда голова будет свежей, как у меня!

Верочка Нестерова, старая наркоминдельская стенографистка, работавшая еще в ту далекую пору, когда наркомат был на Спиридоньевке, исторгла вздох из чахлой груди, вздох печали.

— Вы, Августа Николаевна, трехжильная. Чтобы большое колесо наркомата крутилось, таких, как вы, наркомату нужно даже не две, а полторы, — она изобразила это на пальцах. — Было бы в моей власти, я таким, как вы, давала бы Героя.

— Вы дали бы мне, Верочка, немножко счастья бабьего.

— О милая, это больше, чем Героя, да и не в моей власти, чего не могу, того не могу.

Влетел Бардин, влетел, едва не опрокинув стол с газетами.

— О, простите.— Как-то тесно сразу стало.— Он с силой раскрыл дверь в соседнюю комнату, шагнул. — Тамбиев у нас? Мне же сказали, он пошел к нам. Ничего, милая, не хочу знать. Разыщите, и пусть мчится ко мне.

И три телефонных аппарата, стоящие на столе Августы, пришли в действие: они вдруг заклокотали, захрапели, загудели трубно.

Тамбиев явился через час.

— Послушай, Николай,— начал Бардин, глядя на него, — я вспомнил свою прошлогоднюю беседу с Галуа. Он в Москве?

— Нет, в Туле.

— А нельзя ли ускорить его возвращение в Москву?

— Простите, а это срочно?

Бардин взял папиросу и закурил. Тамбиев знал, он иногда делал это, чтобы скрыть волнение, — разговор, требующий пауз, легче вести, когда у тебя папироса.

— Этот Галуа действительно родился в Питере?

— Да, конечно, Егор Иванович. Год рождения тысяча девятьсот первый.

Бардин стряхнул с кончика папиросы пепел, положил ее на край пепельницы.

— «Двадцатый век и тори» — его статья?

— Да, Егор Иванович.

— Прелюбопытная статья и... актуальная. Есть вопрос к автору.

— Говорить будете вы, Егор Иванович?

Бардин затянулся, папироса погасла. Он взял спички, вновь зажег папиросу.

— Да, конечно.

— Когда? В понедельник?

Бардин затянулся больше обычного и не сдержал кашля...

— Почему же в понедельник?

— Потому, что завтра воскресенье.

— Тогда сегодня.

Тамбиев рассмеялся.

— Сегодня он вернулся из Тулы, да к слеху ли это?

— Знаешь, Коля, много знать будешь, прежде времени состаришься,— улыбнулся Егор Иванович.

— Тогда хотите, я вам скажу, зачем вам нужен Галуа?

— Сделай милость, скажи.

— Приезжает Черчилль.

Бардин поднял свой толстый перст, погрозил им.

— Ты это брось. Понял? Со мной шутки плохи, Коля!

— Но вы хотели меня попросить о чем-то?

— Я хотел? Откуда ты это взял? — Егор Иванович вдавил горящую папиросу в каменное донышко пельницы, загасил.

Бардин усадил Галуа в машину и увез в Ясенцы. Егор Иванович сделал это, не дожидаясь вечера, рассчитывая переговорить с Галуа один на один. Правда, без Ольги ему нелегко было накрыть стол, но Бардин, как ему казалось, вышел из положения с честью. Он добыл в небогатых наркоминдельских кладовых трофейных итальянских сардин и сыра, взял буханку черного хлеба и бутылку водки, тщательно упаковал все это и был таков.

Шел дождь, обильный, августовский, и в доме было сумеречно и сыrovато. Бардин разжег печь. Запахло дымком, соленным и едким. Егор Иванович пододвинул стол к печи, раскрыл пакет с нехитрыми дарами наркоминдельской кладовой. Гость Бардина вспомнил

свое петербургское детство, Тенишевскую гимназию на Моховой, и они вышили за учителей Галуа.

— Когда наконец я пройду по Моховой? — спросил Галуа, разогреваясь. Его губы мгновенно стали пунцовыми, вспыхнул румянец и загасил веснушки, а заодно и коричневатость кожи. — Пустите вы меня?

— А почему бы вас не пустить? — вопросом на вопрос ответил Бардин. — Увидите вашу Моховую, я в этом уверен.

— Вы добрый человек, Егор Иванович...

Он умолк и стал смотреть вокруг не без любопытства. «Ну, а теперь начнем разговор по существу! — точно хотел сказать он. — Начнем же!»

— Послушайте, Галуа, я считаю, и, по-моему, вы об этом знаете, никто так не понимает психологию нынешней черчиллевской политики, как понимаете ее вы. Я ценю это ваше качество.

— И мою дружбу с британскими послами в Москве, Криппсом и в какой-то мере Керром? — у него всегда был наготове довод, которым он как бы подсекал собеседника.

— Дружбу с послами? А разве это так важно? Да может ли существовать дружба у посла с корреспондентом? Легче лев сдружится с буйволенком, чем посл с корреспондентом.

— Простите, но кто есть лев и кто буйволенок? — спросил Галуа.

— Не послу же быть львом! Конечно, корреспонденту, — ответил Бардин. Ему стоило труда не расколотаться.

— О, если бы вы знали, как Криппс, например, трепетал передо мной! — воскликнул Галуа. Он вспомнил долговязого, рассудительного Криппса, для которого была непостижима живость Галуа. — Но вернемся к главному. Вы сказали, психология нынешней черчиллевской политики?

— Да, я так сказал, — согласился Бардин.

— Рассказ не рассказ, если ты не можешь воссоздать настроение. Давайте-ка вначале выпьем. За что? Ну, за ваш дом и за женщину, что высадила вот эти гладиолусы под окном, — он высунулся из окна, пытаясь разыскать гладиолусы. — Признайтесь, что это была женщина. Вот за нее.

— За нее, за нее, — засмеялся Бардин и опрокинул рюмку.

— Вы видели когда-нибудь Криппса?.. — образ Криппса продолжал маячить у Галуа перед глазами. — Ну, вы скажете, что ему всего лишь пятьдесят три года. Старомоден, как сама бабушка Великобритания, которую пора на слом. Вы не согласны? — Он вновь рассмеялся, пыхтя и попискивая, закрыв глаза и ритмично помахивая кистями рук, точно хотел сказать: «Ох, вы и уморили меня этим Криппсом!» — Но вот что интересно, он трезв, этот старик Криппс. Трезв, даже когда все пьяны. Одним словом, у него толстая кожа. Этой толстой коже он обязан тем, что совладал с теми русскими, которые были к нему не очень милостивы во времена пакта. Вы полагаете, что я преувеличиваю? Никоим образом! Криппс мне сам говорил, что все его просьбы о встрече со Сталиным категорически отводились до того самого дня, когда Германия напала на СССР. Делу не могла помочь даже знаменитая телеграмма Черчилля Сталину, в которой он пытался предупредить русских о нападении. Но Криппс верно рассчитал, время работает на него.

— Простите, в каком смысле оно работает на господина Криппса? — спросил Бардин и, заметив, что дождь перестал, пошире открыл дверь во двор. Пахло мокрой травой, характерным запахом лука, видно, он был высажен где-то рядом.

— А в том смысле, что с началом войны его стали жаловать вниманием как раз те, кто не хотел его видеть прежде, — заметил Галуа, принимаясь за еду. Казалось, он протрезвел и готов был к обстоятельному разговору. — Вы скажете: «Какой резон вспоминать Криппса, когда в Москве новый британский посол?» Есть резон. Криппс терпел потому, что Британия была заинтересована в России.

— Не хотите ли вы сказать, мистер Галуа, что настала очередь России терпеть, поскольку она заинтересована в Британии?

Галуа покраснел. Когда ему было неловко, у него багровели уши.

— Нет, я хочу сказать об ином. Керр — это не Криппс...

— В каком смысле?

— Вы можете говорить о Криппсе что хотите, но он пришел к своему положению от идеи.

— Не хотите ли вы сказать, что Керр, будучи человеком карьеры, способен в большей мере понять Черчилля?

— Да, вы угадали, в большей, — был ответ Галуа.

— И каков прогноз Керра?

Галуа прикрыл уши руками, да взял и сделал из своих диковинно-худых рук своеобразные наушники. Его уши горели бесстыдно.

— Черчилль хотел бы сделать последнюю попытку и уберечь Еританию...

— От второго фронта? — спросил Бардин.

— Да.

— Благодарю вас, — сказал Бардин.

Но Галуа уже затревожился, нет, он отнюдь не хотел продолжать разговор, он хотел сменить тему.

— Пожалуй, трезвым об этом говорить трудно, — молвил Галуа и выхватил из графина стеклянную пробку. — Вы не находите? — Он подался к открытой двери, в которую был виден участок сада, облитого дождем. — Я учуял запах лука. Нельзя ли стебелек!

— Можно, разумеется. — Бардин вышел в сад и вернулся с пучком лука. Лук был матово-дымчатый, весь в дождевых брызгах. — Я сейчас вымою его.

— Не надо, вы же смоете дождевую воду, — запротестовал Галуа, принимая пучок из рук Бардина.

Они выпили еще по одной.

— Я знаю, у вас сын на войне, — сказал Галуа. — За него.

Бардин как-то потерялся, смотрел на Галуа и не очень понимал, зачем он приволок его в Ясенцы, что хотел от него.

— У меня хороший сын, господин Галуа, — вдруг произнес Бардин, и такая сладковатость подкатила к горлу. Не ровен час, ударишься в слезы. — У меня очень хороший сын.

— Он там, господин Бардин?

— Да.

— Ну, тогда за вас и за него.

— Нет, выпьем за него, за меня не надо.

— Почему?

— Потому, что он там, а я всего лишь здесь,

— Нет, нет, за него и за вас.

Они выпили, закусили луком.

— Я хочу вернуться к главному, — сказал Бардин. Он был уверен, что предшествующий разговор был хорошей подготовкой, чтобы поговорить о главном. — Вы понимаете меня?

Галуа задумался.

— Понимаю, конечно. — Он вновь стал строг. Его водянистые глаза ожили, его редкие брови пришли в движение. — Только имейте в виду, пожалуйста, я скажу, но Керр к этому не имеет отношения никакого. — Он положил ногу на ногу, поудобнее откинулся в кресле. Он был готов к разговору. — Как я понимаю, если вторжение на континент совершится, оно должно совершиться не столько силами американцев, сколько англичан. — Галуа посмотрел на Бардина. Ему было важно, чтобы Егор Иванович подтвердил это. — Как вы полагаете?

— Возможно, вы правы, — сказал Бардин.

— А если так, то последнее слово за Черчиллем, верно? — взглянул он на Бардина, вновь ожидая подтверждения, но Егор Иванович молчал. — Черчилль, разумеется, и глазом не поведет, что последнее слово за ним. Наоборот, по тому, как будет он почтителен к американцам и какие знаки внимания он окажет им, создастся впечатление, что последнее слово за американцами. На самом деле он переуступит им все знаки внимания, но не переуступит им этого последнего слова о десанте. Теперь вопрос: «Если это слово, а следовательно, и это дело за ним, то к какому году он собирается его приурочить?»

— Простите, но год назван — сорок второй!

Галуа молчал, опустив глаза. Ну, разумеется, все то, о чем шла речь, касалось его лишь косвенно. Он хочет уточнить, косвенно. Но даже в этом случае он не мог не испытать некоторого замешательства. Даже странно, виноват, очевидно, Черчилль, а Галуа стыдно. В такой мере стыдно, что даже говорить об этом как-то неловко.

— Десанта в сорок втором не будет, — наконец произнес Галуа. — Не будет его и в сорок третьем. Черчилль высадит войска тогда, когда он уже не сможет их не высадить.

— Но этот день придет? Будет он?

— По-моему, будет. Не может не быть.

— Когда?

— Когда русские армии вступят в Европу и их путевые указатели будут обращены если не на Берлин, то на Варшаву и Прагу.

Бардин уперся руками в борт стола, с силой отодвинулся, загремела посуда.

— Так... — с трудом вымолвил он и умолк. Долго молчал, насупившись, а когда поднял глаза, встретился взглядом с Галуа и увидел, что гость смотрит на него без сграха. — Может, пододвинем стол к двери? — нашелся Бардин и взглянул на открытую дверь.

— Пожалуй, — согласился Галуа, пораздумав. Они пододвинули стол. Солнце садилось, и стали слышны запахи цветов: мятный запах ромашки, сладковато-тоскливый левкоев. — Вы хотите знать, чего он приезжает?

— Да, в самом деле, что ему делать здесь? — спросил Бардин. — Какими глазами он посмотрит?..

— Ему нельзя без Москвы, — заметил Галуа. — Бойтся он.

— Бойтся? Чего?

— В истории Советской России были случаи, когда она предпочитала союзникам Германию.

Бардин ухмыльнулся:

— А знаете, этот ваш Черчилль — феномен! Вот посудите, когда человек изменяет своему слову, у него возникает желание если не провалиться в тартарары, то, по крайней мере, не являться на глаза тому, кого он обманул... Да это и естественно — стыдно. А вот Черчилль наоборот. Так?

Галуа рассмеялся:

— Как это говорят русские: «Стыд глаза не выест»..

Бардин поднес бутылку ближе к свету — смеркалось.

— Вот тут осталось еще...

— На «посошок»? — весело спросил Галуа.

— Да, пожалуй, на «посошок». — Они выпили. — Значит, когда русские вступят в Европу? Так? А как же тогда коммюнике? — спросил Бардин. — Вы поняли меня?

— Понял, — сказал Галуа. — Но поймите и вы ме-

ня, коммюнике — это не договор. К тому же есть памятная записка, которую Черчилль вручил Молотову, там формула коммюнике, в сущности, берется под сомнение.

— Вы полагаете?

— В коммюнике англичане дали обязательство, в памятной записке они взяли его обратно.

— И вы полагаете, что памятная записка дает им право взять свое слово обратно?

Галуа молчал.

— Вы полагаете?— повторил свой вопрос Бардин.

— Я не в такой мере трезв, чтобы ответить на этот вопрос, — сказал Галуа и поднялся. — Мое время вышло, — он взглянул на часы.

Поднялся и Бардин, не мог не подняться. Однако непобедим Галуа! Непобедим и неуловим. Ударил хвостом по воде и ушел в глубину.

Часом позже наркоминдельский автомобиль мчал их в Москву и натрудившийся Галуа спал, сложив едва ли не вдвое тонкие ноги. Собственно, Галуа подтвердил то, что было известно Бардину, что маячило все определеннее в последние полтора месяца: Запад бьет отбой, бьет энергично, если не сказать, воодушевленно. И пришли на ум слова многомудрого Иоанна: «И как им можно верить, когда мерилом их честности является Черчилль? Ты понимаешь, простая душа, что такое Черчилль?» В самом деле, нало ли было вот так? Лондонская бумага, а вслед за этим кремлевская сессия... Все про второй фронт. Будет, мол, в сорок втором. И вот Черчилль с его черной вестью, да в какой еще момент! И вновь пришел на ум спор с отцом. Надо ли было, чтобы весь народ участвовал в споре с союзниками, как он участвует в единоборстве с врагом? Чтобы спор был открытым? Пусть британский премьер знает, слово, услышанное им в Кремле, может быть повторено с тем же чувством убежденности и ответственности на Волге, на Лене, на Иртыше. Пусть он знает и иное: нашему народу ведомо, что Черчилль идет на вероломство. До сих пор он имел дело с людьми официальными, отныне будет иметь дело с народом. Надо было созывать сессию и вовлекать народ в этот разговор? Ведь это же рана! А их, этих ран, и без того было немало. Надо было? Если бы Бардин был

убежден в обратном, он нашел бы мужество согласиться с отцом. Но в том-то и дело, что он убежден: надо было делать, надо! И, быть может, даже в более крутых тонах, чем этот разговор велся.

Ничто не делает народ таким могучим, как сознание, что он все знает. Как ни горька правда, как она ни многотрудна, ее не надо скрывать. Глупо думать, что она обезоружит народ. Если и способно что-то обезоружить Россию, так это ложь. Не бойся правды, она твоя союзница, на веки веков союзница. Почему мы победили в семнадцатом? Почему наша сила оказалась многократно могучее силы, которой обладал враг? Потому что народ вела правда. Правда не отнимает силу, она ее умножает.

## 65

Бардин был на аэродроме, когда самолет Черчилля приземлился на желтой августовской траве просторного поля. Черчилль показался Бардину неожиданно белолицым, точно прилетел он не из Каира, а из сумеречно-хладного Шпицбергена. Сойдя по трапу на землю, он устало поднял два пальца, точно намеревался благословить встречающих. В некогда воинственном знаке «Victory», знаке грядущей победы, сейчас было мало воинственности.

За многочасовой полет у Черчилля определенно затекли ноги. Он нес свое полное тело осторожней обычного, при этом поднятая ладонь, два пальца которой были растопырены, как буква «V», помогала ему сохранить равновесие. Но, быть может, воздетая ладонь означала не только это? Для Черчилля — знак британской победы, для русских... Два толстых черчиллевских пальца были воинственно рогаты, и кто не знал о многозначительной «V» — «виктория», «победа», — мог принять их за знак второго фронта. Истинно, черчиллевская рука разом обратилась в хоругвь. Знает, многоопытная bestия, какой стяг поднять у большой заставы российской.

Уже отойдя от самолета, Черчилль вдруг увидел советского военного летчика в синей гимнастерке, остановился. Не иначе, у него возникло желание подойти к летчику, может быть, пожать руку, возможно, даже

сказать: «Товарищ по оружию...» — жест старого парламентария, всемогущий жест. Сколько помнит себя Черчилль, этот прием действовал безотказно. Но сейчас было не то. Рука старого тори неопределенно дернулась, и он захромал дальше. Не было сомнений, то, что было хорошо прежде, сейчас решительно не годилось. Видно, эта встреча и по мысли Черчилля должна была стать иной. Без раутов и приветственных спичей. Без протокольных визитов и торжественных тирад в газетах. Даже без пресс-конференций и дежурных интервью. Чем строже, тем действеннее. Поэтому лучше не очень щедро расточать улыбки, никого не хлопать по плечу и уж по возможности меньше обмениваться рукопожатиями. Черчилль полагает, что ему надо дать понять, какой линии поведения он намерен держаться, нет, не безотносительно к тому, как будет себя вести советская сторона, а именно в связи с этим.

Но что это? Как ни пытался Черчилль заметить признаки сдержанности, пока это ему не удалось. Военный оркестр, как показалось английскому премьеру, великолепно натренированный и вышколенный, исполнил английский гимн, а почетный караул явил такую четкость построения и шага, что затекшая нога старого Уинни заметно выпрямилась и принялась отбивать такт.

Но, может быть, все это было в пределах протокольной нормы? В конце концов, прибыл премьер союзной державы, и гимн с почетным караулом должны этому сопутствовать независимо от желания хозяев. Очевидно, не это определяет истинную температуру встречи. А что именно? И англичанин ощутил тоскливое посасывание под ложечкой, когда им овладевали подобные эмоции, у него и прежде посасывало...

...Сталин по своему обыкновению вышел из-за стола и двинулся гостю навстречу.

— Ваш полет был небезопасен, последние две тысячи километров вы летели в непосредственной близости от линии фронта, — сказал он, протягивая руку.

Воодушевление отразилось на лице Черчилля. Все, что говорил себе старый Уинни о необходимости быть

сдержанным; отлетело прочь, его лицо порозовело и расплылось в улыбке.

— Если бы этот полет был трижды опаснее, чем на самом деле, я бы все равно явился в Москву, премьер Сталин, — произнес Черчилль, пожимая ему руку. За исключением полуофициального «премьер Сталин», эта фраза была сердечной вполне. Впрочем, и протокольное «премьер Сталин» можно было понять и простить, именно так Черчилль адресовался к Сталину в письмах. — К тому же что мой полет в сравнении с полетом русской делегации в Вашингтон, — улыбнулся он Молотову. Он должен был справедливо распределить соответствующую долю приятных слов между хозяевами, иначе разговор не будет подготовлен.

— Главное, чтобы ты знал, что летел не напрасно, остальное не страшно, — сказал Сталин, глядя не столько на Черчилля, сколько на Молотова. Он уже принялся сооружать понтон между легкой преамбулой и мощным основанием того, что за нею должно последовать. Взглянув на Молотова, он дал понять, что имеет в виду не столько миссию Черчилля, сколько миссию Молотова. К разговору о втором фронте тут было два шага.

Нельзя сказать, чтобы старый Уинни не почувствовал этого.

— Я хочу говорить о втором фронте, — произнес Черчилль и вздохнул. Ему наверняка казалось, что, взяв инициативу этого разговора в свои руки, он обретет преимущества. — Я хочу говорить откровенно, — подтвердил он.

Черчилль откашлялся, и его кулаки медленно опустились на стол, наверно, в знак того, что его реплика будет достаточно обстоятельной.

Черчилль заговорил, видно, этот монолог был им заготовлен в те долгие часы, когда самолет, пройдя над желтыми холмами Северного Ирана, вышел к Каспийскому морю, и повторен над необозримой русской равниной.

Смысл пространной реплики можно было понять так: союзники не смогут предпринять высадку в сентябре, кстати, этот месяц является последним возможным месяцем для операций такого рода. Они будут готовы осуществить это намерение лишь в будущем

году. На Британские острова перебрасывается миллионная американская армия, операция по переброске будет завершена весной. Предполагается, что американцы направят двадцать семь дивизий, к которым присоединится двадцать одна дивизия англичан. Пока численность американских войск на островах не превышает двух с половиной дивизий.

Черчилль продолжал говорить, не спуская глаз со Сталина, он точно контролировал себя по тому, как каждое его слово воспринимал человек, сидящий напротив.

Сталин становился все угрюмее и, как могло показаться, безучастнее. Черчилль говорил, а Сталин сидел в своем кресле, полусклонившись над столом. Иногда Черчилль умолкал, точно приглашая Сталина заговорить, но молчание было англичанину ответом, недоброе молчание.

— Мы не вправе рисковать, — сказал Черчилль.

— Человек, который не готов рисковать, не может выиграть войну, — произнес Сталин и, чувствуя, что его слова могут быть приняты Черчиллем на свой счет, пояснил: — Наш опыт показывает, что войска должны быть испытаны в бою.

Наступило молчание. Стул под Черчиллем скрипел, и было слышно, как кряхтит англичанин. Это было не легкое покряхтывание старого человека, похожее на стон.

— Думали ли вы, почему немцы в сороковом году не вторглись в Англию? — полюбопытствовал британский премьер. — Гитлер был в тот момент в зените могущества, а наша армия не превышала двадцати тысяч.

Сталин встал, встал неожиданно легко — мысль, которую он готовился высказать, определенно придавала ему силы.

— Почему немцы не вторглись? — переспросил Сталин. Опытный полемист, он понимал, что иногда надо повторить довод оппонента, а потом уже утвердить свой. Здесь, полагал он, двойной эффект: и впечатление особой лояльности к противнику и убедительность контрудара.— По-моему, это не одно и то же, — мягко заметил Сталин. Эта мягкость не должна была обманывать, обычно самые жесткие его слова

следовали за нею.— Немцы, вторгшиеся в Англию, встретили бы сопротивление народа; англичане, высадившиеся во Франции, наоборот, поддержку. Какая тут аналогия?

Черчилль достал платок и, развернув, казалось, изумился его размерам. Никогда прежде носовой платок не казался ему таким большим. Он торопливо свернул платок и приложил к потному лицу.

— Тем более мы не должны оставлять французов на милость Гитлера, если вынуждены будем уйти с континента,— произнес англичанин, не отнимая платка от лица...

— А это уже совсем смешно, — реакция Сталина была веселой. — Не на поражении же нам строить свои расчеты.

Черчилль не поднял, а взметнул руку, нетерпеливо сжал ее и разжал.

— Карту! — произнес он. Карта была тут же добыта и покорно легла на розовую ладонь Черчилля. — Быть может, есть иной вариант десанта?

Но вниманием Сталина завладеть было уже нелегко, он перевернул папиросную коробку и, обнаружив на тыльной ее стороне непарельную строку, попытался ее прочесть. Ничего не было для него сейчас более значительного, чем эта строка.

— Если говорить о моей миссии в Африку, то там назревают события значительные, — заметил англичанин.

И вновь, как это было в начале встречи, Сталин сделал жест, показывающий, что перед ним гость. Позже, стараясь объяснить себе это, Черчилль склонен был думать, что в этом было традиционное кавказское уважение к гостю, но, наверно, дело было не только в этом. Как ни сложны были отношения между союзниками, перед Сталиным сидел глава правительства, с которым Россия пошла вместе на фашизм, остальное должно было быть производным.

— Да, в вашем последнем послании шла речь об операции «Торч», — сказал Сталин.

Черчилль сейчас был на коне. Да, старый Уинни понатужился и попробовал вложить ногу в стремя и— о господи! — взлететь и утвердиться на коне, всей огромностью своих ног ощущая прохладную глянцеви-

тость седла. Правда, старого Уинни корежила одышка, но вождеденное было достигнуто — он был на коне!

— Ну, что можно сказать об операции «Торч»? — спросил спокойно, даже спокойно-меланхолично Черчилль. Сейчас, когда он был на коне, он мог ослабить поводья и в какой-то мере пококетничать. — Но прежде чем ответить на ваш вопрос по существу, я хочу поблагодарить вас за то, что вы переуступили нам сорок «бостонов»...

Черчилль не ошибся, сорок «бостонов». Англичане, готовя северо-африканскую операцию, попросили через Рузвельта (через Рузвельта!) переуступить им сорок «бостонов», направленных в Россию. Во всякое иное время ценность этих «бостонов» была относительной, но в нынешнюю тяжкую для России пору (не ясно ли, что темп немецкого наступления способен сбить только авиация?) эти сорок «бостонов» обрели цену немалую. И тем не менее согласие было дано, сорок «бостонов» едва ли не с русского фронта ушли в Северную Африку. Вот он, пример того, как надо приходить на помощь.

— Пользуюсь случаем...

— Да, пожалуйста. Итак, «Торч».

Сталин подошел к окну и пошире распахнул створки. Свежесть зеленых кремлевских полей, холодноватость кремлевского камня, а вместе с этим ветреность возвышенных здешних мест неспешно втекли в комнату.

Итак, «Торч»! Наверно, у Черчилля была необходимость, как это было, например, на борту крейсера «Принц Евгений», поудобнее устроившись в кресле, завладеть на добрый час вниманием присутствующих, имея в виду только собственную персону, однако, подняв глаза, Черчилль увидел Сталина. Характерной походкой, чуть-чуть вразвалку, Сталин возвращался к столу. Истинно, походка у него была штатской, неторопливо-спокойной, бесшумной, чем-то напоминающей неспешные интонации его речи.

Черчиллю потребовалось несколько фраз, чтобы изложить смысл операции «Торч»: дислокация, соотношение резервов, шансы сторон...

— Если мы сумеем овладеть Северной Африкой,

само брюхо гитлеровской Европы будет в опасности, — сказал Черчилль и, взяв из стопки, лежащей посреди стола, лист нелинованной бумаги и положив его перед собой, набросал силуэт крокодила и вонзил ему в брюхо шпагу, при этом его карандаш действовал с такой быстротой и уверенностью, какая в англичанине и не угадывалась. Очевидно, он рисовал этого крокодила не впервые.

Черчилль пододвинул листок с рисунком Сталину.

— Вместо того чтобы атаковать крокодила в жесткую морду, мы поразим его мягкое брюхо.

— Да, да, — сказал Сталин и кивнул не столько в знак согласия с Черчиллем, сколько в подтверждение каких-то своих мыслей.

Но это не обескуражило Черчилля, он продолжал говорить. Очевидно, расчет англичанина, чисто психологический, строился на том, чтобы в начале беседы заявить об отказе от второго фронта, а вслед за этим, сдерживая гнев русских, раскрыть им замысел операции «Торч». По мысли Черчилля, такой план беседы сулил известные выгоды: русские проглатывали горькую пилюлю и не ощущали, как она горька.

Сталин слушал, полузакрыв глаза, едва заметно покачивая головой. Трудно было понять, что означало это покачивание головой, в равной мере печальное и одобчительно-доброжелательное.

— Дай бог, чтобы это предприятие удалось, — сказал Сталин, так и не подняв глаз. Эти слова, видно, очень соответствовали его настроению в эту минуту. — «Пусть удастся это предприятие! — точно говорил он. — Пусть удастся. Дело союзников нас радует, но пусть оно не заслоняет главного». — Очевидно, североафриканская операция явится дополнением к тому, что предстоит сделать в Европе? — спросил Сталин. По тому, как четко был сформулирован этот вопрос и с какой энергией произнесен, Сталин хотел разговора по существу.

Черчилль говорил, а Сталин прикидывал, насколько эффективен новый план союзников. Конечно же, «Торч» — не второй фронт, но то, что союзники обратились осенью 1942 года к «Торчу», в какой-то мере явилось успехом русских. Их жесткого беспокойства о втором фронте, их настойчивости.

Черчилль говорил, а Сталин, верный своей привычке соотносить и анализировать, пытался ответить себе, что «Торч» даст союзникам.

Он осторожно прервал Черчилля, как бы рассуждая вслух, произнес:

— Что же это даст союзникам? Нанесет удар Роммелю с тыла. Устрашит Испанию. Столкнет немцев с вишистами. Создаст угрозу Италии.

Сталин умолк, а Черчилль не решался возобновить монолог, он явно был под впечатлением только что произнесенного. Так экономно и точно замысла «Торча» еще никто не формулировал.

— Для нас сейчас главное — Северная Африка, — сказал Черчилль. — По тому, с какой готовностью наши русские союзники откликнулись на просьбу о «бостонах», мы поняли, и для них ясно, как это важно.

— Важно, важно, — вымолвил Сталин не без труда и закивал в такт произнесенным словам.

— Благодарю вас, — сказал Черчилль. Он хотел истолковать последние слова как желание Сталина понять англичанина и одобрить его образ действий.

Черчилль встал. То, что можно было назвать первым визитом, закончилось для него со знаком плюс, и он хотел даже ценой некоторой поспешности поставить точку.

Когда на другой день Бардин посетил загородный особняк, служивший английскому премьеру резиденцией, он застал Черчилля в парке. Как обычно, английский гость был в форме цвета хаки, при погонах майора, что указывало, что он готов к очередной кремлевской встрече. Бардин приехал за ним.

— Вот смотрю на эту березу и думаю, а ведь мне надо еще себя убедить, что я в России, — сказал Черчилль.

— И береза тому доказательство?

— Да, пожалуй.

Он привык смотреть на Россию издалека, и она ему казалась даже дальше, чем была на самом деле. Это расстояние было прямо пропорционально ее диковинности и, в его глазах, чудовищности. Не мог же этакий

монстр существовать на одной планете с Черчиллем! Его, Черчилля, извечное единоборство с Россией, единоборство, которому он отдал четверть века, было для него борьбой с пришельцами с Марса. Да, да, эта планета должна быть красной! Он никогда не думал побывать на этой планете, да, признаться, это казалось ему и невероятным. А необходимость заставила. К чему только не способна побудить необходимость. Но вот что интересно, вещи самые обыденные обрели для Черчилля смысл, какого они не имели никогда. Береза, обычная береза стала больше, чем березой. Да что береза. Сегодня он проник в бомбоубежище. Не без трепета он вошел в лифт, и тот опустил его в преисподнюю. Нет, небо было девственно-синим, и никто не помышлял о тревоге. Просто Черчилля разобрало любопытство. Как она выглядит, красная планета, если взглянуть на нее не с парадного крыльца? Он вошел в лифт и... провалился на девяносто футов под землю. Глубина! Он пошел из комнаты в комнату. Нет, не только просторно — светло, да, такое впечатление, что дневной свет преломлен и направлен в недра планеты. Чудо, и только! Он поднялся наверх. Аквариум. С размерами его можно примириться, а вот золотые рыбки, которые берут еду прямо с ладони! Господи, чего только не увидишь на красной планете! Он вошел в дом и остановился перед краном как замороженный. Оказывается, вода может смешаться и достичь необходимой температуры до того, как вытечет из крана. Невиданно! Не надо ее наливать в раковину и смешивать до нужного градуса, как это делают на родине знатного гостя, а она уже вытекает из крана, так сказать, готовой. Все можно постичь, но это? Черчилль включил теплую струю и подставил палец. Божественно! Вот они, чудеса новой планеты. Непонятно только одно: кто к кому пожаловал в гости? Цивилизованный в страну варваров или варвар в страну цивилизованных?

— Ах, какое необыкновенное небо! — сказал Черчилль, когда они направились к машине.

— Августовское, — заметил Бардин.

— Для Москвы августовское, — был ответ Черчилля, хотя ему, наверно, хотелось сказать: для красной планеты августовское. — На островах этому дню не

всегда сопутствует солнцу. Было бы иначе, я бы запомнил.

— Запомнили бы? — переспросил Бардин. — Сегодня четверг, тринадцатое августа.

— Да, тринадцатое, день Бленгейма, — произнес Черчилль, и голос его посветлел заметно.

День Бленгейма, день Бленгейма... Боже, не бросай на произвол судьбы, раба твоего Егора. Что же это такое день Бленгейма? Да не красный ли это листок в семейном календаре знатного гостя? Но Егор Иванович может этого и не знать. Ему самим всевышним разрешается не знать.

— Это что же, не дата ли англо-французской битвы при Бленгейме и не победа ли первого Мальборо? Тысяча семьсот шестой?

Черчилль просиял. Если бы Бардин ошибся не на два года, а на двести два, все равно он был бы прощен великодушно.

— Семьсот четвертый! — произнес Черчилль, возликовав.

Если у Мальборо был некий символ, то это, конечно, Бленгейм. Вот и в книге Черчилля об отце, увидевшей свет в начале века, Бленгейму было воздано должное.

— Первый Мальборо, и победа первая, — произнес Черчилль серьезно и погасил улыбку. Он думал сейчас о чем-то таком, что имело прямое отношение к истории, но отнюдь не являлось историей. — Наверное, есть нечто такое, что сильнее нас, если сегодня тринадцатое августа.

Ну что ж, теперь он все сказал. Он хотел видеть в своей поездке в Москву новую победу Мальборо при Бленгейме. Теперь он все сказал.

Бардину сообщили, что, возможно, ему придется побывать в Стокгольме еще раз. По тому, как это было сказано, Бардин понял, поездка состоится наверняка, при этом в ближайшее время. Бардин пригласил Августу. Из опыта он знал, что ей на подготовку надо неизмеримо больше времени, чем ему, не столько на подготовку деловую, сколько психологическую. Она будет работоспособна, если успеет привыкнуть к мысли о

поездке. Все, что надо было делать без этой психологической подготовки, Августа делала без энтузиазма.

— Вот что, голубушка, предстоит поездка в Швецию, готовьтесь, — сказал Бардин.

— Нельзя же так внезапно, — произнесла она, опускаясь в кресло, которое, к счастью, оказалось подле.

— Ничего себе внезапно! Два дня!

Он взглянул на Августу тем быстрым, но все отмечающим взглядом, которым иногда смотрел на нее, желая уловить настроение — обстоятельство немало важное, если иметь в виду ее работоспособность. С того памятного дня, как Августа неожиданно явилась в Ясенцы, что-то в ее облике, да, пожалуй, и в поведении сместилось. Прежде она ему напоминала этакую цирковую лошадку, она не являлась людям на глаза неухоженной. А теперь произошло нечто иное — она не стеснялась быть некрасивой. Третьего дня, например, Бардин застал ее сидящей за столом с красными глазами. По всему, слезы ее были обильны — на стекле, лежащем перед нею, собралось озерцо. Бардину стало не по себе. Господи, вот он секрет мироздания! Как из такой вот немощи возникает такая энергия и целеустремленность?

— Как перевод? — Он хотел, чтобы она недолго пребывала в состоянии шока, и спешил возратить ее к очередным делам. Это должно было подействовать отрезвляюще.

— Какой перевод? — спросила она голосом, в котором еще не было силы.

— Как какой? Меморандум черчиллевский! Один и второй! — воскликнул он. В голосе его звучало раздражение.

— Да, да, помню, мне надо еще с час, — вымолвила она, не без труда поднимаясь.

— Бекетов звонил? Он будет? — крикнул он ей вдогонку.

— Да, он должен быть, — отозвалась она, уже перейдя в соседнюю комнату.

Бардин взглянул на часы. Бекетов опаздывал. Его самолет приземлился часа полтора тому назад на аэродроме, километрах в пятидесяти от Москвы. Пожалуй, в эти два часа можно было бы и добраться до Москвы,

хотя, как помнил Бардин, дорога на аэродром не широка, там два или три переезда, возможен и затор.

Вот так всегда. В минуту трудную ему не надо человека, который возьмет на себя часть ноши, ему нужен человек, с которым можно отвести душу. Как хорошо умел слушать Сергей Бекетов: участливо, а следовательно, сердечно, мудро, невозмутимо, сохраняя и самообладание, и такт, единственно заботясь о благе. Да в этом ли все дело? Тут и слов не найдешь подходящих, не только поэтому. Просто Бардину хорошо с Сергеем. Пожалуй, это единственный человек, общение с которым оставляет в душе состояние какого-то мудреного покоя. Наверно, первоадром многолетних отношений Бардина с Бекетовым является то большое, что соединяет людей единой цели, но не только это, а то непреходяще человеческое, что зовется родством душ.

Все казалось: вот сейчас распахнется дверь и на пороге встанет Сережа Бекетов!

Но понадобилось еще добрых полтора часа, прежде чем Бардин услышал голос друга и увидел его щетину небритую.

— Погоди, ты куда приехал, в Наркоминдел или в Московскую патриархию? — крикнул Бардин, дотягиваясь до его бороды и охорашивая ее. — Не иначе, на лондонский православный приход претензии предъявлял.

Но Бекетову было не до шуток.

— Тут не то что попом православным станешь, в муллу обратишься! Истинно, путь тернистый!

— Да ты что, пешком в Москву добирался?

— Нынче, милый мой, небеса утыканы терниями, пожалуй, больше, чем суша земная. — Он протянул Егору Ивановичу руку, протянул отчужденно, будто перед ним был не Бардин, а просто добрый приятель из клерков наркоминдельских. В мыслях своих он был еще где-то на заоблачных высотах, усыпанных терниями. — Где-то у Калача увязался «мессер» и шел неотступно до самой Рязани.

— Ну успокойся, дружок ситный. — Егор Иванович обнял Бекетова. — Двум смертям не бывать, одной не миновать! Хочешь чая?

Вошла Августа Николаевна с текстами черчиллевских меморандумов, они были переведены.

— В самом деле, хотите чая, Сергей Петрович? — спросила она. Нежное отношение Бардина к Бекетову сообщилось и ей, Августе была введена история их отношений.

— Чая так чая, — сказал Бекетов. — Как миссия британская в град первопрестольный? — спросил он друга, дождавшись, когда Августа Николаевна вышла. Не то, что он считал неуместным задавать этот вопрос при ней, просто предпочитал говорить об этом наедине с другом.

— Вот она, суть миссии британской, на этих двух бумажках и уместилась, — сказал Бардин, раскрывая перед Бекетовым папку и извлекая из нее два листа, заполненные машинописным текстом.

Бекетов сел ближе к настольной лампе, углубился в чтение. Да, это были знаменитые черчиллевские меморандумы, которые британский премьер направил в Кремль 14 августа. Очевидно желая подчеркнуть, сколь значительны усилия англичан в войне и велики потери, Черчилль сообщил о морском бое, которым сопровождался конвой на Мальту.

— Не находишь ли ты, что коммюнике построено таким образом, чтобы подчеркнуть, как велики потери? — спросил Бардин, когда Сергей Петрович закончил чтение и возвратил папку. — В самой интонации есть такой оттенок, будто бы Черчилль даже рад, что имеет возможность сообщить нам о гибели авианосца «Игл»! Он точно желает сказать этим: «Вот вы утверждаете, что несете главную тяжесть войны, а у нас не далее как вчера погиб авианосец. Вот каковы моряки британского флота, знают, когда погибать!»

— Да, в этом сообщении есть этот второй смысл, — сказал Бекетов, принимая стакан с чаем из рук Августы Николаевны, а заодно и коробку с московскими сухариками — в знак особого расположения Августы Николаевны угощала этими сухариками тех бардинских гостей, к которым особо благоволила. — А как все-таки миссия?

— Допей свой чай, и выйдем на минутку. Небось давно по земле не ходил.

Как ни велик был соблазн поговорить с Бардиным,

Сергей Петрович пил чай не без аппетита, при этом отнюдь не пренебрег московскими сухариками.

— Теперь вижу, за морем не вкуснее, а? — спросил Бардин.

— Нет, Егор.

Они вышли из дома и, оставляя справа от себя площадь Революции, а слева «Метрополь», пошли к Китайгородской стене. Был одиннадцатый час вечера, и в московском небе, густо-черном, зыбились аэростаты. За этот год, как мог заметить Бекетов, их стало над Москвой много больше.

— Они встречались дважды? — спросил Сергей Петрович и указал взглядом на Кремль. Темный изгиб кремлевской стены, выходящей к Александровскому саду, еще был виден.

— Дважды, — ответил Бардин и ускорил шаг. Ему хотелось пройти к самой Китайгородской стене, там было безлюднее. — В среду как-то обошлось, а вот в четверг не очень.

— В среду правами хозяина завладело неким образом третье лицо — протокол?

— Да, пожалуй, а вот в четверг... Одним словом, Сталин направил ему меморандум, в котором прямо так, без обиняков врезал: во время, мол, нашего вчерашнего разговора я установил, что вы считаете невозможным организацию второго фронта. Это противоречит духу и букве июньского коммюнике, которым были подведены итоги переговоров, немало осложняет положение Красной Армии. Сегодня получен ответ Черчилля. В нем ссылка на все ту же памятную записку и утверждение достаточно оригинальное: разговоры о вторжении в этом году, мол, ввели противника в заблуждение и, таким образом, принесли свою пользу...

— И операция в Северной Африке как некий взрвзц второго фронта? — спросил Бекетов. Он представил себе систему доводов Черчилля.

— Да, так и сказано. Если, мол, эта операция будет осуществлена, она окажет России большую помощь, чем какая-либо иная операция.

— А как Америка?

— Гарриман, он здесь, сказал, что Америка согласна с Черчиллем.

— Рузвельт согласен? — спросил Бекетов.

— Я так думаю, — ответил Бардин.

Сейчас они стояли у самой Китайгородской стены с ее ощутимо холодноватым дыханием, и она была им защитой.

— По-моему, вот за этим окном, что над нами, да, на четвертом этаже слева, был чичеринский кабинет, когда Наркоминдел находился в «Метрополе», — сказал Бекетов и, отступив от здания, попытался рассмотреть его фасад. — Да, у самого угла дома...

Сергей Петрович смотрел на окно, знал, за ним нет человека, о котором Бекетов сейчас думает, но оно отождествлялось с этим человеком. Приятно было думать, что это было именно его окно. Он подходил к окну, касался рукой его створок, распахивал... И хотя до этого окно принадлежало другим, да и после этого там людей побывало немало, разных людей, на веки веков оно соотнеслось с этим человеком. Все кажется, распахнется, и жизнелюбивый Моцарт хлынет на площадь — в комнате рядом стоял знаменитый чичеринский рояль, к которому нарком приходил, как к лесному ручью, набраться свежести и сил.

— Говорят, что где-то здесь пролегал его путь в Кремль, — заметил Бардин и посмотрел себе под ноги, будто отыскивая чичеринскую тропу.

— Да, как мне кажется, он шел мимо Исторического музея, входил в Александровский сад и Троицкими воротами проходил в Кремль.

— Троицкими, не Спасскими? — спросил Бардин.

— Нет, тогда ходили Троицкими. Видно, этой дорожкой, проторенной в девятнадцатом, Георгий Васильевич хаживал и позже, когда Наркоминдел перешел на Кузнецкий. Как-то я встретил его в Александровском саду, он шел в Кремль. — Бекетов улыбнулся. Как ни значителен был разговор, ради которого он пришел с Бардиным к Китайгородской стене, но это воспоминание, для Сергея Петровича бесценное, казалось, способно было жить рядом. — По-моему, это было где-то весной двадцать второго, когда подготовка к Генуе была в самом разгаре. Помню, был вечер, снег казался потемневшим, почти фиолетовым. Знаешь, в марте бывает такой снег. Георгий Васильевич был

еще в своем зимнем пальто, тяжелое такое, с шалевым воротником. Я шел ему навстречу и, поздоровавшись, готов был разминуться, но он улыбнулся и жестом показал, чтобы я не уходил. Мы дошли до Троицких ворот. «Как вы полагаете, далеко пойдет Антанта в желании с нами договориться?— спросил он.— Российские долги— это непреодолимо?..» — «Генуя — первый разговор, а в первом разговоре не уступают...» — ответил я. «Тогда что делать нам?— спросил Чичерин.— Ждать второго разговора?..» — «Серьезные уступки требуют времени», — мог только ответить я. «У нас времени нет...» — сказал он. Сказал и точно предрек Рапалло...

— Да помнят ли они все это? — спросил Бардин.— Современность так горяча, что, пожалуй, историю и за-памятуешь.

— Если бы это было один раз, может быть, они и за-памятовали бы,— сказал Бекетов.— Но ведь это было трижды: Брест, Генуя, наконец, этот договор тридцать девятого! Помнят.

— Да, помнят, нельзя не помнить,— согласился Бардин.— Но иногда им хочется напомнить еще раз. Я-то, конечно, не напомню, но солдат, что сражается с немцем на Волхове, напомнит.

— Надо превратить идею второго фронта в пресс,— сказал Егор.— Видел пресс, которым давят подсолнечное масло? Ну, на маслобойном заводе видел? Вот вроде этого пресса. Давить на них день и ночь, чтобы они в плоскую плитку жмыхов обратились. Вы обещали! Давить в газетах, в общении с их народом, в переговорах. Обещали! Даже когда не очень верим, давить! Пусть пресс работает, все, что выдавим, наше. «Торч» — хорошо, «Факел» — тоже хорошо, новый конвой с «харрикейнами» — и это сойдет, тонны алюминия — в нашем доме и алюминий пригодится, «аэрокобры», «джи-пы», каучук, тушенка — и это не лишнее!.. Пусть как можно больше выдавливают этот пресс во имя нашей победы. Давить, и никаких гвоздей! Пресс! Пусть течет масло рекой, чем шире русло, тем лучше. Не хотите второго фронта, тем хуже для вас.— Он взглянул на Бекетова и не увидел на его лице воодушевления.— Как ты, Сергей?

— Второй фронт нужен нам как таковой, и ничего взамен,— заметил Бекетов и не мог не подумать, что-то есть в дипломатии Егора коммерческое, честное слово, даже купеческое! Сам-то он вон какой увалень, не человек, а котел паровозный, а дипломатия Егорова, пожалуй, бойка чрезмерно.— Что же касается свиной тушенки,— продолжал Бекетов,— то я ее у них покупаю за денежки, и вся их добродетель состоит в том, что они мне продают ее в долг. Поэтому все должно быть точно разделено: второй фронт и свиная тушенка. Скажу больше, у них и мысли не должно быть, что они могут за свиную тушенку купить второй фронт. Теперь о том, что ты называешь прессом. Да, пресс, да, давить на них и давить, но только этот пресс должен выдавить не тушенку, а большой десант.

— Но ты, чудак человек, должен считаться с тем, что не имеешь его, большого десанта?

— Нет, Егор, я должен считаться с тем, что должен его иметь.

— Но десант десантом, а в тушенке тоже есть смысл. К тому же одно не противостоит другому!— воскликнул Бардин. Он готов был и на мировую.

— Нет, конечно, не противостоит,— парировал Бекетов.— Но я всегда за то, чтобы главное было отделено от второстепенного.

Бардин умолк. Его не очень устраивал результат разговора. Он взглянул вверх.

— А знаешь, он, пожалуй бы, сумел применить пресс и выжал бы всякого добра,— указал он на чичеринское окно.

— Не думаю, что он бы с тобой согласился,— ответил Бекетов и стал рядом.— Его дипломатия была гибкой, но лишенной зигзагов. В ней была мысль и та основательность, которая у наших вызывает веру, а у тех — доверие.

В тот самый момент, когда Бардин и Бекетов вели свой напряженный разговор близ Китайгородской стены, кремлевские переговоры вступили в фазу весьма

критическую. Черчилль явился в Кремль, имея на руках меморандум Сталина. Поэтому диалог, возобновившийся в Кремле, воспринял тон и интонацию не столько уже состоявшихся бесед, сколько русского меморандума. Сталин говорил о жертвах, которые несет страна в своем единоборстве с сильным врагом, о слове, которое дали союзники, имея в виду большой десант, и о том, что в трудную для России минуту они отказываются от своего слова.

— Но вы должны признать, что десант через канал сопряжен для нас с превеликим риском,— сказал Черчилль. Он был заинтересован не столько в этой фразе как таковой, сколько в том, чтобы сбить Сталина с того тона, который он принял и который становился все более грозным.

Сталин оторопел на секунду, он не привык, чтобы его прерывали.

— Я полагаю, что английская пехота не боялась бы немцев, если бы она сражалась с ними, как это делали русские и как...— Сталин смешался. Фраза, которую он хотел сейчас произнести, стоила ему усилий, он опасался, что эта фраза ослабит воинственность его речи, а он в этом не был заинтересован.—...И как это делают английские летчики.

Как ни снисходительна была последняя часть фразы, Черчилль побагровел. Эта багрово-синяя краска гнева занималась на его лице по мере того, как переводчик, смущаясь и робея, сооружал непростую фразу Сталина по-английски.

Черчилль молчал, сомкнув губы. Гневная багровость его лица, точно чугуна, снятый с раскаленных углей, медленно тускнела.

— Я прощаю...— произнес Черчилль тихо и, чувствуя, что ему трудно перевести дух, умолк.— Я прощаю это замечание, только учитывая доблесть русских войск,— произнес он и поднял ладонь, поднял не спеша, точно прислушиваясь к затихающим ударам сердца. Можно было подумать, что никогда эта ладонь не казалась ему такой тяжелой, как в эту минуту. Он вновь принялся говорить, при этом, как это было много раз прежде, он чувствовал себя все увереннее по мере того, как говорил, увереннее, а потому и красноречивее. Сейчас красноречие его было столь велико, что

он заворожил даже переводчика. Тот глупо онемел и восторженно смотрел на старого Уинни. Но Черчилль жаждал в эту минуту отнюдь не восторженной реакции переводчика, ему нужна была такая реакция Сталина. И Черчилль тихо взвизгнул: — Ну что вы бессмысленно хлопаете этими вашими метелками, вам надо записывать и переводить!

Видно, где-то рядом с воодушевлением и ложной патетикой его речи жила твердая мысль: если есть в этой беседе для него что-то важное, то только реакция Сталина, остальное в такой мере не существенно, что может не приниматься во внимание.

— Я говорю, что вы хлопаете этими вашими метелками?

Сталин ухватил внезапную перемену в настроении Черчилля. Это было смешно.

— Я не понимаю ваших слов, но мне нравится ваше настроение, — рассмеялся он, рассмеялся искренне. Психологически напряжение не могло продолжаться бесконечно, оно требовало разрядки, сейчас смеялись все, и Черчилль больше всех, но, обернувшись к Сталину, британский премьер увидел, что тот уже не смеется, больше того, он хмур, как прежде хмур. Черчилль с откровенной укоризной взглянул на переводчика: вот как дорого может стоить глупость одного человека.

— А как все-таки с планом переброски самолетов через Сибирь? — вдруг подал голос Гарриман. На этом совещании трех он как бы олицетворял собой Рузвельта, как бы олицетворял, а не являлся им. Наверно, это чувствовали все, и больше остальных Гарриман, чувствовал и робел. То, что он должен был быть Рузвельтом, а не собственно Гарриманом, не столько сообщало силы представителю президента, сколько эти силы у него отнимало — он был несмел.

— Войны не выиграть только с помощью планов, — сказал Сталин, не глядя на Гарримана. Конечно же он был заинтересован в переброске американских самолетов через Сибирь и имел возможность подтвердить это, но сейчас было не до самолетов, сейчас надо было дать понять Гарриману, что он говорит не по существу, с откровенной резкостью дать понять, чем резче, тем лучше. Больше того, в этой реплике, которая, казалось

бы, имеет косвенное отношение к главному, высказать главное: Америка и ее президент не сдержали слово.

На другой день вечером Бардин повез друга в Ясенцы. Где-то на двадцатом километре у переезда машина остановилась перед закрытым шлагбаумом, по всей видимости, надолго — гремел военный эшелон. Друзья вышли, приятно было хотя бы несколько минут постоять под вечерним небом.

— А вот такого я, пожалуй, не видел, — сказал Бардин, указывая на товарные платформы, на которых, точно слоны в дремотном забытии, разместились пушки, зарыв черные хоботы в брезент и мешковину. — Эшелоны-то повернули на восток.

— Это что же, причина для радости или, может быть, для печали? — спросил Бекетов.

— Сразу и не ответишь. — Бардин пожевал толстыми губами. — Для печали, пожалуй... Чего тут радоваться, не от Волги идут, а к Волге!

— Не знаю... Не знаю... — сказал Бекетов, когда вслед за первым эшелонном из тьмы вынырнул второй. — Не знаю...

Они вернулись в машину и остаток пути молчали. Бардин давно заметил, ему и в молчании было хорошо с другом, но, искоса посмотрев на друга, уловил его взгляд. Во взгляде этом, как почудилось Бардину, было сострадание. О чем мог думать сейчас Серега? Не тревожился ли за судьбу Егора, не жалел ли его? Бог знает, что может внушить мужику молодая женщина. Небось уверила Егора, что любит. Больше того, убедилась, что хочет от него ребенка. Бекетов знает, что женщиной, истосковавшейся по большому чувству, вдруг может овладеть этакий кураж: «Хочу от тебя сына!» Нетрудно представить, какую энергию развила она, стремясь доказать эту самую любовь. Чистит старому Иоанну сапоги и ходит на родительские собрания в Иришкину школу. Да, чистит сапоги и ходит в школу, а не понимает, простая душа, что главное не в этом. И он, Егор, не понимает, что главное не в этом. Да что там говорить. Главное в тех одиннадцати годах разницы, которая сегодня спит и завтра, быть может, будет



находиться в полудреме, а послезавтра вдруг проснет-  
ся и заявит о себе и тогда... О господи, бедный Егор,  
бедный Егор! И как помочь ему, как защитить его от  
этой напасти, которая надвигается на него неотврати-  
мо? Сказать ему: не делай этого!.. Да, да, сказать ему:  
«Побереги себя, дружок, доверься уму здравому, он  
ведь тебя никогда не подводил. Доверься и побереги...»  
Не поймет? Нет, пожалуй, поймет, и как еще поймет!  
Не ровен час, обратится к классикам и отыщет такое,  
что тебе не снилось. Нет, не опровергающее сказанное  
тобой, а, наоборот, утверждающее твою правоту. Да  
что ты? Не корчи из себя провидца. Он это все сто раз

исследовал, а заодно призвал в свидетели Гёте и нашего Тютчева. Но тогда что он намерен делать? Ничего. Ты слышишь, ни-че-го! Значит, идет на убой, вооруженный Гёте? Да, шагает обреченно, подобно известному животному, даже не мычит. Как-то странно, ведь сильный же человек, а тут беспомощен, и беспомощен в главном. Знает, что идет на погибель, и ничего не может сделать. Бедный Егор!

— Ты что на меня смотришь, как на конченного? — вдруг закричал Бардин. — Того гляди слезы брызнут.

Бекетов рассмеялся:

— Да откуда ты взял?..

Но в самом смехе Бекетова Егор Иванович услышал нечто затаенное, подтверждающее его, Егора, сомнения.

— Я вижу слезы у тебя на глазах, вижу. Да не меня ли ты оплакиваешь?

— Нет, нет, — сказал Бекетов и отвел взгляд, застеснявшись, а Бардин подумал: «Прячет глаза Серега, прячет...»

Машина вошла в Ясенцы, когда сумерки подсинили дома. Только стены, обращенные к заре, были светлыми, деревянные — лиловыми, беленые — густо-вишневыми, почти бордовыми. «Вот сейчас войдем во двор, и Ольга, услышав стук щеколды, выйдет на крыльцо, — мелькнуло у Бардина. — О вечер спасительный, хорошо, что вечер». Но щеколда стукнула, и они пошли садом, а крыльцо было пусто. Только когда вошли в дом и из его утробы пахнуло непобедимо вкусным запахом жареной картошки, Егор Иванович заметил в пролете дверей, ведущих из коридора, Ольгу. А она, увидев Бардина с Бекетовым, не столько устремила к ним, сколько отступила. Ну конечно же ничего не было для нее более страшного, чем встреча с ними в эту минуту. А подойдя к Бекетову и протянув ему руку, забыла подойти к Бардину, да и Егор смешался. Почтительно именуя Бекетова Сергеем Петровичем, она никак не называла Егора и, как показалось Бардину, отводила от него глаза.

— Помните, как, работая над дипломом, вы устроили мне экзамен, знаю ли я русскую природу? — спро-

сил Бекетов, желая вовлечь ее в разговор, чтобы осилить страх ее и свой.— Все водили меня по саду и ставили каверзные вопросы: почему елочка голубая и как надо пересаживать лесное дерево, чтобы оно не погибло? А потом показали семь сортов клубники, которые вырастили в Ясенцах. У вас и сейчас семь сортов?

— Одиннадцать,— отвечала Ольга, робея.

— В саду много работы? Небось устаете?

Бекетов с Бардиным стояли у окна, выходящего в сад, а Ольга заканчивала накрывать стол. Она могла не выходить из комнаты, буфет был рядом.

— Прежде не уставала, а теперь устаю, старая стала, — вымолвила она и посмотрела на Егора Ивановича, точно приглашая его опровергнуть сказанное, но Бардин молчал. — Вот еще страх берет, когда бомбят, — произнесла она вне связи с предыдущим, но тут же нашлась: — Тоже от старости, наверно. Была бы молодая, не боялась бы. Молодые храбрые. Все убеждаешь себя, что страшно не за себя, а за тех, кто рядом, а наверно, страшно и за себя.

А Бардин не сводит глаз с Ольги. Как она бесстыдно хороша сегодня, господи! И точно обнажила свою красоту: надела это платье, усыпанное крупными цветами и по этой причине прозванное лупатым, точно надраила щеки свои, вон какие блики пошли по щекам, того и гляди займутся полымем! Поубавить в ней румянца да броской яркости, а может быть, и молодости, пожалуй, было бы лучше, но попробуй убеди женщину, что в ней излишек красоты, поймет ли?

Явилась Иришка, скосила глаза на лупатое платье Ольги, потупила очи. Какая-то она восковая, Иришка, точно из сырой кельи. В самом деле, чего она такая? Какой червь точит ее: тайного недуга, тревоги за отца, а может быть, тот своекорыстный червь, которого вернее назвать бесом и который вызван зреющей плотью? Нет беса злее.

— Тебя Тамбиев спрашивал, — сказал Бардин.

— Меня? — У нее точно колени подсекались, и она мигом ссутулилась. Потом ринулась к Ольге, будто моля защитить ее. И оттого, что она стала рядом с Ольгой, ее лицо показалось Бардину обескровленным, и в какой уже раз Бардин вознегодовал на Ольгу: надо же быть такой ярколицей!

— Ну конечно, тебя спрашивал Тамбиев. А чего ты испугалась?

— Нет, я ничего, пусть спрашивает. — Так и не выпрямившись, Иришка пошла в сад. А Ольга точно не слышала слов Бардина, обращенных к дочери.

— Ты побудь с нами, Ириша, — сказал Бекетов.

— Нет, спасибо, я хочу в сад, — ответила Иришка, а у Бекетова лицо вдруг стало сумрачным, так показалось Бардину. Ну конечно, он может подумать, что деспотическая сила Ольги придавила и Иришку, вон как взглянул Серега на Егора, не знает, как выразить сострадание.

Пришел Иоанн. Не торопясь, с солидной основательностью и торжественностью привлек он Бекетова к себе, охватил здоровой рукой, вздыхал, приговаривал: «Серега, Серега», — потом освободил нехотя.

— Ну, как, утолкли гордого бритта?

— Это как понять, утолкли?

— Как он, подсобит России?

Бардин стрельнул в отца лютыми глазищами.

— У тебя вопроса полегче не отыщется?

Иоанн показал молодые зубы, у него разом улучшилось настроение.

— Знай наперед, хочешь отца обскакать, с самим собой разминешься. У отца ума поболее твоего, а? Ты чего воззрился? Я говорю дело, поболее! Ты меня Серегой не стращай, ему-то ясно, поболее! Ну, попытай его. Робеешь? Тогда я спрошу: как ты, Серега?

Бекетов заулыбался, но, взглянув на Егора, покраснел.

— Я-то как есть посторонний. Нет, не то что посторонний, а сути я не знаю.

— Суты? А вот она, суть. По мне политика, что строит надежды на Черчилле, как бы это половчее сказать, несерьезна. И еще, коли тебе нравится быть обманутым, валяй на здоровье, но зачем ты хочешь поставить в свое положение народ? Народ-то поумнее тебя, и то, что не разумеешь ты, он разумеет. Так, Серега?

— Не все так просто.

Старый Иоанн опешил:

— Непросто, говоришь? Ну что ж, видно, козла на-

до трахнуть еще разок, чтобы он сказал: «Мэ-э-э!..» — Иоанн шагнул к двери, ведущей в глубь дома, потом остановился. — Эко у вас дрема непробудная, уснули — ума и глаз лишились! Какой гром должен грохнуть над вашими головами, какой небесный огонь разрядиться, чтобы вы пробудились ото сна? Господи, не лишай моих детей ума и глаз. Смилуйся, пощади...

— Да в господе ли дело? Коли принимали, так тому и надо быть!

Но Иоанн уже вошел в азарт, и не было человека на земле, который мог его остановить.

— Принимали, значит? Небось и чай перед ним разливали? И ручки пожимали? И вино в бокалах искрилось? И шампанское шипучилось? И здравица была, да? За ваше, мол, здоровье драгоценное и за здравие всех ваших присных, да?

— А по тебе, двери перед ним на засов, да?

Иоанн, казалось, взревел:

— По мне, говоришь? По мне, метлой наипоганой да взагривок, взагривок, чтобы шибче бежал, да вниз по лестнице, а потом по торцам, а вслед за тем с холма кремлевского, а далее по Валовой да в горб его, чтобы знал, каких слез кровавых стоят России козни его!

Он не взял со стола, а сорвал графин с водой, попробовал снять больной рукой крышку, но рука беспомощно дрожала, и крышка дважды ударилась о графин и высекла звон. Он едва донес стакан с водой до губ.

— Ну, на этой метле далеко не уедешь и Россию, пожалуй, не ублаготворишь, — бросил Бекетов и предусмотрительно отошел к окну. Природной его деликатности пришел конец.

Иоанн едва не выронил стакан, рука дернулась, вода выплеснулась на скатерть.

— Да будет вам известно, Сергей Петрович, что эта истина для меня элементарна.

— Господи, да ты решительно спятил, отец! — вскричал Бардин. — Извинись перед Сергеем!

Иоанн колебнулся на нетвердых ногах, пошел вон из комнаты.

— Я? Извиняться? За то, что я вас учу Россию любить?

— Погоди, кто ты, отец мой родной? Кто ты, я уразумею это хочу, — сказал Егор Иванович в сердцах.

— Кто я, говоришь? Казалось, вопрос сына шиб Иоаннову спесь, поставил его перед необходимостью держать ответ, нет, не только перед сыном, но и перед самим собой. — Слышал присказку мудрую: не сжигай мостов! Так я и есть тот самый мост, который сжигать не след.

— Это что же, мост в будущее?

— Нет, мост в прошлое. Там, в том прошлом, не все так худо, как незрелому уму твоему рисуется. Так вот ты по этому прошлому кувалдой — р-р-аз, чтобы оно вдребезги, а я хватя тебя за руку — не смей! По тебе, там, в этом проклятом прошлом, только попы нечесанные да куда как дремуче-темные и купцы-кровососы, тоже нечесанные и уж такие темные, что глаз в этой тьме первозданной лишишься. А по мне, там, в этом прошлом, жили не только попы и купцы, но люди, чей светлый ум народу путь торил, да у самого народа была ума палата, надо только не считать себя умнее его, уметь слушать человека простого. Ты уразумел, не отдавать себя во власть гордыне, а уметь слушать! Не велик образец, а поучителен. Если я и сотворил в своей жизни нечто стоящее, то только потому, что не был глух к уму и опыту народа. Ты спрашиваешь, кто я? Так вот тебе мой ответ: я мост, по которому ты будешь ходить за умом-разумом, когда тебе его не будет доставать. Ты скажешь, что богат на сто лет вперед. А я скажу, не зарекайся. Ты полагаешь, что мост Кузнецкий всем мостам мост? Нет! Есть и мосты покрепче, и кузнецы псискуснее.

Но Бекетов, собравшийся было уходить, шагнул к Иоанну.

— А по мне, Иван Кузьмич, лучшего моста и не надо, чем Кузнецкий. Это мой мост. Нет, не просто Кузнецкий — чичеринский. Куда как надежен мост. И в прошлом, и в будущем...

Иоанн поднес здоровую руку к груди.

— Значит, чичеринский?.. Ну что ж, Чичерин — тут все ясно.

Позже, когда Бардин провожал друга к машине, они вдруг остановились посреди темного сада и долго смотрели в ночное небо, потревоженное на юго-востоке светом прожекторов.

— Вот она, Россия страдного лета сорок второго, —

сказал Бардин и указал взглядом на дом, имея в виду Иоанна.

Бекетов уехал, а Бардин так и не вошел в дом. До холодной августовской ночи он просидел на порожках, стремясь унять растревоженное сердце, ища защиты у Ольги. Ласково мудрая, она была рядом.

— Ты будь с ним, как я, уступи и победишь, — тихо смеялась она. — Пойми его натуру и уступи.

Как было условлено, Черчилль явился в Кремль на другой день к семи вечера. Подавая руку английскому премьеру, Сталин не мог не улыбнуться — рядом с Черчиллем стоял другой переводчик. Если верить тому, что кратчайший путь для начинающего дипломата к заветному посольскому званию — стать переводчиком премьеры, то можно считать, что в этот день одним британским послом стало меньше.

Диалог, прерванный накануне едва ли не на полуслове, возобновился. По крайней мере, русские дали понять, что они хотят в деталях ознакомиться с намерениями союзников на этот год: видимо, Сталин готов был жертвовать всем, но только не потерей контактов.

Едва ли не из небытия был вызван план операции «Торч». Черчилль возобновил рассказ и повел его так, будто бы прежде и речи не было об этом. Новый переводчик, на долю которого неожиданно выпали и честь, и страхи этого перевода, как мог, поспешал за премьером. Казалось, рассказ возобновлен для нового переводчика. Только для него и было внове все то, что сейчас говорил Черчилль, остальные это уже слышали.

Когда до прощального рукопожатия оставались минуты, Сталин вдруг произнес:

— А почему бы нам не пройти на мою кремлевскую квартиру?

Самолет уходил на рассвете. Для старого Уинни, которому жестокие московские дни стоили сил немалых, велик был соблазн добраться до теплого ложа и соснуть, но Сталин приглашал... Если бы днем раньше, в ту достопамятную минуту, когда Сталин говорил о трусости доблестного союзника (только подумать — трусости!), Черчиллю сказали бы, что он будет удо-

стоен такой чести, он, пожалуй, усмехнулся бы, а вот теперь это было явью — Сталин приглашал. Заманчиво было объяснить эти метаморфозы в поведении Сталина даром Черчилля убеждать, больше того, подчинять своей воле, но старый Уинни был трезвым политиком и находил этому свое объяснение. В переговорах, как в классической драме, были завязка, кульминация и развязка, при этом каждый из поворотов можно было предусмотреть заранее, если, разумеется, стороны не отступят от первопозиций. Стороны остались при своих козырях, остальное известно.

Черчиллю подали шинель. Он надел ее, не забыв застегнуть и матерчатый пояс. Сталин шинель накинул. Они спустились вниз. Их путь лежал через кремлевские площади. Было около восьми часов вечера, и даже купола на кремлевском холме уже не отражали августовского солнца — заря погасла. Как ни неспешен был шаг, все, кто сопровождал их, поотстали. Сейчас они шли вдвоем. То ли тишина каменного града вторглась и расколола их, то ли незнание языка было тому причиной, они вдруг почувствовали, как утратили то небольшое, что связывало их. Они шли рядом, но каждый шел своей дорогой и каждый был закован в броню своего молчания. Они шли рядом, но это были посторонние друг другу люди, больше того, люди чужие. Впервые за все дни их московского общения они были самими собой.

Много позже, когда была распечатана очередная бутылка «теиши», Сталин положил кулаки на скатерть, сказал:

— А не перенести ли нам главный разговор на соещение трех?

Черчилль, так и не сумевший надкусить большое, поблескивающее глянцевой кожицей яблоко и взявшийся за нож, вдруг отодвинул от себя и нож, и яблоко, устремив на Сталина сонные глаза. В этой фразе Сталина ему померещилось нечто такое, что призвано было разрушить приобретение этих дней. Да не проник ли Сталин в суть его разногласий с американцами и не вознамеривался ли столкнуть лбами могущественных партнеров?

— Будь эта встреча на Британских островах, вам обеспечен великолепный прием, — сказал старый Уинни. Он рассуждал так: если не удастся избежать встречи, так пусть она будет на Британских островах.

— Благодарю вас, — сказал Сталин и, улыбнувшись, пододвинул к гостю тарелку с яблоком. — Согласитесь, что в настоящее время приемы особого значения не имеют и единственно, что важно — победа...

Черчилль не притронулся к яблоку. Нет, он, старый Уинни, рано торжествовал победу, на горизонте уже маячила новая встреча, а следовательно, и новый тур борьбы. Но эта встреча уже не могла произойти в году нынешнем, как не мог быть в этом году высажен десант на континенте, а это, наверно, выигрыш.

Черчилль вернулся в свою резиденцию в половине четвертого утра и в оставшийся до отъезда на аэродром час продиктовал телеграмму Рузвельту. Тон ее был оптимистическим весьма.

## 70

Человек в твидовом пальто встретил Бардина и его спутников в аэропорту Стокгольма.

— Грабин, первый секретарь, — представился он и тронул ладонью сизые щеки (однако щетина у него не для протокольной службы, отметил про себя Бардин, небось должен бриться дважды в день).

Был ранний вечер, и над Стокгольмом вставало электрическое зарево. Бардин вспомнил небо Москвы, серо-синее, под цвет бумаги, которой второй год в России задраивали окна, поймал себя на том, что ему было неприятно обилие света.

— Что передала сегодня Москва? — спросил он Грабина, когда от шофера к Егору Ивановичу, сидящему на заднем сиденье, побежал свет придорожных фонарей.

— Немцы вошли в Моздок, — отозвался спутник Бардина и откинулся на спинку — набегающий свет слепил его.

— Значит, Моздок? — мог только вымолвить Бардин. В те долгие часы, когда его самолет выгибал гигантскую дугу, стремясь из Москвы в Стокгольм (истинно, дуга: вначале Тегеран и Каир, потом Гибрал-

тар и Лондон, а оттуда скачок в Швецию!), Бардин только и думал, это та самая дуга, которая грозит оказаться обручем. И вот теперь Моздок! Того гляди, дуга сомкнется!

— От Моздока до турецких пределов по прямой не больше пятисот километров?— спросил Егор Иванович.

— А от Моздока до пределов шведских больше? Язык у Грабина под стать его шетине — жесток.

Бардин замкнулся в молчании. Только продолжали вбегать в машину пятна света. Вот он, Моздок! Как ни мрачен юмор Грабина, спутнику Бардина нельзя отказать в правоте. В той мере, в какой Моздок способен повлиять на нейтралитет турецкий и шведский, расстояние от него до соответствующих рубежей одно и то же.

— Александра Михайловна у себя? — спросил Бардин.

— Пришла в четыре утра, еще не уходила, — был ответ.

— Как она?

— Не очень.. Но дежурный поход в парк не отменяется, организм требует. Пузырек с каплями в сумочку — и в парк.

Бардин вспомнил свой последний приезд к Коллонтай. В урочный час она собралась в парк, Бардин вызвался пойти с нею. Она приходила сюда не только для того, чтобы совладать с усталостью, у нее была потребность уединиться, уединиться, чтобы сосредоточиться. Наверно, здесь родились ее самые большие замыслы. Вот этот куст ольхи, дуб с многослойной кроной и, разумеется, этот длинный дом с неусыпно светящимися окнами тому свидетели. «Вы знаете, что это за дом?» — спросила Коллонтай. «Нет», — ответил Егор Иванович. «Библиотека, та самая, знаменитая, в которой работал Ильич, — подтвердила она и произнесла как бы вне связи с предыдущим: — А я не верю в предвидение без знаний». Вот оно, диво: судьбе угодно было расположить посольство рядом с библиотекой, чтобы она могла прийти сюда в сумеречный час с самыми трудными думами и, как сейчас, повторить: «А я не верю в предвидение без знаний».

..Бардин вошел в посольство и подивился тишине,

которая владела домом. Так же, как в первый приезд Бардина, пахло привядшими гвоздиками (синий горшок с цветами и тогда стоял посреди холла) и где-то далеко, одолеваемая усталостью, работала машинистка. Егор Иванович пошел к лестнице и, казалось, двинулся навстречу этому звуку клавиш, звук был поводом-рем. Шел и думал: сколько лет Александре Михайловне? Шестьдесят восемь или все семьдесят? И еще думал: каково ей сейчас в этом стокгольмском блиндаже, на перекрестке дорог, которые и прежде были нелегкими? Такое и мужику не под силу, а каково ей?

Егор Иванович прошел в приемную. За машинкой сидела все та же девушка в белой блузке. Она не без труда оторвалась от клавиш и улыбнулась Егору Ивановичу с печальной усталостью, улыбнулась и показала глазами на дверь, ведущую в кабинет, точно хотела сказать: «Да, она ждет вас». Бардин приоткрыл дверь кабинета и прямо перед собой увидел маленькую женщину, которая с внимательной грустью посмотрела на него. Со времени последнего приезда в Стокгольм прошло месяцев пять, но они сделали свое: в неправильном, но прекрасном, каким оно виделось Егору Ивановичу, лице Коллонтай появилось такое, что можно было назвать знаком старости. Пожалуй, прежде Бардин не сказал бы этого, а сейчас это было видно воочию — перед ним сидел старый человек.

— Да что вы, онемели, Георгий Иванович? — спросила она, стараясь придать голосу прежнюю стремительность, и Бардин понял, голос не хотел стареть, голос был прежним. — Ну, идите сюда, да посмейей. Садитесь, помнится, вы сидели прошлый раз здесь. — Она протянула руки, да, именно руки, а не руку. Ее манера, жест приязни, доброго товарищества. Руки были прохладны. Это от свежести, проникшей в распахнутое окно, подумал Бардин.

Он сел. Кресло оказалось неожиданно глубоким, и плоскость письменного стола была у самых глаз. Лежало недописанное письмо с фамильной печаткой в виде ромбика в левом углу. Папка, очевидно с шифровкой, — стопка рисовой бумаги вспухала. Том «Войны и мира», кажется, третий. В памяти возникла последняя строка: «Он тихо отворил дверь и увидел Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни». И еще

ручные часики Александры Михайловны на матерчатом ремешке. Видно, к вечеру рука чуть-чуть опухала и ремешок становился тесным.

— Ну, рассказывайте, Георгий Иванович, путь был нелегким? Верно, нелегким?

— Нет, рассказывайте вы.

Она неожиданно откинулась в кресле и отодвинула томик Толстого.

— Немцы добираются в Финляндию через Швецию, шведские железные дороги отданы вермахту.

— Это что же, метаморфозы нейтралитета?

— Да.

Бардин встал и пошел к окну, хотелось пошире раздвинуть его створки.

— Хаген в Упсале? — спросил Бардин.

— Нет, в Стокгольме и ждет встречи с вами.

— Я готов, в тот раз, Александра Михайловна, он был мне полезен очень.

— Ну что ж, мы здесь привыкли ему верить. Он старый человек, и ему уже поздно менять друзей...

— Нам тоже, Александра Михайловна.

— Нам тоже. — Она встала, приблизилась к окну, не без любопытства взглянула на мостовую, которая была сейчас пуста. — Вот здесь стояли сегодня парни в коричневых рубахах и кричали: «Коллонтай, а не пора ли тебе уйти?» — Она наклонилась, опершись о подоконник, а потом выпрямилась. — Ах, эти условности!.. Не была бы я тем, кем я есть, сошла бы я вниз... Поверьте, Георгий Иванович, уж я бы в долгу не осталась!

На последние слова у нее не хватило сил, и она произнесла их свистящим шепотом: «Не ост-ась!..» Бардин взглянул на Александру Михайловну. Ее глаза точно утратили интерес к происходящему.

— Пододвиньте стул и дайте пузырек с зеленинскими, он в сумочке. Да не стесняйтесь, в сумочке...

Бардин открыл сумку — истинно, заповедный мир, на все возрасты один!

Он подал ей пузырек с каплями.

Пузырек был откупорен, и стеклянная пробка лежала на подоконнике, обронив капельку влаги. Пахло приторно-маслянистым, до тошноты сладким запахом капель.

— Отодвиньте, пожалуйста, лампу, Георгий Иванович, глазам больно.

Он снял лампу и перенес на столик рядом, свет, казалось, потускнел, и в распахнутом окне помолодели звезды.

— Вы помните нашу прогулку по парку и разговор о предвидении?

Ну вот, она вспомнила этот разговор, не могла не вспомнить его сегодня.

— У библиотеки?

— Да, у библиотеки,— согласилась она. Ее возраст был и в произношении, она говорила «библио́теки». — Среди его писем ко мне есть одно, где все объяснено на веки веков. Оно помечено шестнадцатым марта семнадцатого года и послано из Цюриха. Вы теперь поняли, о чем оно?

Бардин понимал все, но сказал «нет». Ему хотелось, чтобы она сказала то, что хотела сказать. И она сказала.

— Ну как тут не понять? — поразились она. — Он послал это письмо в тот самый день, когда узнал об отречении царя. Но дело даже не в этом.

— Не в этом? — переспросил Бардин.—Тогда в чем?

— В чем? — повторила она вопрос Бардина. — В предвидении! Будьте внимательны к тому, что я вам сейчас скажу. В этом письме есть фраза, достойная того, чтобы с нее было начато летосчисление. Вот ее смысл: февраль — это первый этап первой русской революции, первый этап, который будет не последним и не только русским. Заметьте, что это написано едва ли не в тот самый день, когда свершился февральский переворот! Нет, я не голословна, в ваших силах меня проверить, это письмо напечатано. — Она помолчала, набираясь сил — ей все еще было худо, — потом произнесла, обращаясь к девушке в приемной: — Мария, дай мне, пожалуйста, том ленинских писем, тот том... Ты дашь мне его сейчас? — спросила Коллонтай, помолчав.

— Да, сейчас, — сказала Мария.

И в той тишине, которая наступила внезапно, наверно, ощутиее были шумы больного сердца. Бардин взглянул на Коллонтай, и ему показалось, что воско-

вой оттенок лица, который он заметил, когда вошел сюда, усилился.

— Говорят, что у кавказцев звезды разобраны по доблестям. Но вот что интересно, звезда Предвидения и Храбрости — одна звезда...

— Предвидеть, значит, быть храбрым? — спросил Бардин, улыбаясь.

— Храбрым, — подтвердила она.

Мария принесла томик, но у Александры Михайловны уже не было сил его открыть. Она всего лишь дотянулась до стеклянной пробочки, закупорила пузырек с каплями и, зажав его в кулак, как нечто очень драгоценное, попробовала встать. Она вставала осторожно, неожиданно затихая, прислушиваясь. Наверно, у нее уже были свои признаки, как оно ведет себя, сердце, и она воспринимала его даже не непосредственно, а по тоскливому холодку в груди, ноющей боли в плече, дыханию.

— Откройте дверь, Георгий Иванович, — попросила она, и Бардин подивился молодости голоса. Сила ее жила в голосе.

— Врач в посольстве? — Бардин все еще стоял над нею.

— Да, разумеется. Откройте, — она пыталась увидеть дверь.

Уже входя в лифт (ее квартира была на четвертом этаже), она сказала ему:

— Сегодня я, пожалуй, отдохну.

Бардин вышел на улицу, свернул к парку. Вот оно, храброе сердце, хотя сердце слабое. Он вернулся в посольство через час и подивился тому, что в сомкнутых шторах окна Коллонтай был виден рубец электричества. Егор Иванович прибавил шагу, вбежал в дом. Дверь в приемную посла, как и в кабинет, была распахнута. Посреди кабинета стояла Мария и держала часики Александры Михайловны на черном матерчатом ремешке, те самые, что лежали у нее на столе, когда Бардин вошел. Мария бессмысленно переключала часы из руки в руку, не глядя на них и, очевидно, о них не думая.

— Вы ходили наверх? — спросил Бардин. — Ей плохо?

Только сейчас она взглянула на часы, будто в часах видела человека, о котором шла речь.

— Вас не было здесь? — Она выждала, не зная, как сказать то, что хотела сказать. — Ее только что увезли. Удар, она лишилась речи...

Бардин смотрел на круглые часики в руках Марии, смотрел с непонятной пристальностью, будто бы в этих часах с едва заметным стерженьком секундной стрелки, которая продолжала двигаться, была заключена тайна того, что произошло...

Так вот она, страда 1942 года, думал Бардин, когда брел к себе на третий этаж, брел по лестнице, высветленной таким ярким электричеством, что хотелось закрыть глаза. А потом сидел над зеленым глазком радиоприемника и пытался поймать Москву. И было удивительно, как светящееся яблочко, мутно-сетчатое, сонно-смежающееся, совсем живое, могло отразить и собрать огромность земного яблока, застланного дымами и всполохами большой войны. И еще было удивительно, как эта война со всей значительностью расстояний, событий и судеб могла сосредоточиться в судьбе человека, который в этот час вел борьбу с недугом.

Когда утром Бардин подошел к решетчатой калитке стокгольмской клиники Красного Креста, на садовой дорожке, ведущей от ворот к клинике, он увидел Хагена. Наверно, не случайно, что Бардин увидел здесь именно бургомистра Хагена.

— Нет, вам не удастся войти, а мне выйти, — произнес Хаген, указывая глазами на ворота. — Привратница понесла письмо в палату и на всякий случай заперла калитку.

Бардин стоял сейчас перед решетчатой оградой, охватив ее прутья. Железо приятно холодило руки, не хотелось выпускать его.

— Ей лучше, господин Хаген?

Сейчас и рука шведа сдавливала прут. Рука была неестественно худой. Оттого, что на безымянном пальце был перстень с прямоугольным камнем, рука не становилась красивее.

— Нет, пожалуй, ей хуже. Говорят, что у нее сейчас сине-черное лицо. Меркнет сознание. Меркнет.

Бардину хотелось так тряхнуть эту ограду, чтобы прутья выскочили из гнезд.

— Но надежда... Есть она, надежда?

Сейчас Хаген шел к калитке. Привратница вернулась и отперла ее. Бардин шагал рядом с ним. Решетка все еще разделяла их. Время от времени Бардин поднимал глаза и видел лицо Хагена. В раме из черных прутьев оно казалось неживым.

— Надежда? Говорят, что надежда в инъекции гепарина, но ей это сделают, когда не будет иных надежд.

Хаген продолжал идти вдоль ограды. Он был поджар и сберег стермительность шага.

— Послушайте, господин Бардин, я был предупрежден о вашем приезде. Больше того, госпожа Коллонтай сказала, что вы собирались ко мне.

Егор Иванович остановился.

— Да, господин Хаген, за пятнадцать минут до того, как это произошло, мы говорили с нею о вас. — Металлическая ограда, разделяющая их, кончилась, они шли по желтой траве. — Вы полагаете, что наше дело здесь плохо, господин Хаген?

— Как никогда прежде, господин Бардин.

— И вы допускаете, что Швеция может поднять руку?

Он ответил раньше, чем, казалось бы, должен был ответить:

— Наверное, я ввел бы вас в заблуждение, если бы исключил эту возможность.

— Но что может помешать этому, господин Хаген?

— Разве не ясно? Ваша победа, хотя бы частная, — на какой-то миг он смешался, он искал слова, способные выразить все, что он думал. — Нужна победа, — едва ли не воскликнул он.

Хаген коснулся ладонью плеча Бардина. Ладонь его была невесома, однако горяча и жгла немилосердно. Он смотрел на госпиталь, мысли его были там.

— Когда я думаю о ней и обо всем, что случилось с нею, она мне представляется человеком, который хотел остановить поезд войны и лег на рельсы. — Он все еще держал руку на плече Бардина. — Это подвиг и, как каждый истинный подвиг, вызывает чувство благодарности, но даже его сегодня мало. — Он подумал, сказал серьезно: — А хотелось бы, чтобы его было до-

статочно, потому что это самое большое, на что способен человек.

Теперь, когда Бардин являлся в клинику, к нему выходила сестра-сиделка.

В этом городе светлицы она одна, казалось, была смуглой. Быть может, эта смуглость от крахмальной косынки, которой было опрaвлено ее лицо?

— Госпожа Карлсон, как наша больная?

— Ей хуже.

Пошли дни: третий, четвертый... И каждый раз ответ был тот же — хуже. Видно, сестра взяла за правило: никаких утешительных слов; если больной худо, говорить, что ей худо.

Это случилось на пятый день. Карлсон вышла без крахмальной косынки и как-то сразу стала некрасивой. Это было плохим признаком.

— Госпожа Карлсон... наша больная?

— Сознание не возвращалось к ней с утра.

Бардину нужно было время, чтобы задать следующий вопрос.

— Это день гепарина?

— Да.

Он еще постоял минуту, точно выпрашивая у сестры слово, способное внушить надежду, но сестра молчала.

В этот день газеты были особенно плохи. Сводка сообщала о боях на перевалах, при этом газеты воспроизвели фотографию, которая объясняла все: мощный уступ немецкого танка со свастикой, а позади горы — характерный срез Столовой горы, нимб Казбека.

Едва развернув газету, Бардин сложил ее — смотреть было больно.

Остаток дня он провел в посольстве. Истинно, день гепарина, говорили вполголоса.

К вечеру Егор Иванович пошел в клинику.

— Был гепарин? — спросил он Карлсон. Она все еще была без крахмальной косынки, если и не суеверен, то будешь суеверным.

— Да.

— И что?

— К ней вернулось сознание.

Он хотел сказать ей что-то такое, что берег все эти дни, но, вскинув глаза, увидел цветы на подоконниках.

— Погодите, что это за цветы?

Она рассмеялась громко. Способность так смеяться прежде в ней не угадывалась.

— Скажешь, не поверят. Когда узнали, что к ней вернулось сознание, понесли цветы. Весь Стокгольм.

— Но я их вижу не на одном подоконнике, они повсюду, — возразил Бардин.

— А мы их разнесли по всей клинике. Я сказала, весь Стокгольм!

Бардин увидел Александру Михайловну только через день. Он пришел в клинику затемно. Карлсон повела его в палату.

— Речь вернулась к госпоже Коллонтай, но ей нужно время, чтобы заговорить с той свободой, как прежде, — сказала Карлсон как бы невзначай. В ее обязанности входило все говорить как бы невзначай.

Дверь в палату была полуоткрыта, и, прежде чем переступить порог, Егор Иванович остановился. Кровать стояла перед распахнутым окном. Видно, она так была поставлена специально — больная как бы была обращена к холодному небу, что было видно отсюда.

— Как вы, Александра Михайловна? — спросил Бардин, опустившись на стул подле нее.

Она улыбнулась, легко кивнула, мол, все хорошо.

— Не жалеете себя, — сказал он строго, строже, чем хотел, и вдруг почувствовал, что хочет, должен ей сказать и иное, о чем думал все эти дни, что было его мыслью и его тревогой. — Пусть светит она, добрая звезда Предвидения..

— И Храбрости... — выговорила она не голосом — губами.

Тамбиев распахнул окно. Казалось, небом и землей владела согласная тишина. Глубоко внизу, на Варсонофьевском, шел человек, и стук его тяжелых, подбитых подковками башмаков был явственно слышен:

видно, шурупчик на одной подковке готов был вывалиться. И высекаемый этой подковкой звон как бы сдваивался. Человек очень устал, интервал между одним ударом подковы и другим был велик, человек шел медленно.

Тамбиев обернулся. Высоко, у самого потолка, поблескивало стеклышко, тот самый крохотный осколок оконного стекла, разнесенного взрывной волной осенью сорок первого. Как ни темна была ночь, стекло восприняло ее свечение. Стекло да вот конверт на темной поверхности письменного стола, оя неярко светился.

Тамбиев подошел к письменному столу. Письмо с Кубани, мать... Какими путями оно шло и каким чудом дошло? Уже месяц на Кубани немцы. Господи, только подумать, на Кубани немцы! Позвонил с подмосковного аэродрома техник-землячок. Видели, говорит, твоих где-то в Курганной. Но то было еще в июле. Видели или привиделось?

Телефонный аппарат точно взорвался в ночи. Тамбиев снял трубку. Голос Кожавина:

— Вы, Николай Маркович? Вам надо быть в отделе. Уилки в Москве.

Тамбиев положил трубку. Уилки. Что же это могло означать? Через месяц после отъезда Черчилля — Уилки? Не в пику ли Черчиллю? Черчиллю, наверно, проще отказаться от своего слова, чем Рузвельту. Рузвельту надо прислать в Москву Уэнделла Уилки, чтобы сказать то, что не мог сказать Гарриман, представлявший президента в Москве официально? Уэнделл Уилки, противостоявший Рузвельту на президентских выборах? Говорят, что среди тех трех, кто оспаривал у Рузвельта право быть президентом, Уилки был единственным, кого Рузвельт действительно уважал. Но так ли далеко зашло это уважение, чтобы Уилки представлял Рузвельта в переговорах со Сталиным по весьма деликатному вопросу? И как это будет принято в Штатах, и как в Великобритании? Как примут это англичане, нет, не только в Лондоне, в Москве тоже?

Еще не переступив порога большой гостиной, где обычно собирались корреспонденты, ожидающие вечернюю сводку, Тамбиев встретил Джерми.

— Слышали новость? Ваши повезли Уилки на Ржев-

ский фронт! — едва ли не возликовал американец. — Черчилля не повезли, а Уилки повезли! Не побоялись повезти!

Тамбиев едва сдержал улыбку. В словах Джерми был немалый заряд иронии.

— А почему надо было бояться везти Черчилля?

Видно, Джерми ждал этого вопроса, он даже притопнул от восторга.

— Для Черчилля это был риск.

— А Уилки?

— Вот в том-то и дело — везут! И куда? Ко Ржеву!

Он еще раз притопнул и побежал.

Тамбиев вошел в гостиную и, поздоровавшись, пошел через нее к противоположной двери, служебные комнаты отдела были там. Шел и чувствовал, как стихает шум в гостиной.

— Мистер Тамбиев, что бы мог означать приезд Уилки?

Тамбиеву показалось, как кто-то нетерпеливо хмыкнул. От окна шагнул навстречу Николаю Марковичу Клину.

— Я бы хотел переговорить с вами. Можно?

— Да, пожалуйста, — сказал Тамбиев и продолжал идти. Наверно, надо было бы остановиться и пропустить Клину вперед, но Тамбиев не хотел этого делать. В конце концов, пусть корреспонденты видят. В этом было нечто такое, что характеризовало отношение Тамбиева к Клину, и именно так корреспонденты поймут Николая Марковича, впрочем, не плохо, что поймут именно так.

Тамбиев знал, что Клину позади, но не слышал его шагов — то ли на нем были туфли, скрадывающие звук, то ли он умел ходить бесшумно. Но было как-то неприятно от одного сознания, что позади тебя идет человек, ты знаешь об этом и не слышишь его шагов. Тамбиеву показалось, что где-то он обернулся, потому что сидящие в комнате рассмеялись. Потом Тамбиев ощутил дыхание Клину, ощутил затылком — желая пропустить англичанина в дверь, Тамбиев пошел тише.

Они прошли по коридору, в дальнем конце его была комната Тамбиева. За долгий день, долгий и горячий, воздух в комнате застоялся — пахло старым де-

ревом, пыльным плюшем и клеенкой. Тамбиев предложил англичанину сесть и попросил разрешения открыть окно.

— Разговор, так сказать, втемную? — спросил Клин, когда Николай Маркович занял место напротив.

В голосе англичанина Тамбиев не уловил иронии.

— А вы полагаете, что в темноте я могу вас и не слышать? — спросил Николай Маркович, а сам подумал: наверно, даже хорошо, что темно, пусть давит эта темнота.

— Нет, ничего, пожалуйста.

— Я вас слушаю, мистер Клин.

Клин молчал. Ему было необходимо помолчать. Молчание было его железными латами. Казалось, он был неуязвим до тех пор, пока хранил это молчание.

— Я слушаю.

Тамбиев видел, как задвигались руки Клина, лежащие на подлокотниках кресла.

— Могу я рассчитывать на откровенный разговор, мистер Тамбиев?

— Я прошу вас об этом.

— Я бы мог начать этот наш разговор с вопроса, но, пожалуй, лучше, если я заставлю вас задать вопрос, — произнес Клин и помолчал. В темноте его молчание казалось особенно напряженным. — Не примите это за парадокс, но Игнатий Лойола живет сегодня в Штатах. Теперь сознайтесь, вам хочется, чтобы я объяснил вам, что я имею в виду?

— Да, конечно.

— Вот видите, вы уже задали мне вопрос, о котором я говорил. Итак, я утверждаю, что самый опасный вид иезуитства — американский. Сказать, что в ходе выборов американский президент облил республиканского кандидата презрением, еще не все сказать. Он наотрез отказался выступить с ним с одной трибуны! Он ни разу — заметьте, ни разу! — не произнес имени Уилки. Он создал впечатление, что сражается не с почтенным лидером республиканцев, а с огородным чучелом, так он оглушил своего противника, так он не хотел в нем видеть человека... И вот, едва оказавшись на коне, он облакает Уилки полной мерой доверия и направляет в Россию с миссией, деликатнее которой не знала история. Слышите, не знала! Это ли не иезуитство? Вы

хотите спросить, что я имею в виду, когда говорю о деликатности миссии? Сознайтесь, этот вопрос вы имеете в виду?

— Да, я хотел спросить именно об этом, — сказал Тамбиев.

— Так вот, Уилки поручено сказать Сталину, что, по мнению президента, Черчилль — и никто больше! — ответствен за то, что большой десант не состоялся, а поэтому именно Черчилля следует обречь на муки самоизоляции. Они хотят все это сказать русским, но не хотят брать ответственности за эти слова, вот почему эта миссия поручается Уилки. В том случае, если будет необходимость сослаться на Уилки, всегда можно сказать, он поехал с ведома президента. Если же будет необходимость откреститься от Уилки, возможен такой ответ: «Да помиуйте, это же Уилки! Кто не знает, что он не просто противник Рузвельта, он антипод президента». Вы скажете, да похоже ли это на Рузвельта? Взгляните на него, само воплощение доброй воли. Да и Уилки вон как хорош! Если и есть лица, которые могли бы быть отождествлены с чистыми намерениями, то это Рузвельт и Уилки. Обаяние, черт возьми, обаяние! Но в том-то и фокус, что иезуитство двадцатого века скрыто не под сутаной и монашеской бледностью.

Что-то было у Клина от деспотии силы, вероломной, не желающей ни с чем считаться. Она, эта сила, была рассчитана на то, что есть страх и есть слабые. Но вот что казалось Тамбиеву странным: в кругу военных корреспондентов, на добрую половину состоящем из людей, видевших войну и облаченных в армейскую форму, задавал тон человек в пиджачке, с набухшими, как у хронического почечника, глазами, склонный к постоянной дреме. Впрочем, впечатление о штатскости Клина было обманчивым... Можно подумать, что Клин был сыном кадрового военного, вырос где-то на Ганге и был свидетелем того, как отец его внушал мятежным сипаям любовь к британской короне. Отец сдюжил с тремя мятежами и не совладал с четвертым. Впрочем, остался сын, ему было тогда двадцать три, и жизни его хватило бы еще на три мятежа, но в Индии повеяло иными ветрами, и единоборство с теми, кто называл себя сипаями, или, вернее, потомками мятежных сипаев, обрело иные формы. У молодого Клина было желание еди-

ноборствовать с сипаями, ну если не в Индии, то в Европе, и он перебрался в Европу. Корреспонденты, разумеется, были не сипаями, но при желании можно было увидеть в них сипаев. Можно подумать, что Клин был сыном человека, усмирившего сипаев...

— Вы можете говорить о Черчилле что хотите, но он рыцарь и поступок его рыцарский. Согласитесь, когда возникла необходимость в его встрече со Сталиным, он не искал эмиссара в партии своих политических недругов, а взял и явился в Москву сам: «Вот я и вот мои доводы. Можете со мной не соглашаться, но это мнение мое!» В этом он весь. Не благородно ли это?

— Да не Черчилль ли ваш идеал, мистер Клин? — спросил Тамбиев, спросил как можно спокойнее, стараясь не обнаруживать иронии.

На какую-то секунду тьма, окружающая Тамбиева, затаилась.

— Именно Черчилль, — вырвалось у Клина, вырвалось явно против его воли, даже для Клина это признание было нелегким. — Я бы отдал предпочтение кому-то иному, но он мне ближе остальных, — добавил Клин и затих. В нем боролись желание открыться и опасение, что это неуместно. — Его вера в имперскую звезду, его понимание того, что есть Британия и что есть мир, его способность организовать народ на войну, его решимость к действию... Иные постыдятся сказать, а я скажу, Черчилль — мой идеал.

Николай Маркович хотел, чтобы тьма легла на плечи Клина каменной плитой, а хитрый англичанин защитил себя ею, как броней, и повел огонь. И как повел!

Да, защитившись тьмой, как броней, в ночи сидел Клин и пел хвалу Черчиллю. Сказали бы Тамбиеву, пожалуй, не поверил бы, что в природе может быть человек, который в доказательство своих благородных устремлений ссылается на любовь к Черчиллю.

После ухода Клина прошел час, когда на столе Тамбиева зазвонил телефон. Николай Маркович снял трубку. В ней зыбкая мгла дальних и ближних звуков, потом треск, сыпучий, точно кто-то бросил в трубку пригоршню искр, потом слабый голос:

— Николай? Это вы? Да откликнитесь. Вы это?

Тамбиев обомлел: уж не Софа ли?

— Откуда вы, Софа? Громче, ради бога... Громче!

— Я здесь, ну, знаете, по Ярославке, далеко. И улечу к полуночи.

Все понятно, приехать в Москву не может, да и не успеет обернуться до полуночи.

— Где вас там найти? Еду!

Клубится туман, видно, где-то рядом река или пруд. Когда машина останавливается, пережидая идущую поперечной дорогой колонну, слышно, как гудят авиационные моторы в глубине мглистого поля или за лесом. Кажется, что здесь повсюду аэродромы.

С тех пор как исчезла Софа, этот ее приезд в Москву — первый. Какие ветры носили и баюкали ее все это время? Она стремилась на Волховский, к Александру Романовичу, а, кажется, осела на Псковщине, хотя на Псковщине и немцы, но это особая тема, видимо, и для Софы. Вот как перед нею возник Пушкин! «Одна в глуши лесов сосновых давно, давно...» «В глуши лесов сосновых...» В том письме, что получил Тамбиев в апреле, в полуписьме-полузаписке шестистрочной, было сказано: «Главное — вырваться на простор, а там можно и сгореть... Простите за банальность, как звезда...» Тогда, в апреле, простор все еще был у нее впереди. А теперь? Видно, великая пушкинская Псковщина с ее лесным и озерным призводем лишь сулила ей этот простор. Тогда. А как сейчас? И что это за желанный простор? Сколько вот таких же девчонок, как Софа, презрев свои девятнадцать или двадцать, возмечтали обрести этот простор?

Какая она, Софа? Все тот же тревожный разлет бровей и храбрая лукавинка: «А ну, попробуй, я сильнее!..» А может, лицо, залитое восковой синью, и квадратные скулы, и глаза, неожиданно распахнувшиеся, врубелевские, им стало тесно в глазницах, глаза, которые и в немой тоске вещают: «Мы такое узрели!» И как живет-поживает ее гордыня, с высоты которой она взирает на тебя? Наверно, непросто было ей поднять в эту ночь телефонную трубку и позвонить Николаю.

Клубится туман, млечно-зеленый, неожиданно распадающийся, клейкий и пористо-живой, влажно и

тяжко дышащий, точно сама первоматерия. Кажется, что из такой мглы только и способно родиться чудо. Вот эта мгла вздрогнет и пошагает человек по росной траве, оставляя дымящиеся следы...

— Николай, по-моему, это вы!

Пилотка у нее в руке, и неистово горят надраенные пуговицы на клапанах гимнастерки, а глаза в самом деле, как на полотнах Врубеля.

Тамбиев выскочил из машины и кинулся к ней, но его остановила ее рука, холодная, совсем озябшая в этой полуночной стыни. И когда они пошли лесной тропой, оставив на обочине дороги машину, их разделяла эта ее рука, неожиданно неудобная и сильная. В конце тропы росла осинка, расщепленная надвое.

— Вы были у Глаголева, Софа?

— Да, сегодня.

— И у Александра Романовича с Анной Карповной?

— Была, в прошлый понедельник.

— Как они?

— Как обычно.

Она ускорила шаг, будто хотела, чтобы разговор, возникший только что, остался там, на опушке, у расщепленной осинки. А тропа вышла на новую опушку, и прямо из мглы встали озера. Они именно встали, странно отвесно, как зеркала, протяни руку и тронешь стекло, холодно-туманное, чуть запотевшее.

— С той осени вы видели Глаголева впервые?

— Да.

Однако вон как она заковалась в свою тайну. Тамбиеву захотелось выломать вот этот валун и пустить им в зеркала этой ее тайны, пустить так, чтобы гром пошел по лесу от осыпавшихся стекол.

— Погодите, вы призвали меня сюда, чтобы я вас пытал?

Она отпрянула.

— Все очень просто — я ездила к нему прощаться. Вот и все.— Она засмеялась: — Мой морзист сказал: «Жаль вас, Глаголева, у вас талант математический, на кой вам бес Морзе, когда, может быть, у вас лежит формула неоткрытая...» Вот чудак человек, искал Индию, а открыл Америку.

— Но Америку он все-таки открыл? — спросил Тамбиев.

— А я вам скажу, Николай, необыкновенное чувство: где-то здесь Михайловское, и домик няни, и усадьба Керн, и Святогорский монастырь, и могила поэта... Меня все мучило искушение приблизиться, чего бы это ни стоило, приблизиться и увидеть... И однажды ночью просекой и проселком, рошицами, рошицами я пришла туда. О боже, я пришла, я пришла...

А ведь она и в самом деле не от мира сего, думал Тамбиев. Ну, вот ей кажется, что нет никакой тайны в ее нынешнем бытге. А может, и в самом деле нет тайны? Она закончила курс и собралась. Далеко собралась, большое дело там. Но прежде чем это произойдет, она сходила к Святогорскому и поклонилась праху поэта. А потом слетала к одному своему отцу, потом ко второму. А потом вызвала Тамбиева в подмосковный лесок и... И жестокая мысль вдруг пришла на ум Тамбиеву: а может быть, он видит ее в последний раз? Даже более чем вероятно, что в последний, оттуда ведь почти не возвращаются. Вот судьба послала ему дар, а он ничего не понял. Ну конечно же, он не понял. А если понял? Ей ведь сказать нельзя. Ты должен это понять, нельзя, нельзя! Чужое чувство высмеет, в своем не признается. Ведь за все время она не молвила и слова по существу. Не молвила ни разу потому, что не спустилась с той немислимой высоты, на которую загнала ее гордыня. Попробуй откройся ей, костей не соберешь!

А тропа обогнула озеро и вошла в лес. Озера погасли разом.

— Мне пора, Николай.

— Пора?

— Да, время, время...

— Пора так пора.

Он поднял глаза. То ли небо было беззвездным, то ли крона старой сосны такой непробиваемо плотной, в ночи не было более темного места. Но оторвать глаз от звездного неба Тамбиев уже не успел, он услышал ее дыхание.

— Только не уходите, Софа, — вымолвил он и дотянулся до ее плеча.

— Погодите, я не понимаю вас, да неужели вы тоже... Час от часу... — Ее холодная рука вновь удержала его. Она ускорила шаг и тут же остановилась.—

Вот тут я привезла вам книгу, оттуда привезла, возьмите как доказательство, что я не за этим сюда явилась.

Она ушла, сунув ему книгу, как показалось Тамбиеву, в холодной коже, холодной и какой-то влажной. И все время, пока Тамбиев добирался до Ясенец (они были рядом), в руках была эта книга в холодной коже. И было в этом нечто символическое — Софа ушла и оставила Тамбиеву частицу того самого холода, которым были полны ее руки.

Тамбиев доехал до Ясенец, когда не было еще двенадцати и, к удивлению, обнаружил в соседнем с красным крыльцом окне слабую проталинку света. Тамбиев подобрался к окну, постучал.

— Кто там? — тут же отозвался голос, как показалось Николаю, Иринин.

— У вас маскировка прохудилась, гражданка, свет.

— Николай, это вы? — спросила Ирина, спросила едва ли не полусшепотом, и Николай понял, дом уснул, быть может, давно уснул и только она одна бодрствует. Засиделась за уроками или увлекла добрая книга?

Тамбиев назвал себя, и тотчас радостно заскрипели в доме половицы и щелкнул ключ, как показалось Николаю, тоже с радостным звоном. Дверь распахнулась.

— Тихо, они спят, — произнесла она и заговорищицки прихихикнула, нет, ей было определенно интересно ввести Николая в дом, чтобы об этом никто не знал. — Вот какой сыростью от вас пахло. На улице дождь?

— По-моему, нет, просто роса выпала.

— Роса? А я думала, дождь. Вы есть небось хотите? Пойдемте на кухню. Только вот... идите вокруг дома, я открою вам дверь, — прихихикнула она еще раз, ей нравилась эта ее маленькая тайна. — Я мигом.

Он пошел вокруг дома, не без робости оглядываясь на окна, которые, как ему казалось, с подозрительной пристальностью сейчас следили за ним. Это Иришка заразила его этой своей жаждой тайны.

— Заходите, только... в момент, у меня холодные пупырышки побежали по рукам, — сказала она, про-

пуская его в дом. — Вот сюда, вот сюда, — прошептала она и, взглянув на дверь, за которой спал старый Иоанн, так взвизгнула, что ей пришлось зажать рот ладошкой. В ее взгляде было в эту минуту нечто такое, что говорило: «Как же вы бесконечно беспечны, дорогие мои, как вы безнадежно стары, беспомощны, а следовательно, и глупы, если сейчас не умеете проникнуть в то, что творится в двух шагах от вас». — Идите, пожалуйста, на цыпочках, вот так, — сказала она Тамбиеву. — Тсс!.. А вот теперь вы учуяли, где мы? По запаху?

— Пахнет ванильными булочками, — простонал Тамбиев.

Она не успела поднести ладонь ко рту, казалось, смех ее огласил дом.

— Нет, это просто ваниль, — произнесла она полупшепотом и, казалось, прервала дыхание — в комнате Иоанна скрипнула кровать.

Тамбиев слышал, как она прикрыла дверь за ним и бесшумно посеменила, точно поплыла в неслышной тьме.

— Где-то здесь был выключатель, знаю, что был.

Вспыхнул свет, и первое, что увидел Тамбиев, — ее заспанные глаза. Видно, час и для нее был поздним, сон сморил ее. На ней и сейчас было это ее синее платье в горошек, в каком она была как-то летом сорокового, когда Сережка сдавал математику и Николай сидел с ним над логарифмами. Тогда Ирина все вырезала из бумаги коней и церемонных амазонок. Сейчас платье стало коротким и края рукавов подошлись к локтям, но материя осталась все такой же густо-синей, горячего солнца двух этих лет оказалось недостаточно, чтобы обесцветить материю.

— Я сейчас вас буду кормить. У меня есть макароны.. белые. — Она сказала «я» и «у меня». — Хотите, подогрею на масле? — И чай с сахарином. И потом повидло из наших яблок. Хотите?

Ему показалось, это она делала все с этакой небрежной ловкостью, будто хотела показать: то, что делается сейчас, ей не внове. Собственно, все, что она делала, имело эту цель, только эту — она взрослая. А когда сняла с плиты сковороду с макаронами и, ловко переложив их на большую тарелку, подала на стол,

в ответ на возражение Тамбиева молвила со скрытой радостью:

— Ешьте, пожалуйста. Ну что для мужчины тарелка макарон?

Она так и сказала «для мужчины» и этими словами тоже прикоснулась к новому и заповедному. А когда Тамбиев начал есть, села чуть поодаль и взглянула на него с ревнивой радостью. Разом стала похожа на мать, когда та вот так же в поздний час сидела рядом с Бардиным, радуясь его волчьему аппетиту.

— Папа сказал, что вы ездили к Сережке? — спросила Ирина. Как понимал Николай, она вкладывала какой-то свой смысл в эти слова.

— Да, был недолго.

— А я, признаться, тоже хотела к нему пробраться, да дороги не знала. Я бы и сейчас не остановилась, если бы дорогу знала.

— Дорогу можно показать, — сказал Тамбиев.

— А кто покажет? — спросила она и точно вздрогнула. «Вот наберитесь храбрости и покажите!» — будто хотела сказать она, но он смолчал. Только махнул рукой и засмеялся. — Вы смеетесь? — смешалась она, заметив его улыбку. — Что так?

— Я вспомнил, как ловко ты вырезала этих своих лошадок из цветной бумаги. Ты и сейчас их вырезаешь?

Она как-то ссутулилась и, взглянув на руки, заметила, как коротки рукава ее платья, и принялась их натягивать, чтобы они выглядели подлиннее. Казалось, ничего она так не стеснялась сейчас, как своей детскости. Впервые, только подумать, впервые ей не хотелось быть маленькой. Печаль ее была так велика, что она не нашлась, что ответить, обратив глаза на стол, посреди которого лежала книга в холодной коже.

— Можно? — сказала она и взяла книгу. Книга еще берегла холодную сырость, она и дальше могла сберечь эту холодную сырость, в ней было ее много. — Михайловское? Пушкинское Михайловское? Это как же понять, история Михайловского и окрестных мест? — спросила Ирина. — Какая странная книга.

— Ты сказала, странная? — повторил он.

— Да, так показалось мне.

Она положила книгу на прежнее место. Тамбиев

здрут подумал, что в ярко-черной коже этой книги было что-то тревожное, и мысленно посмеялся над собой: «Почему тревожное?»

— Я как-то видела вас в Москве. Мудрено увидеть в Москве, а я взяла и увидела!

— Наверно, где-нибудь у Наркоминдела? — спросил он.

— Какое там! На Пушкинской площади, с барышней. — Да, она так и должна была сказать: «С барышней!» Для нее дебушка рядом с Николаем — «барышня». — Такая золотоволосая! На ней было еще такое расклешенное платье маркизетовое и кофточка с красной каймой, видно, она сама связала. Ах, какая она была эффектная!

— Эффектная? — рассмеялся Николай.

— Нет-нет, это не то слово. Необыкновенная! Что-то в ней было не от грешной земли. Вот такой должна быть женщина подвига! Я хорошо знаю, что такой была Жанна д'Арк и наша Зоя была такой. Таких вот умели писать русские иконописцы, в самих их лицах есть вот это прозрение, — сказала она, но, взглянув на Тамбиева, умолкла. Он стал как-то сразу мур.

— Вот эта книга ее, — сказал Николай, взглянув на книгу, лежащую посреди стола.

— Ее? — только спросила она и отвела глаза от черной кожи.

Николай встал:

— Ты меня хорошо покормила, Ирина. Разреши мне лечь на диване в столовой, ты помнишь, я спал там тем летом.

— Да, конечно, — обрадовалась она, и печаль ее словно рукой сняло. — У меня и простыня есть, и одеяло с пододеяльником, а подушку я дам свою.

— А как же ты, Ирина?

— А у меня есть думочка. Я на думочке.

— Нет, подушку ты оставь себе, а думочку дай мне, я хочу знать, о чем ты думаешь.

Едва прикоснувшись щекой к думке, Тамбиев почувствовал, как все поплыло в розовом тумане. Это произошло так неудержимо, что Тамбиев не понял, была ли это дрема или головокружение. В легких запахах, которые исходили от думки, Николаю чудилось

дыхание немудреного ясенского детства Ирины, которое вопреки ее желанию еще не отшумело.

73

— Вы хотели бы пешком?

Тамбиев оглянулся. Галуа. Как обычно, в сером пиджачке, даже не в сером, а в каком-то сизо-зеленом, не очень тщательно отутюженном, из ворсистой шерсти.

— Послушайте, Николай Маркович, не дает мне покоя один вопрос. Вот вы выросли там, на вашей Кубани, верно?

— Да, на Кубани.

— И там был свой мир, свой клан? Верно?

— Пожалуй.

— Да нет, и не думайте отрицать, я точно знаю, что именно свой клан. Ведь язык более чем диковинный— адыгейский. И не только язык, весь строй жизни особенный: и калым, и кровавая месть. Была она?

— Наверно.

— Ну, я так думаю, была. И вдруг — Россия! В вас, в вашей душе сшиблись два мира... И для вас этот мир чужой, и для тех, к кому вы пришли. Говорят, вы близки с семьей Бардиных. Вы же для них чужак, да и они вам чужие... Допускаю, что вы им это не показали, а они? Нет, не сам Бардин, а старик или там дети?

— Бардины?

— Да.

— Никогда.

Казалось, он обескуражен.

— Ну, не в Бардиных дело! Вы хотите сказать, что произошло нечто такое в самих душах, в самих душах?

— Да, именно это я хочу сказать.

— Так... хорошо здесь после дождя.

Дело, конечно, не в дожде. Тамбиев знал, что сегодня утром Галуа разговаривал с Уилки. От «Метрополя» до наркоминдельского особняка на Кропоткинской с полчаса ходьбы. Вполне достаточно, чтобы тему Уилки исчерпать.

— Он принял меня в синем халате, да, в таком шелковом, в крапинку. Так костромские помещики принимали своих бурмистров. Ничего не скажешь, красив! И это после Ржева! — Он засмеялся по своему

обыкновенно почти беззвучно, пофыркивая, и махнул рукой, будто хотел сказать: «Да что тут говорить, ясно, они все на одну колодку, американцы!» — А потом стал исповедоваться, хотя видит меня впервые. Нет, дело не в нарушении такта, но по-человечески как-то противно.

— А мне, признаться, всегда приятна искренность, — сказал Тамбиев.

Галуа недоуменно вскинул глаза.

— Искренность только тогда искренность, когда она бескорыстна. А так, простите меня, дурной тон.

— Не по этой ли причине вы оберегаете меня от сути разговора, господин Галуа? — засмеялся Тамбиев.

Галуа залился беззвучным смехом и, оборвав его, оборвав неожиданно, принялся тереть глаза, всхлипывая и причмокивая.

— Одним словом, когда он выезжал из Америки, у него был разговор с президентом. И тот сказал ему: может случиться так, что он, Уилки, прибудет в Каир, когда там будет Роммель, и явится в Москву, когда туда пожелает... ну, например, Модель или Манштейн. Слыхали, Модель или Манштейн в Москве! Простите меня, но они не только вести себя не могут, они еще невежественны.

— И как эти прогнозы помогли Уилки, когда он увидел Россию?

— Признаться, он не ожидал встретить Россию такой. «Русские держатся, и в их руках даже Сталинград...» Слышите, даже Сталинград! Одним словом, Уилки ведет себя так, будто имеет задание отколоть Черчилля от трех великих и изолировать.

— Мне это уже кто-то говорил, — сказал Тамбиев.

— Кто? — спросил Галуа, встревожившись. Казалось, слова эти не должны были вызвать такой тревоги.

— Мне так кажется, мистер Клин, — произнес Тамбиев, пораздумав.

У Галуа это вызвало почти отчаяние.

— Вы полагаете, что я заимствовал эту мысль у Клина?

— Нет, я говорю о совпадении, — заметил Тамбиев, смутившись. Галуа решительно не хотел, чтобы ассоциация с Клином возникла у Николая Марковича. Вот она, периодическая система политических позиций и

ориентаций. У каждого свое гнездышко. Баркер — это не Галуа, Галуа — это далеко не Клин, хотя, как это имеет место теперь, могут быть и совпадения... мнений.

— Не хочу я совпадений с этим черносотенцем! — возопил Галуа в совершенном смятении.

То, что Тамбиев знал о Клине, в какой-то мере объясняло отчаяние Галуа. Но, глядя на то, в какое замешательство был повергнут Галуа, Николай Маркович подумал, что он, Тамбиев, не все знает о Клине.

Тамбиеву показалось, что пресс-конференцию ведет не тот Уилки, о котором говорил Галуа. Быть может, утром он и выглядел цветущим толстяком в синем халате, но сейчас это был заметно рыхлый человек с млечными кругами вокруг глаз, которому явно не хватало дыхания, когда его речь становилась темпераментной или жесты убыстрялись. Он, видимо, знал свою особенность, поэтому повел рассказ в подчеркнута размеренных тонах, перемежая его паузами. По крайней мере, начало рассказа выглядело так.

Он сказал, что был подо Ржевом и видел много такого, что глубоко взволновало его. По его словам, у человека непредвзятого не может не вызвать восхищения великий дух самопожертвования, который свойствен подвигу России. Он сказал, что разговаривал со многими русскими, среди которых были и люди известные — профессиональные военные, деловые люди, писатели, — и, должен сказать, был свидетелем речей неистовых по адресу союзников.

Корреспонденты, с веселой хлопотливостью орудующие своими перьями и карандашами, затихли. Видимо, наступила минута, которую все ждали. Воспользовавшись этим, Уилки встал и тихо пошел вдоль длинного стола, за которым сидели корреспонденты. Как показалось Тамбиеву, в его лице была та доброта и открытость, которая располагала к нему людей и породила так много легенд о непобедимом обаянии Уилки. Пожалуй, были правы те, кто утверждал, что мягкостью движений, какой-то ласковой вкрадчивостью Уилки был похож на красивого кота.

— Второй фронт? — задумчиво повторил Уилки. Он ждал этого разговора и берег силы для него. — Я лично убежден, что мы можем оказать им помощь

(он так анонимно и выразился «им»), создав вместе с Англией настоящий второй фронт в Европе в ближайший возможный момент, который одобряют наши руководители... — Конец последней фразы обнаруживал почтительность, как показалось Тамбиеву, не очень свойственную Уилки, и был произнесен со специальной целью — самортизировать достаточно резкий удар слов, — которые за этим следовали. — А некоторые из них, — вымолвил Уилки все так же неторопливо, в полной мере осознавая, что эпицентр пресс-конференции здесь, только здесь, — а некоторые из них, пожалуй, нуждаются в том, чтобы общественное мнение их немножко подтолкнуло.

Раздался шум, откровенно протестующий, его не могла умерить всесильная улыбка Уилки. Американец улыбался, а шум не утихал. Уилки подошел к Галуа и, теперь уже демонстративно смеясь, указал взглядом на корреспондентов.

— Не правда ли, я им сказал все, что должен был сказать?

Галуа, смутившись, вобрал тощую шею в плечи, а Уилки вернулся за стол и сел в кресло, вытянув ноги и дав понять, что конференция закончена. Его стали окружать корреспонденты.

— Что я вам говорил, мистер Тамбиев? — не произнес, а простонал Клин, при этом с такой силой сжал руку в кулак, что пальцы хрустнули. Казалось, еще минута, и он, обернувшись, устремится в тот конец зала, где находились корреспонденты, угрожающе вскинув руки.

Едва ли не с первых дней войны Кузнецкий стал для некоторых горожан если не кулуарами большой политики, то дискуссионным клубом.

Времени для дискуссий нет, но накоротке по дороге с работы домой если и не самому сказать слово, то послушать других можно.

Место дискуссий — у просторных «Окон ТАСС».

Ну как не отзовешься, например, на ефимовский плакат, вывешенный сегодня утром и словно вызванный к жизни самим соседством с Наркоминделом?

Подпись под рисунком: «Совещание военных экспертов. Вопрос о втором фронте». Изображен стол с картой Европы посередине. Над столом календарь: октябрь, 1942. По одну и другую сторону стола генералы в форме союзников. Справа генералы Решимость и Смелость. Слева генералы Авдругпобьют, Стоитли-рисковать, Ненадоспешить, Давайтеподождем, Как-бычегоневышло, не генералы — пять тумб, подпоясанных армейскими ремнями.

Казалось, немудрена картинка, а как она способна встревожить душу, если мысль ее актуальна.

— Нет, художник так просто это не намаляет. Он точно говорит: «Есть и там сторонники второго фронта». Вот они, генералы Смелость и Решимость.

— Простите, но художник не утаивает правды, эти ваши генералы в меньшинстве.

— Верно, их только двое, но взгляните на их лица, молоды, а следовательно, сильны.

— Простите, но в мире, о котором мы имеем честь говорить, силой владеет не молодость, а власть.

— Иначе говоря, генерал Авдругпобьют?

— Даже больше, Давайтеподождем.

— А по мне, — солидно вторгается в разговор третий голос, — они только с виду разномастны, а по сути своей едины.

— Простите, но это уже крайность. Она вредна, как все крайности, — пробует возражать тот, кто этот диалог начал.

— Пока нет второго фронта, не вредна, — все так же солидно произносит третий. — Я вот настроил себя на эту волну с начала войны и еще не дал маху. Вот так-то!..

Наверно, такое бывает не часто — открылась дверь, и перед Тамбиевым возник Сережка Бардин. Все еще на костылях, но с весело-непобедимым видом. Придерживая костыли, стянул варежки, сбросил полушубок, как-то по-особенному, ото лба, сдвинул ушанку, и она очутилась на затылке. Был немислимо красив: лицо, опущенное негустой бородкой, копна давно не стриженных, а поэтому завившихся на висках и затылке волос, бледен, как привиделось в ту минуту Тамбиеву,

не столько бледностью кожи лица, сколько яркостью глаз.

— У-у, ты, канцелярская душа! Одевайся и айда на Калужскую. Давай.

— А почему не в Ясенцы?

— Почему да почему! Хочу на Калужскую.

Он положил Тамбиеву на спину твердую ладонь, легонько подтолкнул.

— Поехали, там расскажешь.

Внизу их ожидала «эмка». Они поехали.

— К отцу заходил?

— А какой смысл? Спросил, говорят, уехал с послом английским куда-то на юг.

— С послом американским.

— Ну, с американским. Я этой вашей дипломатией сыт вот так.— Он снял шапку-ушанку, покрыл ладонью голову. — Говори со мной просто, как человек с человеком. Успеет отец вернуться?

— Но ты-то надолго?

— Побуду, велено встать на ноги.

— Ну, тогда все в порядке. По-моему, отец будет не сегодня-завтра.

— Брось.

День был по-ноябрьски холодный, предснежный. Гололедило, но парнишка-шофер, что прикатил Сережку в Москву, понимая состояние молодого Бардина, мчался на Калужскую, как на крыльях. Когда приехали, Сережка пожал пареньку руку, сунул ему не столько в знак благодарности, сколько благодарной приязни пачку трофейных итальянских сигарет, пошел вместе с Тамбиевым к дому. Он долго стоял у подъезда, не решаясь открыть двери, а когда вошел, отдал костыли Николаю, а сам, держась за перила, медленно начал спускаться в полуподвал. Там жила старая приятельница семьи Бардиных дворничиха тетя Варя, обычно ключи от бардинской квартиры были у нее. Тамбиев слышал, как явственно ахнула внизу и запричитала тетя Варя:

— Сергей Егорович, да как же это? — И еще: — И времени не много минуло, а все пошло ходуном! Одним махом... махом! — Потом шепот: — Погодил бы!.. На всякое «приспичило», Сергей Егорович, есть «спичило»! — И еще в отчаянии: — Господи, все раз-

ладилось без твоих ручек золотых: и радио, и мясорубка, а уж примус в фугаску обратился — урчит, того гляди бухнет, окаянный!..

Серезжка вернулся со связкой ключей, но был хмур пуще прежнего. Вслед за ним, часто поводя обрубленным хвостом, шел песик. Остроносый, длинный и какой-то стелющийся, он был похож на лису, но лису белую.

— Видишь, он улыбается тебе, — указал Серезжка Тамбиеву на пса. — Да ты не туда смотришь. Он хвостом улыбается. Гляди, как он им двигает, вон сколько радости ты у него вызвал.

— Было бы часом больше, мы бы в Ясенцы смотались, — сказал Тамбиев в ответ, не удостоив пса вниманием.

— А чего я в тех Ясенцах не видел? — молвил Серезжка, не спуская влюбленных глаз с собаки.

— Иришку, — заметил Николай.

— Разве только Иришку, — был ответ.

Они поднялись на четвертый этаж, и Серезжка, привычно отобрав нужный ключик и повернув его в замочной скважине, хлопнул по дверной филенке пятерней. Дверь раскрылась. Пахнуло пылью, знойной, разогретой на свирепом солнце минувшего года.

— Был здесь с той поры кто-нибудь?

Они пошли из комнаты в комнату. Вещи хранили память о человеке, которого уже не было, они точно засекали и затвердили его последний день в этом доме. В столовой Серезжка кинулся к табурету. Видно, накануне вечером она вязала. Лежал недовязанный свитер для Иришки, а может быть, для Серезжки, разумеется, с бегущим оленем на груди, тогда была мода на этих оленей. Серезжка взял вязанье, выпал клубок шерсти, неожиданно живой, и покатился по полу, едва ли не подпрыгивая. На кухне он увидел стакан, замутненный молоком, и кусочек хлеба, заметно поджаренный. Это ее молоко и ее хлеб, только она и ела в доме поджаренный хлеб. И вот эта записочка на тетрадном листе, как все ее записки, недописанная. Серезжка взял тетрадный листок, перечитал, прислушиваясь к ее голосу. Да, где-то в этих строчках затаился ее голос и ждал той минуты, когда Серезжка возьмет записку в руки, чтобы прозвучать: «Сыночка, я тебе приберегла творо-

гу домашнего, открой холодильник...» И Сережка едва удержался, чтобы не открыть холодильник (заморское диво — подарок коллеги-наркоминдельца). Боялся этого творога, видел его, этот творог, каменно-твердым, в прозелени и в сизой плесени, неожиданно яркой и задохматившейся.. Сережка шел из комнаты в комнату, всюду она протягивала ему руку, всюду слышался ее голос, даже вот здесь, в кабинете отца, куда Сережка привел сейчас друга и куда она, как помнит Сережка, не часто заходила.

Они сейчас сидели в кожаных креслах кабинета, и прямо перед ними был портрет Бардина.

— Ты слышал, что сказала там, внизу, тетя Варя? — произнес Сережка и отвел глаза от портрета. — Слышал? «На всякое «приспичило» есть «спичило»...

— Это о ком? — спросил Тамбиев.

— А ты не понял? — Он поднял глаза на портрет. — Это о нем и о нашей Оленьке.

— И что ты ответил тете Варе? — спросил Тамбиев.

— Ничего, разумеется.

— Жаль.

Сережка смолчал. Подошел к окну и, сдвинув шпингалеты, взял створки на себя. Затрепала бумага, которой были заклеены окна, и глубоко внизу, точно это было не на земле, а в разверстых ее недрах, прозвучала автомобильная сирена.

— Почему жаль, Коля? — спросил Сережка, и Тамбиев заметил в его голосе виноватость.

— Хочешь, чтобы я сказал?

— Да, хочу, — ответил Сережка и еще раз взглянул на портрет, точно подтверждая самим этим взглядом, что готов к разговору.

— Знаешь, Сережка, а мне вот неприятно слушать это об отце твоём. И, прости меня, я бы не говорил с тетей Варей об этом.

Тамбиев видел, как разом взмок Сережка, кожа лица его уже не казалась золотистой, как прежде, а стала серой.

— Но ведь из песни слова не выкинешь, — в его голосе вдруг появилась запальчивость. — Это не я сделал, а он.

— Что сделал?

Он вдруг поднялся и, пройдя комнату, — видно, он

пробовал ходить без костылей,— взял отцовский свитер и спрятал его в шкаф, спрятал поспешно.

— Что? Что сделал?

Серезжка опустил на ковер, там лежал песик.

— Ну, улыбнись, Малец, улыбнись,— схватил он собаку за передние лапы. — А ведь ничего не забыл, Малец, все помнит. Как будто и не было этих восемнадцати месяцев. — Он отнял собаку от пола и попытался ее подбросить. — Ах ты, неслух мой. — Пес устал не меньше Серезжки, но доволен, он все еще шевелил хвостом, но теперь не так часто. — Поедешь со мной, а? — спросил Серезжка пса. — Нет, я серьезно, поедешь? — И, обернувшись к Тамбиеву, пошел к дивану.— Ты что молчишь, Николай?

— А я сказал все. Теперь за тобой очередь.

— Ну, будет, я есть хочу, — бросил Серезжка и двинулся на кухню, вещевой мешок там. — Я заметил, как поем, становлюсь добрее. А ты?

Он выдвинул из дальнего угла столик, на котором отец в довоенные времена работал на машинке, накрыл его газетой и с превеликой тщательностью, которая прежде в нем и не угадывалась, разложил небогатые запасы: банку тушенки, квадратик сыра, пачку леденцов, пол-литра водки.

— Давай за встречу, дороже ее ничего нет, может не повториться. — Серезжка открыл бутылку, разлил водку по фужерам. — Ну?

Они выпили с жадной отвагой.

— Ну, так, пожалуй, лучше, — сказал Тамбиев. — Теперь скажи, куда сейчас?

Серезжка выложил тушенку, не дожидаясь, когда начнет Тамбиев, начал сам.

— Куда, говоришь? А сам не знаешь?

— Не знаю.

Серезжка взглянул на окно, видно, этот взгляд и прежде был взглядом предосторожности.

— На Дон! Ну, мы их... — Он выругался с завидным умением, больше того, со вкусом. Тамбиеву это было в диковинку, прежде Серезжка не ругался. — Я им за Ваську Полосина еще не выдал. — Он хмуро взглянул на Тамбиева, глаза его были красны. — Дружок мой... Васек Полосин. Мы с ним подо Ржевом прошибли оборону и в тыл к немцам, а потом они захлопнули воро-

та. Р-р-р-раз и захлопнули!.. Так он пошел на таран, прошиб, а я за ним. Вот и выходит, он меня спас, а я его не уберег. Вот тут у меня этот долг, вот тут. Ты можешь понять меня? Ну, я за Ваську сполна получу.

— Погоди, не пей. Ну, скажи, что ты думаешь, как наши дела? Ну, как ты разумеешь?

Сережка молчал.

— Ну, что я тебе могу сказать? Что я знаю? Я ведь солдат, и стратегия — не моя стихия.

— Нет, я хочу узнать, что думаешь ты.

Сережка сидел, сомкнув губы, которые казались сейчас белыми. Нелегкую задачу задал ему Николай.

— Если спросить не ум, но еще и сердце, то ответ будет таким: что-то сдвинулось вот тут, — Сережка положил загорелую руку на грудь. — Понимаешь, сдвинулось, и совершился перелом, а это, наверно, самое главное. — Он вновь взглянул на Мальца, устремился к нему. — Ах ты, разбойник этакий!.. — Он опрокинул собаку на спину, принялся мутузить, потом дал собаке встать. — Эх ты, трусишка несчастный, трусишка. — Он опустил на четвереньки и, уподобившись псу, замотал головой, что есть силы залаял. Собака смущенно двинула хвостом, тоже залилась лаем. Казалось, Сережку это привело в восторг.

Он вернулся к столу улыбающийся, его хмурость точно рукой сняло.

— Знаешь, что? — взглянул на фужер с водкой — За батю! Как ни говори, а он в небе, а мы с тобой на земле. Небось летит сейчас? За него.

— Ну наконец сказал дело, — произнес Тамбиев и осушил фужер с водкой.

Сережка ел, понимая толк в еде, так едят рабочие люди, натрудившиеся за день. Никогда прежде Тамбиев не замечал за Сережкой этого.

— Ну, ты помнишь эти бардинские баталии, когда отец идет на сыновей, а сыновья друг на друга? Не дай бог, еще дядя Сережа Бекетов окажется рядом. Вот это сеча! Истинно, столпотворение! Однако останови на секунду сечу и разберись, что к чему. Дед, он на то и дед, он за Россию дедовскую, хотя, наверно, понимает ее пороки лучше нас всех, он ее видел воочию, так сказать... Отец к нему суров, готов считать его ниспровергателем. На самом деле весь дедов пафос, как дядя

Мирон как-то сказал, держится на пупе — самовзвод, задира... Чем сильнее тот, кто ему противостоит, тем охотнее он в бутылку лезет. Одним словом, как видится моему уму зеленому, в нем больше строптивости, чем несогласия. Нет-нет, ты пробовал по ниточке, по стебелечку разобрать то, что он говорит? Честное слово, он часто говорит дело. Ну, к примеру, он глаголет: почитай доброе, что есть у дедов твоих и прадедов, почитай с умом, доброе прими, худое отбрось. Ну что тут плохого? Или еще: отдай должное старику, его уму и опыту. По нему, это и есть основа нравственности. А ты как думаешь? Нет, нет, ты не смейся. Как думаешь? Есть старики добрые и злые? Верно. Но старость надо уважать, и это действительно основа нравственности. Ну конечно, он упрямец редкий. Если ты скажешь «а», он уже «а» не скажет. Но мне такой человек даже интересен: будит мысль, вечно бьет тревогу, не дает уснуть ни мысли, ни чувству. Но ты спорь, поднимай на него свою «мощу», как говорит дядя Мирон, иди на таран. Правда, она так просто в руки не идет, ее отводить надо.

— Это тоже дядя Мирон говорит? — улыбнулся Тамбиев.

— Дядя Мирон, — заулыбался в ответ Сережка. — Не хочу и думать ни о ком другом, мой идеал. Ты только прикинь, одновременно инженер и летчик, да какой летчик! Он, говорят, такого давал фашистам под Мадридом — ого-го-го!.. Да что я тебе говорю, в твоём институте испытательном его забыть не могут: волонтер войны антифашистской, первой войны антифашистской! Да посмотри на него на живого, на живого! Он весь порох сухой. Чуток, как струна натянутая. Я как солдат говорю, с таким я в любое пекло пойду. У меня к нему вера, а дороже этого ничего нет на свете. — Он умолк, испытующе посмотрел на Тамбиева, будто примеряя, как ему, Николаю, все то, что он сказал сейчас? — Ты знаешь, Николай, я ему даже чуть-чуть зазидую: жил, как все, а стал идеалом. Идеал — это трудно. У тебя он есть, Николай?

— Есть.

— Кто?

— Отец твой.

— Кто, говоришь?

— Отец твой, Бардин Егор Иванович. Знаешь такого?

— Знаю и просить хочу, объясни.

Но Тамбиеву надо было собраться с мыслями, вон какую силу набрал этот разговор и какой поворот обрел.

— Только, чур, пойми меня правильно. То, что я скажу, я скажу не в пику дяде Мирону. Он, дядя Мирон, герой, и все мы ему обязаны. Всегда обязаны и многократ сегодня, когда страна наша творит подвиг свой ратный. Но то, что совершил Мирон, мы, не задумываясь, зовем героизмом и чуть-чуть потому, что это так звалось вчера. А вот то, что делает отец твой родной, никогда не звалось героизмом и, прости меня, не зовется им и сегодня, хотя есть подвиг духа истинный, а следовательно, и героизм.

— Погоди, а не хватил ли ты, друг ситный, лишку? — спросил Сережка.

— Нет, не хватил, и я тебе это сейчас докажу, — сказал Николай. Его разобрал задор, и он хотел высказать мысль свою нелегкую до конца. — Что есть Егор Бардин и как я понимаю его? Только слушай меня внимательно и не перебивай. Итак, это не просто словцо, когда мы говорим, что мир наш расколот надвое. Есть, грубо говоря, две половины, красная и белая. На одной и другой миллионы. Ничего похожего на идиллию в отношениях между красным и белым нет. Наоборот, это единоборство, суровое и, скажу больше, беспощадное. Следовательно, те, кто представляет нас в отношениях с той половиной мира, вроде парламентаров с белым флагом, которых отряжает полк, когда надо договориться с врагом насчет того, чтобы на двадцать четыре часа выключить гаубицы и минометы. В данном случае речь не о полке, а о стране, в которой народу миллионы, а парламентаров, то бишь дипломатов, ведущих переговоры, число отнюдь не астрономическое. Пальцев на твоих и, пожалуй, на моих руках хватит с лихвой, чтобы перечислить этих парламентаров с Кузнецкого моста. Кстати, отец твой один из них, и уже это делает его человеком не совсем ординарным. Когда полк отряжает парламентаров, он должен крепко подумать, кому доверяет древко с белой холстиной. Сказать, что этот посланец полка должен быть умным, наверно,

не все сказать. Среди его доблестей должны быть и выдержка, и опыт, и знание языка, и то, что простой человек называет подходом к людям, и что, в сущности, так и есть. А главное, он должен быть безотказным. Да, безотказность, как у того вечного часового, который всегда бодрствует, всегда зорок, вседенно и всеношно на вахте. Бардин из этой породы вечно бодрствующих. Правда, то, что он делает, как-то не принято считать героизмом. Вот мы говорим: «Отступить некуда — позади Москва». Но ведь это можно сказать не только о войне, но и о дипломате. Нет, не в переносном, в прямом смысле этого слова, в прямом! Истинно, отступить некуда, когда в многодневном единоборстве с опытным и умным врагом дипломату надо отстоять пределы, которые ему велено отстоять. Тут свой обходной маневр и свой удар в лоб, свои «клещи», и свои «вилы», свое минирование, и, пожалуй, свое разминирование. Но кто сочтет это героизмом? Это не будет героизмом? Это не будет героизмом и тогда, когда дипломат, выполняя задание, пересечет линию фронта, перевалит через океан, а через неделю этой же нелегкой дорогой вернется обратно. Однако, как сказал поэт, сочтемся славою... Истинно, грядущий памятник всех уравнивает. В этом ли дело? Вернемся к Бардину. Есть в нем то, что отличает человека государственного...

— У отца чин высокий?

— Нет, дело не в чине. Понимаешь, он, как опытный навигатор, способен удержать корабль на верном курсе. Все иные в плену страстей. Новый сенат старика Иоанна есть плод одного древа — страсти... У Бардина нет такой страсти, а если бы даже она была, он не дал бы ей возобладать над собой. Бардин точно ориентирует свой корабль в соответствии с главной целью — интересы Союза Советов, как они видятся ему сегодня. Ну, ты знаешь, мне симпатичны все Бардины, но если пойдет речь о деле государственном, я назову лишь отца твоего и, наверно, буду прав, хотя знаю, мне надо еще доказывать свою правоту, и не только тебе.

Сергей оглянулся и увидел в дальнем конце комнаты старый отцовский диван, обитый кожей. Сережка вспомнил: полушутя-полусерьезно Бардин говорил сыну, что диван обладал силой волшебной. Час сна на кожаном диване так прибавлял силы, хоть начинай жизнь

сначала! Сережке даже казалось, что диван хранит и тепло доброго отцовского тела, и чуть-чуть запахи отца. Так или иначе, а Сережка забрался сейчас на диван, не без труда уложив ноги, надо было умудриться, чтобы они уместились на диване.

— Не безусловно? — засмеялся Сережка. — А какая у него кличка в Наркоминделе? Там, наверно, как в школе, у всех клички. О, я любил клички лепить. Р-р-аз и прилепил!

— Ну и какую бы ему кличку дал?

— Крестный!

— А это еще что такое?

— А его так зовут все: и братья, родные и двоюродные, и племянники, которых сонм неисчислимый, и даже дядья. Все зовут, хотя сейчас, правда, реже. Крестный! Ну, это вроде рождественского деда, который стоит на перекрестке дорог с большим мешком, а в мешке что твоей душе угодно: кому десятка на харчи, а кому двадцатка на обувь, а иной раз и другая помощь, о которой никому не скажешь, а ему, пожалуй, скажешь... В клане Бардиных он не самый старший, а идут к нему...

— И что же, к нему идут за всем этим?

— А почему не идти, он ведь не откажет... Крестный!

— А он крестил всех их?

— Нет, он крестный не в этом смысле. Крестный в смысле наставлять на путь истинный, помогать, приходить на помощь в трудную минуту. Понял, Коля?

— Понял.

— Тогда чего притих?

— А... Крестный — это не так плохо. Я бы хотел быть Крестным...

Сережа не ответил, только теснее приник к прохладной коже дивана.

Трудно сказать, как долго бы длилось это молчание, если бы вдруг не разбушевался дверной звонок. Видно, он сорвался с какого-то своего штыря и пошел воевать: дзинь-дзинь.

Сережу будто вихрем подхватило и бросило к входной двери.

— Так это же батя! Я услышал его голос!

Тамбиев бросился вслед. Он ничего не мог понять.

Каким чудом Сережка услышал голос Бардина? Но теперь и Тамбиев слышал этот голос.

— Ну, отодвинь ты эту бисову задвижку! — стонал за дверью Бардин.

Да, это был Егор Иванович. Значит, в тот час, в тот добрый час, когда Николай и Сережка вспомнили Егора Ивановича, полагая, что он далеко, бардинский самолет был уже где-то над Рязанью.

— Ну, сынок, отопри!

Видно, дверь была уже давно отперта, просто Сережка не догадывался взять ее на себя. Сейчас ее подтолкнул ветер. Верно, Бардин! Истинно, из тропического пекла, по медно-красному лицу бегут капли пота.

— Теперь вижу, дело пошло на поправку! — закричал Бардин и кинулся к сыну.— Вижу, на поправку!

Но Сережка уже уперся острыми локтями в грудь отца, прохрипел недовольно:

— Кончай, батя. Кончай.

— Как там дядя Яков? Небось вымахал в командира бригады? — спросил Бардин и, выпустив сына из объятий, сдавил руку Тамбиеву повыше локтя.

— Бригады! Что-то берешь мало. Армией командует!

— Это где же, под Калинином или подо Ржевом?

— Был подо Ржевом, да ныне, говорят, на Дон подался.

— На Дон? А ты ему на подмогу?

— Дед говорит: «И хочу подсобить, да подсобилка не вышла». Куда мне!

— Жив, Сережка! — трахнул Бардин могучим кулачком сына по спине. — Ну, иди сюда, не робь.

— Вот ведь развоевался, батя! Я говорю, кончай.

Пока препирались сын с отцом, Тамбиев улучил минуту и сбежал. Через парк вышел к берегу Москвы-реки, пошагал к Крымскому мосту. Шел, думал: «Как они там, у Второй Градской? Замкнулись в молчании или начали разговор, тот самый, к которому готовились все это время?..»

Сережка знал не все. Яков Бардин действительно получил назначение на Дон, но отправлялся туда только теперь.

Штабной биплан, чьи крупные заплатки на крыльях не обнаруживались по той причине, что дважды в году он красился и перекрашивался, преодолевая сырой, круто замешанный на дожде и снеге ветер, примчал Якова Бардина на аэродром в Быково. Здесь Якову Ивановичу предстояло пересечь на транспортный «дуглас», вылетающий с рассветом в Новохоперск, откуда он должен был уже на машине добраться до Старого Мамона, где дислоцировалась его армия.

До отлета оставалось часа три с половиной, и он, зная, что Наркоминделу в это время суток положено бодрствовать, позвонил и был не очень удивлен, когда услышал в телефонной трубке голос Егора.

— Если хочешь видеть брата, вот тебе десять минут на сборы — и айда в Быково, — сказал Яков. — Опоздаешь, кори себя до скончания дней: был у тебя брат Яков...

— Погоди, это вроде эпитафии на могильном камне. К чему бы? Есть причины?

— Есть. Сережка еще у тебя?

— Да, последние пять дней.

— Я жду тебя.

— Еду.

За ночь забелило Подмосковье, да и обширное поле, с которого с рассветом должен был взлететь «дуглас», было белым-бело. Если быть точным, снежное поле было лиловато-синим, мерцающим, под цвет неба, которое сейчас освобождалось от туч. И оттого, что полоска неба на горизонте стлалась у самой земли и казалась тонкой, небо вдруг приподнялось и было, как никогда, высоким.

Братья сейчас стояли посреди этого просторного поля. Они точно специально забрели сюда, чтобы сказать то, что намерены были сказать.

— Ты полагаешь, что сорок второй кончился? — спросил Бардин брата. — Для них кончился? — Он кивнул на тонкую полоску леса, там был запад, там были немцы.

— Для них, пожалуй, — ответил Яков.

— И они могут быть довольны тем, что успели в сорок втором?

Яков молча прошел дальше. Егор поотстал, желая взглянуть на брата издали. Рослая, не столько склад-

ная, сколько могуче-угловатая фигура брата была точно врезана в бледно-синий лист поля. Бардину нравилось смотреть на брата. Была в брате свойственная военным сдержанная сила.

— А это будет зависеть от того, как закончим сорок второй мы, — сказал Яков.

— Но мы ведь его уже закончили?

— Нет.

Егор все еще смотрел на Якова. Этот человек, медленно идущий по снежному полю, был старшим братом Егора, на веки вечные старшим братом. Это именно, а ничто иное осознавал сейчас Бардин с особой остротой. Не было для Бардина большего расстояния в природе, чем те шесть лет, что отделяли его от Якова. Егор был желторотым юнцом, а Яков уже ходил с Буденным на Варшаву, да не просто ходил, а во главе эскадрона таких же орлов, каким был сам! Вот попробуй дотянись, когда ты просто человек, а он командир эскадрона. Сам его облик — островерхая буденовка, шинель, перехваченная на груди синими полосами, — был иным. Да только ли облик, весь образ жизни — он жил где-то в Таврии, а потом на Дону и на Кубани, все больше в военных городках и лагерях. В письмах, которые он писал отцу, мелькали названия этих лагерей, одно звучнее другого... «Отец, за меня не беспокойся...» — эта фраза запомнилась Егору по многим письмам Якова, всегда точным, обидно немногословным, как заметил Бардин, не передающим великого напряжения жизни Якова. Бардин знал, что никто из его близких не пережил в этой войне и доли того, что пережил Яков, но об этом можно было только догадываться. Бардин не помнит, чтобы поведал брату такое, что было для Егора сокровенным, но он на всю жизнь сберег великое уважение к слову и делу брата. Наверно, это смешно, но если бы Бардину надо было встать под начало командира, которому он готов довериться до конца, то им мог быть и Яков, при этом не потому, разумеется, что он Бардин. Было в этом человеке то настоящее, что внушало людям веру.

— Значит, сорок второй для нас не закончен? — переспросил Егор.

— Нет, — ответил Яков и умолк прочно.

— Хорошо, но как понять это? — спросил Егор. —

Был октябрь сорок первого, и есть октябрь сорок второго...

Яков вздохнул.

— Октября сорок первого больше не будет, — сказал Яков. Каждое новое слово стоило ему сил немалых. — Не должно!

— Не должно! — повторил Бардин и поймал себя на мысли, что произнес эти слова едва ли не с иронией, произнес и посетовал на себя, в таких тонах не говорил с Яковом. — Они поставили нас к Волге, как к стенке! Куда как тяжело!.. Но ты, ты знаешь что-то? — спросил он полусшепотом и из предосторожности посмотрел вокруг, хотя знал, что на версты и версты поле белое.

— Нет, не знаю, — сказал Яков и остановился, дав понять, что разговор закончен.

Бардин вздохнул: «Вот он, брат родной!.. Все запахло намертвом, все на замок. Кинься к нему и стучи, пока кулаки не окровенишь. Не человек — брус железный!»

— Ты что же, думаешь, что я понесу это Черчиллю? — спросил Бардин и ощутил, что закипает.

— А ты можешь допустить, что я сам всего не знаю? — сказал Яков и, как показалось Егору, был немало обрадован, что нашел ответ.

— Ну, не знаешь, так не знаешь, — заметил Бардин. — Узнаешь, скажешь, — улыбнулся он и повернул к зданию аэропорта, которое начала затягивать снежная заметь. Они отошли порядочно, но тут же остановились. — Послушай, Яков, все тебя хочу спросить...

— Ну, спрашивай, — произнес Яков, и в голосе его изобразилась такая тревога, которую до сих пор Бардин в нем не замечал... «Знает, о чем буду спрашивать! — подумал Бардин. — Знает и боится! Оказывается, и он может бояться, даже интересно. На приступ ржевских камней ходил, не боялся, а тут боится». — Хочу спросить тебя, что там с нашим Филиппком? Ну, что ты так смотришь на меня? Я говорю, как с Филиппком, родным дядей нашим?

Теперь шел Яков к зданию аэропорта, а Бардин только поспешал за ним. Он, Яков, видно, был заинтересован, чтобы быстрее дойти до здания аэропорта.

— Ну, что ты молчишь? — едва не выкрикнул Бардин.

Яков остановился, это последнее слово Бардина остановило Якова, точно крюком, что был брошен вслед ему наотмашь.

— Да ты же все знаешь про Филиппа.

— Ей богу, не знаю.

Он сжал и разжал могучие кулачищи, он вдруг ощутил необходимость трахнуть ими, да предмета подходящего для трахания не оказалось, белое поле вокруг, хоть бей кулачищами по Егору!

— Так вот знай, послали его в Ярославль за шинами для боевых машин, а он сделал крюк — и в Москву к Юленьке. Ты понимаешь, его ждут в части, а он побывку себе организовал. Вот и получил поделом, пусть кровью своей искупает.

Он нагнулся и, зачерпнув снега пригоршню, принялся его есть, есть жадно, видно, гнев его был замешен на огне, в горле пекло.

— Ну, хватит, хватит, и брось ты этот снег, — сказал Бардин. — Тебе отец писал об этом?

— Ну, писал, конечно, а разве это дело меняет? — спросил Яков. — Он хочет быть добреньким, этот твой Иоанн Креститель, а на правду ему начихать.

— Так ли начихать? И потом понять надо, он брат Филиппу.

— Брат? Но подлость — она есть подлость, нет ей оправдания!

— Но так ли это, как тебе поведали? — спросил Бардин осторожно. Он понимал гнев Якова, но понимал и иное: надо бы успокоить Якова, иначе до истины не доберешься.

— Поведали!.. — повторил Яков так, будто то сказал не Егор, а Филипп. — Но ведь это на него похоже, на Филиппка.

— Ты полагаешь, похоже?

Яков еще раз зачерпнул снега и, растерев его на ладонях, вытер ими лицо. Ему было жарко.

— Ты пойми, после письма отца я должен был к этому дерьму прикоснуться, — молвил Яков. — Подлец он, Филиппок, коли на это решился! И вот что заметь, видно, делал это и прежде, ежели сделал теперь так легко. У меня нет дяди Филиппа, — сказал он хмуро и, помолчав, спросил: — А у тебя есть?

Бардин смешался.

— Понимаешь, пришла Юленька, жена Филиппа, и в голос: «Не жалеешь меня, пожалей детей наших, спаси!»

— Ну, а ты?

— Что я?

— Да, что ты?

— Дети-то не виноваты, Яков. Детей жаль.

— Нет, тебе не только детей Филиппа жаль, ты, так сказать, самому Филиппу сострадаешь.

Егор не ответил, только печально согнул толстую шею и как-то сразу утратил свою могучесть.

— Ты чего молчишь? Отвечай.

— Чтобы осудить его, я должен в его вине убедиться. У меня этот процесс происходит медленнее, чем у всех остальных. Только ты не обижайся, Яков, пожалуйста.

— Значит, не веришь?

— Я в этой жизни столько раз осекался, Яша, что решил учредить службу проверки. И потом вина вине рознь. А слова у тебя на все случаи жизни железные. Одним словом, я еще подумаю. А пока Филипп мне дядя, Сережка — сын...

— Нет, Егор, ты Сережку не тронь. Сережка — человек! Да, да, я о нем больше тебя знаю. Ты слышал про ржевский подкоп? Слышал, как семеро солдат под немецкими блиндажами лаз прорубили? Да какой там лаз — тоннель! Так среди тех семерых был твой Сережка. Он был в соседней армии, так ни разу не обмолвился, что за рекой родной дядя группой командует, а когда доняли, сказал как отрубил: «На войне каждый отвечает за себя!» Слышишь, за себя отвечает каждый!.. Ты Сережку не путай с этой падалью! — выкрикнул он и произнес с покорной озабоченностью: — Я-то вызвал тебя по делу, а ты мне голову забил своим Филиппом, чтоб его... Могу я тебя спросить по твоей части?

— А что есть моя часть?

— Как что? Не знаешь? Союзнички, конечно.

— Ну, спрашивай...

Он задумался. Слишком глубоко врубился клинок, чтобы так легко можно было выхватить обратно тонко отточенную сталь и вновь взметнуть.

— Я так кумекаю, — продолжал Яков, стараясь со-



браться с мыслями. — В Европе они могут подождать, а в Африке им ждать нельзя. Вот я и вывожу сумму из этих моих слагаемых. У них должно сейчас вырваться в Африке что-то большое. Ты только скажи мне «да». Мне это надо для дела. Скажи «да»...

— Я полагаю, да, — ответил Бардин, поразмыслив.

— Спасибо. Мне это важно было знать. Жаль, что этого нельзя сказать всем нашим.

— Но это всего лишь мое мнение.

— Я сказал «спасибо».

«А у него есть это качество больших военных — мыслить стратегически, — думал Бардин, простившись»

с братом. — Есть это качество, если по косвенным признакам пришел он к главному и предугадал событие, о котором не знал, не мог знать...»

...Бардин приехал в Ясенцы в двенадцатом часу ночи, когда семья уже улеглась. Он прошел в столовую, где, как это было заведено давно, ждала его чашка молока. Он принялся за молоко, пододвинул книгу. Видно, Сережка читал ее час назад на сон грядущий. Герцен. «Былое и думы». Егору Ивановичу попалась на глаза глава с рассказом Веры Артамоновны о вступлении французов в Москву. Бардин любил эту книгу и хорошо ее знал, но сегодня этот рассказ будто вновь увлек его. Неизвестно, как долго бы Егор Иванович читал Герцена, если бы в ноябрьской полуночи, такой слепой и безгласной, не загромыхал знакомый голос радиодиктора, не иначе, кто-то из соседей вывел репродуктор на улицу. Бардин отодвинул недопитое молоко и кинулся вон из дому. Где-то в сенцах он замешкался с ключом, не отпер, а вышиб дверь ненароком, но на крыльцо выбился. Голос продолжал греметь над Ясенцами, и Бардину почудилось, что он ухватил самый смысл — наши перерезали западные магистрали немцев у Сталинграда и замкнули кольцо. Бардин обернулся, шагнул в дом и где-то в столовой почувствовал, что ему не хватает дыхания.

— Сережка, Сережа, началось! — крикнул Бардин. Он знал, что дома все — и отец, и Ольга, и Иришка, — но хотелось позвать сына.

Было слышно, как грохнулись об пол Сережкины костыли и застучали по полу босые ноги, сотрясая дом.

— Что там, папа?

— Да ты, слушай, началось! — воскликнул Егор Иванович и кинулся вон из дому. Где-то в сенцах едва не сшибся с сыном, хотел добраться до его плеча и напоролся на костыль. Истинно, пришла пора радоваться, да беда дорогу перекрыла.

— Дай мне твою руку, Сережа.

— Да нет, я сам, я иду уже.

Бардин выбрался на крыльцо и счастливо онемел. Ночь была не по-ноябрьски мягкой, с невысоким и

влажным небом, и голос, гремящий над землей, казалось, способен был выламывать камни. Да, это была страдная победа под Сталинградом, страдная, а поэтому трижды желанная.

— Ну, мы их... — не произнесла, а простонала Сережкиным голосом ночь. — Мы их... — нелегко выдохнул Сережка где-то рядом, и Бардин услышал дыхание сына, утробное, мужичье, сдавленное спазмами — не ровен час, заревет в голос.

— Сережа, да где ты? — кинулся Бардин в гущу мокрых ветвей, но сына уже не было. — Сережа! — закричал Егор Иванович и, выбравшись из кустарника, вдруг увидел сына за штакетником, на приречной поляне. Быстро, с неожиданной в его положении сноровкой Сергей уходил все дальше, видно, помогала поляна, наклоненная к реке...

Конец первой книги

**Савва Артемсвич ДАНГУЛОВ**

**КУЗНЕЦКИЙ МОСТ**

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1975, 560 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыскина**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **В. Полонская**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **В. Прошина**



А 05836. Сдано в набор 8/VIII-74 г. Подписано в печать 20/XII-74 г.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. печ. № 1. Печ. л. 17,5. Усл.-печ. л. 29,40.  
Уч.-изд. л. 29,13. Зак. 2709. Тираж 250.000 экз.

Цена 1 руб. 16 коп.



Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».  
Типография издательства «Известия Советов депутатов  
трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова.  
Москва, Пушкинская пл., 5.

**В 1975 году  
издается 15 книг  
библиотеки  
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**И. Авижюс** — Потерянный кров. Роман.  
Перевод с литовского.

**А. Адамович, В. Быков, В. Богомолов,  
Б. Васильев, Ю. Герш, А. Кулаковский,  
Б. Рахманин** — Повести о войне.

**И. Балтушис** — Проданные годы. Роман.  
Книга вторая. Перевод с литовского.

**Н. Грибачев** — Белый ангел в поле. По-  
весть. Рассказы.

**С. Дангулов** — Кузнецкий мост. Роман.  
Книга первая.

**В. Козаченко** — «Молния». Повести. Пе-  
ревод с украинского.

**В. Кожевников** — Особое подразделение.  
Повести и рассказы.

**Я. Кросс** — Окна в плитняковой стене.  
Повести. Перевод с эстонского.

**П. Куусберг** — Одна ночь. Шоссе свобо-  
ды. Романы. Рассказы. Перевод с эстон-  
ского.

**В. Лам** — Кукла и комедиант. Роман. По-  
вести. Перевод с латышского.

**К. Лордкипанидзе** — Избранные повести  
и рассказы. Перевод с грузинского.

**А. Нурпексов** — Крушение. Роман. Книга  
третья трилогии «Кровь и пот». Перевод  
с казахского.

**Ш. Рашидов** — Победители. Сильнее бу-  
ри. Романы. Перевод с узбекского.

**Д. Чаковский** — Блокада. Роман. Книги  
1—5. В двух томах.